

ИСПАНСКАЯ НОВЕЛЛА ЗОЛОТОГО ВЕКА



ИСПАНСКАЯ
НОВЕЛЛА
ЗОЛОТОГО
ВЕКА





ИСПАНСКАЯ
НОВЕЛЛА
ЗОЛОТОЮ
ВЕКА

ЛЕНИНГРАД · «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1989

ББК 84.4Ис
И 88

Составление, справки об авторах
З. ПЛАВСКАЯ

Вступительная статья
А. МИРОЛЮБОВОЙ

Редактор
Г. ОРЁЛ

Художник
О. ЯХНИН

И $\frac{4703040100-076}{028(01)-89}$ 149-89

ISBN 5-280-00677-7

© Состав, вступительная статья, переводы, кроме отмеченных в содержании знаком *. Издательство «Художественная литература», 1989 г.

ИСПАНСКАЯ НОВЕЛЛА: РОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ

В XVII веке, когда могущество Испании близилось к закату, королевский хронист Гонсало де Сеспедес-и-Менесес, автор одной из интереснейших новелл этого сборника, писал: «Владения Испании столь обширны и необъятны, что Солнце, совершая свой путь от Востока к Западу, всегда освещает страны и провинции, ей подчиненные». Эти слова впоследствии будут повторяться, варьируясь на разные лады, применительно к самым разным «великим державам». А слава самой Испании, слава, «купленная кровью», длилась недолго. Более прочной оказалась слава, добытая пером и кистью: лет сорок мирового первенства, омрачаемого, впрочем, восстаниями внутри страны и бесконечными внешними конфликтами, — и два столетия небывалого расцвета литературы и искусства.

Об испанской литературе Золотого века мы знаем немало: это — блеск и острота комедии «плаща и шпаги», ирония и горький сарказм плутовского романа, мудрость и безумие Дон Кихота. А новелл — кроме «Назидательных» Сервантеса, которые часто осознавались как некое приложение к «Дон

Кихоту», — как бы и не существовало. Новеллу заслонили другие, неимоверно разросшиеся жанры. Произошло это незадолго: забытая испанская новелла, имевшая в свое время широкую популярность, безусловно, достойна как интереса современного читателя, так и внимания специалистов. А вот почему это произошло, можно выяснить, лишь коснувшись тогдашней литературной ситуации, оценив расстановку сил на литературном фронте.

Золотой век в Испании не равен Возрождению. Несмотря на самородный блеск своего названия, эпоха эта сложна и трагична — в Испании, как нигде в Европе. Не успев пережить радость раскрепощения личности, разрушения средневековой «вертикали» с ее веками незыблемой иерархией ценностей, испанское общество практически сразу переходит ко второму акту драмы. Очарование миром и разочарование в нем, вера в человека и неверие в силу его разума еще не раз будут сменять друг друга в истории человеческой мысли. А теперь, на пороге Нового времени, общество впервые переживает крушение своих иллюзий. Особенно тяжело проходил этот процесс в Испании, где уже в XVI веке установилась абсолютная монархия — и не такая, как, например, во Франции, где подспудно продолжали развиваться новые, капиталистические отношения, а монархия, основанная на духовной диктатуре церкви, монархия анахронически феодальная. Во второй половине столетия Филипп II запрещает испанцам покидать пределы королевства для обучения наукам и резко ограничивает число переводных книг. Ужесточаются преследования еретиков и инакомыслящих. Страна скрывается за «ладановым занавесом».

Раннее испанское Возрождение, ознаменовавшееся проникновением в страну идей Эразма Роттердамского и итальянских гуманистов, было насильственно прервано. Но, как два века спустя говорили французские просветители, «нельзя приказывать человеку: не просыпайся, а спи»: возврата к доренессансному мировоззрению быть не могло. Однако в отличие от ранних итальянских гуманистов, радовавшихся необъятности мира

и ничем не ограниченной, веселой свободе человека в нем, испанцы рано увидели, как ненадежна и хрупка эта свобода, и главное — как беспредельно одинок человек в открытом, выстуженном пространстве, как играет им неумолимое время. Боккаччо, то погружаясь в праздничную, «карнавальную» стихию, то идеализируя человека, приподнимая его над обыденностью, создает сборник новелл. Желая представить мир во всем его многообразии, человека во всем блеске его многогранных возможностей, он поневоле отказывается от единства целого. Личность Ренессанса была самоценной, личность трагического гуманизма получала значение, обретала бытие лишь в своем времени, в своей среде. Литература позднего Возрождения постигала человека или через драматический конфликт — отсюда невероятный расцвет испанского народного театра — или через его жизненный путь в определенном времени, определенном пространстве — отсюда зародыш реалистической прозы Нового времени, испанский плутовской роман.

На этом фоне испанская новелла поневоле должна была затеряться. В 1566 г., когда Хуан Тимонеда опубликовал книгу своих «небылиц», само слово «новелла» (*novela*) было испанцу чуждо и непонятно в литературном контексте, поэтому в прологе к своему сборнику писатель поясняет: «Так что хитросплетения эти на моем родном валенсийском наречии именуются «рондаллес», а на тосканском — „новеллы"». А далее дает произвольную этимологию «экзотическому» слову, играя на созвучии *novelas* — по *velas*, то есть «не бодрствуешь»: «Труженик, раз ты не бодрствуешь, я разгонию твой сон десятком-другим забавных и хитроумных рассказов...» Да что там Тимонеда, творивший на заре испанской ренессансной новеллистики: в 1617 г., уже после выхода в свет «Назидательных новелл» Сервантеса, литератор Кристоаль Суарес де Фигероа в своей книге «Прохожий», необычайно ценной для нас меткими зарисовками литературных нравов той поры, приводит следующий диалог: «— А нравятся ли вам новеллы, какие нынче в ходу? — Не знаю, о чем это вы, хотя я к любым басням мало привержен...»

Термин так и не привился: сейчас в Испании словом *novela* обозначают роман, а интересующий нас жанр именуется *novela corta*, то есть «короткий роман». Это не результат непонимания заморского обозначения: этимология итальянского слова *novella* — «новость» понятна испанцу без перевода. Путаница в терминах отражает реальность литературного процесса: испанская новелла не соответствует канонам жанра. Анализируя одну из новелл Боккаччо, немецкий литературовед Пауль Гейзе вывел такие закономерности ее построения: единство действия, «резкий силуэт» ситуации, один конфликт в одном кругу действующих лиц. Испанская новелла выходит за эти рамки: в зрелых своих образцах она дает не замкнутый эпизод, а протяженную во времени и пространстве картину, не статическую обрисовку героя, а движения души, путь его становления, то есть действительно приближается к «короткому роману». Это и понятно: в Италии новелла явилась первым повествовательным жанром новой эпохи, а в Испании она развивалась параллельно с драмой и с большими прозаическими формами — рыцарским романом, пасторалью, наконец, пикареской. Все эти жанры явились как-то сразу, по словам испанского ученого Менендеса-и-Пелайо, «родились совершенными и взрослыми в «Амадисе», «Диане»... «Ласарильо», своих первых и никогда уже не превзойденных образцах». Новелла же прошла долгий путь становления и развития.

Существует мнение, что до Сервантеса испанская новелла была чисто подражательной, что первые ее образцы были полностью заимствованы из итальянских источников. Это не совсем так: в XV веке итальянское влияние потеснило, не уничтожив окончательно, давнюю средневековую традицию. А испанское средневековье было не менее своеобразным, чем испанское Возрождение, и причина этому — многовековое соседство арабской, мавританской культуры. В VIII веке арабы захватили большую часть Иберийского полуострова, и борьба за отвоевание исконно испанских земель — Реконкиста — продолжалась вплоть до конца XV века. Но в этой вековой войне бывали и перемирия, длившиеся годами, порой десятилетиями.

И средневековая культура Кастилии, Арагона, Леона, пропитанная духом схоластики, не могла не испытать влияния культуры арабского мира, которая во многом наследовала эллинизму. Первые переводы с арабского на латынь Птолемея, Эвклида, Гиппократы были выполнены в XIII веке в отвоеванном христианами Толедо, а оттуда уже попали в другие европейские страны. С востока пришли в Испанию и первые образцы короткого повествования: в XII веке крещеный еврей Педро Алонсо перевел с арабского на латынь обрамленную повесть «Disciplina Clericalis», то есть «Наставление клирику». В XIII веке уже на кастильский язык был переведен сборник апологов и притч о животных «Калила и Димна», восходящий к санскритской литературе. Из этих и других подобных сборников черпали сюжеты и формы и собственно испанские новеллисты, в частности Хуан Мануэль, автор первого национального сборника новелл «Граф Луканор», которым испанцы гордятся не меньше, чем итальянцы «Декамероном», хотя, по меткому выражению З. И. Плавскина, между этими книгами «не полтора-два десятилетия, а целая историческая эпоха».

Может быть, именно в вековом взаимодействии культур, во взаимопроникновении присущих каждой ценностей и следует искать корни той необъяснимой, на первый взгляд, «маврофилии», которую можно обнаружить и в «Песне о Сиде», где мавры и мавританки прославляют великодушие Сиды-победителя, а «замиренный» мавр Абенгабон становится другом испанского рыцаря, и особенно в так называемых пограничных романах. Эти своеобразные произведения устного народного (с конца XV века и литературного) творчества создавались христианами на мавританском материале: в них мавры изображались достойными, храбрыми рыцарями, победа над которыми — истинный подвиг, как, например, в романсе об осаде Басы, где «двадцать тысяч мавров поклялись скорее смерть принять, чем сдаться». Довольно часто романс исполняется как бы от лица мавра (вспомним один из известнейших образцов этого жанра — «Романс о мавританском короле, который по-

терял Аламу», где чувства последнего эмира Гранады описываются с искренним состраданием).

Из подобных романсов, к сожалению, не дошедших до нас, выросла новелла, скорее маленькая повесть «Абенсеррах и прекрасная Харифа», которая по гуманистической трактовке образов и событий, глубокому лиризму, простоте стиля, далекой от псевдоученой манерности, буквально не имеет себе равных в испанской новеллистике XVI—XVII веков. Повесть эта стоит особняком в истории испанской литературы именно потому, что она основана не на чужеземных образцах, а на многовековых традициях народного эпоса.

Правда, можно еще назвать «Повесть о Сегре и Абенсеррахах» Переса де Иты, тоже основанную на «пограничных» романах. Это произведение более сложное: рассказывая о последних днях мусульманской Гранады, писатель пользуется фольклорными источниками; касаясь же событий, ему современных — восстания в 1570 г. морисков (крещеных мавров, не пожелавших покинуть Испанию), он пересказывает свои собственные впечатления, причем относится к восставшим без особой враждебности, понимая, что только жестокие преследования могли спровоцировать этот мирный и трудолюбивый народ на «крайность».

Сорок лет спустя, в 1609 г., Филипп III опубликует декрет о высылке из страны всех, чьи предки не были «старыми», то есть исконными, христианами. Это событие, которое, кстати, имело катастрофические последствия для испанской экономики, заставило Сервантеса включить во второй том своего великого романа трагическую историю мориска Рикоте, а в новелле Лопе де Веги «Мученик чести» герцог, покровитель героя, между прочим, потомок все тех же Абенсеррахов, пишет ему: «... человеку рождение не прибавляет заслуг и не отнимает их у него, ибо оно не зависит от его воли; но за свои поступки... он полностью отвечает сам. Вы — подлинный кабальеро, и я не понимаю, почему вы должны были уехать...» И хотя сильнее всего звучит здесь гуманистическое кредо «человек — творец своей судьбы», сочувственное отношение к изгнанникам

явно связано и с давней, восходящей к временам Реконкисты, традицией.

Итак, в момент своего зарождения испанская новелла была многим обязана арабскому влиянию — в самой ли форме, в сюжетном ли репертуаре. Но впоследствии, как мы видели, сохранилась лишь тематика, да и то представленная немногочисленными образцами. Магистральная линия развития испанской новеллы основывалась на других традициях, в частности на традиции устного народного рассказа, который сыграл определяющую роль в становлении европейской новеллы вообще. Рассказ этот, возникающий в городской среде и связанный с низовой, «карнавальной», культурой, не дал в испанском средневековье жанра, по значимости равного французскому фавлю — в связи с задачами Реконкисты большее развитие получили эпические формы народной поэзии. Однако о наличии «праздничного» городского фольклора говорит, в частности, приведенный в нашем сборнике рассказ о «неотесанном крестьянине» — тут и перекраивание реальности по своему вкусу, и «веселое», «карнавальное» отношение к смерти, и превращение (хотя бы только и на словах) крестьянина в короля.

Образцов этой устной народной традиции сохранилось немного, и тем не менее она продолжала существовать: косвенным доказательством ее жизнеспособности являются как «небылицы» Хуана Тимонеды, так и «побасенки» Себастьяна Мея. Правда, не все: сборники и того и другого автора носят откровенно компилятивный характер: есть в них и заимствования из восточных источников, и новеллы «итальянского вкуса», и авантурные новеллы, продолжающие позднеантичную традицию романа странствий. Весь этот разнородный материал ничем не объединен, нет даже обрамления, которое хоть как-то скрепляло бы пеструю сумятицу лиц и событий. Цельность сборникам Мея, и особенно Тимонеды, придает лишь авторская интонация — разговорная, почти сказовая. От этой тональности Мея не может отрешиться, даже рассказывая вполне литературную историю престарелого императора и его почтительно-

го сына, а Тимонеда — перелагая (в XIX «небылице») одну из новелл Банделло, сюжет которой, кстати, использовал и Шекспир для комедии «Много шума из ничего». И это не единственная метаморфоза, какую претерпела итальянская новелла на испанской почве: если Боккаччо, Банделло и др. пишут новеллу, чтобы показать человека в различных, чаще всего острых ситуациях, то для Тимонеды главное — сюжет, голая фабула: его герои лишены не только психологических характеристик, но и какого-либо внутреннего правдоподобия, логики поступков: они — пешки, которые автор двигает по шахматной доске, не заботясь о мотивировках их действий. Только шахматная доска здесь — внезапно открывшийся изумленному человеку широкий мир, «горизонтальный» мир Возрождения. И человек себя чувствует в нем вполне уютно, как это было, впрочем, и в мире народного сказа: ему удается устроить свои дела — денежные ли, любовные; зло всегда в убытке, а добро торжествует.

То же самое, в сущности, происходит и в новеллах Эславы, несмотря на их несколько более искусную форму. У Эславы вообще нет ничего, что выдавало бы национальность автора: обрамление «Зимних вечеров» переносит нас в Венецию, где четыре старика с чисто итальянскими именами в ненастную погоду сидят у огня и рассказывают волшебные истории, заимствованные из средневековых итальянских источников. Но в том-то и дело, что истории эти — волшебные: как в легенде, как в волшебной сказке, как в любом идеальном, поднятом над действительностью мире, добро и справедливость всегда торжествуют над злом и беззаконием: реальность жизни — реальность личности и обстоятельств — не могут проникнуть в этот наивный, сказочный универсум.

Совершенно обратное мы можем наблюдать в шуточных историях Пинедо. Истории эти — в сущности, анекдоты, чья соль — в остром, вовремя сказанном слове, роль которого была так велика в ренессансном обществе, обладавшем безукоризненным чувством формы. Этот жанр в Италии разрабатывал Поджо Браччолини, который в «Книге фацетий», выпущенной в 1452 г., вышучивал нравы римского двора. А в сборнике

Пинедо фигурируют испанские остроловы, реальные люди, участвовавшие в реальных исторических событиях: врач Виллалобос, который, кстати, и сам писал диалогизированные новеллы, комментарии к античным авторам, трактаты о характерах и нравах своей эпохи; поэт Гарси Санчес де Бадахос, потерявший рассудок из-за несчастной любви, дворянин Кинтанилья, участник восстания комунерос — борьбы испанских городов против неограниченной власти монарха.

Таким образом мы видим, что все разновидности итальянской новеллы преобразуются под пером ее испанских последователей. Она «испанизируется»: не только внешне приобретает локальный колорит, но и — что более существенно — прилагивается к народному мировоззрению, которое еще не было ренессансным в полном смысле этого слова. В испанской новелле XVI века сосуществуют два типа художественного освоения действительности: внимание к живым, конкретным ее сторонам с выходом в гротеск и «смеховую», «карнавальную» культуру, и идеализация человека и вселенной, смыкающаяся еще не столько с гуманистической утопией, сколько с легендой и волшебной сказкой. Реальный и идеальный планы соседствуют в разных новеллах, часто даже под одной обложкой, но не смешиваются. Это противостояние «низкого» и «высокого» снял в высшем синтезе Сервантес в своих «Назидательных новеллах», год издания которых — 1613-й — явился переломным для судеб этого жанра в Испании.

В литературоведении, правда, сохранилась традиция делить сервантесовские новеллы на «реалистические», такие, как «Ринконете и Кортадильо», «Новелла о беседе собак» и т. п., и «идеальные» — «Английская испанка», «Сила крови», «Цыганочка» и другие новеллы, основу которых составляет авантюрно-любовная интрига. Деление это весьма условно: можно говорить лишь о преобладании в той или иной новелле материала литературного или жизненного, об авторской интенции — показать мир «как он есть» или «как он должен быть». Но и в последнем случае идеализация никогда не переходит за грань правдоподобия: в «Английской испанке», где «одно чудо

сменяет другое», на самом деле нет ни одного события, которое не могло бы произойти в реальном мире. «Идеальным» нам кажется только чувство, связывающее героев, любовь, которая не боится преград и торжествует над игрой случая. Но современникам Сервантеса такая сила, такое постоянство страсти было привычно — если не в плане «существующего», то в плане «долженствующего». Традиция изображения такой любви идет от поэзии провансальских трубадуров, Петрарки и его последователей, от пастушеских романов. Основа этой традиции — философия неоплатонизма, раскрытая, в частности, в книге Иуды Абрабанеля (Леона Иудея) «Диалоги о любви», с которой Сервантес был несомненно знаком. Эта философия, преодолевая дуализм средневековой схоластики, отсекавшей земное от небесного, призывала познавать бога в земных его отражениях, подниматься к небесной любви через любовь к прекрасному на земле, то есть поднимала земную любовь на доселе невиданную высоту. Вот такая земная любовь, в которой запечатлелись черты ее божественного происхождения, и становится в центр повествования, определяет развитие конфликта в новелле, построенной на «идеальном» материале.

Новелла, отображающая «низовую» реальность, близкая по предмету изображения к плутовскому роману, строится по-иному. Например, «Ринконете и Кортадильо» кажется всего лишь жанровой зарисовкой, этюдом нравов воровского дна. Но и в ней есть мощное организующее начало: это — стихия народной, карнавальской культуры, отразившаяся, как мы помним, и в устных народных рассказах, и в сборниках Тимонеды и Мея. В самом деле, что иное изображает Сервантес, как не «мир наизнанку»: воровское братство Мониподио — слепок с испанской действительности; законы, управляющие «дном» общества, приложимы ко всем его слоям, даже самым высоким.

Как карнавализация мира не является прерогативой новелл «реального» плана — почти во всех новеллах Сервантеса есть игра фортуны, переодевания, превращения, переход из одного общественного состояния в другое, — так и высокая любовь не замкнута в кругу «идеальных» новелл (вспомним

знаменитую «Цыганочку» или «Высокородную судомойку»). Правда, в конце концов оказывается, что и цыганочка — не цыганочка, и судомойка — не судомойка, так что проблема сословных различий, неравной любви снимается с помощью старого, как мир, приема узнавания: благородство и красота чувств у Сервантеса еще тесно связаны с благородством происхождения и красотой внешней.

Возникает вопрос: почему Сервантес назвал свои новеллы «назидательными»? Ведь в них нет ни религиозности, ни морализаторского пафоса: главное для писателя — проблемы земного человеческого бытия. Однако изучая поведение личности, включенной в «игру Фортуны», Сервантес, в отличие от Боккаччо, вовсе не склонен восхищаться всем, что содержится в человеческой природе. Писатель позднего, трагического гуманизма, живущий в мире, где «распалась связь времен», он понимает, какая разрушительная сила таится в человеке, отринувшем этические нормы. Поэтому Сервантес показывает своим современникам «примеры» (*ejemplós* — отсюда, собственно, и название новелл — *ejemplares*) гуманистической морали, уча их противопоставлять игре капризной Фортуны стойкость высоких чувств, верность долгу и веру в конечную победу добра над всем низменным и порочным в человеческой природе.

После Сервантеса писать новеллы становится модным и прибыльным занятием: по свидетельствам современников, в популярности новелла уступает только драме. Складывается целая школа новеллистики — *novela cortesana*, то есть придворная, точнее, галантная, светская, новелла. Каждый из ее создателей пишет в своей собственной манере, спутать их нельзя: плавное, неспешное повествование Кастильо Солорсано не похоже на драматизм Сеспедеса-и-Менесеса, полный резких психологических контрастов, а несколько суховатый, менторский тон Агреды-и-Варгаса сильно отличается как от динамизма и словесной избыточности Переса де Монтальвана, так и от изощренного до болезненности психологизма Марии де Сайяс-и-Сотомайор. Но есть в этих новеллах и нечто общее, о чем говорит и само их название: все они несут на себе отпечаток

блестящей суетности, холодноватого, поверхностного изящества. Несмотря на драматизм, иногда и трагизм, конфликтов, в них нет глубокой жизненной философии. Авторы, конечно, морализируют: чтобы преподать читателю урок, они часто даже прерывают нить повествования. Но никто из них не обладает такой цельностью жизненной позиции, которая помогла бы «восставить расшатанный мир».

Выделяется из этого ряда очень близкая к народной традиции новелла Тирсо о трех осмеянных мужьях, в которой происходит чисто карнавальная игра социальным положением, временем и пространством, жизнью и смертью, и (отчасти) «Диана» Лопе — последняя не за счет формальных особенностей, а благодаря неиссякаемому оптимизму авторской позиции. Но в творчестве великих драматургов, которое трудно вместить в рамки каких бы то ни было направлений, новеллы играли третью степенную роль.

Как и новеллы Сервантеса, «галантные» новеллы нельзя разделить по тематическому признаку: они построены на сочетании условности и реализма. В «идеальное» повествование входят элементы пикарески, как в «Истории любви меж двоюродными братом и сестрой» Переса де Монтальвана, или впе­таются реальные исторические события, как у Сеспедеса-и-Менесеса. Как и в новеллах Сервантеса, главный конфликт чаще всего любовный, и язык любви таков, каков он сложился в литературе эпохи, пропитанной неоплатоническими идеями: цветистые речи, преувеличенные страдания, гипертрофированные сравнения, заимствованные из арсенала поэзии петраркистов. Но во-первых, очень часто этот язык — не более чем «слова, слова, слова»: если герой Сервантеса, чтобы завоевать любовь или сохранить ее, должен был сознательно пройти через испытания, то герой «галантной» новеллы в большинстве случаев лишь более или менее успешно сопротивляется никак не зависящим от него враждебным обстоятельствам. Во-вторых, сам язык любви становится все более условным, искусственным — и это закономерно, потому что он становится надуманным. Возвышенные речения — не более чем маска, карна-

важный костюм. На словах обожествляя предмет любви, на деле герой стремится к самой низменной и прозаической цели. Движение к этой цели, в сущности, и определяет развитие конфликта, а ее достижение становится кульминацией. А что происходит потом — зависит и от героя, и от героини, ибо женщина в испанской новелле вообще, а в «галантной» особенно, не менее активна, чем мужчина. Как правило, она переодевается в мужской костюм и отправляется на поиски по тем или иным причинам скрывшегося возлюбленного: роли меняются, правда, лишь на время, более или менее краткое, хотя в «Диане» Лопе героиня прожила в мужском костюме лет шесть и добилась даже звания «правителя и генерал-капитана» Индий, то есть поменялась с мужчиной и социальными ролями — заметим, что ее возлюбленный все это время провел в заточении.

Сложная игра на переходе из одного сословия в другое происходит в «Простолюдинке из Пинто», а в новелле Кастильо Солорсано на этом построен сюжет: принц переодевается пастухом, а затем в глазах не узнавших его друзей пастухом становится, и уже в таком качестве превращается в короля, чтобы затем с прямо-таки театральным размахом доказать истинность своего происхождения.

Но в мире ничего не меняется — мир незыблем: какие бы превращения в нем ни происходили, в конце концов все возвращается на круги своя. Как бы ни была закручена интрига, в развязке все линии приходят к своему разрешению, чаще всего благополучному. Новелла XVII века сценична — этим, может быть, и объясняется ее популярность у современников, страстных любителей театральных зрелищ. Интересно, что Перес де Монтальван, Кастильо Солорсано, Мария де Сайяс-и-Сотомайор писали и драмы, а Тирсо и Лопе, как известно, писали в основном только драмы. И новелла часто оказывается построенной по законам комедии «плаща и шпаги», но с очень важным отличием: характеры в испанской драме условны, тяготеют к типизации, в новелле они более индивидуальные, даже в русле одного и того же «амплуа». Возьмем, например, «первого любовника» (*galán*): в драме они мало чем разнятся

между собою, а можно ли спутать пылкого, неистово безрас- судного Лопе Пачеко, тонко чувствующего, деликатного Ли- сардо из «Истории любви меж двоюродными братом и сестрой», подловатого и мелочно гордого «неосмотрительного брата» у Агреды-и-Варгаса? Психологическая прорисовка об- раза в новелле более тщательна и по сравнению со всеми вида- ми романа: рыцари в приключенческом, рыцарском романе всегда одни и те же, «антипод» рыцаря — плут — в пикареске обнаруживает типические черты, обусловленные средой; пасту- хи в романе пасторальном — носители одной и той же филосо- фии, уже знакомой нам неоплатонической доктрины любви, а потому настолько одинаковы, что без труда меняются по ходу действия местами.

Каждая из разновидностей романа имеет жесткую схему (кроме первого романа в современном понимании этого слова, «Дон Кихота», где схема взорвана игрой иллюзий и реально- сти). Новелла же — более гибкий, свободный жанр: в нее с большей легкостью входит и вещный, бытовой мир, и мир душевных движений человека. Надо сказать, что психологизм, вернее, его ростки — завоевание именно послесервантесовской новеллы, завоевание, явившееся плодом уже отмеченной «ущербности» мировоззрения ее создателей. Утратив цель- ность жизненной позиции, веру в идеалы, новеллисты XVII ве- ка, чье творчество приближается уже к иной художественной системе — к барокко, начинают открывать для себя индивиду- ального человека.

Особенно это относится к Марии де Сайяс-и-Сотомайор. «Десятой музе» Лопе де Веги повезло: в отличие от большин- ства новеллистов XVII века, чьи книги при жизни авторов имели в общем-то заслуженный успех, а в наши дни стали достоянием эрудитов, сборники новелл доньи Марии неодно- кратно переиздавались уже в XX веке: в 1941, 1943, 1945 и, наконец, в 1965 году. Ее новеллы отличаются психологизмом настолько утонченным, что зарубежные критики считают эту современницу Лопе чуть ли не «предтечей фрейдизма». Мария де Сайяс-и-Сотомайор — писательница зрелого барокко, герои

ее далеки не только от ясности и гармонии Ренессанса, но и от сурового, полного достоинства стоицизма, свойственного людям эпохи трагического гуманизма. Им не только не на что опереться в окружающей их хаотической реальности — у них нет и внутреннего стержня. Мироздание теряет гармонию, соразмерность с человеком; интрига уже не завершается, благополучного исхода нет — нет вообще никакого исхода: удалившись в монастырь, Исабель сочетается с «небесным женихом» и остается «рабой своего возлюбленного»; скаредный дон Маркос умирает от отчаянья, не вынеся изощренных издевательств. В новелле «высокого» ряда все чувства, традиционно испытываемые ее героями, превращаются в свою противоположность: честь — в бесчестье, верность — в вероломство, наконец, любовь... нет, не в ненависть, это было бы слишком просто — любовь превращается в буйство противоречивых страстей, описать которые и впрямь под силу не каждому современному романисту.

Новелла «низкого» ряда, построенная на розыгрыше, тоже претерпевает глубокие изменения: карнавальная игра реальностью превращается в безжалостное глумление, веселый фарс — в трагедию. Человек приобретает индивидуальность, но отрывается от коллективного начала, теряет моральные ориентиры, присущие сообществу людей. Завоевав свободу, человек, пожалуй, впервые в истории переживает трагедию одиночества. Философия, определенное мировоззрение, жизненная позиция сменяются прихотливой игрой ощущений и подсознательных импульсов. Поэтому и реальность, в которой живут герои барочной новеллы Марии де Сайяс-и-Сотомайор, распадается, теряет цельность, однако не исчезает в эмблемах и аллегориях, как это происходит в барочном философском романе (например, в «Критиконе» Бальтасара Грасиана), а становится, при всем своем распаде, зримой и объемной, фрагментарной, но кричаще яркой.

Как видим, испанская новелла, сложившаяся еще в средневековье на почве устного фольклорного рассказа, восточной обрамленной повести и народного романса, весьма своеобразно

восприняла повсеместно распространившееся в XV веке итальянское влияние. Канон классической ренессансной новеллы не привился: приближаясь по широте охвата действительности к роману, по остроте и ювелирной отточенности интриги — к комедии «плаща и шпаги», *novela corta* оставалась свободной от ограничений и условностей, присущих как драме, так и роману в тогдашних его разновидностях. В XVI, и особенно в XVII веке новелла была своеобразной лабораторией писательского мастерства, исподволь готовила иной, не связанный со схемами и канонами путь художественного освоения реальности. В заглавии мы определили состояние испанской новеллы Золотого века как расцвет. Это не громкие слова — действительно, ни до, ни после в Испании не создавалось в жанре новеллы таких интересных и значительных произведений, а главное — никогда этот жанр не играл в литературной ситуации такой специфической роли.

А теперь, дорогой читатель, загляните в содержание: вы увидите, что большинство авторов представлены на русском языке впервые. Очередное «белое пятно» в истории литературы получило свой колорит: наивно-яркие, чистые краски Тимонеды, благородно-сдержанные тона Кастильо Солорсано, резкая светотень «Пачеко и Паломеке» Сеспедеса-и-Менесеса, кричащие барочные диссонансы доньи Марии де Сайяс-и-Сотомайор. Открывая эту книгу, вы вступаете в неизведанное. «И ежели мой стиль, неотделанный и грубый, не доставит вам наслаждения, помните о том, что не было у меня иной цели, как только вам угодить», — вот что сказал новеллист Кастильо Солорсано, думая о своих читателях, а стало быть, и о нас с вами.

А. Мирюлова





НОВЕЛЛЫ





Неизвестный Автор

КАК НЕОТЕСАННЫЙ КРЕСТЬЯНИН
КУЦОВ ПЕРЕХИТРИЛ
(Ярмарочный листок ¹ около 1510 года)

I



ил в одной деревне бедный крестьянин, который едва-едва зарабатывал себе на хлеб тем, что возил на своем ослике в город дрова на продажу. И от великой нужды спросил он совета у жены, как ему поступить, чтобы от нищеты избавиться. А у женщин слово всегда наготове, вот

она и говорит:

— Думается мне, муженек, сделать надобно так: продай-ка ты нашего борова, а деньги, что за него получишь, скорми ослу и отведи его потом на базар.

¹ Ярмарочный листок — брошюрка, представляющая собой сложенный вчетверо типографский лист с напечатанным на нем текстом популярных романсов, духовных стихов, переложений старинных хроник и рыцарских романов. Ярмарочные листки имели хождение с конца XV до начала XX века. (Здесь и далее примечания переводчиков.)

Выслушал крестьянин жену, поразмыслил и решил, что так и надо делать. Получил он за борова шестьсот мараведи, разменял все на бланки и скормил ослу. А потом отвел его на базар. Подошли к нему там два купца и спросили, сколько он хочет за осла, а крестьянин запросил пятьсот реалов¹. Над такой непомерной ценой, что крестьянин заломил, купцы стали смеяться, однако же спросили его, по какой такой причине за не бог весть какого осла он требует таких денег. А крестьянин им ответил, что удивиться тут нечему, потому что осел этот не чета всем другим ослам, только людям это невдомек. И палкой, что держал в руке, начал тогда его тыкать, а тот стал испускать из себя воздух и сыпать деньгами. Увидев это, купцы сильно подивились и сказали крестьянину:

— Собири, добрый человек, деньги, что сыплются из твоего осла.

А крестьянин им в ответ:

— На что они мне сдались, у меня и дома хватает того, что он мне каждый день накладывал.

Посоветались тогда купцы между собой и решили купить осла и дать за него, сколько просил крестьянин. И отсчитали ему пятьсот реалов, что он просил, и увели осла. А крестьянин в превеликой радости вернулся домой и рассказал жене все, что при продаже осла с ним приключилось.

Очень довольны были купцы сделкой и отправились домой, думая, что ведут великое сокровище. И приказали хорошенько убрать и подмести стойло куда поставить своего осла и тщательно

¹ Мараведи, бланка, реал — старинные монеты из сплава серебра и меди; мараведи стоил $\frac{1}{34}$ реала, бланка — полмараведи.

заперли его на ключ, чтобы подобрать без потерь все деньги, что накидает осел, и чтобы никто другой их не взял. Однако осел накидал лишь того, что и полагалось, потому что других денег сверх тех, что высыпались у него на базаре, он не съел. И когда купцы пришли проведать своего осла и увидели его помет, то сочли себя обманутыми и решили отправиться к крестьянину, чтобы расторгнуть сделку.

II

Крестьянин, однако, понимая, что ему предстоит, придумал новую хитрость на случай, когда те придут, каковую осуществил следующим образом. Было у него в доме два белых кролика, похожих как две капли воды. Он и взял одного с собой в поле, а жене наказал, что если приедут купцы, то пусть она скажет, что они найдут его в поле за работой, и тотчас приготовит парочку отличных каплунов на жаркое и парочку вареных кур и кусок солонины, а он ей сообщит, что потом нужно будет делать. И ушел в поле, а жена, не откладывая, все приготовила так, как он ей приказал. Немного спустя после его ухода явились купцы и спросили о крестьянине у жены, а она сказала им, что они найдут его в поле. И те с озабоченным видом отправились туда и, как только нашли его, сказали:

— Скажи, добрый человек, почему ты нас обманул с твоим ослом, который у нас не дает больше денег?

— Бог свидетель, — говорит крестьянин, — я не виноват, это жена моя все сделала своими со-

ветами. Пойдемте ко мне домой, и я вам все возьму по чести, так что останетесь довольны.

И тут он взял кролика, которого принес с собой, и начал с ним говорить в присутствии купцов и сказал ему:

— Кролик, беги-ка домой и скажи моей жене, чтобы устроила нам ужин на славу и побыстрее приготовила парочку жареных каплунов да парочку вареных кур, да еще кусок солонины.

И отпустил кролика, а тот побежал, куда ему вздумалось. И вот через некоторое время крестьянин с купцами пришли домой и обнаружили, что им все отменно приготовлено и в точности так, как на их глазах крестьянин передавал через кролика. А во время ужина увидели купцы другого кролика, бегавшего по дому, и подумали, что это тот самый, которого крестьянин послал с поля. И решили, что хорошо бы им непременно заполучить этого кролика: уж очень полезным он им представлялся для их торговых дел. «Ведь сколько сможет такой носить извещений и векселей в Риме и в других местах, где нам потребуется».

И когда они поели, то, совсем убаженные, попросили крестьянина продать им кролика, а тот, немного поломавшись, запросил за него тысячу реалов. И купцы, полагая очень выгодной такую покупку, дали ему, сколько он просил, и, забрав свое приобретение, в превеликой радости отправились домой. По пути они думали, как им проверить кролика, и решили отправить его к своим женам, чтобы те, получив известие об их приезде вечером, приготовили им ужин. И вот посылают они кролика, а тот помчался по полю очень довольный, что вырвался из неволи. Приехав домой, спрашивают они у своих жен, не принес ли кто-нибудь весть от них, чтобы им приготовили ужин,

а те отвечают, что нет. Тогда купцы очень рассердились на крестьянина за то, что он так обманул их сначала с ослом, а потом с кроликом, и не мешкая снова отправились к нему и едва лишь его увидели, сказали ему с немалой досадой:

— Скажи, добрый человек, почему ты нас так зло провел и обманул с ослом и с кроликом?

Крестьянин в ответ:

— Бог свидетель, сеньоры, всему причиной моя жена. Но не уйти ей от заслуженной кары прямо у вас на глазах, так что все ж получите вы полное во всем удовлетворение.

III

Продав кролика купцам, крестьянин сразу же сообразил, что потом произойдет, и не замедлил запастись бараньей кишкой. Он залил ее кровью и привязал жене на шею под платок. И притворившись очень рассерженным на свою жену, он в присутствии купцов сделал вид, будто ударяет ее по горлу ножом и перерезал кишку, привязанную к ее шее, так что тотчас же потекла кровь. А жена замертво рухнула наземь. Купцы, увидев, что крестьянин из-за них убил свою жену, ужаснулись и подумали, что если правосудие про то узнает, им это может обойтись очень дорого. А крестьянин, видя их очень озабоченными и опечаленными, говорит:

— Сеньоры, не волнуйтесь, потому как, если вам будет угодно, я ваших милостей ради снова ее оживлю.

Купцы и сказали ему, что им так угодно и что они ему будут за это весьма благодарны и простят всю свою на него обиду. Тогда крестьянин взял

трубу, что висела у него на стене, и начал дуть ей в зад, и женщина тотчас встала живой и невредимой. Увидев такое чудо, купцы тайно стали между собой совещаться:

— Нам нужно заполучить эту трубу, чего бы это ни стоило.

И они уже не тужили больше ни об осле, ни о кролике, потому что сочли, что трубой покроют весь прошлый ущерб, воскрешая мертвых и творя прочие чудеса. Так распалились они от превеликой силы этой трубы и от того, сколько богатства могли бы благодаря ей заполучить, что стали просить крестьянина продать ее им. А тот начал отговариваться, что, дескать, не раз ему случалось в сердцах убивать свою жену, а трубою той он ее воскрешал, как они уже видели. Но в конце концов упростили его купцы, и продал он ее им за полторы тысячи реалов, что показалось купцам очень удачной сделкой. И в превеликой радости отправились они домой. А по дороге стали думать, как бы им проверить трубу и под конец решили, что, приехав домой, зарежут своих жен. И замысел свой тотчас привели в исполнение: убили своих жен, а потом трубили трубою им в зад. Но те не воскресли, по каковой причине купцы впали в полное отчаяние, будучи столько раз проведенными крестьянином и напоследок потеряв своих жен, да и головы свои и все добро погубив, если правосудию о смерти их жен известно станет.

IV

И вновь пошли они к крестьянину с намереньем отомстить ему за все, что от него претерпели. И едва завидели его, накинулись на него, ругая

скверными словами, схватили и засунули в мешок и, хорошенько его завязав, повезли, чтобы кинуть в большую реку. Но вот проехали они немного, и от превеликой жары захотелось им очень пить, и они отправились в деревню, что была чуть в стороне от дороги, а мешок с крестьянином привязали к дереву и там оставили. Только отъехали купцы, как хитрый крестьянин принялся орать во всю мочь, что не хочет быть королем. И пастух, что пас там стадо, услышав крики, пошел посмотреть, в чем дело, и подошел к тому месту. Увидев, что кричавший о том, что он не хочет быть королем, находится в мешке, спросил, отчего тот такие слова говорит и как он туда попал. А тот в ответ и произносит:

— Эти люди силой везут меня, чтобы сделать королем, а я ни за что не хочу им быть.

Тогда пастух, загоровшись желанием стать королем, сказал, что он бы охотно согласился, а ему отдал бы все свое стадо. Крестьянин ему:

— Ну тогда развяжи меня, и я вылезу из этого мешка, а ты влезешь, и я тебя завяжу, и они подумают, что тебя оставили, и сделают тебя королем.

И пастух без промедленья развязал крестьянина и сам сел в мешок, а крестьянин хорошенько его завязал и, оставив там, ушел со стадом в превеликой радости, оттого что так удачно ускользнул из рук купцов. А когда купцы вернулись, взяли они мешок с пастухом, думая, что несут своего врага крестьянина, и бросили его в глубокую-глубокую реку.

Возвращаясь той же дорогой, наткнулись купцы на крестьянина, пасущего стадо, чему премного ужаснулись и подивились, и сказали ему:

— Как же так, добрый человек? Как ты оказался здесь? Разве мы тебя не бросили в реку?

Крестьянин в ответ:

— Да, бросили. Но там, куда вы меня бросили, я нашел несметные сокровища, взял то, что мне приглянулось, и купил вот это стадо.

А те спросили у него, осталось ли чего из сокровищ в реке. Ответил крестьянин, что там было столько, что и не поверить.

— Ну, л а д н о , — сказали к у п ц ы , — окажи нам такую милость и в отплату за весь ущерб, что ты нам причинил, брось-ка нас в то место, где лежат эти сокровища, и мы тебе простим все наши обиды.

И алчные купцы без промедленья притащили мешки и залезли в них, а крестьянин завязал их на совесть и бросил в реку выуживать сокровища. И так вот своими хитростями ускользнул крестьянин из рук купцов и остался богатым и хозяином стада.



АУИС ДЕ ПИНЕДО

ИЗ «КНИГИ ШУТЛИВЫХ ИСТОРИЙ»



алькальда Антекеры мавры похитили жену. Тот предложил за нее богатый выкуп, однако мавры, рассчитывая на большее, запросили вдвое и собрались уезжать, увозя с собой свою пленницу.

— Что ж, увозите, — сказал алькальд. — Только, видит Бог, обратно я ее и за тысячу дукатов не возьму.

Дон Фадрике, герцог де Альба, сказал как-то доктору Вильялбосу:

— Вам бы, сеньор доктор, только скотину лечить.

— А я и лечу, ваша милость, — отвечал доктор, — и презнатную.

Капитан Гайосо был человек невзрачный и малодушный. Будучи в Италии, он ухаживал за одной дамой и как-то во время обеда, который он устроил в ее честь и где было почти сплошь дамское общество, сказал ей:

— Не раз приходилось мне слышать, сеньора, что волчица всегда отдается самому трусливому и самому паршивому волку, оказывая ему предпочтение перед другими.

— Если это правда, — отвечала дама, — райская у вас, должно быть, жизнь, сеньор Гайосо.

Один студент из Саламанки, сын вдовы, приехал как-то в свою родную деревню в горах. Родственники, даже не зная, каким наукам он учился, стали ему сильно докучать, чтобы он сказал в церкви проповедь. Устав от этих докучательств, студент согласился и стал готовиться самым серьезным образом; однако стоило ему подняться на амвон, как с непривычки он так растерялся, что тут же все позабыл, и наконец, после долгого молчания, совсем отчаявшись, сказал:

— Знаете ли вы, сеньоры, что я хочу вам сказать?

На что один из бывших в церкви ответил:

— Догадываемся, сеньор.

— Ну так пусть, кто первый догадается, скажет остальным, — отвечал студент, и, прочитав «Ad quam nos perducatur»¹, удалился.

Жил как-то в наших краях один человек, разбогатевший на том, что готовил из разного мяса

¹ «К чему нас приводит» (лат.).

всевозможные копчения, причем слава о его замечательных копчениях шла повсюду. Был у него сын, юноша весьма недалекий, который водил дружбу с неким местным идальго, большим шутиком. Когда мясник умер, идальго, утешая сына, сказал ему между прочим:

— Не пойму, отчего вы так печалитесь, ведь очевидно, что душа вашего батюшки теперь на небесах.

— Откуда же мне знать об этом? — спросил сын, на что идальго отвечал:

— Вы можете убедиться в том собственными глазами. Вот послушайте: этой ночью, скорбя о вашем батюшке, который был мне большим другом, я не спал и смотрел на небо, думая увидеть там яркую звезду Альдебаран, которой обычно люблюсь и прошу охранять мое стадо, ведь надежней сторожа не сыщешь; и вот, не видя Альдебарана, я в изумлении стал искать его по всему небу, но так и не обнаружил, и, вспомнив о вашем покойном батюшке, понял, что это он, попав на небо, забил Альдебарана, чтобы приготовить из него свои замечательные копчения; и это точно так, поскольку с того дня, как он умер, Альдебарана не видно.

Глупец поверил словам приятеля и тут же с доброй вестью поспешил к матери, которая, вся в слезах и печали, выслушав сына, сердито сказала ему:

— Ах ты, чадо мое неразумное, где Альдебаран, и то не знаешь! Стала бы я так убиваться да плакать, не появись он нынче ночью на небе; а ведь попади туда наш кормилец, он бы его точно забил.

У одного священника-португальца была собака португальской породы. Однажды священник забыл дома молитвенник, и собака его весь изгрызла. Вернувшись домой, взбешенный португалец прибил собаку, но потом, разжалобясь, подозвал ее и, лаская, сказал:

— Послушай, Барбитас, не может того быть, чтобы португальский пес сотворил подобное, но, клянусь телом Господним, будь ты испанская шавка, я б тебя наизнанку вывернул.

Однажды в залу королевского дворца в Мадриде, где были герцог де Альба, граф де Чинчон и другие придворные, вошел коннетабль дон Педро де Веласко, закутанный в накидку из куньего меха с таким длинным волосом, что все, кто был в зале, принялись его вышучивать, причем особенно усердствовал граф де Чинчон, говоря, что коннетабль — вылитый дикобраз. Когда дон Педро подошел к ним, герцог сказал:

— Сеньор, граф говорит, что ваша милость очень похожи на дикобраза.

— Сеньор, — со смехом отвечал коннетабль, — если бы я был так колюч, вряд ли ваша милость так желали бы меня видеть, а граф — шутить надо мной.

Один мой знакомый кабальеро из Саламанки надумал постричься в монахи ордена Святого Франциска и, видя, что его слуги плачут, узнав о его намерении, сказал им:

— Что меня жалеть — над собой плачьте, ведь из-за вас, негодяев, в монахи иду.

Однажды, когда кардинал Лоайса рассуждал со своими друзьями о том, почему император не хочет жаловать своим духовникам, и в том числе фра Н. де Сан-Педро, который в то время исполнял эту должность, епископского сана, ему сообщили, что его величество окончательно решил не жаловать своему духовнику епископства, если тот не будет приносить в казну четыреста дукатов ежегодно.

На что кардинал заметил:

— Да, не позавидуешь бедняге; уж лучше получить сан великомученика, чем отпускать такие грехи.

Как-то в одном городе все восхищались пышным приемом, который был оказан некоей важной персоне. Услыхав это, один насмешник сказал:

— Ну, это что, я видел приемы много пышнее.

И когда его спросили, как это было, ответил:

— Да вот взять хотя бы мою собаку: когда мы только сюда приехали, все кобели отдавали ей честь и все сучки с ней перенюхались.

Однажды, когда королевский двор размещался в Толедо, доктор Вильялобос зашел во время службы в церковь и стал на молитву у алтаря Страстей Господних; случилось, что как раз в это время мимо проходила одна толедская дама по имени донья Ана де Кастилья, которая, увидя доктора, сказала:

— Убери, Господи, отсюда этого нехристя, это он убил моего мужа.

А дело было в том, что доктор перед тем лечил мужа этой дамы, который скончался.

Тут же к доктору подбежал запыхавшийся юноша со словами:

— Сеньор, ради Бога, пойдите скорее, моему отцу очень плохо.

— Дружище, — отвечал доктор Вильялобос, — взгляните на ту даму, что клянет меня и называет нехристом, потому что я убил ее мужа. А теперь взгляните сюда, — продолжал он, указывая на образ Богородицы. — Как скорбит и рыдает эта женщина, уверяя, что я убил ее сына. И вы хотите, чтобы я стал еще и убийцей вашего отца?

Некий кабальеро, решив подшутить над одной старухой, велел слуге опрокинуть корзину, в которой та несла яйца. Яйца разбились; старуха причитала, требуя, чтобы ей возместили убыток.

— Не горюйте, матушка, — сказал кабальеро, — я вам заплачу. Сколько было яиц?

— Не знаю, сеньор, — отвечала старуха, — только ежели поделить на два, одно будет в остатке; ежели на три, тоже одно; ежели на четыре — одно; на пять — одно и на шесть — тоже; а вот ежели поделить на семь, выйдет ровно.

Подсчитайте, и увидите сами, что всего было триста одно яйцо.

На балу в Валенсии император, будучи в маске, сказал некоей даме:

— Как вам пришелся герцог, сеньора?

— Так же, как вам герцогиня, — отвечала та.

Некто Сория, будучи при смерти, послал за священником для свершения всех обрядов, подоба-

ющих христианину. Уходя, священник вспомнил, что забыл спросить умирающего, где тот хочет, чтобы его похоронили.

— Об этом не беспокойтесь, святой отец, — ответил тот. — Как только умру, хозяйка меня сама на улице вышвырнет.

На базаре в Вальядолиде три торговки торговали яйцами: у одной их было пятьдесят, у второй — тридцать, у третьей — десять. Придя на базар, некий эконо́м купил яйца у первой, у второй и у третьей и увидел, что хотя все они были в одну цену, пятьдесят яиц обошлись ему во столько же, сколько тридцать. Спрашивается, как это может быть.

А вот как. Торговка, у которой было пятьдесят яиц, сказала эконо́му, что он должен ей по монете за каждые семь яиц и по три монеты за каждое яйцо из остатка; тот согласился и заплатил ей десять монет: семь раз по одной монете за сорок девять яиц, то есть семь монет, и три монеты за одно оставшееся, уплатив, таким образом, за пятьдесят яиц десять монет. Торговка, у которой было тридцать яиц, сказала, что согласна продать яйца на тех же условиях. Эконом согласился и заплатил ей четыре монеты за двадцать восемь яиц и шесть — за два оставшихся. Торговке же, у которой было десять яиц, он заплатил одну монету за семь яиц и девять — за три оставшихся. Вот как получается, что и пятьдесят, и тридцать, и десять яиц можно купить за одни деньги.

Дон Дьего де Асеведо взял в лакеи одного бывшего носильщика, человека грубоватого, но

добродушного; и вот, когда они шли как-то по улице, им навстречу попался носильщик, тащивший на спине огромный тюк. Видя, что бедняга вот-вот уронит свою ношу, слуга дона Дъего со всех ног бросился ему помогать; дон Дъего последовал дальше, а затем, вернувшись, стал выговаривать слуге за то, что тот из-за такого пустяка бросил своего хозяина, на что слуга ответил:

— Ах, ваша милость, поработай вы чуток носильщиком, сами бы не устояли: так ведь руки и чешутся помочь своему брату!

Некто Реса, скопец, состоявший на службе у принца, вышел как-то на прогулку в шляпе, к тулье которой были пришиты две большие, увесистые пуговицы. Увидев это, некий кабальеро сказал:

— Какие прекрасные пуговицы, сеньор Реса; может быть, если постараться, все еще станет на свои места.

Услышав это, некая сеньора, у которой Реса домогался места капеллана, сказала:

— Не станет, сеньор.

— Но почему, сеньора? — спросил Реса.

— Что с возу упало, то пропало, — отвечала дама.

Некто, расхваливая приятелю свое вино, сказал, чтобы тот как-нибудь прислал взять немного к обеду. На другой день к нему явилось несколько слуг с большими кувшинами. Отправив слуг обратно, хозяин сказал:

— Друзья мои, вы явно ошиблись. Думается мне, вас послали за водой на реку, а не за вином к имяреку.

Рассказывают, что неподалеку от Пласенсии есть монастырь по названию Пералес, то есть Грушевая роща, монахи которого пользовались дурной славой. Проезжая как-то мимо, декан церковного капитула написал на монастырской стене: «Здесьние груши всякий прохожий кушал». Монахи приписали внизу: «Что ж ты, ученый муж, не отведал наших груш?» Декан отвечал: «Перезрелок из вашего сада мне и даром не надо». На это монахи ответили: «Старые болтуны лишь языком сильны».

Один нищенствующий монах бродил по деревням, прося подаяния. В одной деревне стали так упрашивать его сказать проповедь, что он волей-неволей согласился; и вот, взойдя на амвон в четвертую седмицу великого поста, рассказал, как Спаситель, разделив пять тысяч хлебов и две тысячи фунтов рыбы, накормил ими пять тысяч человек. Узнав об этом, приор его монастыря спросил, правда ли, что он так вольно трактует Писание. Монах отвечал утвердительно. Когда же приор стал укорять его, говоря, что не следует уклоняться от Святого писания, монах ответил:

— Глядя на мою дырявую рясу, они и в щедрость-то Господню не хотели верить, а вы хотите, чтобы поверили в чудо.

В Монсон-де-Кампосе некий идалго, вернувшийся из Индий, рассказывал о заморских краях и между прочим сказал:

— Видел я там капусту, такую преогромную, что в ее тени могли бы преспокойно укрыться триста всадников.

На что случившийся тут же слуга маркиза де Посы сказал:

— Ничего удивительного; вот я в Бискайе видел, как двести человек клепали котел, да такой огромный, что даже стук не долетал от одного до другого.

Изумленный путешественник спросил:

— Сеньор, но зачем же нужен был такой котел?

— Затем, сеньор, — отвечал слуга, — чтобы сварить вашу капусту.

Известно, что вдовы имеют обыкновение подписывать свои письма: «Безутешная вдова такая-то».

Как-то донья Мария Энрикес, жена Хуана де Рохаса, сеньора де Монсон, отправила своему капеллану Гарси Эскудеро, письмо, по рассеянности подписавшись: «Безутешная донья Мария».

Капеллан, памятуя, что в свете принято отвечать учтивостью на учтивость, подписал ответное письмо: «Безутешный Гарси Эскудеро».

Эрнан Кортес рассказывал, как однажды по распоряжению сестры его деда монахини, стали копать землю возле одного скита под Медельином и наткнулись на каменную статую, на которой сбоку было написано: «Переверни и увидишь».



Когда же статую перевернули, прочли следующее:
«Благодарствую, а то весь бок отлежала».

Как-то в бытность свою в Саламанке в тридцатом году маэстро Кастилья, францисканский монах в один из дней великого поста проповедовал в монастыре Святого Духа, порицая легкомыслие и распущенность молодых дворян, среди которых был тут же и дон Дьего де Асеведо; и так как, произнося свои осуждающие речи, маэстро чуть ли не пальцем указывал на дона Дьего, тот не выдержал, вскочил с места и, намотав плащ на левую руку, правой выхватил шпагу и стал лихо размахивать ею, словно отражая словесные выпады проповедника. А поскольку происходило это при великом стечении народа, то и смеху было много, особенно же потому, что маэстро, ни на миг не потеряв нити своих рассуждений, продолжал проповедовать, словно ничего не замечая. Я же, клянусь, видел все это *propriis oculis*¹.

Попечитель королевского приюта под Бургосом тягался в суде с алькальдом Эррерой. Один из свидетелей, поклявшись под присягой говорить только правду, дал показания; когда же его спросили, не хотел бы он что добавить, ответил:

— Хотел бы, да попечитель не велел.

Во Флоренции восстала чернь и, изгнав из города знатных людей, стала править. Главным выбрали некоего скорняка. Один дворянин спросил его:

— Как же ты будешь править?

¹ Собственными глазами (*лат.*).

— Да так же, как в ы , — отвечал скорняк, — только навыворот.

Дону Алонсо де Кастилья, епископу Ка-лаорры, пришло однажды письмо, на котором значилось: «Препохонному сеньору епископу Ка-лаорры, владыке Содома и Гоморры, а также святому отцу детей Родриго из Баэсы».

Некто, желая пить, сказал слуге:

— Слуга, вина.

Слуга, о котором поговаривали, что он крещеный мавр, ответил:

— Никак не пойму, в чем вы меня вините.

Герцог дель Инфантадо, расхваливая преимущества старости, сказал как-то доктору Фабрисью:

— Теперь я больше вижу, обо мне больше пекутся и к моим словам больше прислушиваются.

И действительно: в глазах у него двоилось, близкие постоянно его допекали его немощами, и говорил он так, что еле можно было расслышать.

Когда после восстания император¹ второй раз приехал в Кастилию, все считали его человеком не очень далеким; и однажды Антон дель Рио, житель Сории, предстал перед его величеством, умоляя вспомнить его заслуги, так как в свое время он

¹ Имеются в виду восстание комунерос и император Карл Пятый (см. примеч. на с. 425 и 467).

ссудил императорской казне немало денег; на что император отвечал:

— Вы поступили весьма хорошо, ибо, поступи вы иначе, вы дорого бы мне заплатили.

В ту же пору на аудиенцию к императору явилась жена Кинтанильи и стала умолять, чтобы его величество соизволил простить ее мужа (каковой скрывался, так как был замешан в восстании), говоря, что она служила придворной дамой при королеве донье Исабели и что муж ее тоже состоял в свите; так что, поскольку они оба состояли на службе его величества, то она тем более умоляет, чтобы его величество соизволил простить ее мужа. Выслушав ее, император ответил:

— Поскольку все это так, мне стоит вдвойне наказать его, ему же вдвойне не стоило сердить меня.

Услышав, как один человек маленького роста жаловался, что плохо видит, император заметил:

— Посмотритесь в зеркало, и вы увидите еще меньше.

За участие в восстании фра Бернардино Пало-мо был заключен в крепость Монсон. Когда однажды он в сильной задумчивости стоял у окна, стражник сказал ему:

— Опять, верно, какие-нибудь козни строите.

— Займитесь своим делом, — отвечал ему фра Бернардино, — ибо вас поставили стеречь мое тело, а не мысли.

Губернатор некоего города обратился к Тристану де Акунье за советом — стоит ли ему просить у короля дона Мануэля должность посла в Риме.

— Просите, — ответил тот, — и, думаю, мне, получите, ведь вы совершенно для этого не годитесь.

Дон Родриго Пиментель, граф де Бенавенте, внушал своим слугам великий страх. Как-то, будучи у себя в Бенавенте, он сидел и писал важные письма, а несколько его пажей, стоя тут же, говорили между собой о том, какой у них строгий хозяин.

— Бьюсь об заклад, — сказал один, — что прямо сейчас подойду и влеплю ему хорошую затрещину.

Поспорили; и вот славный паж, будто чтобы узнать, не желает ли чего господин, подошел и влепил ему здоровенную затрещину со словами:

— Пресвятой Георгий!

— Что такое?! — воскликнул граф.

— Сеньор, — ответил слуга, — на затылке у вашей милости сидел огромный паук.

— Что ж ты, убил его? — спросил, вскакивая, испуганный граф.

— Убежал, ваша милость, — отвечал слуга.

Гарси Санчес из Бадахоса вышел как-то на улицу нагишом; брат его бежал следом, вопя, чтобы он образумился.

— Вот как, — ответил Гарси Санчес. — Я всю жизнь жду, пока ты поумнееешь, а ты и двух минут подождать не можешь.

Идя как-то по улице, Педро из Картахены заметил на галерее под самой крышей человека, который перегнулся через перила, собираясь броситься вниз; увидев это, Педро из Картахены спросил безумца, что он намеревается делать, на что тот ответил, что хочет полетать.

— Погоди, — сказал Педро из Картахены, — я тебе поправлю капюшон, а то ведь ты не видишь, в какую сторону лететь.

И, задержав его таким образом, поднялся наверх и увел безумца домой.

В Куэльяре жил как-то дурачок по прозвищу Чинато. Однажды зашел он в церковь, где служил некий клирик, по слухам — новообращенный. И вот, стоило тому подойти к распятию, как Чинато завопил во весь голос:

— Господи, берегись, опять твои враги к тебе подбираются!

В Толедо осматривали как-то дом умалишенных; и вот, завидя входящих, один из сумасшедших возопил:

— Я — архангел Гавриил, ниспосланный Богородице и возгласивший: «Ave Maria...»

— В р е т , — прервал его друг ой . — Я — Боготец и никогда его ни за чем подобным не посылал.

Однажды, жарким летним днем, ростовщик Сото появился в пышно расшитом камзоле с высоким воротником. Удивившись этому, донья Мария Сармьенто, жена маркиза де Посы, спросила:

— Господи Боже, сеньор Сото, неужели вам не жарко?

— Очень жарко, сеньора, — отвечал Сото, — зато каково шитье!

На некоего идальго из здешних мест донесли в инквизицию, что он ел мясо в постные дни. Представ перед судьями, он изложил им свое безупречное происхождение (при этом постоянно заикаясь и шепелявя), а под конец сказал:

— Что ж, теперь вы сами убедились, сеньоры, что я не только не иудей, не выкрест и не мавр, но также и не язычник, потому что язык у меня подвешен не лучшим образом.

Судьи посмеялись такому находчивому ответу, и на том дело и кончилось.

Узнав о том, каким разрушениям подверглась Гранада, король фесский сказал:

— Три вещи, по крайней мере, у нее нельзя отнять: зеленый убор ее садов, серебряный пояс реки и белый плат снегов на горных вершинах.

Некий римский еврей угощал одного новообращенного холодной свиной, на что тот ответил:

— Э нет, меня не проведешь: горяч он или холоден — один черт!

В некоем городе представляли страсти Господни: по улице шел человек, неся крест Спасителя,

а толпа со всех сторон награждала его тычками, плевками и поношениями. Случилось проезжать мимо одному португальцу, который, увидя это, соскочил с коня и, выхватив шпагу, бросился на истязателей; те, видя, что дело не шуточное, разбежались, португалец же сказал:

— Клянусь Господом, до чего подлый народ эти испанцы!

И, с досадой обернувшись к Христу, продолжал:

— А ты, добрый человек, что ж ты каждый год им в руки даешься?

В другой раз некий португалец проповедовал о страстях Христовых, и поскольку, слушая его, все прихожане плакали навзрыд и беспрестанно стонали, обратился к ним со словами:

— Не убивайтесь так, сеньоры: кто знает, может, ничего такого и не было.

В местечке Сельцо Простаковского округа некий прощельяга монах под страхом отлучения согнал всех крестьян на проповедь, темой для которой взял слова Иова «*Quid est homo*»¹, один крестьянин, перед тем выгонявший своих лошадей на луг, запоздал и вошел в церковь в тот самый момент, когда монах возгласил по-испански:

— Кто ты есть, человече? Откуда явился в мир?

¹ «Что есть человек» (лат.).

Крестьянин, решив, что обращаются к нему, громко ответил:

— Перо Гонсалес меня зовут, сеньор, вот лошадей на луг выгонял.

Те, кто был рядом с ним, зашептали:

— Тише ты, тише, это на него снизошло.

— Ах, нашло на него, — отвечал крестьянин. — Так пусть тогда про себя расскажет, откуда он в мир явился и какая шлюха его родила.

И сколько ни пытались объяснить ему, в чем дело, все без толку.

Рассказывали мне как-то в Валенсии, что его преподобие мосен Феррер Старший, выйдя однажды из дворца после аудиенции у вице-короля, не нашел своего мула, которого спрятали слуги. Разыскав мула, его преподобие спокойно отправился домой. Когда же один из бывших с ним друзей спросил, почему он не наказал слуг за их проделку, тот отвечал:

— Тише, не дай Бог они поймут, что нам нужны, тяжело нам тогда придется.

Однажды некий монах-бенедиктинец на страстной неделе читал проповедь в Вифлеемской церкви в Вальядолиде. Кафедра, где он стоял, находилась рядом с решетчатой перегородкой, за которой молились монахини; и так как пылкий проповедник постоянно размахивал руками, то зацепился широким рукавом рясы за острые концы решетки и вместе с кафедрой обрушился на монахинь; причем один из прихожан заметил:

— Знал, куда упасть.

Однажды в день Святого Петра некий нищенствующий монах читал в Вальядолиде, в приходе святого Петра, проповедь, на которой присутствовало много лиц из высшего духовенства, и среди них — кардинал Лоайса; а так как в обычае монаха было порицать и укорять свою паству, то и на этот раз он стал выговаривать прелатам за то, что они слишком воздержанны в своих милостях и слишком умеренны в своих благостынях; и наконец, обернувшись к кардиналу, произнес:

— Чего, впрочем, не скажешь о вашем преподобии, ибо все, что имеете, вы отдаете. И кому же? Фра Висенте, вашему казначею.

В Вальядолиде, рядом с церковью Святого Стефана, есть могила с такой эпитафией:

Здесь спит дон Педро Лежебока,
Покойным сном почив глубоко,
Вкушая прах, сам прахом стал,
В долг не давал, взаймы не брал,
Что скрыто здесь —
Бог весть.

Как-то коннетабль шел с доньей Марией де Мендоса под руку в некоем темном месте.

— Славное местечко, — сказал коннетабль, — не будь ваша милость вашей милостью.

— Да, славное, — отвечала донья Мария, — будь ваша милость не вашей милостью.

Герцогу дель Инфантаго прислали однажды из толедских кортесов такое письмо: «Поскольку вы выдали свою дочь за Санчо де Паса, согласились служить королю и обнажили шпагу против

альгвасила, то о своей чести можете не заботиться — у короля ее на всех предостаточно».

Выдавая свою дочь за коннетабля кастильского, маркиз де Сантильяна передал с ней письмо, в котором написал: «Дочь моя, посылаю вам обещанное приданое и хочу, чтобы вы знали, что не осталось теперь у вашего батюшки ни овцы, ни быка, ни на теле жирка».

У Дьего де Рохаса служил егерь, о котором шла молва, что он рогат. А за женой его ухаживал один из пажей Дьего де Рохаса. И вот однажды, подкараулив пажа на улице, егерь выхватил шпагу и бросился на него, так что пажу не оставалось ничего иного, как скинуть плащ и, набросив егерю на голову, скрыться. Егерь пришел жаловаться к Дьего де Рохасу; когда же позвали пажа и спросили, как все было и правду ли говорит егерь, тот ответил:

— Клянусь Господом, я всего лишь набросил на него плащ, ведь иначе бы он меня забодал.

Дон Антоньо де Веласко сказал однажды адмиралу дону Фадрике, имея в виду его малый рост:

— Кажется мне, что вы подросли.

— Рядом с вашей милостью, — ответил дон Фадрике, — любая посредственность кажется выше.

Граф де Уруэнья, узнав, что его сын, дон Педро Хирон, примкнул к восстанию, послал ему письмо, в котором была всего-навсего одна фраза: «Сын мой Педро, взялся за гуж, не говори, что не дюж». Таково было наставление старого графа.

Некий дворянин был влюблен в одну даму, но поскольку та не соглашалась уступить его желаниям прежде, чем он увезет ее из родительского дома, то они договорились бежать, и на следующую же ночь ехали по ведущей из города дороге. Ярко светила луна, и размечтавшийся кавалер сказал:

— Славная ночка, чтобы вскружить голову какой-нибудь бабенке, не правда ли, сеньора?

Услышав это, дама взглянула на своего воздыхателя совсем иными глазами и, оставив его слова без ответа, сказала:

— Главное-то мы и забыли. Я взяла у матушки сто дукатов, так что вернемся за ними, если вы не против.

Кавалер отвечал, что он совершенно согласен, что деньги им никак не помешают, потому что без хлеба и вина любая дорога длинна, даже если мяса вдоволь, ведь одной любовью сыт не будешь. Когда они вернулись, он остался у дверей, глядя на луну и вздыхая о своей даме. Прошло немало времени, наконец она появилась в одном из окон и сказала:

— Эй, сеньор!

— Что вам угодно, моя госпожа? — откликнулся кавалер, на что дама отвечала:

— Славная ночка, чтобы кружить головы дуракам, не правда ли?

С этими словами она захлопнула окно, и наш кавалер остался ни с чем.

Представь же себе, читатель, что он в ту минуту почувствовал.



АНТонио де Виьетас

АБЕНСЕРРАХ И ПРЕКРАСНАЯ ХАРИФА



Вглядитесь в сей живой портрет доблести, великодушия, отваги, благородства и верности: Родриго де Нарваэс, Абенсеррах и Харифа, ее отец и король Гранады; и хотя лишь две фигуры составляют суть сего портрета, все прочие придают ему блеск и совершенство. И как драгоценный алмаз, оправленный в золото, серебро или свинец, имеет свою истинную и известную цену, определяемую каратами, так добродетель живет в любом, даже низком существе и высвечивает его несчастные заблуждения, хотя сама она и ее действие подобны зерну, которое, упав в добрую почву, произрастает, а в дурной — гибнет.

Рассказывают, что во времена инфанта дона Фернандо, овладевшего Антекерой, жил рыцарь по имени Родриго де Нарваэс, замечательный своей доблестью и ратными подвигами. Сражаясь с маврами, он проявил великое мужество, особливо при осаде и взятии Антекеры, и совершенные им деяния заслуживают того, чтобы помнить о них вечно. Однако Испания наша не ценит подвигов, полагая их делом привычным и обыденным: у нас что ни соверши, все мало, не то что у греков и римлян: те всех, кто хоть раз в своей жизни рисковал ею, обеспечивали бессмертием в своих творениях. Посему Родриго де Нарваэса, явившего чудеса храбрости во имя веры и короля, после взятия Антекеры сделали ее алькальдом, рассудив, что коль скоро он положил столько сил для завоевания города, то пусть и дальше не жалеет их для его защиты. Поставили его также и алькальдом Алары, так что на его попечении были обе крепости, и он должен был поспевать и туда и сюда, зорко следя за угрозой нападения. Обычно он пребывал в Алоре, где имел полсотни дворян, состоящих на королевской службе и присланных для охраны крепости; их число было постоянным подобно числу бессмертных царя Дария: умершего или погибшего воина сразу же заменяли другим. Все они так верили в силу и доблесть своего предводителя, что все им было ни по чем: они без конца досаждали своим врагам, умело оборонялись от них и из всех схваток выходили победителями, что способствовало их славе и пользе: всегда у них всего было вдоволь.

Но вот однажды вечером, в самое тихое время после ужина, алькальд обратился к ним со следующей речью:

— Думается мне, мои сеньоры и братья, что ничто так не возбуждает людские сердца, как ратные подвиги, поскольку при этом укрепляется вера в силу собственного оружия, и исчезает страх перед чужим. Дабы в сем убедиться, нам не нужны свидетели со стороны, поскольку вы сами — лучшие тому свидетели. Говорю вам это, ибо уже много дней мы ничего не предпринимали ради прославления наших имен, и я бы осудил сам себя, ежели бы, имея на службе столь отважных солдат, оставил их проводить дни в безделье. Надеюсь, вы все согласитесь со мной, что именно в этот час, когда царят вечерние тишина и покой, было бы недурно дать нашим врагам почувствовать: защитники Ало-ры не дремлют.

И все ему отвечали, что пойдут за ним как один. Но алькальд отобрал из них девятерых и велел им облачиться в боевые доспехи. Вооружившись, они выехали из крепости через потайные ворота, дабы враг не смог их обнаружить: крепость должна быть в безопасности. Доехав до перекрестка, они разделились. И алькальд сказал им:

— Если мы все поедем по одной дороге, то можем упустить добычу. И потому вы пятеро следуйте этой дорогой, а я с четверыми отправлюсь по другой; и коль, столкнувшись с врагами, по малочисленности своей мы не сможем одолеть их врозь, тогда трубите в рог, и остальные поспешат на подмогу.

Пятеро поехали указанной дорогой, беседуя о разных разностях, как вдруг один из них придержал коня:

— Стойте, други, или мне почудилось, или кто-то приближается к нам.

Поспешно укрывшись в придорожном кустарнике, они услышали стук копыт и увидели едущего на гнедом коне благородного мавра: статный и прекрасный лицом, он ладно сидел в седле. На нем была красная марлота и шерстяной бурнус того же цвета, весь изукрашенный золотом и серебряным шитьем. На нарукавнике, одетом на правую руку, было вышито изображение прекрасной дамы, а в руке всадник держал тяжелое, но изящное копьё с двойным острием. При нем был также щит и кривая сабля, а на голове красовался тунисский тюрбан: ткань, многократно обернутая вокруг головы, служила ей для украшения и защиты. В своем одеянии мавр выглядел на редкость живописно; он ехал и пел песню, сложенную им в честь сладостной любви:

Родился я в Гранаде
и в Картаме возвращен,
близ Алоры, в Кионе,
в красавицу влюблен.

И хотя его пению недоставало искусности, сам певец явно был доволен: его сердце пылало любовью, и она придавала песне бесхитрое очарование. Рыцари, не ожидавшие подобной встречи, несколько замешкались, и мавр успел проехать мимо, прежде чем они выскочили из кустов. Видя себя окруженным, всадник проявил благоразумие и с величавым достоинством ожидал, что будет дальше. Четверо из пяти рыцарей отъехали в сторону, а оставшийся ринулся на противника, однако мавр оказался ловчее и одним ударом копыя свалил рыцаря вместе с конем. При таком обороте уже трое рыцарей из четверых поспешили бро-

ситься на него: сказочно могучим представился он им, так что против одного мавра сражались трое христиан, в то время как одному христианину подобало противостоять десятерым маврам, а тут, поди ж ты, трое с одним справиться не в силах. Все же на миг мавр очутился в большой опасности: копьё его переломилось, и рыцари начали теснить его; однако, прикинувшись, будто он обращен в бегство, мавр дал шпоры коню и, внезапно напав на одного из рыцарей, вышиб его из седла, а сам проворно соскочил на землю и, выхватив у поверженного копьё, вновь развернулся навстречу врагам, поверившим, что он и вправду спасается бегством; с невиданной силой мавр обрушился на них, и двое из трех очутились на земле. Последний, почуяв, что дело худо и без подмоги не обойтись, протрубил в рог, а сам тоже ринулся в бой. Разъяренные столь упорным сопротивлением мавра рыцари теперь нападали на него с удесятеренной силой: один из них вонзил ему в ногу копьё. Мавр, вне себя от гнева и боли, нанес ответный удар копьём и свалил рыцаря вместе с конем наземь.

Родриго де Нарваэс, услышав звук рога, направил коня к месту боя; скакун у него был отменный, и рыцарь вмиг поспел туда, где его ждали. Однако отчаянная храбрость мавра даже его повергла в ужас: четверо из пятерых рыцарей лежали простертыми на земле, и последний держался из последних сил. Тогда Родриго де Нарваэс обратился к мавру:

— Я вызываю тебя на бой, и ежели ты победишь меня, все остальные тоже признают себя побежденными.

И завязалась между ними смертельная схватка, но поскольку рыцарь был полон сил, а мавр



страдал от раны и был измучен сражением, Родриго де Нарваэс наносил ему удар за ударом, не давая опомниться; все же, понимая, что в этом бою поставлены на карту его жизнь и честь, мавр извернулся и едва не поразил рыцаря насмерть, однако тот успел прикрыться щитом и ответным ударом ранил мавра в правое плечо, а затем кони их сшиблись, и рыцарь, стащив мавра с седла, бросил его на землю. И, прижав его к земле, сказал:

— Признай себя побежденным, а не то будешь убит.

— Ты можешь убить меня, — отвечал мавр, — ведь я в твоей власти, но победить меня может лишь тот, кто уже победил однажды.

Алькальд оставил без внимания загадочность этих слов и с присущим ему благородством помог мавру подняться с земли: раненые нога и плечо, усталость и падение лишили мавра сил; взяв у товарищей все необходимое, алькальд перевязал пленника. Затем он подвел мавру рыцарского коня (конь мавра был ранен) и подсобил сесть в седло. И все они двинулись обратно в Алору. И по дороге продолжали восхищаться благородством и храбростью мавра, а тот лишь тяжело вздыхал, бормоча что-то на своем родном языке, непонятном для остальных. Родриго де Нарваэс, любуясь его горделивой осанкой и вспоминая его силу и ловкость в недавнем бою, рассудил, что тоска, явно терзавшая столь могучий дух, имела причиной не одну лишь неудачу в сражении. И дабы уяснить себе, отчего так печален его пленник, рыцарь обратился к нему со следующими словами:

— Тот, кто теряет мужество в плену, теряет и право на свободу. В сражении рыцарь может победить, но может оказаться и побежденным, ибо

все зависит от судьбы; и слабость, выказываемая тем, кто до сих пор являл собой пример крепости духа, для него губительна. Ежели ты страдаешь от ран, то они будут заботливо излечены; ежели тебя угнетает пленение, то таков закон войны, и ему подчиняются все, кто участвует в ней. Но ежели тебя терзает тайная печаль, то откройся мне, я обещаю тебе облегчить ее всеми доступными мне средствами.

Мавр поднял опущенную голову и спросил в свою очередь:

— Кто ты, рыцарь, что так сочувствуешь мне в моем горе?

Рыцарь отвечал:

— Мое имя Родриго де Нарваэс, я — алькальд Антекеры и Алоры.

Мавр посветлел лицом и воскликнул:

— Воистину моя печаль уже не столь безысходна, раз враждебная ко мне судьба отдала меня в твои руки, ибо хотя я доселе никогда тебя не видел, но много слышан о твоих разуме и добродетели; и поскольку тоска моя не от ран, и я верю, что тайна моя умрет вместе с тобой, я прошу тебя отослать твоих рыцарей, чтобы я мог поведать тебе обо всем.

Алькальд велел рыцарям ехать вперед, и когда они остались одни, мавр, тяжело вздохнув, начал свой рассказ:

— Родриго де Нарваэс, алькальд прославленной Алоры, вникни в мои слова, и ты поймешь, что козни Фортуны могут разбить сердце несчастного пленника. Меня зовут Абиндарраэс Младший, в отличие от моего дяди, брата моего отца, который носит то же имя. Я из рода гранадских Абенсеррахов, ты о них, разумеется, слышан; и хотя с меня довольно нынешних бед и вроде бы ни

к чему поминать еще и прежние, однако я поведаю тебе все по порядку. Абенсеррахи — один из знатных родов Гранады, цвет Гранадского эмирата, ибо по части образованности, благородства, различных дарований и храбрости представители этого рода всегда превосходили всех прочих; они были уважаемы правителями и знатью и любимы народом. Изо всех сражений они возвращались победителями; они первенствовали во всех конных состязаниях, ими затевались различные празднества, где они затмевали всех роскошью своих одежд. Воистину, и в мирных увеселениях, и на бранном поле Абенсеррахи всегда служили примером для всего эмирата. Никто из их рода не запятнал себя скупостью, предательством или дурным поступком. Все они служили прекрасным дамам, и все прекрасные дамы почитали за честь иметь своими обожателями Абенсеррахов. Но, видно, Фортуна позавидовала Абенсеррахам и погубила их благоденствие, как ты узнаешь из дальнейшего. Эмир Гранады нанес двум наиболее благороднейшим представителям рода Абенсеррахов тяжкое несправедливое оскорбление, и причиной тому был оговор их перед эмиром. И вот, якобы желая отомстить за поруганную честь, чему я не верю, эти двое и, по их настоянию, еще десятеро, поклялись убить эмира и разделить эмират между собой. Этот заговор, действительно замышлявшийся или мнимый, был раскрыт, и эмир, дабы не возбуждать народ, обожавший Абенсеррахов, велел их всех тайно, ночью, обезглавить: отложи он казнь, и Абенсеррахи, как ему чудилось, лишили бы его власти. Абенсеррахи предлагали эмиру огромный выкуп, но он не пожелал их выслушать. Их смерть оплакивали все: зачавшие их отцы и родившие их матери, дамы, которым они служи-

ли, и товарищи, с которыми они вместе сражались. И весь народ предавался столь бурной и нескончаемой печали, словно город был захвачен врагом, словно слезами они могли избавить Абенсеррахов от столь унижительной смерти. Вот так суждено было погибнуть славному роду и лучшим его сынам; о, как медлит Фортуна, возводя кого-либо на пьедестал, и как поспешно низвергает она его оттуда; как медленно растёт дерево, и как скоро сгорает оно в огне; как нелегко возводится дом, и как в один миг его уничтожает пожар; скольких людей умудрил горький опыт несчастных Абенсеррахов, безо всякой вины умерщвленных, о чем было провозглашено на всех площадях; их дворцы были разрушены, имущество отчуждено, а их славное имя сделалось символом предательства. После несчастья, постигшего наш род, никто из принадлежавших к нему не мог оставаться в Гранаде, кроме моих отца и дяди, чья невиновность не внушала сомнений, но и им было дозволено оставаться там лишь при условии, что их сыновья станут воспитываться, а дочери выйдут замуж вне пределов Гранады и никогда туда не возвратятся.

Родриго де Нарваэс, видя с какой болью мавр повествует о своих злосчастьях, обратился к нему:

— Все же то, что ты мне поведал, невероятно; мыслима ли столь вопиющая несправедливость? И как возможно было поверить, что столь благородные мужи стали предателями?

— Ты повторяешь мои же слова, — отвечал мавр. — Но послушай дальше, и ты узнаешь, как преследовала судьба с тех пор несчастных Абенсеррахов. Едва я покинул чрево матери, мой отец, дабы исполнить повеление эмира, отправил меня на воспитание к алькальду Картамы, с которым был в тесной дружбе. У алькальда была един-

ственная дочь, которую он любил лучше себя самого, поскольку девочка росла красавицей и к тому же стоила жизни своей матери, умершей от родов. Мы с ней воспитывались как брат с сестрой, и так нас все и называли. Не припомню часа, который мы не проводили бы с ней вместе: вместе играли, гуляли, пили и ели. Из этой детской дружбы родилась любовь: мы росли, и она росла вместе с нами. Вспоминаю, как, выйдя в жасминовый сад, я нашел ее сидящей у водоема: цветами жасмина она украшала себе волосы. Я глядел на нее во все глаза, пораженный ее красотой, мне почудилось, что передо мной сама нимфа Салмакида¹, и я мысленно произнес: «О, лишь герой, подобный основателю Трои, достоин лицезреть сию богиню!»

Как я сожалел в ту минуту, что она — моя сестра; я не в силах был дольше незримо любоваться ею и поспешил подойти к водоему; увидев меня, она протянула ко мне руки и, усадив рядом с собою, проговорила с упреком:

— Брат, что же ты так надолго оставляешь меня одну?

И я отвечал ей:

— Госпожа моя, я долго тебя искал, и никто не мог сказать мне, где ты, пока мне не сказало об этом мое сердце. Но открой мне, откуда тебе известно, что мы с тобой и вправду брат и сестра?

— Мне ничего неизвестно, кроме того, что я тебя очень люблю, и все нас так называют...

— А если бы мы не были братом и сестрой, ты бы также меня любила?

¹ Салмакида — нимфа источника у Галикарнасса (Кария), вода которого, по преданию, обладала свойством изнеживать того, кто ее пил.

— Но тогда мой отец не позволил бы нам всегда быть вместе, и тем более наедине...

— Я предпочел бы лишиться этой радости и страдать от любви...

Тут ее прекрасное лицо залилось румянцем, и она спросила:

— Разве твоя любовь теряет что-либо от нашего родства?

— Да, я теряю себя и теб я, — отвечал я.

— Я не понимаю твоих слов, но мне кажется, что именно наше родство питает нашу любовь...

— Мою любовь питает твоя красота, а наше родство лишь умеряет жар моей любви.

Тут я опустил глаза от смущения и увидел в зеркале водоема мою красавицу, а когда вновь поднял голову, она была передо мной, живая и прекрасная... Однако ее истинный образ жил в моем сердце. И я произнес про себя, не желая быть услышанным: «Ах, если б я мог утонуть в этом водоеме, откуда мне улыбается моя госпожа, насколько я был бы невиннее Нарцисса! И если бы она полюбила меня той же любовью, как люблю ее я, как бы я был счастлив! И если б судьба дозволила нам всегда жить вместе, сколь радостной стала бы моя жизнь!»

Взволнованный подобными мыслями, я встал и принялся обрывать цветы жасмина вокруг водоема. Мешая их с миртом, я сплел прекрасный венок и, украсив им свою голову, увенчанный и покорный, обратил взор к моей любимой. Она ответила мне взглядом, более любовным, чем обычно, и, сняв с меня венок, надела его на себя. В тот миг она была прекрасней, чем Афродита, которой Парис присудил яблоко, и когда она спросила меня: «Ну, что ты скажешь обо мне, Абиндарраэс?» — я отвечал:

— Скажу, что ты достойна быть королевой всего мира и носить королевскую корону.

Тогда она взяла меня за руку и произнесла:

— Если так случится, брат, то и ты ничего не потеряешь.

Не сказав больше ни слова, я последовал за ней, и мы покинули сад. Мы долго еще пребывали в заблуждении относительно нашего родства, но любовь отомстила нам и развеяла спасительный обман: войдя в возраст, мы оба поняли, что мы не брат и сестра. Не знаю, что при этом почувствовала она, но я был счастлив безмерно, хотя потом дорого заплатил за свое счастье. В ту самую минуту, как мы догадались, что мы с ней не родные, наша любовь, прежде столь естественная и чистая, обернулась для нас злым и неистовым недугом, от коего излечит нас одна лишь смерть. В любви нашей не было тех первых душевных побуждений, которые могли бы остеречь нас, поскольку она возникла как естественное благо, и превращение ее в болезненную страсть произошло не постепенно, а сразу, вдруг: все мои чувства были обращены к моей любимой, и душа моя сливалась нераздельно с ее душой. Все кругом, кроме нее, представлялось мне безобразным, бессмысленным, бесполезным, все мои мысли были только о ней.

Радостная беспечность прежних дней исчезла: отныне я с подозрением следил за каждым ее шагом, я завидовал касавшимся ее лучам солнца; ее присутствие причиняло мне боль, когда же ее не было рядом, мое сердце почти переставало биться. И вместе с тем я не желал ничего иного, ибо она платила мне той же монетой.

Однако Фортуне наша любовь пришлось не по нраву, и она разлучила нас, о чем я поведаю вам

далее. Эмир Гранады, решив вознаградить алькальда Картамы за беспорочную службу, повелел назначить его алькальдом Коина, что граничит с вашей крепостью, а мне было определено остаться в Картаме в распоряжении нового алькальда. Если вы сами, сеньор, когда-нибудь любили, вы можете себе вообразить, в какое отчаяние ввергло нас сие ужасное известие. Мы сошлись на тайном свидании и горько оплакивали предстоящую разлуку.

— О госпожа моя, душа моя, мое единственное счастье! — безутешно взывал я, награждая ее всеми нежнейшими именами, которым научила меня любовь. — Отняв у меня свою красоту, будешь ли ты помнить вечного ее пленника?

И тут мои слова прерывались еле сдерживаемыми рыданиями, однако я возобновлял свои жалобы и мучил ее невнятными укорами, смысл коих я забыл, ибо даже память мою она увезла с собой. Кто опишет все слова утешения и жалости, исходившие из ее нежных уст, но мне их было мало, хотя до сих пор в моих ушах звучат эти бесчисленные сладостные слова! Не в силах дольше выносить эту муку, мы расстались с ней, обнявшись на прощанье и заливаясь слезами. Видя, что я почти близок к смерти от горя, она воскликнула:

— Абиндарраэс! Душа моя готова покинуть тело при мысли о неизбежной разлуке, и ты тоже не в силах ее пережить; и потому я клянусь тебе, что буду твоей навсегда, до самой смерти: мое сердце, моя жизнь, моя честь и все, чем я владею, принадлежат тебе, и в подтверждение этого, как только я прибуду в Коин, куда отправляюсь вместе с отцом, я присмотрю место, где мы могли бы видеться, и дам тебе знать. Ты приедешь туда, и там я отдам тебе мое последнее достояние, но

лишь после того, как назову тебя моим супругом: иначе ни твоя честь, ни мое достоинство не позволят нам соединить наши судьбы.

Ее слова немного успокоили мое сердце, и я целовал ей руки, благодаря за обещанную милость. Назавтра они уехали, а я остался и был словно путник, застигнутый внезапно ночью в горах, среди отвесных и лесистых скал. Ее отсутствие мучило меня жестоко, и я тщетно искал утешения в том, что неотрывно смотрел на окна, из которых прежде выглядывала она, омывал руки в ее купальне, заходил в ее пустующую спальню, сидел в саду, где она отдыхала во время съесты. Я бродил по всем ее любимым местам, но их красоты лишь усиливали мою печаль. Надежда, что моя любимая вот-вот позовет меня, спасала меня от полного отчаяния, хотя порой невозможность видеть ее делало мою муку столь невыносимой, что я предпочел бы лишиться всякой надежды, ибо безнадежность, когда она очевидна, не может больше мучить, а надежда терзает, покуда не осуществится. Но вскоре моя надежда сбылась: моя госпожа позвала меня, прислав ко мне одну из своих служанок, которой доверяла: отец моей любимой, призванный эмиром, отбыл в Гранаду. Известие это несказанно обрадовало, и я стал готовиться к отъезду, намереваясь из осторожности пуститься в путь ночью. Я облачился в парадное платье — то, что ты видишь на мне, дабы и этим выказать ей радость моего сердца. И я верил, что даже сотня рыцарей не в силах преградить мне путь, ведь со мной моя госпожа, и если ты, рыцарь, победил меня, то отнюдь не по причине слабости моей, а лишь потому, что злая судьба или веление небес не пожелали, чтобы я был счастлив. Теперь из моих слов ты знаешь, какое

счастье я утратил и какое горе у меня на сердце. Я спешил из Картамы в Коин, и хотя мое нетерпение удлиняло мне дорогу, я был самым счастливым из Абенсеррахов: меня позвала моя госпожа, я ехал к ней на свидание, чтобы насладиться ее любовью и стать ее супругом. И вот я перед тобой: страдающий от ран, пленный, побежденный, и мне осталось лишь смириться с тем, что счастье мое утрачено мной навеки. И потому, прошу тебя, не мешай мне предаваться печали и не осуждай мою слабость — мне понадобится много сил, чтобы пережить удар, нанесенный судьбой.

Родриго де Нарваэс, изумленный и растроганный рассказом Абенсерраха, и понимая, что всякое промедление губительно для счастья влюбленных, обратился к мавру со словами:

— Абиндарраэс, я хочу, чтобы ты убедился, что моя доблесть способна одолеть твою злополучную судьбу. Если ты поклянешься вернуться через три дня и вновь стать моим пленником, я отпущу тебя теперь на свободу, ибо не желаю препятствовать твоему счастью.

Мавр, услышав это, готов был от радости пасть к ногам рыцаря и отвечал:

— Родриго де Нарваэс, если ты поступишь так, то ничье сердце не в силах будет сравниться с благородством твоего сердца, а мне ты подаришь жизнь. И я поклянусь тебе, чем хочешь, что свято выполню наш уговор.

Алькальд подозвал к себе рыцарей и сказал им:

— Сеньоры, доверьте мне нашего пленника, я готов за него поручиться.

Рыцари отвечали, что повинуются его воле. Тогда алькальд, вложив свою правую руку в ладони мавра, сказал ему:

— Ты даешь мне слово рыцаря, что через три дня вернешься в крепость Алары и вновь станешь моим пленником?

И мавр ответил:

— Да, обещаю.

— Тогда счастливый тебе путь, и если понадобится моя помощь, можешь на нее рассчитывать.

Мавр, повторяя слова благодарности, пустился вскачь по дороге в Коин. А Родриго де Нарваэс и его рыцари продолжали путь в Алору, восхищаясь храбростью и благородными манерами мавра.

Абенсеррах между тем уже подкакал к Коину, не задержавшись чересчур противу назначенного срока: приблизившись к крепости, он, не слезая с коня, отыскал, как ему было велено, потайные ворота и внимательно осмотрелся, не выслеживает ли его кто-нибудь. Убедившись, что все спокойно, он постучал в ворота острием копья, как было условлено с присланной к нему служанкой. И она сама отперла ему ворота.

— Где же вы задержались, мой господин? Ваше опоздание ввергло нас в большую тревогу. Моя госпожа давно вас ждет. Оставьте коня здесь, а сами поторопитесь к госпоже.

Мавр спешился и поставил коня в укромное место, там же спрятал копье, щит и саблю. Служанка, держа его за руку и веля ему двигаться как можно бесшумнее, дабы обитатели замка не могли их заметить, провела его по лестнице до покоев прекрасной Харифы — так звали возлюбленную Абенсерраха. Едва заслышав его шаги, Харифа бросилась ему навстречу. Они заключили друг друга в объятия и от нахлынувших на них чувств не могли произнести ни слова.

— Что тебя так задержало, господин мой? — наконец проговорила она. — Я места себе не находила от волнения и тоски.

— Госпожа моя! — отвечал Абиндарраэс. — Я опоздал не по своей воле. Не всегда бывает так, как люди предполагают.

Харифа взяла его за руку и повела в потайную комнату. Там, присев на постель, она сказала ему:

— Я хочу, Абиндарраэс, чтобы ты убедился, как умеют держать свое слово влюбленные женщины; с того самого дня, как я дала тебе любовное обещание, я без устали искала способа его исполнить. И я призвала тебя сюда, в замок, дабы ты стал моим пленником, — ибо я уже давно твоя пленница, — и чтобы ты в качестве моего супруга владел мной и имением моего отца, хоть он, я думаю, станет противиться этому, ибо не знает цены твоим достоинствам и желал бы найти для меня супруга побогаче; мне же не нужно другого богатства, кроме тебя и нашей любви.

Произнося эти слова, Харифа низко опустила голову, смущенная тем, что говорит столь откровенно. Мавр обнял ее, благодаря за оказываемую ему милость и осыпая бессчетными поцелуями ее руки.

— Моя госпожа, милость твоя ко мне столь велика, что я не могу стать твоим иначе, как назвав тебя прежде моей повелительницей и супругой.

И кликнув служанку, они в ее присутствии назвали друг друга супругами. А затем служанка оставила их вдвоем в супружеской спальне, где плотское наслаждение еще более воспламенило их сердца. И в этой любовной битве было одержано немало сладостных побед и прозвучало немало

нежных призывов, однако не следует пытаться описывать то, что не поддается описанию.

Очнувшись от сладостного забытья, мавр внезапно вспомнил о своем уговоре с Родриго де Нарваэсом и разразился скорбным стоном. Нежная супруга, превратно сочтя сию скорбь обидной для ее красоты и любовного пыла, приступила к нему с допросом:

— Что с тобой, Абиндарраэс? Не моя ли любовь — причина твоей непонятной печали? Отчего ты стенаешь и не находишь себе места? Ведь ты же говорил, что во мне все твое счастье и вся твоя жизнь, а если это не так, то зачем ты обманываешь меня? Если ты находишь во мне какой-то изъян, то неужели сила моей страсти не способна примирить тебя даже со многими моими изъянами? Может быть, у тебя есть другая дама, которой ты поклялся служить, скажи мне ее имя, и я стану служить ей вместе с тобой; а если у тебя есть тайная скорбь, не связанная со мною, откройся мне, и я или умру, или освобожу тебя от нее.

Абенсеррах, еще раз подумав о том, что с ним приключилось, и видя, какие подозрения он навлекает на себя молчанием, вновь тяжело вздохнул и сказал:

— Госпожа моя, ежели бы я не любил тебя пуще себя самого, я не стал бы так сильно печалиться; будь я один, я перенес бы тяготы предстоящего с присущим мне мужеством; но теперь, когда мне предстоит разлука с моей любимой, у меня недостает сил страдать молча и, поверь, мои страдания имеют причиной не недостаток честности, а ее избыток, но чтобы рассеять твои подозрения, я расскажу тебе всю правду.

И мавр поведал своей супруге о том, что с ним приключилось, и, закончив свой рассказ, сказал:

— И потому, госпожа моя, твой пленник в то же время пленник алькальда Алоры. Я не боюсь темницы, ибо ты научила мое сердце страдать, но жить без тебя равносильно смерти.

На это супруга ему с улыбкой отвечала:

— Не печалься, Абиндарраэс! У меня есть способ избавить тебя от данного тобой слова с помощью выкупа; рассудим так: ежели побежденный рыцарь дал слово рыцарю-победителю вернуться и вновь стать его пленником, он вполне сдержит слово, послав ему любой выкуп, который тот потребует. И потому возьми сколько понадобится денег — ведь у меня есть ключи от отцовских сундуков — и отошли в Алору. Родриго де Нарваэс — благородный рыцарь, он уже однажды отпустил тебя на свободу, а если ты отправишь ему щедрый выкуп, то это обяжет его к еще большему великодушию. Я верю, что он удовольствуется этим, ведь от пленника он потребовал бы того же самого.

Но Абенсеррах возразил супруге:

— Госпожа моя, твоя слишком сильная любовь ко мне мешает твоим советам быть разумными. Я не могу так поступить, ибо я дал слово, когда ехал на свидание с тобой, и был один, а теперь, когда нас двое, удвоилась и цена моему слову. Я вернусь в Алору и отдамся в руки алькальда, а когда я исполню свой долг, пусть он распоряжается мной, как знает.

— Аллаху не будет угодно, — отвечала Харифа, — ежели ты отправишься в плен, а я, твоя пленница, останусь на свободе, и потому я намерена сопровождать тебя в крепость; к тому же и моя любовь к тебе, и страх перед отцом, которого я оскорбила, не оставляют мне ничего другого.

Мавр, прослезившись от полноты чувств, обнял ее и сказал:

— Милости твои, о моя госпожа, поистине неисчислимы: поступай так, как велит тебе сердце, ибо мое хочет того же.

И согласившись на том, супруги, собрав все необходимое, на завтра ранним утром отправились в путь; Харифа, дабы не быть узнанной, закрыла лицо чадрой.

Они ехали и беседовали о разных разностях, и тут неожиданно их нагнал какой-то старый человек. Харифа стала спрашивать его, куда он держит путь. Тот отвечал:

— Я еду в Алору, у меня дела с тамошним алькальдом, рыцарем, из всех виденных мною, наиболее благороднейшим и наилучшим.

Харифа весьма обрадовалась, услышав это: все почитали алькальда как самую добродетель, и супруги были бы счастливы убедиться в истинности сего мнения, ибо от этого зависела их судьба.

— Поведайте же нам, что такого замечательного совершил ваш алькальд?

— Я знаю за ним множество превосходнейших поступков, но расскажу вам лишь об одном, и тогда вы все поймете. Рыцарь этот был первым алькальдом Антекеры, и там он долгое время был влюблен в одну очень красивую даму, которой он оказывал учтивейшие и любезнейшие знаки внимания, было бы слишком долго их перечислять; и хотя дама высоко ценила достоинства рыцаря, однако она страстно любила мужа и с поклонником своим обходилась весьма нелюбезно. Случилось так, что однажды после ужина дама с мужем спустились в сад, и муж держал на руке ястреба; он выпустил для него нескольких птиц, и те поспешно ринулись спасаться в заросли ежевики.

Однако ястреб настиг их со стремительностью стрелы и почти всех заклевал насмерть. Покоормив ястреба, супруг вернулся к даме и сказал ей: «Ты видела, с какой ловкостью ястреб отрезал птицам путь к спасению и почти всех их истребил? Так вот, с такой же ловкостью и отвагой алькальд Алоры в сражениях с маврами настигает и истребляет своих врагов». Дама, притворившись, что не знает, о ком идет речь, стала расспрашивать мужа про алькальда. «Он самый храбрый и доблестный рыцарь изо всех мной встреченных доселе». И муж принялся превозносить до небес алькальда Алоры, так что дама почувствовала некоторую досаду из-за своей холодности к рыцарю и подумала про себя: «Как! В него влюбляются даже мужчины?! А я пренебрегаю им, зная, что он давно меня любит! Пожалуй, никто не осудил бы меня, ответь я на его любовь, коль мой супруг сам так мне его нахваливает». Назавтра муж дамы отлучился из города, и она, желая насладиться любовью храбрейшего из храбрейших, послала за ним служанку. Родриго де Нарваэс чуть не обезумел от счастья, хоть и с трудом в него верил, помня, как жестоко обращалась с ним его дама. Однако точно в назначенный час он явился на свидание в условленное место, где дама, ожидая его, поначалу раскаивалась в своем поступке и испытывала стыд при мысли, что влюбленный рыцарь все же добьется ее любви; размышляла она также о молве, что рано или поздно раскроет ее измену, страшилась мужской неверности и супружеской кары. Однако все эти сомнения, как бывает, лишь разжигали пламя ее любви, и она, преодолев их, встретила рыцаря ласково и завела с ним любовную беседу, в конце которой сказала: «Сеньор Родриго де Нарваэс, с этой минуты я бу-

ду вашей возлюбленной, но не благодарите меня за оказанную вам милость, ибо все ваши чувства и домогательства, искренние или притворные, не помогли бы вам завоевать меня; благодарите моего супруга: он столь щедро восхвалял вас, что внушил мне желание разделить вашу любовь». И она передала ему все похвалы мужа и добавила: «Поистине, сеньор, вы обязаны моему мужу больше, чем он вам». Слова ее повергли Родриго де Нарваэса в смятение, и он горько раскаялся в том, что едва не причинил зла человеку, который мнил его образцом добродетели. И тогда он сказал даме: «Госпожа, я люблю вас всем сердцем, и для меня нет выше счастья, чем быть любимым вами, но Господь по праву наказал бы меня, когда бы я нанес оскорбление вашему супругу, питающему ко мне столь пылкую дружбу. Отныне я стану заботиться о чести вашего мужа, как о своей собственной, ибо лишь этим я могу отплатить ему за все его добрые слова». И, покинув даму, Родриго де Нарваэс вернулся в замок Алары. Дама, по всей вероятности, была сконфужена таким оборотом, но, как мне представляется, рыцарь поступил истинно по-рыцарски, преодолев во имя чести собственную страсть.

Абенсеррах и его супруга с большим любопытством выслушали рассказанную историю, и супруг заметил, что и вправду вряд ли можно встретить подобную добродетель в мужчине. Однако Харифа возразила:

— Нет, я бы не желала видеть моего рыцаря столь добродетельным; похоже, что Родриго де Нарваэс мало любил свою даму, коль поспешил покинуть ее, и честь мужа оказалась для него дороже красоты жены. И она не преминула на-

мекнуть собственному супругу, что его добродетели ей милее.

Вскоре они доехали до крепости и постучались в ворота. Стража, предупрежденная алькальдом, отворила им, и один из стражников отправился к алькальду и доложил:

— Сеньор, в крепость прибыл побежденный тобой мавр и с ним прекрасная дама.

Сердце подсказало алькальду, что прекрасная дама — возлюбленная Абенсерраха, и он поспешил к ним навстречу. Абенсеррах, взяв жену за руку, произнес:

— Родриго де Нарваэс, убедись, сколь ревностно я выполнил данное тебе слово: я обещал тебе вернуть одного пленника, а возвращаю двоих, хотя и одного из них довольно, чтобы победить многих. Взгляни на мою супругу и суди сам, напрасны ли были мои страдания. Прими нас обоих, в твоей власти и моя жена, и моя честь.

Радость Родриго де Нарваэса при виде их была безмерна, и он сказал, обращаясь к даме:

— Я не знаю, кто из вас двоих принес большую жертву, но я высоко ее ценю. Располагайтесь в отведенных вам покоях и чувствуйте себя как в собственном доме.

И они отправились в приготовленные для них покои, где их ждал ужин, но они лишь в малой мере могли оценить поданные яства, поскольку устали с дороги. Алькальд спросил у Абенсерраха:

— А как твои раны? Не страдаешь ли ты от них?

— Да, в дороге, воспалились и причиняют мне боль.

Прекрасная Харифа воскликнула, обеспокоенная:

— Как же так, господин мой! Ты ранен, а я об этом не знаю!

— Госпожа моя! Кому удалось залечить раны, нанесенные любовью, не станет обращать внимания на другие, но сознаюсь тебе, что в схватке с доблестными рыцарями я получил легкие ранения и, поскольку не мог заняться ими, они меня беспокоят.

— Тебе нужно лечь в постель, — сказал алькальд, — а я пришлю вам нашего лекаря.

Прекрасная Харифа, крайне встревоженная, помогла мужу раздеться, а пришедший лекарь, осмотрев его, успокоил их, сказав, что нет ничего опасного. А после того как лекарь смазал раны целебным бальзамом, боль отпустила Абенсерраха, и через три дня он уже был здоров.

Однажды после трапезы в обществе Родриго де Нарваэса Абенсеррах обратился к нему со следующими словами:

— Родриго де Нарваэс! Зная твою проницательность, я уверен, что ты о многом догадываешься, и надеюсь, что ты сможешь помочь нам в нашем нелегком положении. Прекрасная Харифа, моя супруга и госпожа, не осмелилась остаться в Коине, опасаясь гнева своего родителя; она и теперь страшится, что отец не простит ей ее замужества и покушения на его достоинство. Я знаю, как любит тебя наш эмир, хотя ты и не нашей веры, и я прошу тебя обратиться к нему за содействием, но так, чтобы отцу Харифы не было о том известно и чтобы все разрешилось как бы волею судьбы.

Алькальд ответил:

— Не огорчайся, я обещаю сделать все, что в моих силах.

И, взяв чернила и бумагу, он написал письмо эмиру, в котором говорилось:

*«От Родриго де Нарваэса, алькальда Алары, —
эмиру Гранады*

Высокочтимый и могущественный эмир! Родриго де Нарваэс, алькальд Алары, всегда готовый к услугам, целует твои руки и обращается к тебе с низжайшей просьбой. Абенсеррах Абиндарраэс, юноша, родившийся в Гранаде и воспитанный в Картаме в доме алькальда, полюбил его дочь, прекрасную Харифу. Как раз в ту пору ты, желая вознаградить заслуги алькальда, переместил его в Коин. Влюбленные дали друг другу слово стать мужем и женой. В отсутствие отца Харифа вызвала к себе жениха, и он отправился в крепость, но по дороге был встречен мною и моими рыцарями. В завязавшейся схватке, где он проявил чудеса храбрости, мне удалось победить его, и он стал моим пленником. В отчаянии он поведал мне свою историю и умолил отпустить его на два дня, дабы он мог явиться по зову своей нареченной, после чего обещал вновь отдать себя в мои руки. Так он утратил свободу, но обрел верную супругу, прибывшую вместе с ним в крепость, где они оба теперь в моей власти. Заклинаю тебя, да не оскорбит твой слух имя Абенсерраха, я знаю, что ни он, ни его отец не повинны в заговоре против тебя: сама их жизнь тому свидетельство. И потому умоляю тебя разделить со мной заботы о судьбе этих несчастных. Я не возьму с них выкупа и отпущу их домой, но лишь ты можешь способствовать тому, чтобы ее отец простил их и принял как подобает. Сие благодеяние умножит твое величие, на могуществе коего зиждятся все мои надежды».

Закончив послание, алькальд поручил одному из своих дворян доставить его эмиру, что тот и исполнил. Эмир был рад письму алькальда, ибо Родриго де Нарваэс, единственный из всех христиан, внушал ему уважение доблестью и благородством. Прочитав его послание, эмир обратил взгляд на алькальда Коина, находившегося здесь же, и, подзвав его, сказал:

— Прочти это письмо, оно от алькальда Алары.

Алькальд Коина, прочитав письмо, пришел в большое волнение. Эмир успокоил его:

— Не следует так тревожиться, хоть и есть из-за чего; скажу тебе сразу: с какой бы просьбой ни обратился ко мне алькальд Алары, я ее исполню. И потому ты отправишься в Алору, увидишься с Абенсеррахом, простишь его и свою дочь и вместе с ними вернешься домой. В награду за это я обещаю тебе и твоим детям свое милостивое покровительство.

Душа алькальда воспротивилась такому распоряжению эмира, но послушаться его он не посмел и, приняв покорный вид, отвечал, что сделает так, как хочет его повелитель.

И он отбыл в Алору, где все уже знали от посланного о решении эмира и ликовали по поводу столь счастливого исхода. Абенсеррах и Харифа предстали перед алькальдом в крайнем смущении и, целуя ему руки, повинились в своем проступке. Сердце его смягчилось, и он сказал им:

— Что сделано, то сделано, и ни к чему больше говорить об этом. Вы стали мужем и женой без моего согласия, но я прощаю вас, ибо сам я навряд ли нашел бы лучшего супруга для моей дочери.

Алькальдом Алары были устроены в их честь пышные свадебные торжества: однажды вечером,

после ужина в саду, он обратился к ним со словами:

— Я столь много постарался ради вашего счастья, что ничто кроме него не сможет дать мне большей радости; и потому единственным выкупом вашим будет для меня само ваше пребывание у меня в плену, что я полагаю для себя великой честью. И ты, Абиндарраэс, вместе с прекрасной Харифой с нынешнего дня свободны и вольны делать все, что вам заблагорассудится.

Они поцеловали ему руки, благодаря за оказанные милости, и на завтра отбыли в Коин; алькальд Алары сопровождал их некоторую часть пути.

В Коине они наслаждались покоем и счастьем, которого так страстно желали, и однажды отец Харифы сказал им:

— Дети мои, поскольку вы теперь, согласно моей воле, наследники моего достояния, не худо было бы вам отблагодарить Родриго де Нарваэса, которому вы столь многим обязаны: ведь он по своему благородству пренебрег выкупом, а он заслуживает гораздо большего. Я хочу дать вам шесть тысяч дублонов, отошлите их ему, и пусть он останется навсегда вашим другом, хоть вы и разной веры.

Абиндарраэс поцеловал ему руки и послал алькальду Алары шесть тысяч дублонов и еще четырех отменных коней, четыре железных копья с золотыми остриями и четыре щита в придачу. И сопроводил свои дары письмом:

*«От Абенсерраха Абиндарраэса —
алькальду Алары*

Ежели, Родриго де Нарваэс, ты полагаешь, что, отпустив меня на свободу из твоего замка,

дабы я мог вернуться в мой собственный, ты освободил меня, ты заблуждаешься, ибо ты дал свободу моему телу, но пленил мое сердце: добрые дела — тюрьмы для благодарных сердец. И ежели ты привычно делаешь добро тем, кого ты мог бы погубить, я, дабы быть достойным своих предков и той крови, которую пролил род Абенсеррахов и которая течет в моих жилах, не должен забывать о благодарности. Посылаемый тебе дар — свидетельство нашей с Харифой взаимной любви, великой, чистой, благословенной законом и неизменной в своей признательности тебе, нашему спасителю».

Алькальд пришел в изумление от щедрости и роскоши дара; он принял лошадей, копыя и щиты и отправил следующее послание Харифе:

«От алькальда Алары — прекрасной Харифе
Прекрасная Харифа! Абиндараэс не дал мне вкусить истинного торжества, связанного с его пленением, торжества, которое состояло в том, чтобы отпустить его без выкупа и способствовать его счастью; и поскольку ни разу в моей жизни мне не представилась возможность столь благородная и достойная испанского дворянина, я желал бы полностью воспользоваться ею и оставить о том память у моих будущих потомков. Посылая мне золото, Абенсеррах явил благородство рыцаря, но, приняв его, я буду выглядеть алчным торговцем; я возвращаю вам золото как плату за милость, которую вы мне оказали, дозволив служить вам во время вашего пребывания в Алоре. Не в моих правилах, сеньора, похищать прекрасных дам в надежде на выкуп, я могу лишь поклоняться и служить им».

С этим письмом алькальд Алары возвратил им дублоны. Харифа приняла их со словами:

— Тот заблуждается, кто думает победить Родриго де Нарваэса оружием или благородством.

И все остались довольны друг другом и с тех пор пребывали всю свою жизнь в самой тесной дружбе.



ХУАН ДЕ ГИМОНЕДА

ИЗ КНИГИ «НЕБЫЛИЦЫ»

НЕБЫЛИЦА ПЕРВАЯ

Толомей и Аргентина
Каялись в скиту далеком
И узнали ненароком,
Что в грехе и неповинны.



В городе Александрии жили в довольстве и процветании два купца, в женах также счастливые; одного звали Косме Александрином, другого — Марком Цезарем; был установлен между ними союз, чтобы вместе торговать и вершить дела, и даже дом они держали общий. Так уж случилось, что в одно и то же время, об одну и ту же пору затяжелели хозяйки, а в положенный срок, в один и тот же день разрешились от бремени сыновьями, да такими хорошими и пригожими, что подобных им и на свете не видывали. Столь крепкой друж-

бой связаны были отцы, что порешили дать ребятам одинаковые имена и назвали обоих Толомеями. А через несколько дней обе роженицы скончались, оттого что роды были тяжкие и смертельные; и когдастряслась такая беда, Аргентину, старшую дочь Косме Александрина, только-только отнимали от груди. Схоронили купцы своих жен честь по чести, сидят и раздумывают — кому бы младенцев поручить выкормить; подслушала их беседу мамка Аргентины, прозванием Замараха — так ее муж окрестил, возчик Б л а с , — предстала перед ними, упала на колени и обратилась с такими словами:

— Вижу я вас в великом горе, государи мои, и потому, а также из почтения к господам моим, вашим женам, царствие им небесное, но более всего из любви, какую почувствовала я к вашим сынкам, ненаглядным Толомеям, раз поднеся их к своей груди, прошу в смирении и покорности — доверьте мне одной выкормить малышей, если будет на то ваша воля. Государь мой Косме Александрин не даст соврать, сколь прилежно и усердно кормила я Аргентину, его дочь, которая ныне в молоке не нуждается, как я нуждаюсь в особой милости, о коей вас обоих умоляю.

Понравилось купцам ее смирение, поняли они, что слезы, текущие у нее из глаз, выказывают искреннюю любовь, скрытую в сердце; приблизились друзья к кормилице, взяли ее под руки и подняли с колен; тут Косме Александрин сказал:

— Матушка и государыня н а ш а , — ибо так теперь подобает вас называть, — видя ваше доброе расположение, памятуя о многих услугах, какие вы и ваш супруг каждодневно этому дому оказываете, за себя и за Марка Цезаря могу сказать, что мы согласны, если, конечно, он возражать не будет.

— Нет, сударь мой, я доволен, — отозвался Марк Цезарь. — Так что, сударыня мамушка, оставляем деток на ваше попечение.

И вот, поскольку одна и та же кормилица давала им грудь, стали ребята так походить друг на друга лицом и повадкой, что только мамка и могла сказать, кто чей сын. А когда они подросли, пришлось одевать их в разное платье, чтобы не перепутать. Между тем случилось так, что Марк Цезарь разорился; союз между ним и Косме Александрином был расторгнут, и, отправляясь на жительство в Афины, востребовал Марк Цезарь своего сына. А кормилица, поскольку обоих деток любила, удумала переодеть мальчишек и поменять их местами, вручив каждому отцу чужого сына. Так она рассудила: узнает когда-нибудь Косме Александрин, что этот сын ему не родной, так уж не оставит нищим, раз столько лет за сына почитал, а родному-то и еще больше перепадет.

Но женщина слаба, и едва мамка, прозванная Замарахой, отняла Толомея от груди, как опостылел ей старый и вздорный муженек, а тут подвернулся один сладкоречивый ухажер, и, забыв любовь, какую питала она к дому Косме Александрина, Замараха с этим самым ухажером ушла, захватив с собою самое лучшее. День провели они в дороге, а когда добрались до подножия Армянских гор, ухажер обокрал ее да и кинул. Оставшись одна, вспомнила мамка, что на вершине горы есть скит, и стоит он сейчас пустой, — тогда юбку, что была на ней, приспособила женщина под рясу, неладно скроенную и хуже того сшитую, и под именем брата Гильермо поселилась в том скиту, скромным нравом и добродетельной жизнью снискав по всей округе почет.

Тем временем Аргентина и Толомей вошли в возраст, а поскольку виделись ежедневно и часто встречались наедине, то, невзирая на родство, которое, как они думали, между ними было, согрешили они, и от этого оказалась Аргентина в тягости.

Так обстояли дела, когда Марк Цезарь с большими барышами, какие он выручил успешной торговлей, приехал из Афин, чтобы заплатить все свои долги. С ним был и Толомей, которого он считал сыном; и когда старые друзья свиделись, тут же уговорились просватать Аргентину за Толомея Афинянина (так его прозвали за то, что вырос в Афинах). Отцы, довольные, ударили по рукам, однако Марк Цезарь просил не оглашать помолвки, пока он не вернется из некоего путешествия, которое надобно было совершить.

Когда Аргентина, будучи в тягости просватана, сообщила об этом своему возлюбленному Толомею, так опечалился бедняга, что покинул ставший ему ненавистным дом Косме Александрина, оставив Аргентину на попечение одной тетки, которая обещала позаботиться о ребенке, когда тот родится. Толомей же, чувствуя на душе великий грех — соитие с сестрою, каковой он почитал Аргентину, хотя это было и не т а к , — отправился в Армянские горы, чтобы брат Гильермо исповедал его и наложил эпитимью. А поскольку братом Гильермо был не кто иной, как Толомеева собственная кормилица, то она, выслушав исповедь, тотчас его узнала и, наложив для отвода глаз легкую эпитимью, приютила юношу у себя в скиту.

Когда злосчастной и горемычной Аргентине пришло время родить, сколь ни старались, не могли избежать огласки: лишь только одна из горничных, бывших в доме, извлекла ребенка,

как на плач его явился Косме Александрин. В сей же час удостоверившись, чей это младенец и от кого зачат, в ярости повелел он возчику Бласу, которому доверялся более других слуг, забрать дитя и бросить в реку Армению. Аргентина, мать младенца, узнав о жестокосердии отца своего, Косме Александрина, взяла ребенка, повесила ему на шею драгоценный амулет и умолила возчика Бласа слезами и посулами, чтобы он дитя не губил, а оставил его где-нибудь в землях Армении.

Ребенка этого нашел в кустарнике брат Гильермо, принес его в скит и велел жившим поблизости пастухам выкормить малыша овечьим и козьим молоком.

Через несколько дней дошла до Аргентины весть о том, что ее возлюбленный Толомей ушел на покаяние в Армянские горы; она прямо туда и направилась, незаметно и тайно покинув отчий дом. Придя в скит, упала она в ноги брату Гильермо, который знал, что греха на ней нету и что младенец, порученный пастухам, по всем признакам, рожден ею. Тут же означенный брат, или, вернее, сестра, объявила Аргентине и Толомею и доказала это со всей ясностью и очевидностью, что они не брат и сестра и таковыми себя почитать не должны, а ребенка их она-де сберегла; так что да воздадутся Богу хвалы и благодарения за то, что к столь доброй пристани сподобил их причалить. Вслед за тем она предложила всем вместе вернуться в дом Косме Александрина, который, узнав, как обернулось дело, уж не преминет поженить молодых, и выйдет всем полное прощение. Рассудив так, стали собираться в дорогу.

Тем временем Марк Цезарь явился к Косме Александрину за обещанной невестой для Толомея Афинянина, а поскольку девушка пропала, то на-

чались между ними такие распри да раздоры, что и концов не сыскать. Тут-то и объявился брат Гильермо и сказал следующее:

— Мир вам, мир вам, честные господа, бойтесь Бога, уймитесь, всего святого ради, и соблаговолите выслушать меня: быть может, с моей помощью сможете вы уладить ваши хитросплетенные недоразумения.

Все замолчали, и мнимый отшельник продолжил так:

— Государь мой Косме Александрин, твоя дочь Аргентина сейчас со мною и пребывает под моим покровительством, и Толомей тут же, и ребенок, которого ты велел бросить в реку. Не гневайся, ибо без ущерба для твоей чести и по всем законам божеским и человеческим могут они стать мужем и женою: ведь Толомей вовсе не твой сын, как ты это полагаешь, а сын здесь стоящего Марка Цезаря; сын же Марка Цезаря, Афинянин, — твой сын. А чтобы ты поверил мне и согласился со мной, знай, что я — Замараха, жена возчика Бласа; когда вы расторгли ваш союз, я сочла, что не худо было бы поменять ваших сыновей, чтобы оба они, пока ты в благополучии, пользовались от твоих щедрот, и если я, по твоему, за это заслуживаю кары, прости меня сам и моего мужа проси о том же.

Когда прощение было даровано, предстали перед отцами Аргентина и Толомей и были встречены с ликованьем. Свадьбу сыграли в радости и веселии, как и подобает людям такого звания и довольства.

НЕБЫЛИЦА ШЕСТАЯ

Сто дукатов наудачу
Подобрав в суме, бедняк
Получил осла за так,
Двадцать золотых в придачу.

Один землевозчик как-то поднялся ни свет ни заря, чтобы исполнить незавидную свою должность, и случилось, что, перевозя на осле корзины с землею, он заметил посреди дороги изрядных размеров котомку. Пнул ее землевозчик ногой, услышал, как монеты звенят, и сей же час увидел всадника, по всему, возвращающегося за потерей. Землевозчик, дабы деньги присвоить без помехи, опрокинул на котомку корзину с землею. И вот купец подъехал ближе и спрашивает:

— Эй, мил человек, не встречалась ли тебе большая сума с монетами, что упала у меня с седла?

Землевозчик же на него вскинулся:

— А подите-ка вы с вашими сумками да кошельками! Без вас тошно: осел землю раскидал, а мне собирать!

Купец уехал восвояси, а хитрый землевозчик погрузил обратно землю вместе с находкой и вернулся домой. Там они с женой раскрыли котомку и удостоверились, что в ней не просто дукаты, а португальские золотые с крестом; стали они в великой радости их считать да пересчитывать, да так увлеклись, что одна монета закатилась под короб, на котором они все это делали. Затем сложили деньги обратно в котомку, и жена их прибрала.

А купец пошел к алькальду и велел объявить, что тот, кто найдет суму с сотней золотых и возвратит владельцу, получит из них десять за

счастливую находку. Прознал про то землевозчик и говорит жене:

— Давай-ка отдадим деньги — лучше десять монет за находку, чем сто краденых: и проку больше, и совесть чиста.

Жена сперва ни в какую, но затем поддалась и деньги выдала. И вот честный землевозчик предъявил суму алькальду, а тот, рассмотрев дело, вручил деньги купцу, который выставил свидетелей и вполне доказал свое право. А как стал он считать дукаты, так и недосчитался одного и говорит:

— Смотрите, ваша честь, тут только девяносто девять золотых, а у меня было сто — какое будет ваше распоряжение?

Тут алькальд подумал, а не хитрит ли купец, чтобы не платить обещанного, да и постановляет:

— А-а, все ясно: верно, эти деньги не ваши, отдайте-ка их хозяину.

И купец вернул, скорей неволей, нежели охотой, а землевозчик в веселии отправился домой; однако на полдороге встретил водовоза, своего большого приятеля, — осел у него в грязи завяз. Попросил водовоз помочь ему осла тащить; схватился наш землевозчик за ослиный хвост да и дернул так, что хвост остался у него в руках. А водовоз крик до небес поднял:

— Ах, злодей! Ты моему ослу хвост оторвал, теперь плати за убыток!

Совсем тут ополоумел землевозчик, бросился бежать со всех ног и налетел на беременную, да так, что сам упал и был повязан сбиром, а женщина от сотрясения выкинула.

И вот повязанный землевозчик, хозяин осла, беременная и ее муж — все они опять пошли к алькальду. Стал тут водовоз так потешно жало-

ваться: осла-де у него хвоста лишил, так теперь пусть платит; а муж и вовсе околесную понес — как бы, говорит, ваша честь так рассудила, чтобы моя жена стала снова в тягости, как и раньше, ибо очень уж мне этот случай огорчителен. Выслушал всех алькальд и постановил: что касается до осла, то пусть землевозчик возьмет его к себе и пользуетя им, покуда у животины новый хвост не вырастет, а если мужу так надобно, чтобы женка вновь забеременела, пусть землевозчик введет ее в свой дом и на сей предмет поработает, если, конечно, его собственная жена не будет против. Народ над таким приговором посмеялся, однако же справедливость его признал, и всем пришлось подчиниться, как бы ни было при том солоно недотепе мужу. А землевозчик, веселый и радостный, заявился домой с деньгами, с ослом, да с новой женой; тут собственная супруга его в дверях встречает и спрашивает:

— Что же это, а, муженек?

А он:

— Счастье привалило, счастье, женушка, прибере-ка эту суму — золотые теперь наши.

Она опять:

— А осел?

— И тут подвезло нам, женушка: животина эта будет у меня, покуда у ней хвост не отрастет.

А жена:

— Ну, а баба зачем?

— И в этом мне удача, — отвечает муж, — должен я эту женщину вернуть в тягости.

— Как в тягости? — взвилась жена. — И это у тебя удачей зовется? Незадача это, вот что: две хозяйки в доме?!

— Подумай, жена, — говорит землевозчик, — судья так рассудил.

— А пусть его судит и рядит, — промолвила жена, — а чтобы собственный дом блюсти, у меня у самой рассудка хватает, и не видеть мне царствия небесного, если я ее на порог пущу.

С тем ее и проводили, а муж неподалеку был, следом шел, ибо мог предположить, как дело обернется; забрал он свою женку и остался премного доволен и счастлив.

Через несколько дней снова пошел купец к алькальду с нижайшею просьбой, поставил еще свидетелей, правых и достойных веры, которые и показали, что золотые — его, купцовы, а потому опять призвали землевозчика с котомкой. Принес землевозчик деньги, и алькальд повелел их купцу отдать. Протягивает землевозчик суму, а сам думает, что опять ведь купчик деньги не примет, и говорит:

— Знаете что, сударь мой, ведь тут всего восемьдесят, остальные мне в хозяйстве пригодились.

А купец:

— Восемьдесят ли, семьдесят — давай-ка их сюда, я и считать-то не хочу: с паршивой овцы хоть шерсти клок — беру их за сто. Ступай себе с Богом, мил человек.

На том дело и кончилось, все остались премного довольны и разошлись по домам.

Как прослышал водовоз, что все свое получил: купец — деньги; тот, другой — свою жену, — так и предстал перед алькальдом и челом бьет: рассуди, мол, чтобы мне вернули скотинку, ладно уж, пусть бесхвостую; на том и порешили: забрал он своего осла, а землевозчику прибыль — двадцать дукатов и тяжбе конец.

НЕБЫЛИЦА ДЕВЯТАЯ

Северино в плен попал,
Долго в Турции томился,
Но богатым воротился
И Розину в жены взял.

Один барселонский купец по имени Иларио отправил в Неаполь сына своего Северино, чтобы тот получил пять тысяч дукатов — должок, означенному Иларио причитающийся. Деньги-то сын получил, однако же так ловко ими распорядился, что очень скоро утекли они в карманы других тамошних купцов. Остался Северино без гроша и, узнав, что стоит в порту корабль под парусами и ждет лишь попутного ветра, чтобы плыть в Барселону, вышел на нем в море и после недолгого плавания высадился в желаемом месте и вступил в город. Время было позднее, постоялого двора не найти, и решил Северино устроиться на ночлег напротив родительского дома под скамьей, чтобы, если ненароком задремлет, не сняли бы с него плаща. И вот увидал он из-под скамьи, как некто бросил камешек в окно этого же самого дома; показалась девица и молвила:

— Придите в полночь, сударь мой, сейчас еще не время.

Мужчина удалился, а около полуночи Северино выбрался из-под скамьи и тоже бросил свой камешек, и опять девица подошла к окну и сказала:

— Ловите, сударь.

Он подставил плащ и поймал узелок с одеждою и дорогими украшениями.

— Я сейчас спущусь, — молвила она, а через минуту уже была внизу и не успела порог переступить, как обняла крепко своего спутника и сказала:

— Ну, в дорогу, сударь мой.

И вот, взявшись за руки, вышли они из города и направились в Валенсию.

Они проделали уже порядочный путь, когда стало светать, и девушка увидала, что с нею не тот, кого бы ей видеть хотелось; и принялась она громко сетовать и проклинать свою судьбу, а Северино ей на то отвечал:

— Не ропщите, сударыня моя, но сочтите за счастье, что оказались вы со мною: ведь я — сын Иларио, одного из богатейших купцов в этом городе.

Тут она его узнала, и поскольку поправить уже ничего было нельзя, вместе с ним дальше пошла, а когда совсем развиднелось, свернули они в лесок, от чужих глаз подальше, где дали друг другу слово стать мужем и женою и поклялись в верности, после чего с великой радостью бракосочетание свершили.

Не было в том лесу воды для питья, и решил Северино выйти к морю, чтобы и ручей какой-нибудь приискать, и высмотреть, может быть, корабль, на котором они с Розиной, ибо так девица назвалась, смогли бы отплыть. Но, к вящему своему несчастью, чуть только ступил он на берег, как был схвачен нечестивыми магометанами. Она же, беспокоясь, что дружок все нейдет, поднялась на вершину холма и увидала, как его пленного уводят на корабль. Невзирая на жестокий свой жребий, не пала Розина духом: сделала из тряпицы маленький мешочек, уложила туда все свои драгоценности и зашила в пояс, к самому телу. Осмотрелась она по сторонам — в какую поведет ее случай, и вдали разглядела хижину, куда скорыми шагами и направилась. Хижина оказалась заперта, и на зов никто не откликнулся; тогда

решилась она перелезть через стену, которая была ниже прочих, и проникнуть внутрь. А поскольку хижина сия была при выпасе, обнаружила она в каком-то закуте все из одежды, что пастуху потребно; тут в мгновение ока сняла она свое платье и переделалась подпаском, решив отныне зваться Северино, как и возлюбленный ее супруг, после чего направилась в город Валенсию, а когда остановилась в Грао, дабы передохнуть несколько дней, спросил трактирщик, не хочет ли, мол, гость у него служить остаться. Получив согласие, осведомился, как зовут; сказала она, что Северино — так и было в книгах записано.

Оставим теперь Розину в ее мужском наряде и вернемся к Северино, который в плену назвался Розино, взяв имя госпожи своей. Привезли его в Константинополь, ибо корсары оказались турецкими; достался он Великому Турку, и поскольку весьма тому приглянулся, велел он нового раба приодеть и при дворце оставить. Был Розино до крайности услужлив, всегда стремился угодить и еще на виуэле¹ искусно играл — оттого все его любили и жаловали, в особенности же сам Турок: вечера не проходило без того, чтобы не просил он юношу перед собою сыграть и спеть. И вот Мадама, дочь Великого Турка, столь часто видя Розино, влюбилась в него и, не зная, каким образом страсть свою перед ним обнаружить, попросила отца, чтобы позволил ей брать у него уроки музыки. Согласился Великий Турок, и очень скоро по манерам ее и обхождению догадался Розино, что Мадама влюблена в него без памяти, но из скромности и благоразумия виду не подал, дабы не утратить положения, уже приобретенного; однако

¹ Виуэла — род гитары.

исправно принимал даяния и милости, каковыми султанова дочь его, своего учителя, каждодневно осыпала.

Между тем под мирным флагом зашло в константинопольскую гавань торговое судно из Барселоны. Узнал об этом Розино, отправился к морякам и упросил их, в случае если будут о нем спрашиваться, чей он сын, сказать, что знатных-де родителей, и добавил, что ничего на том не прогадают. А как дошла до Мадамы весть, что тот корабль — из города, откуда ее учитель родом, она втайне направила туда людей, чтобы те осведомились о Розино: знатен он, нет ли, и какое у него состояние. Когда ей передали, что он высокого рода, еще более укрепилась любовь, каковую султанова дочь к слуге питала; и лишь только прошел слух, что судно собирается отплыть, дала она Розино шкатулку с дорогими камнями, чтобы послать в подарок его отцу и матери, а еще перстень, чтобы носил у нее на службе взамен старого, того, что в лесу вручила ему Розина в залог счастливого супружества. Принял юноша драгоценности, подивился их роскошеству и щедрости Мадамы; затем подложил в шкатулку перстень Розины, а шкатулку запер и запечатал, как положено, и отдал морякам, хорошенько наказав шкатулку эту с ценнейшим бальзамом отвезти в Барселону и отдать отцу его, Иларио, в собственные руки. Отправились моряки с Богом, и плавание было благополучным и счастливым, — только что вот в Барселоне стать на якорь они не смогли, а привела их непогода к берегам Валенсии, и даже там они вынуждены были все лишнее сбросить за борт, дабы не затонуть. А чтобы спасти шкатулку, их попечению столь препорученную, один из моряков выбрался с нею на сушу и отдал ее на сохране-

ние трактирщику в Грао; по счастью, попала она в руки Розины, которая теперь Северино прозывалась.

Буря улеглась, поправили моряки свой корабль и с попутным ветром подняли паруса, забыв о шкатулке. Видя такое небрежение, велела Розина прочесть, что написано на ярлыке, приложенном к шкатулке, а там значилось: «Передать Иларио в Барселоне». При людях она смолчала, а ночью тайком пробралась к шкатулке, решив посмотреть, что же там внутри, и первое, что увидела, был перстень, который она подарила возлюбленному своему Северино. Подивилась она тому, а также драгоценным камням, какие вместе с перстеньком оказались, и молвила про себя: «Пресвятая Мария, владычица! Что может значить сие знамение? Или, к злосчастию моему, умер возлюбленный мой супруг Северино?» Поскорее закрыла она шкатулку и, неустанно Бога моля, чтобы пришла ей весточка о Северино, дни и ночи проводила в печали и смертной тоске.

Что же до Северино, то, поскольку докучала ему Мадама своей любовью, а он поддаваться не желал, смиловившись над ним Господь и послал ему помощь. Стоял о ту пору в Константинополе испанский корабль с охранною грамотой Великого Турка, а как пришло ему время поднять паруса, стала Мадама умолять Розино, чтобы они вдвоем на этом корабле б е ж а л и, — она-де даст ему и денег, и камней в изобилии. Притворившись, что согласен, забрал он обещанные дары да и отплыл один, без нее; и с попутным ветром в несколько дней добрался корабль до Испании и бросил якорь у валенсийских берегов. Высадился Розино со всеми своими богатствами и расположился в том доме, где супруга его осталась, переодетая в муж-

ское платье; и как услышал он имя «Северино», так с нее глаз и не спускал, но все же сомневался, она ли, нет ли, а чтобы окончательно удостовериться, отвел ее незаметно в сторонку; тут они узнали друг друга и обнялись в великом ликованиях. Рассказала ему Розина, как попала к ней шкатулка с драгоценностями, которую посылал он к отцу, и тот перстень, что она ему, Северино, в лесу подарила. Очень Северино тому порадовался и объявил трактирщику, что пастушок Северино по-настоящему Розиной зовется, и что Розина эта — его жена и возлюбленная супруга, а, за хорошее с нею здесь обхождение он благодарит; и, не чинясь, дал трактирщику несколько каменьев. Надела тут Розина роскошное платье да дорогие украшения, и поплыли они в Барселону, где предстали перед родителями, которые им были радыхадешеньки, а через несколько дней и свадьбу сыграли, богатую да веселую.

НЕБЫЛИЦА ДЕСЯТАЯ

Из-за цепи золотой
Злое горе приключилось:
Женка носом поплатилась,
Муженек — своей спиной.

Танкредо, знатный дворянин, добиваясь любви Селисеи, замужней дамы, чей дом стоял рядом с цирюльней, свел столь тесное знакомство с Маркиной, брадобреевой женою, что однажды, застав ее в слезах, осведомился:

— Хочу узнать я, сударыня, из ваших сахарных уст, отчего вы так убиваетесь?

И та отвечала:

— Как же не плакать мне, сударь, когда я уж два месяца с мужем моим ни за стол не сажусь, ни в постель не ложусь.

А Танкредо:

— С чего бы это, сударыня моя?

Она ему:

— Потому как супруг мой это заслужил, ибо не хочет давать мне тридцать дукатов на цепь литую, золотую, какие все теперь носят, а сам уж давно обещался.

— В этом-то, — говорит тут Танкредо, — все ваше неудовольствие? Дам я вам эти деньги, уговорите только госпожу Селисею, вашу соседку, сделать то, о чем я уж столько раз ее просил.

Очень хотелось Маркине цепь; пообещала она, что все исполнит как надо, и, придя к Селисее, стала расписывать Танкредову страстную любовь; смекая, что человек он надежный и в нуждах ее не раз еще сможет ей пособить, стала улещать соседку, чтобы с ним была поласковее. И не отступилась ведь, покуда Селисея на все не дала согласия: муж-де ее через два дня уедет из города — тогда-то она Танкредо и впустит, но только с условием: войти он должен через дом брадобреля, чтобы на нее чего не подумали.

Так и уговорились они, а муж Селисеи, который уж давно Танкредо заприметил и подозревал неладное, до своего отъезда зашел к Маркине и попросил бритву, сказав, что очень она ему пригодится, получил и поехал своей дорогой. Но чуть только ночью пробрался Танкредо в дом госпожи Селисеи через брадобрееву крышу, как и муж пожаловал, в дверь застучал; пришлось кавалеру пойти на попятный. Муж, видя, что постель благовонием обкурена, давай рыскать по всему дому, а потом вернулся к жене и говорит:

— Что здесь у тебя творится, дрянь ты этакая? Свидание небось назначено? Только муж за порог, как ты распутничать?

Она оправдывалась, как могла, а муж в великой досаде принялся грозить ей разными карами, наскочил на нее и, заведя руки за спину, привязал к столбу, что был посреди дома; там и оставил со словами:

— Вот тебе, подлая тварь, постель твоя раздушенная; здесь ты нынче у меня и заночуешь.

Сам же при этом улегся спать. Стала тут жена стонать и плакать, а брадобрейха-то начеку: очень уж хотелось ей заполучить двадцать или там тридцать дукатов и купить цепь; пролезла она тихонечко через крышу, прокралась к Селисее и шепчет:

— Госпожа моя, если ты теперь желаешь пойти к Танкредо, то самое время: в доме темно, и муж твой спит.

Отвечает ей бедняжка:

— Как это я умудрюсь, каким чудом?

— А т а к , — говорит Маркина, — я тебя отвяжу и встану на твое место, чтобы муж тебя не хватился, если, паче чаяния, проснется, а ты беги, ибо Танкредо на моей крыше тебя дожидается.

Обрадовалась Селисея своему избавлению, привязала Маркину хорошенько и отправилась с дружкой миловаться.

Тем временем муж глаза открыл в темноте кромешной и спрашивает:

— Ну, как тебе там, женушка, спится-дремлется?

Маркина же ни гу-гу, чтобы, неровен час, обман не открылся; тогда муж вскочил с кровати и завопил в ужасном гневе:

— Я тебе что, жена, блажной какой-нибудь дался, что ты меня ответом удостоить не хочешь? Ну так я тебе удостою, погоди: малое удовольствие получит тот, кто столь великую любовь к тебе питает.

Тут схватил он бритву, подскочил и отрезал ей нос; затем снова лег. Время прошло, явилась Селисея, поменялись они местами, рассказала ей Маркина, как без носа осталась по милости ее супруга, и в великой печали отправилась домой, откуда вывела Танкредо, получив от него обещанные тридцать дукатов.

А Селисея подождала немного и стала охать да стонать, приговаривая:

— Господи всевышний, призываю тебя в свидетели того, что я невинна, а муж на меня напраслину возводит, яви же чудо, исцели мне нос.

Постояла чуток и снова:

— Благодарю тебя, Боже, за то, что вновь я цела и невредима, несмотря на блажь супруга моего.

Услыхал это муж, вскочил быстренько с постели, лампу засветил и поднес жене к лицу, а как увидал, что нос у нее на месте, пал ей в ноги и говорит смиренно:

— Простите меня, госпожа моя женушка, за ложный клевет, какой я на вас возвел.

Простила; развязал он ее, и улеглись супруги в постель, веселясь да радуясь.

Брадобрей же поднялся до света, ибо должен был ехать за город справлять свою должность; взял он футляр с инструментами, проверил на ощупь, все ли в порядке, и, не найдя бритвы, пошел за нею к жене. А поскольку жена отвечала грубостью, запустил в нее футляром; тут принялась она вопить не своим голосом:

— Ах, злодей, ах, негодяй, да ты же мне нос отрезал!

На эти ужасные крики явился алькальд, который об эту пору как раз совершал дозор. Как увидел он женщину без носа, велел схватить брадобрея; тот вынул шпагу, сопротивлялся и ранил одного из людей алькальда; за это был посажен в тюрьму, а потом по приговору бит плетью на площади. Так из-за цепи литой, золотой осталась брадобрейха без носа, а брадобрей — с битой спиной.

НЕБЫЛИЦА ДВЕНАДЦАТАЯ

Выкрал деньги из мешка
У слепца сосед проклятый;
Вместе с шапкой все дукаты
Утащил у куманька.

Жил-был один слепец, такой скаредный, что из-за беспримерной своей скупости ходил по городу один, без поводыря; ел же там, где настигал его голод, чтобы не потратить лишнего и не съесть через меру; для ночлега он снял убогий домишко, где укрывался с наступлением ночи без света, ибо нужды в таком не испытывал. Замкнувшись хорошенько на все запоры, он перво-наперво совершал дознание, нет ли кого: вынув из ножен короткую свою шпажонку, махал ею и тыкал во все углы и под кроватью, при этом приговаривая:

— Ворюги-подлецы, обождите-погодите, вот я вас!

Удостоверившись, что в доме пусто, вытаскивал он из одной своей укладки мешок с реалами и пересчитывал их, дабы душою возвеселиться и возликовать, а заодно и проверить, все ли на

месте. Так часто предавался слепой скупердяй этому занятию, что шум, производимый им ежевечерне, привлек наконец соседа, который, дабы уяснить себе поточнее, что же там происходит и к чему это оружие звенит, проделал дырку в стене. И вот наступила ночь; слепец, по дурацкой своей привычке, принялся протыкать шпагою воздух; но сосед разглядеть ничего не смог, оттого что света не было; однако сидел смирно и через какое-то время услышал, как звякают реалы, а потом — как скрипит замок укладки. И решил сосед, что утром, когда слепой уйдет по своим делам, он через крышу проникнет в каморку скупердяя и денежки унесет. Стащил он реалы, а вечером устроился возле дыры и прислушивается — что-то слепой делать станет.

Так вот, хватился реалов скряга, и давай сетовать да судьбу свою проклинать, причитая:

— Ой, денежки мои родненькие! Где-то вы теперь, болезные, гуляете? Творя молитвы, заполучил я вас, оттого и звал благословенными; так не должны же были вы допускать, чтобы через вас лишился я благословения вечного.

Так, горько жалуясь и стеная, улегся он все-таки в постель. Утром поднялся и вышел вон; вор — за ним, поглядеть, не наладится ли он, часом, в суд. Но по дороге встретил наш слепой кума, тоже незрячего, и рассказал ему о покраже; тот и говорит:

— Бьюсь об заклад, куманек, мои денежки целее будут.

— Как это? — спрашивает обворованный.

А кум ему:

— Потому что они всегда при мне.

Услышав такое, вор подкрался к ним поближе, чтобы ни слова не упустить. Наш скупердяй тем



часом все теребит кума — скажи да скажи где; тот наконец и выдал:

— Знай, куманек, что держу я денежки зашитыми в шапку.

Только что произнес он это, как вор сорвал с него шапку и был таков. А куманек, оставшись с голой головою, сгреб нашего слепца за грудки и завопил — отдавай, мол, шапку, что ты у меня украл. Тот — запирается; так дошли они до потасовки и принялись лупить друг друга палками; а вор и сам ушел, и монеты у того и у другого унес.

НЕБЫЛИЦА ТРИНАДЦАТАЯ

Брат у брата дочь украл,
Чтоб к наследству подступиться,
Дочь другую в пасти львицы
Фелисьяно отыскал.

У Фелисьяно, человека влиятельного и щедро оделенного Фортуною, была маленькая дочь, еще грудная, которую воспитывали в деревне; его немущий брат выкрал девочку, отнес ее на две мили от жилья и бросил в масличной роще, ибо пока дочь Фелисьяно жила, не мог он надеяться на наследство.

Однако Богу было угодно, чтобы Эрасистрато, богатый поселянин, направляясь к одному своему выпасу, услышал, как эта самая девочка плачет. Взял он ребенка и отнес к жене, которая как раз выкармливала свою дочку, спасенной девочке сверстницу; жена и дала найденышу имя Оливия, ибо среди олив ее подобрали.

Фелисьяно же, как ни старался, дочери отыскать не смог, даже и следов никаких не обна-

ружил, а через какое-то время жена его Роселия родила сына и сама родами умерла; отец дал ребенку имя Роселио в память о покойной матери. А как брат, желавший наследовать, узнал об этом, то дня через три с досады и помер. Фелисьяно же, оставшись вдовцом, пристрастился к охоте. Раз поднял он львицу с детенышами, а жена Эрасистрато в то время на выпасе была: родная дочь ее на скамье перед домом играла, а найденная сосала грудь; вдруг откуда ни возьмись выскочила львица, схватила девочку со скамьи да и унесла; женщина же от великого сего ужаса в несколько дней скончалась.

А Фелисьяно, настигнув львицу, одним выстрелом сразил ее наповал: показалось ему, что в зубах несет она какую-то задавленную зверушку. Но, подойдя ближе, он увидел, что то не зверушка, а красивая девочка; принес ее Фелисьяно к себе и дал ей имя Леонарда, поскольку вынул ее из пасти львицы¹. Так и поменялись отцы дочерьми, сами того не ведая; а когда уже пришла пора девушек замуж выдавать, поселился Эрасистрато в своем городском доме. Повстречал Роселио Оливию да и влюбился в нее, и они тайно дали слово друг Другу. Слухи об этом дошли до Фелисьяно; позвал он сына к себе и объявил ему: ежели, мол, правда это, что он обручился с Оливией, то не видать ему никакого наследства. Роселио отрекся, а Фелисьяно ему и говорит:

— Раз так, сын мой, то подобает тебе взять в жены Леонарду: тогда получишь ты все мое имущество в полное владение, и послужит это к приумножению твоего благополучия и моего доброго имени.

¹ Имя Леонарда (Leonarda) происходит от leona — «львица».

Уступил Роселио и женился на Леонарде. Узнала про то Оливия и рассказала отцу, как еще до женитьбы своей дал ей Роселио обещание. Пошел Эрасистрато и все это перед Фелисьяно изложил; тот и слушать не захотел, а в гневе погнал старика со двора прочь. Эрасистрато же обратился в суд; уразумел тут Фелисьяно, что дело выходит скверное, и решил поскорее отправить сына в Македонию.

Прибыв туда, свел он дружбу с рыцарем по имени Коринео. Тот, находясь в любовной связи с Крисолорой, женою Тибурсио, богатого горожанина, открылся во всем своему новому другу, который щедро ему в его делах помогал и сильно тратился. Фелисьяно, дабы положить конец мотовству, а также склонясь на просьбы Леонарды, счел за лучшее сына отозвать. Приехал он, извещен был о том Эрасистрато и дал Фелисьяно знать, что тяжба, дескать, готова и собирается он ко двору ее представить, там искать защиты.

Между тем связь Коринео с мадамой Крисолорой обнаружил какой-то ее родич и, ославив рыцаря негодяем, а даму — прелюбодейкою, вызвал Коринео на поединок. Принял Коринео вызов, дабы защитить даму; назначил он время, противник выбрал оружие, но, сознавая, что дело его неправое, открылся рыцарь одному некроманту, большому своему приятелю, и просил так устроить, чтобы из этого положения вышел он с честью. Тот отвечал, что наилучшим образом все может устроиться, если только есть у Коринео друг, который захочет драться вместо него. Коринео сказал, что есть такой друг, имея в виду Роселио, и вскоре Коринео с некромантом явились в дом Фелисьяно. Встретил их Роселио, узнал, зачем они

прибыли, и, охотно согласившись вступить в бой, с большими почестями их у себя дома принял.

Когда пришло время Роселио отправляться в путь, велел некромант друзьям поменяться одеждой, а потом колдовскими своими чарами поменял им обличье, так что Роселио стал походить на Коринео, а Коринео — на Роселио. Совершилась сия подмена, и говорит тут Роселио своему другу:

— Коль скоро я, дабы смыть с тебя бесчестие, великой опасности себя подвергаю и готов даже жизни лишиться, должен и ты спасти меня: знай же, что некогда я обещался и дал слово жениться на Оливии, приемной дочери одного богатого поселянина, именем Эрасистрато. Известно мне, что со дня на день ожидается по этому делу приговор, согласно которому я должен буду взять девицу в жены; а посему, если, приняв за меня, станут тебя к браку принуждать, прошу тебя, брат мой, не противься, тем более что ты тут ни с какой стороны не прогадаешь.

Согласился Коринео, а Роселио распрощался с отцом своим Фелисьяно и с женою Леонардой, да и отбыл вместе с некромантом в Македонию.

А Коринео остался в доме Фелисьяно вместо Роселио, и, чтобы наилучшим образом своему другу верность соблюсти, он, ложась с Леонардой, вынимал из ножен меч и клал его посередине кровати. Таким доселе невиданным делам изумилась Леонарда и обо всем доложила Фелисьяно. Стал Фелисьяно за это ему выговаривать да выпытывать у него, к чему такие чудачества; а тот отвечает — вернувшись из Македонии, дал, дескать, обет Господу нашему; однако же для беспокойства нет причин, ибо скоро тому обету срок выйдет. Тем временем жалобу на Роселио

при дворе рассмотрели и, приняв во внимание все обстоятельства, постановили его на Оливии женить; а понеже откажется, отрубить ему голову. С таким постановлением пошел Эрасистрато к судье, а тот направил альгвасила, чтобы Роселио взять под стражу. Вот идут они вдвоем и встречаются Коринео с оруженосцем; останавливает альгвасил рыцаря и все ему излагает. Отвечает на это Коринео — путь, мол, Эрасистрато выразит свою волю, а он уж все исполнит как надобно, ибо готов поклясться всеблагою крестною силою, что Леонарда ему не жена и в жизни он с нею не сходился. Сказал тогда Эрасистрато, что, коли так, пускай возьмет он в жены Оливию при нотариусе и добрых свидетелях. И в полном согласии поспешили они к дому Эрасистрато.

Хоть и свершилось бракосочетание без особого шума, не прошло и недели, как узнала о нем Леонарда, а тут и Роселио вернулся из Македонии, сразив Коринеова противника. Подошел Роселио к двери своего дома и слышит, как отец его Фелисьяно и жена Леонарда бранят Коринео за то, что женился тот на Оливии; тут искусный и ученый некромант вернул друзьям их обличье, и поразилась Фелисьяно с Леонардой, увидя перемену; кстати и Роселио пожаловал. Узнали все его; разъяснил он, отчего и зачем такая путаница получилась, сообщил также, что Коринео больше беспокоиться не о чем, а тот ему поведал о своей женитьбе на Оливии. Изумились все таковым чудесам, а Роселио сказал:

— Государь мой батюшка, на этом, думаю я, тяжба наша кончена, и Эрасистрато должным образом удовлетворен.

Отвечал Фелисьяно:

— Что до меня, то я доволен; но чтобы уж

вполне была совесть чиста, надо позвать сюда Эрасистрато.

Привели его и подробнейшим образом доложили о происшедшем; и поскольку Коринео ему приглянулся, а новой ссоры затевать не хотелось, со всем согласился старик и добавил только, что Коринео подобает этот брак за счастье почитать, ибо Оливия, судя по облику ее и нраву, должна быть знатного рода. Услыхал такое Фелисьяно и удивился:

— Как это, разве она не ваша дочь?

— Н е т , — отвечает Эрасистрато.

А Фелисьяно:

— Как же она к вам попала?

Рассказал Эрасистрато все как было, а Фелисьяно:

— Нельзя ли пеленки показать, в которые девочка была завернута?

— М о ж н о , — говорит Эрасистрато, и Фелисьяно упросил его сходить за пеленками, а заодно и Оливию привести.

Вернулся старик с девушкой, и пеленки принес — по ним-то и узнал Фелисьяно, что Оливия — его дочь; обнял он ее и дал ей свое благословение. Видя такой редкостный случай, заплакал горько Эрасистрато и молвил:

— Ах, если бы Господь сподобил и меня, о добрый мой господин Фелисьяно, отыскать дочь, которая у меня пропала, но напрасны мои сетования, ибо тело ее нежное пожрали дикие и свирепые звери.

Осведомился Фелисьяно, что же случилось; рассказал Эрасистрато, как львица унесла с выпаса его дочь, а жена от пережитого ужаса скончалась. Спрашивает тогда Фелисьяно:

— Какие на девочке были знаки?

— Сударь мой, была у нее на шее золотая цепочка, а на цепочке той — золотой орел, — отвечает Эрасистрато.

И молвил тут Фелисьяно:

— Смотрите, не этого ли орла Леонарда на груди носит?

Поглядел он и говорит, что да; а Фелисьяно ему:

— Ну, значит, это — ваша дочь.

Обнял старик Леонарду и благословил ее; затем попросил, чтобы ему рассказали, каким чудом попала она к Фелисьяно; тот ему изложил все честь по чести: и как на охоту пошел, и как львицу поднял и убил из ружья, а девочку, вынутую из львиной пасти, назвал Леонардой: Тут и Коринео признался, что он Эрасистратов сын и что уж десять лет отца не видал.

Справили они две свадьбы в великом веселии и ликовании: брат взял в жены сестру другого брата, а сестра вышла замуж за брата другой сестры, и стали они жить честно да Бога славить.

НЕБЫЛИЦА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Раз аббат достойных правил
Угадать ответ не смог;
Повар честь его сберег,
От лихой беды избавил.

Измыслил некий король, по наущению злых языков, отобрать аббатство у одного достойного аббата и передать другому; призвал его к себе и говорит:

— Преподобный отче, поелику уведомили меня, что не обладаете вы ученостию в той мере, каковой ваше звание требует; я, ради блага моих подданных и успокоения собственной совести, хочу задать вам три вопроса, и ежели вы мне их разъясните, то в двойном выигрыше окажетесь: клеветники ваши будут изобличены во лжи, а я оставляю за вами аббатство до конца ваших дней; ежели же не найдете решения, не обессудьте.

На что аббат ответствовал:

— Говорите, ваше величество, а я все силы приложу, дабы вопросы ваши истолковать.

— Ну так о т , — начал король, — во-первых, хочу я, чтобы вы изъяснили, какова мне цена; во-вторых, где находится середина мира; и в-третьих, что я в мыслях держу. А дабы не говорили потом, что я застал вас врасплох и принудил отвечать наугад, я даю вам месяц на размышления.

Вернулся аббат в свой монастырь, но сколько ни рылся в Священном писании и в творениях древних, нигде не мог на три вопроса найти ответы, которые бы ему достаточными показались. А поскольку означенные вопросы не выходили у него из головы, бродил он по монастырю и рассуждал сам с собою довольно громко; однажды услышал это монастырский повар, подошел и спросил:

— Что с вами, ваше преподобие?

Аббат молчит, а повар ему:

— Не побрезгуйте моим советом, сударь, ибо по одежке встречают, а по уму провожают, и малая птаха всю округу будит.

И не отступился, покуда аббат не открыл все, как было. После чего и говорит:

— Сделаем так, отче: сбрею-ка я бороду и надену ваше платье; а поскольку я немного на вас похож и к королю пойду, когда уж смеркнется,

никто и не заметит обмана, приняв меня за ваше преподобие; я же честью своей клянусь, что вас из этой беды выручу.

На том и порешили: облачился повар в аббатовы ризы и, сопровождаемый слугою, как то положено по этикету, предстал перед королем. Завидя его, король велел ему сесть подле себя и спросил:

— Ну, любезный аббат, что новенького?

Отвечал повар:

— Явился я сюда, ваше величество, дабы постоять за свое доброе имя.

— Вот как, — изрек король, — ну-ка, послушаем, какие ответы придумали вы на мои три вопроса.

И говорит ему повар:

— Во-первых, спрашивали вы у меня, какова вам цена; расчел я, что двадцать девять серебряников, ибо Христа продали за тридцать. Во-вторых, интересовались вы, где находится середина мира; она у вашего величества под ногами, ибо коль скоро Земля наша круглая, как шар, куда ни ступишь ногою, там у нее середина, и ничего тут супротив не скажешь. В-третьих, должен я отгадать, что вы в мыслях держите; а то вы держите в мыслях, что говорите сейчас с аббатом, а на самом деле перед вами его повар.

Изумился этому король и вопрошает:

— Это что, правда?

А тот ему:

— Да, государь, я — повар, ибо для таких вопросов и повара довольно, и незачем беспокоиться господину аббату.

Смелость повара и его находчивость пришлось королю по нраву, и он не только аббатство оставил за его хозяином, но и самого его щедро наградил.

НЕБЫЛИЦА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Не хотел Танкред с Фебеей
Брандианы честь сбересть:
Брат на брата поднял меч,
Злобы в сердце не имея.

Правил как-то в Шотландии славный король по имени Ахиллей, молодой и еще не женатый; Богу угодно было, чтобы однажды он занемог. Будучи на краю могилы, поклялся он, что если Господь избавит его от недуга и вернет прежнее здоровье, то он примет схиму и будет остаток дней своих служить всевышнему в монашеском звании. Случилось так, что очень скоро он поправился и, дабы исполнить обет, вызвал своего брата Калимеда, который давно уже был женат и имел дочь по прозванию Брандиана, посадил его на свой трон и препоручил свое королевство, заставив всю знать присягнуть ему; сам же удалился от мира в аббатство Санта-Флор.

Став шотландским королем, Калимед выказал великую щедрость и широту души — не только в отношении своих подданных, но и со всеми чужеземцами; к тому же дочь его отличалась красотой, добродетелью и приветливым обхождением, а потому ко двору его стекалось знатных кавалеров без числа. Меж ними прибыли два брата, Ричард и Дульсид, сыновья британского короля, и сын герцога Альбанского по имени Танкред. Ричард, видя, что он титулом и званием принцессе ровня, назвал ее своею дамой, принялся ей служить и в ее честь устроил при дворе несметное множество пиров, турниров, состязаний и прочих забав; и всюду он блистал, ибо рыцарем был безупречным. Королева и король Калимед несказанно всему этому

радовались и его уже за сына почитали, каждодневно оказывая ему внимание и являя свою милость.

Однако же и Танкред не оставлял служения Брандиане, тщась изо всех сил понравиться ей; но, видя, сколь мало проку в его стараниях и как обласкан Ричард, решил он испробовать другой путь для достижения желаемой цели, а именно — взялся обхаживать Фебею, любимую камеристку принцессы Брандианы, да с таким пылом, что уж через несколько дней добился от нее всего, чего хотел, и почитай что каждую ночь проводил с нею в свое удовольствие, в полночь, когда все мирно отдыхают, поднимаясь в ее покои по веревочной лестнице. А вступив с Фебеей в подобные отношения, выбрал он случай и попросил камеристку, чтобы она перед своей госпожой за него словечко замолвила: так, мол, и так, дни и ночи терзает Танкреда любовь; а ежели принцесса окажет ему такую милость и как-нибудь согласится выйти за него, он ей, Фебее, даст семь тысяч дукатов в приданое. Не отказала Фебея; однако же претило ей себе во вред стараться, ибо в случае успеха потеряла бы она возлюбленного; с другой стороны, манило ее приданое, Танкредом обещанное; в конце концов корысть взяла верх, и с Брандианой девица поговорила. Но поскольку у той на сердце был один Ричард, она про Танкреда и слушать не стала — больше того, пригрозила Фебею прогнать, если еще раз об этом заикнется.

Получив такую отповедь, Танкред завязал с Ричардом наитеснейшую дружбу и однажды наедине высказал ему следующее:

— Сударь ты мой Ричард, коль скоро я тебя за друга почитаю, хотел бы я кое-что между нами разъяснить: отлично тебе известно и ведомо, что уже долгое время я служу Брандиане; ни для кого

также не секрет, что хочу я через труды мои и старания жениться на ней, и король, насколько я знаю, препятствий чинить не будет; так не след тебе стоять у меня на пути и желать того, чего вряд ли достигнешь.

Ричард ему на то ответил:

— Удивляют меня, Танкред, твои речи, будто раньше меня полюбил ты Брандиану; не замечал я, чтобы ты хоть единым взглядом свое чувство выказал, но не в этом суть, ведь не можешь ты не знать, сколь велика любовь ко мне Брандианы: она ни о чем ином и не помышляет, как только стать моей супругой. И дабы не питал ты напрасных надежд, скажу тебе, что от нее самой не раз я слышал, будто она тебя терпеть не может.

— А х , — молвил Танкред, — вижу я, в каком заблуждении ты пребываешь и сколь ослеплен ты своей любовью; но если ты уверен, что любим принцессой, как вслух об этом провозглашаешь, давай биться об заклад: расскажи мне, какие милости оказала она тебе за время, пока ты ей служишь, а я расскажу, какие я от нее получал; и у кого выйдет больше и весомее, тот и останется ее рыцарем.

Согласился Ричард; дали они друг другу честное слово, что сохраняют услышанное в тайне, и начал так британский принц:

— Знай же, Танкред: поклялась мне Брандиана, что не будет у нее иного супруга и повелителя, кроме меня, и в подтверждение сняла с руки вот это кольцо; а понеже отец ее воспротивится, дала мне слово бежать со мною в Британию.

На что Танкред отвечал:

— Коль скоро мнишь ты себя уверенным в своем праве, должен я тебе такое сообщить, от

чего ты меня сочтешь не в пример более удачливым, а именно: каждой божьей ночью сплю я с Брандианой.

Услыша такие слова, сказал Ричард, что поверить в это не может. Молвил тогда Танкред:

— Ты, значит, более веришь женскому слову? Так погоди немного и следующей ночью увидишь собственными глазами.

Условились они, пошел Танкред к Фебее и говорит ей:

— О возлюбленная моя и владычица моего сердца! Был бы я рад, ежели бы ты соизволила, ради того, чтобы выбросил я из головы мечты о Брандиане, оказать мне неизреченную милость: следующей ночью, когда я приду к тебе, а я уж выберу времечко попозднее, облачись в платье принцессы, сделай прическу, как у нее, и, встречая меня, подражай ей в голосе и движениях; так, вообразив, что ты — это она, я, может быть, утолю свое безумное желание.

Охотно согласившись, помчалась Фебея исполнять уговор, а Танкред напомнил Ричарду об условленном; тот, на случай если с ним что-нибудь приключится и потребуетя защитить его жизнь, известил своего брата Дульсида и указал место, где должно ему стоять в дозоре.

И вот очутились оба соперника на заднем дворе, куда выходили принцессыны окна; оставив Ричарда в потайном месте, дабы тот воочию убедился в истинности его речей, подал Танкред условленный знак, и на галерее показалась Фебея в изящнейшем белом платье из тонкой ткани с золотою отделкой, с парчовыми вставками и в токе, расшитой золотыми нитями — словом, в том самом наряде, какой Брандиана носила все эти дни. Явилась лестница; Танкред поднялся наверх,

и Фебея крепко обняла его; Танкред же, по обыкновению целуя ее, сказал громко, так, чтобы Ричард слышал:

— О принцесса и госпожа моя, хватит ли жизни всей, дабы воздать вашей светлости за счастье, каковое вы мне даруете?

Поверив словам Танкреда и скудному свету луны, решил Ричард, что эта Брандиана; выхватил он меч из ножен, упер рукояткой в землю, дабы пронзить себе грудь, но тут подоспел Дульсид и схватил его за руку со словами:

— Что это, брат мой? Разум ты потерял, коли из-за женщины такое творишь? Или не знаешь, как ветрены все они и непостоянны? И коль скоро убедился ты воочию во лживости ее и притворстве, обрати против нее свое оружие либо же перед ее отцом открой сию великую низость.

Отвечал Ричард:

— Брат мой, не приведи мне Господь увидеть в беде и невзгоде ту, кого я столь сильно любил; однако же решил я внять твоему совету: идем отсюда, и пускай достаются женщины тому, кто их достоин.

Ушли они, но Ричард, который истинно был влюблен, все увиденное запечатлел в сердце и душе и на другое утро поднялся рано, еще до света, удалился на полмили от города, к морю, взобрался на одну из прибрежных скал и оттуда кликнул находившегося поблизости пастуха, которому и сказал:

— Братец, не откажи в просьбе, пойдй ко двору короля Калимеда и сообщи всем, что Ричард (то есть я) сам себя жизни лишил оттого, что Брандиана верность ему не сумела соблюсти.

И едва лишь произнес он эти слова, как бросился в море; пастух же поспешил ко двору.

Но, оказавшись в воде, Ричард сразу же в содеянном раскаялся. А поскольку умел он хорошо плавать, то выбрался на берег прямо у аббатства Санта-Флор, где приютили его монахи, коим он сказал, что спасся вплавь с корабля, неподалеку отсюда потерпевшего крушение.

Дульсид же, который, проснувшись поутру, брата нигде найти не мог, впал в такое отчаяние, что нельзя было глядеть на него без сострадания и великого ужаса; король с королевой, сильно любившие Ричарда, тоже в тоске пребывали, равно как и вся придворная знать, а более всех Брандиана, хотя она виду и не показывала.

В разгар этих забот и тревожений явился ко двору пастух и рассказал, как Ричард утонул из любви к Брандиане, — он, дескать, это своими глазами видел. Дульсид, получив столь печальную весть и считая, что по вине Брандианы брат его принял смерть, облачился в простые доспехи, без герба или же девиза, и, войдя в покои, где сидел король, королева и Брандиана в окружении придворных, возгласил следующее:

— Знайте, ваше королевское величество, что смерть брата моего Ричарда приключилась по вине дочери вашей Брандианы: видели мы с ним, как миловалась она с каким-то рыцарем из тех, что при вашем дворе служат; с каким именно — ночью, в темноте я не разглядел хорошенько, а брат его имени назвать не пожелал, но истинность слов моих готов я подтвердить в бою с оружием в руках.

Слова Дульсида привели всех присутствующих в такое смущение, что они лишь переглядывались между собою, не зная, что ему и отвечать; один король наконец изрек:

— Вот что, рыцарь, раз уж выдвинули вы такое обвинение, я готов даже и против собственной дочери обратиться закон, для подобных случаев предусмотренный. Идите и не тревожьтесь: для разрешения сего дела отныне назначены судьями Танкред, сын герцога Альбанского, и граф Фламандский; и если по истечении месяца не явится рыцарь вступить за мою дочь, постигнет ее кара, какой она заслуживает.

И велел король объявить, что тот, кто победит Дульсида, получит принцессу в жены. Такую огласку получила эта история, что вести о ней в короткое время дошли до самых дальних краев, но, поскольку был Дульсид необычайно силен и отважен, не нашлось рыцаря, который дерзнул бы сразиться с ним.

Ричард, бывший тогда в монастыре Санта-Флор, тоже обо всем узнал, ибо монах Ахиллей, дядя Брандианы, сильно горевал, видя, какая беда с племянницей приключилась. Попросил Ричард Ахиллея достать оружие и коня: раз, мол, не нашлось рыцаря, который взял бы это на себя, должен он сам, с Божьей помощью, побороть Дульсида. С великой охотой отозвался Ахиллей на его просьбу и щедро снабдил всем требуемым.

Распрощался Ричард с монахами и, наказав, чтобы поминали его в молитвах, двинулся в путь; и нельзя не привести здесь слов, какие он, сам с собою споря, то и дело сдерживая коня, произносил:

— Не думаю, чтобы в целом свете сыскался такой, как я, неразумный рыцарь, который столь опрометчиво, не размышляя нимало, взвалил бы на себя столь тяжкое бремя. Что все это значит, Ричард? Что ты делаешь? Куда едешь? Во сне ты

или наяву? В своем ли ты уме или же лишился рассудка? Еще и еще раз должен ты все обдумать и взвесить: ведь если вступишь ты в этот бой, то, чтобы выручить Брандиану, должен будешь побороть или убить родного брата; но если, к несчастью моему, — а как ни прикинь, все несчастье выходит, — Дульсид меня поборет или же убьет? Оба мы с Брандианой станем тогда добычей жестокой смерти.

Наконец, справедливо признав, что все зло пошло лишь оттого, что брат вмешался в его дела, решился Ричард продолжать назначенный путь. И въехал он на ристалище, где на помосте, обитом черною тканью, каждодневно восседали король, судьи, принцесса Брандиана, тоже в черном с головы до пят, и Дульсид в полном вооружении. Предстал Ричард перед судьями и заявил, что желает защитить честь принцессы Брандианы; отвели судьи место для поединка, и вступили рыцари в бой, да так, что в первом же столкновении переломились оба копья, а конь Дульсида опрокинулся наземь. Очень тому обрадовались все, кто там был: думали они, что сейчас спешится и чужеземный рыцарь; однако же Ричард обождал, покуда коня подымут — братская любовь ему велела противника щадить. Встал на ноги Дульсидов конь; рыцари обнажили мечи и дрались столь стойко и отважно, что народ глядел на них в изумлении. Так долго длилась битва и так равны были силы соперников, что лишь ночь их развела, и каждый ушел к себе для отдыха и сна.

Тем временем Фебея, припомнив давешний обман, поняла, что Танкред послужил причиною бесчестия Брандианы, и дабы спасти двух рыцарей, которые безо всякой вины бились насмерть,

втайне направилась прямо в аббатство Санта-Флор, где, преклонив колена перед монахом Ахилеем, подробно изложила ему все, как было, попросив только, чтобы брат монаха, король Калимед, их (Танкреда и ее) помиловал, а с Танкреда требовал приданое, какое рыцарь ей посулил. Пообещал ей это монах и велел из монастыря никуда не отлучаться, а сам, видя, какой оборот принимает дело, поспешил ко двору и брату своему Калимеду поведал, что дочь его невинна, а причина великого сего беспокойства — козни Танкреда и Фебеи, но все же просил пощадить их и даровать им жизнь. Смилостивился король, однако же, дабы клеветникам воздать по заслугам и восстановить честь дочери, велел взять под стражу Танкреда и Фебею, с тем чтобы после, в особо назначенный день каждый из них взведен был бы на эшафот и прилюдно бы в своем грехе покаялся и в жесвидетельстве признался. Затем послал он за чужеземным рыцарем, что вступился за Брандиану.

Как узнал о том Ричард, оделся в доспехи без девиза, как будто к бою готовясь. А явившись в королевские покои, снял шлем и тут же был узнан всеми; и крепко обнял его король, и брат Дульсид, и все рыцари, что при этом присутствовали. Великие радость и ликование от известия, что Ричард жив и что он-то и был тот чужеземный рыцарь, который сразился с Дульсидом, распространились по всему дворцу, и вот королева с принцессой Брандианой, нарядившись роскошно, вышли, чтобы увидеть Ричарда и возблагодарить его за тяготы, кои он претерпел ради спасения их чести. Король же, исполняя данное слово, просил брата своего Ахиллея обвенчать Ричарда с Брандианой при всем народе. После венчания Ричард

преклонил колена перед королем, прося отпустить Танкреда и Фебею, что король и не преминул сделать: отпустил обоих и помиловал, однако же с условием, чтобы Танкред навсегда покинул двор, оставив Фебее расписку на семь тысяч дукатов — приданое, какое он ей обещал. Так все и было исполнено, а через несколько дней Ричард и Брандиана свадьбу сыграли.



АНТОНИО ДЕ ЭСЛАВА

ИЗ КНИГИ «ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА»

О том, как был открыт Родник Откровений



Был когда-то в Сирии многолюдный и прекрасный город Пальмира¹, и в этом городе жила Либия, девушка знатная, скромная и красивая, сирота, получившая в наследство от родителей немало тленных земных благ. Многие молодые люди пытались завоевать ее расположение, но она всей душой полюбила лишь одного пригожего и хорошо воспитанного юношу по имени Юстин, жителя того же города. Побуждаемые обоюдным влечением и взаимной любовью, юноша и девушка в частых и долгих любовных беседах обсудили тысячу при-

¹ Пальмира — древний город на северо-востоке Сирии, славившийся своей красотой; был разрушен римлянами в 273 г. после антиримского восстания.

чин, по которым им нельзя жить друг без друга и главная из которых — стрела Купидона в сердце каждого из них, и сочетались неразрывными узлами брака; но Купидон, как это нередко случается, решил коварно подшутить над своими жертвами и разлучил влюбленных, нежданно-негаданно ниспослав войну. А дело было так: во времена правления римского императора Галлиена в Сирии, тогда еще провинции Рима, восстал один из царей по имени Оденат¹ и первым делом решил овладеть городом Пальмирой, где жили наши новые Пирам и Фисба². И вот, когда на город двинулось могучее войско, долг повелевал жителям проявить мужество и отвагу и грудью встретить врага; забили барабаны, сзывая мужчин под расшитые золотом боевые знамена, понадобились офицеры, способные командовать отрядами, а так как Юстин был молод, знатен и храбр, его назначили альфересом³. Вражеское войско уже приближалось к Пальмире, окружая город, и, дабы кольцо осады не замкнулось, отряду самых отчаянных храбрецов предстояло выйти из стен города навстречу врагу; прекрасная Либия, для которой главным полем битвы была любовь, убоялась, как бы долгая разлука не охладилла чувства Юстина к ней, и накануне его ухода обратилась к нему с такой речью:

— Дорогой и любимый Юстин, если истинная любовь объединяет сердца и помыслы, как же ты

¹ Галлиен Публий Лициний Эгнатий (218—268) — римский император с 253 г.; во время его правления отпали некоторые римские провинции, в том числе Пальмирское царство,² правителем которого стал Септидий Оденат (ум. 267).

Пирам и Фисба — вавилонские юноша и девушка, верная любовь которых воспета Овидием («Метаморфозы», 4, 551).

³ Альферес — младший офицерский чин в испанской армии.

по такому незначительному поводу решил разлучиться со мной, зная, что это будет наперекор моим желаниям и моей воле? Причину я могу видеть лишь в том, что ты окунулся в Лету, холодные воды которой дают забвение, и они погасили жаркое любовное пламя в твоей груди, раз уж ты с легким сердцем хочешь служить Марсу так же верно, как до сей поры служил Купидону. Если моя слабая женская воля что-нибудь значит для тебя, откажись участвовать в этой вылазке, ведь ты оставишь меня в несказанной печали, к тому же в военной горячке и неразберихе заключена немалая угроза моей чести, а защитить меня будет некому: родители мои давно уж в могиле. Когда сердца наши вкушали блаженство взаимной любви, я помню, ты не раз говорил, что принадлежишь не себе, а мне; если ты и воистину мой, как ты утверждал, тогда я вправе требовать, чтобы ты не уходил; если и я принадлежу не себе, а тебе — и это чистая правда, — то возьми меня с собой, клянусь верностью обету, который я тебе дала, что укреплю сердце отвагой и вынесу все тяготы не хуже мужчин, рядом с тобой я буду храбрее любого твоего воина; и не столько во имя защиты родины, сколько ради того, чтобы спасти твою жизнь.

Разумный Юстин внимательно и серьезно выслушал доводы возлюбленной и, поняв, что они порождены ее любовью к нему, отвечал так:

— Моя прекрасная Либия, если бы ты знала, в чем заключается истинная любовь, то не стала бы упрекать меня, как упрекаешь теперь, и посчитала бы мое решение правильным; не думай, что проявлять любовь значит расхаживать по мощеным улицам города, нарядившись в дорогие роскошные одежды, и толковать о своих чувствах

под надежной крышей дома; нет, любовь зовет свершить какой-нибудь славный подвиг, как это сделали Роланд ради Анжелики, Чербино ради Изабеллы, Руджеро ради Брадаманты¹, ибо лишь благородные деяния показывают все величие истинной любви. Милая Либия, взгляни на мое решение не затуманенным ревностью взором, и ты увидишь, что главной причиной, побуждающей меня идти в бой, является опасение, как бы свирепый враг не овладел и не насладился твоей красотой, когда начнет грабить и разорять наш несчастный город; и если бы острым, как у рыси, взглядом могла ты проникнуть в мою пламенную душу, ты бы увидела, что не окунался я в те воды, которые, как ты говоришь, дают забвение; ты полагаешь, раз я твой, то не должен идти на войну — да, я твой, это святая правда, но ведь я прошу отпустить меня ненадолго и залогом оставляю тебе свое сердце; ты изъявляешь желание пойти вместе со мной и отважно защищать меня в бою — что ж, может, ты и сумела бы уберечь мое тело, но что было бы с моей душой? К тому же, что сказали бы люди о твоей и моей чести? И как твое нежное тело могло бы вынести все тяготы военной жизни? Так что, моя прекрасная Либия, дождайся желанной победы и, как только война меня отпустит, я снова буду безраздельно твоим.

Закончив речь, Юстин крепко обнял Либию, посмотрел на нее долгим взглядом, в котором горел огонь его души, попрощался и ушел. Едва из-за горизонта показались первые лучи огненного

¹ Роланд, Анжелика, Чербино, Изабелла, Руджеро, Брадаманта — персонажи поэмы Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд» (1532). Здесь и далее А. Эслава, по-видимому, намеренно вводит анахронизмы, подчеркивая тем самым условность сюжета.

венца Тифона¹, забили барабаны, сзывая воинов в поход, и большой отряд вооруженных людей с криком и шумом и без особого порядка покинул город, чтобы отбить врага. Но воины были обучены кое-как, и потому отряд очень скоро был разбит противником, большинство пальмирцев пало в бою, а нашего храброго Юстина захватили в плен и угнали за двести миль от родных мест, в городок Низию, находившийся в шести милях от столицы, где держал свой двор царь Оденат, по велению которого была осаждена Пальмира; Юстина продали в рабство богатому и процветающему торговцу. Оказавшись в неволе, Юстин загрустил, оплакивая свою горькую судьбу: ведь его любимая и обожаемая Либия осталась далеко-далеко, кто защитит ее в хаосе и смятении яростной битвы?

Целый год томился он в неволе и рабстве, ничего не зная о том, что случилось с Либией, и терзаясь тоской; то воображал, будто безжалостная Парка перерезала тонкую нить ее молодой жизни, то опасался, что Либия, обладая переменчивым, как у всех женщин, нравом, забыла данный ему обет; не раз он прерывал работу, охваченный сладкими мечтаниями, которые хоть ненадолго давали душе его отдохновенье от горьких мук; и вот как-то раз хозяин Юстина, понимая, что лень и нерадение раба проистекают от тоски, отправил его с двумя мулами за дровами в дикий и глухой лес, находившийся в двух лигах² от селения; Юстин повиновался с готовностью, ибо в безлюдном лесу мог без помех оплакивать свою злосчастную судь-

¹ Тифон — сын троянского царя Лаомедонта, супруг Эос (Авроры), богини утренней зари (греч. миф.).

² Лига — путевая мера длины, равная 5 км.

бу; но он также с гордостью вспоминал любовные ласки, какими одаривала его возлюбленная, и так увлечен был этими приятными воспоминаниями, что сбился с дороги, вернее, с едва проторенной тропы и забрел в самую глушь; очнувшись от бесплодных мечтаний, принялся заготавливать дрова, как приказал ему хозяин, в кровь обдирая белые руки об острые сучья; поработав некоторое время, он устал и почувствовал жажду. Оглядевшись по сторонам, увидел обильный источник с хрустально-чистой водой, которая была ключом во многих местах, — это и был уже упомянутый мною Родник Откровений, дотоле никому не известный; когда истомленный жаждой Юстин подошел к роднику и глянул в зеркало его прозрачных вод, он увидел рядом со своим отраженьем образ любимой и обожаемой Либии, верный и живой, точно такой, каким он был запечатлен в его памяти. Не зная о волшебных свойствах источника, изумленный и пораженный Юстин повел такую речь, не спуская глаз с желанного образа:

— О виденье, единственная отрада души моей! Зачем ты снова показываешь мне несравненную красоту той, кого я боготворю, показываешь через посредство холодных текучих вод, придающих любимому образу еще большую чистоту и яркость? Ведь сиянье этой красоты в чистой прозрачной воде спит глаза. Что же ты видишь, Юстин, от счастья не веря глазам своим? Разве это не твоя возлюбленная Либия? Не ее божественное лилейное чело? Не ее белые руки? Не ее коралловые уста? Не ее очи, подобные звездам небесным? Не ее беломраморные плечи? Не ее очарованье и прелесть? Разве не сама она смотрит на тебя с радостной улыбкой? О прекрасная Либия! Дай мне хоть какой-нибудь знак, скажи, что ты пришла ко мне,

что ты здесь! Молчишь, не отвечаешь? Да и как ты ответишь, если предо мною, быть может, лишь тень твоя? Но ведь когда самой тебя нет рядом, твоя тень может явиться только в том случае, если жестокосердная Атропа¹ уже перерезала нить твоей жизни, и лишь свет души твоей создает игру теней и красок в прозрачных водах. Но нет, то не тень, не призрак, это ты сама. Скажи, моя прекрасная Либия, где ты? Если ты шутишь со мной, оставь шутки, не до них моему измученному сердцу, позволь хотя бы коснуться твоего отраженья в воде.

И он погрузил руку в прозрачную воду, возмутив ее зеркальную поверхность, так что исчез и образ Либии, и его собственное отражение. Не поняв, в чем дело, Юстин решил, что возлюбленная покинула его, и принялся взывать к ней; но лес безмолвствовал, никто не откликнулся на его жалобные зовы, и тогда он вернулся к роднику, поверхность которого тем временем успокоилась, и снова увидел образ любимой; тоска переполнила грудь его, и он дал волю слезам, обращаясь к Либии с такими словами:

— О Либия, почему ты так жестока, почему ты позволяешь, чтобы раб твой жил в неволе у кого-то другого и терпел такие муки? Скажи мне, прекраснейшая из женщин, где ты прячешься? Если ты избрала жилищем холодные воды этого ключа, клянусь мирозданием, я разделю его с тобой навечно.

Наконец Юстин устал бросать на ветер свои жалобы, на которые даже эхо не отвечало, и, как человек рассудительный, пришел к философскому

¹ Атропа — третья из Парок, перерезающая нить жизни (греч. миф.).

заклучению, верней говоря, сердце ему подсказало, что, если о чем-либо думать непрестанно, предмет мысли явится зримо, и, стало быть, образ Либии создало его собственное воображение. Тогда, уняв любовную тоску, он погрузил нарубленные дрова на мулов, которые по-своему дивились столь долгому ожиданию, и тронулся в обратный путь, размышляя о многих вещах, в том числе и о прекрасном, но обманчивом видении.

Но вернемся к прекрасной Либии, которая осталась в Пальмире наедине со своими ревнивыми подозрениями и тревогами среди военной сумятицы; когда она узнала о том, что ее возлюбленный Юстин схвачен и пленен, лишилась чувств и едва не отошла в лучший мир; потом, вновь придя в себя, предалась слезам и горьким сетованиям; видя, что враги ворвались в город и творят насилие, не щадя чистых девственниц и отроковиц, решила уйти из родных мест, переодевшись в мужскую одежду и захватив с собой побольше золотых монет, а еще коротко остригла свои золотистые локоны, дабы они не выдали ее, несмотря на мужской наряд. Либия возымела твердое намерение не возвращаться, пока не отыщет своего дорогого и любимого Юстина. А так как женщины не любят откладывать исполнение своих желаний, то она и сделала все, как задумала; в новом наряде она походила на юного дружку на свадебной церемонии. И вот, идя одна по дороге, ведущей в столицу царя Одената, который, как я уже сказал, направил свое войско захватить Пальмиру, в трех милях от этой самой столицы она сбилась с дороги и очутилась на узкой, едва проторенной в густом лесу тропинке и, дойдя до ее конца, остановилась, не зная, куда направить стопы. Стала искать в чащобе хоть какую-нибудь тропку, чтобы выйти

обратно на дорогу, ведущую к столице, и увидела источник с хрустально-чистой водой — это и был тот самый Родник Откровений, о котором я уже говорил и который пробудил обманчивые мечты в душе ее дорогого и любимого Юстина. Зачарованная мелодичным журчаньем воды, бившей из скалы сотнями прозрачных струй, и побуждаемая жаждой, Либия наклонилась испить живительной влаги и в зеркале вод увидела образ своего возлюбленного. Изумление и восторг мешались в душе ее со страхом, и она, как зачарованная, долго смотрела на чудесное виденье. Узнав любимые черты и полагая, что сам Юстин должен быть где-то неподалеку, принялась обшаривать углубления в скалах по обе стороны ручья, не обращая внимания на колючки, больно ранившие ее нежные белые руки. И, подобно истомленной жаждой лани, все возвращалась к хрустальному роднику, глядела на любимый образ и наконец излила переполнявшие грудь ее чувства в таких словах:

— О возлюбленный мой Юстин! Если ты не узнаёшь меня в этом новом наряде, посмотри внимательней и вернись ко мне, это я, твоя верная и любящая Либия, свято хранящая данную тебе клятву, я покинула милую родину, отчий дом и все богатства, а вместо подобающего моему естеству платья надела вот этот мужской наряд. Почему ты молчишь? Ответь мне, скажи хоть слово. О, горе мне! Неужели в разлуке ты полюбил другую, более достойную тебя девушку! Только знай: никто на свете не может любить тебя сильнее, чем я. Да нет, это невозможно, ибо я вижу тебя с собою рядом, а для той, другой, это было бы тяжким оскорблением. Скажи что-нибудь, не то я буду думать, что в груди твоей погас жаркий огонь любви и теперь ты холодней, чем эти прозрачные

глубокие воды, холодней, чем снег на равнинах Скифского царства, а если тебе не выбраться из воды самому, дай мне руку, моих женских сил достанет, чтобы вырвать тебя из объятий Арету-сы¹.

Не успела она произнести эти слова, как увидела огромного оленя с ветвистыми рогами, который бежал по лесу, отыскивая свою подругу, а ту три дня назад убили охотники; оленя мучила жажда, и он направился к роднику. Либия, проникшись жалостью к благородному животному, отступила в сторону и укрылась за кустом, откуда могла видеть, что будет делать олень. Когда тот подошел к роднику, то увидел в зеркале вод свою утраченную подругу, сначала испугался, отпрянул, потом обрадовался и стал весело скакать и прыгать; хоть его и мучила жажда, он лишь полизал воду, чтобы не причинить вреда своей возлюбленной. Но затем, влекомый природным инстинктом, не удовольствовался созерцанием и бросился в воду, куда манил его обманчивый образ. Но вотще: вода замутилась и взбаламутилась, олень выскочил на берег и скрылся в лесной чаще. Либия все это видела и поняла, какой волшебной силой обладает родник, поняла, что образ, явившийся оленю, был обманным, и никакой лани там не было. Принялась искать какую-нибудь тропинку в густом лесу, скоро нашла и вышла на главную дорогу, которая вела к столице; по щекам ее катились обильные слезы, и она проклинала оленя, неволью принесшего ей такое разочарование, развеявшего сладкий обман, который иной раз приятнее суро-

¹ Аретуса — нимфа, которая, спасаясь от речного бога Алфея, превратилась в источник и, протеки под морем, появилась в Сицилии (греч. миф.).

вой правды, ведь ей казалось, что она на самом деле видит своего возлюбленного Юстина, она даже говорила с ним.

Вот какие любовные страдания терзали грудь Либии, когда она пришла к царскому дворцу и, обратившись в Аргуса, высматривала своего Юстина, но тут красота ее привлекла внимание единственной дочери царя Одената, которую звали Селиндой, и та послала пажа с приказом привести красивого юношу пред ее царственные очи; принцесса спросила мнимого отрока, откуда он родом, как его зовут и кого он ищет в царском дворце, на что прекрасная Либия, потупившись, скромно и учтиво ответила, что она-де уроженец и житель Польши¹ по имени Либио, который, привлеченный молвой о великолепии царского двора, прибыл в эти дальние края набраться благородных манер и тонкого обхождения. Селинда, сразу пленившись стройной фигурой и учтивостью юного пришельца, взяла его в пажы, испросив на то разрешение царя, своего отца, и вскоре Либио стал главной заботой принцессы — так обуяла ее любовная тоска, а когда предмет любви постоянно перед глазами, истинная страсть растет и крепнет, и вот Селинда уже беспрестанно думала лишь о своем слуге Либио, измышляла, как бы открыть ему свое пылающее любовью сердце. И в один прекрасный день такой случай представился: они остались одни в уединенном покое, и сгорающая от любви принцесса Селинда сказала своему пажу, что так сильно любит его и обожает, что готова стать его рабой, если он ее полюбит. И Либио (вернее, Либия), видя прекрасную принцессу у своих ног и поняв

¹ Здесь также анахронизм: образование Польского княжества относится к X веку.

то, о чем и не подозревал, вынужден был прибегнуть ко всякого рода уловкам и заверил свою госпожу, что на такую милость ответит еще большей любовью и благоговением, что отдаст все силы служению ей.

И Селинда, считая, что начала дело удачно, осталась довольна таким объяснением; но несчастный Либио, умудренный в любовных невзгодах на собственном опыте, изумлялся не прихоти принцессы Селинды, а превратностям своей горькой судьбы, которая не только не позволяла ему (да простит мне Либия, что я говорю о ней в мужском роде) любить Юстина, но еще и сделала его предметом страсти, ответить на которую не было никакой возможности. И вот Либио, осаждаемый любовными притязаниями принцессы Селинды, решил вывести ее из прискорбного заблуждения и обратился к ней с такими словами:

— Светлейшая госпожа, я недостоин тех милостей, которые ваше высочество мне оказывает, и не в моих силах отплатить за них как подобает, хотя душа моя полна любви к вам. Чтобы доказать это, открою вам известную лишь мне тайну природы: в трех милях отсюда есть хрустально-чистый родник; стоит тому, кто любит по-настоящему, посмотреть в зеркало его вод — и рядом со своим отраженьем он увидит образ того, кого любит; и я прошу вашу милость тайно от всех отправиться со мной к этому роднику, и там мы воочию убедимся, что у кого на сердце, и таким путем приблизимся к исполнению наших любовных желаний.

Предложение Либио пришлось по сердцу прекрасной Селинде, она тотчас позвала одного из своих телохранителей и распорядилась, чтобы на следующий день, едва золотые гривы коней, влеку-

щих огненную колесницу Феба, покажутся на краю неба, они отправились тайно от всех к роднику, о котором мы говорили; в подобных делах женщины промедления не знают: сказано — сделано. Когда Селинда и Либио вместе глянули в воду, Либио увидел рядом с отражением Селинды свой образ и убедился, что принцесса любит его по-настоящему; но Селинда, ожидавшая увидеть рядом с отражением Либио себя самое, к немалому своему удивлению увидела статного, красивого и нарядного юношу — это был Юстин, каким хранила его память Либии. Увидев этот образ, изумленная Селинда разгневалась и сердито сказала своему пажу, что он на ее искреннюю любовь отвечает обманом. А тот посчитал, что наступил благоприятный момент открыть свое женское естество и держал такую речь:

— Прекрасная и быстрая разумом Селинда, я твердо знаю, что не достоин той высокой любви вашего высочества, какую подтвердили воды этого волшебного родника; видит бог, как хотел бы я быть в состоянии принять столь великую милость, но чтобы вы поняли мое положение и не сочли меня неблагодарным, знайте, что хоть на мне и мужской костюм, я — женщина, как и ваше высочество, а если вы в этом сомневаетесь, я, познавшая, что такое любовь к мужчине, расскажу вам, кто я такая и чего ищу. Я жительница города Пальмиры, который, к моему несчастью, был захвачен и покорен по приказу отца вашего высочества, там я встретила и полюбила благородного и прекрасного юношу по имени Юстин, и он ответил мне такой же искренней любовью; на войне он был схвачен, пленен и уведен в ваше царство. А я, не в силах вынести столь долгой разлуки, переоделась в мужское платье и отправилась его разыски-

вать; в пути набрела на этот волшебный родник и познала его тайну благодаря влюбленному оленю, не стану рассказывать, как это произошло, дабы не быть многословной. Судьбе угодно было, чтоб я попала к вам в услужение, и ваше высочество, обманувшись моим нарядом, на мою беду, почтило меня любовью, и видит бог, как бы мне хотелось, чтоб естество мое соответствовало платью и позволило бы насладиться вашей несравненной и совершенной красотой. А чтобы вы, ваше высочество, поняли, почему я так люблю Юстина, поглядите вместе со мной на его образ в этих прозрачных и чистых водах, и вы увидите, как строен его стан и как красиво лицо.

Принцесса Селинда, пораженная неожиданным поворотом дела, ощутила в груди словно бы приток холодной крови, который остудил ее пылавшее любовью сердце, а так как в воде она видела статную фигуру и красивое лицо Юстина, то на него и перенесла злосчастную страсть, предметом которой прежде был Либио; и так сильно влюбилась она в тень, вернее, в образ Юстина, что забыла обо всем на свете, хотя постаралась, чтобы ее новоявленная служанка ничего не заметила.

Тем временем золотая колесница Тифона преодолела уже половину своего пути по небесному своду, и принцесса с Либией, сопровождаемые телохранителем, поспешили обратно во дворец, и Селинда пообещала оставить девушку у себя в услужении по-прежнему под видом пажа до тех пор, пока та не получит вестей о своем горячо любимом Юстине. Но в то же время принцесса Селинда, пылая любовью к новому предмету, лихорадочно думала о том, как сделать, чтобы Либия не помешала ей завладеть Юстином; решив принять меры предосторожности, принцесса по-

шла к отцу и, обливаясь слезами, пожаловалась, что ее любимый паж по имени Либио поднял руку на ее царственную особу из-за того только, что она его побранила, и попросила разрешения наказать дерзкого слугу. Царь, отец ее, разрешил, и ни в чем не повинную Либию бросили в темницу, а страже был дан строгий наказ не разрешать ей ни с кем говорить. Все это было сделано ради того, чтобы помешать Либии найти Юстина, а ему отыскать ее, ибо принцесса хотела заполучить Юстина для себя.

Несчастливая Либия, не ведая о причине своего заточения, лила горькие слезы на холодный пол глубокого и темного подземелья, куда не проникало сиянье колесницы Феба. А прекрасная Селинда тайно послала своего верного телохранителя обойти хоть всю Сирию, отыскать Юстина и выкупить его у хозяина, сколько бы тот ни запросил, для чего дала посланцу много денег. Желая угодить принцессе, телохранитель начал старательно искать Юстина, да эта задача оказалась и нетрудной, ведь пленник жил в Низии, в шести милях от столицы, и хозяин его, как только услышал, кого ищет царедворец, так сразу привел к нему Юстина и продал за триста золотых монет, а тот привел его во дворец и предстал с ним перед принцессой Селиндой. Юстин, не подозревая о любовных помыслах принцессы, был весьма рад, что избавился от тяжелой работы у прежнего хозяина и попал в услужение к такой высокой царственной особе, как принцесса; знать, Фортуна повернулась к нему лицом, и он изо всех сил старался угодить принцессе. Однако Селинда, увидев любимого образ во плоти, еще глубже была уязвлена стрелой Купидона и ждала лишь удобного случая, чтобы открыть Юстину свое сердце; случай такой пред-

ставился довольно скоро, и она поведала юноше причину, по которой его купили и привели к ней: она-де прослышала о его стати и красоте благодаря удивительному случаю, который произошел в городе Пальмире, где некая дама по имени Либия наложила на себя руки из-за любви к нему, полагая его убитым на войне. Вот что придумала принцесса Селинда, дабы охладить любовь Юстина к Либии. Она осыпала его бесчисленными похвалами, которые свидетельствовали о безмерной любви к нему, сулила невиданные царские милости. Но Юстин не очень-то поверил в смерть Либии, видя, как жаждет его любви сама Селинда. Однако, будучи человеком хорошо воспитанным, от души поблагодарил принцессу за такое благоволение к нему и сказал, что постарается отплатить ей той же монетой, а сам пошел в свою комнату оплакать злую судьбу, снова ниспославшую ему тяжкое испытание; к тому же он опасался, не умерла ли Либия на самом деле, но больше всего боялся он коварных замыслов принцессы.

Селинда, заметив холодность Юстина, а в своей душе ощущая жаркий огонь, решила подвергнуть его волю более сильному испытанию и, уловив момент, стала пенять ему на малое усердие в службе и неблагодарность в ответ на ее любовь. Когда же она увидела, что все ее доводы не могут смягчить сердце Юстина, в порыве страсти обвила нежными руками его шею; и как раз в это время царю, ее отцу, понадобилось обсудить с дочерью какие-то важные дела, и вот, войдя в ее покои, он увидел такую любовную сцену, которая возмутила его, и в гневе приказал заточить бедного Юстина в ту самую дворцовую темницу, где уже томилась его возлюбленная Либия, а дочь, запятнавшую честь царского рода,

велел запереть в высокой и неприступной башне и держать под стражей; приказ царя тотчас был исполнен. Несчастный Юстин, придя в отчаяние, начал громко стенать и жаловаться на горькую свою судьбу, даже корил Парку за то, что она так медлительна, а то и попрекал Либию в неблагодарности. А так как Либия находилась в том же подземелье и услышала его жалобы, она примчалась к любимому быстрее лани, обвила его шею белыми руками, и из глаз у обоих полились слезы счастья. Прекрасная Либия, повиснув на шее возлюбленного, поведала ему о том, как ушла из Пальмиры, чтобы найти его, о том, что случилось с ней у родника, как пришла во дворец и стала пажом Селинды, как та воспылала к ней страстью, приняв за юношу, и как волшебный родник открыл принцессе ее ошибку. Не могла только назвать причину, по которой ее заточили в подземелье. Когда прекрасная Либия закончила свой рассказ, догадливый Юстин понял коварный замысел Селинды и рассказал Либии обо всем, что с ним случилось после пленения, в том числе и о причине царского гнева, из-за которого он оказался в этой мрачной темнице.

Раз уж наши герой и героиня выяснили все о любви Селинды сначала к ней, потом к нему, они поняли, за что их заточили в подземелье, и Либия сказала, что лучше всего поведать обо всем царю, пока он не вынес им суровый приговор, ибо они были уверены, что царь, узнав об их невинности, отпустит их с миром и не позволит дочери причинить им зло, так как поймет, что та способна на любые безумства из-за любви. К тому же Либия знала наверняка о том, что вдовствующий царь проводит ночи с безобразной колдуньей, настоящей старой ведьмой, которая, однако, благодаря

волшебке казалась ему второй Венерой. Об этом во дворце знали всего два человека, и одним из них была Либия.

Юстин посчитал совет своей возлюбленной разумным, и они попросили стражников передать царю, что хотят сообщить ему о важном деле и умоляют выслушать их. Царь согласился и велел привести пленников к себе. Либия и Юстин рассказали ему все о том, как началась и продолжалась их любовь до того самого дня, когда оба оказались в мрачном подземелье, не забыв упомянуть и о том, что случилось с Либией и Селиндой у Родника Разочарований. Рассказ их немало удивил царя, и он послал за принцессой, дабы вместе с ней и с придворными судьями направиться к этому роднику, о котором до той поры никто не знал, и там проверить, правда ли все то, о чем рассказали Юстин и Либия, а там уж пусть судьбы разберутся в этой запутанной любовной истории.

Когда они пришли к этому самому роднику, судьи стали в стороне и потребовали, чтобы Юстин первым погляделся в зеркало его вод, и рядом с его отражением все ясно увидели образ прекрасной Либии; потом велели Юстину отойти и позвали Либию, которая все еще оставалась в мужской одежде, приказали так же поглядеться в ручей, и рядом с ее отражением увидели образ ее возлюбленного Юстина. После этого царь с принцессой тоже подошли к воде и убедились, что принцесса действительно любит Юстина, раз уж ей явился его образ, а кроме того, все увидели рядом с царем такую страшную и безобразную женщину, что в страхе отвели глаза: это и была та, которая околдовала царя, а царь очень смутился и растерялся, потому что эту женщину увидели и судьи; тогда он велел и судьям всем сразу по-

глядеться в ручей, чтобы узнать, у кого какой изъян. Рядом с одним явилась старуха жена под стать ему самому; рядом с другим, который был вдовцом, — пышнотелая красotka с кувшином, буд-то она собиралась вычерпать всю воду родника, выдавшего ее секрет; рядом с третьим все увидели груды раскрытых книг и поняли, что он только их и любит; рядом с четвертым — три открытых сундука, наполненных золотыми монетами, о которых и были все его помыслы, значит, судил он не-праведно, за мзду; так как изъян нашелся у каж-дого, они вволю посмеялись друг над другом, не употребляя, однако, грубых слов и оскорблений. Решено было сохранить в тайне все, что они там увидели и узнали, Юстина и Либию отпустили с миром, и царь щедро оделил их деньгами на дорогу и выдал грамоту, повелевавшую возвра-тить им все их добро, которое стало добычей победителей. А над волшебным источником по-велел соорудить роскошный павильон и приста-вить к нему стражу, чтобы никто не смел подойти к воде без его соизволения и приказа. С той поры источник этот и прозвали Родником Откровений.

**О гордыне царя Никифора и о пожаре на его кораблях,
а также об искусстве волшебства,
коим владел царь Дардан¹**

В Греции правил некогда гордый и надменный император Никифор, окруженный великолепным пышным двором. И затеял он жестокую войну

¹ Н и к и ф о р I — византийский император с 802 г., был убит в бою во время войны с Болгарией в 811 г. Д а р д а н — вымышленное лицо, исторически не засвидетельствованное.

с Дарданом, царем болгарским, по такой причине: Никифор попросил Дардана отдать болгарские земли в дар одному из его, Никифора, двоих сыновей, ибо они доводились Дардану близкими родственниками, а собственная дочь болгарского царя, как женщина, не могла унаследовать отцовский трон по законам той страны. Но мудрый царь Дардан на это ответил, что если наследник Никифора женится на его единственной дочери, то он отдаст ему все свое царство, а если нет, то завещает его Римской империи. А так как император Никифор был горд и тщеславен и насчет сыновей лелеял другие планы, то он, уповая на свое могущество, предпочел начать беспощадную войну с тем, чтобы свергнуть Дардана и завладеть его страной. Мудрый Дардан мог бы разбить войско Никифора, если прибегнул бы к искусству волшебства, к черной магии, в которой не было ему равных, но он дал обет Всевышнему не пользоваться этим своим искусством в богопротивных делах во вред кому бы то ни было. Дардан по натуре был добр и милосерден, войну не любил и выставил против неприятеля совсем небольшое войско, а потому очень скоро силой оружия был изгнан из своего большого и богатого царства и остался ни с чем. Однако при таком повороте злой судьбы он проявил не только мужество, но и благоразумие: оказавшись за пределами родной страны, которой правил столько лет, без войска и двора, без преданных друзей, лишенный всех своих несметных богатств и чьей бы то ни было помощи, согбенный годами Дардан со своей горячо любимой единственной дочерью укрылся в густом лесу, подальше от людей и, взяв дочь за руку, держал такую речь:

— Дорогая и любимая дочь моя! Ты, верно, помнишь слова божественного философа Аристотеля о том, что истинное счастье — в совершенстве не одного какого-то деяния, а всей жизни, и под совершенством он разумел добродетель¹. Поэтому не думай, будто счастье заключено лишь в проходящих благах земных. Испанский философ Сенека также говорит, что мелок душой тот, кто довольствуется и наслаждается одними земными благами². Так вот, Богу было угодно лишить меня тленных земных благ, но зато он даровал мне блага духовные, небесные, и, стало быть, я могу называть себя счастливым, удостоенным самых высоких почестей. Поверь, дочь моя, у меня осталось единственное горе, и причина его заключается в том, что ты вдруг оказалась в бедности и нет вокруг тебя принцев и других знатных кавалеров, к поклонению которых ты привыкла; всего неделю назад ты была принцессой, дочерью могущественного государя, а теперь можешь именовать себя дочерью самого бедного и обездоленного человека на свете. О себе я не горюю, ибо знаю цену вещам в нашем изменчивом мире, к тому же я не первый и не последний государь, пришедший к такому печальному и прискорбному концу: теперь, когда наступила развязка моей собственной трагедии,

¹ Имеется в виду следующее положение Аристотеля: «Человеческое благо представляет собой деятельность души сообразно добродетели, а если добродетелей несколько — то сообразно наилучшей и наиболее полной. Добавим к этому: за полную жизнь. Ведь счастье — это определенного качества деятельность души сообразно добродетели». (Аристотель. Сочинения. М., 1983. Т. 4. С. 69).

² Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65) — философ-стоик и автор трагедий; здесь цитируется одно из основных положений его философии, встречающееся в различных формулировках во многих его произведениях.

я вспоминаю несчастного римского императора Гету¹, сраженного рукой его брата Антония; вспоминаю Юлия Цезаря, владыку всего мира, которого убили его же друзья у подножья статуи, изображавшей Помпея, его заклятого врага; вспоминаю Юстиниана Второго, которого сверг и изгнал за пределы империи его же военачальник Леонтий, перед тем отрезав ему уши для вящего надругательства²; и еще вспоминаю Людовика Благочестивого³, с великим позором изгнанного из Римской империи собственными сыновьями. Наконец, я знаю, Серафина, что в нашем переменчивом мире идет непрерывная война, которую ведут все и вся, ведь даже мерцающие в небесах звезды сталкиваются друг с другом, тучи затмевают небосвод, ветер бичует и вспенивает морские волны, вода стремится погасить могучий огонь, а огонь воюет с прочими стихиями, изменяя их состояние, лето мучает нас нестерпимым зноем, зима — пронизывающим холодом и дождями, реки грозят нам стремительными течениями и внезапными разливами. Если такое мы терпим от неодушевленных и бесчувственных творений божьих, чего же ожидать от наделенных чувствами и разумом существ? Поразмыслив об этом и видя, как мало мира

¹ Гета Луций Публий Септилий (189—212) — римский император (208—212).

² Юстиниан Второй Ринотмет (670—711) — византийский император; в результате заговора, возглавленного полководцем Леонтием, в 695 г. был свергнут и сослан в Херсонес. Прозвище Ринотмет по-гречески означает «с отрезанным носом».

³ Людовик Благочестивый (778—840) — император франкского государства, так называемой Священной Римской империи германской нации; в 833 г. был отстранен от власти воевавшими против него сыновьями Лотаром, Пипином и Людовиком.

и покоя меж людьми, клянусь тебе вечным хаосом, что отныне и впредь не стану жить среди людей, следуя законному стремлению уйти от общения с ними. Силой волшебства я сооружу богатый и роскошный дворец в пучине морской, где мы с тобой и завершим свой век в этом бренном и несовершенном мире, в глубинах моря нам будет покойней и радостней, нежели на богатой плодами земле; на сей раз я прибегну к искусству волшебства, которым овладел с таким трудом, ибо оно в этом случае не оскорбит богов и не причинит зла никому из людей.

Прекрасная Серафина со вниманием выслушала отца и, смилив гордые мечты, ответила как любящая и послушная дочь, что последует за отцом, куда на то будет его воля, а для молодой и красивой девушки это было немало, ведь она отказывалась от общения с людьми в миру. За этим разговором царь и принцесса подошли к берегу моря, где нашли снаряженную лодку, сели в нее, и царь взялся за длинные весла. Борясь с волнами, бившими им навстречу, вышли в Адриатическое море, а посередине его легкая лодка остановилась — и море разверзлось, образовав прочные водяные стены, лодка опустилась на самое дно и причалила к чудесному дворцу, стоявшему в самой глуби вод, такому прекрасному и роскошному, какого не было ни у одного правителя на земле, ибо его прочные стены снаружи и изнутри были украшены серебряными листами, на которых изображались перипетии битвы при Фарсале¹; портал являл собой чудо архитектуры, казалось, воображение человеческое не в силах

¹ Фарсал — город в центре Фессалии, место победы Цезаря над Помпеем в 48 г. до н. э.

измыслить более совершенных и изящных линий; фризы, обелиски и лепные украшения, достойные Фидия¹, порфиновые ступени, мозаичный пол, выложенный из красиво сочетающихся друг с другом мелких камней, коринфские колонны с восхитительными базами и капителями; своды, потолки, чердачные ниши и лепные орнаменты были отделаны золотом, слоновой костью и перламутром, а главный свод — украшен необычным красочным барельефом, изображающим небесный свод. Был там и Зодиак Аполлона с двенадцатью знаками и семью планетами, двигавшимися по своим орбитам. Не менее восхитительно было видеть и другие созвездия: вот Большая Медведица, в просторечии именуемая Ковшом, и Малая Медведица, прозываемая Рожком; вот Персей, северное созвездие из двадцати шести звезд, и Южная Корона из тринадцати звезд, и Альфа Малой Медведицы. И еще удивительно было видеть, как Водолей из Вазы щедро поливает Землю, чтобы сделать ее плодородной, а эти два застывших в неподвижности полюса — Северный и Южный, как спокойно и снисходительно взирают они на суету звезд. И еще украшали этот волшебный дворец четыре высокие башни по углам, снаружи покрытые чешуей морских рыб, со сверкающими прозрачным стеклом окнами и золочеными ажурными решетками балконов. Но Серафину больше всего восхитили и поразили двери чудесного дворца, потому что они были сплошь покрыты перламутром, и на них мозаикой были изображены тысячи разных картин. На одной створке можно было видеть измену Венеры и искусно сотканную сеть Вулкана², на другой —

¹ Фидий (ум. 431 до н. э.) — афинский ваятель.

² В «Одиссее» говорится о том, что Гефест (Вулкан)

гибель справедливо наказанного за дерзость Фаэтона¹, а вели эти двери в квадратный зал, который украшали сорок колонн из яшмы разных оттенков, инкрустированных драгоценными камнями, и те своим естественным блеском освещали зал, словно внутри у них горело пламя. В центре зала из фигуры бога Нептуна били кристальные струи великолепного фонтана, по правую руку треугольная дверь, украшенная изумрудами и топазами, вела в восхитительный сад, где произрастало великое множество плодов, которые никогда не утрачивают своего вкуса, и цветов, которые никогда не теряют аромата, там росли белые лилии, алые розы, радующий глаз жасмин, ароматные пышные гвоздики, фиалки, жонкилы, астры и мускатные розы; цветы пестрым ковром покрывали почти нетоптанную землю, орошаемую искусно проложенными канавками, по которым вода стекала, журча, в пруды и бассейны, где плавали разнообразные рыбы, а по берегам росли благоуханные кусты и деревья, затмевавшие своим великолепием сады Гесперид, дочерей Атланта². Ко всей этой волшебной роскоши не смели приблизиться соленые морские воды, они оставляли свободным пространство в двенадцать миль по окружности, а сверху смыкались, образуя такие чистые и прозрачные своды, что они казались алмазными.

поймал в искусно сделанную сеть свою жену Афродиту (Венеру) и ее возлюбленного Арея.

¹ Согласно легенде, Фаэтон, сын бога солнца и Климены, взялся управлять колесницей отца, но чуть не сжег землю, и Юпитер поразил его молнией.

² Геспериды — дочери титана Атланта и Гесперии, охранявшие с помощью никогда не спавшего дракона золотые яблоки в саду на побережье Атлантического океана (греч. миф.).

Вот в этом волшебном дворце и поселился царь Дардан со своей прекрасной возлюбленной дочерью Серафиной, которой служили призванные силой волшебства сирены, nereиды, дриады и морские русалки, пленявшие царя и его дочь сладкозвучными песнями. Однако, после того как они провели два года в подводных чертогах, прекрасная Серафина, побуждаемая своей женской натурой, обратилась к отцу с такой речью:

— Вам хорошо известно, дорогой отец, что всему сущему на земле нашей свойственно в том или другом виде естественное чувство любви: мы видим, как вечно движущиеся и недостижимые небеса выражают свою привязанность к нашей матери-земле, посылая ей дождь и росу, а она с радостью их принимает в себя и благодаря этому порождает всевозможные деревья и травы, камни и металлы. И если мы прислушаемся к голосам разных птиц, порхающих в напоенном ароматами земли воздухе, мы поймем, что их трели — также проявление свойственной всей природе любви; поэтому нет ничего особенного в том, что эта самая любовь томит и душу вашей одинокой дочери. Возможно, вы сочтете дерзкими и нескромными мои слова, но сказать их меня вынуждает то обстоятельство, что я живу здесь, в морской пучине, огражденная от мира и без всякой надежды с кем-либо встретиться и поговорить. Поэтому прошу вас и умоляю, раз уж мне суждено провести молодые годы и всю жизнь до самой смерти в этом волшебном дворце, дайте мне в мужа какого-нибудь подходящего по возрасту и положению высокородного кавалера.

Старый царь Дардан внял доводам дочери и пообещал, что выдаст ее замуж, как подобает

особе царского рода, и отныне посвятит этой заботе все свои помыслы и всю свою мудрость.

Теперь вернемся к надменному и победоносно-му императору Никифору, который из гордости и тщеславия сверг с трона и изгнал за пределы Болгарии царя Дардана, к этому заклятому его врагу, приказавшему водрузить свои бронзовые статуи и гербы во всех больших городах завоеванной страны, а царские гербы Дардана — разбить. Однако безжалостная смерть не боится даже самых грозных и надменных владык, и вот она приступила к императору Никифору и уложила его на смертный одр. Когда тот увидел, что смерть уже близко, он созвал всех вельмож своего двора и пред их лицом назначил наследником трона империи и всех покоренных им земель своего младшего сына Юлиана, ибо тот походил на отца гордостью и высокомерием, тем самым обездолив старшего сына Валентиниана, который был добрым, кротким и милосердным; надо сказать, что в империи существовал несправедливый закон, согласно которому император мог назначить своим преемником любого из своих сыновей, невзирая на первородство. И Никифор перед смертью заставил всех вельмож поклясться в верности младшему сыну как будущему императору Греции и царю Болгарии. Осуществив этот черный замысел, император Никифор на том и закончил свою несправедную жизнь, жизнь гордеца и властолюбца.

Принц Валентиниан, лишенный власти и всякой помощи от императорских сановников, решил тайно покинуть Грецию и отправиться в Константинополь под защиту тамошнего императора, чтобы затем, заручившись его поддержкой, отнять у брата несправедливо завещанный ему трон. Дабы никто не догадался о таком его намерении,

Валентиниан отправился в путь один и вышел на берег Адриатического моря в том месте, где была хорошо защищенная от непогоды гавань, стал искать корабль, чтобы добраться туда, куда ему было нужно, но нашел лишь утлое суденышко, небольшой баркас, которым владел и правил древний старик. Однако тот пообещал, что быстро доставит принца к месту назначения, а так как Валентиниану очень хотелось поскорей добраться до Константинополя, он, невзирая на то что суденышко утлое, а мореход стар годами, смело и без колебаний сел в баркас. Ибо да будет вам известно, сеньоры, что старый моряк был не кто иной, как царь Дардан, и, как только они достигли середины широкого залива, царь коснулся небольшим железом соленых морских вод, и те расступились, а лодка, как между двух прочных стен, спустилась на дно, где перед испуганным принцем предстал волшебный дворец. Увидев такое великолепие, принц с великой радостью последовал за стариком, а тот открыл ему, кто он такой и почему живет в подводном дворце. Когда же им навстречу вышла принцесса Серафина, принц тотчас воспылал к ней великой любовью и благословил судьбу, приведшую его на самое дно глубокого моря, и начал просить и умолять царя Дардана отдать ему дочь в жены, чтоб стала она его законной супругой. Старый царь тут же согласился и устроил пышную свадьбу, на которую благодаря волшебству явились многие цари и принцы и самые прекрасные дамы, какие жили на островах в море-океане.

Теперь уместно будет оставить наших героев в радости и веселье и вернуться на сушу, к Юлиану, новому императору Греции и Болгарии, младшему сыну уже умершего к тому времени Ни-

кифора. Юлиан меж тем отправился к римскому императору, чтобы жениться на его дочери, а с ним отплыли все вельможи его двора. Чтобы не быть многословным, не стану описывать оказанный им в Риме пышный прием, а также Олимпийские, Пифийские, Немейские и Цирцейские игры, Ювеналии¹ — все это устраивалось по приказам консулов, диктаторов², префектов, цензоров и трибунов для развлечения греческого императора. Скажу лишь, что, отправляясь обратно в свою страну с возлюбленной супругой, император Юлиан, сопровождаемый многими приближенными римского императора, прибыл в Пескару³, где их ждал целый флот кораблей, который тотчас вышел в море. И однажды утром, когда лучезарный Феб купал своих огненных коней в безбрежных водах Адриатического моря и когда корабли достигли как раз того места, где под водой царь Дардан праздновал свадьбу своей единственной дочери Серафины в чертогах волшебного дворца, с северо-востока налетел сильный ветер, и морские волны начали вздыбливаться и пениться, в мгновение ока небо закрыли тяжелые черные тучи. Ветер внезапно меняет направление, порывы его достигают такой силы, что ломаются и летят за борт толстые мачты, трещат блоки, лопаются канаты, ударами волн срывает руль, нос корабля вздымается в не-

¹ Пифийские игры с 586 г. до н. э. раз в четыре года (в третьем году каждой Олимпиады) устраивались на Крисейской равнине близ Дельф в честь Аполлона; Немейские игры проводились раз в два года в Немейской долине, где, согласно легенде, Геракл убил льва; Цирцейские игры проводились в городе Цирцеи (ныне Чирчелло); Ювеналии — общественные игры, учрежденные Нероном.

² Диктатор — высшее должностное лицо в некоторых городах Италии.

³ Пескара — порт на побережье Адриатического моря.

бо, корма погружается в пучину, рвется весь шпангоут, тучи низвергают каменный град, гром и молнии. Жадные волны уже поглотили большую часть кораблей, удержавшиеся на воде сгорели от непрерывно бивших молний, кроме четырех, на которых плыли новоиспеченный император Юлиан с новоиспеченной супругой, их свита и дворцовая челядь, а также несколько высокородных греков и римлян: над ними небо как будто сжалось. Потонувшие и обгоревшие корабли опускались на дно, ударялись о подводные скалы, и этот грохот беспокоил всех, кто собрались в волшебном дворце на свадьбу царской дочери, прекрасной Серафины; сам бог Нептун осердился и вознамерился подняться на поверхность вод и посмотреть, кто посмел так дерзко нарушить его покой, и поразить трезубцем оставшиеся корабли. Но царь Дардан воспротивился этому, сказав, что не стоит богу морей беспокоить себя по пустякам. Призвав на помощь волшебство, он сам поднялся наверх, показался из волн по пояс во всем своем старческом величии — длинные седые волосы, такая же борода — и, гневно сверкая глазами, обратился к императору и его приближенным, которые плыли на оставшихся четырех кораблях, с такой речью:

— Что это значит, несправедливый и надменный император? Мало того, что твой отец-тиран с сатанинской жестокостью захватил силой оружия мои земли, измывался над моими верными и послушными вассалами, разрушал мои роскошные дворцы, повергал в прах мои царские гербы, присвоил все накопленные мною сокровища и изгнал меня из моих земель, так что мне пришлось спуститься в пучину морскую, где я теперь живу и обитаю, — мало тебе всего этого, так ты еще со злобой и жестокостью, унаследованными от отца,



решил разрушить и мой чудесный волшебный дворец, бросая тяжелые железные якоря и всякие другие метательные снаряды? О человеческая гордыня вкупе с высокомерием, вы страшней кровавого Гирканского тигра!¹ Опасней ливийского аспида² и ядовитого василиска³, которые, раздувшись от накопившегося в них яда, точно у них водянка, жаждут еще и человеческой крови. Бог создал для человека такую красивую и обильную землю, на которой выросли многоядные города, украшенные роскошными садами, создал глубокие долины и высокие горы, где рождаются прозрачные и чистые ручьи, которые, сливаясь, образуют полноводные реки, там же человек находит богатые залежи золота и серебра, и земля отдает их ему даром, но люди, не довольствуясь всем этим, строят целые плавучие дома, и на них без страха и сомненья бороздят лоно вод, чем немало досаждают морским царям, nereидам, русалкам и безгласным рыбам, своей дерзостью вынуждая их укрываться в холодных глубинах. Так вот, за тот ущерб, который ты мне нанес, я предрекаю тебе, несправедный властитель, что недолго ты будешь упиваться императорской властью.

Закончив свою речь, царь Дардан погрузился в горько-соленые морские воды и возвратился в свой волшебный дворец, а император Юлиан остался стоять на украшенной позолотой корме своего корабля вместе с императрицей в окружении плывших с ними сановников, которые, оказавшись свидетелями прискорбных трагических событий, были расстроены и опечалены, особенно

¹ Гирканиа — древнее название части Персии, откуда вывозили в другие страны диких зверей.

² Аспид — род ядовитой змеи.

³ Василиск — род ядовитой ящерицы.

их поразило явление царя Дардана из соленых морских волн, ведь они считали его умершим, да к тому же он высказал свои столь серьезные и законные обиды и мрачное пророчество о недолгих днях царствования их императора, которому суждено было сбыться. Едва прибыли они в город Дельфы, где Юлиан держал свой трон и скипетр, как ловкая Парка острыми ножницами обрезала короткую нить его жизни.

Так велико было горе овдовевшей императрицы, что очень скоро и она переправилась на другую сторону Коцита¹ вослед своему мужу, которого еще как следует и не познала, и вся греческая империя горевала и скорбела о столь печальных событиях и безвременных смертях. И собрались на совет все знатные сеньоры Греции и говорили о справедливой божьей каре и возмездии, ниспосланным им за то, что они поклялись в верности Юлиану, младшему сыну императора Никифора, а по справедливости трон надо было отдать старшему сыну, Валентиниану, и еще за то, что некогда дали согласие на несправедливую войну против старого царя Дардана, в результате которой тот потерял все свое царство, а самого его с невиданной жестокостью изгнали из родной Болгарии. И единодушно решили разослать гонцов во все части света, дабы разыскать принца Валентиниана и вручить ему скипетр и корону, которые принадлежали ему по праву первородства. Однако царь Дардан не нуждался в гонцах, чтобы узнать о смерти императора и императрицы, он решил выйти из волшебного дворца вместе с дорогим зятем Валентинианом и дочерью Серафиной и от-

¹ Коцит (или Кокит) — река в подземном царстве (греч. миф.).

правиться в город Дельцию, раз уж его зятя хотят в императоры.

Сказано — сделано. Подводный дворец предали разрушению, забрав с собой все главные сокровища, взяли один из затонувших кораблей, и на нем всплыли на поверхность моря, а затем, подгоняемые попутным ветром, направились в прибрежный город Дельфы, где их с превеликой радостью встретили жители Греции, восхищенные богатством и величием царя Дардана, и первым делом вручили ему ключи от отнятого у него царства. И уж совсем возликовали, когда стало известно, что принц Валентиниан женился на принцессе Серафине. Тогда среди всеобщего ликования и с великим торжеством передали Валентиниану скипетр и корону Греческой империи. А царь Дардан, исполняя обет не жить на земле среди людей, так и не сошел на берег, но велел построить на пяти кораблях деревянный дворец, сообщавшийся с императорским дворцом зятя, откуда доставляли ему все необходимое. И так он прожил еще два года и оставил по себе славу милостивого, справедливого и добродетельного государя.

О том, как был рожден Карл Великий, король франков и император «Священной Римской империи»

Пипин Короткий, сын доблестного Карла Мартелла¹, много лет мирно и покойно правил Фран-

¹ Карл Великий (742—814) — франкский король с 768 г., с 800 г. император «Священной Римской империи». Пипин Короткий (714—768) — франкский король с 751 г., основатель династии Каролингов. Карл Мартелл (ок. 688—741) — фактический правитель франкского государства с 715 г.

цией, но, так как у него не было наследников, подвластные ему владетельные сеньоры опасались и тревожились, как бы после его кончины не возникли распри, восстания и кровопролитные междоусобные войны в борьбе за императорский трон, и потому решили они обратиться к императору Пипину и умолять его жениться в третий раз: быть может, господь пошлет ему сына, наследника трона, которого не смогли подарить Франции ни первая, ни вторая из его жен, и тогда ничто не нарушит покой и мир в стране. Надо сказать, однако, что император Пипин был уже очень стар и почти неспособен произвести потомство¹, и ему трудно было выполнить то, в чем нуждалась страна. Но приближенные императора стояли на своем, и он, уступая их просьбам и мольбам, вынес решение, о котором мы сейчас и расскажем.

Он-де желает взять в жены девушку, которая ему больше других приглянется, какого бы рода и сословия она ни была, а для этого пусть объявят о королевском турнире со всякого рода празднествами и созовут на него всех красавиц; ту, которая больше всех ему понравится, он и возьмет в жены, и каждой из участниц смотра пусть выдадут из императорской казны тысячу золотых.

Весть о долгожданном согласии императора быстро облетела всю Францию, и повсюду наступило ликование, тотчас был назначен день начала турниров и состязаний, во все города и владения империи разослали герольдов, чтобы они объявили о премиях и наградах победителям и пригласили всех красивых девушек украсить

¹ Как видно из хронологии, сюжет новеллы не соответствует историческим фактам: Карл Великий родился в 742 г., когда его отцу было лишь двадцать восемь лет, и за девять лет до прихода Пипина Короткого к власти.

праздник своим присутствием. Не хочу затягивать мой рассказ и только скажу вам, сеньоры, что в назначенный день в Париже собрались все знатные и благородные рыцари Франции и все прекрасные дамы, которые прибывали в роскошных каретах и паланкинах либо верхом на резвых фламандских скакунах или белых смирных лошадах, так что весь Париж был поражен и восхищен: там никогда не видели столько прекрасных дам вместе — казалось, разверзлись небеса, чтобы излить на землю всю красоту, все богатство и роскошь нарядов.

Мой бедный и слабый язык не позволяет мне описать в подробностях каждую из красавиц, это было бы все равно что пытаться сосчитать звезды на небе. Скажу лишь, что в первый день праздника огромная городская площадь вся была расцвечена тончайшей выделки парчой; с плоских крыш, балконов, галерей и окон свисали роскошные ковры, а поблизости от балкона, где восседал император, находилась особо украшенная галерея, на которой собрались самые прославленные красавицы со всех концов страны. Не осталось ни одной террасы, ни одного дверного проема, ни одной щели, куда не набилось бы народу, глазевшего то на элегантных и грозных рыцарей и их великолепных коней, то на красивых и нарядных дам, собранных специально для того, чтобы император на них посмотрел. Трудно пришлось бы самому Парису, если бы от него потребовали выбрать прекраснейшую из стольких красавиц. Император, окруженный царедворцами, взирал на дам с позолоченного балкона своего дворца и время от времени спрашивал об имени и звании то одной, то другой из них.

Среди красавиц была дочь графа Мельгарии и сестра герцога Аквитании по имени Берта, а по прозвищу Большая Нога — ее прозвали так потому, что одна ступня у нее была намного больше другой, но, если не говорить об этом изъяне, она была самая красивая и хорошо сложенная девушка из всех, которые приехали в Париж по тому же поводу, — во всяком случае, так гласила народная молва.

К назначенному часу открытия праздника эта красивейшая благородная девушка приехала на площадь в карете, которая была обита красным шелком, расшитым тончайшей золотой канителью и усеянным драгоценными камнями, и каждая фигура вышивки изображала какой-нибудь галантный любовный эпизод; эту изумительную карету влекли восемь сытых и очень красивых белых лошадей, а к уздечкам были прилажены на золоченых подвесках серебряные бубенцы, издававшие мелодичный звон. Сама Берта так сияла красотой, что затмевала свет, посылаемый златокудрым Аполлоном, на ней были одежды из драгоценной ткани, расшитые причудливыми узорами из бисера и изумрудов; золотистые волосы искусно уложены в высокую прическу, в середине которой сиял крупный карбункул в окружении драгоценных камней различного оттенка, так что получалось как бы усеянное звездами небо, а вместо султана из перьев над прической возвышалась фигурка Купидона, слепленная из душистой пасты и распространявшая тонкий аромат. Красавицу сопровождали двенадцать всадников на горячих конях, которых они заставляли гарцевать, показывая высокое наездническое искусство к вящему удовольствию глядевших на них дам.

Красота и богатство наряда Берты привлекали завистливые взгляды многих прибывших на праздник красавиц. А старый император, как только увидел Бертю, сразу воспылал любовью к ней и с той минуты не сводил с нее глаз. Она меж тем увлеклась одним из рыцарей, участвовавших в турнире, это был Дюдон де Лис, адмирал Франции, видный и красивый молодой человек, показавший себя храбрецом во всех состязаниях. Празднества продолжались две недели, и когда они закончились, император повелел всем возвращаться в свои земли, вручил каждому рыцарю и каждой даме по тысяче золотых в возмещение издержек, и все разъехались, а при дворе так никто и не знал, на кого же пал выбор императора.

Но так как Пипин, пораженный красотой Берты, был уже ранен золоченой стрелой Купидона, то он позвал наиболее приближенных к нему придворных и велел им ехать в Мельгарию и от его имени просить у графа руки его дочери Берты, дабы стала она королевой и императрицей Франции — вот какова была его воля. Одному из них — как раз Дюдону де Лису, адмиралу Франции и , — он доверил от своего имени обвенчаться с ней (а мы помним, что прекрасная Берта в Париже увлеклась этим кавалером). Весть о решении императора была встречена восторгом и ликованием по всей стране, и посланцы, выполняя монаршую волю, без промедления отправились в Верхнюю Бургундию, где держал свой двор граф Мельгарии, и тот принял их весьма радушно.

Узнав о цели приезда столь почетных гостей и о предложении императора Пипина, граф и графиня от радости потеряли дар речи, и граф долго не мог ничего сказать, но наконец смиренно и почтительно ответил, что он сам, его жена и дочь —

покорные рабы его императорского величества и безмерно счастливы оттого, что император снизошел к ним и оказывает им великую честь, беря их дочь в супруги. Берта также возрадовалась своему предстоящему возведению в королевское достоинство, и ее обвенчали с Дюдоном де Лисом, представлявшим особу императора. Молодую императрицу оделили богатыми подарками и драгоценностями, устроили роскошный пир и послали вперед гонцов, дабы жители городов и селений на пути их следования также могли достойно отпраздновать столь радостное событие; сопровождать Берту в Париж отправились все бургундские владетельные сеньоры, ибо императрице по этикету полагался пышный кортеж.

И Берта со свитой тронулась в обратный путь. Во всех городах и селениях императрице воздавались почести, устраивались празднества, однако граф и графиня не поехали с дочерью из-за болезни графа. И вот в пути была задумана хитрость, обернувшаяся впоследствии самым коварным и чудовищным предательством из тех, о которых вам, сеньоры, доводилось слышать. Дело в том, что молодая императрица взяла с собою камеристку, происходившую из итальянского рода Маганца, которая была одних лет с Бертой и так походила на нее лицом и фигурой, что придворные графа не раз принимали служанку за госпожу, и теперь императрицу можно было отличить лишь по дорогим одеждам. Берта очень любила Фьяметту — так звали эту девушку, — с ней одной делилась самыми сокровенными тайнами, и вот, чувствуя в душе печаль, молодая императрица поделилась ею с Фьяметтой, обратившись к ней с такими словами:

— Дорогая и нежно любимая Фьяметта! Зная, как свято хранишь ты мои тайны, известные лишь тебе одной, хочу раскрыть перед тобой душу, ведь истинная дружба заключается не только в сходстве желаний и устремлений, но также и в потребности делиться самыми сокровенными мыслями и чувствами. И я со всей откровенностью расскажу тебе о главной причине грусти и печали, омрачающих душу мою, ибо судьба, с одной стороны, была ко мне благосклонна, послав мне скипетр и корону империи и самое высокое звание, какое есть в нашем мире, но с другой — дала мне в мужья дряхлого старика, ведь молва гласит, что прожитые годы сделали его немощным в любви, а я обратила взор на Дюдона де Лиса, адмирала Франции, и в душе моей пробудилось любовное томление. О, если б богу было угодно, чтобы он обвенчался со мной не от имени императора, как это было на самом деле, а по велению собственного сердца! А больше всего меня печалит то, что я должна скрывать свои чувства, дабы сохранить доброе имя. Всем известно, что всякая забота удручает душу и заставляет искать способ сбросить ее с плеч, вот я и придумала, как можно поправить мою беду: раз уж природа создала нас по одной мерке, так что по лицу и фигуре нас трудно отличить одну от другой, ты, когда мы приедем в Париж, наденешь мои наряды и войдешь в спальню императора выполнять за меня супружеский долг, а потом так и останешься императрицей, я же под твоим именем стану камеристкой; достигнув высокого звания, ты сможешь выдать меня замуж за Дюдона де Лиса, адмирала Франции, и мы обе заживем в свое удовольствие.

Выслушав доводы императрицы, коварная Фьяметта тотчас замыслила черное предательство

и решила исполнить волю своей госпожи, но, заделавшись императрицей, приказать кому-нибудь лишить ее жизни, чтобы самой остаться единственной императрицей и королевой Франции. Поэтому она льстиво одобрила выдумку Берты, похвалила острый ум и изобретательность своей госпожи, пообещала выдать ее замуж за Дюдона де Лиса, пожаловав тому в приданое обширные владения, и посулила много чего еще, не поскупившись на заверения и клятвы. Вот как вероломная Фьяметта, верная обычаям рода Маганца, замыслила предать смерти свою госпожу, а самой остаться императрицей; она посвятила в свои планы неких придворных, доведившихся ей родственниками, и просила помочь ей. Те выслушали Фьяметту с интересом и согласились сделать ее полновластной королевой Франции, а настоящую королеву умертвить, за что Фьяметта обещала им великие милости и высокие должности при дворе, после того как задуманное осуществится.

Когда они приехали в Париж, старый император вышел встречать Берту, а с ним — весь двор и все жители города, исполненные восторга и ликования, и в тот же вечер кардинал Вирин скрепил союз царственной четы своим благословением. Когда же наступил час исполнить супружеский долг, Берта, как это принято, ушла в свои покои, чтобы камеристки ее раздели, и не пожелала взять с собой никого, кроме своей любимой Фьяметты, и там они поменялись одеждой. Потом коварная Фьяметта вошла в спальню старого императора, перед тем посоветовав своей госпоже не ложиться в комнате, где спали другие камеристки, а устроиться на галерее, выходящей в сад.

Фьяметта уже поручила своим родичам выкрасть Берту, увести в лес, что находился в четы-

рех лигах от Парижа, и там убить. Те послушались и, когда наступила ночь, схватили несчастную Берту и безжалостно поволокли в глухой лес, чтобы там предать смерти, а она, омывая прекрасное лицо свое горячими слезами, просила и умоляла оставить ее в живых. Но бесчестные кавалеры, вернее сказать, палачи, зайдя в глубь леса, вознамерились свершить свое черное дело, ибо слезы Берты нисколько не смягчили их жестокие сердца. Но в конце концов решили не убивать ее, а привязать к стволу высохшего дуба, сняв с нее одежды, кроме тонкой и легкой сорочки, и так оставить, чтобы она умерла с голоду или погибла от когтей и клыков какого-нибудь дикого зверя. Выполнив задуманное, они отнесли одежды Берты коварной Фьяметте в знак того, что настоящая императрица-де мертва, а бедная Берта осталась расплачиваться за свой легкомысленный поступок. Ее полуобнаженное девственное тело белизной могло бы соперничать со снегом, но ее божественную грудь созерцали лишь деревья лесные, ее стройные ноги — лишь дикие травы, а золотистые локоны — лишь укрытые густой листвою ветви, жалобные звуки ее нежного голоса глохли в лесной чаще и достигали только ушей мелких зверьков, которых они настораживали и пугали. А Берта изливала страдающую душу в жалобах.

— О скверный изменчивый мир, как мало в тебе постоянства и как много превратностей! Как скоротечны твои радости и как быстро ты одних возвышаешь, других обращаешь в прах, награждая не по заслугам и карая без вины! Впрочем, со мной ты поступил справедливо, ибо ради недолговечного удовольствия я замыслила отказаться от дарованного тобой могущества, вчера ты вознес меня на самую вершину, а сегодня низринул в без-

дну, вчера были у меня скипетр и корона, а сегодня я связана и оставлена на съеденье диким зверям, вчера на мне были королевские одежды, а сегодня я раздета почти донага, вчера я была свободна и вольна требовать чего захочу, а сегодня привязана к шершавому стволу высохшего дуба, подобно Анжелике, которую также некогда оставили на съеденье! Но увы, нет у меня Руджеро, который бы спас меня; вчера мне служили важные сеньоры, сегодня я отвержена всеми на свете. О неумолимая судьба, какой жестокой ты бываешь по собственной прихоти, не соразмеряя удары, которые наносишь любому и каждому! Что ж, добивай свою жертву, ведь тебе осталось лишь отнять у меня жизнь. У кого достанет терпения вынести такое несчастье, как то, что выпало мне на долю? И мало утешения в том, что и другие женщины страдали, потому что беды их приходили и уходили, а моя как будто стала на якорь в море моих несчастий. О Биант¹, знаменитый философ, если б ты испытал такие же страдания, как я, то не стал бы утверждать, что нельзя назвать счастливым того, кому не пришлось пережить несчастья, ты бы воздержался от такого изречения! Впрочем, что это я? На кого я жалуюсь? Мне надлежало бы жаловаться на самое себя и на свое дерзкое безрассудство, ведь это оно побудило меня отринуть скипетр и корону, отказаться от них в пользу самой вероломной женщины на свете, которая в оплату за такую высокую милость велела предать меня смерти. О лживая Фьяметта, обуянная тщеславием и гордыней, которые побудили тебя так жестоко поступить со мной, вот как ты отплатила за мое полное к тебе доверие, вот как ты исполни-

¹ Биант — один из «семи мудрецов» Греции.

ла свои обещания, вот как ты распорядилась моими сокровенными тайнами, которые я тебе поверила! Ах, предательница, ты вполне оправдала дурную славу своего рода: каков корень, таков и побег!

Вот так бедная Берта, заливаясь слезами, жаловалась ветру на свою горькую судьбу, но тут ее заметил сердобольный Липул, императорский лесник, который жил в глухом лесу, в своем скромном жилище на берегу полноводной реки Великой, протекавшей неподалеку. Увидев, в каком она состоянии, он удивился и робко приблизился к полуобнаженной Берте, ласково заговорил с ней и спросил, чья она и по какой причине подвержена таким страданиям, и она, утаив правду, сказала, будто она бедная вдова из дальних краев и ее похитил некий кавалер, а так как она не согласилась исполнить его волю, сорвал с нее одежды и привязал к дереву, чтоб ее пожрали дикие звери. Сердобольный Липул сразу поверил всему, что рассказала ему горемычная Берта, и, преисполнившись жалости к ней, развязал самые красивые в Галлии белые руки, которые были прикручены к шершавому стволу высушенного дуба, самого корявого в этом лесу, и пригласил ее в свое бедное жилище, до него совсем недалеко.

Берта согласилась, ведь ей надо было спасти свою жизнь, то есть то, что человек по самой своей природе любит больше всего, хотя она и содрогнулась, узнав, что Липул — императорский лесник. Нужда обуздывает любые желания, поэтому Берта, не показав вида, пошла с Липулом как была, в одной тонкой рубашке, ступая нежными босыми ногами по колючкам репейника; ревнивый ветер рвал и трепал легкую сорочку, словно хотел совсем обнажить ее нежное тело, дикий кустарник

цеплялся за полупрозрачную ткань, не желая отпустить гостью. Так, пешком, добрела она до скромного жилища сердобольного Липула, а там ее встретила не менее сердобольная жена его Синтия, которая одела ее в крестьянские одежды. Прошло немного дней, и гостеприимные хозяева, очарованные красотой, скромностью и добротой Берты, решили удочерить ее, ибо своих детей и законных наследников у них не было.

Теперь мы на два года оставим прекрасную Берту исполнять обязанности дочери и помощницы сердобольной четы и посмотрим, как поживает предательница Фьяметта — за два года никто ее не опознал и не разоблачил, все принимали ее за Берту, настоящую, законную императрицу, а тех своих родичей, которые увели на смерть прекрасную Берту, она тайно отравила. Но предательство никогда и никому еще не удавалось сохранить в тайне, и жестокое злодеяние Фьяметты в конце концов всплыло на свет божий, а случилось это так: граф Мельгарии, выздоровев от долгой и тяжелой болезни, решил поехать в Париж навестить дочь, императрицу. Как только коварная Фьяметта узнала о скором приезде будто бы ее родителей, который грозил раскрытием ее гнусного предательства, она не придумала ничего лучшего, как сказать, будто бы больная неслыханной дотоле болезнью: мнимая императрица не переносила ни дневного, ни искусственного света и обрела покой, лишь оказавшись в полной темноте. Если случайно в ее комнату проникал свет, она громко кричала, словно он доставлял ей непереносимые страдания; мало того, она еще заявляла, что ей больно говорить, — так что все это вместе взятое позволяло ей надеяться, что граф и графиня ее не узнают, и, чтобы лечить ее от этой диковинной

болезни, пригласили самых знаменитых лекарей Парижского университета. А император, когда узнал о скором приезде тестя и тещи, очень обрадовался, полагая, что свидание с родителями будет способствовать быстрейшему выздоровлению императрицы. И послал им навстречу гонца, чтобы выразить свою радость их приезду и сообщить о болезни их дочери, но гонец повстречал графа и графиню, когда они уже с почетом и помпой вступали в Париж через городские ворота.

Встречать гостей вышли император со своим двором и все жители города, и по прибытии во дворец граф и графиня пожелали тотчас навестить больную императрицу. Ту стали уговаривать, чтобы она согласилась ненадолго потерпеть в своей опочивальне свет хотя бы одной свечи, но Фьяметта ни за что не соглашалась и принималась кричать, когда ей об этом говорили: она боялась, как бы ее не узнали. Граф и графиня, едва перемолвились с нею немногими словами, сразу же заметили, увидели и поняли, что перед ними вовсе не их дорогая и любимая Берта, однако вида не показали, и, чтобы проверить свои подозрения, коснулись ее ног, потому что, как я уже говорил, у Берты одна ступня была длиннее другой, и тут уж они окончательно убедились в том, что перед ними Фьяметта, камеристка, и подумали, что, раз император держит ее как законную жену, значит он воспылал к ней любовью и, чтобы удовлетворить свою страсть, приказал тайно умертвить Берту, настоящую императрицу, а любовницу скрывает в опочивальне под предлогом болезни. Чем больше граф и графиня думали об этом, тем больше винули ни в чем не повинного императора и пожелали как можно скорее вернуться в свои владенья, дабы собрать там большое войско

и с помощью других владетельных сеньоров пойти войной на императора и отомстить за свою дочь. А император ни о чем не догадывался, он думал, что сдержанность тестя и тещи проистекает из недомогания и болезни их дочери. Узнав к тому же, что они спешат отправиться в обратный путь, решил развлечь их грандиозной охотой, ибо любой другой праздник был бы неуместен; ему удалось уговорить родителей Берты, и все отправились на охоту.

Не стану описывать ни с чем не сравнимое охотничье снаряжение, а сразу расскажу о главной добыче. Когда охота началась, всех охватил азарт: кто гонялся за диким вепрем, кто за оленем с ветвистыми рогами, отовсюду доносился лай гончих и борзых собак, а император, преследуя раненого медведя, оказался вдали от остальных охотников. И так как румяный сын Латоны¹ уже скрывался за золотистым пологом, а Теллус² укутывалась в черный покров, император зашел в скромное жилище сердобольного Липула и ласковой Синтии, у которых жила Берта как их дочь и помощница. Когда добрый лесник и его жена увидели на пороге своего дома императора и владыку большей части Европы, такая великая честь поразила их и опечалила, ведь им нечем было принять и улагодворить своего монарха, однако император, в число добродетелей которого входила и скромность, сел на простой стул и попросил воды, ибо жажда мучила его больше всего. Сердобольный Липул велел Берте напоить высокого гостя, и та повиновалась с превеликим удовольствием, потому

¹ Л а т о н а — дочь титана Кея и Фебы, жена Юпитера (до Юноны), мать Аполлона (рим. миф.).

² Т е л л у с — богиня земли (рим. миф.).

что была рада служить своему законному мужу. И когда она предстала перед ним, кроткая и почитательная, старый император посмотрел на нее, и с первого взгляда у него возникло влечение к ней. Он спросил, кто ее родители, и она ответила: «Липул и Синтия»; потом император спросил, не согласится ли она провести с ним ночь, и обещал ей за это великие милости. Она отвечала, что верит монаршему слову и почитает его предложение за честь для себя, но не может его принять без согласия своих родителей, Липула и Синтии. Император тотчас позвал их и тихонько спросил, не будут ли они против того, чтобы он провел ночь с их дочерью Бертой; они сказали, что не против, ибо верили в ее честность и надеялись, что она на такое не согласится. Тогда император снова позвал Берту, и та подтвердила свое согласие, так что егерю и его жене нечего было больше сказать, они лишь подивились такому внезапному и нескромному желанию Берты, ведь они так верили в ее святую добродетель. И Липул сказал жене:

— Подумать только, Синтия, мы-то считали, что держим в доме как дочь поистине добродетельную женщину, а она, оказывается, грешница, каких не видел свет, гляди, как легко она согласилась на предложение императора, которое он сделал, быть может, лишь для того, чтобы испытать нас.

Видя, однако, что императора и в самом деле обуяла любовная страсть, решили исполнить его волю, а император приказал, чтобы до того, как прибудут остальные охотники и доезжачие, ему приготовили ложе на свежем воздухе, на берегу реки Великой, оттого что в доме жарко и будет слишком шумно, когда соберется столько народу — сбор назначен в доме егеря. И вот Липул

натаскал свежих веток в стоявшую на берегу реки телегу, на которой возил дрова и камни, и в ней устроил ложе для императора. Усталый Пипин сразу же лег спать вместе со своей законной женой, о чем он, правда, не знал, и она, выполнив супружеский долг, с той самой ночи понесла. Когда же среброкудрая Аврора своим сияньем возвестила начало нового дня, счастливая Берта обратилась к императору с такими словами:

— О государь мой, непобедимый император и всемирный монарх! Философ Фалес¹ некогда сказал, что быстрее всего мысль, сильнее всего нужда, а мудрей всего время, и был глубоко прав, ибо со временем становятся явными самые сокровенные в мире тайны; я говорю это затем, дабы в эту минуту, когда мы одни и времени у нас достаточно, открыть вашему величеству сокрытую от вас важную тайну и поведать истинную правду, а заключается она в том, что нынешнюю ночь вы спали со своей настоящей законной женой, потому что я и есть несчастная Берта, дочь графа Мельгарии и сестра герцога Аквитании Дюдона, а та, что услаждает вас в Париже, — моя лживая и коварная камеристка Фьяметта, происходящая из рода Маганца, и этим все уже сказано. Она помогла мне снять королевские одежды в нашу первую брачную ночь и пошла вместо меня в вашу опочивальню, а неким придворным, своим родственникам, велела тайно схватить меня, увести в этот самый глухой лес и лишить жизни, но они, сжалившись надо мной, лишь сорвали с меня одежды и обнаженную привязали к стволу высохшего дуба, где меня и нашел сердобольный Липул, но я не сказа-

¹ Фалес (ок. 600 до н. э.) — один из «семи мудрецов» Греции, основатель философской школы «физиологов».

ла ему, что со мной произошло на самом деле, и скрыла, кто я такая. Липул привел меня в свой дом и обращался со мной как с настоящей дочерью; вместе с тем не могу не признаться, что в случившемся со мной виновата и я сама, так как поддаюсь глупой и легкомысленной прихоти, но я уповаю на милосердие вашего величества и припадаю к вашим стопам, моля о прощении.

Император был так изумлен и поражен, что долгое время не мог произнести ни слова, потом попросил рассказать, как было дело, во всех подробностях, после чего поверил, встал с благословенной телеги и пошел в дом Липула, где нашел графа и графиню, прибывших ночью с множеством лошадей и богатой добычей — медведями, вепрями и оленями. Поздоровавшись с ними, отозвал их в сторону и рассказал им все, что узнал, а они, как я уже говорил, подозревали то же самое и теперь признались в этом императору, сообщив, что та, кого он держал во дворце как императрицу, — не их дочь Берта, а ее камеристка Фьяметта, которая притворилась больной из страха, как бы они ее не узнали. Родителям не терпелось увидеть свою возлюбленную дочь, и они направились к устланной ветками телеге, где по велению императора оставалась Берта. Они узнали ее с первого взгляда, и она их узнала, сколько тут было радости и восторга!

Зная о коварстве и хитрости Фьяметты, король послал двух дворян из своей свиты в Париж, наказав тайно привезти из дворца самые лучшие наряды Берты — так, чтобы об этом не узнала ни одна душа; те в точности выполнили приказ, и прекрасная Берта надела свои королевские одежды, которые на ней казались еще дороже и роскошней, и теперь она могла показаться перед

всеми, не посрамив звания императрицы. Всем, кто был на охоте, объявили о столь удивительном событии, и Берта с подобающей пышностью и почетом вернулась в Париж, где снова была всенародно коронована как настоящая императрица, коварную Фьяметту обезглавили на городской площади, а сердобольному Липулу император пожаловал Арденнское графство. Прекрасная Берта родила сына, который и унаследовал трон своего отца Пипина. Назвали его Карлом, потому что зачат он был в телеге, а по-французски это слово произносится «шар» вот и получилось имя, Шарль, то есть Карл; а Великим его прозвали потому, что случилось это на берегу реки, которую французы зовут Великой. И теперь его называют Карлом Великим.



МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС САВЕДРА

ИЗ КНИГИ «НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ»

РИНКОНЕТЕ И КОРТАДИЛЬО



постоялом дворе Молинильо, расположенном на окраине знаменитых Алькудийских полей, по дороге из Кастилии в Андалусию, в один жаркий летний день случайно сошлись два подростка лет четырнадцати-пятнадцати; ни одному из них нельзя было дать больше семнадцати; несмотря на свой молодцеватый вид, оба были в лохмотьях, оборванные и потрепанные. Плащей у них не было вовсе; штаны были из холста, а чулки — из собственной кожи. Правда, одеяние это скрашивала обувь: на одном были изношенные и протоптанные сандалии, а на другом — башмаки, хотя и узорные, но без подошв, так что они служили скорее ножными колодками, чем башмаками. Один из мальчиков был в зеленом охотничьем берете, дру-

гой — в широкополой шляпе с низкой тульей и без ленты. У одного была закинута за плечо и завязана спереди вошенная рубаша цвета верблюжьей шерсти, другой шел без всякой клади, хотя на груди у него виднелся большой ком, который, как потом выяснилось, оказался так называемым валлонским воротником, густо-прегусто засаленным и до того поношенным, что обратился в одну бахрому. В воротнике были завернуты истрепанные овальные карты; от употребления углы карт изнашивались, и для сохранности пришлось их обрезать, отчего и получили они свою нынешнюю форму. Лица мальчиков были обожжены солнцем, ногти с черной каймой, руки очень нечистые. Один из них был вооружен тесаком, другой — ножом с желтым черенком, так называемым мясницким. Оба мальчика вышли провести съесту под навес или галерею, какие обыкновенно устраивают перед постоянными дворами, сели друг против друга, и тот, кто казался постарше, спросил у младшего:

— Откуда вы родом, благородный сеньор, и куда держите путь?

— Родины своей, сеньор кабальеро, — ответил другой, — я не знаю; не знаю также, куда и путь держу.

— По правде сказать, — возразил старший, — не похоже на то, чтобы вы, ваша милость, упали с неба, а этот постоянный двор — не такое место, чтобы располагаться здесь надолго; так что волей-неволей придется следовать дальше.

— Совершенно верно, — ответил младший, — и тем не менее все, что я вам сказал, — сущая правда. Родина моя для меня не родина, так как дома у меня нет никого, кроме отца, не призна-

ющего меня сыном, да мачехи, которая обращается со мною, как с пасынком; сейчас я бреду куда глаза глядят и останавлиюсь только там, где отыщу человека, который даст мне необходимые средства для моей горемычной жизни.

— А знаете ли вы, ваша милость, какое-нибудь ремесло? — спросил старший.

Младший ответил:

— Нет у меня никакого ремесла, кроме умения бегать как заяц, прыгать как серна, да еще очень ловко резать ножницами.

— Все это очень хорошо и даже выгодно, — сказал старший, — так как всегда найдется на свете ризничий, который отдаст вам приношения ко дню всех святых, лишь бы вы ему нарезали к страстному четвергу бумажных розеток для монуента.

— Нет, я вырезаю иначе, — ответил младший. — Мой отец — божьей милостью портной и гамашник; он научил меня кроить гетры, которые, как вы сами хорошо знаете, представляют собою особые чулки с подъемом, называемые обыкновенно «полайнас». Я крою их так хорошо, что, право, мог бы сдать экзамен на мастера, если бы не злая судьба, которая держит меня в неизвестности.

— Еще и не такие напасти случаются с хорошими людьми, — ответил старший. — Не раз мне доводилось слышать, что редкие способности чаще всего пропадают даром. Однако вы еще в таком возрасте, что успеете исправить свою судьбу. Впрочем, если я не ошибаюсь и если глаз меня не обманывает, ваша милость обладает другими скрытыми талантами, но, видно, не желает их выказывать.

— Да, обладаю, — согласился младший, — но они не для широкой огласки, как вы сами это отлично заметили.

На это старший ответил:

— В таком случае могу вам сказать, что лучшего человека для сбережения тайны вряд ли вы где еще сыщете, и, чтобы обязать вас открыть свою душу и быть со мною откровенным, я начну с того, что открою вам сначала свою. Мне сдается, что не без тайного умысла свела нас здесь судьба, и вполне возможно, что мы с вами до последнего дня нашей жизни останемся настоящими друзьями. Я, сеньор идалго, уроженец Фуэнфриды, селения, известного и прославленного именитыми путешественниками, которые через него постоянно проходят. Имя мое — Педро Ринкон; мой отец — видная персона, ибо служит делу крестовых походов: я хочу сказать, что он разносчик папских булл, или булдыга, как выражается простонародье. Одно время я помогал ему в этом занятии и изучил его так, что наиболее опытному человеку не дал бы себя превзойти в продаже булл. Но однажды, увлекшись деньгами, получаемыми за буллы, гораздо больше, чем самими буллами, я сжал в объятиях мешок и доставил его и самого себя в Мадрид, и там по милости разных удовольствий, которые всегда можно получить в столице, я в несколько дней так его выпотрошил, что он весь покрылся у меня складками, как платок у новобрачного. Владелец денег поспешил мне вслед — меня арестовали; особенной поддержки у меня не было, но судьба, посмотрев на мою юность, удовольствовались приказом привязать меня к столбу и этак... согнать плетями с моих плеч несколько мух, а затем изгнать меня на четыре года из столицы. Набравшись терпения и вы-

гнув спину, я подчинился необходимости, снес наказание, а потом с такой быстротой отправился в изгнание, что не успел даже подыскать себе осла или лошади. Из своих пожитков я захватил все, что мог и что показалось мне особенно нужным; захватил, между прочим, и эти карты (тут он вытащил из своего воротника карты, о которых уже было сказано выше); ими я зарабатывал себе на жизнь, играя в «двадцать одно» во всех гостиницах и постоянных дворах, сколько их наберется от Мадрида до этого места. И хотя, как вы видите, карты эти засаленные и потрепанные, но они наделены чудесной силой для того, кто умеет ими пользоваться: стоит только снять — и снизу окажется туз, который сразу выходит в козыри и дает одиннадцать; пусть только предложат сыграть в «двадцать одно», как, имея туза на руках, ты сохраняешь все деньги в кармане. А если вы хоть немного играете в «двадцать одно», вы поймете, какое это преимущество, если наверняка знаешь, что в первой карте получаешь туза. Кроме того, у повара одного посланника я обучился кое-каким уловкам для игры в «пятки» и в «банк», который иначе называется еще «андавова», и выходит, что я могу стать маэстро по части игры в карты, совершенно так же, как вы можете сдать экзамен по кройке гамаш. Таким образом, я с голода не умру, потому что в любой усадьбе всегда найдется человек, желающий сыграть в картишки. Сейчас мы можем проверить это на опыте. Расставим силки и посмотрим, не попадутся ли в них какие-нибудь пташки, вроде находящихся тут погонщиков мулов. Мы будем с вами играть в «двадцать одно», как будто и вправду, а если кто захочет быть в нашей игре третьим, то быть ему первым, кто расстанется со своим капиталом.

— В добрый час! — ответил другой. — Вы, ваша милость, оказали мне большую честь, рассказав мне про свою жизнь; этим вы заставляете и меня открыть вам свое прошлое, которое в общих чертах сводится к следующему. Я родился в богоспасаемом селении, расположенном между Саламанкой и Медина-дель-Капмо. Мой отец — портной — обучил меня своему ремеслу, а благодаря своим способностям я быстро перешел от этой работы к отрезыванию кошельков. Мне наскучила бедная деревенская жизнь и дурное обращение мачехи; покинув родное село, я отправился в Толедо промышлять ремеслом, в котором я творил чудеса, ибо ни разу еще к токе не подвешивали такой ладанки и никто еще так не прятал своего кошелька, чтобы их не прощупали мои пальцы и не обрезали мои ножницы даже тогда, когда вещи эти сторожились глазами Аргуса. За четыре месяца пребывания в этом городе меня ни разу не приперли к стене, ни разу меня не накрыли и не обнаружили полицейские, а также ни разу не донес на меня ни один человек; правда, около недели тому назад какой-то криводушный сыщик дал знать о моих ловкествах коррехидору, который заинтересовался было моими талантами и захотел меня увидеть; но я, по свойственной мне скромности, не люблю иметь дело со столь важными лицами и поэтому постарался избежать встречи с коррехидором, покинув город с такой поспешностью, что не успел раздобыть себе ни лошади, ни денег, ни обратной кареты или хотя бы только телеги.

— Оставим эти шутки, — заметил Ринкон, — ведь мы с вами уже познакомились: к чему нам важничанье и похвальба? Сознаемся чистосердечно, что сейчас у нас нет ни денег, ни пары башмаков.

— Да будет так! — ответил Дьего Кортадо (ибо так называл себя младший мальчик). — Если наша дружба, как вы, сеньор Ринкон, изволили сами заметить, должна быть вечной, то положим ей начало святым и прекрасным обрядом.

Тут Дьего Кортадо встал и обнялся с Ринконом нежно и крепко, а затем они принялись играть в «двадцать одно», пользуясь упомянутыми уже выше картами весьма чистой работы, но довольно-таки засаленными и вероломными, причем после нескольких партий Кортадо так же хорошо снимал туза, как и его учитель.

В это время один из погонщиков мулов вышел на галерею подышать свежим воздухом и изъявил желание войти третьим в игру. Его охотно приняли и менее чем в полчаса обставили на двенадцать реалов и двадцать два мараведи, что поразило беднягу, как двенадцать ударов копьем и двадцать две тысячи несчастий. Погонщик мулов хотел было отнять у мальчиков свои деньги, думая, что они, по молодости лет, не сумеют их отстоять. Но мальчики, схватившись один за тесак, другой за нож с желтым черенком, поставили его в столь затруднительное положение, что, если бы не выбежавшие товарищи, погонщику, без сомнения, пришлось бы плохо.

Как раз в это время по дороге случайно проезжало несколько всадников, которые собирались провести съесту на постоялом дворе Алькальде, в полумиле дальше; заметив ссору погонщика с мальчиками, всадники их умиротворили и предложили юнцам ехать вместе, если только целью их путешествия была Севилья.

— Туда-то мы и направляемся, — сказал Ринкон, — и постараемся услужить вашим милостям всем, что от нас потребуется.

И, недолго думая, мальчики одним прыжком очутились перед мулами и отправились со всадниками, оставив погонщика мулов обиженным и разгневанным, а хозяйку постоялого двора в изумлении от ловкого обхождения обоих плутов, разговор которых она незаметно для них подслушала. Когда хозяйка сообщила погонщику, что карты мальчиков, как она слышала, были крапленые, погонщик стал рвать себе бороду и пожелал было ехать вслед за ними на постоялый двор, чтобы получить обратно свое достояние, так как усмотрел величайшее оскорбление и унижение в том, что два мальчугана провели такого великовозрастного мужчину, как он. Товарищи его удержали и посоветовали не ездить, чтобы, по крайней мере, не разглашать своей оплошности и глупости, причем привели ему разные доводы, которые, правда, его не утешили, но заставили все же остаться.

Тем временем Кортадо и Ринкон с таким рвением принялись услуживать путешественникам, что те большую часть пути везли их на крестце своих мулов; и хотя мальчикам не один раз представлялся случай пощупать чемоданы своих господ, они им не воспользовались, не желая потерять приятной возможности попасть в Севилью, куда им очень хотелось добраться. Тем не менее, когда при вечернем благовесте стали они въезжать в город через Таможенные ворота, Кортадо — во время осмотра вещей и уплаты пошлины — не удержался и вспорол чемодан или, вернее, дорожную сумку, которую вез на крупе своего мула француз, входивший в число путешественников; он нанес своим желтым ножом такую широкую и глубокую рану сумке, что внутренности ее сразу выступили наружу, а потом ловко извлек оттуда две отличных рубашки, солнечные часы и памятную книж-

ку — вещи, не доставившие мальчикам особенного удовольствия. Приятели рассудили, что поскольку француз держал свою сумку неотлучно при себе, она была наполнена не такими пустяковыми предметами, как те, которые им достались, а потому решили было пощупать ее вторично, но не привели этого в исполнение, полагая, что путешественники, пожалуй, уже спохватились и позаботились спрятать в надежное место все остальное.

Еще до совершения кражи мальчики простились со своими хозяевами и кормильцами. На следующий день они продали рубашки на рынке, находящемся за воротами Ареналь, и выручили за них двенадцать реалов. Покончив с этим, они отправились осматривать город и подивились величине и великолепию собора, а также большому стечению портовых рабочих, собравшихся по случаю гружения флота. На реке стояло шесть галер, и, глядя на них, мальчики загрустили и даже содрогнулись при мысли о том дне, когда в наказание за преступления их заставят переехать сюда навсегда. Им сразу бросилось в глаза множество мальчиков-носильщиков, которые там расхаживали. У одного из них они спросили про его ремесло: не очень ли оно трудно и много ли дает дохода. Мальчуган-астуриец, которому они задали вопрос, ответил, что занятие это спокойное и налога за него платить не надо; что иной раз он выручает по пять или шесть реалов в день, на которые ест, пьет и веселится, как король, так что и хозяина ему искать не надо и поручительств представлять не приходится, и всегда он знает, что пообедает в любой час, когда захочет, потому что он во всякое время может получить еду даже в самой захудалой харчевне города, а тут их немало, и все они хорошие.

Оба друга не без удовольствия выслушали рассказ астурийца, ремесло которого не показалось им плохим, ибо, на их взгляд, оно, обеспечивая свободный вход во все дома, было словно создано для того, чтобы дать им возможность безопасно и тайно заниматься своим делом при доставке на место порученных им кладей и вещей. В ту же минуту они порешили закупить все принадлежности, необходимые носильщику, работа которого не требовала сдачи предварительного испытания. Они спросили астурийца, что им следует купить, и получили в ответ, что каждому нужно приобрести небольшой мешок, чистый и новый, и три плетеные корзинки — две побольше и одну маленькую; в корзины полагается класть мясо, рыбу и фрукты, а в мешок — хлеб. Астуриец свел их туда, где эти вещи продаются, и они приобрели все на деньги, вырученные от продажи пожитков француза. Через два часа они имели такой вид, что могли бы получить звание мастера своего нового ремесла — так ловко были прилажены корзинки и хорошо подвешены мешки. Их вожатый указал им места, где следовало стоять: по утрам — около мясного ряда и на площади Сан-Сальвадор; в постные дни — около рыбного ряда и на площади Костанилья; после полудня — на берегу реки; по четвергам — на ярмарке.

Мальчики твердо выучили наизусть весь этот урок и на следующий день с раннего утра выстроились на площади Сан-Сальвадор. Едва они пришли, как их окружили другие носильщики, которые по свежим мешкам и корзинкам узнали в них новичков. Им задали тысячу вопросов, на которые они ответили умно и вежливо. В это время к ним подошел какой-то человек, похожий на студента, и солдат; оба, видимо, соблазнились

чистотою корзинок обоих новичков. Человек, походивший на студента, кликнул Кортадо, а солдат — Ринкона.

— Ну, бог в помощь! — сказали мальчики.

— С вашей легкой руки начать бы работать, — проговорил Ринкон. — Я, ваша милость, вышел в первый раз.

На это солдат ответил:

— Начало не плохо, потому что я в выигрыше, влюблен и хочу устроить пирушку приятельницам моей возлюбленной.

— В таком случае валите на меня сколько угодно, так как есть у меня достаточно усердия и сил, чтобы снести на себе всю эту площадь. А если потребуется помощь в стряпне, я сделаю это весьма охотно.

Солдату пришлось по сердцу приветливость мальчика, и он сказал, что в случае желания его поступить на службу он поможет ему оставить это низкое занятие. Ринкон ответил, что он только сегодня начал заниматься новым делом, а потому не хочет бросать его слишком скоро, не узнав предварительно его плохих и хороших сторон; если же оно его не удовлетворит, то он дает слово, что охотнее пойдет на службу к солдату, чем к канонику.

Солдат посмеялся, основательно нагрузил носильщика и указал ему дом своей дамы, для того чтобы он его знал на будущее время и чтобы освободить себя тем самым от необходимости сопровождать мальчика при следующей посылке. Ринкон пообещал быть честным и добросовестным, получил от солдата три кuarto и в ту же минуту вернулся на площадь, чтобы не потерять нового случая; такого рода старательности обучил его все тот же астуриец, не позабывший еще упо-

мянуть, что при доставке мелкой рыбы, вроде сардинок, не возбраняется взять себе несколько штук на пробу, хотя бы в таком количестве, сколько нужно для пропитания на день. Однако это следует производить ловко и осмотрительно, дабы не лишиться доверия, которое для носильщика важнее всего.

Как ни быстро вернулся обратно Ринкон, он застал уже Кортадо на прежнем месте. Кортадо подошел к Ринкону и осведомился, как его дела. Ринкон разжал руку и показал три куарто. Кортадо засунул руку за пазуху, вытащил туго набитый кошелек, столь старый, что он совсем уже утратил запах амбры, и сказал:

— Вот этим кошельком да еще двумя куарто рассчитался со мной его преподобие господин студент. На всякий случай, Ринкон, кошелек вы оставьте у себя.

Едва только кошелек был незаметно передан, как вдруг прибежал студент, весь в поту и до смерти перепуганный. Увидев Кортадо, студент спросил, не видел ли он случайно потерянного кошелька с такими-то приметам, в котором было пятнадцать дукатов золотом, три двойных реала и несколько мараведи, умоляя Кортадо сознаться, что он стащил кошелек в то время, как они вдвоем ходили за покупками. На это Кортадо с необыкновенным самообладанием, ничуть не изменившись в лице, ответил:

— Вот что я могу сказать о вашем кошельке: если вы, ваша милость, положили его в надежное место, потеряться он никак не мог.

— В том-то и дело, черт бы меня подрал, — воскликнул студент, — что я, несомненно, положил кошелек в ненадежное место; потому-то его у меня и украли!

— То же самое и я говорю, — заметил Кортадо. — Однако все на свете поправимо, кроме смерти, а сейчас для вашей милости первое и главное средство — терпение, потому что «из ничего люди выходят», «день на день не приходится», а «где потеряешь, там и выиграешь». Пройдет время, и человек, стащивший ваш кошелек, раскается и вернет вам его обратно, да еще надушенным.

— Ну, на духах я не очень настаиваю, — заметил студент.

А Кортадо продолжал трещать:

— Кроме того, существуют на свете папские отлучения за кражу и наша собственная настойчивость, которая всего достигает; и, по правде сказать, не хотел бы я быть на месте похитителя вашего кошелька: ведь вы, ваша милость, состоите, кажется, в священном сане, а если так, то выходит, что я совершил бы в данном случае страшное кровосмешение или, вернее, святотатство!

— Да как же не святотатство! — воскликнул пригорюнившийся студент. — Хотя я и не священник, а ризничий женского монастыря, а все же деньги, бывшие в кошельке, — это треть капелланского дохода, собранного мною по поручению моего приятеля священника; деньги эти святые и благословенные.

— Ну, тогда этот хлеб впрок вору не пойдет, — ответил на это Ринкон, — завидовать ему не приходится; придет день Страшного суда, всех тогда выведут на чистую воду; узнаем мы тогда этого хриstopродавца, этого наглеца, посмевшегося взять, похитить и смешать с грязью треть капелланского дохода! А скажите мне, ради бога, сеньор ризничий, сколько это приносит в год?

— Шлюхина выродка это приносит!.. Стану я сейчас разговаривать с вами о доходе! — отве-

тил почти что вскипевший ризничий. — Если вы, братец, что-нибудь знаете, так говорите, а если нет, так проваливайте с Богом, потому что я пойду объявить о краже через глашатая.

— Пожалуй, это будет неплохо, — сказал Кортадо, — постарайтесь, однако, не забыть примет кошелька и точной суммы находившихся в нем денег, потому что, если вы ошибетесь хоть на полушку, никогда он у вас не объявится, вот вам и весь мой сказ.

— Бояться мне нечего, — ответил ризничий, — сумму эту я помню лучше, чем счет колокольного звона, а потому не ошибусь ни на йоту.

Тут ризничий вынул из кармана кружевной платок, чтобы стереть им пот, капавший у него с лица, как из крана змеевика, в котором перегоняют воду. Едва только Кортадо увидел платок, как тотчас же решил им завладеть. Когда ризничий ушел, Кортадо отправился за ним следом, догнал его на Соборной площади, окликнул и отозвал в сторону. Тут он начал рассказывать ему всякие пустяки и понес такие туры на колесах относительно пропажи и отыскания кошелька, всячески обнадеживая своего собеседника и не договаривая до конца начатых фраз, что бедняга ризничий заслушался и ошалел окончательно, а так как он не понимал слов своего собеседника, то все время просил его по два и по три раза повторять то же самое. Кортадо внимательно смотрел ему в лицо, не спуская с него глаз, а ризничий точно так же глядел на Кортадо, ловя каждое его слово. Такого рода искусный прием сделал то, что Кортадо довел свое дело до конца и весьма ловко вытащил у него платок из кармана, и на прощание попросил, чтобы ризничий после полудня непременно повидался с ним на этом самом месте; у него, мол, есть

подозрение, что кошелек украден одним мальчиком, тоже носильщиком и его однолеткой, который был слегка вороват, и при этом Кортадо пообещал рано или поздно выяснить, в чем тут дело.

Это несколько утешило ризничего; он распрощался с Кортадо, а тот возвратился обратно к Ринкону, который стоял неподалеку, все это наблюдал; чуть-чуть подальше находился еще один носильщик, который видел все, что произошло, равно как и то, что Кортадо передал Ринкону платок. Он подошел и сказал:

— Скажите мне, господа кавалеры, не из полупочтенных ли будут ваши милости?

— Мы не принимаем вашего вопроса, господин кавалер, — ответил Ринкон.

— А ну-ка, почешите темя, сеньоры мурсияне! — продолжал тот.

— Мы вам не из Мурсии, да и не из Тевы тоже, — сказал Кортадо. — Если вам что-нибудь нужно, говорите, а если нет, так ступайте с Богом.

— Ах, вы не понимаете? Так я вам это растолкую и даже в рот серебряной ложечкой положу. Я хочу спросить, сеньоры мои, не из воров ли будут ваши милости? Впрочем, сам не знаю, к чему мне об этом спрашивать, ведь мне и так известно, что вы воры. Но скажите, как же это вы не побывали на таможне сеньора Мониподьо?

— А что, в ваших краях воры платят налоги? — спросил Ринкон.

— Налоги не платят, — ответил носильщик, — но зато, во всяком случае, записываются у сеньора Мониподьо, который является их отцом, учителем и защитником. Поэтому я советую вам сходить со мною на поклон к сеньору Мониподьо, а без его указки и думать не смейте воровать, иначе это обойдется вам не дешево.

— Я полагаю, — ответил ему Кортадо, — что воровство есть свободное звание, не знающее ни податей, ни налогов, а если кого и притянут к уплате, то люди платятся оптом, и выручают их либо шея, либо плечи. Но коль скоро выходит так, что в каждой деревне живут по-своему, подчинимся вашему обычаю, который, надо думать, наимудрейший из всех, ибо Севилья — лучший город в мире. Итак, ведите нас туда, где находится кабальеро, о котором вы говорите. Я уже догадался из ваших слов, что он человек весьма почтенный, благородный и, кроме того, знаток своего дела.

— Это он-то почтенный, это он-то знаток и мастер своего дела? — воскликнул носильщик. — Да он у нас такой, что за все четыре года, что он состоит нашим отцом и начальником, только четверо из наших угодили на перекладину, человек тридцать попали к заплочным, да еще около шестидесяти двух сели на плавучие доски¹.

— По правде сказать, сеньор, — заметил Ринкон, — мы столько же смыслим в этих словах, как в искусстве летать по воздуху.

— Ну, пойдем, — сказал носильщик, — а по дороге я вам объясню эти слова и еще некоторые другие, которые вам необходимо знать как свои пять пальцев.

И затем он стал им объяснять и толковать разные слова из числа тех, которые воры называют «херманеско» или «хермания», и беседа вышла довольно длинная, потому что путь у них был не короткий; на ходу Ринкон спросил у своего водителя:

¹ Заплочные (мастера) — палачи. Плавучие доски — галеры, где преступники отбывали каторгу.

— А может быть, и вы, ваша милость, тоже из воров?

— Да, — ответил тот, — я вор, и делом своим служу Богу и добрым людям, но я еще не очень опытный и отбываю пока что год послушничества.

— В первый раз слышу, что бывают на свете воры, которые служат Богу и добрым людям! — вставил Кортадо, на что их юный спутник ему заметил:

— Сеньор, углубляться в богословие — это не мое дело, но я все-таки знаю, что каждый из нас своим трудом может восхвалить Господа, особенно же при том уставе, который Мониподьо ввел для всех своих приемышей.

— Какое же может быть сомнение, — сказал Ринкон, — в том, хорош ли или свят этот устав, если он заставляет воров служить Богу!

— Он до того свят и хорош, — продолжал собеседник, — что для нашего дела лучше и не надо. Мониподьо постановил, чтобы часть украденного мы отчисляли на масло для лампы одной высокочтимой в нашем городе иконы. И поистине великие последствия имело для нас это доброе дело. Не так давно одного *рогача* под три страсти поставили за то, что он двух *ревунов* замотал, и хоть хилый был, и лихорадка его каждые четыре дня трясла, а все перенес и не запел ни разу: как будто бы с ним ничего и не делали. Все наши мастера приписывают это его редкой набожности, потому что его собственных сил вряд ли хватило, чтобы только первые *нелады* от палача принять. Я знаю, вы сейчас спросите о значении некоторых попавшихся у меня слов, поэтому-то я хочу предупредить вас и объяснить их прежде, чем вы зададите вопрос. Знайте, что рогачом называется тот, кто ворует скот; страстями — пытка; ревунами, с ва-

шего позволения, — ослы; первые нелады — это первый взмах плети палача. Да то ли еще: мы молимся по четкам, которые у нас размечены по дням недели, и многие из нас не воруют по пятницам, а по субботам не вступают в разговор с женщинами, носящими имя Мария.

— Все это одна красота, — молвил Кортадо, — но скажите мне, ваша милость, вы, может быть, помимо прочего, налагаете еще на себя возмещения или пени?

— О возмещении, конечно, говорить не приходится, — возразил носильщик, — это дело невозможное, потому что каждая краденая вещь делится на множество частей, и каждый член или участник братства получает свою часть, так что вор, совершивший кражу, ничего возратить не может; а кроме того, никто и не побуждает нас к такому усердию, потому что мы никогда не исповедуемся, а если нас отлучают от церкви, то мы никогда об этом не знаем, так как ходим в церковь не в те дни, когда читаются отлучения, а все больше в дни всеобщего отпущения грехов, принимая в расчет добычу, которая бывает при большом стечении народа.

— И не делая ничего, кроме этого, — осведомился Кортадо, — все вы считаете свою жизнь святой и хорошей?

— А что же в ней плохого? — спросил носильщик. — Разве не хуже быть еретиком, ренегатом, убить отца своего и мать или, наконец, быть содомиком?

— Вы, ваша честь, хотели, должно быть, сказать содомитом? — заметил Ринкон.

— Вот именно — содомитом, — подтвердил носильщик.

— Конечно, плохо, — сказал Кортадо, — но поскольку судьбе нашей было угодно, чтобы мы

определились в ваше братство, то давайте прибавим шагу, потому что я умираю от желания повидать сеньора Мониподьо, о котором рассказывают такие чудеса.

— Ваше желание вскоре исполнится, — ответил носильщик, — потому что дом виден уже отсюда. Вы пока постоитте у дверей; я схожу узнать, свободен ли сейчас Мониподьо, потому что как раз в это время он обычно принимает.

— В час добрый! — сказал Ринкон.

Забежав на несколько шагов вперед, носильщик юркнул в дом, не только не роскошный, а просто-напросто захудалый; мальчики стали дожидаться у дверей. Вскоре их провожатый вышел и пригласил их войти; он велел им подождать на крошечном дворе, который был вымощен кирпичом и так чисто вымыт и выскоблен, что казалось, будто его смазали кармином самого лучшего качества. С одной стороны стояла скамейка о трех ножках, с другой — кувшин с отбитым носом, покрытый сверху крышкой, такой же неблагополучной, как и кувшин; чуть-чуть подальше лежала камышовая циновка, а посредине дворика стоял горшок (или, как говорится в Севилье, — *масета*) с базиликой.

Мальчики, ожидая выхода сеньора Мониподьо, внимательно рассматривали обстановку дома. Видя, что хозяин запаздывает, Ринкон рискнул пройти в нижнюю комнату — одну из двух, выходивших на двор, — и увидел там две рапиры и два пробковых щита, висевших на четырех гвоздиках, большой ларь без всякой покрывки и три камышовых циновки, разостланных на полу. К стене напротив было приклеено изображение Богоматери, очень плохо награвированное; пониже его висела плетеная корзинка, а в стену был вделан бе-

ленький тазик, из чего Ринкон заключил, что корзинка служила кошелем для сбора приношений, а тазик предназначался для святой воды; так оно на самом деле и было.

Тем временем в дом вошли два молодых человека лет двадцати, одетые как студенты, а немного погодя — двое носильщиков и один слепец; не говоря ни слова друг другу, они стали прохаживаться по двору. Через несколько минут появились два старика в байковых плащах, с очками на носу, которые придавали им весьма почтенный и достойный уважения вид; у каждого в руках были четки из маленьких погремушек. Следом за ними показалась старуха в длинном платье, которая молча прошла в комнату, захватила там святой воды, с большим благоговением опустила на колени перед иконой и после долгого промежутка времени, поцеловав перед этим три раза землю и воздев столько же раз очи и руки к небу, поднялась, опустила в корзину милостыню и тоже присоединилась к ожидавшим. Вскоре на дворе собралось человек четырнадцать в самых разнообразных одеждах и самых разнообразных званий. Последними вошли два бравых, щеголеватых и длинноусых молодца в широкополых шляпах, валлонских воротниках, цветных чулках с замысловатыми подвязками, со шпагами длиннее установленной меры, причем у каждого был вместо кинжала пистолет, а кроме того, щит, подвешенный к поясу. Войдя, они уставились на Ринкона и Кортадо как на лиц посторонних, которых они не знали, подошли к ним и спросили, состоят ли они членами братства. Ринкон ответил, что да и что мы, мол, покорные слуги ваших милостей.

Между тем настала минута, когда появился наконец сеньор Мониподьо, весьма нетерпеливо

поджидавшийся и очень радостно встреченный всем этим почтенным обществом.

Это был человек лет сорока пяти — сорока шести, высокого роста, лицом смуглый, со сросшимися бровями, с черной, очень густой бородой и глубоко посаженными глазами.

Он вышел в рубашке, сквозь прореху которой виднелся целый лес: столько у него было волос на груди. На нем был накинута большой плащ, доходивший почти до ступней, обутых в башмаки с продавленными задками; ноги были покрыты широкими полотняными шароварами по самую щиколотку; голову украшала бандитская шляпа с высокой тульей и широкими полями. На перевязи, проходившей по спине и груди, висела широкая, короткая шпага, вроде тех, что бывают помечены клеймом «собачки»; руки у него были короткие и волосатые, пальцы толстые, ногти огромные и крючковатые; ног нельзя было рассмотреть из-под одежды, но ступни казались просто страшными — такие они были широкие и с такими огромными костяшками. Одним словом, у него был вид косолапого и безобразного варвара. Вместе с тем показался провожатый обоих мальчиков, который взял их за руку и представил сеньору Мониподью со словами:

— Это те добрые ребята, о которых я говорил вашей милости, сеньор Мониподью; благоволите сделать им испытание, и вы увидите, что они достойны вступить в нашу общину.

— С великим удовольствием, — ответил Мониподью.

Я забыл упомянуть, что при появлении Мониподью все ожидавшие его тотчас отвесили ему низкий поклон, за исключением обоих молодцов, которые, едва приподняв шляпы, продолжали

прохаживаться по одной стороне двора, а по другой стороне стал ходить Мониподьо, задавший новичкам вопрос относительно рода их занятий, родины и родителей.

На это Ринкон ответил:

— Род занятий наш ясен уже из того, что мы явились сейчас к вашей милости; что касается родины, то я не считаю нужным ее называть, равно как и родителей: ведь дело сейчас идет не об установлении родословной на предмет получения какого-нибудь почетного звания.

Мониподьо ответил так:

— Вы, сын мой, совершенно правы. Совсем не глупо скрывать подобные вещи, ибо если судьба сложится не так, как бы хотелось, не следует, чтобы в судебных книгах, за подписью секретаря, значилось: такой-то, мол, сын такого-то, уроженец такой-то местности, в какой-то день повешен, наказан плетью или еще что-нибудь в этом роде, столь же оскорбительное для всякого нежного уха; а поэтому, повторяю еще раз, весьма полезно бывает умолчать о своей родине, скрыть своих родителей и переменить собственное имя. Но между нами не должно быть никаких тайн, и только для первого раза я хочу узнать ваши имена.

Ринкон назвал себя; то же самое сделал Кортадо.

— Итак, на будущее время, — ответил Мониподьо, — я хочу, и такова моя воля, чтобы вы, Ринкон, назывались Ринконете, а вы, Кортадо, — Кортадильо¹, потому что эти прозвания подходят

¹ Имена, предлагаемые Мониподьо, являются уменьшительными от Ринкон и Кортадо — воровских кличек, из которых первая указывает на укромные уголки, где шулера обрабатывают своих клиентов, а вторая — на специалиста по срезанию кошельков.

как нельзя лучше к вашему возрасту и нашим обычаям; они-то и предписывают нам узнавать имена родителей членов нашего братства, так как мы имеем обыкновение ежегодно совершать особые мессы за упокой наших покойников и благодетелей и отчисляем для оплаты священника особую *влетту*¹ из награбленного; дело в том, что мессы, отслуженные и оплаченные таким образом, приносят большую пользу, ибо идут они на души *чистильщика*. В число наших благодетелей входят: *повытчик*, который нас отстаивает, «*крючок*»², который извещает об опасности, грозящей со стороны полиции; *палач*, если он нас щадит, и, наконец, тот самый человек, который, когда одного из наших гонят по улице и бегут за ним с криком: «Вор, вор! Держи его, держи!» — станет посреди дороги один против толпы преследующих и скажет: «Оставьте беднягу, довольно с него и собственного горя! Бог с ним, пусть лучше виновного его грех накажет!» Защитой нашей являются и наши старательницы, которые в поте лица на нас стараются, когда нас назначают в казенный дом или в плавание³; сюда же относятся отцы и матери, рождающие нас на свет Божий, равно как и судебный писец, потому что, если бывает на то его добрая воля, никакая вина не признается за преступление и ни за одно преступление суровой кары не полагается. За всех этих благодетелей, которых я перечислил, наше братство ежегодно совершает моление и *дрызну* со всем *попом* и *братом*, каких только мы можем себе позволить.

¹ Здесь и далее Мониподьо по невежеству перевергает слова.

² «Крючок» — на жаргоне — низший полицейский чин.

³ Старательницы — проститутки. Казенный дом — тюрьма. Плавание — галеры, каторга.

— Поистине, — сказал Ринконете, который отныне уже был окрещен этим именем, — установление это достойно глубокого и светлого ума, которым, как мы слышали, вы, сеньор Мониподьо, обладаете. Однако родители наши еще здравствуют, если же мы их переживем, то немедленно сообщим об этом вашему богоспасаемому и искупительному братству, дабы души покойных сподобились либо чистильщика, либо метельщика или же этой дрызны (о которой вы, ваша милость, говорили), с приличествующими в таких случаях с попом и братом, как вы это тоже в своих словах отметили.

— Так ему и быть надлежит, пропади я на этом месте, — заключил Мониподьо и, подозревая вожатого наших мальчиков, сказал ему:

— Послушай, Ганчуэло, часовые на местах?

— Точно так, — ответил вожатый, имя которого было Ганчуэло, — трое часовых глядят в оба, и поэтому бояться нечего: врасплох нас не застанут.

— Однако вернемся к делу, — сказал Мониподьо. — Я хотел, дети мои, познакомиться с вашими знаниями и определить вам должность и занятия, соответствующие природным влечениям и способностям.

— Я, — ответил Ринконете, — смыслю кое-что в науке Вилана¹, умею делать накладку; набил глаза на крапинки; передергиваю одной, двумя, четырьмя и восемью; не провороню тебе ни начеса, ни бородавки, ни клычка, в волчью пасть попадаю, как к себе домой; третьего играю, что твой третьей-

¹ Наука Вилана — то есть карточная игра. Вилан, или Вильян, — исторически недостоверный персонаж, считавшийся в Испании XVI в. изобретателем игральных карт.

ский судья, и даже самому обстрелянному вставляю перо прежде, чем он успеет попросить в долг два реала.

— Это пустяки,— сказал Мониподьо. — Все это старая труха, столь известная, что нет новичка, который бы ее не знал; она может провести только такого простака, который после полуночи, можно сказать, сам на нож просится. Однако поживем — увидим. При такой подготовке достаточно будет полдюжины уроков, а там, даст Бог, выйдет из вас отличный работник, а может быть, даже и мастер.

— Рад буду угодить вашей милости и сеньорам с членам, — ответил Ринконете.

— А каковы ваши познания, Кортадильо? — спросил Мониподьо.

— Мне известно, — ответил Кортадильо, — искусство, которое называется «два вложи, пять тяни»; я умею еще ловко и чисто отрезать кошелек.

— А еще что? — спросил Мониподьо.

— К стыду своему, больше ничего, — ответил Кортадильо.

— Не печальтесь, сын мой, — сказал Мониподьо, — вы достигли гавани, где вы не утонете; вы попали в школу, откуда вас не выпустят, не обучив предварительно всему, что вам подобает узнать... А как обстоит у вас дело в отношении мужества, дети мои?

— Совсем не как-нибудь, а очень даже хорошо, — проговорил Ринконете. — Мы достаточно храбры, чтобы рискнуть на любое предприятие, имеющее отношение к нашему ремеслу и званию.

— Прекрасно,— сказал Мониподьо.— Однако мне бы хотелось, чтобы вы в случае нужды сумели выдержать полдюжины «страстей», не разжав губ и не проронив ни единого слова.

— Мы уже здесь узнали, сеньор Мониподьо, — сказал Кортадильо, — что такое «страсти», и ничего не испугаемся; не так уж мы глупы, чтобы не понять, что за язык расплачивается шея. Не малую милость оказал Господь Бог нашему брату, *державшему* (скажу так, чтобы не говорить другого слова), поставив и жизнь и смерть нашу в зависимость от нашего языка; каждому из нас следует помнить, что слово «да» не длиннее слова «нет».

— Довольно, разговаривать больше не о чем! — воскликнул вдруг Мониподьо. — Один этот ответ убеждает, обязывает, заставляет и принуждает меня немедленно же принять вас в число полноправных членов братства и освободить от года послушничества.

— И я того же мнения, — сказал один из молодых.

Этот отзыв был единогласно поддержан присутствующими, которые слышали эту беседу и попросили Мониподьо сегодня же разрешить обоим мальчикам пользоваться льготами братства, так как Ринконете и Кортадильо вполне того заслужили своей приятной наружностью и разумными речами. Мониподьо ответил, что не откажет им в этом удовольствии и сейчас же дарует все льготы; он подчеркнул, однако, что юноши должны их очень ценить, потому что права они получают следующие: не платить половину дохода с первой кражи; в течение всего года быть свободными от послушнических обязанностей, иначе говоря, от доставки в тюрьму или дома терпимости передач, посылаемых кому-либо из старшей братии; принимать внутрь «некрещеного турка»¹; устраивать

¹ «Некрещеный турок» — вино.

пирушки, не спрашивая разрешения начальника; с первого же дня иметь долю полноправного члена при разделе добра, награбленного старшими, и многие другие преимущества, которые новички приняли как великую честь и за которые, кроме того, искренне поблагодарили в самых учтивых выражениях.

В это время прибежал, запыхавшись, какой-то малый и сказал:

— Сюда идет дозорный альгвасил! Он один, без спутников!

— Не волнуйтесь, — сказал Мониподьо, — это наш друг; он никогда не приходит, чтобы делать нам неприятности. Успокойтесь, я выйду с ним поговорить.

Присутствующие стали успокаиваться, а то все было порядком встухнули. Мониподьо вышел за дверь, увидел альгвасила, поговорил с ним немало, потом вернулся обратно и спросил:

— Кому была поручена сегодня площадь Сан-Сальвадор?

— М н е , — ответил Ганчуэло.

— В таком случае, — спросил Мониподьо, — почему до сих пор не представлен амбровый кошелек, который утром подгрифили на площади вместе с пятнадцатью золотыми эскудо, двумя двойными реалами и несколькими кварто?

— Правда, — сказал Ганчуэло, — кошелек сегодня пропал, но я его не брал и не могу понять, кто его стибрил.

— Я не позволю себя обманывать! — крикнул Мониподьо. — Кошелек должен быть возвращен, потому что его просит наш друг альгвасил, который делает нам в год тысячи одолжений!

Юноша стал клясться, что он ничего не знает о кошельке. Мониподьо распаялся гневом, и ког-

да он заговорил, то глаза его, казалось, метали пламень:

— Никто не смеет шутить даже с самыми мелкими правилами нашего братства, а не то поплатимся жизнью!.. Кошелек должен быть предъявлен! Если кто его укрывает, не желая платить налога, я ему выделю его долю, а остальное добавлю из своего кармана, ибо альгвасил должен быть удовлетворен во что бы то ни стало.

Юноша стал снова клясться и поминать черта, уверяя, что он не брал кошелька и никогда его не видел. Слова эти еще пуще разожгли неистовство Мониподью и взволновали все собрание, усмотревшее тут нарушение устава и добрых правил.

Когда ссора и волнение не в меру разрослись, Ринконете решил, что лучше будет уважить и успокоить свое начальство, готовое лопнуть от бешенства; посоветовавшись со своим другом Кортадильо и получив его согласие, он вынул из кармана кошелек ризничего и сказал:

— Прекратите спор, господа. Вот кошелек, в котором столько денег, сколько было обозначено альгвасилом. Сегодня мой приятель Кортадильо украл его вместе с платочком, который он стащил у этого же самого человека.

Кортадильо тотчас вынул платок и предъявил его. Мониподью посмотрел на вещи и сказал:

— Кортадильо *Примерный* (это прозвание и титул мы закрепим за тобой на будущее время) удержит в свою пользу платок, причем я беру на себя наградить его за оказанную услугу, а кошелек мы отдадим альгвасилу, потому что он принадлежит его родичу ризничему, и таким образом исполним пословицу, гласящую: «Он тебе — це-

люю курицу, а ты его куриной ножкой отблагодари». Этот добрый альгвасил в один день покрывает столько наших грехов, что мы и в сто дней столько добра ему не сделаем.

Все присутствующие единогласно одобрили благородство обоих новичков и заодно решение и приговор своего начальника, который пошел вручить кошелек альгвасилу. Кортадильо окрестили с тех пор прозвищем «Примерный» и приравнивали ни больше ни меньше как к Алонсо Пересу де Гусману Примерному, бросившему со стен Тарифы нож для убиения своего единственного сына¹.

Мониподьо возвратился назад в сопровождении двух девиц с нарумяненными щеками, размазанными губами и сильно набеленною грудью; они были в коротких саржевых плащах и держались с необыкновенной развязностью и бесстыдством. Ринконете и Кортадильо на основании этих красноречивых признаков сразу смекнули, что перед ними женщины из дома терпимости, — так оно действительно и было. Едва они успели войти, как одна из них бросилась с распростертыми объятиями к Чикизнаке, а другая — к Маниферро (так звали двух упомянутых выше молодых, причем кличка Маниферро объяснялась тем, что у ее обладателя одна рука была железная, так как настоящую ему отрубили по приговору суда). Кавалеры весело обняли своих дам и осведомились, не найдется ли у них чем промочить глотку.

— Для моего-то героя да не найдется! — ответила одна из них, по имени Ганансьоса. — Твой

¹ В 1284 г. враги, осадившие крепость Тарифу, предложили ее защитникам под командованием Переса де Гусмана сдаться, угрожая в противном случае убить сына Переса. В ответ на это Перес сам сбросил им со стены нож.

слуга Сильватильо вскоре доставит сюда бельевую корзину, наполненную чем Бог послал.

И действительно, в ту же минуту вошел мальчик с корзиной, прикрытой простыней.

Все обрадовались приходу Сильвато, а Мониподьо немедленно распорядился принести и растянуть посредине двора одну из камышовых циновок, находившихся в комнате. Затем он велел всем усесться в кружок, чтобы за угощением удобнее было толковать о своих делах. В это время старуха, давеча молившаяся перед иконой, сказала:

— Сыне Мониподьо, мне сейчас не до пиршества, потому что уже два дня я страдаю головкружениями, которые сводят меня с ума, а кроме того, еще до полудня я должна сходить помолиться и поставить свечки Богоматери и святому распятию в церкви Святого Августина, а потому не задержат меня тут ни снег, ни буйный ветер. Пришла я к вам потому, что прошлую ночью Ренегадо и Сентопьес принесли ко мне корзину побольше, чем ваша, полнехонькую белья, и вот вам святой крест, была она еще с подзолом, потому что они и убрать его не успели; пот катил с них градом, запыхались так, что смотреть было жалко, а лица такие мокрые, хоть вы жми, — никак иначе не скажешь, как ангелочки... Рассказали они мне, что бегут сейчас выслеживать одного скотовода, только что весившего на весах баранов в мясной лавке, и хотят приласкать его огромного кот¹, набитого реалами. Белья они не вынимали и не считали его, положившись на мою честность. И пусть так исполнятся мои желания и пусть мы

¹ «Котами» в просторечии назывались кошельки, выделывавшиеся из кошачьих шкур.

так же верно ускользнем от руки правосудия, как верно то, что я и не дотронулась до корзины, которая так же цела и невинна, как если бы она только что родилась!

— Верю всему, матушка, — сказал Мони-подьо, — пусть корзина останется у тебя, а ночью я найду к тебе посмотреть, что она в себе заключает, и каждому выделю его долю, рассчитав все честно и точно, как я всегда это делаю.

— Пусть будет так, как вы прикажете, сын е, — ответила старуха. — А так как я уже замешкалась, то дайте мне глоточек вина, если у вас самих найдется, чтобы подкрепить мой совсем ослабевший желудок.

— И еще какого вина мы вам отпустим, мать моя! — воскликнула Эскаланта (так звали подругу Ганансьосы) и, приоткрыв корзину, вытащила оттуда кожаную бутылку величиною с бурдюк, вмещавшую доброе ведро вина, и ковш из древесной коры, куда легко и свободно могло войти до четырех бутылок. Наполнив сосуд вином, Эскаланта передала его богомольной старухе, которая взяла ковш обеими руками, дунула на пену и сказала:

— Ты много налила, дочь моя, но с Божьей помощью все преодолеть можно.

Затем, приложив сосуд к губам, она залпом, не набирая дыхания, перелила вино из ковша в живот и сказала:

— Это — гвадальканаль, и есть в нем, в голубчике, самая капелька гипсу. И да утешит тебя Господь, дочь моя, так, как ты меня сейчас утешила! Однако боюсь, как бы оно мне не повредило, потому что я еще не завтракала.

— Не повредит, матушка, — сказал Мони-подьо, — это вино двухлетнее.

— Буду надеяться на Пречистую Деву, — ответила старуха и затем прибавила:

— Послушайте, девушки, не дадите ли вы мне одного кварто на свечки, а то заторопилась я к вам с известием о корзине с бельем и впопыхах забыла дома свой кошелек.

— У меня найдется, сеньора Пипота (так звали старуху), — ответила Гананьсьоса. — Берите, вот вам два кварто; купите мне, пожалуйста, на один кварто свечку и поставьте ее Святому Мигелю, а если хватит на две свечки, то вторую поставьте Святому Власу; это — мои заступники. Хотелось бы еще поставить свечку Святой сеньоре Лусии, которую я в отношении глаз почитаю, да нет у меня сейчас мелкой монеты; ну, да в другой раз мы со всем управимся.

— Хорошо сделаешь, дочь моя; и смотри, не будь скаредной. Пока жив человек, надо, чтобы он ставил за себя свечки сам, не дожидаясь, что их поставят за него наследники и душеприказчики.

— Хорошо сказано, тетка Пипота! — воскликнула Эскаланта и, сунув руку в кошель, дала от себя старухе еще один кварто, поручив ей поставить две свечки по своему выбору тем святым, которые оказывают больше всего покровительства и милости.

После этого Пипота собралась уходить и сказала:

— Веселитесь, дети, пока не поздно; настанет старость, и будете вы плакать, что пропустили золотые деньки своей молодости, как я теперь о них плачу; да еще помяните меня в ваших молитвах, а я пойду помолиться за себя и за вас, дабы избавил нас Бог в нашем опасном промысле от внезапного появления полиции.

С этими словами Пипота удалилась.

Когда старуха ушла, все уселись вокруг циновки; Ганансьоса разостлала вместо скатерти простыню и вынула из корзины сначала пучок редиски и около двух дюжин апельсинов и лимонов, затем большую кастрюлю, наполненную ломтиками жареной трески, вслед за ними показались полголовы фламандского сыра, горшок великолепных оливок, тарелка креветок, целая куча крабов с острой приправой из капорцев, переложенных стручками перца, и три каравая белоснежного гандульского хлеба. Закусывающих собралось человек четырнадцать; все они извлекли ножи с желтыми черенками, за исключением Ринконете, обнажившего свой тесак. Старикам в байковых плащах и носильщику Ганчуэло пришлось распределять вино с помощью упомянутого ковша из древесной коры, величиною с улей. Но едва только общество набросилось на апельсины, как оно было напугано сильными ударами в дверь. Мониподьо призвал всех к порядку, удалился в нижнюю комнату, снял со стены щит, взял шпагу и, подойдя к двери, глухим и страшным голосом спросил:

— Кто там?

— Это я, а не кто-нибудь, сеньор Мониподьо; я — Тагарете, часовой, поставленный утром; я прибежал сказать, что сюда идет Хулиана Карьярта, простоволосая и в слезах, — по всему видно, что стряслась какая-то беда.

В это время к дому с рыданиями подошла пострадавшая, о которой шла речь. Заметив ее, Мониподьо отворил дверь и приказал Тагарете снова занять свой пост и сообщать свои известия, не подымая гама и шума. Тагарете ответил, что постарается это исполнить. Наконец появилась и Карьярта, девица того же разбора и такого же рода занятий, что и прежние. Волосы ее были

растрепаны, лицо распухло; едва ступив на двор, она без сознания повалилась наземь. Ганансьоса и Эскаланта поспешили на помощь: они расстегнули ей платье на груди и увидели, что все тело в кровоподтеках и ссадинах. Брызги холодной воды привели Карьярту в себя.

— Пусть Господь Бог и король покарают этого смертоубийцу и живодера, — голосила она, — этого трусливого воришку, этого вшивого бродягу, которого я столько раз спасала от виселицы, что у него волос в бороде больше не наберется! О я несчастная! Посмотрите, ради кого я загубила свою молодость и лучшие годы жизни — ради бессовестного негодяя, неисправимого каторжника!

— Успокойся, Карьярта, — сказал в это время Мониподьо, — не забывай, что тут нахожусь я и что я разберусь в твоём деле. Расскажи нам про свою обиду; и знай, что больше времени уйдёт у тебя на рассказ, чем у меня на расправу. Скажи мне, не вышло ли у тебя чего с твоим хахалем? А если что-нибудь вышло и нужна на него управа, тебе достаточно будет слово сказать.

— Какой он хахаль?! — воскликнула Хулиана. — Пусть лучше со мной целый ад хахалится, чем этот «молодец против овец, а против молодца и сам овца». Чтобы я стала с таким хлеб-соль водить и делить с ним свое ложе!.. Пусть прежде шакалы растерзают это тело, которое он разукрасил так, как вы это сейчас увидите.

И, подобрав в одну минуту юбки до самых колен, а то, пожалуй, и немного повыше, она показала, что тело ее было всюду покрыто синяками.

— Вот как, — продолжала Карьярта, — отделал меня изверг Реполито, несмотря на то что обязан мне больше, чем родной матери. Нет, вы послушайте только, за что он меня искалечил!

Иной еще подумает, будто я сама дала ему какое-нибудь основание!.. Так нет же, нет! Искалечил он меня так потому, что, продувшись в карты, прислал ко мне своего служку Кабрильяса за тридцатью реалами, а я могла дать ему только двадцать четыре, и притом заработанных таким трудом, что терзания и мучения мои сам Господь Бог во искупление грехов моих примет. И вот в награду за мою учтивость и ласку он, порешив, что я утаила от него часть бывших у меня денег, вывел меня сегодня утром в поле, за Королевский сад, и там, в оливковой роще, раздел меня донага, взял пояс, не подобрав и не сняв с него железа (самого бы его, черта, в кандалы да железо заковать), и так меня отстегал, что я еле жива осталась, а истину моих слов подтвердят синяки, которые вы все видите.

Тут Карьярта стала опять кричать и требовать правосудия. Мониподьо стал ее защищать, а все остальные бандиты единодушно его поддержали.

Ганансьоса бросилась утешать Карьярту и клялась, что она готова пожертвовать любой драгоценной вещью, лишь бы только у нее с ее дружкой случилась такая же история.

— Я хочу,— сказала она, — чтобы ты, наконец, узнала, сестрица Карьярта (если ты этого еще не знаешь), что милый бьет — значит любит, и когда эти паршивцы нас дубасят, стегают и топчут ногами, тогда именно они нас и обожают. Разве это не правда? Скажи по совести, неужели Реполито по окончании трепки не сказал тебе ни одного ласкового слова?

— Какое там одно! — воскликнула плакавшая я. — Он мне сто тысяч ласковых слов наговорил и не пожалел бы пальца своей руки, если бы я сразу вместе с ним пошла домой. Мне даже

показалось, что у него слезы из глаз брызнули после того, как он меня выпорол.

— Тут и сомнения быть не может, — заметила Ганансьоса, — ясное дело, он прослезился, когда увидел, что здорово тебя отодрал. Стоит только проштрафиться этим мужчинам, как они сейчас же и раскаиваются, и попомни мое слово: еще прежде чем мы отсюда уйдем, он сам к тебе приплетется смиренной овечкой и будет умолять простить ему прошлое.

— Даю слово, — сказал Мониподьо, — что этот каторжный трус не переступит моего порога, если не принесет публичного покаяния в своем преступлении! Как смел он дотронуться руками до лица и тела Карьярты, которая может поспорить своим блеском и заработком с самою Ганансьосой, стоящей здесь перед вами, а уж это ли, скажите, не похвала?!

— Ах! — воскликнула в ответ Хулиана. — Сеньор Мониподьо, не браните вы его, окаянного. Как бы он ни был плох, а я люблю его от всей глубины сердца; у меня сразу душа на место стала после слов, которые подруга моя Ганансьоса привела в его оправдание; честное слово, я пойду сейчас его разыскивать.

— Вот этого я тебе не посоветую, — возразила Ганансьоса, — ведь он тогда так разойдется и раскуражится, что изрешетит тебя, как фехтовальное чучело. Успокойся, сестрица, погоди немного; попомни мое слово, он сам тебе принесет повинную. А если не придет, то мы напишем ему в письме такие куплеты, что ему солоно придется.

— Вот это отлично! — воскликнула Карьярта. — Я ему тысячу вещей могу написать.

— Если понадобится секретарь, то им буду я, — сказал Мониподьо, — и хоть я не поэт, а вот

закатаю рукава да и отмахая в один присест две тысячи стихов, а если выйдут нехороши, есть у меня один знакомый цирюльник, прекрасный поэт, который нам в любое время наворотит их целую кучу... Ну, давайте кончать начатый нами завтрак, а потом все устроится.

Хулиана с удовольствием подчинилась приказу своего начальника. Все снова накинудись на еду и вскоре заметили, что в корзине осталось только дно, а в бурдюке — одна гуща. Старики пили *sine fine*¹, молодые — сколько влезет, а дамы прикладывались до девяти даже крат. Когда старики попросили разрешения встать из-за стола, Мониподьо их немедленно отпустил, снабдив наказом осведомлять его со всею возможною точностью обо всем, что может оказаться полезным и выгодным для общины и способствовать безопасности и преуспеванию братства. Ответив, что обо всем этом они неустанно заботятся, старики удалились. Ринконете, отличавшийся от природы необыкновенным любопытством, предварительно извинившись за свой вопрос, осведомился у Мониподьо, для чего нужны братству два таких седых, важных и представительных человека. На это Мониподьо ответил, что люди эти называются на воровском языке «шмелями» и обязаны ходить днем по всему городу и высматривать, в каких домах можно ночью совершить кражу; они обязаны так же следить за теми, кто получает деньги на бирже или на Монетном дворе, и узнавать, куда деньги отнесены и где они спрятаны; получив сведения, они измеряют толщину стен нужного им

¹ Без конца (*лат.*).

дома и намечают место, где всего удобнее сделать «гуспатары», то есть отверстия, через которые можно проникнуть внутрь. Одним словом, по отзыву Мониподью, они были в такой же, а может быть, даже и в большей степени полезны братству, как и все остальные. От каждой кражи, совершаемой с их помощью, им полагается пятая часть — ни дать ни взять как его величеству, отчисляющему свою долю с доходов государства. Следует заметить, что это люди высокой правдивости, весьма почтенные, нравственные и уважаемые, богобоязненные и совестливые, с редким благоговением слушающие свою ежедневную мессу. Среди них попадаются такие приличные, — в том числе и эти два старика, которые только что вышли отсюда, — что довольствуются значительно меньшим, чем им полагается по нашей росписи. Кроме них, есть у нас еще два крючника, которые, каждый день помогая людям переезжать с квартиры на квартиру, отлично изучили входы и выходы всех домов в городе и знают, в каком из них может быть пожива и в каком нет.

— Да это прелесть что такое! — воскликнул Ринконете. — Мне бы тоже хотелось оказаться чем-нибудь полезным для вашего удивительного братства.

— Небо всегда благоприятствует добрым намерениям, — ответил Мониподью.

Во время этого разговора раздался стук в дверь. Мониподью вышел посмотреть, кто там; на его оклик стучавший ответил:

— Откройте, сеньор Мониподью, это я, Реполлидо.

Едва Карьярта услышала его голос, как вдруг изо всех сил завывала:

— Не открывайте ему, сеньор Мониподьо, не выпускайте этого тарпейского нырка¹, этого оканьского тигра!

Тем не менее Мониподьо открыл дверь, а Карьярта, заметив это, бросилась бежать, укрылась в той комнате, где висели щиты, и замкнув за собой дверь, стала громко кричать оттуда:

— Уберите прочь эту образину, палача невинных младенцев, пугало кротких голубиц!

Маниферро и Чикизнаке удерживали Реполидо, а он так и рвался войти туда, где находилась Карьярта, и кричал ей со двора:

— Ну ты, обиженная, перестань! Да успокойся ты ради Бога; шла бы ты лучше замуж, вот что!

— Чтобы я шла замуж, прохвост?! — ответила ему Карьярта. — Вот ты на какой струне заиграл! Чего доброго, захочешь, чтобы я за тебя вышла?! Да я скорей за смертный шкелет пойду, чем за тебя!

— Ну ты, глупая, — сказал Реполидо, — пора кончать: время не раннее. Эй, не заносись, видя, что я с тобою кротко и нежно разговариваю, а не то, если гнев мне вскочит в голову, второй раз будет похуже первого. Смирись, смиримся оба, и нечего нам кормить обедами дьявола!

— Не только обедом, ужином бы я его накормила, — вставила Карьярта, — лишь бы он тебя убрал так, чтобы глаза мои тебя больше не видели!

— А что, разве я вам не говорил?! — крикнул Реполидо. — Ну, госпожа Походная Кровать, ей-богу, выходит так, что придется мне заломить цену повыше, а уж какая будет продажа — смотреть не стану!

Тут вмешался Мониподьо.

¹ Карьярта перевирает слова популярного романа, в котором изображался Нерон, смотрящий на пожар Рима с Тарпейской скалы.

— В моем присутствии все должно быть в порядке. Карьярта выйдет, но не из-за угроз, а по любви ко мне, и все устроится. Когда милые ссорятся, от примирения бывает только больше радости! Эй, Хулиана! Эй, детка! Эй, милая Карьярта! Из уважения ко мне выдь-ка сюда наружу. Я устрою так, что Реполидо на коленях попросит у тебя прощения.

— Если он это сделает, — сказала Эскаланта, — то мы все будем на его стороне и будем просить Хулиану выйти.

— Если это от меня требуется в знак повиновения и унижения достоинства, — сказал Реполидо, — то я не покорюсь целому полчищу швейцарцев; а если для того, чтобы доставить удовольствие Карьярте, то я не только стану на колени, но даже гвоздь себе в лоб всажу ей на утеху.

На это Чикизнаке и Маниферро засмеялись; Реполидо, порешив, что те над ним издеваются, страшно рассвирипел и произнес с выражением крайнего гнева в голосе:

— Тот, кто станет хихикать или вздумает хихикать по поводу слов, которые мы с Карьяртой сказали или еще скажем друг другу, тот подлец и будет, как я уже раньше сказал, подлецом всякий раз, как хихикнет или только вздумает хихикнуть!

Косой и скверный взгляд, которым обменялись Чикизнаке и Маниферро, дал понять Мониподью, что если он не вмешается, то дело кончится очень плохо, а поэтому он тотчас же стал между ними и сказал:

— Кабальеро, довольно, и никаких страшных слов! Прикусите языки, а так как только что сказанные слова к вам не относятся, то нечего вам принимать их на свой счет.

— Мы и сами вполне уверены в т о м , — ответил Чикизнаке, — что нам таких рацей никогда не читали и читать не будут, а если кто заберет себе в голову, что читали, так есть у нас в руках такой бубен, что будет чем поиграть!

— И у нас тоже при себе бубен имеется, сеньор Чикизнаке, — возразил Реполидо, — а если понадобится, так и звоночками позвонить сумеем. Я сказал: тот, кто будет надо мной потешаться, — подлец, а если он думает иначе, так, пожалуйста, выйдем отсюда вместе... мужчина сумеет постоять за свое дело, даже если шпага у него короче на целую четверть...

С этими словами Реполидо пошел было к выходной двери.

Когда Карьярта, слышавшая все происходившее, поняла, что Реполидо разозлился и уходит, она вышла из комнаты и сказала:

— Не пускайте, держите его, а то он себя покажет! Разве вы не видите, что он рассердился, а уж он такой вояка, что Иуде Макаrelu¹ под стать. Вернись сюда, вояка мой всесветный, отрада моих очей!

И, подскочив к Реполидо, она с силою схватила его за плащ; подоспел Мониподьо, и вдвоем они удержали уходившего. Чикизнаке и Маниферро не знали, сердиться им или нет; они сохраняли спокойствие, выжидая, что сделает Реполидо; а тот, поддавшись уговорам Карьярты и Мониподьо, вернулся назад и сказал:

— Друзья никогда не должны сердить своих друзей и смеяться над друзьями, в особенности же тогда, когда они видят, что друзья их сердятся.

¹ Иуда Макареl — искажение имени Иуды Маккавея (II в. до н.э.), успешно сражавшегося против римлян.

— Здесь нет такого друга, — ответил Маниферро, — который хотел бы сердить или высмеивать своего друга, а поскольку мы все друзья, то и пожмем друг другу руки как друзья.

На это Мониподьо со своей стороны добавил:

— Все вы, государи мои, говорили сейчас как добрые друзья, а если вы такие друзья, то должны дать друг другу руки как друзья.

Все тотчас это исполнили, а Эскаланта сняла с ноги чапин и начала бить в него, как в бубен; Ганансьоса схватила случайно попавшуюся ей новую пальмовую метлу, и от частых ударов руки по листьям у нее получился глухой и резкий звук, вполне подходивший к звуку чапина. Мониподьо разбил тарелку, сделал себе два черепка, и они быстро-быстро застрекотали у него в пальцах, попадая в такт чапину и метле.

Ринконете и Кортадильо страшно удивились столь неожиданному применению метлы, ибо до сих пор ни разу еще не видели ничего подобного. Маниферро заметил их удивление и сказал:

— Вас удивляет метла? Что же, есть чему подивиться: ведь до такой легкой, удобной и дешевой музыки еще никто в мире не додумался! Честное слово, я недавно слышал от одного студента, что ни Негрофей, который вывел из ада Араус, ни Марион¹, севший на дельфина и прикативший на берег так, словно ехал верхом на наемном муле, ни тот великий музыкант, который основал город в сто ворот² и столько же калиток, не в силах были додуматься до такой замечатель-

¹ Здесь искажены имена мифических персонажей: Орфея, Эвридики и Ариона.

² Намек на Амфиона (греч. миф.), который своей игрой на лире привел в движение камни, сами собою сложившиеся в стены «стовратного» города Фив.

ной музыки, чтобы было не трудно научиться удобно играть и чтобы не требовалось ни ладов, ни колков, ни струн и, само собой разумеется, настройки, а ведь, ей-богу, люди говорят, что изобрел его один кавалер нашего города, который хочет сойти за Гектора по музыкальной части.

— Охотно этому верю, — ответил Реполито. — Однако послушаем, что нам споют сейчас наши музыканты. Ганансьоса, кажется, сплонула, а это значит, что она собирается петь.

Так оно и было на самом деле, потому что Мониподьо попросил Ганансьосу спеть несколько сегидиллий¹, которые тогда вошли в моду; однако первой начала Эскаланта, которая высоким переливчатым голосом запела следующее:

Из-за севильянца, рыжего, как бритт,
У меня все сердце пламенем горит.

Ганансьоса подхватила:

А из-за брюнета да зеленой масти
Всякая красотка пропадет от страсти.

Затем Мониподьо стал еще быстрее перебирать своими черепками и продолжал:

Милые бранятся — примирятся вновь;
Чем свирепей склока, тем сильней любовь.

Карьярта не захотела обойти молчанием своей собственной радости, а потому тоже схватила чапин и пустилась в пляс, подпевая:

Не дерись, сердитый, положи-ка плеть,
Сам себя ты хлещешь, если посмотреть.

¹ Сегидилья — здесь: короткий импровизационный куплет (вроде нашей частушки).

— Пойте по пр о щ е , — сказал в это время Репол и д о , — и не поминайте старого, потому что нужды в этом нет никакой; старое уже миновало, перейдем на новую дорожку, да и все тут!

Певцы не скоро бы еще окончили пение, если бы вдруг не послышались частые удары в дверь. Мониподьо поспешно вышел посмотреть, кто там; то был часовой, доложивший, что в конце улицы показался алькальд в сопровождении Тордильо и Сорникало — полицейских, соблюдавших нейтралитет. Когда оставшиеся во дворе услышали, в чем дело, то так перепугались, что Карьярта и Эскаланта перепутали свои чапины, Ганансьоса бросила метлу, Мониподьо — черепки, и музыка сменилась тревожным молчанием. Чикизнаке онемел, Реполито остолбенел, Маниферро замер, и все — кто направо, кто налево — стали забираться на плоские накаты и на крыши, чтобы удрать и выбраться на другую улицу. Неожиданный выстрел из аркебузы или внезапный удар грома не мог бы с большей силой испугать стаю беспечных голубей, чем была испугана и встревожена теплая компания всех этих добрых людей вестью о приближении полицейского алькальда. Оба новичка, Ринконете и Кортадильо, не зная, что делать, остались на месте и ожидали конца этой внезапной бури. Закончилась она появлением часового, сообщившего, что алькальд проследовал дальше, ясно показав, что ничто не вызвало в нем ни малейшего подозрения.

В то время как часовой докладывал обо всем Мониподьо, к дверям приблизился молодой человек, судя по одежде, один из так называемых лоботрясов; Мониподьо пропустил его в дом и, велел позвать Чикизнаке, Маниферро и Реполито, остальным приказал не показываться. Так как

Ринконете и Кортадильо стояли по-прежнему на дворе, они прослушали весь разговор между Мониподьо и пришедшим гостем, жаловавшимся на небрежное выполнение его просьбы. Мониподьо ответил, что сам ничего не может сказать по этому делу, но что мастер, которому был поручен з а к а з , — налицо и представит подробный отчет. В это время показался Чикизнаке, и Мониподьо справился у него, покончено ли с заказанной ему раной в четырнадцать стежков.

— Какой раной! — переспросил Чикизнаке . — Не тому ли купцу, что живет на перекрестке?

— Да, да, е м у , — подтвердил кабальеро.

— Дело обстоит следующим образом, — отвечал Чикизнаке . — Вчера вечером я поджидал купца у дверей его дома; он пришел еще до молитвы. Подхожу, прикинул глазом лицо, и оказалось, что оно очень маленькое; совершенно невозможно было уместить рану в четырнадцать стежков; и вот, будучи не в состоянии сдержать свое обещание и выполнить данную мне деструкцию, я...

— Ваша милость, вероятно, хотели сказать *инструкцию*, — поправил кабальеро.

— Совершенно верно, — согласился Чикизнаке . — Увидев, что на таком непоместительном и крошечном личике никак не уложить намеченное число стежков, не желая терять время даром, я нанес одному из слуг этого купца такую рану, что, по совести сказать, первый сорт!

— Семь стежков раны хозяина, — сказал кабальеро, — я всегда предпочту четырнадцатистежковой ране его слуги. Одним словом, вы не сделали того, что было нужно; впрочем, что тут разговаривать: не такой уж большой расход те

тридцать эскудо, которые я вам дал в задаток. Имею честь кланяться, государи мои!

С этими словами кабальеро снял шляпу, повернулся и собрался было уходить, но Мониподьо захватил рукою его пестрый плащ и сказал:

— Не угодно ли будет вашей милости подождать и сдержать свое слово, так же как мы вполне честно и с большой для вас пользой сдержали наше. С вас следует еще двадцать дукатов, и вы не уйдете отсюда, не представив денег или соответствующего залога.

— Так это, по-вашему, сеньор, называется исполнением обещанного, — спросил кабальеро, — ранить слугу, вместо того чтобы ранить хозяина?!

— Нечего сказать, хорошо рассуждаете, сударь! — воскликнул Чикизнаке. — Видно, что вы забыли пословицу. «Кто Бельтрана любит, тот и Бельтранова пса приголубит».

— Но при чем тут эта пословица? — спросил кабальеро.

— Да ведь это почти то же самое, — пояснил Чикизнаке, — что сказать: «Кто Бельтрана не любит, тот и Бельтранова пса не приголубит». Так что, Бельтран — это купец; ваша милость — лицо, которое его не любит; слуга купца — это его пес, а когда попадает псу, попадает и Бельтрану; следовательно, обещание наше исполнено, и дело кончено; поэтому вам не остается ничего другого, как немедленно и без всяких рассуждений платить.

— Что я и подтверждаю, — прибавил Мониподьо, — все, что вы сейчас сказали, друг Чикизнаке, вертелось у меня на языке. Сеньор кабальеро, нечего вам препираться с вашими слугами и друзьями, последуйте лучше моему совету и немедленно же оплатите работу; а если вам угодно, чтобы хозяину была нанесена другая рана, величи-

ной своей соответствующая размерам его лица, так можете считать, что он уже от нее лечится!

— Если так,— ответил кабальеро, — то я с превеликой охотой и удовольствием уплачу вам за обе раны полностью.

— Сомневаться в этом деле так же странно, как сомневаться в том, что вы христианин, — сказал Мониподьо. — Чикизнаке пропишет вашему купцу такую рану, что чего доброго подумаешь, будто она у него природная.

— Имея такую поруку и обещание, — ответил кабальеро, — я оставляю вам эту цепь в виде залога за причитающиеся с меня двадцать дукатов и за те сорок монет, которые я предлагаю за новую рану. Цепь стоит тысячу реалов, но, возможно, что я ее вам отдам целиком; мне, пожалуй, очень скоро потребуется еще одна рана в сорок четыре стежка.

При этих словах кабальеро снял с шеи цепь из очень мелких колечек и вручил ее Мониподьо, который по цвету и по весу ясно увидел, что она не поддельная. Мониподьо принял цепь с большим удовольствием и большою любезностью, потому что был человеком весьма и весьма обходительным. Исполнение заказа было поручено Чикизнаке, который взялся покончить с делом в ту же самую ночь. Кабальеро ушел очень довольный, а Мониподьо тотчас же созвал отсутствующих и перетрусивших своих сочленов. Когда все собрались, Мониподьо, расставив их в кружок, вынул из капюшона плаща памятную книжку и передал ее Ринконете, так как сам был неграмотный. Ринконете открыл книжку и на первой странице прочитал следующее:

«Запись ран, подлежащих выполнению на этой неделе.

Во-первых, купцу, живущему на перекрестке. Цена — пятьдесят эскудо. Тридцать получены сполна. Исполнитель — Чикизнаке».

— Мне кажется, сыне, что ран больше нет, — сказал Мониподьо, — читай дальше и ищи место, где написано: «Запись палочных ударов».

Ринконете перелистал книгу и увидел, что на следующей странице значилось: «Запись палочных ударов».

А несколько ниже стояло:

«Трактирщику с площади Альфальфы двенадцать основательных ударов, по эскудо за каждый. Восемь оплачены сполна. Срок исполнения — шесть дней. Исполнитель — Маниферро».

— Этот пункт можно свободно вычеркнуть, — сказал Маниферро, — потому что сегодня ночью я с ним покончу.

— Есть еще что-нибудь, сыне? — спросил Мониподьо.

— Да, — ответил Ринконете, — есть еще запись, гласящая: «Горбтому портному по имени Сильгеро шесть основательных ударов согласно просьбе дамы, оставившей в залог ожерелье. Исполнитель — Десмочадо».

— Удивляюсь, — заметил Мониподьо, — почему заказ до сих пор не выполнен. Десмочадо, должно быть, болен, так как прошло два дня сверх положенного срока, а он все еще не приступил к делу.

— Я вчера встретился с Десмочадо, который сказал, что не мог исполнить данного ему поручения, так как горбун по болезни не выходил из дому, — пояснил Маниферро.

— Охотно этому верю, — сказал Мониподьо, — так как считаю Десмочадо отличным работником, и, если бы не это вполне понятное за-

труднение, он прекрасно управился бы с самым трудным делом... Есть еще что-нибудь, мальчуган?

— Нет, с е н ь о р , — ответил Ринконете.

— Тогда читай дальше, — сказал Мониподьо, — и посмотри, где находится «Запись мелких оскорблений».

Ринконете, полистав книжку, нашел на одной из страниц следующее:

«Запись мелких оскорблений, как-то: обливание из горшка, смазывание древесной смолой, прикрепление к воротам рогов или санбенито, осмеяние, пугание, подготовка скандалов, мнимые покушения, распространение пасквилей и т. п.»

— А что дальше? — спросил Мониподьо.

— Дальше написано, — прочел Ринконете: — «Вымазать смолой дом»...

— Какой дом, читать не надо; я отлично знаю, где этот д о м , — ответил Мониподьо, — я же и исполнитель этой безделки, за которую внесен один эскудо, а всего за нее следует восемь.

— Правильно, — сказал Ринконете, — здесь так и написано, а еще ниже стоит: «Прибить рога»...

— Дома и адреса читать тоже не н а д о , — сказал Мониподьо, — достаточно того, что наносится оскорбление, а разглашать его публично не следует, иначе мы возьмем грех на свою душу. Я, во всяком случае, предпочту прибить сто рогов и столько же санбенито (конечно, получив за работу деньги), чем рассказать об этом один-единственный раз, хотя бы даже своей родной матери.

— Исполнителем назначен, — продолжал Ринконете, — Наригета.

— Дело это уже сделано, и деньги получены, — сказал Мониподьо. — Посмотрите, нет ли еще чего; если я не ошибаюсь, там должен быть

заказ «напугать» ценою в двадцать эскудо, половина уплачена; в затее этой участвует все братство, времени дается весь этот месяц; поручение должно быть исполнено на славу и так, чтобы каждая запятая была на своем месте; это будет такая тонкая штука, каких наш город с самых давних пор и по сие время не видывал. Подай сюда книгу, мальчик; я знаю, что там ничего больше нет; знаю я также, что наши дела идут неважно, но недалек тот день, когда у нас работы будет больше, чем мы пожелаем; однако без соизволения Божия даже лист не шелохнется на дереве, а потому нам самим никоим образом не следует подбивать людей на мщение, тем более что каждый человек в делах, касающихся его лично, обычно бывает храбр и не хочет платить за работу, которую он может сделать своими руками.

— Правильно, — заметил в ответ Реполидо. — Но скажите, сеньор Мониподьо, какой нам от вас будет приказ: солнце уже высоко и жара, можно сказать, не шагом плетется.

— Остается распорядиться, — ответил Мониподьо, — чтобы все оставались на прежних местах и не покидали их до воскресенья, когда мы снова соберемся на этом месте и, никого не обижая, разделим все, что у нас наберется. Ринконете Примерному и Кортадильо мы назначим до воскресенья участок, начиная от Золотой Башни по всей заречной части вплоть до калитки Алькасара, где они смогут заседать и «дергать картишками»; мне известно, что ребята, менее шустрые, чем они, с одной колодой, в которой не хватало к тому же четырех карт, ежедневно выручали свыше двадцати реалов мелочью, не считая серебра. Участок вам покажет Ганчосо, а если вы прихватите еще монастырь Святого Себастьяна и храм Святого

Элма, то и это ничего, хотя, собственно, никто не должен залезать в чужие владения.

Оба мальчика поцеловали начальнику руку за оказанную милость и обещали исполнять свою работу точно, честно, старательно и осторожно.

Между тем Мониподьо вынул из капюшона плаща сложенную бумагу, на которой были записаны все члены братства, и велел Ринконете внести туда свое имя вместе с именем своего товарища. Но так как чернильницы не оказалось, то Мониподьо отдал бумагу мальчику и велел ему в первой же аптеке вписать туда следующее: «Ринконете и Кортадильо, сочлены; послушничество — не нужно; Ринконете — картежник; Кортадильо — ученик», а затем поставить год, месяц, число, без указания родителей и родины.

Тут вошел один из двух старых «шмелей» и сказал:

— Я пришел сообщить, государи мои, что сегодня у соборной паперти я повстречал Ловилью из Малаги, доложившего мне, что он сильно преуспел в своем искусстве и некраплеными картами сможет обыграть самого сатану; его, видимо, где-то помяли, вследствие чего он не явился нынче на поверку и отступил от заведенного порядка, но в воскресенье он явится сюда во что бы то ни стало.

— Мне всегда казалось, — заметил Мониподьо, — что наш Ловилью станет большим докой по своей части, так как у него такие подходящие руки, что лучше не сыщешь, а для того, чтобы быть мастером своего дела, хорошие инструменты так же важны, как и природная смекалка, которая помогает усвоить самое искусство.

— В гостинице, что на улице Красильщиков, — прибавил с т а р и к, — я повстречал, кроме то-

го, нашего Иудея, переодевшегося в духовное платье. Он поселился там после того, как его известили, что в доме проживают два перуанца, которых он решил втянуть в игру, сначала по маленькой, а потом, если можно будет, и по большой. Он сказал еще, что не пропустит воскресного собрания и представит отчет о работе.

— Этот Иудей — тоже тонкая штучка и крупного ума человек. Давненько он ко мне не показывался, и это с его стороны нехорошо. Если он не исправится, я, ей-ей, намылю ему тонзуру, ибо такой же у него священный сан, как и у турецкого султана, а в латыни он смыслит не больше моей родной матери... Есть еще что-нибудь новое?

— Нет, — ответил старик, — по крайней мере мне ничего не известно.

— Ну, тогда в час добрый! — сказал Мониподьо. — Не угодно ли будет вашим милостям принять эти пустяки? — Тут Мониподьо разделил между присутствующими около сорока реалов. — А в воскресенье все должны быть налицо, потому что добыча поступит к нам полностью!

Все поблагодарили. Реполидо с Карьяртой, Эскаланта с Маниферро и Ганансьоса с Чикизнаке еще разок крепко обнялись и условились, что сегодня ночью, после окончания урочных работ, все сойдутся в доме Пипоты (куда для принятия бельевой корзины хотел сходить и Мониподьо), откуда они отправятся выполнять заказ, касавшийся смолы. Мониподьо обнял и благословил Ринконете и Кортадильо, строго-настрого наказав им при прощании во имя общего блага никогда не иметь определенного и постоянного логова. Ганчуэло отправился вместе с ними, чтобы показать отведенные им места, и посоветовал ни в коем случае не пропускать воскресенья, потому что, по

его предположениям и домыслам, Мониподьо собирался в этот день прочесть основательную лекцию, касающуюся их ремесла. На этом он с ними простился, а оба приятеля остались в глубоком изумлении от всего ими виденного.

Несмотря на свои юные годы, Ринконете был очень неглуп и обладал некоторыми способностями; к тому же, помогая отцу продавать буллы, он несколько освоился с правильной речью — вот почему наш юнец помирал со смеху, припоминая выражения, слышанные им в обществе Мониподьо и других сочленов богоспасаемого братства, особенно же такие, как: на души чистильщика, что значило на души чистилища, или отчисляем особую влету из награбленного вместо лепту из награбленного; очень насмешили его слова Карьярты, назвавшей Реполидо тарпейским нырком и оканьским (а не гирканским) тигром, равно как и тысячи других не менее забавных нелепостей. Чрезвычайно развеселила его ссылка на то, что «мучения, с которыми она заработала двадцать четыре реала, сам Господь Бог во искупление грехов его примет», причем он очень подивился уверенности и спокойствию, с которыми эти люди рассчитывали попасть в рай за соблюдение внешней набожности, невзирая на все свои бесконечные грабежи, убийства и преступления против Бога. Похохотал он также и над почтенной старушкой Пипотой, которая была способна укрыть у себя на дому корзину с краденым бельем, а потом ставить свечи перед иконами, в твердой уверенности, что за это она, можно сказать, обутою и одетою отправится на небо. Немало поразили его послушание и уважение, которым все окружали Мониподьо, человека грубого, невежественного и бессовестного. Задумался он также над записями в памятной

книжке и над делами, которыми промышляли все эти лица, и под конец горько посетовал, что в таком знаменитом городе, как Севилья, совсем бездействует полиция, благодаря чему живет на виду у всех этот люд, столь опасный и пагубный для самого естества человеческого! Он решил даже посоветовать своему приятелю не предаваться особенно долго столь беспутной, порочной, беспокойной, развратной и разнузданной жизни. За всем тем, однако, Ринконете прожил так еще несколько месяцев, в течение которых с ним приключались события, требующие более подробного описания, а потому мы отложим до более удобного случая рассказ о жизни и чудесах Ринконете и учителя его Мониподью, равно как и изложение деяний их гнусной общины, ибо все эти вещи достойны самого серьезного внимания и способны послужить назиданием и предостережением каждому, кто о них прочитает.

АНГЛИЙСКАЯ ИСПАНКА

Не кто Клотальдо, английский кабальеро, начальник отряда кораблей, вместе с добычей, захваченной англичанами в городе Кадисе¹, увез в Лондон девочку лет семи. Случилось это против воли и без ведома графа Лейстера, который отдал приказ произвести самый тщательный розыск и возвратить девочку родителям, жаловавшимся ему на похищение своей дочери. Они указывали, что поскольку граф довольствуется одним лишь

¹ Речь идет о рейде англо-голландского флота в Кадис, где в это время (1596 г.) производились приготовления к попытке испанского десанта в Ирландию.

имуществом и дарует свободу людям, он не должен допустить, чтобы они, лишившись своего достояния, потеряли еще и дочь, свет их очей, прекраснейшее во всем городе создание. Граф опубликовал по всему флоту распоряжение, чтобы человек, завладевший девочкой, кто бы он ни был, возвратил ее под страхом смертной казни. Но ни угрозы, ни страх наказания не могли принудить к повиновению Клотальдо, укрывшего девочку на своем корабле: так привязался он (и в привязанности этой не было ничего недостойного) к несравненной красоте девочки, имя которой было Исабела. В конце концов безутешно опечаленные родители остались без дочери, а Клотальдо с безмерной радостью вернулся в Лондон и, как какое-нибудь богатейшее сокровище, отдал девочку своей жене.

По воле благой судьбы все домашние Клотальдо были тайными католиками, хотя и делали при людях вид, будто следуют исповеданию королевы. У Клотальдо был двенадцатилетний сын Рикаредо; родители научили его любить и бояться Бога и быть непоколебимым в истинах католической веры. Супруга Клотальдо, Каталина, богобоязненная знатная и разумная сеньора, так полюбила Исабелу, что воспитывала, баловала и обучала ее как родную дочь; а девочка обладала столь хорошими природными способностями, что легко усваивала все, чему ее учили. С течением времени эти ласки заставили ее позабыть о благодеяниях, оказанных ей когда-то настоящими родителями, и тем не менее она не переставала часто с тоскою вспоминать о них. Усваивая английский язык, она не забывала и испанского, так как заботливый Клотальдо тайком приглашал к себе в дом испанцев для того, чтобы они с ней разговаривали: таким

образом она не забывала родного языка и вместе с тем говорила по-английски, словно уроженка Лондона. Обучившись всякого рода рукоделиям, которые может и даже обязана знать благородная девица, Исабела научилась также весьма прилично читать и писать. Особенно же поражала она своим даром играть на всех инструментах, на каких только полагается играть женщине, достигая в этой области высокой степени совершенства; к тому же небо одарило ее чудесным голосом, и она очаровывала людей, сопровождая свою музыку пением. Все эти качества, благоприобретенные и природные, мало-помалу зажгли сердце Рикаредо, которого Исабела любила и уважала как сына своего господина. Сначала любовь проявилась в том, что для Рикаредо сделалось отрадой и наслаждением смотреть на несравненную красоту Исабелы и созерцать все ее бесконечные добродетели и прелести; он любил ее как сестру, и желания его не преступали пределов, которые устанавливают честь и добрые нравы. Но по мере того как Исабела росла (когда Рикаредо полюбил ее, ей уже было двенадцать лет), первоначальное расположение, отрада и удовольствие, которые Рикаредо испытывал от одного созерцания, превратились в пламенно-страстное желание обладать и наслаждаться любовью Исабелы. Достигнуть этого мечтал он не иначе как в браке, так как от несравненной добродетели Исабелы нельзя было ожидать чего-либо иного, да он и сам не допустил бы никакой вольности, потому что благородство его характера и уважение, с которым он относился к Исабеле, не позволяли дурным мыслям укореняться в его душе. Тысячи раз давал он себе слово рассказать о своем чувстве родителям и столько же раз осуждал свое намерение, зная, что они его

прочат в мужья одной богатой и знатной девице из Шотландии, такой же, как и сами они, тайной католичке. Рикаредо казалось очевидным, что родители не пожелают уступить рабыне (если можно так назвать Исабелу) своего сына, которого они уже предназначили для знатной сеньоры. Волнующий этими мыслями и сомнениями, Рикаредо не знал, какую избрать дорогу для осуществления своего благого намерения, и жизнь его стала столь тяжела, что она чуть было не покинула его вовсе. Но было бы чересчур малодушно умереть, не испробовав какого-либо средства против своего горя, а потому, укрепившись духом, он отважился открыть свои мысли Исабеле.

Все домашние были опечалены и смущены болезненным состоянием Рикаредо: его любили все, не говоря уже о родителях, обожавших его до крайности, так как у них не было другого сына; к тому же Рикаредо заслужил эту любовь своей высокой добродетелью, благородством характера и умом.

Врачи не смогли определить болезнь Рикаредо, а сам он не смел и не хотел открыть им ее причину. Наконец он решил побороть созданные его воображением препятствия, и однажды, когда Исабела явилась ему услужить, он, оставшись с нею наедине, заговорил с ней упавшим и смущенным голосом:

— Прекрасная Исабела, в твоих достоинствах, в твоей возвышенной добродетели и великой красоте — причина того состояния, в котором ты меня видишь. Если ты не хочешь, чтобы я потерял жизнь в самых тяжких страданиях, какие только можно себе представить, ответь на мое чистое желание своим согласием; а желание мое — тайком от моих родителей избрать тебя моею супругой; иначе я боюсь, как бы они, не зная так

хорошо, как я, твоих достоинств, не отказали нам в счастье, которое мне столь необходимо. Если ты дашь мне слово стать моей, то и я как истинный христианин-католик обещаю принадлежать тебе. Даже если мне и не суждено будет насладиться твоей любовью — а достигну я этого не иначе, как с благословения церкви и родителей, — все-таки мысль о том, что ты несомненно моя, вернет мне здоровье и будет поддерживать во мне веселость и радость впредь до наступления желанной счастливой минуты.

Пока Рикаредо говорил это, Исабела слушала его, опустив глаза, всем своим поведением показывая, что стыдливость ее равна ее красоте, а скромность — рассудительности. Заметив, что Рикаредо умолк, стыдливая, прекрасная и умная Исабела ответила ему следующим образом:

— Сеньор Рикаредо, с тех пор как небо, суровое или милостивое (сама не знаю, как его лучше назвать), пожелало разлучить меня с моими родителями и отдать вашим, я решила из благодарности за оказанные мне вашими родителями благодеяния никогда не перечить их воле. Поэтому ту неоценимую милость, которую вы мне без их согласия намерены оказать, я считаю не радостью, а несчастьем. Если же я буду столь счастлива, что они признают меня достойною вас, тогда пусть они объявят о своем позволении, и я отдам вам свою любовь. А если все это придется отложить или если это и вовсе не осуществится, тогда да послужит поддержкой вашей любви сознание, что я вечно и бескорыстно буду желать вам всех благ, уготованных вам Провидением.

На этом окончилась скромная и разумная речь Исабелы, и с этой минуты началось выздоровле-

ние Рикаредо, а у родителей его снова появилась надежда, исчезнувшая было за время его болезни.

Рикаредо и Исабела учтиво расстались: он — с глазами, полными слез, а она — в восторге от того, в какой мере пылал к ней любовью Рикаредо. Поднявшись с постели (что показалось чудом его родителям), он не пожелал более таить своих мыслей и в один прекрасный день открылся во всем матери. Свою длинную речь он закончил словами (сказанными на случай, если его не захотят женить на Исабеле), что остаться без нее и умереть — для него одно и то же. Он с таким пылом превозносил добродетели Исабелы, что матери стало казаться, будто та, выходя замуж за ее сына, оказывается еще в проигрыше. Она уверила сына, что добьется от отца полного согласия на то, на что сама она уже согласилась. И действительно, повторив мужу те доводы, которые ей приводил сын, она легко расположила его в пользу замыслов Рикаредо и тут же изобрела разные предлоги для того, чтобы расстроить почти уже решенный брак его с шотландкой. В ту пору Исабеле было четырнадцать лет, а Рикаредо — двадцать; но, несмотря на свои юные и цветущие годы, они проявляли ум и твердое благоразумие, достойные вполне зрелых людей.

Четверо суток оставалось до наступления того дня, когда по воле родителей Рикаредо должен был склонить голову пред священными узами брака; родители считали, что они поступают разумно и правильно, избирая себе в дочери пленницу; они дороже ценили приданое, заключавшееся в добродетелях Исабелы, чем большие богатства, которые давались за шотландкой. Свадебные наряды были уже изготовлены, родные и друзья приглашены. Оставалось только известить королеву

о сговоре, потому что без ее согласия нельзя заключать брак между людьми знатного рода. Но сомнения в ее согласии не было, а потому обращение к королеве с просьбой все откладывалось. И вот, когда дело обстояло таким образом и до свадьбы оставалось четыре дня, однажды после полудня всю их радость омрачил гонец королевы, передавший Клотальдо распоряжение ее величества, чтобы на следующий день он ей представил свою пленницу, испанку из Кадиса. Клотальдо ответил, что с большой готовностью исполнит приказание ее величества. Гонец ушел, оставив всех в смущении, волнении и страхе.

— Горе нам, — говорила сеньора Каталина, — если королева узнает, что я воспитала нашу девочку в католической вере, и догадается, что все мы в этом доме католики. Ведь если королева ее спросит, чему она училась за восемь лет своего плена, то, несмотря на весь свой ум, она, бедненькая, не сможет ответить так, чтобы не вовлечь нас в беду.

Услышав эти слова, Исабела сказала:

— Сеньора Каталина, не мучайтесь этими страхами. Я уповаю на небо, а оно, по божественному милосердию своему, внушит мне в ту минуту слова, которые не только не будут вам в осуждение, но, напротив, обратятся во благо.

Рикаредо трепетал, точно предчувствуя какое-то несчастье. Клотальдо изыскивал способы совладать со своим страхом и находил утешение только в великом уповании на Бога и на благоразумие Исабелы. Он усиленно наказывал ей всеми мерами оберегать всех домашних от подозрения в том, что они католики: хотя душой они и были готовы принять мученичество, тем не менее немощная плоть восставала против столь горькой

участи. Исабела неоднократно заверяла их, что она не навлечет на них тех бед, которых они так страшатся и опасаются: она, правда, не знает еще, как ей отвечать на вопросы, которые ей будут заданы, но все же она питает твердую надежду, что ответы ее, как она уже говорила, явятся для нее наилучшим отзывом. О многом переговорили они в эту ночь и, в частности, толковали о том, что если бы королева знала о тайне их исповедания, то не прислала бы им такого милостивого приказа; а из этого можно было заключить, что ей захотелось всего-навсего увидеть Исабелу, после того, как слухи о несравненной красоте и достоинствах девушки стали известны ей наравне со всеми жителями города. При этом муж и жена винили себя в том, что не представили в свое время королеве юной пленницы, но тут же решили сослаться в виде оправдания на то, что немедленно по прибытии к ним в дом Исабелы они остановили на ней свой выбор и предназначили ее в супруги своему сыну Рикаредо. Но и тут они чуяли за собой вину, так как брак был задуман без согласия королевы; причем, это упущение не казалось им заслуживающим строгого наказания.

На этом они успокоились и порешили, что Исабелу не следует одевать скромно, как пленницу, а нужно одеть так, как подобает невесте знатного жениха, каким является их сын. Уговорившись на этом, они одели ее поутру на испанский лад — в светло-зеленое платье с шлейфом и с прорезами, в которые была вставлена дорогая парча; прорезы были вышиты узорами из жемчуга, а кроме того, все платье было тоже украшено драгоценнейшими жемчужинами; ожерелье и пояс были из бриллиантов; ей дали и веер, согласно моде, принятой у испанских дам. Головным убо-

ром Исабеле служили собственные волосы, пышные, белокурые и длинные; они были усеяны и оплетены бриллиантами и жемчугом. В этом богатом наряде, стройная и удивительно красивая, Исабела появилась в тот день в изящной карете на улицах Лондона. Своим видом она пленяла глаза и души всех, кто на нее смотрел. Вместе с ней ехали в карете Клотальдо, его жена и Рикаредо, а верхом их сопровождала целая толпа знатных родственников. Клотальдо решил оказать своей пленнице все эти почести для того, чтобы побудить королеву обращаться с ней, как с невестой его сына.

И вот они прибыли во дворец и вошли в зал, где находилась королева. Исабела своим появлением произвела самое выгодное впечатление, какое только можно представить. Зал был очень больших размеров; спутники Исабелы подались на два шага назад, а она выступила вперед. Стоя поодаль одна, она казалась похожей на звезду или светлую дымку, движущуюся по небу в светлую и тихую ночь, а также на солнечный луч, прорывающийся с наступлением дня между двумя горами. Была она еще похожа на комету, предвещающую близкий пожар многим среди присутствующих; недаром они загорелись любовью при виде прекрасных, как солнце, глаз Исабелы. А она, исполненная скромности и учтивости, опустилась на колени перед королевой и сказала по-английски:

— Ваше величество, позвольте поцеловать вашу руку рабыне, которая впредь будет считать себя сеньорой, ибо она удостоилась лицезрения вашего величия.

Королева, не произнося ни слова, очень долго смотрела на нее. Она говорила потом своей придворной даме, что ей показалось, будто перед нею

стоит само звездное небо: звездами были у Исабелы бесчисленные бриллианты и жемчужины, солнцем — ее прекрасные глаза, луною — ее лицо, а вся она была невиданным чудом красоты. Находившиеся при королеве дамы охотно бы превратились целиком в зрение, чтобы ничто в Исабеле не ускользнуло от них. Одна хвалила в Исабеле живость глаз, другая — цвет лица, третья — изящество фигуры, четвертая — изысканность речи; нашлась и такая, которая сказала из зависти: «Хороша собой эта испанка, только не нравится мне ее платье».

Когда изумление королевы несколько улеглось, она велела Исабеле встать и сказала ей:

— Девушка, говорите со мной по-испански: я хорошо понимаю ваш язык, он доставит мне удовольствие. — И обратившись к Клотальдо, она прибавила: — Клотальдо, вы меня обидели, скрывая от меня столько лет это сокровище; впрочем, оно столь драгоценно, что, должно быть, пробудило в вас жадность. Вы обязаны вернуть его мне, так как по закону оно — мое.

— Сеньора, — ответил Клотальдо, — вы совершенно правы, и я готов признать себя виновным, если только можно усмотреть вину в том, что я хранил у себя это сокровище до тех пор, пока оно не достигло совершенства, достойного предстать перед лицом вашего величества; а сейчас мне хотелось бы еще больше увеличить ценность этого сокровища, испросив у вашего величества разрешения на брак Исабелы с сыном моим Рикаредо. В лице этих обоих молодых созданий я хочу предложить вам в дар все, что я могу дать.

— Даже имя ее мне нравится, — сказала королева. — Ей не хватает только титула «Исабела Испанская», для того чтобы ее совершенства не

оставляли желать ничего большего. Но имейте в виду, Клотальдо: мне известно, что вы сосватали ее своему сыну без моего разрешения.

— Это правда, сеньора, — ответил Клотальдо. — Я поступил так в уверенности, что многочисленные и немаловажные услуги, оказанные вашему престолу мною и моими предками, дают мне право на получение больших милостей, чем подобного рода разрешение. К тому же сын мой еще не женился.

— Да он и не женится на Исабеле, — сказала королева, — пока сам ее не заслужит; вернее сказать, мне не хочется, чтобы он воспользовался для этого заслугами своего отца и предков. Пусть он сам послужит мне и окажется достойным такой награды, как эта девушка, на которую я смотрю как на свою родную дочь.

Едва услышав произнесенные ею слова, Исабела бросилась на колени перед королевой и воскликнула по-кастильски:

— Светлейшая сеньора, не несчастьем, а великою радостью следует считать всякое горе, если оно приносит нам такие дары! Вы назвали меня своей дочерью; раз я очастливлена такой милостью, какого зла могу я бояться и на какое благо не посмею надеяться!

Она выражалась так изящно и приятно, что королеве это чрезвычайно понравилось, и она велела ей остаться жить при дворе; ознакомить Исабелу с придворными обычаями было поручено старшей придворной даме.

Рикаредо чуть было не лишился ума. Ему казалось, что, отнимая у него Исабелу, люди отнимают у него жизнь. Дрожая от волнения, он опустился перед королевой на колени и сказал:

— Для служения вашему величеству меня не надо соблазнять иными наградами, кроме тех, которые получали в свое время мои предки, служа своим королям; но если вашему величеству угодно, чтобы я служил вам в ожидании новых милостей, то позвольте мне узнать, каким образом и на каком поприще я могу выполнить возложенные на меня вашим величеством обязательства.

— Сейчас, — ответила королева, — готовятся к отплытию два корабля; их адмиралом я назначила барона де Лансака, а капитаном одного из них я делаю вас. Я уверена, что недостатки юного возраста вы восполните благородством своего происхождения. Цените милость, которую я вам оказываю: я даю вам возможность выказать на службе моему престолу свои дарования и доблесть и вместе с тем добиться самой высокой награды, какой вы сами можете себе пожелать. Я буду лично оберегать для вас Исабелу, хотя, впрочем, и так видно, что лучшей ее хранительницей будет ее собственная добродетель. Отправляйтесь с Богом. Вы полны любовью, а потому, думается мне, я в праве ожидать от вас великих подвигов. Счастлив воюющий король, если в войске его находится десять тысяч влюбленных воинов, ожидающих в награду за победу обладания своими возлюбленными! Встаньте, Рикаредо, и подумайте, не нужно ли вам сказать чего-нибудь Исабеле, потому что завтра вам предстоит отправиться в путь.

Рикаредо поцеловал королеву руку, ибо высоко оценил оказанную ему милость, а затем бросился на колени перед Исабелой. Он не нашел в себе сил заговорить: что-то сжимало ему горло и связывало язык, и на глазах его выступили слезы, которые он старался скрыть как можно лучше, но они не утаились от взора королевы, и она сказала:

— Не стыдитесь плакать, Рикаредо, и не презирайте себя за то, что в несчастьи вы обнаружили свое нежное сердце. Ведь сражаться с врагами — одно дело, а прощаться с тем, кого любишь, — другое. Исабела, обнимите Рикаредо и благословите его: его печаль вполне этого заслуживает.

Исабела растерянным и потрясенным взглядом смотрела на покорность и горе Рикаредо, которого она любила так, как жена любит своего мужа. Она не поняла смысла приказа королевы и стала проливать обильные слезы; недвижная, бездумная, ко всему бесчувственная, она имела вид плачущей статуи. При виде столь нежного и чувствительного прощания влюбленных многие из присутствующих прослезились. А Рикаредо все не мог говорить и не сказал ни слова Исабеле, которая тоже не произнесла ни звука. Клотальдо и его домашние поклонились королеве и вышли из залы в слезах, исполненные сострадания и сокрушения.

Исабела чувствовала себя точно сирота, только что похоронившая родителей, и очень боялась, что ее новая госпожа заставит ее изменить правилам, в которых ее воспитывала сеньора Каталина. И все же ей пришлось остаться.

Два дня спустя Рикаредо отправился в плавание. Две мысли особенно мучили его и не давали покоя: он думал, во-первых, о том, что ему надлежит совершить подвиги, достойные Исабелы, а во-вторых, ему приходило в голову, что при точном следовании голосу совести, запрещавшему обнажать меч против католиков, ему нельзя будет совершить ни единого подвига. Если же он не обнажит против них своего меча, то солдаты сочтут его либо католиком, либо трусом, а в результате ему будут грозить смерть и крушение всех надежд. В конце концов он решил подчинить свои

католические убеждения чувству любви и молил в душе небо даровать ему случай заслужить Исабелу и удовлетворить королеву, соединив доблестные деяния с исполнением христианского долга.

Оба корабля плыли шесть дней с попутным ветром, держа курс на остров Терсейру, где всегда бывает много португальских кораблей, плывущих из Индии, или судов, возвращающихся из Америки. По истечении шести дней поднялся сильнейший ветер, который на Средиземном море называется полуденным; на океане его зовут иначе. Дул он с такой силой и продолжительностью, что не дал им возможности добраться до острова и заставил направиться к берегам Испании. У испанского побережья, возле Гибралтарского пролива, они заметили на горизонте три корабля: один из них был весьма внушительных размеров, остальные — поменьше. Чтобы узнать от адмирала, намерен ли тот напасть на появившуюся флотилию, корабль Рикаредо стал приближаться к адмиральскому судну; но не успел он еще подойти, как вдруг на адмиральской формачте взвился черный флаг, а на более близком расстоянии стали слышны глухие звуки труб и кларнетов. Это был верный знак, что на корабле умер адмирал или какое-то важное лицо. Встревоженные этим, моряки приблизились к кораблю на расстояние человеческого голоса (с момента отплытия из гавани они еще ни разу не переговаривались). С адмиральского судна послышались голоса, сообщившие капитану Рикаредо, что он должен перейти к ним, потому что в минувшую ночь адмирал скончался от удара. Все опечалились, а обрадовался один только Рикаредо: обрадовался он, конечно, не смерти начальника, а тому, что получил возможность командовать обоими кораблями. Дело в том, что, по при-

казу королевы, замещать адмирала в случае его смерти должен был Рикаредо. Он тотчас же перешел на адмиральский корабль и увидел, что одни плакали по умершему, другие радовались новому адмиралу. И те и другие признали власть Рикаредо и с соблюдением краткой церемонии провозгласили его адмиралом: на большее у них не хватило бы времени, потому что два корабля замеченной ими флотилии отделились от большого судна и стали к ним подплывать.

Теперь по полумесяцам на флагах они рассмотрели, что это были турецкие галеры. Рикаредо обрадовался: выходило так, что если небо позволит ему овладеть ими, в его руках окажется внушительная добыча, и при этом не будет нанесено ущерба ни одному католику. Турецкие галеры подплывали, чтобы выяснить, какие это корабли, а суда шли не под английским, а под испанским флагом, для того чтобы вводить в заблуждение встречных и не походить на корсарские. Турки полагали, что пред ними корабли, идущие из Америки, и что поэтому их легко будет взять в плен. Они стали медленно подходить. Рикаредо нарочно подпустил их под обстрел своей артиллерии. Он так удачно открыл огонь, что пять снарядов со страшною силою попали в середину одной из галер, и она, накренившись, стала идти ко дну; ей уже нельзя было помочь. Увидев такое несчастье, вторая галера поспешила подать первой канат и поставила ее под прикрытие большого судна. Но корабли Рикаредо действовали быстро и ловко, точно у них были весла; он опять приказал зарядить пушки и, пока турки подъезжали к большому судну, преследовал их градом снарядов. Когда пробитая галера подошла к большому кораблю, экипаж покинул ее, пытаясь поскорей пе-

ребраться на большое судно. Увидев, что уцелевшая галера подает помощь пострадавшей, Рикаредо бросился на нее со своими двумя кораблями и поставил в безвыходное положение, лишив возможности маневрировать и работать веслами. Экипажу ее пришлось тоже искать убежища на большом корабле, но не для того, чтобы продолжать сопротивление, а единственно в целях спасения собственной жизни. Находившиеся на галерах христиане сорвали с себя оковы и цепи и, смешавшись с турками, точно так же стали перебираться на большой корабль; в то время как спасающиеся поднимались на борт, аркебузы английских кораблей стреляли по ним как в цель, но намечали себе исключительно турок, так как Рикаредо отдал приказ никоим образом не стрелять в христиан.

Таким образом большинство турок было перебито; тех из них, которые успели попасть на большое судно и оказались в общей толпе, христиане перебили их же собственным оружием, ибо всякий раз, когда сильные падают, сила их переходит к слабым, если эти последние восстают; так и христиане, воодушевленные ошибочной мыслью, будто английские корабли — испанские, творили теперь чудеса в борьбе за свою свободу. Наконец, когда почти все турки были убиты, несколько испанцев подошли к борту корабля и стали громко окликать англичан, принимая их за своих и приглашая воспользоваться трофеями победы. Рикаредо по-испански спросил, что это за корабль; ему ответили, что он плывет из португальской Индии с грузом пряностей и большим количеством жемчуга и бриллиантов, ценностью больше чем в миллион золотом. Буря загнала его в эту сторону, причинив ему много вреда и лишив артиллерию,

которую больной и изнемогавший от голода и жажды экипаж принужден был сбросить в море; что до галер, то они — собственность корсара, арнаута Мами¹, который без всякого сопротивления и только накануне захватил корабль в плен. Путники слыхали, что корсары не были в состоянии перенести все богатства на свои суда, и потому вели португальский корабль на буксире к находящейся поблизости реке Лараче². Рикаредо заметил, что они ошибочно принимают его корабли за испанские, так как они посланы ее величеством королевой английской. Услыхав эту новость, испанцы испугались, что из одной беды они теперь попали в другую; но Рикаредо заверил их, что бояться нечего и что они могут спокойно рассчитывать на свободу, если только не вздумают сопротивляться.

— У нас нет возможности защищаться, — ответили испанцы, — мы уже указывали, что на корабле нет ни артиллерии, ни оружия, а поэтому приходится искать спасения в благородстве и великодушии вашего адмирала. И поистине, тот, кто освободил нас от жестокого турецкого плена, должен довести до конца свое великое благодеяние, тем более что это прославит его имя везде, куда только дойдет весть о его достопамятной победе и великодушии, на которое мы без страха рассчитываем.

Речь испанца понравилась Рикаредо. Созвав на совещание офицеров своего корабля, он спросил у них совета, как отправить всех христиан в Испа-

¹ Арнаут Мами — командир турецкого флота, в составе которого находились корсары, захватившие в плен Сервантеса при возвращении из Италии в Испанию.

² Лараче — река в северо-западной Африке, впадающая в Атлантический океан.

нию, не подвергая себя опасности бунта, что легко могло прийти в голову пленникам ввиду их многочисленности. Было высказано мнение, что испанцев следовало бы поодиночке перевозить на английский корабль, и по мере того как они будут прибывать, казнить их на нижней палубе; после того как все будут перебиты, можно будет без всяких опасений и хлопот угнать большой корабль в Лондон. На это Рикаредо ответил:

— Так как Бог даровал нам великую милость и послал нам богатую добычу, я не хотел бы выказывать себя жестоким и неблагодарным; да и не следует прибегать к мечу в тех случаях, когда можно поступать разумно. Я того мнения, что ни один из этих католиков не должен умереть, и не потому, чтобы я их любил, а потому, что я себя люблю и не хочу, чтобы сегодняшний подвиг укрепил за мною и моими соратниками прозвище людей храбрых, но жестокосердых: жестокость не может быть спутницей доблести. Итак, все артиллерийские орудия с одного из наших кораблей придется перенести на большое португальское судно, а на малом корабле мы не оставим ни оружия, да и вообще ничего, кроме припасов. Переправив матросов на большой корабль, мы поведем его в Англию, а на маленьком испанцы отправятся к себе в Испанию.

Никто не посмел возражать Рикаредо. Одни сочли его за это решение человеком разумным, доблестным и великодушным; другие же подумали про себя, что он слишком благоволит к католикам. Порешив на этом, Рикаредо отправился с пятьюдесятью стрелками на португальское судно; осторожно, с зажженными фитилями в руках вошли они на корабль и нашли там триста человек спасшихся с галер. Рикаредо потребовал корабельные

бумаги. Тот самый испанец, который вначале говорил с Рикаредо с борта корабля, ответил, что бумаги эти взяты начальником корсаров, утонувшим вместе с галерой. Рикаредо тотчас же занялся перегрузкой: англичане подвели свой второй корабль к большому судну и с поразительной быстротой, пользуясь сильными рычагами, перенесли орудия малого корабля на большой. Тогда Рикаредо обратился с краткой речью к христианам и приказал им перейти на опустевшее судно, где они нашли такое изобилие съестных припасов, что даже большому числу людей хватило бы более чем на месяц. Когда испанцы грузились на корабль, Рикаредо подарил каждому по четыре золотых испанских эскудо (деньги велел он привезти со своего корабля), чтобы хоть чем-нибудь помочь им в нужде, когда они высадятся на берег, а земля была так близко, что с палубы видны были высокие горы Авилы и Кальпе.

Все без конца благодарили Рикаредо за его великодушие, а последний высадившийся с корабля, тот самый испанец, что говорил от лица всех остальных, сказал:

— Доблестный кабальеро, вместо того, чтобы ехать в Испанию, я почел бы для себя за великое счастье отправиться вместе с вами в Англию. Хотя Испания — моя родина, и прошло всего шесть дней, как я ее покинул, меня ждут там одни горести и одиночество. Дело в том, что пятнадцать лет тому назад, во время разграбления Кадиса, я потерял дочь: англичане, должно быть, увезли ее в Англию; в ней я утратил и утешение в старости, и свет очей моих: ничто уж меня не радует с тех пор, как я не вижу своего дитяти. Потеря дочери, а равно и имущества, повергла меня в столь глубокое отчаяние, что я не захотел, да

и не был бы больше в состоянии заниматься торговлей, благодаря которой я достиг было такого положения, что меня считали богатейшим купцом нашего города; так оно, конечно, и было, потому что, помимо кредита на сотни тысяч дукатов, одного имущества в моем доме было свыше чем на пятьдесят тысяч дукатов. Все это я потерял; но ничто еще не было бы потеряно, если бы не потерялась моя дочь. После того как разразилось над нами это неустрашимое и, в частности, так сильно задевшее меня несчастье, я не нашел в себе сил бороться с нуждой и вместе с женой (вот этой самой опечаленной женщиной, сидящей сейчас в стороне) решил уехать в Америку, убежище всех обедневших благородных людей. Вот уже шесть дней, как мы сели на корабль; сейчас же по отплытии из Кадиса нам повстречались две корсарские галеры, которые нас взяли в плен, что еще больше усугубило наши несчастья, и горькая судьба наша стала бы еще хуже, если бы корсары не захватили португальского корабля, который всецело занимал их внимание до той минуты, когда произошло то, что вы сами знаете.

Рикаредо спросил испанца, как зовут его дочь: тот назвал имя Исабелы. Это окончательно утвердило Рикаредо в возникшем у него предположении, что рассказчик — не кто иной, как отец его возлюбленной. Не сообщая ему о ней ни слова, он ответил, что охотно возьмет их обоих в Лондон, где они, надо думать, получат необходимые сведения о дочери. Он отправил их на адмиральское судно и вместе с этим отдал приказ оставить достаточное число матросов и солдат на португальском корабле. В ту же ночь они подняли паруса и поспешили отплыть от берегов Испании. Кстати, среди освобожденных пленников на корабле оказалось около

двадцати турок, которым Рикаредо даровал свободу, желая показать, что его великодушный поступок вызван одной добротой и благородством, а не особым пристрастием к католикам; он попросил испанцев при первой возможности отпустить турок на свободу, за что последние были ему очень благодарны.

Ветер, вначале обещавший быть устойчивым и попутным, стал понемногу затихать, и затишье это вызвало целую бурю страхов среди англичан, осуждавших Рикаредо за его великодушие и предсказывавших, что освобожденные им пленники расскажут в Испании о приключении, и если в порту случайно окажутся военные корабли, то возможно, что они отправятся в погоню, настигнут их и погубят. Рикаредо хорошо понимал, что это правда, но он все-таки сумел успокоить и убедить их разумными доводами; окончательно же успокоились они тогда, когда ветер так посвежел, что, не имея нужды убавлять и приноравливать паруса, они через десять дней оказались уже в виду Лондона. День их победоносного возвращения был тридцатым со времени отплытия.

Вследствие смерти адмирала Рикаредо не пожелал входить в порт с излишним ликованием и поэтому велел соединить радостные сигналы с печальными. Попеременно раздавались веселые звуки кларнетов и хриплые завывания труб; бодрое трещание барабанов, удалые военные сигналы сменялись жалостными и грустными звуками флейт; на одной мачте висел перевернутый флаг, усеянный полумесяцами, а на другой виднелось длинное черное знамя, концы которого касались воды. Сопутствуемый такими противоречивыми сигналами, Рикаредо вошел со своим кораблем в реку города Лондона; но для большого корабля

русло реки оказалось недостаточно глубоким, и он остался в море.

Глядевшие с набережной бесчисленные толпы народа были смущены такими не согласующимися друг с другом сигналами. По некоторым признакам они догадались, что малое судно — адмиральский корабль барона де Лансака, но не могли понять, каким образом вместо второго корабля появилось оставшееся на море огромное судно. Их сомнениям положен был конец, когда с корабля сошел в лодку доблестный Рикаредо в богатом и блестящем вооружении; не имея при себе другой свиты, кроме следовавших за ним толп народа, он пешком направился во дворец, где королева уже поджидала в одной из галерей известий о кораблях; вместе с другими дамами при королеве находилась и Исабела, одетая по английской моде, которая была ей к лицу не меньше, чем кастильская. Еще до появления Рикаредо вошел вестник, доложивший королеве о его прибытии. Услышав имя возлюбленного, Исабела переполошилась, одновременно страшась и надеясь, ожидая сразу и дурного и хорошего от его возвращения.

Рикаредо был высокого роста, красив собою и хорошо сложен, а так как он вошел в золоченых, украшенных facetsами и резьбой миланских латах, покрывавших его грудь, спину, бедра и руки, то всем зрителям он показался необычайно прекрасным. Вместо шлема на голове у него была большая желтая шляпа с широкими полями, отделанная по валлонской моде множеством перьев. Он был в швейцарских шароварах и при широкой сабле на богатой перевязи. В этом наряде смелой походкой прошел он в зал; одни сравнивали его с богом войны Марсом, другие, пленившись красотой его лица, говорили, что он похож на перео-



девушюся — ради какой-нибудь шутки над Марсом — Венеру.

Остановившись перед королевой, Рикаредо опустился на колени и сказал:

— Ваше величество! После того как адмирал де Лансак умер от удара, я, согласно вашему милостивому разрешению, занял его место. Волею благосклонного к вам рока и во исполнение моего желания, мне повстречались две турецкие галеры, которые вели на буксире прибывшее теперь сюда большое судно. Я напал на них. Ваши солдаты сражались как всегда, и корсарские корабли потонули. На одном из наших кораблей я отпустил спасшихся из турецкого плена христиан: я даровал им свободу от имени вашего королевского величества. Взял я с собой лишь одного мужчину и одну женщину, испанцев, которые сами изъявили желание увидеть ваше величие. Захваченный мною корабль — один из тех, которые поддерживают сообщение с португальской Индией; он попался во время бури туркам, которые без особого или, вернее, без всякого труда завладели им. Как говорили некоторые плившие на этом корабле португальцы, на нем более чем на миллион пряностей, бриллиантов и жемчуга. Я не дотронулся до этого богатства, да и турки до него не добрались; оно целиком предназначено небом вашему величеству, и я приказал хранить его для вас. Если я получу одну только драгоценность, то мне придется отплатить вам еще десятком таких же кораблей. Эта обещанная мне вашим величеством драгоценность — моя милая Исабела. Какою бы ни была оказанная мною вашему величеству услуга, обладание Исабелой меня щедро вознаградит за нее, впрочем, не только за нее, но и за все, что я когда-либо еще совершу, дабы хоть чем-нибудь отпла-

тить вашему величеству за бесконечное благо, которое вы мне даруете, жалуя мне это сокровище.

— Встаньте, Рикаредо, — сказала в ответ королева. — Если вы в виде награды просите отдать вам Исабелу, то знайте, что я ее очень высоко ценю, и ни богатствами, которые везет наш корабль, ни всеми сокровищами, еще остающимися в Индии, вы не могли бы заплатить за нее. Я даю вам ее потому, что обещала, и потому еще, что вы достойны друг друга. Вы заслужили ее исключительно своей доблестью. Если вы сохранили для меня драгоценности, бывшие на корабле, то я берегла для вас вашу драгоценность. Вам, пожалуй, покажется, что не великое дело — возвратить то, что уже и так ваше; но, по-моему, я оказываю вам этим великую милость. Ведь собственной своею душой платят за сокровище, если оно соответствует нашим желаниям и если цену ему назначило наше сердце: другой платы не найти на всем свете. Вот перед вами Исабела, она ваша, и когда вы только пожелаете, вы можете вступить в полное обладание ею. Я уверена, что это будет для нее радостью: она ведь умна и сумеет оценить оказываемое ей вами расположение; я говорю — расположение, а не милость, так как сама хочу гордиться тем, что милости ей оказываю я одна... Идите отдохнуть, Рикаредо, и приходите ко мне завтра: я хочу подробнее выслушать рассказ о ваших подвигах. И приведите ко мне тех двух путников, которые, как вы говорите, сами пожелали увидеть меня: я хочу их за это поблагодарить.

Рикаредо поцеловал королеву руку в благодарность за ее великую милость. Королева удалилась в одну из зал, а Рикаредо окружили ее дамы. Одна из них, сеньора Танси, которую считали самой умной, живой и изящной среди при-

дворных дам и которая очень подружилась с Исабелой, сказала ему:

— К чему все это, сеньор Рикаредо? К чему все это оружие? Не думали ли вы, чего доброго, отправляясь сюда, что идете сражаться с врагами? Ведь все мы здесь, поверьте, ваши друзья, кроме одной только Исабелы: ей как испанке приходится вас ненавидеть.

— Сеньора Танси,— ответил Рикаредо, — пусть она постарается хоть чуточку полюбить меня; я уверен, что она легко это сделает, если только еще помнит обо мне; к тому же чудовищная бесчувственность как-то не вяжется с такой редкой красотой, с такими достоинствами и умом.

Исабела сказала на это Рикаредо:

— Поскольку мне суждено быть вашей, Рикаредо, вы имеете право требовать от меня самой высокой награды в благодарность за высказанные мне похвалы и за ту честь, которую вы намерены мне оказать.

Так учтиво протекала беседа Рикаредо с Исабелой и другими дамами. Среди них находилась совсем маленькая девочка, не сводившая глаз с Рикаредо все время, пока он там был. Она приподнимала его латы, чтобы посмотреть, что под ними находится, трогала его шпагу и, наконец, с наивностью ребенка обращалась с его доспехами как с зеркалом, стараясь разглядеть в них свое лицо; когда же Рикаредо ушел, она воскликнула, обращаясь к дамам:

— Война кажется мне теперь восхитительной, сеньоры! Ведь даже в обществе дам вооруженные мужчины имеют очень красивый вид.

А Танси прибавила:

— Еще бы, еще бы! Стоит только посмотреть на Рикаредо! Ведь вид у него такой, как будто он

солнце, спустившееся на землю и шествующее в наряде по улицам.

Всех дам рассмешили слова девочки и потешное сравнение Танси, но тут же отыскались и завистники, которые сочли бестактностью со стороны Рикаредо явиться во дворец в латах; впрочем, другие находили для него извинение и говорили, что ему как человеку военному хотелось блеснуть своим мужественным видом.

С радостью и любовью встретили Рикаредо его родители, друзья, родные и знакомые. Вечером по случаю военных удач Рикаредо в Лондоне было устроено народное празднество. Родители Исабелы находились уже в доме Клотальдо; Рикаредо открыл отцу, кто они такие, но просил его ни слова не говорить про Исабелу до тех пор, пока он сам этого не сделает. Просьбу эту он повторил своей матери, Каталине, и всем слугам и служанкам дома. В тот же вечер стали разгружать большой корабль с помощью флотилии баркасов, шлюпок и лодок в присутствии толпы глазующих людей. Более восьми дней разгружали находившиеся в трюме корабля пряности и другие дорогие товары.

На следующий день Рикаредо отправился во дворец и взял с собою отца и мать Исабелы, нарядив их в новое английское платье и сказав, что королева хочет их видеть. Они прибыли вместе в зал, где королева в обществе своих дам ожидала прихода Рикаредо. Желая выказать Рикаредо свою милость и внимание, она велела поместить возле себя Исабелу, одетую в то самое платье, в котором она появилась здесь в первый раз, причем и сейчас казалась она не менее прекрасной, чем тогда. Родители Исабелы были изумлены и восхищены при виде такой роскоши и такого великолепия. Они остановили было глаза на Иса-

беле, но не узнали ее, и однако сердце-вещун, чувшее близкое счастье, стало прыгать у них в груди и не грустно, а скорее радостно, хотя они и не могли понять отчего.

Королева не позволила Рикаредо стоять на коленях, а велела ему встать и усадила на поставленный около нее табурет. Это была необычайная милость со стороны королевы, отличавшейся высокомерием. Придворные говорили: «Нынешнее почетное положение Рикаредо объясняется не столько табуретом, сколько привезенным им перцем». Другие прибавляли: «Вот уж действительно подтвердилась поговорка, что перед подарками и камень не устоит: разве Рикаредо не смягчил доставленными богатствами суровое сердце нашей королевы?» Иные замечали: «Да, теперь он крепко сидит в седле, и многим, пожалуй, захочется выбить его оттуда».

Таким-то образом необычная почеть, оказанная королевой Рикаредо, явилась причиной того, что у многих из присутствующих в душе зародилась зависть. Всякая милость повелителя по отношению к своему любимцу пронзает словно копьем сердце завистника.

Королева пожелала подробно узнать от Рикаредо о сражении его с корсарскими кораблями, и он повторил свой рассказ, приписывая заслуги победы Богу и доблести своих солдат. Он восхвалял их всех, но подробнее останавливался на подвигах тех, которые особенно выделились. Этим он побудил королеву наградить всех вообще, а некоторых пожаловать большею милостью. Когда он стал рассказывать, как именем ее величества им была дарована свобода туркам и христианам, то прибавил, указывая на родителей Исабелы:

— Находящиеся тут мужчина и женщина, как я вчера докладывал, пожелали видеть ваше величество и горячо просили меня взять их с собой. Они из Кадиса, судя по тому, что они мне сказали; люди именитые и достойные, что, впрочем, и я сам увидел и отметил.

Королева велела им подойти поближе, а Исабела подняла глаза, чтобы взглянуть на людей, называвших себя испанцами, да еще из Кадиса; а что, если они случайно знают ее родителей? В ту же минуту взглянула на нее ее мать и стала внимательно ее рассматривать. Между тем в памяти Исабелы начали оживать смутные образы, подсказывавшие ей, что она когда-то видела стоящую перед ней женщину. В таком же волнении находился и ее отец, не смея верить открывшейся его глазам истине. Рикаредо тщательно следил за тревожным поведением этих трех людей, души которых в сомнении и нерешительности колебались между «да» и «нет». Королева тоже обратила внимание на волнение обоих испанцев и на беспокойство Исабелы: она заметила, что на лице последней показалась испарина и что она то и дело поднимала руку и оправляла волосы.

Исабеле хотелось, чтобы женщина, казавшаяся ей матерью, заговорила и чтобы слух вывел ее таким образом из заблуждения, в которое вводило ее зрение. Но королева велела ей самой спросить испанца и испанку на их родном языке, почему они не захотели воспользоваться предоставленной им Рикаредо свободой: ведь свободу ценят превыше всего не одни одаренные разумом люди, но и лишённые разума звери. Исабела обратилась с этим вопросом к своей матери, но та, не отвечая ни слова, не обращая ни на что внимания, чуть-чуть не споткнувшись, бросилась к Исабеле и, не сму-

щаясь придворными правилами, приличиями и этикетом, поднесла руку к ее правому уху и увидела там темное родимое пятнышко, окончательно подтвердившее ее предположение. Убедившись воочию, что Исабела — ее дочь, она громко воскликнула: «О дитя моего сердца! Сокровище души моей!» — и, не будучи в состоянии сделать шага, в обмороке упала на руки Исабелы. Отец ее столь же нежно, как и сдержанно, выразил свои чувства не словами, но слезами, обильно оросившими его почтенное лицо и бороду. Исабела припала к своей матери и в то же время смотрела на отца, глазами давая ему понять испытываемые ею радость и удовольствие. Удивленная этой сценой, королева сказала Рикаредо:

— Я думаю, что встреча эта произошла с вашего ведома; надо сознаться, вас озарила не очень счастливая мысль: все мы знаем, что внезапная радость может так же убить человека, как и внезапное горе.

С этими словами она повернулась к Исабеле и отстранила ее от матери. Эту последнюю привели в чувство, брызнув ей в лицо водой, и тогда, немного придя в себя, она бросилась на колени перед королевой:

— Ваше величество! Простите мне мою забывчивость, но вполне естественно все же упасть от радости в обморок, когда неожиданно находишь свое любимое дитя!

— Вы правы, — ответила ей королева с помощью переводившей ее слова Исабелы.

Именно так, как мы это сейчас рассказали, Исабела узнала своих родителей, а родители узнали ее. Королева приказала им остаться во дворце, для того чтобы они могли вдоволь наговориться с Исабелой, наглядеться на нее и натешиться.

Рикаредо это очень порадовало, и он опять стал просить королеву исполнить свое обещание и отдать ему Исабелу, если он ее заслужил, а если нет, то пусть его сейчас же отправят на новые подвиги, которые сделают его достойным цели своих желаний.

Королева хорошо понимала, что Рикаредо выказал с лучшей стороны и себя, и свою доблесть и что нет больше нужды в испытаниях его достоинства, а потому она дала слово Рикаредо через четыре дня с величайшим почетом вручить ему его невесту. Рикаредо удалился в радостной надежде, что в скором времени будет обладать Исабелой, не мучаясь страхом потерять ее: в этом ведь и состоит высшее желание влюбленных.

Время шло, но совсем не так быстро, как хотелось бы Рикаредо. Людям, живущим надеждой на исполнение обещанного, всегда кажется, что время не летит, а еле-еле ползет вперед самым ленивым шагом. Но вот наступил тот день, в который Рикаредо мечтал наряду с сохранением всех своих прежних упований открыть в Исабеле еще новые прелести и под их обаянием полюбить ее, если можно, еще сильнее. Однако в этот краткий промежуток времени, когда он думал, что корабль его счастья мчится с попутным ветром в желанную гавань, вдруг по воле враждебного рока на море его судьбы поднялась такая жестокая буря, что он тысячу раз в ужасе ожидал смерти.

Дело в том, что у старшей придворной дамы королевы, на попечении которой находилась Исабела, был двадцатидвухлетний сын, граф Арнесто. Высота занимаемого положения, знатность рода, благосклонное отношение королевы к его матери — все это делало его непомерно гордым, заносчивым и самоуверенным. Этот Арнесто вос-

пылал горячей любовью к Исабеле, и от блеска ее глаз зажглась у него душа. Хотя он в отсутствие Рикаредо сумел случайными намеками открыть ей свою страсть, она все время уклонялась от его признаний. Когда на первые попытки к сближению отвечают холодно и недоброжелательно, влюбленные обыкновенно отказываются от своих притязаний; но совсем обратное действие возымели многократные и ясные знаки пренебрежения, которые выказала Арнесто Исабела, ибо верность ее его разжигала, а от целомудрия ее он загорался пламенем. Заключив на основании отзыва королевы, что Рикаредо уже заслужил Исабелу и что вскоре она будет выдана за него замуж, он решил было наложить на себя руки. Но прежде чем прибегнуть к столь бесславному и позорному выходу, он обратился к матери и велел ей просить для него у королевы руки Исабелы; в противном случае он грозил ей наложить на себя руки. Мать была ошеломлена речью сына: зная его суровый и запальчивый характер, зная упорство, с которым страсти укоренялись в его душе, она испугалась, что любовь эта кончится каким-нибудь несчастьем. Тем не менее она пообещала Арнесто переговорить с королевой: ведь матери свойственно желать счастья своим детям и устраивать его осуществление. Она не надеялась на невозможное и не собиралась вырвать у королевы отказ от данного ею слова, но хотела, как это делается в опасных случаях, испробовать последнее средство.

В то утро по приказанию королевы Исабела была так богато одета, что никакое перо не дерзнуло бы ее описать. Королева собственноручно надела ей на шею ожерелье из лучших жемчужин, находившихся на корабле, — оно было оценено в двадцать тысяч дукатов; руку Исабелы она

украсила кольцом с бриллиантом стоимостью в шесть тысяч дукатов.

Дамы заранее волновались в ожидании праздника по случаю столь близкой свадьбы. Вдруг к королеве вошла старшая дама и на коленях стала умолять ее отложить бракосочетание еще на два дня: если ее величество окажет ей одну эту милость, то она будет считать, что получила уже от королевы все награды, которых она была вправе ожидать за свою службу.

Королева пожелала было узнать причину, по которой ее с таким жаром просят отложить брак и поступить наперекор данному ею обещанию. Но старшая дама отказалась представить свои объяснения до тех пор, пока ей не было наконец обещано исполнение просьбы; видно, королеве очень уж не терпелось узнать, в чем дело. Добившись своего, старшая дама рассказала ее величеству про любовь своего сына и про свои опасения, что он наложит на себя руки или решится на какое-нибудь безумство, если его не женят на Исабеле. О двух днях отсрочки просила она для того, чтобы дать ее величеству время обдумать удобное и подходящее средство для успокоения Арнесто. Королева ответила, что она могла бы найти выход из этого запутанного лабиринта, если бы тут не было замешано ее королевское слово; но ни за что на свете не согласится она нарушить его и обмануть надежды Рикаредо.

Старшая дама передала этот ответ сыну, а тот, ни минуты не медля, охваченный горячкой ревнивой любви, надел на себя полное вооружение и верхом на сильной и красивой лошади отправился к дому Клотальдо. Громким голосом кликнул он Рикаредо, приглашая его выглянуть в окно; в эту минуту Рикаредо, одетый в нарядный

костюм, готовился идти во дворец в сопровождении необходимой для брачной церемонии свиты. Услышав зов и выяснив, кто его зовет и с какими намерениями, Рикаредо в волнении подошел к окну. Когда Арнесто увидел его, то воскликнул:

— Рикаредо! Выслушай внимательно, что я тебе скажу. Моя повелительница и королева отправила тебя служить ей и совершить деяния, которые сделали бы тебя достойным несравненной Исабелы. Ты пошел и вернулся с кораблями, нагруженными золотом; золотом этим, по твоему мнению, ты купил и заслужил Исабелу. Королева, государыня наша, пообещала ее тебе, очевидно, предполагая, что при дворе не найдется никого, кто бы мог послужить ей лучше тебя и кто имел бы больше прав на Исабелу; в этом, она, пожалуй ошиблась. Я утверждаю, что ты не совершил ни одного подвига, достойного Исабелы, да и никогда не совершишь ничего, что смогло бы удостоить тебя такого счастья. Если тебе не угодно согласиться с тем, что ты недостойн Исабелы, я вызываю тебя на смертный поединок.

Тут граф замолчал, а Рикаредо сказал ему следующее:

— Не мое дело отвечать на ваш вызов, граф, так как, по моему скромному мнению, не только я, но и ни один человек на свете недостойн Исабелы; и так как я признаю истинность ваших слов, то, повторяю вам, вызов ваш меня не касается. И тем не менее я принимаю его ввиду дерзости, с которой он был сделан.

После этого он отошел от окна и поспешно потребовал свое оружие. Родители Рикаредо и все гости, собравшиеся провожать его во дворец, встревожились. В огромной толпе зрителей, видевших вооруженного Арнесто и слышавших его

громкий вызов, нашлись люди, отправившиеся доложить обо всем королеве, которая тут же велела капитану гвардии пойти и арестовать графа. Капитан поспешил исполнить приказание и успел явиться в ту самую минуту, когда Рикаредо, в том самом вооружении, в котором он высадился на берег, верхом на прекрасной лошади выезжал из дому. Увидев капитана гвардии, граф сразу догадался о цели его прибытия и решил было не сдаваться. Обратившись к Рикаредо, он вскричал:

— Ты видишь, Рикаредо, нам помешали! Если тебе хочется наказать меня, можешь искать со мною встречу, сам же я очень желаю проучить тебя и потому буду тебя разыскивать; если же мы оба будем стремиться увидеть друг друга, нам легко будет встретиться. Поэтому отложим на время исполнение наших желаний.

— Согласен, — отвечал Рикаредо.

В эту минуту явился капитан со своим отрядом и сказал графу, что он арестован именем ее величества королевы. Арнесто подчинился, поставив условием, что его сразу отведут к самой королеве. Капитан согласился и, окружив Арнесто стражей, увел его во дворец. Королева уже была извещена о великой любви Арнесто к Исабеле своей старшей дамой, которая теперь со слезами молила ее простить графа. Когда Арнесто явился, королева, не вступая с ним в разговор, велела отобрать от него шпагу и заключить в башню.

Все эти происшествия мучили сердце Исабелы и ее родителей: столь неожиданной была для них буря, поднявшаяся на безмятежном море их жизни. Во избежание осложнений, которые могли бы произойти между родней Арнесто и Рикаредо, старшая дама посоветовала отправить Исабелу в Испанию: с устранением самой причины пре-

кратятся и следствия, которых теперь приходится опасаться. К этим доводам она прибавила, что Исабела — католичка, и к тому же столь ревностная, что никакими увещаниями (а их было немало) ей не удалось хоть сколько-нибудь поколебать ее веру. Королева ответила, что Исабела еще больше выросла в ее глазах оттого, что умеет охранять веру, которой ее обучили родители; а об отправлении ее в Испанию вообще не может быть речи, потому что ее величеству доставляют великое удовольствие красота, изящество и достоинство испанки: если не сегодня, то в другой раз Исабела, согласно ее обещанию, будет отдана Рикаредо в жены.

Старшая дама пришла в такое отчаяние от решения королевы, что не ответила ей ни слова. Она по-прежнему видела в удалении Исабелы единственное средство сломить упорство своего сына и заставить его помириться с Рикаредо. И вот она решила совершить величайшую жестокость, какая только может прийти в голову столь знатной женщине: она решила известить Исабелу ядом. А так как женщины в большинстве случаев бывают по природе своей быстры и решительны, то она в тот же вечер отравила Исабелу сладким компотом, заставив ее съесть эту еду как средство, помогающее от замиранья сердца.

Немного спустя после этого у Исабелы стали распухать язык и горло, почернели губы, охрип голос, помутились глаза и сдавило грудь, что является верным признаком отравления. Придворные дамы бросились к королеве, рассказали ей о случившемся и уверяли, что это дело рук их начальницы. Она немедленно отправилась навестить почти умиравшую Исабелу и приказала поскорей вызвать врачей, а в их отсутствие велела

дать Исабеле большое количество порошка единого и разных других противоядий, которые правители обычно имеют в запасе для подобных случаев. Пришли врачи, усилили дозу лекарства и попросили, чтобы королева велела старшей даме открыть, какого рода яд она дала Исабеле, — а что она отравила ее, в этом не было никакого сомнения. Старшая дама назвала яд, и врачи, узнав это, применили столько удачных средств, что благодаря им и с помощью Всевышнего Исабела осталась в живых, или, вернее, получила надежду выжить.

Королева распорядилась арестовать старшую даму и заключить ее под стражу в одну из дворцовых темниц, намереваясь примерно наказать ее за совершенное преступление, хотя та пыталась оправдаться и доказывала, что, убивая католичку, она совершала дело, угодное небу, и вместе с тем устраняла причину бедствий для сына. Когда печальное известие дошло до Рикаредо, он чуть было не лишился разума: таким безумством он стал предаваться и так безутешно жаловался на свою судьбу. В конце концов Исабела не умерла, но, благополучно избегнув смерти, несчастная осталась без волос, бровей и ресниц, с распухшим бледным лицом, воспаленной кожей и слезящимися глазами. Она сделалась до того страшной, что если до сих пор она была чудом красоты, то теперь стала воплощением безобразия. Люди, знавшие прежде Исабелу, находили, что для нее были бы лучше умереть от яда, чем подвергнуться такому несчастью. Несмотря на это, Рикаредо продолжал все-таки просить у королевы руки Исабелы и добивался позволения взять ее к себе в дом: любовь, которую он к ней питал, перешла теперь с тела на душу Исабелы, утратившей, правда, свою красоту, но сохранившей все свои неисчислимые достоинства.

— Хорошо, Рикаредо, — сказала королева а . — Берите ее себе и знайте, что вы получаете сейчас драгоценнейший камень, заключенный в оболочку из грубого дерева. Богу известно, что мне хотелось бы отдать вам ее такую, какою я ее от вас получила. Простите, если это оказывается невозможным. Надеюсь, что ваше желание мести будет хоть сколько-нибудь удовлетворено тем наказанием, которому я подвергну виновницу преступления.

Рикаредо долго беседовал с королевой, оправдывая старшую даму и настаивая на ее прощении: высказанные ею основания вполне достаточны для того, чтобы объяснить еще большее преступление. В конце концов Исабела и ее родители были сданы с рук на руки Рикаредо, и он увез их в свой дом, или, лучше сказать, в дом своих родителей. К дорогим бриллиантам и жемчужинам, подаренным Исабеле, королева прибавила еще другие драгоценности и платья, доказав ей этим всю свою любовь. Два месяца Исабела оставалась обезображенной, и не было ни малейшей надежды, что к ней вернется ее прежняя красота. Но по истечении этого срока началось шелушение, и у нее стал появляться прекрасный цвет лица.

Тем временем родители Рикаредо, полагая, что Исабела никогда уже больше не оправится, решили послать за шотландской девицей, которую они сосватали Рикаредо задолго до его обручения с Исабелой.

Сделали они это без ведома Рикаредо, рассчитывая, что сын их, пленившись цветущей красотой новой невесты, забудет исчезнувшие прелести Исабелы; ее же они порешили отправить вместе с родителями в Испанию и щедро одарить, дабы вознаградить таким образом за понесенные потери.

Не прошло и полутора месяцев, как совершенно неожиданно для Рикаредо к нему в дом, блистая такой красотой, что в прежнее время во всем Лондоне затмить ее могла бы только одна Исабела, въехала новая невеста в сопровождении почетных спутников. Рикаредо был ошеломлен, увидев вдруг эту девицу. Он боялся, что волнение, вызванное ее прибытием, убьет Исабелу, и, желая предупредить опасность, бросился к постели больной. Он застал девушку за беседой с родителями и в их присутствии обратился к ней со следующей речью:

— Исабела, душа моя! Несмотря на великую любовь, которую питают ко мне отец и мать, они плохо знают, как сильно я тебя люблю: они пригласили в наш дом девицу из Шотландии, на которой хотели меня женить задолго до того, как я узнал твои достоинства. Приглашая ее, они, по-видимому, думали, что великая красота этой девицы изгладит запечатленный в моей душе твой дивный образ. Но с тех пор как я полюбил тебя, Исабела, любовь моя не ставила себе конечной целью удовлетворения плотского влечения. Правда, твоя телесная красота пленила мои чувства, но добродетели твои оковали цепями мою душу, так что, если я любил тебя, когда ты была прекрасной, то обожаю и теперь, когда ты безобразна. Дай мне руку в подтверждение истинности моих слов.

Она подала ему правую руку; он взял ее и продолжал:

— Клянусь католической верой, которой научили меня мои благочестивые родители, а если она недостаточно чиста, то клянусь верой, охраняемой римским первосвященником, которую я исповедую и храню в своем сердце, клянусь слышащим нас истинным Богом и обещаю тебе, Исабела, полови-

на души моей, что женюсь на одной лишь тебе и готов стать твоим мужем теперь же, если ты только удостоишь меня чести называться твоим!

Исабела была поражена речью Рикаредо; удивлены и ошеломлены были и ее родители; не зная, что ей говорить и что делать, она только часто-часто целовала руку Рикаредо, повторяя, что считает его своим мужем и отдает ему себя в рабыни. Рикаредо поцеловал ее безобразное лицо — никогда не имел он такой смелости в то время, когда лицо это было прекрасно. Помолвка эта была освящена слезами умиления родителей девушки. Рикаредо заявил, что расстроит свой брак с шотландкой, приехавшей к нему в дом, а каким образом — это они вскоре увидят; если отец его пожелает отправить их втроем в Испанию, пусть они не возражают и едут к себе на родину и там в течение двух лет дожидаются его, Рикаредо, в Кадисе или в Севилье. Он дал им слово явиться к этому сроку, если только небо пошлет ему столько лет жизни; если же он не вернется, то это будет означать, что какое-то непреодолимое препятствие, а вернее всего, смерть, стало на его пути. Исабела ответила, что будет ждать его не два года, а всю свою жизнь, до тех пор, пока не узнает, что Рикаредо нет больше в живых; и минута, когда она получит это известие, будет минутой ее кончины.

При этих нежных словах у всех опять на глаза навернулись слезы, и Рикаредо отправился сказать своим родителям, что ни в коем случае не женится на шотландке, не съездив предварительно для успокоения совести в Рим. Он привел столь убедительные доводы своим родителям и прибывшим вместе с Клистерной (так звали шотландку) ее родственникам, что все они охотно ему поверили,

так как сами тоже были католиками. Клистерна согласилась остаться в доме своего будущего свекра до возвращения Рикаредо, который выговорил себе для путешествия один год. Когда все было решено, Клотальдо сообщил Рикаредо о своем намерении отправить Исабелу вместе с родителями в Испанию, если королева изъявит на это свое согласие: родной климат, говорил он, наверное, облегчит и ускорит начинающееся выздоровление Исабелы. Не желая обнаруживать своих планов, Рикаредо спокойно посоветовал отцу поступить, как ему кажется лучше, и просил его ни в коем случае не отбирать у Исабелы подаренных королевой драгоценностей. Клотальдо дал ему свое слово и в тот же день стал просить королеву о разрешении женить сына на Клистерне и отправить Исабелу вместе с родителями в Испанию.

Королева согласилась на все и одобрила решение Клотальдо. В тот же день, не советуясь с юристами и не отдавая старшей придворной дамы под суд, королева приговорила ее к лишению должности и к уплате в пользу Исабелы десяти тысяч эскудо, а графа Арнесто за вызов на дуэль изгнала на шесть лет из Англии.

Четыре дня спустя Арнесто отправился в изгнание, а указанная сумма была уплачена сполна. Королева вызвала к себе купца-француза, который жил в Лондоне, и имел сношения с Францией, Италией и Испанией. Она передала ему десять тысяч эскудо и попросила выдать документ, на основании которого деньги могли бы быть выплачены отцу Исабелы в Севилье или другом порту Испании. По учете прибылей и процентов, купец сказал королеве, что он составит требуемые бумаги и удостоверения на имя другого французского купца, проживающего в Севилье и поддер-

живающего с ним сношения. Сделает он это следующим образом. Он напишет в Париж, чтобы там составили бумагу на имя севильского купца и поместили ее Францией, а не Англией, так как последняя не поддерживает сношений с Испанией. Достаточно иметь на руках его уведомительное письмо без указания места, но за его подписью для того, чтобы по предъявлении его севильский купец немедленно же произвел уплату, так как он своевременно получит предупреждение из Парижа. Королева получила таким образом от купца ручательство, не оставлявшее сомнения в надежной пересылке денег. Не ограничившись этим, она пригласила к себе владельца фламандского судна (собиравшегося на следующий день выехать во Францию, для того только, чтобы получить там, в одном из портов, документы, дающие право на въезд в Испанию и удостоверяющие, что он едет не из Англии, а из Франции) и обратилась к нему с настоятельной просьбой взять на корабль Исабелу и ее родителей и в полной безопасности и в наилучших условиях доставить их в ближайшую испанскую гавань, в которой он остановится. Владелец корабля, желавший угодить королеве, ответил, что исполнит ее просьбу и высадит пассажиров в Лисабоне, Кадисе или Севилье.

Затем, получив заверительные расписки купца, королева велела передать Клотальдо, чтобы он не отбирал у Исабелы подаренных ею драгоценностей и платьев. На следующий день Исабела с родителями отправилась проститься с королевой, и та приняла их с большою любезностью. Она вручила им письмо купца, наградила деньгами и осыпала самыми разнообразными подарками, нужными для дороги. Исабела в таких выражениях засвидетельствовала свою глубокую призна-

тельность, что королева еще более расположилась в ее пользу и решила всегда ей покровительствовать. Затем состоялось прощание с придворными дамами; эти последние не хотели, чтобы Исабела уезжала, ибо с тех пор как она стала безобразной, их больше не мучила зависть, которую они питали к ее красоте, а наслаждаться ее душевной прелестью и умом им было очень приятно. Королева обняла всех троих, поручила путников их доброй судьбе и капитану корабля, распрощалась с ними и попросила Исабелу через французского купца известить ее о своем благополучном прибытии в Испанию, а кроме того, постоянно писать о своем здоровье. В тот же день они сели на корабль, оплакиваемые Клотальдо, его женой и всеми домочадцами, чрезвычайно любившими Исабелу. Рикаредо не было при расставании: не желая выказывать своих нежных чувств, он устроил так, что в этот день друзья пригласили его на охоту. Сеньора Каталина сделала Исабеле на дорогу множество подарков. Провожающие без конца обнимали путников, в изобилии проливали слезы, бесчисленное число раз просили Исабелу писать; и на все это Исабела и ее родители отвечали благодарностью. Таким образом, несмотря на слезы, все расстались довольными.

В тот же вечер корабль поднял паруса. Достигнув с попутным ветром Франции и получив там необходимые документы на право въезда в Испанию, он через тридцать дней подошел к Кадису. Там Исабела и ее родители высадились. Все жители города знали их и встретили с большой радостью. Родители Исабелы получили тысячи поздравлений по случаю отыскания дочери и освобождения от мавританского плена, а заодно и от англичан (приключения их были повсюду разгла-

шены пленниками, великодушно отпущенными на свободу Рикаредо).

К этому времени у родителей стала складываться уверенность, что к Исабеле вернется ее прежняя красота. Больше месяца они провели в Кадисе, отдыхая после утомительного плавания, а затем отправились в Севилью, чтобы выяснить на месте, будут ли им выплачены десять тысяч эскудо, причитавшиеся с французского купца. Через два дня по прибытии в Севилью они его разыскали, а разыскав, представили ему бумагу французского купца из Лондона. Купец признал документ, но заявил, что не может выдать денег до тех пор, пока из Парижа не придут справки и уведомительное письмо; извещения этого он ждал с минуты на минуту. Родители Исабелы сняли большой дом напротив монастыря Святой Паулы ввиду того, что в этой святой обители состояла монахиней одна их племянница, обладавшая голосом исключительной красоты. С одной стороны, им хотелось жить поближе к ней, но было тут еще и другое: в свое время Исабела условилась с Рикаредо, что для розысков ее он придет в Севилью и там у ее двоюродной сестры, монахини монастыря Святой Паулы, узнает, где она живет; для того же, чтобы найти двоюродную сестру, ему достаточно будет спросить в монастыре монахиню, которая поет лучше всех; такого рода приметы, как известно, очень легко запоминаются.

Бумаги из Парижа не приходили еще в течение сорока дней. А через два дня по их получении французский купец выплатил Исабеле десять тысяч эскудо, и она отдала их родителям. С этими деньгами, к которым были прибавлены суммы, вырученные от продажи кое-каких драгоценностей Исабелы, отец ее, к удивлению людей, хорошо

осведомленных о его недавних потерях, снова начал вести торговые дела. Немного месяцев спустя он восстановил свой погибший кредит, а вместе с тем к Исабеле снова вернулась ее прежняя красота, так что когда заходила речь о красавицах, то все отдавали пальму первенства «английской испанке»; вследствие этого прозвания, как и вследствие своей прекрасной наружности, она пользовалась известностью во всем городе.

Через проживавшего в Севилье французского купца Исабела и ее родители известили королеву о своем прибытии в Испанию, выразив ей при этом свою благодарность и преданность за все великие милости, которые они от нее получили. Написали они также Клотальдо и его жене Каталине, причём Исабела именовала их в письме отцом и матерью, а ее родители — своими сеньорами. Ответа от королевы они не получили; от Клотальдо же и его жены пришло письмо с поздравлением по случаю счастливого прибытия и с известием о том, что сын их, Рикаредо, на следующий день после отплытия Исабелы выехал во Францию, а оттуда в другие страны, где ему надлежало побывать для успокоения своей совести; за этим сообщением в письме следовали выражения великой любви и благорасположения. В ответ им было послано второе письмо, в такой же мере исполненное учтивости и преданности, как и благодарности.

Исабела подумала тогда, что Рикаредо уехал из Англии для того, чтобы отправиться на ее розыски в Испанию. Эта надежда ободрила ее, и, чувствуя себя счастливее всех на свете, она старалась вести такой образ жизни, чтобы по прибытии в Севилью слух о ее добродетели дошел до Рикаредо раньше, чем ему укажут, где ее жили-

ще. Почти никогда она не выходила из дому, разве только чтобы пройти в монастырь, причем никаких праздников, кроме церковных, она не признавала. Не покидая дома или молельни, она мысленно присутствовала на службах, совершаемых по пятницам великого поста, в день святейшего моления кресту и семи даров Святого Духа.

Она никогда не посещала реки и не ходила в Триану; не бывала она и на народных гуляньях, устраиваемых при благоприятной погоде в день Святого Себастьяна на лугу Таблада и у Хересских ворот, где в это время собираются несметные толпы народа. Одним словом, в Севилье ее не соблазняло ни одно народное торжество, ни один праздник. Все свое время она, в ожидании Рикаредо, проводила в уединении, молитвах и думах о женихе.

Вследствие столь замкнутого образа жизни Исабела возбуждала пламенные чувства не только у молодых щеголей своего квартала, но и у всех, кто хотя бы только раз ее видел, так что на улице, где она жила, по вечерам стали давать серенады, а днем устраивали конные состязания. Учитывая эту нелюдимость и постоянные домогания влюбленных, посредницы стали накидывать цены, заявляя, что они сотворят чудо, превзойдут самих себя и уговорят Исабелу. Нашлись люди, прибегнувшие даже к помощи так называемых чар, в действительности представляющих собой сплошное надувательство и обман. Но пред лицом всего этого Исабела оставалась непоколебимой, как стоящая среди моря скала, которую задевают, но не двигают с места ни волны, ни ветер.

Прошло уже полтора года, и сердце Исабелы билось все беспокойнее в ожидании конца двухлетнего срока, назначенного ей Рикаредо. И в то

время, когда ей все чаще представлялось, что ее жених уже приехал и стоит тут у нее перед глазами, что она расспрашивает его о задержавших его так долго препятствиях, слышит его извинения, прощает его и принимает в свои объятия, как лучшую часть своей души, она вдруг получила из Лондона от сеньоры Каталины письмо, отправленное пятьдесят дней тому назад. На писано оно было по-английски и в переводе на испанский гласило следующее:

«Возлюбленная дочь моя! Ты хорошо помнишь нашего слугу Гильярте. Рикаредо взял его с собой в путешествие, о котором я тебя уже извещала, и на следующий день после твоего отплытия выехал вместе с ним во Францию и в другие страны. Вчера, после шестнадцати месяцев безвестного отсутствия нашего сына, этот Гильярте вернулся домой и сообщил, что Рикаредо предательски убит графом Арнесто во Франции. Представь себе, дочь моя, что должны были пережить я, муж и невеста Рикаредо, получив это безрадостное известие, после которого не приходится даже сомневаться в своем горе! Клотальдо и я просим тебя, возлюбленное дитя, искренне помолиться Богу за душу Рикаредо; ибо, поистине, он (который, как ты знаешь, сильно тебя любил) достоин этого благодеяния. Попроси Господа Бога нашего послать нам побольше терпения и хорошую смерть; мы же будем просить и молить его даровать тебе и твоим родителям много-много лет жизни».

Почерк и подпись не вызывали никаких сомнений: смерть жениха была вполне очевидной. Она отлично помнила слугу Гильярте и отлично знала, что он заслуживает доверия и что ему не могло прийти в голову выдумать эту смерть, тем

более что к этому не было никакого повода. Не могла бы этого сделать и сеньора Каталина, мать Рикаредо, ибо у нее не было никаких оснований сочинять для Исабелы столь грустное известие. Одним словом, ни размышления, ни долгие думы не могли поколебать ее убеждения в том, что известие о несчастье — истина.

Окончив чтение письма, она без ненужных слез и без внешних признаков сердечного сокрушения встала с помоста, на котором сидела, и прошла в молельню со спокойным лицом и с вполне умиротворенным по внешности видом. Опустившись на колени перед изображением особо почитаемого распятия, она дала обет стать монахиней, что было, впрочем, естественно, так как она себя считала вдовой. Родители ее благоразумно скрыли печаль, причиненную этой горестной новостью, считая, что так им будет легче утешать дочь в постигшем ее испытании.

Исабела, как бы насытившись своим горем и смягчив его святым и христианским решением, сама стала утешать родителей и говорить с ними о своем намерении. Они посоветовали ей повременить с пострижением до тех пор, пока не истечет назначенный Рикаредо двухлетний срок: за это время окончательно подтвердится истинность известия о смерти, и Исабела со спокойным сердцем отрешится от связи с миром. Исабела так и сделала и провела недостававшие до двух лет шесть с половиной месяцев в соблюдении монашеского устава, подготавливая свое вступление в обитель; она наметила себе тот самый монастырь Святой Паулы, где находилась ее двоюродная сестра.

Прошло два года, и наступил день пострижения. Известие о нем распространилось по всему городу; монастырь и небольшое пространство меж-

ду ним и домом Исабелы наполнились людьми, знавшими ее лично или только понаслышке. Отец Исабелы пригласил своих друзей; те, в свою очередь, — других знакомых, и таким образом у Исабелы составила́сь такая почетная свита, какие редко приходится видеть в Севилье при подобного рода событиях. При священнодействии присутствовали наместник города, заместитель архиепископа, викарий и все знатные дамы и видные лица города: вот как сильно всем захотелось посмотреть на Исабелу, на это прекрасное солнце, в течение долгих месяцев находившееся в заточении! У девиц, принимающих пострижение, в обычае одеваться как можно красивее и изящнее: в эту минуту они, отрешаясь от суетных нарядов, в последний раз их показывают. Исабела тоже пожелала одеться как можно лучше. Она надела то самое платье, в котором когда-то отправилась к английской королеве, — как богато и красиво оно было, об этом мы уже рассказывали. Снова появились на свет жемчужины, замечательный бриллиант, ожерелье и столь же драгоценный пояс.

В этом наряде Исабела гордо вышла из дому, и красота ее побуждала народ прославлять за нее величие творца. Она шла пешком, потому что монастырь был близко, и кареты и экипажи оказывались лишними. Но стечение народа было таково, что они не имели возможности приблизиться к монастырю и пожалели, что не воспользовались экипажем. Одни перевозносили родителей Исабелы, другие восхваляли небо, одарившее ее такой красотой; одни поднимались на цыпочки, чтобы взглянуть на нее, а другие, посмотрев на нее, забегали вперед, чтобы посмотреть еще раз. Особенно усердствовал (до того, что многие стали обращать на него внимание) какой-то человек,

одетый так, как одеваются выкупленные из плена, и носивший на груди знак тринитариев, свидетельствовавший о том, что незнакомец был выкуплен на деньги монахов этого ордена. Когда Исабела уже вступала в ворота монастыря, куда, по обычаю, ее вышли встретить с крестом настоятельница и монахини, человек этот громко воскликнул:

— Остановись, остановись, Исабела! Пока я жив, ты не можешь постричься в монахини!

При этом крике Исабела и ее родители оглянулись и увидели, что выкупленный из плена человек проталкивается к ним сквозь толпу. Круглая синяя шляпа упала у него с головы, открыв растрепанную копну вьющихся золотых волос и лицо, белое и румяное, словно снег с пурпуром, — по этим приметам все сразу признали в нем иностранца. И вот, падая и поднимаясь, он дошел до места, где стояла Исабела, и, схватив ее за руку, сказал:

— Ты узнаешь меня, Исабела? Взгляни, ведь я Рикаредо, твой жених.

— Да, узнаю, — отвечала Исабела, — если только ты не видение, пришедшее смутить мой покой.

Ее родители бросились к нему и, внимательно взглядевшись, убедились, что пленник — действительно Рикаредо. Он бросился на колени и со слезами умолял Исабелу признать его, несмотря на необычайный костюм: да не послужит его несчастная судьба препятствием к исполнению данного ими друг другу слова! Несмотря на впечатление, произведенное на Исабелу письмом матери Рикаредо и на известие о его смерти, она предпочла поверить открывшейся перед ее глазами правде, а потому, обнявши пленника, сказала:

— Сеньор, поистине вы тот единственный человек, который в силах воспрепятствовать моему христианскому решению, вы поистине мой настоящий супруг и часть души моей. Вы запечатлены в моей памяти, и я сохранила ваш образ в своей душе. Известие о вашей смерти, сообщенное мне сеньорой вашей матушкой, не лишило меня, правда, жизни, но побудило меня избрать монашеское звание; сейчас я собиралась вступить в затворническую жизнь; но если Бог этим справедливым препятствием показывает, что ему угодно иное, то я, со своей стороны, не могу и не должна ему противиться. Теперь, господин мой, идите в дом моих родителей (он вместе с тем и ваш дом), и тогда я предам вам себя в полную вашу власть, с соблюдением установлений нашей святой католической веры.

Стоявшие вокруг люди, а также наместник, викарий и заместитель архиепископа, услышав эти слова, были крайне изумлены и озадачены и сейчас же стали просить объяснения этой истории, спрашивая, что это за человек и о каком браке здесь идет речь. Отец Исабелы ответил, что для рассказа потребуется продолжительное время и другое место. Поэтому он обратился ко всем, желавшим узнать по соседству, где все им будет рассказано таким образом, что истина события доставит им удовольствие, а необычайность его их немало удивит. В это время один из присутствующих сказал:

— Сеньоры! Этот юноша — известный английский корсар; я его знаю: он тот самый, который около двух лет тому назад отнял у алжирских пиратов португальское судно, плившее из Индии. Сомнения быть не может: я его узнал; он отпустил меня на свободу и дал денег, чтобы ехать в Испа-

нию; точно так же поступил он не только со мною, но и с тремястами других пленников.

Слова эти всех заинтересовали, и от них еще сильнее разгорелось у всех желание узнать и уяснить себе столь запутанные происшествия. Под конец самые знатные лица вместе с наместником и обоими сановниками церкви отправились провожать Исабелу домой, оставив в слезах опечаленных и смущенных монахинь, а они потеряли немало, лишившись общества прекрасной Исабелы. Придя к себе, она пригласила гостей расположиться в одной из больших комнат.

Сначала Рикаредо хотел было сам рассказать свою историю, но потом, не доверяя своим силам, предпочел довериться уму и красноречию Исабелы: он не очень бегло говорил по-кастильски.

Все присутствующие умолкли и с напряженным вниманием стали слушать Исабелу, начавшую свой рассказ. Я буду краток в его передаче: она изложила все, что с ней случилось с того дня, когда Клотальдо похитил ее из Кадиса, и до ее возвращения обратно; она рассказала о битве Рикаредо с турками и о его великодушном отношении к христианам; рассказала о том, как оба они дали друг другу слово стать мужем и женою, и о назначенном ими двухлетнем сроке; описала, как она получила известие о смерти Рикаредо, показавшееся ей вполне достоверным и (как все теперь знают) чуть было не заставившее ее постричься в монахини. Она превознесла великодушие королевы, отметила, что Рикаредо и его родители — правоверные католики, и в заключение заметила, что теперь его черед рассказать о его приключениях со дня выезда из Лондона и по настоящую минуту, когда все увидели его в платье пленника,

со знаком, указывающим на то, что он выкуплен на деньги монахов.

— Хорошо, — отвечал Рикаредо, — я в кратких словах изложу свои тяжкие злоключения. Я уехал из Лондона для того, чтобы избежать невозможного для меня брака с Клистерной, той шотландкой-католичкой, на которой, как уже говорила Исабела, хотели меня женить мои родители. С собой я взял слугу Гильярте, который, согласно письму моей матери, привез в Лондон известие о моей смерти. Через Францию я отправился в Рим; там возрадовалась моя душа и укрепилась вера. Я облобызал стопы верховного первосвященника, исповедал грехи великому исповеднику, очистился от них и получил необходимые записи, свидетельствующие о моем покаянии и возвращении в лоно нашей соборной матери — церкви. Исполнив это, я посетил неисчислимые святыни этого священного города. Из находившихся при мне двух тысяч эскудо золотом я доверил тысячу шестьсот одному меняле, который перевел эти деньги в Севилью на имя флорентинца Роки. С остальными деньгами я выехал в Геную, намереваясь отправиться в Испанию: у меня были известия, что туда собираются отплыть две местные галеры. В сопровождении своего слуги Гильярте я прибыл в местность, называемую Аквапенденте, — последнее владение папы по дороге из Рима во Флоренцию.

В гостинице или постоялом дворе, где я остановился, я повстречал своего смертельного врага графа Арнесто; он был переодет и ехал с четырьмя слугами в Рим, скорее из любопытства, чем из религиозных побуждений. Будучи уверен, что он меня не узнал, я вдвоем со слугой заперся у себя в комнате и, приняв меры предосторожности, ре-

шил с наступлением ночи переехать в другой дом. Однако я не сделал этого, так как чрезвычайно беспечное поведение графа и его слуг укрепило меня в мысли, что меня не узнали. Я поужинал в своей комнате, запер дверь, надел шпагу, поручил себя Богу, но не захотел ложиться в постель. Слуга мой заснул, а я остался на стуле в полудремотном состоянии. Вскоре после полуночи меня разбудили (с тем чтобы погрузить меня в вечный сон) четыре pistolетных выстрела, выпущенных в меня — как я впоследствии узнал — графом и его слугами. Считая меня убитым, они ускакали на лошадях, которые были заранее приготовлены; хозяину постоялого двора они велели похоронить меня, объяснив, что я человек знатный. Как мне позже сообщил хозяин, слуга мой, проснувшись от шума, в ужасе выпрыгнул через окно, выходявшее во двор, и покинул гостиницу с криком: «О я несчастный! Моего господина убили». По всей вероятности, он так испугался, что ехал не останавливаясь до самого Лондона; это он принес родителям известие о моей смерти.

Сбежались слуги гостиницы и увидели, что я ранен четырьмя пулями и очень крупной дробью, но все выстрелы пришлись так счастливо, что ни одна из них не оказалась смертельной. Я, как истинный христианин, потребовал исповеди и совершения таинств. Мою просьбу исполнили; затем меня стали лечить, и в течение двух месяцев я не мог двинуться в путь.

Потом я отправился в Геную, но не нашел там никаких судов, кроме двух фелюг. Я и двое знатных испанцев их сговорили: одна из них должна была ехать впереди и производить разведки, на другой находились мы сами. Приняв меры предосторожности, мы тронулись в путь, держась берега

и намеренно не забираясь в открытое море. Когда мы подплывали к расположенной на французском побережье местности, именуемой «Три Марии», и наша первая фелюга была на разведке, из одной бухты на нас внезапно выехали два турецких галиота; один из них отрезал нас с моря, другой — со стороны земли, а когда мы бросились к берегу, они настигли нас и захватили в плен. Переведя на свой галиот, турки нас раздели донага; все, что было на фелюгах, они разграбили; самые фелюги они не потопили, а выбросили на берег, сказав, что они им пригодятся в другой раз для перевозки награбленной у христиан добычи.

Вы легко мне поверите, если я скажу, что мне было тяжело пережить плен, особенно же потерю бумаг, полученных мною в Риме; вместе с распиской на тысячу шестьсот дукатов они хранились у меня в железной шкатулке. По счастью, эта шкатулка попала в руки одному пленному испанцу, который сохранил документы у себя; если бы они попали в руки неприятелей, то, установив их собственника, турки потребовали бы с меня выкуп по меньшей мере в размере суммы, проставленной на расписке. Нас доставили в Алжир, где я встретился с монахами-тринитариями, выкупавшими пленных. Я заговорил с ними, объяснил, кто я такой, и они из сострадания выкупили меня, хотя я и чужеземец. Сделали они это следующим образом: дали за меня триста дукатов, из коих сто внесли немедленно, а двести обещали уплатить, когда возвратится корабль с подаяниями, предназначенными для выкупа одного из монахов ордена, оставшегося в Алжире под залог в четыре тысячи дукатов, издержанных им сверх своих наличных денег. Милосердие этих отцов сочетается с таким состраданием и такою щедростью, что они сами

отдают себя в плен, лишь бы только выкупить других пленников. Помимо счастья вернуть себе свободу, я разыскал еще и потерянную шкатулку с бумагами и распиской. Я показал ее благочестивому отцу, который меня выручил, и предложил ему, помимо суммы своего выкупа, еще пятьсот дукатов в целях погашения его собственного залога.

Корабль с подаями не приходил около года. Если бы я стал сейчас рассказывать мои приключения в течение этого года, то составилось бы отдельное повествование. Скажу только, что меня узнал один из тех двадцати турок, которых, как упоминалось выше, я отпустил на свободу вместе с христианами; человек этот оказался таким благодарным и добрым, что не пожелал меня выдать, а ведь узнай турки, что я потопил у них две галеры и захватил большой корабль из Индии, они лишили бы меня жизни или отдали султану — и тогда я навеки лишился бы свободы. В конце концов я прибыл в Испанию вместе с освободившим меня святым отцом и с полутысячей выкупленных пленников. В Валенсии мы прошли в общей процессии, а затем все (в таком же платье, как я, и со значком, свидетельствующим об освобождении из плена) разошлись в разные стороны. Сегодня я прибыл в ваш город с таким горячим желанием увидеть мою невесту Исабелу, что, отложив все свои дела, стал искать монастырь, в котором должен был получить о ней известия.

Вы видели, что со мной там произошло. Вам остается только взглянуть на мои записи, дабы убедиться в истинности моей истории: она столь же чудесна, как и правдива.

С этими словами он вынул из железной шкатулки записи, о которых упоминал, и передал их

в руки заместителя архиепископа; тот рассмотрел их вместе с наместником и не нашел в них ничего, что могло бы навести на сомнение в правдивости рассказа Рикаредо. Для окончательного подтверждения его слов волею неба тут же в комнате оказался тот самый флорентийский купец, на которого была составлена расписка в тысячу шестьсот дукатов. Он попросил представить ее и, признав документ действительным, тотчас же его принял, так как извещение по этому делу было им получено много месяцев тому назад. Таким образом, удивление сменялось удивлением и одно чудо — другим. Рикаредо заявил, что он вновь подтверждает свое намерение внести обещанные пятьсот дукатов. Наместник обнял Рикаредо, родителей Исабелы и ее самое и в самых учтивых выражениях засвидетельствовал им свое уважение.

То же самое сделали оба сановника церкви, попросив при этом Исабелу письменно изложить эту историю, для того чтобы ее мог прочесть владыка архиепископ¹, что она и пообещала.

Глубокая тишина, которую соблюдали все присутствующие, внимая удивительным событиям, была нарушена: все от мала до велика прославили Бога за его великие чудеса, поздравили Исабелу, Рикаредо и родителей и наконец разошлись. Исабела и Рикаредо попросили наместника почтить своим присутствием их бракосочетание, которое решили совершить через восемь дней. Наместник с радостью откликнулся на эту просьбу и восемь дней спустя явился на свадьбу в сопровождении знатнейших жителей города.

¹ В Севилье действительно проживал епископ (Ф. Ниньо де Гевара), живо интересовавшийся занимательными литературными новинками.

Такими-то запутанными путями и при таких именно обстоятельствах родители Исабелы разыскали свою дочь и вернули свое состояние, а Исабела, с помощью неба и своих добродетелей, несмотря на многочисленные препятствия, нашла себе мужа в лице такого знатного человека, как Рикаредо. Думаю, что и до сего дня она еще живет вместе с ним в доме, который они сняли напротив монастыря Святой Паулы; впоследствии они даже купили этот дом у наследников одного бургосского идадьго по имени Эрнандо де Сифуэнтес.

Настоящая новелла может подтвердить нам, какую силу имеют добродетель и красота, ибо и вместе, и порознь они способны вызвать к себе любовь даже со стороны наших врагов; а кроме того, новелла эта ясно показывает, каким образом небо из самых великих бедствий умеет извлекать для нас величайшие выгоды.





ИЗ КНИГИ «ПОБАСЕНКИ»

ВЕРОЛОМНЫЙ ДРУГ



Один купец, привез в приморский город много разного товара и, сбыв его частью в кредит, частью за наличные, остался с почти двумя тысячами квинталов¹ железа на руках, каковые он, не найдя возможности продать, препоручил своему другу, которому очень доверял, чтобы тот сохранил их до его возвращения. Взял этот почтенный человек железо и через четыре дня после отъезда купца продал его все оптом на монастырские решетки и на балконы для королевского дворца в этом городе и уступил товар дешево, с тем чтобы ему заплатили немедленно, а деньги, будто свою законную собственность, употребил на свои нужды и вскоре все истратил. Через некоторое время купец снова

¹ К (в) и н т а л — мера веса, равная 46 кг.

туда приехал и, увидевшись с другом и расспросив его о здоровье жены и детей, сказал, что хотел бы избавить его от железа, так как пристроил его по дороге. Но тот, уже давно обдумавший хитрость, надеялся на свой расчет и, изобразив на лице величайшую скорбь, отвечал:

— Господи, хоть бы никогда не было этого железа в моем доме; не знаю, что за злая звезда то была, ибо в ту самую минуту, как его привезли, набежало такое множество крыс, наверное, на запах, что когда мы спохватились — кто бы мог поверить? — они уже все прикончили; не думаю, что в доме найдется хоть три унции; ей-богу, когда я увидел, мне стало жаль больше, чем если бы это было мое.

Хозяин железа едва смог удержаться от смеха, слыша такую несуразную ложь, но постарался скрыть свою досаду и, сделав вид, будто вполне ему верит, отвечал так:

— Случай этот такой странный, что я не поверил бы, если бы кто другой мне его рассказал, и боюсь, не обманул ли меня тот, кто мне его продал, и не было ли подмешано в железо свинца или другого мягкого металла; но что теперь поделаешь, не убивать же нам друг друга из-за этого железа? Туда ему и дорога, и я рад, что мой товар пострадал, потому что у меня нет никакого сомнения, что эти проклятые крысы были такими голодными, что, не найди они железа, чтобы утолить свой голод, они набросились бы на тебя и на твою жену и детей и съели бы вас до самых ушей, хвала Господу во веки веков!

Неверный друг остался очень доволен таким ответом и, думая, что купец это так проглотил, пригласил его к себе на следующий день отобедать. Тот принял приглашение, но всю ночь не

спал и думал, как отомстить за обман и ущерб, не обращаясь в суд. И придя на следующий день на обед, как бы условлено, после еды начал он забавляться с маленьким сыном хозяина дома, будто не было на свете никого ему милее, и когда отец удалился отдохнуть, улестил малыша так, что незаметно от всех смог его похитить и поручил одному своему другу, чтобы тот держал его взаперти, намереваясь не отдавать ребенка, пока ему за все сполна не заплатят. Когда отец хватился мальчика и узнал, что того весь день не было видно, в страшном неистовстве кинулся он искать его по всему городу. И идя от одного дома к другому, столкнулся с похитителем и стал у него настойчиво выпытывать, не знает ли он чего о пропаже. Купец, только того и ожидая, притворно отвечает:

— С час тому назад я видел, как в этом самом месте низко над землей пролетала большая стая коршунов, унося в когтях ребенка, и теперь припоминаю, что это, пожалуй, и был твой; по крайней мере он был похож на тебя как две капли воды.

Огорченный отец, слыша столь невероятную вещь, начал кричать, как безумный, и в крайнем отчаянии говорить:

— Видели ли когда-нибудь подобную ложь? Кто на свете слышал, чтобы коршуны уносили по воздуху детей? Это же не цыпленка унести!

Тогда стал смеяться купец и сказал:

— Не думал я, что ты так плохо знаешь белый свет и так мало знаком с древней историей; разве ты не читал, как давным-давно орел унес в небеса другого красивого мальчика, которого звали Ганимедом?¹ Ты, может быть, скажешь, что это сказ-

¹ Г а н и м е д — в греческой мифологии сын дарданского царя Троя, за необыкновенную красоту похищенный Зевсом, принявшим облик орла, и взятый им на небо.

ка; будь по-твоему, из-за этого нам с тобой нечего ссориться. Но в краю, где водятся крысы, съедающие две тысячи квинталов железа, чего же удивляться, что коршуны уносят по воздуху детей? Более мне удивительно, что они не уносят еще и взрослых мужчин и женщин.

Тут наконец догадался коварный друг, что тот, чтобы вернуть свое железо, спрятал его сына. И, не находя другого выхода, он простерся перед ним ниц и попросил прощения за прошлое, обещая в ближайшее время выплатить всю сумму. Получив надежные гарантии, купец соблаговолил вернуть ему сына.

Кто обмануть другого не стыдится,
не мудрено, что в лужу сам садится.

ПРАВДИВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЛЖЕЦ

Шли по дороге два товарища, оба из одного края и знакомые; один из них — друг истины и прямодушный, другой — лжец и притворщик. Случилось так, что, в одно и то же время увидев лежащий на земле кошелек, оба кинулись его подбирать и обнаружили, что он полон золотых дублонов и осьмеричных реалов. Когда они подходили к своему городу, честный сказал:

— Разделим-ка эти деньги, и пусть каждый делает со своей долей все, что ему вздумается.

Пройдоха на это ему ответил:

— Если нас вдруг увидят с такими деньгами, это даст повод для подозрений; к тому же будет опасность, что у нас их украдут, ведь в городе нет недостатка в людях, следящих за чужими карманами. Мне кажется, лучше всего было бы взять

покамест малую толику, а остальное закопать в потаенном месте; когда же возникнет потом у нас надобность в деньгах, мы вместе придем и выкопаем их, а на сегодня не будем доставлять себе хлопот.

Простодушный — или лучше назвать его простофиля, раз уж он не догадался о затеваемой другим хитрости, — полагая, что тот говорит без задних мыслей, легко на это согласился. И тогда взял каждый из них некоторое количество денег, а остальное закопали они у корней росшего неподалеку дерева, следя за тем, чтобы никто их не увидел, и очень довольные и радостные отправились к себе домой. Но коварный товарищ, уже на следующий день привел свой замысел в исполнение и, вернувшись тайком в укромное место, пока другой о том и думать не думал, откопал и унес к себе домой кошелек со всеми деньгами так, что ни одна живая душа ничего не заметила. Через несколько дней честный простака, встретившись с коварным хитрецом, сказал ему:

— Мне кажется, пора уже нам вытащить деньги и поделить их, потому что я купил виноградник и надо за него заплатить, да и другие у меня появились нужды.

Другой ему в ответ:

— Я тоже землю купить собираюсь и вышел как раз с тем, чтобы вас по этому случаю отыскать.

— Вот как удачно мы столкнулись, — говорит товарищ, — можем теперь и пойти вместе, как условились.

— Так пойдем в добрый час, — говорит второй.

И, не теряя больше слов, двинулись оба в путь. Придя к дереву, где были зарыты деньги, сколько они ни копали вокруг, а денег не находили, потому

как их и след простыл; злодей, что украл их, начал, как обезумевший, махать руками и кричать в полном отчаянии и тоске:

— Нет теперь у людей ни чести, ни совести, кого считаешь себе самым большим другом, тот тебя первый и предает. Кому теперь можно верить на всем белом свете? Ах ты предатель, ах ты пройдоха! Вот ты как слово сдержал! Кто, кроме тебя, мог украсть эти деньги? Никто ведь о них не знал!

И вот наш простака, у которого больше было оснований скорбеть и жаловаться, потому как в один миг улетучились все его надежды, вынужден был еще извиняться, и оправдываться, и клясться всеми святыми, что ничего подобного отроду и в мыслях у него не было. Но это мало ему помогало, так как хитрец еще больше возмущался и еще громче кричал:

— Не думай, что ты выйдешь сухим из воды: правосудие все узнает и накажет тебя так, как ты, злодей, того заслуживаешь.

Другой возражал, что он ни в чем не повинен, и вот, крича и ругаясь, пошли они к судье, каковой, дав им перед собой вволю попререкаться, спросил, не было ли кого поблизости, когда они прятали золото. Тогда обманщик, являя более уверенности, чем будь он святым, ответил:

— Да, сеньор, был свидетель, не умеющий лгать: это то самое дерево, у корней которого были спрятаны деньги; оно Божьим соизволением скажет всю правду, как это было, дабы обличить лживость этого человека и возвеличить справедливость.

Тогда судья, поразмыслив, приказал, чтобы на следующий день обе стороны явились в указан-



ное место, дабы там решить дело. Очень показалось удачным решение судьи злоумышленнику, рассчитывавшему, что таким путем осуществится задуманная им хитрость. И вот, вернувшись домой и позвав своего отца, он сказал ему так:

— Дражайший батюшка, я хочу открыть вам тайну, которую до сегодняшнего дня от вас скрывал, ибо казалось мне, что так следовало поступить. Знайте же, что я сам украл тот клад, который требую через суд от моего товарища, ради того, чтобы иметь возможность содержать вас и всю семью и не знать нужды. Хвала Господу и моей сообразительности, дело это так оборачивается, что с небольшой вашей помощью мы непременно выиграем.

И он рассказал отцу все, что произошло и что приказал судья, а затем добавил:

— А сейчас хочу вас попросить спрятаться этой ночью в дупле того дерева, ибо вы легко сможете залезть туда и сидеть внутри со всеми удобствами, так как дерево очень толстое, и я хорошо его осмотрел. А когда судья задаст вопрос, вы, изменив голос так, чтобы он походил на голос какого-нибудь духа, ответите, как будет нужно.

Злой старик, воспитавший своего сына таким, каким был сам, быстро согласился с его доводами и, не страшась какой-либо опасности, той же ночью спрятался в дереве. На следующий день пришел туда судья с обоими тяжущимися и толпой любопытных и, приступив к слушанию дела, громко спросил дерево, кто украл сокровище. Подлый старик страшным голосом медленно произнес, что это был правдивый. Это повергло судью и всех присутствующих в невероятное изум-

ление, и некоторое время они не могли проронить ни слова, после чего судья сказал:

— Благословен Господь, таким чудесным образом соблаговоливший показать нам, сколь сильна истина. И чтобы навеки, как и подобает, осталась об этом память, я хочу собственными глазами в том убедиться, потому что, помнится, читал я, что в древности в деревьях жили нимфы; по правде говоря, я никогда не верил в подобные вещи и считал все это за выдумки и сказки поэтов, а теперь не знаю, что и сказать, поскольку здесь в присутствии стольких свидетелей сам слышал, как это дерево говорило. Очень интересно мне было бы узнать, нимфа это или дух, и посмотреть, какая она из себя и так ли красива, как утверждают поэты.

Сказав это, велел он нагромоздить у подножья дерева сухих веток, которых там было в изобилии, и поджечь их. Кто смог бы описать, каково было бедняге старику, когда ствол начал нагреваться, а дым стал его душить? Я могу лишь сказать, что он принялся очень громко кричать:

— Милосердия, милосердия, горю, задыхаюсь, пылаю!

Увидав, что чудо произошло не по божественному промыслу и не из-за нимфы, живущей в дереве, судья велел вытащить едва не задохнувшегося старика и в наказание ему и его сыну за их злодейство велел им принести все деньги и передал их правдивому, которого они столь несправедливо оклеветали. Так была вознаграждена правда и наказана ложь.

Правда в конце концов побеждает,
а ложь и придумщик ее погибают.

ИМПЕРАТОР И ЕГО СЫН

Император Трапезунда, хоть и был преклонного возраста, решил жениться на Флорисене, дочери царя Анатолии, пленившись ее красотой на портрете, который он увидел. Царь Анатолии в надежде заполучить столь могущественного зятя¹ не придавал большого значения разнице в возрасте между ним и дочерью, хотя ей не было и двадцати, а тому уже перевалило за семьдесят. Поставив ее в известность о своем намерении и не получив с ее стороны согласия, он благословил брак. Император, жаждавший этого не меньше, чем царь, послал своего сына Арминта, чтобы тот представлял его во время венчания и привез ему супругу; повинувшись отцу, сын тотчас отправился в путь. Это был красивый юноша в расцвете лет — не старше двадцати семи. Когда он прибыл ко двору царя Анатолии, его приняли очень торжественно и были очень рады его приезду, а больше всех — Флорисена; мало что зная о своем браке и муже, она смутно предполагала, что это он и есть и, видя его молодость и пригожесть, сразу в него влюбилась. Он тоже был очарован ее красотой, но так как знал, что она будет женой его отца, человека сурового и весьма твердого характера, он был с нею так осторожен, что не давал ей даже повода открыть свои чувства и свою любовь к нему, а когда она пыталась намекнуть, делал вид, что не понимает и принимает на счет своего отца всякое проявление ее любви. Придя от этого в отчаяние, Флорисена, раз уж ей не удавалось, как

¹ Трапезундская империя существовала с 1204 по 1461 г. Под Анатолией можно понимать Никейскую империю (1204—1261), в действительности гораздо более могущественную, чем первая.

говорится, объясниться знаками, призналась ему в любви без обиняков, рассчитывая на взаимность. Но он отверг ее домогательства как очень недостойное дело из-за того оскорбления, которое он нанес бы этим своему отцу императору; если бы не это обстоятельство, он очень охотно ответил бы на ее чувство. И с тех пор он избегал оставаться с ней наедине, лишая ее даже удовольствия наслаждаться его обществом. И тогда (полагая, что ее отъезд состоится через несколько дней) она послала к императору гонца с письмом, в котором жаловалась, что он прислал вместо себя юнца, обращающегося с нею так бесцеремонно, что это доходит до неприличия, ибо он не желает повиноваться ее самым законным требованиям, и что она, видя такую нелюбезность в сыне, опасается, и не без оснований, что это идет от нелюбезного характера отца — а ей уже кое-что об этом порассказали, — и посему, если он хочет развеять это подозрение и желает быть с ней в ладу, то должен строгонастрого повелеть ему быть ей послушным и во всем исполнять ее волю. Император, долго не думая и намереваясь во всем ей угождать, написал сыну, браня его за суровость и недружелюбие по отношению к той, с кем он должен был обращаться со всей любовью и лаской — так, как обращался бы он сам, если бы был с нею рядом, а посему пусть изменит свое поведение и ни в чем ей не перечит, если не желает разгневаться и быть наказанным за свое непослушание. Вместе с письмом он отправил Веркория Барсела, старого дворянина из числа своих приближенных, который некогда был наставником принца и к которому тот питал большое уважение. Но посланец застал их уже в пути и даже неподалеку от императорского дворца. Тотчас передал он принцу письмо, а с ним

и приказ отца, что немало встревожило Арминта, так как уже по дороге она домогалась его всякий раз, как к тому предоставлялась возможность; и, видя, что они уже приближаются к столице, она решила предпринять последнюю попытку, полагая, что потом у нее не будет такого удобного случая; прибытие столь благоприятного для нее письма также ее воодушевило. И вот она, распорядившись, под предлогом нездоровья из-за тягот пути, чтобы никто не оставался в ее покое, кроме одной-единственной горничной, приказала позвать к себе принца, и когда тот пришел, сказала, что ей сообщили, что одна из фрейлин, служившая ей камеристкой, ее предает, приводя своего возлюбленного в покой, где она спит; что кто дерзает совершать таковое, не остановится и перед тем, чтобы покушаться на нее самоё; что она не осмеливается доверить эту тайну никому, кроме него, а ей сказали, что тот человек входил переодетый женщиной; что если он вдруг снова придет в эту ночь, она известит его через другую фрейлину, которая ее предупредила и которая всегда при ней, и чтобы он был наготове, дабы тот не ускользнул. Арминт, хотя он и опасался подвоха, видя, что фрейлина все подтверждает, подумал, что он может ошибаться и все это правда, и, не подозревая, что подвергает себя опасности, решил удостовериться собственными глазами. А чтобы не возникло огласки в случае если это окажется ложью, он не захотел говорить кому-либо об этом и, пройдя в свой покой, через некоторое время вышел вооруженный шпагой и кинжалом и стал караулить, не войдет ли кто-нибудь. Когда принц ушел, Флорисена тотчас вышла вслед за ним вместе со своей фрейлиной (которую она очень любила, так как та верно хранила все ее тайны) и в час ночи,

когда все стихло, вернулась с нею в свой покой; принц, увидев их в полумраке, всерьез поверил в то, что ему рассказали. Тем не менее он пошел к себе и стал ждать, чтобы его позвали. Вскоре прибежала фрейлина и со словами, что пора идти, отвела его в покой Флорисены, где велела сложить в угол шпагу и кинжал, уверяя, что это мальчишка, которого он может просто выпороть; и тогда она подвела принца к постели Флорисены, которая тотчас заключила его в объятия и вполголоса стала говорить ему:

— Попался, предатель, попался! Извольте сделать по-моему, или это вам будет стоить жизни.

Несчастный юноша в смущении не понимал, что с ним приключилось. Наконец, выскользнув из ее рук и схватив на бегу шпагу, он пустился наутек куда глаза глядят, не разбирая дороги. Но судьбе было угодно, чтобы он наткнулся на кавалерийский отряд, который его отец, узнав о приближении императрицы, отправил для ее эскортирования. Те схватили его и повезли с собой. А Флорисена, как только он скрылся, начала кричать, что он ее обесчестил; воздух наполнился ее воплями, и горю ее не было границ. Император, узнав, что она совсем близко, выехал из города ей навстречу и скорбел немало при виде ее скорби. Еще горше стало ему, когда он услышал причину, и совсем уж горько, когда всадники передали ему схваченного сына, ибо тогда он поверил в подлинность ее жалоб. Он повелел заточить того в тюрьму, и так как она не допускала его к себе, пока принц не будет казнен, пришлось поторопиться с судом. Когда настал назначенный день, император для пущей важности собрал мудрецов из своего совета, и присутствовавшая там императрица попросила у него, чтобы они и были

судьями, так как страсть и естественная привязанность не позволят ему самому вынести справедливое решение, на что он согласился. Тогда привели и поставили перед ними связанного принца, и когда его допрашивали, он ни разу не раскрыл рта. Тогда императрица сказала:

— Так как принц не говорит и известно, что молчанье — знак согласия, то он полностью уличен в нанесенном мне оскорблении; и потому я прошу у вашего величества в присутствии этих мудрецов, чтобы вы предоставили мне выбор наказания и торжественно поклялись, что точь-в-точь исполните все, что я распоряжусь с ним сделать, и если справедлива моя просьба, то пусть она будет свято соблюдена, а если нет, то пусть мне здесь сразу скажут, дабы не утруждаться мне понапрасну.

Ей все отвечали, что, раз уж она была пострадавшей, то по справедливости ей причиталось выбрать себе удовлетворение, с тем лишь условием, чтобы наказание не превышало смерти и не предполагало пыток и прочего бесчестия. Император торжественно поклялся, что пойдет на все, что она прикажет, и всех заставит ее решению следовать. Тогда Флорисена сказала:

— Дело в том, что мой отец ничего не сообщил мне об этом браке кроме того, что выдает меня за императора Трапезунда, и не сказал мне о его возрасте и прочих обстоятельствах; и когда я увидела принца, я подумала, что он и есть мой муж, и полюбила его как жена, а не как мать, что и не соответствовало бы нашему возрасту. И с той самой минуты я не останавливалась, пока в конце концов не принудила его исполнить мою волю. Так что это я его насильно заставила, а не он меня; я за него вышла замуж и была все время уверена, что он мой настоящий супруг. Будучи женой сына,

я уже никак не могу стать женою отца. Но даже если бы ничего такого и не было, то поскольку брак должен быть добровольным и свободным, а не по принуждению, я заявляю, что буду служить государю императору на коленях как дочь и сноха, но не как жена. А если нет на то его воли, то я вернусь к батюшке моему царю и как вдова буду ждать, что Бог сделать со мною соизволит.

Так сказала императрица. И хотя видно было, что император весьма взволнован, так как мудрецы и прочие присутствующие (они боялись, что принцу вынесут какой-нибудь суровый приговор) были на ее стороне и превозносили ее благоразумие, напоминая императору о данной им клятве, пришлось ему умерить свой гнев, ибо в противном случае его, несомненно, обвинили бы не только в чрезмерной строгости и жестокости, но и в старческой распущенности и безумстве, если бы он не пожелал примириться с тем, что сам признавал более справедливым, чем доводы его неразумной страсти. И, приняв ее в конце концов как невестку, он повелел сыграть свадьбу, и тогда горе и страх за принца, которые все испытывали, обернулись весельем и праздником.

Если ты стар и дряхл, на юной не женись:
чтобы не каяться потом, сейчас остерегись.

РЫЦАРЬ, ПРЕДАННЫЙ СВОЕМУ СЮЗЕРЕНУ

Много лет тому назад жил в городе Толедо дворянин по имени Родриго Лопес, считавшийся человеком весьма почтенным и с достатком. У него было две дочери и единственный сын, которого

звали Фадрике, юноша достойный и благородный, но кичившийся своей доблестью и потому казавшийся высокомерным. Он водил дружбу со своими сверстниками, и в один прекрасный вечер был вовлечен в ссору из-за одного из своих приятелей, а так как противников числом было больше, что явилось для него поводом для возмущения, а с ним и для большей дерзости, то действовал он так, что убил одного из них. И поскольку убитый принадлежал к могущественному роду, он, опасаясь правосудия, решил скрыться и поискать себе в мире счастья. Он сообщил отцу о своем намерении, прося его позволения на отъезд и благословения. Отец в слезах благословил его, напутствовал, как ему надлежало себя вести, а также снабдил деньгами и слугами и дал двух лошадей. В то время король Франции воевал с Англией, и, намереваясь служить ему, Фадрике отправился в стан короля, где ему посчастливилось попасть в отряд графа д'Арманьяка, главнокомандующего и родственника короля. Затем, когда для того представлялись случаи, он начал выделяться и проявлять отвагу, совершая удивительные подвиги как в полевых сражениях, так и при осаде городов и крепостей, так что и французы, и неприятель только и говорили, что о его подвигах и доблести. Это снискало ему любовь и расположение главнокомандующего, оказывавшего ему всяческие милости; и так как граф в присутствии короля всегда его хвалил и превозносил его деяния, король, пленившись его храбростью, взял Фадрике к себе на службу и сделал своим приближенным и генерал-майором, а также дал ему почетнейшее право быть первым на военном совете — одним словом, так его ценил, что ему казалось, что без Фадрике ни одно важное дело не будет выполнено. Но пришла зима, король

приказал снять лагерь и с цветом своих рыцарей, в том числе и Фадрике, вернулся в Париж. Прибыв туда, он, чтобы потешить народ и отпраздновать свои победы, решил устроить торжество, на которое были приглашены самые выдающиеся мужи и самые знатные дамы королевства. Среди множества дам, приехавших на праздник, была и дочь графа д'Арманьяка, выделявшаяся изумительной красотой. Когда, ко всеобщему удовольствию, состоялось открытие празднеств и Фадрике стал блистать в рыцарских турнирах и других состязаниях, дочь графа обратила на него внимание и, зная уже о его подвигах, а тут и увидав героя собственными глазами, влюбилась в него по уши и, не сводя с него глаз, а также другими уловками открыла ему свою любовь так, что Фадрике ее заметил. Но, будучи по природе своей добродетельным и помня благодеяния, полученные им от ее отца графа, он притворился, что ничего не понимает. Девушка, полюбившая его всем сердцем, была от этого в полном отчаянии и буквально сходила с ума. В смятении пришло ей в голову написать ему письмо, что она и сделала, излив в нем свои страсть и горе с такой силой и с такими трогательными признаниями, которые могли бы смягчить даже сердце зверя, и, позвав своего верного слугу и препоручив ему свою тайну, велела отнести письмо Фадрике. Слуга, опасаясь, как бы это дело не запятнало ее чести, и в страхе перед возможными последствиями, вместо того, чтобы отнести его Фадрике, отнес своему господину графу. Тот, прочитав письмо и увидев намеренья своей дочери, от огорчения хотел расшибить голову о стены. Он уже представлял себе, как ее убьет или как заточит в темницу на всю жизнь. Но, придя немного в себя, задумал он проверить

Фадрике и посмотреть, как тот к этому отнесется. С этой целью он снова запечатал письмо и велел слуге передать его со всеми предосторожностями Фадрике от имени его дочери и дожидаться ответа. Слуга отнес письмо, а Фадрике, узнав, чье оно, принял его довольно кисло, и ответ его сводился к тому, что он умолял ее выбросить эту безумную идею из головы; что разница между ними такова, что они не могли соединиться законным путем, так как он был бедным дворянином, а она — дочерью столь знатного сеньора, и что он скорее подвергнет себя любому несчастью и мучению, вплоть до потери жизни, чем делом или помышлением решится оскорбить своего сеньора графа, от которого получил столько милостей; что если она не может справиться со своим чувством, то по крайней мере пусть его умерит и не дает повода говорить о себе; что фортуна со временем это поправит: или ее страсть утихнет, или, как и следовало ожидать, переменится, или ему фортуна пошлет такую удачу, что в награду за его услуги король окажет ему новые милости и еще более возвысит; что тогда, может быть, ее отец не будет против, и в этом случае для него это будет величайшей милостью, но без его согласия пусть и не надеется, что сейчас или когда-либо он ей уступит. Таков был его ответ. И, тщательно запечатав письмо, он отдал его слуге, чтобы тот отнес своей сеньоре. Тот же отнес его графу, как ему и было приказано. Граф прочел его, и под влиянием этого письма не только прошло его раздражение на дочь, но и, приняв новое решение, он тотчас отправился к королю и рассказал ему обо всем, что произошло вплоть до предъявления писем, и сообщил о том, что собирался предпринять. Король, выслушав все это, не удивился поступку девушки, скорее даже

нашел ему оправдание, зная, какую силу имеет природа в подобных случаях; но он был поражен скромностью и преданностью дворянина, и его расположение и благожелательность к нему удвоились. И, рассуждая с графом о том, что следовало делать, он повелел тому выполнить все, что было им задумано, а что до него лично, то он обещал сделать все так, как подобало его королевскому величию. И так и поступил. Они послали за Фадрике, и граф в присутствии короля с великой радостью отдал ему свою дочь в жены. А на следующий день король созвал в свой дворец всех придворных вельмож и устроил венчание. Кто мог бы описать ликование дамы при вести о том, что ей дают в мужья того, в кого она была так страстно и так безнадежно влюблена? Фадрике тоже был очень доволен. Торжество по поводу их свадьбы было очень пышным, и они потом в мире, ладу и согласии прожили много-много лет.

Коль верность сеньору ты сохранишь,
то этим себе ты не повредишь.



ДЬЕГО АГРЕДИ ВАРГАС

ИЗ КНИГИ «МОРАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ»

НЕОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ БРАТ



оистине замечательна Гранада, город несравненный, с великолепными пышными строениями и несметным множеством жителей, обитающих в нем вкупе с серафимами, которые, совсем как люди, наслаждаются отпущенной природой благодатью. О славная Гранада, повсеместно почитаемая в Испании райским уголком, утопающая в зарослях красных роз, твои сады, затмевающие чудо висячих садов Семирамиды, завлекают и поражают пришельцев; здесь соперничают между собой целебный воздух, изобилие, благолепие и довольство; о город — средоточие величия и неги, ты мог бы одолжить достоинств любому из наиславнейших царств земных, и это послужило бы к вящей славе любого!

Так вот, в этом самом городе, а точнее сказать — истинном раю, проживал некий кабальеро по имени дон Алонсо де Варгас, обладатель скромных достатков и величайших добродетелей. И чем более очевидны становились для этого добродетельного сеньора тщета и убогость человеческого существования, чем более утверждался он в том, что срокам пребывания его в дольном мире положен предел, тем сильнее сгущалась над ним тень смерти. А потому, как человек благоразумный, он должным образом подготовился к неминуемому тяжкому пути, произведя кропотливый и тщательный расчет с земными делами.

Были у него сын и дочь, сына звали Хуан, имя же дочери было донья Исабель, и служили они стариковским летам единственным утешением, представляя взору старца живым воплощением собственной души, тем хрупким телесным продолжением, стремление к которому присуще всем людям. И потомство достойно представляло свой род: добропорядочность и благонравие доньи Исабели были на устах у всех, да и сына отличали пригожесть и благовоспитанность. И потому так повелось, что если устраивали в городе праздник, то юноша неизменно радовал горожан своим участием, а если возникала ссора, то, даже нанося порой урон своему карману, а равно душевному спокойствию, он по-доброму улаживал ее. С друзьями и себе ровней он держался с достоинством, был благожелателен и вел себя безупречно, с низшими бывал ласков и щедр и оттого пользовался всеобщим расположением. Любили его и бедняки, и богачи. А если к уже упомянутым добродетелям еще присовокупить сердечность, благоразумие, любезность в обхождении и милovidность, то нечего и говорить, что всякий раз, как о нем заходила

речь, отовсюду слышались одни хвалы, и было это справедливо и по заслугам.

Как водится, не чурался дон Хуан общества своих сверстников, таких же юных кабальеро, и особенно подружился с одним из них по имени Дьего Мачука, потомком того самого знаменитого храбреца, который в битве за Севилью, оказавшись безоружным, пустил в дело вместо меча оливковую ветвь и сотворил ею изрядные подвиги. А так как у одногодков, чему тут удивляться, переживания схожие, а стало быть, и поступки одинаковые, то во всем меж собой друзья ладили и досуг проводили так, как его обыкновенно проводят в молодые лета.

И вот случилось раз дону Хуану рассказать о дружбе с доном Дьего отцу и сестре, и добрый старик, уже наслышанный о достоинствах кабальеро, тем более внушающий уважение, что выказывал их человек совсем молодой — и это в наше-то время, когда юность вместо того, чтобы стеречься пороков, ими бахвалится, — так вот, старик отец одобрил выбор сына и поощрил его, а потом удалился к себе, оставив вдвоем с сестрой. Меж тем дон Хуан, не подыскав ничего подходящего, о чем бы можно было с нею поговорить, опрометчиво продолжал превозносить достоинства приятеля, его отвагу, великодушие и скромность, так что получалось, по его словам, что нет в мире достойнее кабальеро, нежели его друг.

Вот так и проснулось в донье Исабели столь опасное в женщинах праздное любопытство, так пробудилось желание взглянуть на дона Дьего, ведь не доводилось ей дотоле слыхивать о таких совершенствах. Со смиренницами как раз и случается, что если уж у них в голове что-нибудь засядет, то никак им от этого желания не отделаться.

А потому неосмотрительно нахваливать девушкам мужчин, и совсем другое — хвалить женщин, слышащих образцом добродетели. Такие хвалы очень редко пробуждают желание взглянуть на тех, кому они предназначаются. Впрочем, славословие одним в присутствии других порой выглядит прямой неучтивостью, и самая умная из женщин и та непременно заподозрит в сказанном какое-нибудь унижение для себя самой. Женщины в таких делах очень чувствительны и способны разобидеться на малейшую небрежность, сочтя ничтожное нарушение этикета за личное оскорбление.

А потому, умело скрывая свои чувства — где уж мужчинам за женщинами в таких вещах угнаться, — донья Исабель ответствовала, что ей было бы только лестно повидать человека, которого так высоко ставит ее брат, ведь брату она доверяет безоговорочно, к тому же ей надлежит прислушаться к замечанию глубокочтимого батюшки, призвавшего брата крепко хранить узы этой дружбы. Пообещал брат сестре, что так оно и будет, и к сказанному присовокупил, что желания его простираются дальше, что пришлось бы ему весьма по душе, когда бы доня Дъего приняли в доме как своего, и они бы породнились.

И тогда сестра, зардевшись — а любой девушке ничего не стоит покраснеться, если только она положит это уместным или же ей помстится, что так она краше выглядит, про то даже знатоки женских уловок и те не догадываются, — так вот, желая соблудности приличия, донья Исабель сказала:

— Господин мой и брат, никогда не совершу я ничего такого, что придется вам не по вкусу, ибо превыше всего я ставлю вашу любовь и добродетели, но девушкам моих лет не пристало вмешиваться в эти дела, и даже будь я старше, то и тогда бы

не озаботилась ими. Конечно, ежели было бы мне дано выбирать, я желала бы взять в мужа человека найдостойнейшего, конечно, когда бы намерение мое совпадало с волей нашего батюшки, который один и есть властитель всех моих желаний. Но коль вы ко мне благоволите, я верю, что мои помыслы и с его стороны не встретят возражений, особливо потому, что хозяин в доме у него уже есть.

На это дон Хуан отвечал, что такие речи, как всякая застольная беседа, имеют целью всего лишь приятное времяпрепровождение, но что он глубоко обрадован благоразумием и душевным благородством сестры, а равно намерением беспрекословно повиноваться праведной воле батюшки. На прощанье сказал дон Хуан сестре, нимало не веря собственным речам, что уповает на грядущее, в котором осуществилась бы малая толика ее чаяний. В то время как донья Исабель сгорала от желания повидать превознесенного до небес кабальеро, дон Хуан направился к дону Дьего и в мельчайших подробностях пересказал ему беседу, не преминув расписать красоту сестры, ее скромность и рассудительность. Польщенный благосклонностью, дон Дьего отвечал как мог любезнее, и приятели остались предовольны друг другом.

Воображению дона Дьего рисовалась красота доньи Исабелы, заманчивые возможности, выпавшие на его долю благодаря Фортуне, а вовсе не в награду за усердие, и еще подумалось дону Дьего, что раз в обществе они ровня, то, стало быть, притязания его, случись такое, не должны встретить отпора. Решив собственными глазами удостовериться в правоте молвы, он из приличия поговорил с приятелем еще кое о чем, после чего распрощался с ним, и тот без промедления отпра-

вился докладывать сестре про то, о чем у них с доном Дьего было говорено, подливая масла в огонь, и без того раздутый неумеренными речами.

Что же касается доньи Исабелы, то ее думы отныне сводились к тому, как бы, не уронив достоинства, хоть одним глазком взглянуть на дона Дьего. И само это желание, казавшееся ей несбыточным, было сущей пыткой: кому же не ведомо, что женщины легко воспаляются и любовью, и ненавистью, в мгновение ока становясь добычей своих страстей.

Меж тем дон Дьего ломал голову, размышляя, какой ему в сем деле путь избрать, и пришло ему на ум то, что в наши грешные времена в такого рода делах обычно на ум приходит, а именно, что неплохо бы поглядеть на нее в церкви, — а когда дурные помыслы исполнить удастся, куда ж хуже? Ну да если речь идет о такой незапятнанной репутации, как у этой благородной девушки, у которой в голове только вещи возвышенные да праведные, то, хоть это и возбраняется, но можно порой и помягче быть. Да только нынче иные чересчур вольготно себя держат — когда у себя дома, это еще полбеда, а вот в храмах развязное и непочтительное поведение юнцов — просто стыд. И куда только смотрят судьи да святые отцы!

Ну, а дон Дьего упорно дожидался какого-нибудь праздника. И когда праздник наступил, он послал к дону Хуану лазутчиков вызнать, когда тот уйдет из дома, а потом пошел как бы к нему, а на деле кое о чем у слуг справиться. И тут Фортунa явила ему милость. Спросил он у слуги про дона Хуана и, получив ответ, что того нет дома, осведомился, где его найти и не пошел ли он, часом, в церковь с доньей Исабелью. На это слуга отвечал, что госпожа под охраной отца в ближнем

монастыре на богослужении и что поднялись они, как в таких случаях водится, ранехонько на заре, и вот отчего домой запаздывают, того он не ведает.

Сведения, полученные от слуги, счел дон Дьего еще одним добрым знаком Фортуны. И чтобы не пробуждать расспросами подозрений, он попросился, присовокупив напоследок, что ему во что бы то ни стало надобно повидать дону Хуана, на поиски которого он тотчас же отправляется. В ответ слуга сказал, что передаст дону Хуану наказ разыскать дону Дьего, как повелевает безупречному кабальеро его долг, и что сам он неукоснительно выполняет хозяйские поручения, особенно ежели таковые хозяину, и вообще господам, почему-либо неприятны, а еще прибавил, что добиться от слуг любезности можно, только если сам подаешь им пример обходительности.

После того дон Дьего, напустив на себя озабоченность, вошел в церковь и притворился, будто ничего не замечает, погрузившись в молитву, а на самом деле, пораженный чудесной красотой доньи Исабелы, принялся — благо, выпал ему такой счастливый случай — рассматривать ее. Меж тем отец и дочь, узрев дону Дьего, прямо-таки глаз с него не спускали, удостоверившись на радость себе в отменном выборе дону Хуана и верности своего предвидения.

Сейчас-то все знают, что любовная страсть — это луч, свет которого, попадая в глаза и оставляя их невредимыми, пленяет и разбивает сердца, а иные вдобавок утверждают, что любовь чаще всего поражает ровню возрастом и положением в обществе. Жизнь ныне такова, что почти все только о любви и помышляют, причем мужчины, которых сама природа наделила большими правами в делах любовных, пленяются ею куда как

быстро, меж тем как женщины, уздой которым служит природная стыдливость, не так скоро попадают в сети. Но зато в страстях они глубже и решительнее, упорство их беспредельно, и способны они преодолеть величайшие, а то и вовсе неодолимые трудности. Происходит же это потому, что не дано им выбирать или искушать судьбу дважды; хрупкость женщин пребывает под надежной охраной презрения, обрушивающегося на них, когда не блюдут они должным образом чести, и нет любви, способной снести такое презрение, как нет обязательств, которые бы не выветрились из памяти перед лицом позора.

В один и тот же миг сраженные ядовитой стрелой Амура, разглядывали украдкой друг друга донья Исабель и дон Дьего, пока старик отец не нарушил безмолвной беседы влюбленных, подзвав дону Дьего и спросив о причинах, что побудили его почтить пребыванием сии пределы. В ответ дон Дьего после приличествующих святому месту поклонов предложил себя в слуги той, чьей душой уже безраздельно владел.

Донья Исабель, то и дело заливаясь румянцем, несколькими исполненными почтительности словами поблагодарила дону Дьего. И тут дон Дьего сказал:

— Господин мой, ваши редчайшие добродетели — отрадная причина моего появления в пределах сих; я счастлив быть другом дону Хуана и ради удовольствия повидаться с ним готов не то что эти жалкие несколько шагов пройти, но и отправиться за тридевять земель, переплыть моря и океаны, и никакие препятствия не в силах лишить меня радости быть рядом с сыном вашим. Сегодня поутру, сгорая желанием повстречаться, я отправился на поиски, и минуты, проведенные

без дона Хуана, показались мне вечностью. Я просто в отчаянии от скудости языка, не способного передать испытываемые мною дружеские чувства, и едва ли не ревную его к делам, что сегодня нас разъединили. Поистине, не ведать мне покоя, пока не окажусь я, как уже говорил вам, рядом с ним, но именно ваши достоинства, господин мой, явились причиной того, что отвлекся я от своей цели, ибо, войдя в церковь, увидал здесь вас. Пред доньей Исабелью, госпожой моей, не отважился бы я целовать ваши руки, если бы не укрепляло во мне дух знание вашего ко мне благоволения. Я даже осмелел настолько, что решился в поисках дона Хуана направить свои стопы к вам в дом, и пребывание в нем придало мне храбрости, ибо знаю я о вашей благосклонности к тем, кто вам искренний друг, и все же причина тому, что не хочется мне злоупотреблять расположением друзей, — робость моя, к которой молю вас быть снисходительными.

Галантное рассуждение привело даму в состояние совершенного замешательства, окончательно лишив способности ко всякому сопротивлению, меж тем как воображение уже рисовало ей встречи с доном Дьего с глазу на глаз. Все вместе они покинули церковь, и почтенный старец, пребывавший в отличном расположении духа, ибо ему понравился благоразумный молодой идалго, да и вкусу сына он тоже радовался, сказал:

— Велика благодарность моя сыну и за его послушание, ведь слова поперек никогда он мне не молвил, и за то, что не огорчал он меня, за верность его безмерную сестре и за то, что рыцарем он себя перед ней выказывает, за то, что все, что он делает, мне по нраву, и более всего за это знакомство, которым он доставил мне такое удоволь-

ствии. И когда я размышляю о том, насколько же велика моя благодарность, думается мне, что расхожее людское мнение часто погрешает против истины, ведь это я должен быть ему благодарен за то, что он проявил столько ума и рассудительности, избрав вас в друзья, и более того, я даже немного ему завидую. Ибо если красоту можно почесть за рекомендательное послание телесной оболочки, то умные речи — хвала душе того, кто их произносит. Я так восхищен вашим благородством, что отныне вы найдете во мне любовь не менее сильную, нежели та, которую я питаю к дону Хуану, и я уверен, что в искренности сказанного мною вам придется неоднократно убеждаться. А грубое вторжение в мой дом, за которое вы просите прощения, я почитаю сущим пустяком, ибо полагаю, что, напротив, вы оказали нам честь и что впредь будете ее нам оказывать не только потому, что вы друг моего сына, но еще и потому, что я вас искренне и глубоко уважаю.

И тогда заговорила донья Исабель и сказал:

— И я вас прошу о том же, о чем просит господин мой дон Алонсо, к которому я питаю почтение, каковое надлежит питать дочери к отцу.

В ответ дон Дьего поблагодарил отца и дочь за оказанную ему милость, почитая счастливейшим событием своей жизни благосклонность к нему той, что отныне стала госпожой его души.

В это самое время появился дон Хуан, которому уже передали, что его разыскивал друг, и, увидав его вместе с домочадцами, объяснил дону Дьего причину отсутствия и принес извинения, присовокупив в довершение:

— Ваша робость может дурно повлиять на нашу дружбу, право, с друзьями можно быть попроще.

Желанны были дону Дьего многообещающие эти слова. А потом они, как положено, распрощались, причем донья Исабель не спускала глаз с дона Дьего, и он отвечал ей тем же.

А дон Дьего, который жаждал, чтобы намерение его поскорее осуществилось, надумал прибегнуть к помощи пажа дона Хуана, приврав что-то насчет их родства, и хоть это и было явной выдумкой, какой паж способен отказаться от того, что ему во благо? И чего только не наобещал ему паж, чуть ли не жизнью пожертвовать и прочие чудеса сотворить, и все это не от душевной доброты, но токмо из чистой корысти. Благоразумно присовокупил к звону слов звон злата дон соискатель сердца доньи Исабелы, упрочив тем самым несуществующие родственные узы, а равно надежды на соискательство благоволения. Касательно слуги — с ним произошло то, что случается с некоторыми мужами, которые тревожатся не о смянутом состоянии, но мечутся в поисках доказательств знатности рода, бросив неотложные дела на милость судьбы. Итак, обговорили они между собой это дельце, и поскольку оно было опасным, предусмотрели всевозможные предосторожности, ведь успех или неудача важных замыслов много зависит от того, насколько они хорошо продуманы. Слуга предложил выведать, что и как, и когда предоставится случай повидаться без опаски, оповестить о том дону Дьего, ведь приотворив дверь в дом, не так уж трудно приотворить и дверь души.

Они расстались. Прошло несколько дней. Слуга исправно оповещал дону Дьего, и тот наслаждался благоразумными и целомудренными беседами с доньей Исабелью. Совместные чаяния сблизили влюбленных, и судьба им в этом благоприят-

ствовала. И вскоре было порешено между доном Дьего и доньей Исабелью, что при первом удобном случае попросит донья Исабель у отца согласия на брак.

Меж тем дон Хуан, слегка смущенный частыми визитами приятеля, видался с ним без прежнего удовольствия. Безмерные хвалы, расточаемые дону Дьего сестрой, причем зачастую не к месту и не ко времени — бывает ведь, хочет кто-то что-то скрыть, и меньше всего это получается, — явились причиной сильных подозрений, в которых дон Хуан скоро совершенно уверился. Но что же обидного можно сыскать в стремлении породниться с другом, если он ровня? И разве не должно, если ты безгрешен, открыться другу в своих помыслах, потому что игра в прятки как раз и начинается, когда дело нечисто? Вот с такими подозрениями, почти крадучись, расхаживал по дому дон Хуан, углубившись в свои домыслы, и из всех потуг дона Дьего развлечь его и развеселить ничего не получалось.

В городе тоже стали о том поговаривать. Нашлись любопытствующие — всегда в избытке людишек, что никому спокойно жить не дают и, хотя дело-то их — сторона, но народ этот на редкость злобный, и вечно из-за него всякие бесчинства выходят.

Тогда и произошел случай, положивший конец дружбе, и события за ним последовали и вовсе неприглядные. А все из-за того, что в праздники устраивались в городе корриды — развлечение, всем ясно, дикое и для людей воспитанных и добрых христиан непозволительное. И разве не богохульство устраивать корриду в честь святых, ведь даже сомневаться нечего в том, что это поношение Господа нашего, ибо нисколько Его не радует,

когда множество душ человеческих подвергается опасности. Конечно, если бы все участники сидели на лошадях, опасность бы поубавилась, почему тогда не разрешить этот праздник хотя бы для удовольствия юношей?

После того как площадь нарядно убрали и собрались те, кто составляет самое драгоценное украшение любого города, а именно — дамы, красота которых не уступала знатности рода, вот тогда появилась и донья Исабель, и она превосходила всех, в точности как солнце превосходит звезды. На статных скакунах въехали на площадь дон Дьего и дон Хуан, их сопровождало множество одетых в расшитые золотом ливреи лакеев, и вся эта кавалькада сразу привлекла внимание простонародья и, разумеется, дам. Дамы, естественно, смотрели на кабальеро. Уж так принято, что торжественные городские праздники обязывают всех кабальеро присутствовать на них, где, как не здесь, выпадает им случай себя показать и занять подобающее место в обществе. А касательно дам скажу, что их присутствие понуждает юношей к вежеству, сметливости, великодушию, пылкости, отваги, и это ко благу. Да что там говорить, и во дворцах балы задаются с той же самой целью. И ведь есть такие, кто целый год на воде и хлебе сидит, только бы в празднике участие принять. Как-то раз один знаменитый проповедник, увидав изображенного на церковной фреске коленопреклоненным и очи долу человеку, задававшего праздники и не отличавшегося в жизни особой праведностью, заметил ему:

— Дорогой друг, или живите, как вас изобразили, или пусть изобразят, как вы живете на самом деле. Благочестивый горожанин, да будь твои предки даже знаменитыми воинами, если ты

не можешь жить, как тебя изобразили, потому что ты не истинный кабальеро, зачем, спрашивается, тебя так изображать? Именно так! Пишите то, что есть, изображайте те добродетели, которыми обладаете, берегите честь и избегнете пересудов. Да займет каждая вещь подобающее ей место!

Итак, съехались дон Хуан и дон Дьего, и на груди у каждого красовалась перевязь с родовым гербом. Дон Хуан — про то я еще не говорил — избрал себе в дамы некую девицу, с которой был тайно обвенчан. И так как от дона Дьего у него секретов не водилось, то был дон Дьего с этой дамой — а звалась она донья Ана — знаком. Приходилась донья Ана сестрой некоему кабальеро по имени дон Санчо. Брак этот по желанию дона Хуана хранился в тайне, потому что, будучи ровней по знатному происхождению, не могли они равняться в достатке. Желая заручиться благосклонностью дон Санчо, рассказал дон Дьего ему о благих целях, которые преследовал он, затевая амуры с доньей Исабелью. А поскольку были донья Ана и донья Исабель близкими подругами, то поверяли друг дружке все задушевные тайны. Меж тем чувствуя себя обязанной донье Исабели, посвятившей подругу в некоторые обстоятельства своих делишек, донья Ана приходила к донье Исабели будто бы за братом, а сама секретничала с приятельницей, и дон Санчо не мешал им, ибо желал увековечить дружбу всех троих узами родства.

Тогда-то и получилось, что, проведая о свиданиях, дон Хуан окончательно уверился в истинности подозрений, не без оснований полагая, что дон Дьего домогается его сестры. Поразмыслив, дон Хуан решил, что лучше ничего не говорить отцу. Раздосадованный и распаленный гневом, он рассуждал так: «Что, я томная девица, чтобы просить

помощи отца в делах, которые прямо меня касаются? Ведь это мне нанесена обида, коли под покровом дружбы со мной прячутся нечестивые помыслы, о которых мне не сказали ни слова. Я лишусь уважения даже в глазах вознамерившейся выйти замуж без моего согласия: в конце концов, это моя сестра, и разве не на моей стороне справедливость? И не иначе как весь город уже судит и рядит об этом, потому что всегда неприятности в мгновение ока становятся достоянием людской молвы».

Он проехался по площади, на которую в это время выбежал резвый бык; бык рыл копытами землю и метал ее в небо. Присутствующие спрятались за решетками, а дон Хуан, сдерживая себя, принялся кружить неподалеку от окна, из которого любовались праздником подружки, ведь все желали себя показать и на других посмотреть. Устрашенная яростью быка площадь замерла в ожидании. Внезапно бык кинулся на тщательно приготовившегося к схватке дона Хуана. И тогда дон Дьего, желая выказать себя пред высоким другом с наилучшей стороны, решил удружить ему и бросился меж ним и быком, так удачно сделав выпад, что смертельно ранил дикое животное, столкнувшись, впрочем, с доном Хуаном.

Но дон Хуан, увидав, что его лишили возможности отличиться, пришел в бешенство. А поскольку ему была понятна причина столь ретивого поведения дона Дьего, то от этого он пришел в еще пущую ярость. Ведь что получилось: не владея собой, он не смог увернуться от столкновения, причем лошадь его была смертельно ранена, а он, несмотря на то что выказал себя отлично, вылетел из седла. Когда же он замыслил мечь, отважный бык, издыхая, тащился по песку.

Гнев дона Хуана был неописуем, он не сомневался, что престо­на­ро­дье уже сплетничает на их счет: все, что происходит на глазах у людей, должно вы­глядеть безупречно, иначе сразу пойдут пересуды. Дон Хуан пытался скрыть гнев, а на деле искал, на ком бы его сорвать, — обычная история; а еще бывает, иные с виду хорохорятся, а в душе жа­лают, чтобы все сошло тишком, а потому все это — одно пустозвонство.

Но коль скоро дон Дьего пришел ему на помощь, дон Хуан поблагодарил его, хотя и несколько двусмысленно, что уже вызвало кривотолки. После праздника в раз­го­во­ре с друзьями, не понимавшими причин дурного настроения дона Хуана и оправдывавшими дона Дьего, дон Хуан сказал, что, на горе ему, помехой стал человек, больше других желавший помочь и, без сомнения, досужие языки уж не преминут позлословить на его, дона Хуана, счет.

А в это самое время вошел дон Дьего и сказал следующее:

— Дошло до меня, дон Хуан, что недовольны вы мною, и если это так, нет границ моему огорчению, ибо всегда стремился я быть вам верным слугой и полагал, что дружба наша покоится на прочном основании, а ежели мои слова кажутся вам почему-либо обидными, то прошу меня за них простить.

На это, побледнев, дон Хуан отвечал:

— Никто вас не винит. Что же до моих чувств, позвольте мне самому решать, о чем говорить, а о чем молчать. А если я не восхваляю вас, подобно всем прочим, то это потому, что мне не хочется выслушивать от вас оскорбления. И хотя вряд ли вы сознательно намеревались обидеть меня и мне не в чем вас винить, все же друзьям

дозволено называть вещи своими именами, даже в тех случаях, когда они даруют прощение. Несправедливость есть несправедливость, от этого никуда не деться. Впрочем, если весь этот разговор вы затеяли с целью напомнить мне о совершенной мною неловкости, то как не усмотреть в этом намерение еще раз меня оскорбить?

Тут вмешались присутствующие, желая примирить друзей, и, как водится, только все испортили, ибо дон Дьего сказал:

— Сколь же мало вы цените мои дружеские чувства, что приходится мне выслушивать подобные речи!

Тогда сказал дон Хуан:

— По делам познаются чувства. И одна стычка на людях может разорвать самые прочные узы, и не принято среди друзей украшать себя доблестью за счет другого, ибо воистину достойна похвалы лишь слава, не разлученная с добродетелью.

— Итак, если я не ошибаюсь, — сказал дон Дьего, — все ваши рассуждения сводятся к тому, чтобы доказать, что я вас оскорбил, но не потому, что я действительно виноват, а потому, что вам хочется, чтобы я был виноват. И если вы действительно желаете разрыва, то так и скажите, а не кружите вокруг да около, как будто я вам не друг. Да и вправду, друзья ли мы, ведь поведение того, кто не доверяет другу, тоже в конце концов становится подозрительным. На меня как раз можно положиться, потому что если бы у меня в мыслях и впрямь возникло что-либо подобное, то уж я хорошо бы знал, как мне поступить.

И тогда дон Хуан, который только того и добивался, отвечал на эти благородные речи так:

— Когда была бы задета моя честь, то сумел бы я ее защитить, кто бы передо мною ни стоял, ибо лучше удастся мне постоять за себя в поединке с кабальеро, нежели в схватке с быком.

— Уж не знаю, что вы имеете в виду, — сказал дон Дьего, — только вижу, что вы намерены окончательно рассориться со мной.

И снова принялись друзья увещевать их, говоря дону Хуану, что не следует так горячиться. На что тот возразил старающимся удержать его:

— Думайте что хотите, обвиняйте в чем хотите. — И, повернувшись к дону Дьего, продолжил: — Мне не придется долго ждать случая, который бы рассеял наши сомнения.

И сказал тогда дон Дьего:

— Когда придет этот желанный случай, можете быть уверены в том, что моя доблесть не уступит моей учтивости.

А надо сказать, что дон Дьего тоже очень рассердился. Принялись друзья уговаривать дон Дьего точно так же, как и дон Хуана, и ничего у них из этого не вышло, ибо попросил он их ни в коем случае не вмешиваться в это дело, потому что из любой мелочи, если только не разобраться в ней сразу и до конца, могут выйти большие неприятности. Друзья разошлись, а дон Дьего погрузился в задумчивость.

В задумчивости и нашел его слуга доньи Исабели, сообщивший ему, что госпожа в четыре часа пополудни намерена отправиться к донье Ане, сестре дон Санчо, и что можно использовать представляющуюся оказию. Дон Дьего поблагодарил слугу, щедро вознаградив его: в такого сорта делах последнее очень важно. Как только слуга удалился, вошел паж с известием о приходе дон Хуана.

Меж тем слуга, желая разузнать все получше — ведь только слухами мир живет и дышит, в подслушивающих нужда куда как велика, — спрятался, чтобы выяснить, чем дело обернется, потому что ссора дон Хуана с доном Дьего уже ни для кого не была тайной.

В высшей степени учтиво, именно так, как надлежит вести себя в таких обстоятельствах кабальеро, обратился дон Хуан к дону Дьего:

— Людям благородным свойственно стремиться к истине как в словах, так и в поступках, ибо наносят урон своей чести те, чьи слова расходятся с делами. И никакими сладкими речами не искупить нанесенного прилюдно оскорбления, а посему для меня, как и для всякого, кто в таких делах смыслит, ясно, что, кроме наших шпаг, никто нас не рассудит. И стало быть, сегодня в четыре часа пополудни я жду вас возле реки Хениль.

Больно отозвались эти слова в сердце дон Дьего, ибо, ко всему прочему, это был тот самый час, в который собирался он повидаться с доньей Исабелью, и он сказал:

— Коль не хотите вы прислушаться к словам наших друзей и вам предпочтительнее решать дело с помощью оружия, как мне ни горько, я принимаю ваше предложение и только об одном молю вас, чтобы поменяли вы назначенный час, потому что в это самое время призывают меня обязательства в другое место.

— А ведь я п р а в , — заметил в ответ дон Хуан , — никогда вы не были со мной чистосердечны и разве своими презрительными словами не наносите вы мне новой обиды, ибо какие же обязательства могут мешать решению спора о жизни и чести? Впрочем, это неважно, поскольку это не единственная обида, за которую нам сле-

дует посчитаться. И пока жгут мое сердце обиды, я буду стремиться к поединку. Я жду вас от назначенного часа, когда бы вы ни пришли.

На это отвечал дон Дьего:

— Вы — кабальеро и ведете себя так, как надлежит вести себя кабальеро. Приходите, когда вам заблагорассудится, что касается меня, я, поверьте мне, появлюсь так скоро, как только будет в моих силах, и поистине перст провидения укажет на меня, если выпадет умереть мне от руки лучшего из моих друзей, доставив тем самым столь потребное ему удовлетворение.

Они расстались. А слуга поспешил к госпоже донести о том, что случилось. Госпожа не столько испугалась за брата, сколько за дона Дьего. Восхищенная рыцарским поведением своего возлюбленного, донья Исабель подумала, что именно любовь и уважение к ней побудили его так поступить, и это так ее поразило, что если бы не испытывала она уже ранее сердечного влечения к дону Дьего, то ныне непременно предалась бы храброму кабальеро всей душой. А потому, сгорая от желания повидать дона Дьего, отправилась она к донье Ане, чтобы поговорить с ним. Слуга со своей стороны старался тоже ей пособить, потому что у людей такого сорта в мыслях только собственная выгода.

Меж тем дон Дьего такой ход событий смутил, ибо видел он, что как ни распорядись Фортунна, а дело его все равно проиграно. И когда пребывал он в мрачном раздумье, вошел дон Санчо и спросил его, что приключилось. В ответ сказал дон Дьего:

— Если вы дадите мне слово хранить тайну, я скажу вам.

— Говорите, — сказал дон Санчо, — и хотя я предвижу, о чем пойдет речь, всякий истинный друг превыше собственной репутации поставит честь друга.

И тогда сказал дон Дьего:

— Такому достойному кабальеро я могу доверять то, чего никогда не доверил бы никому другому: меня вызвали на дуэль.

И он поведал ему обо всем, что произошло меж ним и доном Хуаном. Выслушав его, дон Санчо спросил, намерен ли он принять вызов, потому что, по его, дон Санчо, мнению, все это было сущее сумасбродство, к тому же одно то, что его соперник — брат доньи Исабелы, оправдывало отказ от дуэли. Но отвечал дон Дьего, что дружба ослепила его и что поклонение другу, чувство само по себе достойное, превысило всякую меру. На это дон Санчо сказал:

— Так позвольте же мне покончить эту ссору миром, и никто не заподозрит, что вы открылись мне, поскольку все знают, что я и так осведомлен о том, что произошло.

Но ответил дон Дьего:

— Если не хотите вы, чтобы ко множеству моих горестей присовокупилось бы еще и уклонение от того, что составляет прямой долг любого кабальеро, не говорите мне об этом, а обратимся лучше к вам, ибо туда, по моим сведениям, вот-вот должна прийти донья Исабель, которая очень обеспокоена случившимся, а ведь именно свидание с ней принудило меня отложить дуэль с ее братом, ибо встреча с доньей Исабелью волнует меня много больше, нежели гнев ее брата, вызванный не столько ничтожным происшествием на площади, сколько тем, что за ним прячется.

— Мне тоже так кажется, да и весь город про то говорит, — сказал дон Санчо.

Мирно беседуя, они добрались до дома, который в тот миг в сопровождении выведавшего страшную тайну слуги уже покидала донья Исабель. Долгое отсутствие могло пробудить подозрение брата, да и ждали ее неотложные дела. Дон Дьего проводил донью Исабель до выхода, в то время как дон Санчо и слуга на всякий случай оставались при входе снаружи. Сраженная волнением, со слезами на глазах, донья Исабель заговорила так:

— Мои скромные достоинства ни к чему вас не обязывают, и все же позвольте заверить вас, что, будь на то моя воля, все обернулось бы иначе, но, видно, до конца дней моих суждено мне оплакивать несчастную судьбу, ведь именно она причина такой злой незадачи. Я совершенно уверена в благородстве и учтивости, в тех высоких чувствах, которыми вы ответили на мое желание познакомиться, не само по себе явившееся мне, но внушенное повестью о вашей добродетели. Вы вольны не рассказывать мне, что случилось между вами и братом, и единственное, о чем мне приходится сожалеть, так это о том, что не ваши уста поведали мне о том первыми. Но уж так вышло, что ничего не остается дочери, кроме как прибегнуть к помощи отца во имя того, чтобы помешать сыну. Вам нанесли обиду, и мне понятно родившееся у вас желание отмстить, хотя и несет оно мне горе.

Здесь голос доньи Исабелы прервался, ибо хлынули из озер глаз ее слезы и затмилось их сиянье.

— Я прекрасно понимаю, в чем мой долг, госпожа моя, — отвечал дон Дьего, — я прекрасно понимаю, какой черной неблагодарностью, ка-

кой грубостью мужлана было бы не повергнуться к вашим стопам, не посвятить себя служению вам, только единожды узрев вас. И поверьте мне, даже неизбежный удел человеческий — смерть не в силах разорвать связывающие меня с вами узы. Бог свидетель тому, как терзаюсь я, причиняя вам горе, и если не стал я рассказывать вам о том, что произошло между мною и вашим братом, то это потому, что не хотелось мне усугублять вашей печали. У вас нет причин бояться за брата: он столь отважный кабальеро, что скорее стоит опасаться за мою судьбу, и, поверьте мне, что будь это не так, не стал бы я усердно защищаться, предпочтя пожертвовать собой, нежели огорчить вас.

— Боже у п а с и , — воскликнула о н а , — у меня и в мыслях ничего такого не было, да пусть свалится на меня самое страшное несчастье, какое я могу вообразить — ваша гибель, если я так думаю! Не обнажайте оружия! Умоляю вас!

— Это невозможно, — сказал ее возлюбленный , — в делах чести мы не вольны; я уверен, что вы такая, какой я вас знаю: не удостоите взглядом того, кто пренебрегает своим долгом. Клянусь сделать все, что в моих силах, чтобы убедить дону Хуана объясниться; разумеется, это должны быть объяснения, укрощающие его необузданный нрав и не унижающие моего достоинства.

— Ваши речи немного утешили м е н я , — сказала донья И с а б е л ь , — и помните о том, что вы мне сказали, ибо ваше великодушие — единственный залог тому, что это неприятное происшествие может быть забыто.

— В этом деле, а равно в любом другом , — отвечал дон Д ь е г о , — даже если бы пришлось мне сказать вам нечто, и прились бы мои слова вам

не по вкусу, сердце никогда не позволило бы мне пойти против вашей воли.

На этом они расстались. На прощанье сказал другу дон Санчо, что уповает на то, что в ближайшее время перемен к худшему не будет, что сможет он помочь дону Дьего. Что же касается самого дона Дьего, то речи его были всего лишь уловкой, ведь он уже сожалел о том, что рассказал дону Санчо эту историю, хотя и был дон Санчо его ближайшим другом. Вот какую власть имеют над кабальеро правила чести, и так и должно быть!

Меж тем дон Дьего сразу направился за плащом, в который можно было закутаться и пребыть неузнанным, к тому же не хотелось ему медлить с исполнением долга.

Донья Исабель вернулась домой и там, повинуясь женской своей природе, тем более что были у нее причины тревожиться, принялась стеречь брата, особенно проведая, что он уединился у себя в комнате. И когда удалось ей высмотреть, что выбирает он себе подходящую шпагу, сердце ее сжалось, и решила она попробовать смягчить его гнев, ибо кто, кроме женщин, на это способен! И хотя частенько случается им встречать отказ, не устают они домогаться своего, пока не добиваются того, чего им хочется. Так и должно быть, ведь не всегда это во вред мужчинам, часто мужчины выгадывают от того, к чему их приневоливают.

Она вошла в комнату, притворившись, будто по делу, изобразила замешательство при виде шпаги, а затем на родительский манер пустилась выговаривать дону Хуану за похождения, призывая к воздержанности и благоразумию, напоминая о преклонных отцовских летах, о сыновних чувствах и долге. Притом она старалась к нему подольститься, а это только укрепило подозрения

дона Хуана. Посчитав, что сестра слишком много себе позволяет, дон Хуан сказал, чтобы не кружила она вокруг да около, потому что не очень-то он верит в искренность ее заботы, и что, когда придет время, она узнает то, что надлежит ей знать. Впрочем, он полагается на рассудительность сестры в серьезных делах. И не ожидая ответа, подозвал дон Хуан слугу, повелев ему отнести потихоньку шпагу к донье Ане, потому что не хотелось ему, чтобы дома знали, куда он направляется. И с тем ушел.

Раздосадованная донья Исабель стала расспрашивать слугу, а тот возьми и скажи все, что ему удалось подслушать, да еще от себя прибавил, что-де, раз она разговаривала с доном Дьего, стало быть, ей нечего опасаться, ведь не захочет же дон Дьего огорчить ее. Зная, что брат уже ушел, донья Исабель очень встревожилась и решилась на поступок, на который может решиться только любящая женщина: она велела слуге позвать отца, так как собиралась про все ему рассказать, а еще запретила слуге, пока отец все не узнает, выносить из дому шпагу да еще наказала выведать место дуэли и ей сообщить. Слуга пообещал сделать все, как велено, но просил разрешить отнести шпагу, потому что, говорил он, какая-нибудь шпага все равно сыщется, а его заподозрят в измене. Донья Исабель пообещала слуге, что на него не падет подозрений, сказав ему, что единственно чего она хочет, это осведомить отца. Слуга пошел за отцом, а меж тем донья Исабель так искусно обошлась со шпагой, что желавшему пустить ее в дело она уже никакой службы сослужить не могла. А когда слуга вернулся с доном Алонсо, она потихоньку передала слуге шпагу, чтобы тот отнес ее дону Хуану.

Когда донья Исабель рассказала отцу о случившемся, старик огорчился, потому что не знал, как избежать неприятности. В это самое время вошел взволнованный дон Санчо, вопрошая о местопребывании дон Хуана, снова рассказывая всем то, что они уже знали, сокрушаясь, что дон Дьего обвел его вокруг пальца. Пока же пребывали все в размышлении, появился слуга и сообщил, что хозяин взял шпагу и отослал его прочь, но что он следовал за ним вплоть до выхода из города, и ему показалось, что бывшие друзья направились к реке, но что дальше он не пошел, потому что могли его заметить. И тогда среди присутствующих было решено идти за ними.

А в это время дон Дьего и Дон Хуан уже были за городом. И насколько один из них горел желанием сразиться, настолько другой желал мира, ссылаясь на дружбу. Но на все уговоры дон Хуан отвечал, что причиной его гнева как раз и является нанесенный их дружбе ущерб и что именно за это он и хочет проучить дон Дьего.

— Не бросайтесь словом «дружба», — заметил дон Дьего, — ибо, если бы это было правдой, не сочли бы вы намерения вашего друга, такого же, как вы, идалго, за обиду. Обратите взор на себя и вспомните о великодушии, потому что не тумань ваш взор раздражение, вы бы ясно узрели, что напрасно не верите моим дружеским чувствам, уверовав в свою невиновность.

И сказал тогда дон Хуан:

— Я признаю равенство, о котором вы говорите, но даже будь я ниже вас по рождению, меня все равно бы оскорбило ваше стремление повернуть подобное дело без моего ведома, ибо и дружба не дает друзьям права распоряжаться по своему усмотрению тем, что может иметь столь важные

последствия. Ну, а если приходится прибегать к последнему способу доказательства правоты, каковою является дуэль, то тут уж всякие объяснения совершенно излишни.

И они взялись за шпаги, но после трех или четырех выпадов шпага дона Хуана переломилась, чему причиной была изобретательность доньи Исабель, тем не менее владелец шпаги продолжал храбро сражаться. Тогда дон Дьего, отличавшийся большей рассудительностью и старавшийся покончить эту историю миром, решил, что представился удобный случай, и сказал:

— Вот он, глас судьбы! Прошу вас, прежде чем продолжать то, на что меня обрекло данное вам против воли слово, добудьте себе оружие, как у меня, чтобы мы были в нем равны, как и во всем прочем — в доблести и чести.

Поняв по некоторым признакам, что шпага сломалась совсем не случайно, дон Хуан смутился и, догадываясь о причине такого неожиданного поворота событий, произнес:

— Вот вам доказательства того, что мои подозрения не лишены оснований, а обиды справедливы, — очевидность происшедшего не позволяет мне умолчать о том, что ныне так ясно открылось взору. В собственном доме мне не на кого положить и злосчастная судьба в решающий миг выбивает из рук моих оружие возмездия. Не бывает обид, которые не заслуживали бы ответа, напротив, благодарный ответ — неизбежность, и я бесконечно благодарен вам за столь любезное обхождение, порождение великих ваших добродетелей. Я попытаюсь исправить случившееся и уверяю вас, каков бы ни был исход поединка, мое высокое о вас мнение не претерпит изменений. Об одном вас прошу: я обещаю возвратиться так

быстро, как только это возможно, обещайте и вы подождать меня.

Огорченный дон Дьего пообещал подождать дона Хуана, хотя и было ему грустно оттого, что ни удачный случай, ни великодушие не смягчили гнева дона Хуана. Считая, что проделка со шпагой — изобретение доньи Исабелы, дон Дьего тревожился, как бы не опечалило ее то, что из затей этой ничего не вышло (если вообще достойное поведение кабальеро может кого-то опечалить). А еще он размышлял о том, сколь сильна ее любовь, сколь безотраднa его участь, и еще о многом размышлял дон Дьего, пока не привлекли его внимания два человека, которые уже давно следовали за ними. То был народец, возвращающий собственное благополучие на неблагополучии других. Увидев, что дон Хуан и дон Дьего вместе вышли из города, мужланы не осмелились напасть на них. Когда же они увидели, что поединок ничем не кончился, а дон Хуан почему-то ушел, они кинулись к дону Дьего, уже издали крича:

— А ну-ка, кабальеро, давайте сюда плащ, да и все остальное, что там у вас есть!

Застигнутый врасплох, дон Дьего не потерял присутствия духа и приготовился защищаться, рассчитывая сохранить собственную жизнь ценой чужой жизни. После нескольких выпадов дон Дьего почувствовал, что его ранили. В тот же миг он увидал, что один из нападавших корчится на земле при последнем издыхании, в то время как другой, более озабоченный собственной безопасностью, нежели возмездием, намерен покинуть поле битвы.

Вот и получилось, что ожидал дона Хуана, а у ног его распласталось бездыханное тело. И свидетелей сему не было, разве что пронзавшие вер-

шинами небо высокие ясени и торопливые речные воды, что вечно спешат к тем пределам, которые всем нам назначены. Решил тогда дон Дьего доверить свою тайну реке, предав тело водам. Но когда пускал он тело в реку, появились на вершине холма спешившие помешать поединку дон Алонсо, дон Санчо и их друзья. Завидев опускающего тело в реку дона Дьего, подумал сразу дон Алонсо, что предает он воде тело дона Хуана, и, испустив стенание, принялся оплакивать непомерное такое несчастье. Подойдя поближе к раненому да к тому же пребывающему в одиночестве дону Дьего, уверились все в том, что подозрения старика небезосновательны. И как ни тщился дон Дьего растолковать, в чем дело, объясняя, что у дона Хуана сломалась шпага, несчастный отец ни в какую не желал ему верить и все старался доискаться истины, говоря, что если убил его сына дон Дьего в честном бою, то зачем тогда лишать его покойника достойного погребения, и что если никакого обмана здесь нет, то и бояться нечего, ибо пришлось бы в конце концов дону Алонсо простить его. А если это не так, с чего бы дону Дьего опасаться собственных друзей. И они стояли на своем, а дон Дьего — на своем, говоря, что придет дон Хуан, которого он ждет, и рассеются все сомнения, и что окажут они ему не столь уж великую милость, если соблаговолят немного подождать.

А в это время поспешающий назад дон Хуан остановился в смущении и замешательстве, но вовсе не оттого, что увидел разговаривающих с донем Дьего друзей — ибо он, конечно, понимал, отчего они здесь, — но оттого, что очень испугался, увидав, что дон Дьего ранен. И он стоял и ждал до тех пор, пока не увидел, что все воз-

вращаются в город. Так и не разобравшись в том, что же такое приключилось, а заодно поняв, что продолжать поединок ему не с кем, в страхе, что принудят его к нежеланному миру, решил дон Хуан не возвращаться в город до тех пор, пока не отомстит он за свою честь. Никем не признанный поселился он в хижине пастухов, где и жил, готовясь к окончательной схватке с врагом, и было у него при себе немного денег. А так как все прочие возвратились в город в полном неведении, ведь дон Хуан скрывался, то, основываясь на виденном собственными глазами, уверовали они в его смерть, и даже судейские и те уже объявили о вознаграждении в тысячу дукатов тому, кто выдаст им дону Дьего, который по сей причине, следуя совету друзей, тоже покинул город.

Меж тем, сострадая донье Исабели и дону Алонсо, также уверенный в смерти дона Хуана, дон Санчо подумывал о том, что оставшаяся единственной наследницей сестра дона Хуана вполне сгодилась бы ему в жены, ибо вследствие возраста никаких других детей у дона Алонсо не предвиделось, а касательно дона Дьего, которого считали виновником несчастья, то на жениховство он претендовать уже не мог.

И вот однажды дон Санчо поведал дону Алонсо о своем желании, не утаив от старика и того, что сестра его была втайне обвенчана с покойным доном Хуаном, а чтобы склонить отца на свою сторону, сказал ему, что сам не желал этому браку огласки, дабы не огорчать дону Алонсо имущественным неравенством.

На это благородный старец, полагая, что дон Санчо знатен, молод и в должной мере богат и, стало быть, с ним можно породниться, отвечал столь же любезно, сколь и кратко:

— Я так вам благодарен за оказанные мне благодеяния, что не знаю, по силам ли мне отблагодарить вас; хочу, однако, сказать, что только тот, кто чтит чужую честь, сам честен, а в вашей чести доводилось мне убеждаться не единожды. Одинок я остался, и горько мне оттого, что, утаив брак сына моего, украли у меня радость, и знать я хочу две вещи: первая — намерены ли вы огласить тайну венчания дон Хуана во имя того, чтобы госпожа моя донья Ана смогла войти в дом и утешить мою старость. Раз уж так случилось, что судьба отобрала у меня сына, вправду я хотя бы любоваться сокровищем, которым пленился дон Хуан. А во-вторых, желал бы я, чтобы вы, дон Санчо, заняли место того, кто был моим единственным утешением, и стали опорой старику и его дочери, ибо струящаяся в ваших жилах благородная кровь способна продлить и возвеличить мой род.

Дон Санчо ответил на эти речи столь бурным изъявлением благодарности, что со стороны его можно было принять за безумца. Так и получилось, что привели они задуманное в исполнение и поселились у дон Алонсо.

Меж тем дон Дьего, до которого время от времени доходили вести о переменах в доме дон Алонсо, узнав о случившемся, впал в ярость и, обуянный ревностью, презрел всякую опасность — да и может ли считаться истинным кабальеро тот, кто вопреки сердцу слушается рассудка, — и, заявившись в дом дон Алонсо, он принялся изливать донье Исабели негодование, в то время как последняя оправдывала свое поведение приказанием батюшки. Но дон Дьего поклялся тысячу раз на смерть пойти, нежели позволить нанести ему такое оскорбление, и ни слезы, ни уговоры, которыми

так умело пользуются женщины, когда им надо разжечь самое вялое желание и умерить самую пылкую страсть, не способны были его удержать. Он задержался в доме так долго, что посвященный в их отношения совращенный алчностью и позабывший все благодеяния слуга — люди низкого происхождения особенно страдают пороком неблагодарности — сообщил о его приходе дону Алонсо, а тот коррехидору¹. Коррехидор, в свою очередь, почел своим долгом допросить донью Исабель, конечно, соблюдая при этом надлежащие учтивость и деликатность, ибо к тому его обязывала высокогородность допрашиваемой дамы. Но еще до того коррехидор, объяснив, какого рода дело привело его в дом дона Алонсо, направился в комнату, в которой разговаривали дон Дьего и донья Исабель. А комната, надо сказать, заперта не была, потому что, объятые великим волнением и горем, они позабыли ее запереть.

Увидав дона Дьего, коррехидор растерялся: уж очень не хотелось ему задерживать дона Дьего, хотя, казалось по всему, долг его в том и состоит, чтобы арестовать преступника, но суть благородных душ такова, что не радуется их исполнение горестных обязанностей, ибо сочувствуют они несчастью. Зато есть такие судейские чиновники, которые прямо-таки вымещают злобу на преступивших закон, словно это им, а не обществу нанесен ущерб. И при этом вовсе не пекутся они о благоденствии граждан, но жаждут собственного возвышения за счет несчастных, впрочем, то ли еще бывает. Жестокость по отношению к тем, кто уже

¹ Коррехидор — королевский чиновник, выполнявший судебные и административные функции в городах и провинциях Испании.

не может защититься, есть свидетельство душевной низости, грязных помыслов и подлого происхождения, потому что все мы равны перед Господом, который милосерден и всемогущ, и нам надлежит ему в том следовать, ведь прощает он нам наши прегрешения, и милость его безгранична.

И обратился коррехидор к дону Дьего со следующими учтивыми словами:

— Горестно мне, сеньор дон Дьего, видеть здесь вас, истинного кабальеро, но, к слову сказать, истинными кабальеро надлежит быть и тем, кому вменено в обязанность вершить правосудие, меж тем они часто грубы и неучтивы, и вижу я в этом не что иное, как свидетельство низкорожденности. Увы, не всем еще ясно, что не дозволено властям оскорблять высокорожденных, ибо именно они столпы общества и несть числа желающим управлять им, но сколько мало желающих защитить его. А потому, заметьте все, как тяжело бывает в иных случаях следовать долгу.

Молчаливо согласились присутствующие с этими рассуждениями. Меж тем началась суматоха, ибо сбежался весь дом.

Завидев эту толпу и почитая ее причиной своих тяжких несчастий, а равно убедившись в невозможности доказать правоту, вспыхнул дон Дьего и сказал в отчаянии:

— Знайте же те, кто здесь присутствует, и пусть знают все: коли истина не восторжествовала и не разверзлись небеса, чтобы покарать неблагодарного, то скажу я вам, что это я убил моего друга и твоего сына в честном бою, я лишил тебя в старости последнего утешения.

Поднялся тут страшный шум, по лицам одних текли слезы, ошеломленно молчали другие, несчастный отец оплакивал покойного сына, а донья

Ана — супруга, донья Исабель кляла свою злополучную изобретательность, отнявшую у нее брата и возлюбленного. В замешательстве пребывали коррехидор и дон Санчо, до глубины души потрясенные всеобщим горем. Но дон Дьего продолжил речь:

— Да не ужаснет вас признание мое, ибо никакие испытания не могли со мной сделать того, что вмиг сотворила разбившаяся надежда, и, знайте, жизнь мне отныне постыла.

Горечью переполнены были сердца присутствующих, когда коррехидор уводил дону Дьего. Но пуше всех затужила донья Исабель, которую неожиданное происшествие повергло в смятение. Считая, что ее возлюбленный все равно безвозвратно погубил себя, и пытаюсь спасти в людском мнении его честь — высокородным женщинам более свойственно печься о чести, нежели о ж и з н и, — сказала она отцу:

— Господин мой, по вашей воле увели в тюрьму дону Дьего, а стало быть, и мне не жить. И хоть и правдоподобно с виду его признание, не верьте тому, что убил он брата, ибо судьба, насылая на людей несчастья, туманит им рассудок, выдавая обман за истину. Признаюсь, я действительно помышляла выйти замуж за дону Дьего и в том виновна, ибо это и явилось причиной столь тяжких последствий. Хочу все же сказать, что, помимо помыслов, я ничем не нарушила заповеданных от Бога правил. Весть о свадьбе с доном Санчо, которой ты так желал, дошла до сеньора дону Дьего, и, распаленный ревностью, на беду мою, явился он в наш дом с единственной целью погибнуть.

Все присутствующие очень взволновались признанием доньи Исабели, а больше всех отец, ви-

нивший донью Исабель не столько в слабодушии, сколько в нерешительности.

Тем временем коррехидор, исполняя надлежащим образом свои обязанности, на основании прежних свидетельств, а также нынешнего признания счел вину дон Дьего доказанной и спустя несколько дней приговорил его — и приговор утвердили — к обезглавливанию. Не помогли мольбы и доводы отца потерпевшего. Оставалось дону Дьего готовиться к неизбежному, и стал он ждать его; меж тем донья Исабель проплакала все глаза, ибо любила его больше, нежели самое себя. По настоянию отца, желавшего уберечь ее от пересудов, на которые в таких случаях очень падки люди, монахи, допускаясь к дону Дьего, повелели ему не уклоняться от исполнения долга по отношению к донье Исабелю. Таковым было желание отца, и подтолкнуло его к этому бесстрашное признание дочери. А когда дон Дьего с полной готовностью изъявил согласие, то при поддержке отца, тайно от всех и со многими неудобствами, — в таком положении вполне понятными, — они поженились.

Вот так обстояли дела, когда проведал дон Хуан, что по приказу отца донья Ана живет у них в доме. А прознав про это, а равно и про то, что сестра просватана за дон Санчо, решил дон Хуан, которого в те времена донимали потребность любви и нужда в деньгах, а любовь и деньги имеют над душами мужчин большую власть, отправиться домой повидать жену, посмотреть, что делается в доме. Да и карты — увеселение, которым не обделена самая распоследняя деревушка, а потому хотел он прихватить денег, дабы отсидеться в деревеньке и переждать сколько надобно, пока не исполнится заветное его желание.



Так он и сделал: закутался в сумерках в плащ, чтобы не узнали, и направился домой в Гранаду. А так как всегда были у него при себе ключи от дома на случай когда он задерживался допоздна, то, воспользовавшись ими, он украдкой проник в дом. И первый, кого он встретил, был тот самый слуга, злобу на которого дон Хуан до поры до времени затаил, с тем чтобы потом сполна все припомнить. Когда дон Хуан понял, что пробраться незамеченным ему не удалось, он, схватив слугу за горло и пригрозив ему кинжалом, велел молчать, ибо очень ему не хотелось подымать шума. Полумертвый от страха, вмиг припомнивший все свои грешки, слуга узнал дона Хуана, и от этого ему стало совсем страшно, ведь он увидал перед собой живым того, кого все полагали мертвым. А потому, придя немного в себя, он пообещал дону Хуану все, чего тот от него добивался: от страха все становятся покладистыми, и неплохо было бы, чтобы и сильных мира сего тоже иногда пробирал страх...

Первое, чего потребовал дон Хуан, — держать его появление в секрете, меж тем как слуги отродясь на это не способны. Изрядно напугав слугу, дон Хуан послал его предупредить донью Ану, опасаясь, что внезапное его появление произведет на нее слишком сильное впечатление. Слуга так и сделал: он исполнил то, что ему приказали, и даже более того. Покинув дона Хуана, оставшегося в комнате доньи Аны, он оповестил донью Ану о его приходе. Та не верила своим ушам, ее охватила понятная всякому радость, ибо тем самым она обретала утраченного супруга и отменялся смертный приговор неповинному дону Дьего. Истина прояснялась — дон Дьего оклеветал себя из ревности. Скрывая свои чувства, донья Ана

с беззаботным видом пошла к себе в комнату, где ее с распростертыми объятиями ждал муж — он любил ее, и они долго не видались.

Чего хочется, в то меньше всего верится, поэтому донья Ана с трудом внимала рассказу дона Хуана. А поняв наконец, что глаза ее не обманывают, со слезами благодарности она взмолилась, прося супруга использовать представившийся случай и спасти дона Дьего от смерти.

На это дон Хуан отвечал следующим рассуждением:

— Дорогая жена моя, единственное утешение мое, все, что ты мне рассказала, я готов слушать бесконечно и с превеликим удовольствием, а больше всего мне по сердцу рассказанное тобой о доне Дьего, ибо это как нельзя кстати: я-то ведь ни о чем таком и не помышлял и для того пришел, чтобы разделаться с ним, пусть даже ценою собственной жизни. Но раз судьба предусмотрела столь благоприятный для меня поворот событий, на который я совсем не надеялся, и правосудие возлагает на свои плечи то, что намеревался сделать я, было бы недостойным кабальеро мешать правосудию, к тому же мне это очень на руку. Дон Дьего обязан был удовлетворить мое законное требование, сейчас же совершенно ни к чему делать происшествие достоянием толпы. Приди мне на помощь и снабди деньгами и драгоценностями, что у тебя есть, еще до того, как воссияет над землей утренняя заря. Наш же разговор держи в тайне, а не то потеряешь меня навеки, потому что, клянусь душой, что пленена любовью к тебе, нога моя не переступит этого порога и не видать тебе меня до тех пор, пока не постигнет кара того, кто под покровом дружбы свершил столько несправедных дел и нанес мне столько обид.

Отвечала на это донья Ана, что душа ее целиком во власти супруга, и что не только сохранит она в тайне все сказанное, чтобы помочь дону Хуану, но что и братом своим, доном Санчо, и тем бы она пожертвовала, пожелай того ее муж. Говоря это, отперла она шкатулку и отдала дону Хуану все деньги и драгоценности да еще прибавила, что и жизнью ее он властен располагать, если только она ему потребуется. Поблагодарил ее дон Хуан, и оставшееся время они провели так, как надлежит проводить его любящим, — во взаимных ласках.

А в это самое время слуга донес про все донье Исабели, которая поначалу ему не поверила, полагая, что говорит он это только для того, чтобы рассеять ее тоску, а не потому, что так оно на самом деле. Тогда предложил ей слуга выйти и убедиться воочию в том, что он говорит правду. Донья Исабель согласилась, и увиденное настолько поразило ее, что не поверила она своим глазам: всему хорошему верится с трудом, а скверные вести сразу принимаются за истинные.

Заперла тогда донья Исабель ту комнату снаружи и послала оповестить о случившемся коррехидора. Коррехидор пришел так быстро, как только мог, ибо хоть и сомневался он в правдивости известия, но уповал на него и радовался от души в одно и то же время. Когда оповестили о его приходе, вышли ему навстречу дон Алонсо, дон Санчо, а также донья Исабель, которой каждый миг промедления казался веком. Обратившись к дону Алонсо, сказал коррехидор почтительно:

— Сеньор дон Алонсо, пришел я просить вас о милости, в которой прошу не отказать мне, ибо поручили вы мне очень сложное дело, и во имя вашего же блага действуя, я выполнял ваш наказ.

На это добрый кабальеро отвечал тоже очень учтиво, что представляет свой дом и самого себя во власть коррехидора, поскольку убежден, что, поменяйся они местами, и он, дон Алонсо, встретил бы такое же понимание.

— Да, такова моя просьба, — сказал коррехидор, — и заверяю вас, что оказанная мне милость может сослужить добрую службу вашему благополучию, службу, о которой вы даже и не помышляете, а так как хочу я воспользоваться всеми предоставленными мне правами, призываю вас сопроводить меня, и пусть идут с нами все те достойные люди, что здесь присутствуют.

А поскольку был коррехидор предупрежден заранее, то направился он прямоком в комнату доньи Аны, о чем пребывавшие там нимало не подозревали: коррехидор позаботился о том, чтобы не было шума, а приблизившись к двери, сделал знак дону Алонсо постучать. И когда те, кто был в комнате, услышали голос дон Алонсо, они смекнули, что попались, и ответили. Дон Хуан вышел: что же ему еще оставалось, как не попытаться превратить поражение в победу. Про себя он лопался от злости, потому что хорошо понимал, кто был причиной такой прекрасной осведомленности. Дон Алонсо от неожиданной радости лишился чувств, донья Исабель бросилась обнимать дон Хуана, который не сопротивлялся, дабы окружающие не заподозрили у него дурных намерений, хотя предпочел бы смерть этим объятиям.

Слуга униженно заглядывал в глаза дону Хуану, не отрывавшему от него пристального взора, потому что знал, что слуга бесстыдно притворяется. Обрадовались также дон Санчо, коррехидор и все прочие, к этому времени пришел в себя и дон

Алонсо, и радости его не было границ, ведь снова чудесным образом обрел он того, кого любил и считал мертвым. Все радовались воскрешению дона Хуана, а равно избавлению дона Дьего от несправедливой казни, ибо он доказал на деле, что любит, подвергнув собственную жизнь опасности. Коррехидор приказал привести дона Дьего, повелев обращаться с ним так, как требуют того его благородное происхождение и неповинность.

Движимые не добродетелью, но алчностью, кинулись стражники исполнять приказание, и каждый старался опередить другого. Когда же добрались они до тюрьмы и поведали о случившемся дону Дьего, он так обрадовался, как может радоваться только тот, кому довелось пережить столь тяжкие испытания. И хотя многим капризная Фортуна, занеся меч над головой, даровала жизнь, я все же думаю, что мало кого она возносила из такой бездны к вершине их мечтаний, распахнув настежь двери счастья, — ведь теперь мог дон Дьего отпраздновать свадьбу с той, что, не имея никакого злого умысла, ввергла его в пучину несчастий.

Меж тем коррехидор попросил дона Хуана рассказать, где был он все это время и как получилось, что дело приняло столь опасный оборот, а также историю ссоры его с доном Дьего. Дон Алонсо и донья Исабель были так счастливы, вновь обретя любимого сына и брата, что глаз с него не сводили, а если приходилось им отводить взор в сторону, то тут же снова впивались они в него взглядом, ибо чудилось им, что они видят это во сне.

Отвечая на вопрос коррехидора, дон Хуан сказал так:

— Вследствие юношеской горячности, сеньор, и необоснованных подозрений, которые зародились у меня по отношению к дону Дьего, я вызвал его на дуэль, и мы вышли из города, и хотя и не задета была ничья честь, но получилось так, что скрестили мы шпаги...

И далее рассказал он про то, о чем уже было говорено: как, возвратившись на условленное место, увидел дон Хуан из-за куста раненого дона Дьего, отца и друзей, направлявшихся в город. Тут вмешался многоопытный дон Санчо и подтвердил историю с нападением разбойников. Дон Хуан меж тем продолжал:

— И так вышло, что коль скоро всем было известно о нашей ссоре, я полагал, что решить спор при помощи тех средств, которые приняты в таких случаях между кабальеро, нам не дадут, а стало быть, мне не добиться заветной цели; я переоделся в те одежды, которые вы на мне видите, приняв твердое решение не возвращаться домой до той поры, пока не представится мне возможность продолжить поединок — что греха таить, бывает, мнишь, что честь твоя задета, а тобою просто овладели недобрые чувства и теснит грудь обида. А потом у меня кончились деньги, и я тайно вернулся домой, надеясь на благоразумие, великодушие и щедрость сестры. Но здесь оказалось все не так, как я думал: я увидел дона Санчо, донью Ану, мою жену... Я и пришел-то совсем недавно и, узнав о грозившей дону Дьего опасности, намеревался незамедлительно отправиться к вам, господин коррехидор, чтобы вы воочию убедились, что я жив, и сняли бы с дона Дьего необоснованные обвинения. А опередили вы меня лишь потому, что удерживала меня донья Ана, полагавшая, что часом раньше, часом позже, не суть важно, и что

мне надлежит переодеться, прежде чем появляться перед вами, как подобает связывающей нас старинной, скрепленной узами родства дружбе.

Отец и дон Санчо, не подозревая, сколь разительно отличаются произнесенные доном Хуаном речи от действительных его намерений, приняли такое объяснение за истину, меж тем как коррехидор, донья Исабель, донья Ана и слуга знали, что речи дона Хуана скрывали его умыслы.

Тем временем об этой истории толковали на всех углах, и повсеместно все были очень довольны, ведь большинство любило обходительного и щедрого дона Дьего. Вот почему так важно быть великодушным и нравиться, и не только для того, чтобы покорять людские сердца, но более для того, чтобы не пробуждать в них неприязни.

Друзья и стражники толпой повалили в тюрьму к узнику, и столько тут было радости и объятий, что вообразить все это легко, а изобразить трудно. Потом толпа отправилась туда, где находились коррехидор и родственники. Дон Хуан и дон Дьего обнялись и снова подружились, что само по себе немалое дело, ибо долг людей благоразумных восстановить дружбу, к тому же отпала причина для распри — они породнились.

Коррехидор и все, кто там присутствовали, пожелали дону Дьего всяческого благоденствия. Со стороны коррехидора это было очень любезно, впрочем, этот достойный человек, даром что представитель власти, а в любое время, хоть сто раз на дню сталкивайся с ним на улице, всегда непременно поздоровается и еще проводит вас, словно вы самый дорогой его друг.

Протянул коррехидор обе руки дону Алонсо, который очень учтиво пожал их, а потом повер-

нулся к веселой и взволнованной донье Исабели, которая тоже распрощалась с ним как подобает.

Тут же было решено сыграть через восемь дней свадьбу, причем шаферствовать просили корредора с супругой, дамой благороднейшего происхождения из рода Гусманов. А еще дон Санчо возымел желание жениться на их дочери, и все решили, что так тому и быть, ведь слыл он богатым и достойным кабальеро. Вот какие фокусы выкидывает Фортуна: слезы, печали и невзгоды нежданно-негаданно сменились свадьбами, родственными узами, дружбой и всеобщей радостью.

В короткие сроки все было готово к пышному празднеству: вынуты из ларцов невиданные драгоценности, и при всеобщем веселье, с шутками и смехом сыграны свадьбы, на которых присутствовала городская знать, а также представители правосудия, своей мудростью и справедливостью не уступающие тем знаменитым судиям древности, о которых повествуется в старинных книгах. Вот так и осуществились желания всех. Дон Алонсо дал слуге обещанную тысячу дукатов, и он, опасаясь преследований со стороны дона Хуана и не менее страшась, что слухи о его усердии дойдут до ушей дона Дьего, очень довольный, почел за благо отправиться к себе на родину, ведь хозяева его отблагодарили если и не за преданность, то по крайней мере за отменные плоды трудов.

Итак, в доне Алонсо мы видим пример рассудительного старца, поступающего в согласии с возрастом и, как и надлежит кабальеро, безупречно выполняющего обещания, который покровительствовал дружбе сына, отложил свадьбу дочери, постарался исполнить обязательства, каковые, как ему казалось, взял на себя его по-

койный сын, и явил всем своим поведением образец отцовской любви и благоразумия.

Дон Хуан выказал себя неосмотрительным юношей, ибо в беседах с сестрами следует избегать вольностей и не повествовать о проказах юности, но краткими и обдуманнами речами склонять их к достойному поведению, равно же возбраняется хвалить в их присутствии мужчин, даже если они родственники. То, что дон Хуан счел злосчастное столкновение на площади оскорблением, показывает, в какое безрассудное состояние может ввергнуть влюбленного малейшая неудача, ежели постигает она его на глазах у дамы сердца, а тем паче при народе. Нежеланием спасти дону Дьего явил нам дон Хуан пример того, сколь сильно иногда укореняется в сердце человека злоба. Но недостойно кабальеро перекладывать на меч правосудия заботы собственной шпаги.

Не воспротивившись тайному браку сестры, дон Санчо уподобился тем знатым людям — и не так уж их мало, — коим благополучие дороже родовой чести. Что до его притязаний на руку доньи Исабелы, возлюбленной друга, то они лишней раз убеждают нас в том, что редкая дружба способна устоять против соблазна.

Страстное желание доньи Исабелы поскорее повидать того, о ком так не ко времени лестно отзывался ее брат, подтверждает, что женщины по природе любопытны, и их следует оберегать от лишних сведений. Меж тем, подпилив шпагу брата так, что она сломалась, донья Исабель доказала, что голос любви сильнее голоса крови.

Похвалы сестре, расточаемые доном Хуаном и побудившие дону Дьего добиваться ее руки, говорят о том, сколь неосторожно расхваливать женщин вообще, а замужних и подавно. Таких

разговоров не следует вести даже с лучшим другом. И уж совсем не годится, когда на твоём попечении женщина, водить в дом мужчин, особливо если они молоды. Потому что позволительно ли винить друга и ровню по происхождению в злоупотреблении дружбой, ежели сам пособлял домогательствам. И злополучная история на празднике здесь ни при чем, ибо повиновался дон Дьего велению чести, да только кто нынче верит в бескорыстную дружбу.

То, что дон Дьего попытался прекратить поединок, когда у дона Хуана сломалась шпага, — поступок великодушный и доказывает, что дон Дьего истинный кабальеро, ибо не должен таковой пользоваться выпавшими на его долю случайными преимуществами, и что бы на сей счет ни говорили, а высокородным и вести себя следует подобающе. Касательно схватки с разбойниками и смерти одного из них, а также недоверия, выказанного дону Дьего отцом дона Хуана и друзьями, которое подвергло его такой опасности, должно заметить, что часто те, кто ведет себя достойно, оказываются в пучине бедствий. Не вверяющие себя Божьей воле спасаются, и, кроме того, лучше безвинно пострадать, нежели быть виновным и не понести наказания, к тому же, поскольку добродетель не может не восторжествовать, то поступать надо согласно ее законам. То, что дон Дьего ворвался в дом своего врага и возвел на себя напраслину, говорит о том, сколь необузданна бывает ревность.

Продажность слуги, коему перепало столько милости, — предупреждение о том, сколь падки до наживы эти враги рода человеческого. А то, что доверенную ему хозяином шпагу слуга передал донье Исабели, показывает, чего стоит их пре-

данность и любовь. То, что слуга в должный миг спрятался, было с его стороны благоразумно, ибо чего иного, как не расплаты, ждать творящему зло. Вознаграждение вместо справедливой кары напоминает нам об общем пороке власть имущих, редко воздающих добродетели по заслугам. А ведь так и водится в иных державах, где в интересах государства или в других, неведомо каких, награждают тех, о ком хорошо известно, что они заслуживают наказания.

Огорчение коррехидора и его сочувствие попавшему в беду дону Дьего напоминает государственным мужам, что должно им ненавидеть преступления, не забывая, однако, что и они не безгрешны, и сострадать совершившим проступки, не обагрять рук кровью несчастных, ибо это есть великий грех.

Тайный брак доньи Аны — подтверждение тому, что знатные женщины способны безоглядно рисковать собственной честью, если рассчитывают на выигрыш, а еще подтверждение переменчивости судьбы, потому что если и случается, что все кончается хорошо, то несть числа примерам обратного, и это не что иное, как справедливое воздаяние за дерзновенность.

А завершение величайших горестей веселыми свадьбами говорит о том, что неисповедимы пути господни: часто бывает, что веселье сменяется слезами или наоборот, как и случилось в этой истории, которая лишней раз подтверждает, что нет ничего постоянного в подлунном мире.



ЛОПЕ ДЕ ВЕГА

ИЗ КНИГИ «НОВЕЛЛЫ ДЛЯ СЕНЬОРЫ МАРСИИ ЛЕОНАРДЫ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИАНЫ



е из неблагодарности промедлил я повинованием вашей милости, а из опасения, что не сумею вам угодить. Вы приказали мне написать новеллу, и это явилось для меня большой неожиданностью, ибо хотя и верно то, что «Аркадия» и «Пилигрим»¹ чем-то напоминают произведения этого литературного рода, более распространенного у итальянцев и французов, чем у испанцев, все же они очень отличаются от новеллы и более неприятны по своей манере. Во времена менее просвещенные, чем наши, хотя и более богатые людьми учеными,

¹ «Аркадия» (1398), «Пилигрим в своем отечестве» (1694) — пасторальный и авантюрный романы Лопе де Веге.

новеллы назывались просто рассказами, их пересказывали по памяти, и никогда, сколько мне помнится, я не видел их записанными на бумаге; содержание их было таким же, как в тех книгах, которые выдавались за исторические и назывались на чистом кастильском языке «рыцарскими деяниями», — так, как если бы мы сказали: «Великие подвиги, совершенные доблестными рыцарями». В этих историях испанцы проявили верх изобретательности, ибо по части выдумки испанцев не превзошел ни один народ в мире, как можно видеть во всех этих «Эспландаиах», «Фебах», «Пальмеринах», «Лисуарте», «Флорамбелях», «Эсфирамундах» и прославленном «Амадисе», отце всего этого полчища, сочиненном некоей португальской дамой¹. Боярдо, Ариосто² и другие писатели последовали их примеру, правда в стихах; и хотя в Испании не вполне еще забросили этот род сочинений, поскольку окончательно с ним расстаться не намерены, но в то же время существуют теперь у нас и книги новелл как переведенных с итальянского, так и собственного сочинения, в которых Мигель Сервантес проявил и изящество слога, и редкое искусство. Признаюсь, что книги эти чрезвычайно занимательны и могли бы стать назидательными, как некоторые трагические повествования Банделло³, но только их должны

¹ «Эспландаиа» <...> «Амадис» — позднерыцарские испанские романы XV—XVI вв. То, что «Амадис Галльский», опубликованный в обработке в 1508 г., первоначально был написан «некоей португальской дамой», — ничем не подтверждаемое предание.

² Боярдо Маттео (1441—1494) — итальянский поэт, автор незаконченной рыцарской поэмы «Влюбленный Роланд», продолжением которой как бы стала поэма Лудовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд».

³ Банделло Маттео (ок.1485—1563) — итальянский новеллист.

были бы писать люди ученые или, во всяком случае, весьма искушенные в светских делах, потому что люди эти умеют находить в каждом человеческом заблуждении нечто поучительное и дающее пищу для наставлений.

Я никогда не воображал, что мне придет в голову заняться сочинением новелл, и сейчас желание вашей милости и мой долг повиноваться вам поставили меня в затруднительное положение, но чтобы это не показалось с моей стороны нерадивостью, ибо я изобрел множество сюжетов для моих комедий, то с позволения тех, кто сочиняет новеллы, я постараюсь услужить вашей милости этим рассказом, о котором могу по крайней мере сказать твердо, что вы не могли его ни от кого слышать и что он не переведен ни с какого другого языка. Итак, я начинаю.

В славном городе Толедо, который по справедливости называют императорским, что подтверждает и его герб, не так давно жили два кабальеро. Были они ровесниками, и связывала их крепкая дружба, которая нередко возникает в ранней молодости у людей со схожими характерами и привычками. Я позволю себе скрыть их подлинные имена, чтобы не задеть чье-либо достоинство описанием различных случайностей и превратностей его судьбы. Скажу поэтому, что одного из них звали Октавио, а другого — Селио.

Октавио был сыном знатной вдовы, и его мать гордилась им, как и дочерью своей Дианой, именем которой названа эта новелла, не меньше, чем Латона гордилась Аполлоном и богиней Луны¹. Лисена — так звали эту сеньору — щедро

¹ Латона — согласно античному мифу, возлюбленная Юпитера, от которого у нее было двое детей: Аполлон, бог Солнца и покровитель искусств, и Диана, богиня Луны и охоты.

оплачивала наряды и развлечения Октавио, но умеренно и осторожно тратила деньги на свою дочь, одевая ее всегда с большой скромностью. Диану это чрезвычайно огорчало: известно ведь, что все девушки мечтают украсить богатыми нарядами свою юную прелесть; однако в этом стремлении они заблуждаются, как и во многих других случаях: чтобы украсить свежие утренние розы, довольно одной лишь росы, но если срезать их, то они будут нуждаться в искусно составленном букете, вид которого очень скоро перестает быть приятным. Скромно наряжая свою дочь, Лисена не делала ошибки: девушка, одетая не так, как ее окружающие, и мечтает о чем-то необычном и привлекает к себе взоры больше, чем полагается.

Диана подчинялась своей матери и строго соблюдала все ее предписания, поэтому никогда — ни во время обедни, ни на празднике — досужие молодые люди ее не разглядывали с любопытством, и ни один человек в городе не мог бы сказать о ней того, что теперь нередко говорят о многих девицах, а именно, что их наряжают и выставляют напоказ, чтобы поскорее сбыть с рук (в словах этих содержится немалый упрек и беззаботным родителям).

У Селио родителей не было, но был он от природы щедро одарен различными высокими достоинствами, — мне кажется, этим я уже сказал, что он был беден и не в чести у людей богатых. Один Октавио был с ним неразлучен; их дружба, зародив зависть в окружающих, вызвала ропот и большое неудовольствие родственников Октавио, которые жаловались Лисене на то, что в любом собрании, едва завидев Селио, Октавио отходил от них, часто даже не извинившись.

Лисена, задетая невниманием своего сына к родственникам и тою любовью и предпочтением, которые он выказывал Селио, как-то раз, на горе всем, побранила его за это более откровенно, чем обычно. Октавио догадался, из какого колчана были эти стрелы, и понял, что с помощью разных злых толков его хотят разлучить с другом; оставаясь почтительным, он сказал своей матери, что, если бы она знала все те свойства природы Селио, которые заслуживают любви и уважения, она не только не стала бы упрекать его за эту дружбу, а напротив, сама повелела бы ему проводить время только в обществе Селио. Он добавил, что, познав вероломство прежних своих друзей, их неискренность, непостоянство, неуменье хранить тайну и их низкие нравы, он решил ограничить себя обществом самого благородного, самого разумного, самого доброго, верного и правдивого кабальеро во всем Толедо, обладающего самыми изысканными манерами и лучше всего умеющего хранить тайну. И с тех пор, как он стал проводить с ним время, у него не было ни одной ссоры, и ему ни разу не приходилось пускать в ход шпагу, и все это потому, что Селио настолько миролюбив, благоразумен и осторожен, что ему удастся улаживать все недоразумения, которые возникают между другими кабальеро; благодаря своему уму он добился такого уважения среди них, что все они завидуют Октавио, видя, как Селио оказывает ему предпочтение и столь заслуженным образом приближает его к себе.

Лисена внимательно выслушала Октавио и ничего ему не ответила, так как знала, что он говорит правду, и ей никогда не приходилось слышать ничего такого, что бы противоречило его словам. Но еще усерднее внимала его словам Диана: слу-

шая похвалы, которыми ее брат осыпал Селио, она испытывала внезапное волнение; сердце ее нежно замирало, и в ней рождались какие-то новые чувства; она хотела помочь брату, сказать что-нибудь о том, что ей случалось слышать о Селио, но чтобы не дать другим увидеть то, что ей уже хотелось хранить в тайне, она заперла свои слова в сердце и заключила в душе свои желания, и только румянец, появившийся на ее щеках, сказал о том, о чем умолчали ее уста.

Через несколько дней дом Лисены посетила одна знатная сеньора, их родственница, с несколькими своими подругами, молодыми и красивыми дамами. Это не был обычный светский визит, их скорее привело желание приятно и весело провести время, так как их пригласили присутствовать при том, как Диана будет выполнять слово, данное ею некогда своему брату: она обещала ему, что накануне праздника его святого Октавио будут подвешивать¹, — известный обычай, который в ходу в Испании с незапамятных времен.

Октавио упросил Селио провести этот вечер в его доме, тем более что они могли находиться в другой комнате и не встречаться с дамами. Они вошли в комнату, которую занимал раньше отец Октавио; смежная с гардеробной, она находилась на большом расстоянии от той, где собрались дамы. Но случилось то, чего не мог предвидеть Октавио: не полагаясь на служанок, Диана оставила шумную беседу своих гостей, чтобы достать из шкафа кое-какие безделушки — подарки, которые в подобных случаях принято делать в каждом

¹ Речь идет о старинном обычае в католических странах, когда, празднуя чьи-либо именины, подвешивают к потолку куклу святого, чье имя носит именинник.

доме. Услышав шаги брата, она смутилась и задержалась на мгновение. Остановился и Селио, и когда Диана уже выходила из комнаты, туда, опередив своего друга, вошел Октавио. Диана взглянула на Селио, и все чувства, волновавшие ее душу, вспыхнули на ее лице, озарив ее красоту и лишив ее мужества.

Селио насколько мог приблизился к Диане — это было самое большее, что он в силах был сделать, настолько он был смущен и растерян, — и сказал ей:

— Как влекло меня сегодня в ваш дом!

На что она ответила ему, ласково улыбаясь:

— Ваше влечение вас не обмануло.

Мне вспомнились, сеньора Леонарда, те первые слова знаменитой трагедии о Селестине¹, когда Калисто говорит: «В этом, Мелибея, я вижу величие Господа». А она отвечает ему: «В чем, Калисто?» Я вспомнил эти слова, потому что один весьма образованный человек любил говорить, что если бы Мелибея не ответила: «В чем, Калисто?» — то не было бы на свете книги «Селестина», и любовь этой пары дальше бы не пошла. Так и теперь — несколько слов, которыми обменялись Селио и наша смущенная Диана, положили начало такой любви, стольким опасностям и несчастьям, что для того, чтобы рассказать обо всем этом, я хотел бы быть Гелиодором² или же знаменитым автором повести о Левкиппе и влюбленном Клитофонте³.

¹ Имеется в виду роман в диалогах «Трагикомедия о Калисто и Мелибее», написанный около 1500 г. Ф. де Рохасом и более известный под названием «Селестина».

² Гелиодор (III или IV в.) — греческий писатель.

³ Речь идет о популярном позднегреческом романе «Левкипп и Клитофонт», принадлежащем Ахиллу Тадию (III в.).

Этот прелестный ответ — сколько бед ожидало Диану в наказание за его смелость! — привел Селио в восхищение, и он был до крайности взволнован, потому что в душе его боролись крылатая надежда и сознание того, насколько трудна его задача. Он вошел в комнату Октавио с таким выражением на лице, как будто ровно ничего не случилось, и, заговорив с другом, принялся расхваливать его оружие и отдал должное старанию и вкусу, с каким развешены были на стенах шпаги, сделанные различными мастерами, с разной формы лезвиями, богато украшенные, — их у Октавио было множество. Селио попросил Октавио вооружиться с ног до головы и вооружился сам одним лишь вороненым оружием; они решили поупражняться перед предстоящим турниром.

Как изобретательна любовь, когда она стремится проложить дорогу своей надежде! Иначе разве мог бы Селио появляться так часто в доме Октавио, а Диана — видеть его и мечтать о нем. Наконец однажды, в более счастливый для них обоих день, чем другие, он смог ей передать письмо вместе с алмазным перстнем. Диана приняла его с нескрываемой радостью и удовольствием и, спрятавшись ото всех, поцеловала письмо и перебрала его сотни раз. Вот оно:

Письмо Селио к Диане

«Прелестнейшая Диана, не вини меня за дерзость: ведь каждый день, глядя в зеркало, ты видишь ее оправдание. Не знаю, на счастье или на горе я встретил тебя, но могу поклясться твоими прекрасными глазами, что я полюбил тебя еще раньше, чем тебя увидел; клянусь тебе, что каждый раз, когда я проходил мимо твоих дверей,

я невольно менялся в лице, и сердце говорило мне, что здесь живет причина моей гибели. Что же мне делать теперь, после того как я увидел тебя, и ты дала мне надежду на то, что относишься благо-склонно к моей любви — такой чистой и, боюсь, такой безнадежной.

Я полагаюсь на твои слова; с трудом я поверил бы в то, что услышал, как ты их произнесла, если бы меня не убеждали мои глаза, видевшие, как ты их говорила, и моя душа, в которой после твоих слов проснулась незнакомая мне до этого нежность, — и я прошу тебя позволить мне говорить с тобой, хотя и не знаю, что я смогу тебе сказать; но если ты согласишься на этот разговор, то знай, что честь твоя будет в безопасности, и ты сможешь наказать меня за мою дерзость».

Как счастлива та любовь, которой покровительствуют звезды и которой они приносят то, чего она хочет! Никаких слов недостаточно, чтобы дать представление о том, что почувствовала Диана, когда письмо это рассказало ей о влюбленной душе Селио; правдивость и прямота этого письма обрадовали и тронули ее больше, чем искусство, с которым оно было составлено, и вот что она написала в ответ:

«Селио, мой брат Октавио повинен в том, что, восхваляя ваши достоинства, возбудил во мне любовь к вам. Пусть же он винит себя и за мою теперешнюю дерзость.

Скажу о главном: подчиняясь вам, я буду любить вас так, как только смогу, но указать вам место, где бы вы могли говорить со мною, нет никакой возможности, потому что комната, в которой я сплю, выходит окнами во двор одного дома,

где живут какие-то бедняки, и я ни за что на свете не решусь причинить огорчение своей матери и своему брату разговорами о том, как я нарушаю свои обязанности».

Недолго пришлось ей ждать возможности передать это письмо Селио; он же, получив его, почувствовал такую радость, какой не знал еще никогда в жизни.

Дело в том, что хозяйка бедного домика, о котором писала Диана, была кормилицей Селио. Он посетил ее несколько раз и наконец стал просить ее поселиться в лучших комнатах его дома, уверяя ее, что ему горько видеть, в какой она живет бедности. Убедить ее переехать к нему оказалось не трудно, так как она решила, что им руководит признательность, которую он не утратил, хотя и стал взрослым. Селио получил ключи от ее дома и, показав их Диане, объяснил ей знаками, что теперь они принадлежат ему и что она должна отбросить все свои опасения.

Наступила ночь, и Селио вышел из дома, чтобы посмотреть, не появилось ли на небе его солнце, а Диана, услышав во дворе шаги, звуки которых отдавались эхом в ее сердце, осторожно отворила окно и ставни, и он увидел ее лицо, полное любви и страха.

Как только Селио оправился от растерянности и восхищения, во время которого вся кровь прихлынула к его сердцу, а в глазах зажглась радость, он сказал ей столько нежных, трепетных и влюбленных слов, что Диана с трудом решилась отвечать на них, так как стыдливость сковала ее уста, и новизна всего, что она слышала, смущала ее рассудок. В таком положении их застала заря, которой они не ждали: он — потому, что любовал-

ся своим солнцем, а она — так как смотрела с высоты на него.

Так прошло несколько дней, и они по-прежнему осмеливались лишь говорить друг другу о своей любви и предаваться в одиночестве своим чувствам. Окно Дианы возвышалось над землей на четырнадцать или шестнадцать футов, и однажды Селио попросил у нее разрешения подняться к ней. Диана притворилась оскорбленной и, не произнося слов отказа, спросила, каким образом думает он обойтись без шума, притащив лестницу в дом, где давно никто не живет. Селио ей ответил, что, если она ему разрешит, он сможет подняться к ней и без лестницы. В конце концов они согласились на том, что он не войдет в ее комнату. О любовь, сгоряч ты готова отказаться от самого желанного! Блажен, кто верит твоим обещаниям. Селио взял веревочную лестницу, которую он приносил с собой уже несколько ночей подряд в надежде на то, что одна из этих ночей подарит ему удачу; подняв с земли палку, как будто бы нарочно валявшуюся неподалеку, он привязал к ней конец лестницы и забросил ее в окно, предупредив сначала Диану и попросив ее свесить лестницу из окна своей комнаты. Диана, дрожа от волнения, помогла ему укрепить лестницу, и едва Селио убедился в ее прочности, как, доверившись веревочным ступеням, он через мгновение оказался в объятиях Дианы, которая как будто бы затем, чтобы не дать ему упасть, протянула к нему свои руки. Селио поцеловал их под тем же предлогом, как будто бы благодарил ее за заботу о своей жизни, — ведь любовь подобна придворному, который все поступки, идущие от сердца, прикрывает маской учтивости.

Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, не может ли кто их увидеть, они решили, что это невозможно, — может быть, потому, что так им хотелось, — и тогда громче заговорила их любовь, и они стали казаться парой влюбленных голубков, которые целуются и своим воркованием вызывают друг друга на нежное состязание. Несколько ночей подряд повторялась такая тайная беседа наших влюбленных, ибо Диана никак не соглашалась на то, к чему стремился Селио, хотя он убеждал ее самыми красноречивыми доводами, принося самые пламенные клятвы. Мне вспоминаются черты влюбленного, описанные Теренцием в его «Андринке»¹; из пяти, о которых он упоминает, Селио обладал четырьмя: его томило желание; он был красноречив; каким тоскующим он притворялся, каких только он не давал обещаний, как перевозносил он свои чувства, как, подтверждая его печаль, бледнело его лицо, и какие нежные жалобы вырывались из его уст! Наконец однажды он с такой настойчивостью молил ее, что Диана не сказала ему в ответ ни слова, и он, почти не встречая с ее стороны сопротивления, очутился в ее комнате и, опустившись перед ней на колени и проливая притворные слезы, стал просить у нее прощения за свою дерзость.

Скажите же мне, сеньора Леонарда, почему все эти слова и поступки не мешают мужчинам позорить честь женщин! Они делают их мягкими, как воск, своими обманами и хотят, чтобы они оставались твердыми, как камень. Что могла предпринять Диана против такой настойчивости? Раз-

¹ «Андринка» — комедия римского писателя Теренция (II в. до н. э.).

ве она была Троей, Карфагеном или Нуманцией?
Как хорошо сказал поэт:

Как ни сопротивлялась Троя,
А все ж пришлось и Трое пасть.

От волнения Диана лишилась чувств; Селио поднял девушку, бережно отнес ее на кровать, и его слезы послужили водой, чтобы привести ее в чувство, но в то же время стали огнем, воспламенившим ее сердце. Подобно тому как зимой ночью люди слышат в полусне, как идет дождь, так и Диана, сознание которой дремало, а любовь бодрствовала, чувствовала на своем лице слезы Селио. Когда она пришла в себя, он снова начал просить у нее прощения, в котором она не могла ему отказать, так как уже раскаивалась в том, что заставила Селио о чем-то просить, но вместе с тем она стала умолять его вспомнить то, что он обещал ей перед тем, как проник в ее комнату, и требовать, чтобы он покинул ее, не нанося оскорбления ее чести и ее любви. Но Селио уже не в силах был ей повиноваться; к тому же он считал, что сопротивление Дианы не может быть настолько велико, чтобы противостоять такому счастливому стечению обстоятельств. Так он сделался Тарквинием менее стойкой Лукреции и, осыпая ее клятвами и обещаниями, лишил ее чести, искренне обязавшись жениться на ней. С этого дня их любовь стала еще сильнее, и Селио не постигла участь обольстителя прекрасной Фамари¹, обладание не угасило его страсти, а красота девушки не позволила раскаянию проникнуть в его душу.

¹ По библейской легенде, сын царя Давида Аммон так влюбился в свою сестру Фамари, что в порыве страсти овладел ею, но после этого сразу же возненавидел ее.

Вскоре радость счастливого кабальеро стала всем заметна, так как при своем скромном состоянии он заказал своим слугам ливреи, а все это потому, что когда любовь человека торжествует, он перестает быть бережливым и не боится расстаться со всем тем, чем раньше владел. Селио спросил у Дианы, заходит ли иногда мать в ее комнату, и та ответила ему, что нет; тогда он выпросил у нее разрешение остаться в этой комнате на несколько дней, и она принялась воспроизводить его в себе с такою быстротой, что вскоре не могла уже об этом молчать, и ее горькие слезы говорили о раскаянии, вызванном опасением того, что это событие, скрыть которое было бы невозможно, откроет ее матери и брату позор их семьи. К тому же она думала о том, что станут говорить в городе о ее внезапном уединении и что скажут о ней родственницы и подруги, уверившись, что добродетель ее притворна.

Селио пытался указать ей способы, которые могли бы устранить беду. Он ни на минуту не подумал о том, чтобы умертвить ребенка, но сознавая, что, попросив руки Дианы, он утратит дружбу Октавио и что, зная о его бедности, ее не согласятся выдать за него замуж, он решил уговорить Диану прибегнуть к вмешательству церкви. Однако она отвергла этот совет и потому, как показалось Селио, что она слишком горевала о своей чести, чтобы обнаружить перед людьми свою любовную историю. Если бы девицы соизволили задуматься над тем, что случилось с Дианой, то, возможно, они бы перестали легкомысленно прокладывать пути собственному несчастью. В конце концов Селио предоставил решить Диане, как нужно поступить, так как сам он не хотел, попросив ее руки, потерять дружбу Октавио и ви-

дел в то же время, что она не может согласиться на то, чтобы суд церкви помог ее замужеству.

Сотни раз проклинала себя Диана за то, что позволила Селио овладеть ею, а надо принять во внимание, что она нежно его любила и, как говорится в простонародье, видела свет Божий его глазами. Наконец Селио, который в растерянности принимал то одно решение, то другое, ибо, как говорит Сенека, сомневающийся дух постоянно колеблется между разными решениями, сказал Диане, что, если у нее не хватит духу покинуть дом своей матери, он увезет ее в Индии и там женится на ней. Отчаяние Дианы было столь велико, что она согласилась уехать и, рыдая, стала его просить увезти ее туда, где бы она не видела гнева и горя своей матери и безумия своего брата, а там пусть он, если хочет, даже убьет ее в первом же лесу.

Селио, рассказав о своем, к счастью, было столь же велико, серьезно задумался об опасности и, руководимый своей тревогой, начал готовиться к отъезду, так как новый гость, живущий под сердцем Дианы, уже давал о себе знать: он освоился в своем домике и с каждым днем занимал в нем все больше места.

У Селио были две красивые лошади, которые составляли его выезд и в то же время служили для верховой езды; он украсил одну из них богатой сбруей, а на спину другой велел надеть дорогое седло; приготовил он и два дорожных костюма одного цвета и с одинаковыми украшениями — один для себя, а другой для Дианы. Несколько ночей он провел с нею, рассказывая ей обо всем, что он предпринимал для их отъезда. Эти разговоры доставляли Селио большое удовольствие, так как ему казалось, что этим он искупает свои грехи. Решив, что она никогда больше не вернется в свой

дом и не увидит родных, Диана задумала увезти с собой кое-какие вещи — отчасти по названной причине, отчасти потому, что не знала, что ждет ее впереди, ибо судьба изменчива и очень редко покровительствует влюбленным, когда они находятся на чужбине. Она взяла у Лисены ключи и достала из ее сундуков самые ценные украшения, какие только там были, и некоторое количество эскудо¹. Все это она спрятала в ларчик, который был у нее еще с детских лет, и заперла его на ключ.

Приблизилась ночь, когда они должны были уехать. В этот день Селио оделся с большим старанием во все черное, для того чтобы у Октавио не возникло никаких подозрений. Но Октавио так, как если бы ему кто-то сообщил о замысле Селио, не отпускал его от себя ни на шаг, хоть тот и уверял, что его ждут неотложные дела. Было уже девять часов вечера, а Октавио все никак не оставлял Селио одного, и когда Селио захотел уйти против его желания, он с удивительной и нескрываемой настойчивостью повел его вместе с собой. Они вошли в игорный дом, один из тех, где обычно собираются праздные кабальеро; некоторые из них проводят здесь время за игрой, иные о чем-то вполголоса разговаривают друг с другом, кое-кто просто отдыхает от семейных тревог, в то время как в доме у него — в уверенности, что хозяин не скоро вернется, — его заменяет какой-нибудь гость.

Селио мучило томительное опасение; он знал, что если покинет Октавио, тот пошлет вслед за ним пажа, чтобы спросить, куда он уходит, а если останется и будет его ждать, то упустит возмож-

¹ Эскудо — старинная испанская золотая монета.

ность увезти Диану из дома. Он решил запастись терпением и довериться судьбе, тем более, казалось ему, что для Дианы будет достаточным извинением то обстоятельство, что он никак не мог покинуть Октавио.

Тем временем Диана, хорошо помня о том, что ей нужно сделать и что она должна взять с собой, надела свое лучшее платье, взяла потихоньку ключи и стала ждать Селио на балконе, который помещался над самыми воротами. Пробыло полночь — время, когда обычно ее брат возвращался домой после игры или других развлечений, которым предаются молодые люди, и в тот самый момент, когда ее охватила печаль и горестные сомнения, она увидела при свете луны приближающегося к дому мужчину, высокого и стройного, в богатой широкополой шляпе, украшенной белым пером и еще чем-то золотым, что переливалось при его приближении, как алмазный луч. Все это и многое другое заставило ее принять этого человека за Селио. Ни о чем не подозревая, мужчина прошел мимо дома; Диана ничего не различая от страха, окликнула его два раза. Мужчина обернулся и, увидев нежные очертания женской фигуры, стоящей на балконе одного из лучших домов в городе, подошел к ней, не произнося ни слова и не без страха думая о том, что его сейчас ожидает.

Диана сказала ему:

— Пора уже?

На что он ответил:

— Для этого любой час хорош.

Тогда, не обратив внимания на его голос, ибо обманувшееся воображение сказало ей, что голос этот тот самый, который она должна была услышать, она со словами: «Ждите меня у ворот», —

спустила ему ларец. Незнакомец, зная, что и слова эти, и ларец предназначены вовсе не для него и что женщина эта ждала другого, убежал, ослепленный жадностью, опасаясь, что она, догадавшись об обмане, начнет звать на помощь.

Между тем Диана, стараясь не шуметь, подошла к дверям, тихонько открыла их и, не увидев Селио, решила, что он из осторожности прошел немного дальше по улице; тогда, находясь во власти своего заблуждения, она вышла за городскую черту, и там, не видя ничего больше, кроме деревьев и полей, она сотни раз принимала решение вернуться обратно. Но опасаясь, что брат ее уже пришел домой и, найдя двери открытыми, поднял шум и забил тревогу, а также не веря, чтобы Селио, столь благородный, влюбленный и честный кабальеро, мог погубить свою честь ради ларца с драгоценностями, она в ту минуту, когда на башне собора пробило два часа ночи, перешла через мост Алькантары и пошла дальше по каменистой горной дороге. На лице ее выступил холодный пот; тысячи мыслей и сомнений проносились в ее голове; она все больше уклонялась от дороги, пока наконец не добрела до леса. Здесь она много раз принимала решение расстаться с жизнью, но ее останавливал законный страх погубить свою душу.

Кабальеро, занятые игрой, а некоторые из них — огорченные своими проигрышами, так как никакая игра без них не обходится, развлекались до трех часов ночи. Тогда-то и Октавио отправился домой, сопровождаемый Селио, которому хотелось, чтобы Диана услышала, как он прощается с ее братом, и не сердилась на его опоздание.

Октавио, удивленный тем, что в столь поздний час ворота не заперты, кликнул слугу и поблагода-

рил его за то, что из преданности ему и желания услужить он оставил двери открытыми. Слуга долго искал ключи и, не найдя их, остался на страже у ворот, пока рано утром не проснулся Октавио, и когда тот спросил у него, почему он не спит, слуга ему ответил, что он не мог запереть дверей, так как не нашел ключей на их обычном месте, и это заставило его сидеть у ворот. Не поверив слуге, Октавио постучал в комнату дуэньи, женщины честной и достойной доверия, и стал допытываться у нее, куда девались ключи; дуэнья, не совсем проснувшись, очень удивилась, и все это вызвало в доме переполох, во время которого одна молоденькая служанка вошла в комнату Дианы; не найдя ее там и увидев, что постель ее совсем не смята, она почувствовала что-то неладное и воскликнула, заливаясь слезами:

— О моя госпожа и мое сокровище, почему вы не взяли с собой вашу несчастную Флоринду?

На ее крики в комнату поспешно вошли мать и брат Дианы; узнав, что она потеряла свою честь и покинула их дом, Лисена без чувств упала на землю, а побледневший Октавио стал допытываться у слуг, задавая им торопливые вопросы и как безумный оглядываясь по сторонам.

Одна только Флоринда могла сказать, что уже два или три дня замечала, как Диана плакала, и так горько, что, хотя она и говорила о посторонних вещах, из глаз ее лились слезы, и она глубоко и печально вздыхала.

Совсем рассвело, и беда стала уже явной, когда они послали в два ближних монастыря, где у Дианы были две тетки-монахини. Обе ответили, что ничего о ней не знают; также ничего не знали о ней все ее родственницы и подруги, которые мгновенно заполнили весь дом.

Из-за этого шума, криков и суматохи слухи о происшедшем распространились по городу, и завистливые друзья — если только бывают таковые на свете — принялись уверять, что Диану похитил Селио, причем некоторые из них даже утверждали, что собственными глазами видели, как это произошло.

Фенисо, слуга Селио, услышал об этом во дворе аюнтамьенто, а также в приделе Святого Христофора. Будучи человеком справедливым, он осмелился возразить, что каждый, кто утверждает, что Селио так подло предал Октавио, лжет; повернувшись спиной к болтунам, он добавил:

— Селио и Октавио расстались друг с другом в три часа ночи, и когда я уходил из дома, Селио еще спал; скоро он сам явится сюда и вступится за свою честь.

Фенисо разбудил Селио, который, услышав о том, что происходит, надолго потерял над собой власть; но, зная, сколь необходимо ему овладеть своими чувствами, поспешно оделся и, бледный как полотно, пошатываясь на ходу, обошел все те места, где, по словам Фенисо, высказывались обвинения по его адресу. При виде Селио сплетники разбежались, объяснив его печаль дружбой, которая связывала его с Октавио и была всем известна.

Селио нашел Октавио у дверей его дома; они посмотрели друг на друга и долго стояли так, не произнося ни слова; каждый из них предавался своему горю, и хотя велико было горе Октавио, горе Селио было еще больше. Преодолев свое волнение, он сжал в своих руках руки Октавио, которые дрожали и были холодны как лед, и сказал:

— Если бы даже мне случилось потерять честь, все равно я не знаю горя, которое заставило

бы меня столь же сильно страдать, как это. Ах, Октавио, ваше горе разрывает мне душу!

Октавио, хотя он и был мужественным кабальеро, лишился чувств в его объятиях, тронутый слезами, которые он увидел на лице Селио. Его отнесли в комнату, где заботы Селио вернули ему сознание. Тогда виновник всего случившегося, сделав вид, что он ничего не знает, стал задавать настойчивые вопросы о том, какие были приняты меры. Октавио подробно ему рассказал обо всем, и Селио, желая успокоить его, сказал, что, раз Дианы нет в городе, нужно немедленно начать искать ее на всех дорогах и что он первый начнет эти поиски. Ободрив Октавио, он обещал ему не возвращаться в Толедо без Дианы, если только она не вернется сама, и, протянув ему руки, отправился к себе домой. Так как Селио уже был готов к отъезду, то дома он сразу нашел все необходимое для того, чтобы отправиться в путь. Уже близилась ночь, и он, взяв с собой одного только своего слугу Фенисо, выехал из города, рыдая и моля небо направить его в ту сторону, где находилась Диана; он так тяжело вздыхал, столько нежных и печальных жалоб срывалось с его уст, что даже скалы и деревья почувствовали к нему жалость, и в горах, где бежит Тахо, ему вторило эхо.

Между тем Диана проснулась в долине, которую освежал извилистый ручеек; сквозь заросли тростника и шпажника проглядывала гладь его воды, похожая на осколки разбитого зеркала. Она посидела немного и, выпив несколько глотков воды и охладив свою грудь, взволнованную горестями минувшей ночи, разулась, чтобы перейти ручей, и сказала:

— О беззаботные радости, какой печальной истиной приходится расплачиваться за ложь, ко-

торой вы нас прельщали! Как сладко обманывало меня начало и какой грустный конец завершает такое короткое счастье! О Селио, кто бы мог подумать, что ты обманешь меня! Взгляни, что мне приходится терпеть из-за тебя: за то, что я тебя полюбила, я теперь ненавижу себя, потому что для меня сейчас нет ничего более постылого, чем моя жизнь, которую ты любил; но я уверена, что, если бы ты меня увидел сейчас, твоя душа прониклась бы жалостью к тому, как я из-за тебя страдаю.

В эту минуту она взглянула на свои ноги и вспомнила, как любил их Селио; сердце ее смягчалось, она не стала переходить через ручей и, рыдая, долго сидела, убаюкиваемая шумом воды и голосом пастуха, который недалеко от того места, где находилась Диана, пел такую песню:

Между двух зеленых вязов,
Словно под зеленой аркой,
Тахо воды мчит безмолвно,
Чтоб не разбудить пернатых.

Тщетно руки двух влюбленных
Два ствола срастить пытались,
Но ветвям соединиться
Не дает завистник Тахо.

Сильвио следит за ними
Со скалы, что, словно башня,
Над зелеными полями
Высится громадой красной.

Овцы разбрелись по лугу:
Эти утоляют жажду,
Те траву лениво щиплют,
Третьи пастуху внимают.

Счастью Сильвио упорно
Зависть Лаусо мешает.
Этот глупый злой упрямец
Золотом всех рек богаче.

Он, как Тахо оба вяза,
С ним Элису разлучает,
Но лишь их тела — не души
Разделить ревнивец властен.

Взял пастух гитару в руки,
И на звуки горьких жалоб
Соловьи лесные пеньем
В ближней роще отвечают:

«Вязы, вам сплести в объятье
Ветви удастся
В дни, когда под солнцем лета
Высохнет Тахо.

Но беда, с которой время
Не может сладить,
Нам все больше мук и горя
Несет с годами».

Немного успокоившись и опасаясь, как бы человек, который только что пел, не рассказал ее брату, отправившемуся ее разыскивать, о том, где она находится, Диана пошла босиком вдоль ручья, и наконец, когда ей показалось, что она почти уже в безопасности и что впереди не видно больше воды, так как у подножия небольшого холма ручей разделялся на два рукава и, устремляясь назад, покрывал ее ноги водой, она немедленно двинулась вперед, не подкрепив свои силы ничем, кроме немногих глотков воды, которые утром ей пред-

ложил ручей; она шла до тех пор, пока наступившая темнота не помешала ей идти дальше.

Тогда она упала без чувств среди густой травы, и так как не было никого, кто бы ее утешил или ободрил, она заснула, так и не придя в себя. Наконец, отдохнув, она стала ждать наступления дня, охваченная страхом, который причиняли ей близкие голоса каких-то зверей и беспорядочный шум родников, стекающих с гор, кажущийся особенно сильным в ночной тишине.

То ли зря сжалилась над ее горем, то ли позавидовала ее слезам, но только она взошла раньше обычного, и вместе с нею, преодолевая свою женскую слабость и думая только о смерти, Диана снова пошла по дороге, которая, как ей казалось, скорее других должна была привести ее к несчастному концу. Солнце уже прошло половину небосвода, когда она, решив, что своим желанием умереть оскорбляет небо, нашла в маленькой рощице небольшой источник и немного свежей травы. Со слезами на глазах она съела несколько травинок; источник, нежно ее лаская, умерил огонь ее сердца, и глаза ее вернули ему его влагу.

Так она шла три дня, к концу которых, выйдя из густого леса на ровное поле, она выбилась из сил и, прислонившись к дереву, увидела молодого пастуха, который, разговаривая с девушкой-горянкой, приближался к тому месту, где она стояла. Диане уже казалось, что весь мир знает, почему она покинула родительский дом, и что даже эти пастух и пастушка направляются к ней, чтобы разбранить ее и пристыдить за любовь к Селио. Она упала на зеленый дерн, росший под деревом, и, поглядев вокруг себя глазами, полными ужаса и отчаяния, лишилась чувств.

Между тем пастух, всецело занятый ухаживанием за крестьяночкой и озабоченный только тем, чтобы его не слышал никто, кроме птиц, которые летели за ним следом, начал песню. И если ваша милость, сеньора Леонарда, больше желает узнать о судьбе Дианы, чем слышать, что поет Фабио, то вы можете пропустить этот романс; если же ваше внимание не столь нетерпеливо, то вы можете узнать, о чем говорят эти жалобные раздумья, в которых речь идет отчасти о любви.

Кто кривить душой не хочет,
Тот в любви всегда несчастен.
Так и мне за откровенность
Стал один обман наградой.

В дни, когда тебе, Филида,
Ложью я платил за правду,
Сколько ты в тоске роняла
Слез с ланит и с губ стенаний!

Сколько раз кричал я ночью,
Если ты ко мне стучалась:
«Кто не постучался в сердце,
Тот стучится в дверь напрасно!»

Пастухи тебе твердили:
«Нету Фабио в овчарне»,
И с досадой говорил я:
«Что она мне докучает!»

Жалобам твоим, Филида,
Только воды отвечали
Неумолчным, равнодушным
К горю твоему журчаньем.

Помню я, однажды ночью
Ты с отчаяньем сказала:
«Дай хоть мне пылать любовью,
Если сам любви не знаешь».

Не люби меня, Филида,
Храм любви есть сердце наше,
И в него врываться силой
Женщине не подобает.

Так у твоего порога
До зари мы добивались:
Ты — чтоб я вошел под кровлю,
Я — чтоб ты не отпирала.

Ты вскричала иступленно:
«Пусть же небо покарает
Жар, которым леденишь ты,
Лед, которым ты сжигаешь!»

Долго чахла ты, Филида,
Но всему конец бывает:
Тот, кто верит, что не любит,
Обмануться может часто.

Наша воля ни над чувством,
Ни над временем не властна.
Видим мы, что нас любили,
Лишь когда любовь утратим.

Вот и я в тебя влюбился
Так, что охватила зависть
Солнце в зареве рассвета
И луну в полночном мраке.

Рощи, горы и потоки,
Видя нас, любви предались,
И в объятиях зеленых
Стиснули друг друга травы.

Но едва лишь с гор спустился
Сильвио, который раньше
Пастухом твоим был верным,
Ты непостоянной стала.

Случай ты не упустила,
Хоть тебя я обожаю,
За презрение бывшее
Отомстить мне беспощадно.

Я клянусь тебе, Филида,
Что брожу, снедаем страстью,
Днями под твоим окошком,
У твоих дверей ночами.

Я позвать тебя не смею,
Ибо ты надменно скажешь:
«Что ж теперь стучится в двери
Тот, кто в сердце не стучался?»»

Пусть порой я притворяюсь,
Что тебя не замечаю,
Но стоишь ты неотступно
У меня перед глазами.

На подарки от Филиды,
Столь постылые когда-то,
Не могу я наглядеться,
С ними не могу расстаться.

Скрыв от всех мои мученья,
Чтоб тебя не порицали,
Буду я страдать, покуда
Ты мне мстить не перестанешь.

Все тебе во мне не мило,
Даже то, что я лобзаю,
От любви безумный, землю,
Где нога твоя ступала.

И сказать тебе при этом
Я открыто не решаюсь,
Что, закравшись в наше сердце,
Ревность дружбу охлаждает.

Верно говорил Фабио, ибо, хотя и правда, что, убедившись в основательности ревнивых подозрений, позорно продолжать любить, чему множество примеров приводят Плиний и Аристотель, говоря о животных, все же есть люди, которые не могут полюбить, прежде чем их не оскорбили, и то, что у других вызывает отвращение, только разжигает их страсть. Об этом и пел пастух своей горянке, которая слушала его одновременно высокомерно и с удовольствием.

Когда песня окончилась, они подошли к тем самым деревьям, между которыми лежала почти без чувств Диана, лихорадочно перебиравшая в уме все свои несчастья: то она обвиняла Селио, то ей казалось невозможным, чтобы такой благородный, знатный, разумный и любезный кабальеро забыл о своем долге, то она винила во всем свою стремительную любовь, которая так необдуманно пошла ему навстречу; и среди всех этих сомнений ее больше всего мучила мысль о том,

что, быть может, Селио к ней охладел, потому что, когда она думала о том, что он ее по-прежнему любит, она забывала о тяжести своих страданий, которые в такие минуты и не казались ей больше страданиями. А можно ли вообразить большие страдания для женщины благородного происхождения, которая в полном одиночестве прошла долгий путь по скалистой дороге, почти не имея пищи и лишенная надежды найти венец своей любви раньше, чем конец своей жизни.

Пастухи были изумлены, увидев среди ветвей такую дивную красавицу, лежавшую без чувств, совсем разутую и находящуюся скорее во власти смерти, чем глубокого сна. Пастушка окликнула ее два или три раза и, убедившись, что она не отвечает, села рядом с ней, решив, что она мертва или что жить ей осталось совсем немного. Она взяла ее руки, холодные, белые и во всем подобные снегу, заглянула ей в лицо и, увидев без чувств такую красавицу, положила ее голову себе на колени, отвела в сторону ее волосы, беспорядочно струившиеся по ее лицу и шее; уже не было того, кто их связывал и заплетал, и глаза ее посылали укор тому, кого они некогда взяли в плен. Но так как голова Дианы клонилась из стороны в сторону, то пастушка, решив, что она мертва, начала нежно и жалобно плакать. Отчаяние пастушки и горе крестьянина, умевшего нежно чувствовать, пробудили Диану и, хотя она не подала надежды, что будет жить, все же успокоила их своими стонами; на глазах ее показались слезы, за которыми последовал такой горестный вздох, что она, положив руку на свое сердце — так оно у нее сжималось, — снова лишилась чувств. Тогда прекрасная Филадельфа, применив обычное средство, решила расшнуровать ее, чтобы дать сердцу больше простора,

а пастух тем временем принес из родника воды, капли которой засверкали на ее лице, словно слезы или жемчужины, но все же по сравнению с истинными жемчужинами, струившимися из ее ясных глаз, они казались поддельными.

Диана поблагодарила их, а когда они спросили о причине такого ее состояния, она ответила, что уже три дня бредет одиноко, без всякой пищи. Тогда Филица раскрыла свою котомку — я думаю, ваша милость знает из пастушеских романов о том, что крестьяне обычно носят с собой котомки, — и, вняв ее просьбам, Диана заставила себя поесть, и, когда она слегка подкрепила свои силы, ее ослабевшее тело почувствовало облегчение. Пока Диана ела, Филица расспрашивала ее, кто она такая, откуда идет и как могло случиться, что волки, которые спускались с гор и шли за стадами вплоть до Эстремадуры, не напали на нее в одну из этих ночей. Диана ответила, что, наверное, даже дикие звери избегали ее, как отравы, и, боясь за свою жизнь, не лишали жизни ее. Филица, видя ужасное состояние духа Дианы, желавшей, чтобы в этом лесу окончилась ее жизнь, уговорила ее пойти вместе с нею на хутор, принадлежавший ее отцу; она убеждала ее так горячо и с такой любовью, что Диана, обезоруженная ее приветливостью и чистосердечием, решила, что так будет лучше для того, кого она носила под сердцем и к кому она относилась с естественной заботливостью, хоть и ненавидела свою жизнь. Она пошла вместе с пастухами и была хорошо принята, и хотя сначала старый Сельвахито, отец Филицы, столь же неотесанный, как его имя¹, без

¹ Имя Сельвахито происходит от испанского слова со значением «дикий».

особого удовольствия принял ее в свой дом, но потом, тронутый ее красотой и скромностью, а также любовью к ней дочери, почувствовал жалость и проявил некоторое радушие.

Между тем Селио, выехав из славного Толедо, не зная никакой дороги, кроме той, по которой его вела любовь, огласил своими жалобами первый же лесок; и, повторяя себе, что это из-за него Диана покинула свой дом, мать, брата, родных, подруг, покой и родину, он среди мук, которые испытывал, и на счастье себе и на горе, едва не расстался с жизнью. Целых шесть дней он не заезжал ни в одну деревню, и лошади должны были расплачиваться за его печаль, ибо кормились одними полевыми травами.

Наконец Фенисо увидел вдали селение, почти скрытое от глаза деревьями, над которыми возвышались две башни, отражавшие своими изрещами игру солнечных лучей. Он уговорил Селио заехать в это селение, и, прибыв туда, они стали расспрашивать, не найдется ли здесь кто-нибудь, кто мог бы им сообщить какие-либо сведения о его потерянном сокровище. Но ни в этом селении, ни во многих других на расстоянии десяти или даже двадцати миль от Толедо, которые они исколесили за месяц, им не удалось найти никаких следов. Тогда ему пришло в голову, что, раз Диана уговорила ехать с ним в Индии, то она, наверное, нашла человека, который довел ее до Севильи. И вот, надеясь найти ее там, а также желая уехать подальше от родных мест, он решил убедиться, нет ли ее в этом славном городе. Голод и ночи, проведенные под открытым небом, настолько изменили внешность Селио, что он мог бы вернуться в Толедо, не боясь быть узнанным. Прибыв в Севилью, он произвел столько розысков, сколько

можно было ожидать от столь нежно влюбленного и столь верного своим обязанностям человека. Но как ни сильно был он огорчен тем, что не нашел там Дианы и не встретил ни одного человека, который сообщил бы ему о ней какие-нибудь, пусть даже ложные сведения, еще больше он был опечален тем, что индийская флотилия уже отплыла, ибо, хорошо зная силу любви, храбрость и мужество Дианы, Селио решил, что она, наверное, отплыла с нею.

Судьбе его было угодно, чтобы в порту оставался еще один корабль, зафрахтованный каким-то купцом. Он должен был выйти в море не ранее, чем через десять или двенадцать дней. Селио поговорил с этим купцом, и они условились, что тот доставит его в Индии. Владелец корабля согласился на это, и между ним и Селио установились дружеские отношения. Несколько раз они обедали вместе, и судовладелец спрашивал его в подходящих случаях о причине его печали; однако Селио каждый раз уклонялся от ответа, говоря, что не хочет рассказывать об этих грустных вещах, чтобы воспоминания о них не усилили его скорбь. Настал день отъезда; пользуясь попутным ветром, корабль отчалил и, оставляя за собой легкий след, устремился в открытое море; и чем больше казалось Селио, что он приближается к Диане, тем больше он от нее отдалялся. И все же надежда на счастье, пусть даже обманчивая, никогда не причиняет человеку зла, потому что она облегчает жизнь.

Тем временем Октавио в Толедо не мог ни на час забыть о нанесенной ему обиде, и скорбь его еще увеличилась, потому что ни от кого из тех, кто разыскивал Диану, будь то родственники или друзья, он не узнал ничего нового, что могло бы

зародить в нем хотя бы самую слабую надежду. Видя, что Селио не возвращается, он вообразил, что они сговорились с Дианой о том, что она уедет первая, а он последует за ней под предлогом, что ее разыскивает; но он отбросил эту мысль, когда до него дошел распространившийся по городу слух, будто какие-то люди видели, как Селио, в сопровождении только Фенисо, с большим старанием искал Диану в окрестных деревнях. Октавио успокоился — отчасти по этой причине, отчасти потому, что мать старалась разубедить его в этом, боясь, что, если Октавио укрепитя в своем предположении, она может потерять обоих своих детей.

Два месяца провела Диана в доме почтенных поселян, нежно опекаемая Филидой; и вот наступило время родов, которые дали ей красивого сына. Теперь она не могла бы жаловаться, как жаловалась у Вергилия покинутая Энеем Дидона:

Если б мне дарован был
Маленький Эней судьбою,
Прежде чем меня с тобою
Гнев небес не разлучил.
Рос бы он в моем дворце
И, любуясь им всечасно,
Я не стала бы напрасно
Плакать о его отце¹.

Правда, по-иному говорит об этом Овидий в своем послании:

Часть себя, неблагодарный,
В лоно ты мое вложил,
И ее приговорил
Ныне к смерти рок коварный,
Раз Дидону ждет кончина
Из-за низости твоей,

¹ Вольный перевод из «Энеиды» Вергилия (IV, 327—333).

Знай, что ты убил, Эней,
Своего родного сына¹.

Мне думается, однако, что искусство, в котором так прославился Овидий, заставило Дидону притвориться, будто она ждет ребенка от Энея, дабы заставить его вернуться к ней; впрочем, женщины разыгрывают не только беременность, но даже и роды.

Но все, что произошло с Дианой, не было притворством; напротив, все это было настолько истинным, что являлось причиной ее странствий и бед. Кажется непостижимым, что когда люди стремятся иметь наследника, то из-за какой-нибудь прихоти, в которой стыдно признаться или которую невозможно исполнить, гибнет плод, а подчас и самое дерево, и что после стольких трудностей, всех этих дорог, пройденных босыми ногами, несчастное это дитя все же появилось на свет.

Когда прошел месяц после этого, Диана повзвала Филиду и сказала ей:

— Я должна покинуть эти края; видит Бог, как мне тяжело уходить отсюда, и мои священные обязанности перед сыном могут тебе сказать об этом. Я оставляю тебе мое дитя — этот драгоценный залог обяжет меня вернуться. Я не могу идти в своем платье и вообще одетая как женщина, потому что в женском платье я была несчастна. Поэтому прошу тебя, дай мне что-нибудь из одежды тех крестьян, что служат твоему отцу или тебе; а чтобы платье это было чистым, я из плаща, в котором пришла сюда, уже сшила себе штаны с тем малым искусством, какому могли научить меня мои несчастья.

¹ Вольный перевод из «Героид» Овидия (VII, 133—136).

Сказав это, она начала переодеваться, и никакие мольбы и даже слезы Филиды не могли изменить ее твердого решения. Диана достала два алмазных ожерелья, которые она носила у себя на груди, и, отдав Филиде одно из них, более дорогое, чтобы та растила ее сына, она расплатилась вторым ожерельем за оказанное ей гостеприимство; отблагодарить же за любовь она была бессильна.

Наконец она завернулась в плотный плащ и, обрезав свои волосы, покрыла деревенской широкополой шляпой голову, привыкшую к дорогим лентам, алмазам и золоту. Диана была хорошо сложена, фигура у нее была высокая и стройная, лицо не было чрезмерно изнеженным, и благодаря всему этому ее можно было теперь принять за красивого юношу, похожего на Аполлона, пасущего стада Адмета¹. Когда она прощалась с Филидой и ее старыми родителями, все плакали, а больше всех Лаурино, который не спускал с нее глаз. Диана все время называла себя вымышленным именем Лисиды, и потому Лаурино, считавший себя поэтом и музыкантом, позднее жаловался на разлуку с ней в таких стихах, как нижеследующие, причем Филида слушала его не без ревности, что усиливало страдания Фабио:

Хоть прожила у нас
В селении ты мало,
Ты мне милее стала
Всех женщин во сто раз.
И полон я обиды
При мысли, что лишусь тебя, Лисида.

¹ Адмет — мифический царь, владевший огромными стадами, пасти которые был обречен некоторое время Аполлон.

От горя я б не чах,
Когда б при расставанье
Хоть проблеск состраданья
Прочел в твоих очах.
С твоим исчезновеньем
Не жизнью будет жизнь моя, а тленьем.

Я б дни свои прервать
Был принужден тоскою,
Не верь я, что с тобою
Мы свидимся опять.
Ведь смерть не постигает
Того, кто жизнь в любовь к тебе влагает.

Смотри, в саду цветы —
И те грустят немножко:
Ведь больше белой ножкой
Их мять не будешь ты,
Чьи ножки так прекрасны,
Что им и души, и цветы подвластны.

Как я мечтал о том,
Что здесь, в саду зеленом,
Моим трудом возвращенном,
Мы будем жить вдвоем!
Но раз тебя не станет,
Жизнь Лаурино, как цветы, увянет.

Сажал я птиц лесных
В темницу золотую
И ждал, что угожу я
Тебе напевом их,
Но самому, как птице,
Мне у тебя в плену пришлось томиться.

Ручей запружен мной,
Чтоб ты в воде купалась,
Чтобы в нее вливалась
Твоя слеза порой,
Но буду у потока
Не ты, а я лить слезы одиноко.

После нескольких дней пути мужественная и несчастная Диана пришла в одно селение, лежащее неподалеку от Бехара (заходить в Пласенсию ей не хотелось, так как она боялась встретить своих родственников, которые там жили). Она вышла на площадь и, став посреди нее, объявила, что ищет себе хозяина. Один богатый крестьянин заметил ее и, восхищенный ее изящной осанкой и красивым лицом, решил, что этот парень не тот, за кого он себя выдает, как это и было на самом деле. Он подошел к Диане и задал ей несколько вопросов; она ответила на них, выдумав себе имя и родину, и кончилось тем, что он повел ее с собой. Крестьянин этот был знаком со старшим пастухом герцога и знал, что тот искал работника, который бы заботился о пропитании пастухов и присматривал за разными необходимыми вещами, какие те берут с собою в поле, где пасутся большие стада, так как прежний его работник недавно женился. Он дал Диане поесть, написал ей письмо для старшего пастуха и отправил ее в путь, объяснив дорогу и снабдив пищей на два дня.

Еще не увидев Дианы, старший пастух принялся смеяться над письмом, над своим другом и над нею; он позвал других работников, и все они сговорились подшутить над мнимым юношей. Старший пастух спросил у нее, откуда она родом,

и Диана ответила, что из Андалузии, а если кожа у нее не смуглая, как бывает обычно, то потому, что она долго находилась в лесу, где она могла загорать ровно столько, сколько хотела. В конце концов Диана сумела дать ему такие ответы и проявить столько веселости и бойкости, защищаясь от острот и хитрых вопросов крестьян, что старший пастух остался доволен и повел ее в свой дом.

В тот же вечер, услышав, как она напевает вполголоса, доставая из колодца воду, чтобы наполнить корыто, предназначенное для домашнего скота, он спросил, не умеет ли она играть на каком-нибудь инструменте, как это обычно водится среди андалузских пастухов. Диана ответила, что играет на лютне, разгоняя этим иногда свою грусть, к которой она предрасположена от рождения. Лисандро — так звали старшего пастуха, — удивленный тем, что она играет на инструменте, так редко встречающемся в деревне, несколько изменил к ней свое отношение.

С не меньшим вниманием смотрела на мнимого юношу Сильверия, дочь его, которая не отрывала глаз от Дианы с тех пор, как та появилась в их доме.

Мне кажется, что ваша милость найдет, что это само собой разумеется, и скажет: раз у старшего пастуха была дочь, то она должна была непременно влюбиться в переодетую девушку.

Не знаю, было ли это на самом деле так, но я повинуюсь нити моего рассказа, и пусть ваша милость запасется терпением и узнает, что Сильверии было семнадцать или восемнадцать лет, а возраст этот требует подобных чувств. Неподалеку жил один студент, который поглядывал на нее и изучал курс права больше по своим фантази-

ям, нежели по всяким Бартуло и Бальдо¹, которых он привез с собой из Саламанки.

Лисандро послал к нему за музыкальным инструментом, который, хоть он и не был лютней, можно было настроить и приспособить к голосу певца. Студент принес его и имел полную возможность послушать с улицы, как Диана пела:

*Бесконечные гоненья
За обман претерпевая
И тоски не избывая,
Я забыл про наслажденья.*

Кто полюбит всей душой,
Но взаимности лишится,
Тот напрасно будет тщиться
Снова обрести покой.
Что мне в радости бывою,
Если горе и волненья
Недоверьем упоенье
Отравили с давних пор
И сломили мой отпор
Бесконечные гоненья?

Если ты любви своей
Сердце отдал безоглядно,
И ловил признанья жадно,
И не устоял пред ней,
То в безумстве юных дней
Ты раскаешься, рыдая.
Раз ошибка роковая
Мной была совершена,
Я страдаю, стыд сполна
За обман претерпевая.

¹ Бартуло (1313—1357) и его ученик Бальдо — итальянские юристы, авторы трактатов по римскому праву.

В споре с чувством прав всегда
Разум, людям данный Богом.
Потому по всем дорогам
И летит за мной беда,
Что в прошедшие года,
Глас рассудка побеждая,
Страсть и пылкость молодая
Мне не позволяли жить,
Запретив себе любить
И тоски не избывая.

Сердце мне печаль грызет,
И терзает страх ревнивый.
Я — как грешник боязливый,
Что небесной кары ждет.
Ах! Пускай любовь пройдет,
Ибо если увлеченья,
В душу заронив сомненья
И вселив в нее боязнь,
Обрекли меня на казнь,
Я забыл про наслажденья.

Эту песню Диана пела потому, что ни одна из тех, что были ей известны, не подходили так к ее несчастьям, и спела она ее так хорошо, что ни по голосу никак нельзя было принять ее за женщину, ни по наряду нельзя было угадать, что она не мужчина. Сильверия совсем потеряла голову, увидев, что к внешним достоинствам Дианы еще добавляется такое дарование.

Мне кажется, что этот рассказ представляется вашей милости скорее пастушеским романом, чем новеллой, но я полагаю, что происходящие в ней события не потеряют из-за этого своей прелести,

и признаюсь вам, что нет большего удовольствия, чем излагать их.

Прошло несколько дней, и Сильверия стала добиваться благосклонности Дианы и непрерывно старалась сделать ей что-либо приятное. Наконец однажды, во время праздника, оказавшись наедине с нею в небольшом саду, где было больше деревьев, чем цветов, как это обычно бывает в деревне, Сильверия принялась расспрашивать Диану о ее родине, о причине, побудившей ее покинуть свой край, а также — не была ли она уже влюблена, несмотря на свой юный возраст, в противном случае намереваясь предложить ей свое собственное сердце.

На все эти вопросы Диана отвечала умно и весьма осмотрительно; она сказала, что женитьба отца заставила ее уйти из родного дома, — тут она не поскупилась на слова, описывая жестокость своей мачехи. Но в эту минуту в саду появились гуляющие, и разговор оборвался, к большому огорчению Сильверии, которая не отрывала от Дианы своего замороженного взгляда.

Крестьяне втихомолку посмеивались над робостью Дианы; поэтому, чтобы не навлекать на себя подозрений, она стала ухаживать за поселянками, которые приходили в дом ее хозяина, и поскольку дом этот был большой, и в нем было много слуг и служанок, там постоянно бывали танцы. Диана вышла танцевать, и застенчивость ее сразу же прошла, к большому удовольствию деревенских девушек, а в особенности сестры того самого студента, о котором я уже упомянул, — надо сказать, что она была ученой красоткой и охотно читала книги о рыцарях и о любви.

Однако все это огорчало Сильверию, и как-то вечером, сжигаемая ревностью, она со сле-

зами на глазах стала говорить Диане о том, как она несчастна оттого, что не заслужила ее расположения, подобно другим девушкам; обиднее всего то, что, не любя ее, самую несчастную из всех, она заставляет ее умирать от ревности своей благосклонностью к сестре студента. Видя, что дочь хозяина влюбилась в нее, Диана настолько прониклась к ней состраданием, что чуть было не призналась ей, что она женщина, как и сама Сильверия; однако, опасаясь, что сразу же может обнаружиться, кто она такая, и что это приведет, пожалуй, к большим неприятностям, она притворилась, будто рада слышать все это, и немного успокоила ревность Сильверии, уверив ее, что у нее хватало смелости заглядываться на других девушек, но не на нее, потому что ее останавливало должное почтение к ней, как к дочери своего хозяина, но что теперь она загладит свою вину перед нею. Сильверия поверила этим обещаниям и была очень довольна. Она взяла руку Дианы и, хотя та противилась этому, поцеловала ее два раза, охладив пламя своего сердца снегом ее руки, если только можно назвать охлаждением то, что лишь усиливало сердечное пламя.

Любовь Сильверии стали уже замечать в доме; недаром говорят, что любовь, деньги и заботы скрыть невозможно: любовь — потому, что она говорит глазами, деньги — потому, что они сказываются в роскоши того, у кого они водятся, а заботы — потому, что они написаны на челе человека.

Диана, очень этим обеспокоенная, ждала случая, чтобы расстаться с домом старшего пастуха, но все ее здесь так любили, что ее больше стало тревожить опасение показать себя неблагодарной, нежели мысль об опасности, угрожавшей ее жизни. Но судьбе ее было угодно, чтобы произошло то,

что редка случается и чего не могла ожидать Диана, привыкшая к тому, что судьба к ней всегда враждебна. Однажды герцог де Бехар, охотясь в этих местах, заночевал в доме своего старшего пастуха, о котором он слышал от своего майордома, и знал о нем еще потому, что тот посылал ему часто подарки, которыми герцог всегда был очень доволен, ибо деревенские лакомства радуют вельмож больше, чем вся роскошь и великолепие их дворцов.

Желая развлечь герцога, старший пастух послал, понятное дело, за Дианой, которая понравилась герцогу, и попросил ее спеть что-нибудь. Пришлось студенту принести свою лютню, хотя и сделал он это весьма неохотно, так как ревность терзала его невыносимо. Диана настроила лютню и, при общем внимании, спела следующее:

Зеленеющие рощи,
Лес, любви немой свидетель,
Ваши ясени и вязы
Помнят пастуха, как прежде.

Хоть за то, что я когда-то
С вами дружен был, деревья,
Вас молю я внять с участием
Жалобам моим и пеням.

Вы услышите, дубравы,
Как я буду лютне нежной
Вторить не стихом, а вздохом
И стенаньем, а не песней.

Болен я. Нет, лгу я, выбрав
Слово робко и неверно:
Я погиб, теряя больше,
Чем приносит мне победа.

Я погиб, хоть побеждаю,
Ибо к столь высокой цели
Я стремлюсь, что жизни стоит
Мне триумф моих стремлений.

Лес и рощи, умирая
От любви к очам прелестным,
Рад я смерти, ибо вижу
В них свое изображение.

Я хочу, но не решаюсь
Описать вам их приметы;
В них, хоть смею обожать их,
Я глядеть еще не смею.

Их любя, я жизнь теряю,
Ибо жить, чтоб в них смотреться,
Мне не позволяет робость,
Мне препятствует смущенье.

Если б цвет их описал я,
Сразу догадались все бы:
«Гибнет он из-за Хасинты,
Чьи глаза ночей чернее».

Вы мне скажете: «В долине
Черные глаза нередки».
Да, но ни одним такую
Прелесть не дарует небо.

Верьте мне, густые рощи,
Я бы близок не был к смерти,
Если б предо мной так живо
Эти очи не блестили.

Лес, не одинок я, ибо
Многим выпал тот же жребий,
Многих через те же очи
Озарила жизнь надеждой.

Ибо я благодеяньем
Счел бы гибель, став их жертвой.
Горько лишь, что уж недолго
В эти очи мне глядеться,

Пусть в огонь очей Хасинты
Глянут те, кем я осмеян;
Растопить два эти солнца
Могут даже гору снега.

Был до первой встречи с ними
Сам я льдины холоднее,
Но растаяло покорно
Сердце в их лучах победных.

Эти очи не жестоки,
Доброта их беспредельна,
Если даже, лес и рощи,
Я достоин этой чести!

Я надеждою и страхом
До того уже истерзан,
Что и дня прожить не в силах,
Глаз — убийц моих — не встретив.

Их заметив, прихожу я,
Малодушный, в дрожь и трепет,
Но никто так упоенно
Не дрожал еще вовеки.

То, что больше нам знакомо,
Мы обычно меньше ценим;
Я ж, чем больше узнаю их,
Тем влюбляюсь в них сильнее.

В честь их громко оглашаю
Я поля хвалой столь лестной,
Что журчанье вод смолкает
И стихают вздохи ветра.

Становлюсь я, их увидев,
И безмолвней, и слабее,
Чем родник, чей бег сковали
В полночь ледяные цепи.

Я такую страстью полон,
Что не раз, когда согреться
Мог я зноем глаз Хасинты,
Мерз я, робкий, в отдаленье.

Если б меньше я любил их,
Был бы с ними я смелее,
Ибо чем сильнее чувство,
Тем во мне отваги меньше.

Но клянусь вам, лес и рощи,
Мне милей мои мученья
Даже той нетленной славы,
Что дарует людям небо.

Я признаюсь, что туманит
Ревность разум мой нередко,
Ибо нет любви, с которой
Не взяла бы дани ревность.

Я ревную — и не только
К пастухам, моим соседям,
Но и к камню, на который
Бросит взгляд Хасинта мельком.

Даже на себя взираю
Я с ревнивым подозреньем:
Если я ей мил, то, значит,
За другого принят ею.

Я слежу за ней повсюду,
Ибо я прикован крепко
К ножкам девушки — глазами,
К сердцу — каждым помышленьем.

По пятам за ней хожу я
И молю с тоскою небо,
Чтоб оно одних уродов
Посылало ей навстречу.

Мне всегда разбить на части
Зеркало ее хотелось,
Чтобы двух Хасинт не видеть —
И одной не устеречь мне.

Но меня вы, как ни плачу,
Лес и рощи, не жалейте:
Ведь о всех своих терзаньях
Забываю я пред нею.

Наружность Дианы весьма понравилась герцогу, но когда он услышал, как нежный голос с таким изяществом и искусством пропел стихи, которые мы здесь уже привели, восхищение его еще усилилось. Он спросил ее обо всем, о чем в подобных

случаях спрашивают сеньоры, ибо сеньоры всегда задают много вопросов и именно поэтому так мало знают о жизни бедняков. На вопрос, откуда она родом и кто ее родители — а это больше всего интересовало герцога, — Диана ответила, что ее воспитал в Севилье один человек, которого она называла отцом, и что раз в два месяца к нему являлся какой-то незнакомец; он приносил с собою деньги и письма и передавал ему то и другое. Это навело ее на мысль, что отцом ее был другой человек, более знатного рода и живущий далеко от Севильи. И вот однажды, когда ее названный отец был в хорошем расположении духа, она попросила его сказать ей, кто ее настоящий отец, так как знала уже, что она не его дитя, но что ни в тот раз, ни впоследствии ей не удалось ни лаской, ни услужливостью заставить его ей ответить, хотя он и обещал всякий раз сделать это завтра, клянясь, что не может открыть ей это без разрешения того незнакомца. Так, продолжая каждый день давать обещания, он заболел и когда наконец захотел открыть ей тайну, то уже не мог говорить и вскоре умер.

Оставшись одинокой и беспомощной, она не смогла овладеть никаким ремеслом, хотя готовности к этому у нее было достаточно. Тогда она решила сделаться пастухом и навсегда поселиться в деревне, чтобы проводить время в уединении, ибо, не зная, кто ее родители, она пребывала в большой печали. Никакая другая причина не могла склонить ее к этому: ведь она хорошо понимала, что этот путь не сулит ей никаких благ в будущем.

— В этом ты ошибалась, — возразил герцог, — потому что я желаю взять тебя с собою туда, где тебя будут уважать так, как ты того заслужива-

ешь, ибо большая жестокость твоей звезды заставляя тебя, одаренного столькими талантами, жить среди этих темных людей, и с твоей стороны было бы большой неблагодарностью по отношению к небу, если бы твои дарования не нашли должного применения или были бы вовсе скрыты.

Диана поцеловала руку герцога с учтивостью и торжественностью, которым она научилась в лучшие времена, и приняла оказанную ей милость со словами, полными скромности и благодарения, еще увеличившими расположение к ней этого вельможи, который, приказав снабдить ее всем необходимым, увез ее вместе с собой. Трудно было бы сравнить с чем-нибудь отчаяние Сильверии, если бы не было совершенно обратного ему чувства радости, охватившего ревнивого студента, который, увидев, что Диана уезжает, был столь же счастлив, сколь несчастны были Сильверия и его сестра, отметившие ее отъезд обильными слезами.

Можно ли сомневаться, сеньора Леонарда, в том, что ваша милость уже давно желает узнать, что стало с нашим Селио, о котором, с тех пор как он отплыл в Индии, наша новелла, кажется, совсем позабыла. Да будет известно вашей милости, что то же самое делал неоднократно и Гелиодор со своим Феагеном, а иной раз и с Хариклеей¹, для большего удовольствия своих слушателей скрывая от них до поры до времени то, что ожидает его героев.

Селио, когда он плыл в Индии, постигла большая беда: во время разыгравшейся бури, несмотря на искусство моряков, были сорваны все канаты,

¹ Роман Гелиодора (см. примеч. на с. 359) «Эфиопика», повествующий о любви и приключениях Феагена и Хариклея.

тросы И прочие корабельные снасти, и сам он едва не погиб среди неумолимых и жестоких волн.

Вообразите себе общую суматоху, крики: «Взять рифы!», «Поднять флаг!», «Впереди мель!», попытки наладить порядок, обезумевший ветер, корабль, потерявший управление, и Селио, который, как и корабль, потерял управление своими чувствами. Его страшила лишь мысль о потере Дианы, представлявшейся ему солнцем Антарктики, и он повторял, словно подражая Марциалу¹, римскому поэту, из-за которого вашей милости лучше совсем не знать латинского языка:

Волны, дайте мне дорогу,
А когда вернусь, убейте.

У божественного Гарсиласо² есть подражание этим строкам:

Вам не простится смерть моя, о волны.
Дорогу дайте мне, и пусть погубит
Меня при возвращении торнадо.

Мимоходом я замечу вашей милости, что многие невежды, считающие себя людьми знающими, приходят в ужас оттого, что Гарсиласо, в стихах которого встречаются подобные слова, называют королем испанских поэтов. Но «торнадо» и другие слова, которые встречаются в его творениях, в то время были в ходу, и, значит, люди нашего века не должны столько мудрствовать и говорить, что если бы Гарсиласо родился сейчас, то он не смог бы свободно обращаться с нашим обогатившимся языком.

¹ Марциал (I в.) — римский поэт, автор эпиграмм, отличавшихся большой вольностью.

² Гарсиласо де ла Вега (1503—1531) — испанский поэт, писавший мелодичные сонеты, послания и эклоги.

Но, может быть, вашей милости безразлично, что говорят о Гарсиласо? Так сказано было в одной песне, которую пели на музыкальном вечере у одного вельможи:

Любой ваш том, Боскан¹ и Гарсиласо,
Ныне стоит два реала,
Что совсем не так уж мало,
Хотя б вы к нам сошли с высот Парнаса.

Я осмеливаюсь писать вашей милости обо всем, что мне подвертывается под перо, так как мне известно, что вы не обучались риторике и потому не знаете, как осуждает она длинные отступления.

Потерпев крушение, Селио на своем корабле после столь длительной бури достиг одного острова где-то у берега Африки, куда некоторые суда заходят за пресной водой, хотя идти за ней должен целый хорошо вооруженный отряд, которому не следует забывать об опасности, потому что остров этот охраняется маврами, выдавшими много зла от испанских галер и прочих кораблей. Корабль, на котором находился Селио, настолько пострадал от бури, что не мог продолжать свой путь, и его решили починить. Путешественники и хозяин сошли на землю, и сделали они это не без радости, потому что во все времена земля была человеку родной матерью, а вода — злою мачехой.

Они пообедали на траве, которая служила им скатертью, и после этого обеда, самого спокойного за все путешествие, потому что сейчас у них был устойчивый стол, хозяин корабля, зная о печали Селио, стал его упрашивать поведать ему о ее причине. Селио, обладая характером мягким

¹ Боскан Хуан (1490—1542) — испанский поэт, друг Гарсиласо.

и уступчивым, рассказал ему, кто он, что с ним произошло и кого он разыскивает, — так, как обычно рассказывается в комедиях, — ведь существует же один поэт, пишущий комедии, который одним махом успеваеет настроичть три листа романа.

— В том краю, — сказал ему хозяин корабля, — живет мой дядя, владеющий большей частью того богатства, которое я везу на своем корабле. Однажды вечером я зашел к нему, чтобы дать отчет в барышах от прошлого плавания. Получив указания касательно того, что делать дальше, я распрощался с ним, и, когда почти в полночь проходил по одной из улиц, меня окликнула с балкона незнакомая мне дама и спросила, настал ли час, на что я ей ответил, что для этого любой час хорош. Тогда она спустила мне ларец, полный денег и драгоценностей, и сказала, чтобы я подождал ее у ворот. Не знаю, какой бес толкнул меня на столь бесчестный поступок, но я пустился во всю мочь бежать по улице, не дожидаясь продолжения этого приключения, потому что есть такие истории, которые развиваются благополучно до второго действия, а в третьем неожиданно кончаются очень плохо. В Севилье я заложил эти драгоценности для покупки нужных мне вещей, твердо решив при этом, что если Бог поможет мне вернуться из путешествия, то я возвращу их хозяйину. Но если вам, судя по вашему рассказу, знакома эта дама, то вот ее алмаз; взгляните, может быть, вы его узнаете.

У Селио, который сразу же узнал перстень, подаренный им Диане вместе с первым его письмом, перехватило дыхание; он не мог и даже не знал, что ему ответить, особенно когда моряк добавил, что если бы он рассказал ему обо всем

в Севилье, то ему незачем было бы отправляться на поиски Дианы, так как он знал достоверно, что она не отплыла вместе с армадой. Селио, узнавший всю правду и убитый ею, сказал этому человеку, что перстень этот был его первым подарком Диане и что незачем думать о возвращении драгоценностей, потому что дама эта была благородной особой, и его могут обвинить в грабеже, а это будет стоить ему жизни, так что пусть он не говорит никому об этом и пользуется ими, вернув ему один лишь перстень, ибо ничто другое не может его утешить. Но никакие усилия Селио — ни его просьбы, ни угрозы — не могли заставить этого варвара отдать ему перстень.

Слова разжигают ссору не меньше, чем действия; Селио и судовладелец переходили от слов к оскорблениям, пока не вышли окончательно из себя, потому что крайняя противоположность любви вовсе не разлука, не ревность, не забвение, не корысть или знатность, а ссора. Дело дошло до того, что Селио нанес хозяину корабля два удара кинжалом, которые стоили тому жизни. Люди с корабля сбежали на шум, и хотя Селио отчаянно защищался, его схватили и отвели на корабль, который, законопаченный и приведенный в порядок, отплыл с попутным ветром, увозя в индийскую Картахену закованного в цепи Селио. И пока он находился в пути, корабельный писарь составил небольшую записку обо всем случившемся, для того чтобы Селио не мог отрицать убийство хозяина корабля, так как он утверждал все время, что убил его как человека, укравшего его честь и сокровище его жизни.

В конце концов его поместили в тюрьму. Надо сказать, что в этих краях не было губернатора, и так как они были недавно завоеваны, то в них

было великое множество всяких бесчинств и грабежей; они были непокорными из-за своей отдаленности и пестрыми по своему населению из-за всякого рода алчности. А ведь, как сказал Плиний Старший, «самое отвратительное правительство — это то, которое потворствует толпе».

Тем временем Диана служила герцогу, который, видя, как она следит за его платьем и что она сама чисто и опрятно одевается, сделал ее вскоре своим майордомом, потому что она во всем проявляла хороший вкус и охотно исполняла его желания, а ведь никто не может хорошо служить, если не старается быть приятным тому, кому служит.

Между тем король Испании решил завоевать Гранаду¹ и призвал к себе грандов, среди которых герцог был не из последних. Получив королевское послание, он сразу же созвал слуг, которые должны были его сопровождать, и велел их всех одеть в дорогие и красивые ливреи. У Дианы за все время ее службы не было более радостного дня; она решила, что если только Селио ее ищет, то ни в каком другом месте, кроме как при дворе, он не сможет ее найти. Окружающим было так приятно видеть ее веселой, что все желали ей счастья, ибо все ее уважали за то, что с каждым она была приветлива и разумна, а это столь необходимо во дворцах, что если кто-нибудь надеется достичь высокого положения, но не ладит с другими и не умеет к ним приспособиться, то он не сможет сохранить милости своего господина, и чужая зависть будет всегда препятствовать его стремлениям.

¹ Явный анахронизм: отвоевание Гранады у мавров было совершено королем Фердинандом V в 1492 г. еще до открытия Колумбом Америки.

Во время путешествия положение Дианы упрочилось, и герцог стал проявлять к ней еще большую любовь, ибо в дороге и в тюрьме всегда рождается дружба и ярче проявляются способности человека. Однажды они уже готовились тронуться в путь, и герцог попросил Диану спеть одну из тех песен, которые она обычно пела. С милой покорностью она начала:

Лес, любви приют тенистый,
Смолкни, не шуми под ветром,
Ибо вновь мои терзанья
Я хочу тебе поведать.

Лес, не сетуй, что безмолвье
Я нарушил скорбной песней,
Отдыхая от страданий
Под твоей безлюдной сенью.

Если ж ты сочтешь докучной
Эту повесть долгих бедствий,
Знай, что изливать печали
Нам не возбраняет небо.

Расскажи я об удаче,
Мы бы радовались вместе;
Будь же другом и в несчастье,
Вняв моим унылым песням.

Ты ведь помнишь поселянку,
Чья божественная прелесть
Пламенем двух звезд, как солнце,
Озаряет все на свете?

Ту, которая умеет
Быть зверей жестокосердней

И, пронзая сердце наше,
Лгать, что это сердце зверя?

Из-за ревности к пастушке,
Мне внушавшей лишь презренью
Глупостью, и безобразьем,
И влюбленностью своею.

В ярости она рассталась
С ей наскучившей деревней,
Унося с собою радость,
Унося с собою в небо.

Лес, не испытывай разлуки,
Ты со мной тоску не делишь;
Нет, и ты тоскуешь, ибо
Ждешь весны четвертый месяц.

Мне ж пришлось намного дольше
Жить на склонах и в ущельях
Гор, чье пламя на свободу
Жаждет выйти из-под снега.

Лес, я опасюсь многих
Пастухов, ее соседей,
У которых меньше чувства,
Но, наверно, больше денег.

Лес, узрев ее, ты скажешь,
Что не в силах человека
К ней не воспылать любовью,
А ко мне — враждой и мстью.

Знаю я, никто не смотрит
На нее без вождельня;
Как же верить ей могу я,
Если ревность гложет сердце?

Заживо я умираю
Из-за вечных опасений,
Что другой счастливым станет,
Чтоб меня несчастным сделать.

Я писал ей, что отныне
Предаю любовь забвенью,
Но того, кто умирает,
Не спасет обман от смерти.

Жду я, что она напишет
Мне хотя б два слова нежных,
Чтоб ее мне было можно
Умолять о возвращенье.

Но она, моей тоскою
И безумной страстью тешась,
Говорит, чтоб не питал я
На ее возврат надежды,

Чтоб не слал я ей записок,
Почитая их за вексель,
По которому уплаты
Я потребовать осмелюсь.

Вслед за ней ушел я в горы
В скорбном ожиданье встречи,
Поверяя мраку ночи
Малодушное томленье.

В хижину я к ней явился
И, заметив, что успела
Стать она еще прекрасней,
Укрепился в подозреньях.

Лес, кто любит, но в разлуке
Подавить не может ревность,
Тот любви не знает, ибо
Нет любви, где нет смиренья.

Тех, кто дорог нам, мы сами
Приукрашиваем в гневе,
Веря, что владеть другому
Красотой придется этой.

Я пошел назад и клялся
Всей душой отдаться мщенью,
Но, сто раз отдав ей душу,
Виджу я, что мстить мне нечем.

Все продвигались вперед, восхищенные остроумием и изяществом Дианы, которые проявлялись во всем; особенно был ею доволен герцог, решивший оказать ей милость: он уже оказал бы ее, если бы видел, что Диана не прочь жениться, потому что у него с герцогиней уже несколько раз заходил разговор о том, чтобы женить нового майордома на камеристке герцогини, которую та любила и баловала, но Диана всеми возможными способами избегала того, что было для нее невозможно.

Герцог расположился в столице со всею роскошью, подобающей такому вельможе, как он. Он часто бывал во дворце, и Диана всегда его сопровождала в его карете; она превратилась в неусыпного Аргуса, стремясь увидеть на улицах или во дворцах и галереях королевского дворца Селио, который, закованный в цепи, пребывал в индийской Картахене.

Король часто выходил на балкон, с которого были хорошо видны ворота замка, чтобы наблю-

дать через оконные стекла, как прибывают гранды.

Судьбе Дианы, которая уже устала от разных превратностей, было угодно сделать так, чтобы однажды, когда экипажи въезжали в ворота и выезжали из них, какой-то слуга допустил грубость по отношению к герцогу, и так как все, кто был с герцогом, пришли в замешательство, потому что придворными они стали совсем недавно, то Диана, к счастью, упражнявшаяся когда-то со своими служанками на тех вороненых шпагах, которыми пользовался Октавио, ее брат, и Селио, мгновенно соскочила с подножки кареты, и никто не успел даже оглянуться, как она нанесла оскорбителю ловкий удар кинжалом. Это вызвало общее смятение, конец которому положило властное вмешательство герцога, приказавшего Диане следовать за ним до самых дверей королевской приемной.

Король принял герцога, и так как он, говоря с ним, не переставал улыбаться, герцог спросил, что вызвало улыбку его величества. На это король ответил: «Ловкость вашего дворянина, который нанес удар кинжалом человеку, допустившему по отношению к вам дерзость». Герцог, видя, что государь в хорошем расположении духа, стал ему расхваливать и превозносить достоинства, дарования и мужество Дианы так, что король пожелал ее видеть; и Диана предстала пред королем и поцеловала его руку. Осанка Дианы, ее изящество, скромность и непринужденность манер побудили короля попросить у герцога, чтобы тот уступил ему своего верного слугу. Герцог ответил, что, хотя он чрезвычайно им дорожит, все же с самого начала аудиенции он намеревался предложить его государю.

Ваша милость, сеньора Леонарда, вероятно, довольна улучшением в судьбе Дианы, так как она

стала служить королю Испании и за несколько дней в такой мере завоевала его любовь, что в тысяче разных случаев он поступал по ее усмотрению, и постепенно через ее руки стали проходить все более значительные и важные бумаги. Но я заверяю вас, сеньора Леонарда, что Диану не радовало все это, потому что душа ее разрывалась между двумя Селио, которые были далеко от нее: один — в Индиях, другой — близ Пласенсии. Один — ее супруг, а другой — сын.

Дарования и услуги Дианы настолько усилили любовь к ней короля, что перед тем, как герцог покинул двор, король отблагодарил его за все, что он сделал для Дианы: по просьбе герцога король назначил его командором Алькантары¹ и пожаловал его младшему брату шесть тысяч дукатов содержания.

Красота голоса Дианы во дворце не осталась тайной, хотя в своем новом положении и при новых занятиях она старалась скрыть его. Так уж повелось, что, достигнув положения в обществе, человек отворачивается от муз, ибо ошибочно считает, что тому, кому небо даровало способности к пению, рисованию или сложению стихов, недоступны иные занятия, и говорит об этих своих способностях как о чем-то позорном. Но ведь известно, что Александр играл на лире и пел, а Октавиан² сочинял стихи, что, однако, не по-

¹ Алькантара — крупнейший после Сантьяго духовно-светский рыцарский орден в Испании.

² Александр Македонский (356—323 до н. э.) — крупнейший полководец и государственный деятель древнего мира. Октавиан — римский император Август (27—14 до н. э.), действительно писавший трагедии, эпиграммы и стихотворения.

мешало первому завоевать чуть ли не всю землю, а второму — поддерживать мир.

Сын одного знатного вельможи ухаживал за придворной дамой, которой чрезвычайно хотелось послушать пение Дианы, чья наружность и ум не были ей неприятны. С большой настойчивостью она стала просить возлюбленного, чтобы тот уговорил Диану спеть ей как-нибудь вечером. Диана, чтобы не навлечь его неудовольствия и полагая, что ничего не случится, если об этом узнают, около часу ночи спела на террасе следующее:

Лес, мне жизнь давала много
Поводов слагать напевы,
Случаев мечтать о славе
И причин влюбляться нежно.

Ты тоску мою узнаешь,
Ты поймешь мое блаженство,
Ибо зазвучит мой голос
Под твоей безмолвной сенью.

Лес, излить свои печали
Побоялся я в деревне,
Где подслушает их зависть,
Чтобы осквернить насмешкой.

Здесь же, в чаще, я спокоен,
Ибо, если и лепечет
Ключ, моим словам внимая,
Он забудет их мгновенно.

Долго пленником томился
Разум мой в дворцах Цирцеи,
Покоряясь безотрадно
И страдая безответно.

Как ее пороки видеть
Мог он, превращенный в зверя?
Нет, плоха любовь такая,
О которой сожалеешь!

Но владычицу иную,
Друг мой лес, избрал теперь я.
Красоту ее бессильно
Описать воображенье.

Очи — словно две картины...
Нет, сравнение неверно:
То, что дивно на картине,
В жизни лучше несравненно.

В них гляжу я и, ликуя,
Их считаю чудом света,
Ибо, словно два светила,
Эти очи чудно блещут.

В них живут два живописца,
Двое юношей прелестных,
Кем и я в очах-картинах
Был подчас увековечен.

Эти очи сообщают
Красоту двум аркам черным,
Ибо все, что рядом с ними,
Украшает их соседство.

И природой и богиней,
Украшающей в апреле
Луг и лес нарядом новым,
Пурпур губ ее расцвечен.

Алых роз, даримых маем
Смертным людям в честь Венеры,
Роза уст ее багряней;
Но она грозит мне смертью.

Эта роза — из кораллов,
А под ними — нити перлов,
И о них не я словами,
А она расскажет смехом.

Руки у нее — как мрамор,
Пальцы — как Амура стрелы;
Ведь лучи из льда бросало б
Солнце, будь оно из снега.

Я смолкаю, ибо знаю,
Что, продолжив восхваленья,
Буду принят за счастливца, —
Я же лишь безумец бедный.

Расскажи я, как возвышен
Дух в ее прекрасном теле,
То, как в зеркале, предстал бы
Всем ее рассудок светлый.

И не три, а больше граций
Появилось бы у древних,
Если бы они увидеть
Грацию ее успели.

От красы ее жестокой
Я шесть лет спасаюсь бегством,
Но с лихвой свиданьем каждым
Долг оплачен шестилетний.

Не живу, а умираю
Я от встречи и до встречи.
Я клянусь бежать и тут же
Думаю о возвращенье.

Я исполнен странным чувством —
Смесью ревности с блаженством,
Ибо к собственному счастью
Я испытываю ревность.

Я погиб, коль правдой станет
То, что мне всего страшнее,
И боюсь об этом думать,
Чтоб не пасть от страха мертвым.

К несчастью или, вернее, к счастью Дианы, ее пение услышал один придворный, пользовавшийся милостью короля, но не заслуживший расположения этой дамы. Он рассказал об этой серенаде королю и при этом всячески поносил Диану. Король, который слышал ее пение, но пропустил его мимо ушей, составил приказ, обрадовавший многих придворных, осуждавших предпочтение, которое он оказывал Диане, ибо причиной его не были ни благородное ее происхождение, ни заслуги на мирном или военном поприще. Король знал о множестве беспорядков, происходящих в Индиях, и ему было известно, что при дворе начали завидовать Диане, по-прежнему называвшей себя во дворце Селио, за то, что их клевета не лишила ее королевской милости; поэтому он назначил ее правителем и генерал-капитаном всех недавно завоеванных владений и поручил ей наказывать преступников, повинных в убийствах, о которых каждый день в Испанию приходили донесения. Диана не



могла отказаться от этого назначения и, поцеловав руку своего государя, вместе с его срочными распоряжениями и необходимым количеством людей отбыла из Вальядолида в Севилью, где стояла армада и собирались люди, желавшие отплыть на ней, и так как уже дошли слухи о невиданных сокровищах той земли, то таких желающих было бесчисленное множество.

Диана проезжала через Толедо, свою родину, и так как там новость взволновала всех дам и кавалеров, то весь город вышел, чтобы посмотреть на нового вице-короля, красота и необыкновенный ум которого славились во всей Кастилии. Вышел на улицу и брат ее Октавио, и когда Диана увидела его среди множества других людей, она залилась слезами, задернула занавески своей кареты и, бросившись на подушки, едва не потеряла сознания. Она не захотела останавливаться в Толедо, и когда город почти скрылся из глаз, открыла окно и, горестно вздыхая, стала смотреть на родные стены.

Уже в Севилье судьба Дианы стала к ней добрее; послав благоприятную погоду, она помогла ей добраться до желанной земли, где ее встретили приветственными возгласами испанцы и индейцы. Зная, что следует почитать и бояться того, кто наказывает и награждает, а также видя незапятнанность ее рук и твердость ее суда, а возможно, еще и потому, что она казалась им человеком юным и целомудренным, они прозвали ее Солнцем Испании.

Многих, тщательно разобрав их дела, она отправляла в Испанию, других велела лишить жизни и в полной тайне похоронить в могиле моря, если только оно было в тех местах. Наконец Диана прибыла в Картахену. Обходя тамошние тюрьмы, она обнаружила в одной из них Селио, и хотя он

сильно похудел и изменился в лице, она его сразу узнала, потому что любовь, живя в крови, мгновенно приливает к сердцу и сообщает правду душе. Диана должна была не показывать свою радость, но лишь с трудом смогла она ее скрыть. Она спросила о причине его заключения и хотела освободить его, но два брата убитого — богатый купец и воинственный капитан корабля, которые до тех пор держали его в тюрьме под следствием, — подняли шум и стали взывать к справедливости, что сделало невозможным для Дианы выпустить задержанного на свободу. Тогда она приказала всем выйти из комнаты и велела, чтобы он сам рассказал ей обо всем случившемся, дав ему слово дворянина облегчить, насколько возможно, его участь, если только он скажет правду. Селио, почувствовав — и весьма основательно, — что вице-король проникся к нему большим расположением, хотя об истинной причине этого он и не догадывался, подробно рассказал ему обо всем, что с ним случилось: о своей толедской любви, об исчезновении Дианы, о том, что он испытал, пустившись ее разыскивать, в том числе и о том, что человек, которого он убил, оказался вором, укравшим ее драгоценности. Он объяснил, что, так как человек этот не пожелал вернуть ему алмаз, бывший первым залогом его любви, это привело его в исступление и продолжило цепь его несчастий. Диана смотрела на Селио и еле сдерживала слезы; но сердце ее обливалось кровью, как залили бы слезы ее лицо, если бы она была одна.

Она велела увести Селио и тайно приказала своему дворецкому, чтобы его окружили заботливым уходом. Каждый день она беседовала с ним и каждый раз просила его рассказать ей свою историю, и это чрезвычайно удивляло Селио, за-

метившего, что вице-король не хочет, чтобы он говорил с ним о чем-либо другом.

Закончив все, что она должна была сделать в этой стране, — наказав виновных и раздав верно-подданным заслуженные награды, как ей предписал король в своих приказах и распоряжениях, — Диана, видя, что ни уговоры, ни деньги не могут смягчить родственников покойного судовладельца, велела поместить Селио на своем адмиральском корабле и под видом арестованного увезла его с собой, обедая и играя с ним в карты в течение всего путешествия.

Диана застала короля Испании в Севилье; она поцеловала его руку, сопровождаемая большой свитой, в которой находился и Селио; с ним, правда, было несколько стражников.

Я думаю — и, мне кажется, я не ошибаюсь, — что ваша милость считает меня плохим новеллистом, потому что, хотя Селио столько раз о себе рассказывал Диане, она, несмотря на все перенесенные испытания и заключения, так-таки ни разу не открылась ему. Но я прошу вас, сеньора, ответить мне: если бы Диана себя ему выдала и порыв страсти бросил их друг другу в объятия, то как бы этот вице-король мог добраться до Севильи?

Многие к тому же уверяют, будто люди, заметив, что они беседуют все время наедине, стали на этот счет перешептываться. Было доложено королю, и тогда Диана вынуждена была открыть, кто она такая, и злые языки были посрамлены. Известно, во всяком случае, что среди милостей, которые она исходатайствовала у короля за свою службу в Индиях и их умиротворение, было помилование Селио. Вслед за тем она попросила, чтобы король заставил его выполнить свое обеща-

ние жениться на ней, что поразило короля, всех его придворных и Селию, узнавшего наконец, что губернатор был его прекрасной женой, которая стояла ему стольких слез и испытаний.

Велики были милости, которыми их осыпал король, и великолепны празднества, устроенные в честь их свадьбы, но не меньше была их радость, когда они увидели своего сына, за которым были посланы доверенные лица. Пастушка привезла им его, одетого в грубый наряд подпaska, но лицо у него было прелестно, и густые кудри спускались до самых плеч. Радость наших влюбленных, отдыхающих в объятиях счастья, ваша милость, обладающая большим воображением, может себе представить; возможно даже, что ваше воображение сделает ее еще сильнее.

А я тем временем отправлюсь в Толедо, чтобы сообщить добрую весть Лисене и Октавию, потому что на этом заканчиваются приключения прекрасной Дианы и верного Селию.



ТОНСАДО ДЕ СЕСПЕДЕСИ МЕНЕСЕС

ИЗ КНИГИ
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ИСТОРИИ»

ПАЧЕКО И ПАЛОМЕКЕ

Глава LIII

История, случившаяся в Толедо,
а также о древнем происхождении
и основании этого достославного
императорского города



происхождении императорского города Толедо, некогда стольного града знаменитейших готских королей, а ныне — величественной резиденции верховного прелата, иными словами, примаса и архиепископа обеих Испании и , — происхождении, имеющем возраст столь почтенный, приходится судить больше по догадкам, чем по свидетельствам очевидным. О городе этом, расположенном

в ближней части Испании — Таррагоне, в Карптанской провинции, особо упоминают и Тит Ливий, и Птоломей, и Плиний¹; все трое, авторы наисерьезнейшие, так превозносят его великолепие, его громкие победы и его бессмертную славу, что одного их весомого слова, одного их уважительного свидетельства хватило бы, чтобы поставить Толедо среди самых знаменитых и изобильных городов мира; почему, и не без справедливой на то причины, от самых начал и истоков красуется на гербе Толедо коронованный двуглавый орел, на долгие годы, на веки вечные неразлучный с городом, чьи великие деяния, гордое мужество и несметные богатства стяжали ему почетное звание императорского и пышное величие его царственного герба.

Об истоках и началах Толедо написано было немало подробных и достоверных трудов уроженцами Испании — а иногда и самого этого императорского города, — хотя один из них, причем отнюдь не менее сведущий, а именно высокоученый архиепископ дон Родриго, отрицает (не знаю, впрочем, по какой причине) древность города, называя его основателями Толемона и Брута; другие, глубоко изучив предмет, утверждают, что он был воздвигнут греками под предводительством отважного Геркулеса Ливийского, что подкрепляется не только преданием о знаменитой пещере, бытующим и по сей день, но и самим греческим словом *Ptolithron*, из которого, стоит несколько изменить его, легко вывести испанское название города.

¹ Тит Ливий (59 до н. э. — 17) — римский историк. Птоломей Клавдий (II в. до н. э.) — древнегреческий астроном, математик и географ. Плиний Старший (23—79) — римский естествоиспытатель.

Третьи, вперив в эту загадку пылливый ум, говорят, что то был знаменитый греческий астролог Ферресий, каковой, угадав в благоприятном расположении светил счастливую будущность этого места, основал здесь город и посвятил пещеру Геркулесу — своему божеству, и было это в 1270 году до Рождества Христова.

Иного мнения держится Гарибай, ссылаясь на Бейтера, Фигераса и Ариаса Монтано¹, которые все сходятся на том, что город был, основан войсками Навуходоносора — халдеями, персами и евреями; они-то, якобы, и нарекли его Toledoth, что значит «многоплеменный»; и все же большая часть самых серьезных и ученых авторов полагает, что наиболее вероятным его основателем был отважный Геркулес, а остальные лишь укрепили и расширили его пределы.

Славнейший сей город стоит на горе, образуя с ней как бы единое целое — так, что являет собой неприступнейшую твердыню, дополнительным укреплением и украшением которой служит полноводная река Тахо, плавной, подковообразной излучиной опоясывающая город и орошающая окрестные поля, пышность и плодородие которых достойны всяческого удивления и восхищения. Эти преимущества, а также мягкий климат, свежий и прозрачный воздух, неподверженность землетрясениям, наводнениям и туманам, влияние и процветание, красота и скромность толедских дам и повсюду известные достоинства здешних кавалеров, которыми город был славен во

¹ Гарибай-и-Самальоа Эстебан де (1533—1599) — испанский историк; Бейтер Педро Антонио (1490—1555) — испанский историк; Ариас Монтано Бенито (1527—1598) — испанский эрудит и книгоиздатель.

все времена, — все это по справедливости искупает скалистую суровость его природного облика.

Не стану описывать далее ни его святыню — первейший и знаменитейший храм всей Испании, ни гордые крепостные башни, ни великолепные дворцы, мосты, строения и древности, ибо тем самым не только уклонюсь от своего предмета, но и сделаю повествование чрезмерно и бесплодно пространным, а посему, не говоря лишних слов о том, что само стяжало себе такую известность и славу, и заранее извинившись за подобное упущение, приступаю к обещанному рассказу.

Глава LIV

Примечательная история, случившаяся в Толедо

Когда в тысяча пятьсот двадцать первом году большая часть Испании, охваченная смутой и раздорами, которые называют еще восстанием комунерос¹, пылала в кровавом огне гражданских войн, вызвавших столько тревог и пересудов среди прочих жителей страны, и произошел в императорском городе Толедо случай, о котором я собираюсь рассказать со всей правдивостью и достоверностью. И именно потому, что эта история во всей ее неповторимости зачиналась под грозное бряцание мечей, когда дух мщения и жестокости царил вокруг, я без колебания осмелюсь заявить, что никогда еще сыну Венеры не удавалось так насмеяться над своим прелюбодейным отцом, ибо,

¹ Восстание самоуправляющихся городов Кастилии в 1520—1522 гг. против абсолютизма, в защиту городских вольностей.

при явном неравенстве двух таких противоположных стихий, как война и любовь, он, как никогда ясно, показал свою силу и власть и явил истинный и высоконравственный смысл своего метафорического рождения.

В те поры в городе кипели такие страсти и он так страдал от усобицы, что только крепость устоев спасла его от гибели и разрушения. Пожар бедствий усердно раздували самые почтенные и влиятельные горожане, и не меньше других отличались в этом двое братьев Паломеке, знаменитые как своим могуществом и отвагой, так и древностью своего рода. Старшего звали дон Фернандо, младшего — дон Педро, и оба были великими ревнителями интересов своего дома, в чем следовали по стопам отца, благородного дона Родриго, который, к несчастью, в самом начале беспорядков был убит на площади Сан-Хуан-де-лос-Рейес, что послужило немалым поводом для того, чтобы беспокорство в городе возросло, и взаимная враждебность усилилась; причем оба брата словно соперничали в своей ненависти к дону Лопе Пачеко — знатному юноше, настолько прославившемуся своими геройскими поступками, добрым нравом и приятной наружностью, что молва единодушно окрестила его Безупречным.

Дважды дон Лопе со своей родней изгонял братьев Паломеке из Толедо; и оба раза, преследуемые по пятам, братья скрывались в своей загородной усадьбе, откуда затем исчезали таким чудесным и тайным образом, что все в городе называли эту усадьбу Паломеке не иначе как «Зачарованной».

Столь явное бесчестие не могло не вызвать в этих отважных людях неутолимой жажды мести, которую они пытались осуществить всеми воз-

можными способами, устраивая ночные и даже дневные засады, подвергая себя немалой опасности, но все тщетно, так как дон Лопе и его близкие держались с благоразумной осмотрительностью.

И вот когда в таких непростых обстоятельствах наш кабальеро, будучи постоянно начеку, думал лишь о том, как бы избежать Харибды, он, сам того не ожидая, оказался во власти некоей прекрасной Сциллы, ставшей жестоким властелином его сердца. А случилось то, что, увидев на одном из городских празднеств прекраснейшую Лауренсию, он не только тут же сложил оружие, но и отдал той, что одержала над ним эту бескровную победу, ключи от своей свободы — самого бесценного дара, каким наделен человек.

Дама эта была дочерью некоего горожанина, богатого более уважением своих сограждан, чем имением и деньгами, что, как казалось дону Лопе, должно было послужить тайным ходом, ведущим в крепость, осаду которой он уже начал; а посему он стал настойчиво изыскивать способы не только поведать Лауренсии о своей страсти, но и разнообразными подарками и знаками внимания завоевать ее расположение, каковая уловка скоро и принесла плоды, ибо недостаток опыта и избыток красоты, капризный нрав и неумение его обуздать часто расстраивают и нарушают самые чистые замыслы. В конце концов, привороженная драгоценным блеском более, нежели любовной взаимностью, Лауренсия сама открыла воздыхателю врата своего чувства; и, хотя отец ее должным образом следил за всем, что происходит в доме, вряд ли бы это помешало любовникам, если бы почтенный горожанин не был предупрежден и уведомлен одним своим родственником, который уже давно добивался стать его зятем, и, не отказавшись от

своего намерения и кое-что заподозрив, повел такую неусыпную слежку, что вскорости проведал суть дела со всеми тайными подробностями; а именно — спрятавшись как-то ночью в таком месте, где через окно мог легко слышать все, о чем дон Лопе говорил с Лауренсией, он ясно понял, что дама, мучимая не только собственными подозрениями, но чувствуя, что они мало-помалу зарождаются и у отца, просит своего любовника увезти ее из дома, вырвать из родительских рук, что бы в действительности и произошло, если бы не своевременное родственное вмешательство.

Глава LV

О том, какие предосторожности предпринял отец прекрасной Лауренсии, и о дальнейшем

Как я уже говорил, отец дамы был человек более уважаемый и почтенный, нежели самостоятельный, а поэтому он так переживал оскорбление, которое замыслил нанести ему дон Лопе, и с таким неосмотрительным усердием стал искать удовлетворения, что, как вы сами скоро увидите, не только потерял дочь, но и подверг ее жизнь и честь прямой опасности. Первым делом, он во всеуслышание заявил, что отныне выступает на стороне братьев Паломеке, чьей заботе, а вернее — заботе их матери, которая находилась тогда в Толедо, он поручил свое самое большое сокровище, уверенный, что дерзость дон Лопе не посягнет на этот дом, и настойчивость его окажется здесь бессильной, после чего отправился по деревням и селам, где рассчитывал встретить двух помянутых кабальеро, на каждом шагу обнаруживая желание

мести, хотя куда более разумно было в таком случае выдать дочь замуж и этим не только искупить публичное бесчестье, но и пресечь все его пагубные последствия.

Дон Лопе не меньше переживал свое несчастье; поначалу, охваченный любовным гневом, он готов был учинить страшное насилие: уверенный, что его даму заключили в монастырь, он перебивал всюду, но тщетность его попыток как разжигала, так и смягчала его гневный пыл. Когда же он убедился в том, что его даму словно поглотила сама земля и окончательно расстался с надеждой найти ее, ему пришлось прибегнуть ко всей присущей ему сдержанности и благоразумию, — ведь чего иначе стоили бы все его совершенства, не будь он в состоянии смирить свою страсть.

В самом деле, поскольку страсть — недуг исцелимый, время стало оказывать свое действие, и, хотя выздоровление затянулось, дон Лопе ни на минуту не оставлял без внимания дел, касающихся городских усабиц.

Между тем прекрасная Лауренсия, скрытая в доме смертельных врагов дона Лопе, была немало удручена и опечалена, ибо, хотя любовь уже не пылала в ней так ярко — ведь немало неприятных минут пришлось ей пережить из-за своего возлюбленного, — досужее воображение, накрепко запертое в четырех стенах, принялось за работу, и мало-помалу память о былом заставила ее и вправду испытать то, к чему вначале ее побуждали определенные причины; а так как хрупкое женское естество не отличается стойкостью, то очень скоро ее досада и недовольство дали о себе знать, хотя истинная их причина оставалась в тайне. Хозяева благородного прибежища нашей дамы не могли не почувствовать этой скрытой неприяз-

ни, но поскольку они и в самом деле стремились доставить Лауренсии всяческое удовольствие, да и красота ее не могла никого оставить равнодушным, они прощали ей все ее капризы, а сами по возможности старались ублажить свою гостью, в чем особенную настойчивость проявляла донья Хуана Паломеке, сестра двух отважных кабальеро, которая, постоянно находясь рядом с Лауренсией и будучи к тому же существом очень юным, испытывала к ней все большую привязанность.

Благородная эта сеньора воспитывалась своей родительницей в такой тайне, что, не говоря о горожанах, мало кто из слуг мог бы вразумительно описать ее внешность; но полагаю, что вряд ли вообще нашелся бы гений, способный со всей проникновенностью и полнотой воссоздать этот ангельский облик, ибо, даже в столь молодые годы, не успев расцвести и заблестать, красота ее была такова, что поистине нельзя не видеть справедливого умысла небес в том, что они оградили частицу своего сияния столькими стенами и затворами, ведь, явись она миру, от нее произошло бы больше бед и несчастий, чем крови и слез пролилось по вине буйного и кровожадного нрава ее братьев. В сравнении с ней еще более предосудительным выглядело угрюмое недовольство Лауренсии; но так как не искушенная в житейских делах донья Хуана обладала не по летам острым и пронзительным умом, то, читая в мыслях Лауренсии, как в открытой книге, она вскоре догадалась о ее любовных тревогах, а вслед за тем и о том, кто был их причиной.

Глава LVI

О том, как донья Хуана, разгадав чувства Лауренсии, пыталась разуверить ее в них

Лауренсия прекрасно знала о соперничестве и вражде между доном Лопе, своим любовником, и семьей Паломеке, но, желая объяснить свои грехи и заблуждения ссылкой на столь серьезную причину, она решила заодно посвятить донью Хуану в свои сердечные дела; однако недобрым светом вспыхнули при звуке этого имени глаза ее подруги, которая, как говорят, подобно своим братьям, вместе с материнским молоком впитала яд злобы и ненависти к дону Лопе; едва услышав о нем, она попыталась разуверить Лауренсию, но тщетно, ибо нежная дама была не менее пристрастная в своих чувствах и, как то обычно случается со всеми одержимыми подобной страстью, хотела, чтобы прочие тоже по достоинству оценили предмет ее влюбленности; поэтому она не только не отступилась от своего, но принялась с еще большим пылом расписывать достоинства возлюбленного, называя его не только самым мужественным и великодушным, но и самым благородным, самым добродетельным, самым галантным, самым ученым и красоты несказанной; наконец, не в силах сдерживать поток своих оправданий, встречая каждое возражение все новыми подобными доводами, разве что более мягкими, она сказала:

— И уж если, моя госпожа и повелительница, Лауренсия удостоилась любви такого человека, то скажите, могла ли она перед ней устоять? Разве это не тот, в ком находят опору и помощь павшие, кто тверд и непреклонен с надменными, кто страдает слабым, кто великодушен и щедр с друзьями, наводит ужас на врагов, кто кроток

и мягок с женщинами и учтив и обходителен с мужчинами? И, наконец, разве это не тот, кто, отличаясь среди прочих столькими достоинствами, заслужил имя Безупречного? И так, если все признают его превосходство, все платят ему любовью и уважением, разве я, существо недостойное и слабое, каковым себя считаю, могла отказать ему в этом или, если бы и хотела, разве смогла бы противиться его уму и справедливости, каковые столь могущественны и беспристрастны, что, готова утверждать, либо полностью отсутствуют в вас, и вы не признаете очевидного, либо, как и у ваших братьев, их окончательно затмили злоба и ненависть?

Такого рода похвал, которые Лауренсия усердно расточала в адрес своего любовника, донья Хуана выслушала столько, что мало-помалу, и сама того не замечая, перестала считать его кровавым и свирепым убийцей, и не только в уме ее стало складываться совсем иное представление о доне Лопе, но все больше хотелось ей собственными глазами убедиться в своем заблуждении. А посему, решив больше не противоречить, она в то же время вознамерилась помочь нашей даме в ее любовном затруднении; последняя, узнав о подобном намерении, с таким чувством принялась благодарить донью Хуану и выражать ей свою признательность, что та осталась более чем довольна и, вся во власти нового замысла, охваченная любопытством, без дальнейшего промедления и с полного согласия Лауренсии, стала изыскивать способы, при помощи которых можно было бы дать знать дону Лопе о том, где она находится, при этом будучи уверена в том, что отец Лауренсии избрал для нее подобное убежище с единственной целью — скрыть от преследований любовника;

а так как в осуществлении ее плана это была лишь первая ступень, которую требовалось преодолеть, то она обдумала все возможные средства, все способы, какие только могло подсказать ей воображение; и наконец, испробовав не один окольный путь, столкнувшись не с одной непреодолимой трудностью и почти отчаявшись, она была вынуждена прибегнуть к некоей хитроумной уловке.

Глава LVII

**В которой Лауренсия извещает дону Лопе
о своем местонахождении,
и что из этого воспоследовало**

Как раз в это самое время мать доньи Хуаны стала ходить к новенам в церковь де ла Пьедра, где и пребывала тайно вместе с дочерью, Лауренсией и слугами каждый день с восьми до девяти часов утра. Желая воспользоваться этой возможностью, наша дама написала два письма — одинаковые по содержанию и оба адресованные дону Лопе Пачеко; она спрятала их на груди, а затем, улучив подходящий момент, обронила одно в церкви, а другое — на улице, предоставив их дальнейшую судьбу случаю, ибо полагала, что Фортуна должна быть благосклонной к дону Лопе, так как вряд ли человек, нашедший письмо и знающий обходительного и обаятельного кабальеро, отказал бы себе в удовольствии передать ему это послание, как оно в действительности и случилось: не пробило еще и полдень, как оба уже были в его руках; и все же наша дама не полностью доверилась судьбе, составив письма так, что, попади они к кому-нибудь другому, тайный их смысл не был

бы открыт. Дон Лопе распечатал письмо и, с трудом разбирая неровный почерк, прочел следующее короткое послание.

Письмо Лауренсии дону Лопе

«Дабы не искушать Провидение, пославшее мне столь благую возможность, откладывая подробности до следующего раза, когда, надеюсь, смогу высказаться более определенно; пока же, дабы нам обоим избавиться от груза беспокойства и тоски, умоляю вас, доверяя вашей точности, быть завтра ровно в девять утра в часовне де ла Пьедра, имея при себе это письмо как условный знак; на ступенях перед алтарем вы найдете другое, где более обстоятельно будет изложено все, что вам предстоит исполнить. Да хранит вас Господь!»

Дон Лопе был весьма обрадован таким разрешением своих тревог и сомнений; и вот в назначенный час с письмом в руке, как то и было условлено, он стоял у подножия алтаря, осторожно стараясь высмотреть среди молящихся предмет своего поклонения; но попытки эти ни к чему не привели, так как женщин было много и лица их были скрыты; впрочем, он нашел письмо там, где и было обещано; Лауренсия же, увидев его, не только сделала то, что задумала, но и смогла, несмотря на то, что мать не спускала глаз с доньи Хуаны, незаметно указать своей подруге на того, кто был наградой всех ее прегрешений и порукой ее искренности.

Да, не приходилось еще этой невинной и кроткой овечке вкусить от столь горького и вредоносного плода, потому что, как я уже говорил, будучи столь юной и ведя затворнический образ

жизни, она почти не видела и не знала людей, и поэтому меня не пугает и не удивляет то, что, когда ее божественный взор впервые остановился на подобном человеке, в душе ее словно пронесся буйный, опустошительный вихрь; и таковы были ее смущение и замешательство (ведь ей не доводилось еще оказываться в подобных обстоятельствах), что ее плохо скрываемая страсть едва не обнаружилась; ибо, питаемая неразумной настойчивостью, с какой Лауренсия расхваливала мужские достоинства своего любовника, страсть эта и без того давно тлела в груди доньи Хуаны, увиденное подлило масла в огонь, и вот любовное пламя вспыхнуло с такой силой, что донье Хуане легче было расстаться с жизнью, чем смирить бушующий пожар. И вот, одна — в смятении и печали, вторая — чрезвычайно довольная, они вернулись домой; то же сделал и дон Лопе и, первым делом распечатав письмо, а вместе с тем сняв печати со своих тревог и подозрений, прочел следующее:

Письмо Лауренсии дону Лопе

«С той минуты, как мой жестокий отец, прознав о нашей любви, лишил меня возможности видеть вас, глаза мои, скорбя о подобном несчастье, непрестанно льют потоки слез, и, не сумей я воспользоваться этой уловкой, последняя надежда вскоре оставила бы меня. Но так как небо, сжалившись, поспешило оказать помощь той, которая никогда не сомневалась в вашей мужественной решимости, то осмеливаюсь просить, чтобы вы попытались этой ночью свидеться со мной в доме ваших врагов, где вместе с их матерью и прекрасной сестрой я и пребываю с того печального дня, когда меня разлучили с вами. Дело, на пер-

вый взгляд непростое, но очень возможное, учитывая ту помощь, которую оказывают мне здесь; итак, буду ждать вас в полночь у одного из окон, выходящих в сад, рядом со стеной де ла Вега; помните: место укромное, время надежное, враги ваши в отсутствии, о чем и пишет вам, дон Лопе, ваша верная Лауренсия; впрочем, лестных слов и так было сказано довольно, чтобы вы ответили взаимностью на столь искреннее чувство».

Глава LVIII

В которой дон Лопе решает исполнить заключенную в письме просьбу, и пламя страсти с еще большей силой охватывает донью Хуану

О, какие различные мысли стали одолевать донна Лопе, когда он прочел эти строки! С одной стороны, он радовался тому, как неожиданно нашлось утраченное им сокровище, с другой — печалился, видя, что место, где оно обнаружилось, столь подозрительно, что малейшее из закравшихся в его сердце сомнений могло смутить и самого отважного человека. Не меньше заботился он и о добром о себе мнении, ведь если бы даже вначале все и пошло хорошо, то в дальнейшем, обнаружись его любовные дела, это могло бы повредить его репутации и доброму мнению, сложившемуся о нем благодаря той изысканной учтивости, с какой он привык обращаться со своими противниками.

Однако, несмотря на столь серьезные доводы, в его уме тут же рождались другие, совершенно противоположные: и в самом деле, благородное доверие Лауренсии не оставляло ему никакой воз-

возможности избежать свидания с нею; вместе с тем его репутация могла бы подвергнуться новой опасности, и, напротив, в полном блеске явилось бы перед всеми мужественное благородство его врагов, которые, на свой страх и риск, взяли под свое покровительство даму, которую даже собственный отец не осмелился защитить.

И вот, отбросив недостойные сомнения и колебания, презрев все возможные трудности и препятствия, движимый отважным негодованием, он решился исполнить то, о чем его просили в записке; однако, оставаясь человеком благоразумным и осторожным, он пришел к условленному месту заранее и еще два часа внимательно наблюдал, не заметно ли чего подозрительного и не готовится ли ему западня; наконец, уже несколько успокоившись, он подошел к выходящим в сад окнам как раз в ту самую минуту, когда в одном из них появилась его дама, которая тут же узнала дону Лопе, и пока они обменивались нежными любовными излияниями, Лауренсия упрекала дону Лопе в небрежении к ней, а дон Лопе корил Лауренсию за медлительность в исполнении ее замысла; расстались они в самом веселом расположении духа, договорившись о будущих свиданиях, во время которых все жарче становился снедавший Лауренсию огонь желаний, и (что наиболее достойно самого глубокого сожаления и сострадания) все сильнее свирепствовал в нежном и любящем сердце доньи Хуаны проникший в него злой, неисцелимый недуг. В те редкие минуты, когда она оставляла надзор за своей подружкой, под тем или иным мнимым предлогом стараясь не показываться дону Лопе, до ее любопытного слуха, мешаясь с горькой, как сок алоэ, ревнивой отравой, долетали его сладкие речи и расточаемые им лю-

безности; и, в конце концов, это пагубное любопытство возымело такие последствия, что не только здоровье доньи Хуаны, но и сама ее жизнь оказалась под угрозой.

Любовь всегда считалась злейшей мукой, но нестерпимее всего — любовь подавляемая, скрытая, почему и выходит, что чем больше старается человек утаить ее в своем сердце, тем неистовее она становится и трепет ее потаенного пламени отражается в лице и на устах, как биение крыльев бабочки-однодневки. Никому еще эта истина не доставалась столь дорогой ценой, и ни одна женщина не пыталась с большей стойкостью и благоразумием противопоставить свои слабые силы стольким терзаниям и мукам; плодом этого доблестного сопротивления было то, что в один прекрасный день донья Хуана слегла; прибегли к самым различным средствам, но душевный ее недуг, понятый превратно или же совсем не понятый, перерос в недуг телесный, что еще больше опечалило и удручило ее мать, которой и без того причинял немалое беспокойство буйный нрав ее сыновей; любовные свидания и беседы между донем Лопе и Лауренсией, столь хитроумно устроенные доньей Хуаной, прекратились, и это неожиданное обстоятельство облегчило и утешило ее любящее и скорбящее сердце, ибо несомненно, что муки ревности утихают, едва лишь оказывается устраненной их причина.

Однако и это препятствие не помешало общению любовников: заранее все предусмотрев, они решили воспользоваться лентой, к которой один из них, улучив подходящий момент, привязывал свое послание, а затем посредством того же приспособления получал ответ; но так как Лауренсия, и не подозревая, какую боль причиняет она этим

своей подруге, рассказала той о новой хитроумной уловке, а также о самых своих сокровенных мыслях, то донья Хуана, в чьем сердце каждое чувство Лауренсии вызывало обратное, едва узнав о новой хитрости, увидела в ней последнюю надежду на спасение.

Глава LIX

Превратности любви доня Лопе и прочие немаловажные события

Надежды доня Лопе тем временем понемногу таяли, как из-за проволочек и неопределенности, так и потому, что с того дня, как в душе его в первый раз шевельнулось сомнение, он упорствовал в исполнении своего замысла больше для того, чтобы поддержать свою репутацию и позлить своих врагов, чем от чистого сердца; и так как все попытки достичь цели были столь опасны и кончались ничем, он стал мало-помалу уклоняться от ее достижения. Подобное охлаждение не осталось незамеченным его дамой, и она тут же поспешила поделиться этой дурной новостью с выздоравливающей доньей Хуаной, что укрепило последнюю в ее решимости действовать безотлагательно из боязни, что, если дон Лопе разочаруется в своем чувстве, она не сможет дать ему знать о своем собственном; а так как никакому закону не дано обуздать любовный порыв и никакому увещанию — остановить его, ибо он сам с легкостью сметает на своем пути все заповеди и законы вплоть до законов чести, то, отбросив их, презрев свое доброе имя, страх перед братьями, перед загробным проклятьем отца, отринув ненависть,

родившуюся от множества нанесенных ран, донья Хуана немедленно приступила к исполнению своего намерения, а как — о том читатель скоро узнает.

Нельзя сказать, чтобы дон Лопе окончательно отступился от своего, и, узнав о том, что донья Хуане становится лучше, в надежде скоро вновь свидеться со своей дамой он поспешил забрать ответ на письмо, написанное им накануне; найдя послание в условленном месте, он уже собирался было вернуться домой, чтобы спокойно прочесть его, но неожиданно обратил внимание на странный вид и больший, чем обычно, вес письма и, решив, что в нем, должно быть, содержится нечто особенное, передумал и тут же, зайдя под своды церковной галереи, где висел фонарь, взломал печать; едва он принялся разворачивать сложенные листы, как вдруг застыл точно пораженный молнией, ибо воистину не меньшее действие произвел бы на него вид свирепого и кровожадного чудовища, чем то чудо красоты и воплощенной прелести, которое вдруг явилось перед ним. Такая удивительная неожиданность, равно как и незнакомый почерк, явно принадлежащий чужой руке, — все это окончательно смутило его и без того смятенный дух; имея в руках ключ от тайны, он, однако, не спешил воспользоваться им: взволнованные чувства и взор его были прикованы к божественным чертам на портрете; наконец, успокоившись на мысли, что подобное совершенство не может быть человеческой природы, и желая все же узнать, зачем понадобилось Лауренсии менять почерк, он спрятал загадочный ангельский лик на груди и приступил к чтению самого письма, которое привело его в великое замешательство.

Письмо доньи Хуаны дону Лопе

«Одному лишь милосердному небу, каковое и призываю в свидетели, ведомо, скольких слез, печалей и мук стоило мне мое сопротивление, ибо, прежде чем дать увлечь себя подобному легкомыслию, я решилась претерпеть все и в отчаянии моем узрела сумрачные врата лютой смерти. Но ежели окончательная погибель нашего злосчастного дома, predeterminedенная свыше, целиком в вашей власти, перед которой были бессильны и доблесть моего покойного отца, и отвага моих изгнанных братьев, то неужели женщина, существо по природе хрупкое, могла противостоять вам? Итак, дон Лопе, небесам угодно, чтобы месть обрушилась не на вас, а напротив, чтобы мое сердце — последняя жертва — пало пред вами, доказав, что отныне нет в доме ваших врагов ничего, что вам бы не покорилось. С той минуты, как Лауренсия впервые рассказала мне о вас, власть ваша надо мною такова, что я не возьмусь описать ее словами, да и потоки горьких слез, льющиеся на это письмо, мешают мне это сделать, а посему, уверенная, что ваше благородное сердце извинит меня, хотя и не без робости отваживаясь на столь дерзкий поступок, пишу вам и, в надежде удостоиться вашего благосклонного взгляда и заслужить ваше расположение, направляю к вам своего посланника, с которым умоляю обращаться бережно, хранить в тайне и оказать ему милостивый прием, к чему обязывает вас несчастная судьба оригинала и красота несравненной Лауренсии. Да хранит вас господь и да сделает он мои черты приятными для вашего взора; и, если выпадет мне такое счастье, я буду ждать вас завтра в известном вам месте, в известный час».

Глава LX

В которой донья Хуана и дон Лопе встречаются втайне от Лауренсии

Таковы были последние строки нежного любовного послания доньи Хуаны, чей портрет дон Лопе поднес к глазам, завороженно любуясь прекрасными чертами и вновь и вновь перечитывая письмо, не в силах постичь случившегося; в подобной необычайной растерянности и застал его рассвет, но, боясь быть замеченным, он поспешил вернуться домой, где, не раздеваясь, упал на постель и так — не помышляя о сне и пище — провел остаток дня; причем был настолько вне себя и весь охвачен таким удивительным смятением и беспокойством, сказывавшимся во всех его движениях и в выражении лица, что молчаливо взиравшие на него слуги не без основания предположили, что либо он самым плачевным образом лишился рассудка, либо, уж конечно, замышляет какое-то наиважнейшее дело, в чем они действительно не ошиблись, ибо никогда еще, даже в моменты величайшего риска, дон Лопе не чувствовал себя в таком затруднении.

Разрешить его, принимая в расчет все случившееся, представлялось задачей отнюдь не легкой, причем настолько, что если бы не прекрасный портрет, подобно мощному магниту влекший его к себе, и не обещанная награда, подобно острой шпоре горячившая его желания, то, думается мне, признание доньи Хуаны не вызвало бы в нем ничего, кроме презрительной усмешки; однако эта дама проявила такое благоразумие и предусмотрительность, умело составив письмо и вложив в него портрет, что оба они окончательно рассеяли все

страхи дона Лопе и настроили его таким образом, что ни очевидная опасность, ни безрассудный риск подвергнуться позорному унижению не могли заставить его отказаться от своего намерения; а по-сему, не думая больше ни о своих прежних чувствах к Лауренсии, ни о том, как собирается устроить все донья Хуана, положившись на ее благоразумие, дон Лопе не колеблясь вверил ей свою жизнь и честь.

И вот, решившись, он ненадолго забылся сном и, дождавшись вечера, а с ним и желанного часа, надев под камзол кольчугу и подобающим образом вооружившись, вышел из дома один, дабы не посвящать никого в свою тайну, и не спеша направился к назначенному месту, подойдя к которому, услышал, как при звуке его шагов в саду открылось окно; он приблизился к нему, но, едва увидев прикишую к решетке донью Хуану, застыл как вкопанный, в немом восхищении любясь представшим ему дивным виденьем; почувствовав, что блаженство, прежде казавшееся несбыточным, возможно, он стоял, не в силах двинуться с места или вымолвить хотя бы слово.

Наконец, справившись с замешательством, он подошел ближе, но долго еще простояли они молча, в упоении, не отрываясь глядя друг на друга, пока дон Лопе, понуждаемый свойственной ему учтивостью, первым не нарушил молчание:

— Возможно ли, о дивное и несравненное существо, о прекрасный кумир, чтобы вашему злейшему врагу, недостойному узреть столь ослепительный блеск, было дано созерцать вас въяве? Какая счастливая звезда воссияла над миром в день, когда я родился, какое благое стечение светил обратило ко мне ваш нежный взор, а меня вывело из мрака, в котором я донине пребывал?

Какое божество тайно направляло мои шаги, какими смиренными жертвами заслужил я столь бесценную награду? О непостижимое и благое Провидение! Да будет тысячу раз благословен тот час и миг, когда я увидел Лауренсию — источник стольких отрад, и да будут благословенны все ее заботы, помыслы и действия, приведшие меня сюда, ибо столь ничтожными усилиями, столь малыми трудами открыл я столь драгоценные россыпи, столь неоценимое сокровище и, сверх того, обрел утешение и покой, ибо если что-нибудь в этом брэнном мире и может напомнить о блаженных полях Элизия¹, то это ваша божественная красота. И пусть, о моя прекрасная повелительница, глаза мои выскажут все то, о чем молчит мой язык, то райское блаженство, которое переполняет мою душу восторгом и смиренной благодарностью.

— Ни минуты не сомневалась я, — отвечала донья Хуана, прерывая его реч и, — что мои чувства не могут найти иного ответа у столь благородного и любезного кабальеро; и все же, хотя ваши пылкие слова не могут увеличить мою преданность, ибо и без того, став мне неподвластна, она достигла самых крайних пределов, я вновь подтверждаю в вашем присутствии свою верность вам, которую никогда не нарушу. Вы, дон Лопе, были первым мужчиной после моих братьев, которого увидели мои глаза, и через них проникли в мою душу; а посему живите в уверенности, что, чем бы вы мне ни отплатили, вы навсегда останетесь ее властелином и будете занимать в ней подобающее только вам место, хотя бы из-за этого мне пришлось расстаться с жизнью. Я не прошу у вас

¹ Э л и з и й (Элизиум, Елисейские поля) — в греческой мифологии загробный мир для праведников.

большей благосклонности в награду за мою любовь, ибо она такова, что, даже если вы и впредь будете любить Лауренсию, не понесет ущерба, равно как и чувства Лауренсии и ваша настойчивость не причинят ей вреда. Вот что подвигло меня на этот отчаянный поступок, и, если мне суждено быть столь несчастной, и вы, взвесив про себя наши достоинства, раскаетесь, что пришли сюда, пусть платой за это будут мои молчаливые страдания и слезы, но не ваш покой и не мое к вам расположение.

Глава LXI

**В которой нежная беседа двух нововлюбленных
неожиданно прерывается
примечательным происшествием**

Последние слова доньи Хуаны, полные ревнивых сомнений, были тут же прерваны уверениями и обещаниями, которых она была вполне достойна; а поскольку охваченный страстью кабальеро больше всего желал, чтобы его новое чувство имело крепкую поруку, он не скупился на нежные речи и, между прочим, выяснил, как зародилась в сердце доньи Хуаны любовь к нему, ставшая причиной ее болезни; узнал он и о том, как удалось ей воспользоваться хитрой уловкой Лауренсии, а случилось так, что, поскольку та рассказывала ей все о своей переписке, донье Хуане оказалось совсем несложно, незаметно подменив письмо Лауренсии, привязать вместо него свое, с портретом; по всему тому было решено, что будет лучше, если дон Лопе, с полного на то согласия своей дамы, станет и впредь (дабы отвлечь ее внимание) ухаживать

за несчастной Лауренсией, которую донья Хуана, идя на свидание, покинула, лишь убедившись, что та крепко спит, а перед тем выкрала у матери ключи от сада, что было отнюдь небезопасно и лишний раз уверило доня Лопе в том, сколь искренне он любим.

Около двух часов провели влюбленные за мирной беседой, вкушая первые сладкие плоды своего чувства, как вдруг дон Лопе услышал громкий стук, словно кто-то упал или спрыгнул с высоты, а вслед за тем некий отдаленный шум и, встревожившись, приказал донье Хуане поскорее закрыть ставни, а сам столь же стремительно, даже не простившись со своей любимой, перелез через ограду и, притаившись в зарослях мальвы и высокой травы, с тем чтобы разгадать причину таинственного шума, увидел, как буквально в одно мгновение пространство перед воротами заполнилось вооруженными людьми. Всякий без труда поймет и вряд ли стоит описывать, в каком печальном и затруднительном положении неожиданно оказался дон Лопе, который, полагая, что погиб и что его коварно предали, решил тем не менее дорого продать свою юную жизнь; а посему, собравшись с духом и желая продлить оставшиеся ему краткие мгновения жизни, стал ждать, пока враги сами не нападут на него; они же, подойдя к садовым воротам, подали условный знак, вскоре после чего ворота тихо приоткрылись, пропуская внутрь вооруженную толпу, затем так же бесшумно закрылись, и вокруг вновь воцарились спокойствие и тишина; воодушевленный столь внезапным и чудесным спасением, дон Лопе стал осторожно отступать в сторону городской стены, из-за которой и появились его враги, но, едва приблизившись к ней, он различил в густой тени огромных

башен множество всадников, которые, как ему показалось, были заодно с уже проникшими в город людьми, что привело дон Лопе в немалое замешательство, так как, появивсь подобные отряды и в других местах, это явно грозило бы городу опасностью и гибелью, чего ему совсем не хотелось, особенно потому, что он не сомневался, что то были братья его дамы, в искренности чувств которой он смог теперь убедиться, отчего мстительный огонь в его сердце угас, и он решил попытаться отвести опасность таким образом, чтобы этим не причинить вреда той, которой был обязан столь великой любовью.

И вот, весь во власти этого благородного помысла, он, не спеша и стараясь не поднимать лишнего шума, обошел все городские ворота, предупредив стражников и солдат, а затем вернулся домой и верхом вместе со слугами и друзьями, за которыми успел перед тем послать, двинулся в город, одновременно приказав звонить в колокола церкви Святого Романа: по этому знаку набатные люди должны были братья за оружие; рассудив, что братья, услышав такой переполох, немедля постараются укрыться в надежном месте (как оно и случилось), он повел своих людей не к воротам Камброн, через которые те должны были проехать, а к воротам Висагры, а оттуда — к тому месту, где впервые заметил всадников; там, увидев следы множества копыт, он пришпорил коня и пустился со своими спутниками в погоню, хотя эта поспешность была теперь излишней, так как братья успели намного опередить их благодаря уловкам, которые предпринял для их спасения отважный дон Лопе; убедившись, что они недосыгаемы и что его притворство удалось, он велел поворачивать назад, скрывая, что доволен исходом

дела, а сверх всего тем, что, к чести своей, ему удалось избавить от смерти смелых братьев Паломеке и оказать их любимой сестре столь важную услугу, хотя поступок этот, как читатель узнает впоследствии, будет стоить ему душевного покоя, всего состояния и даже самой жизни и доброго имени; но доблестный кабальеро презрел все неведомые опасности, предпочтя возможность быть отмщенным удовлетворению своих обид и гибели своих смертных врагов; ибо для человека благородного и великодушного истинная месть заключается в том, чтобы, имея возможность отомстить, не сделать этого.

Глава LXII

О том, как дон Лопе, всецело занятый своими чувствами, пренебрег осторожностью в делах, из-за чего самым неожиданным образом оказался в смертельной опасности

Остаток дня и часть вечера дон Лопе отдыхал, однако никакие заботы и тревоги не помешали ему еще раз увидеться с доньей Хуаной, которую (чего он немало опасался) могли заметить во время ночного переполоха; а посему в обычный час он был на месте и, взяв спущенное, как всегда на ленте, письмо Лауренсии, привязал другое, в котором, чтобы успокоить ее и отвлечь ее внимание, извинялся за задержку с ответом и тут же о ней забыл; вскоре появилась и его дама и окончательно рассеяла все подозрения и страхи дон Лопе, рассказав о том, как удалось ей незамеченной выскользнуть из сада и тайком положить ключи на место, чему оба были крайне рады, а особенно донья Хуана, которая справедливо опасалась, что

после событий минувшей ночи никогда уже больше не увидит своего возлюбленного, и теперь не могла сдержать восторженных слов, видя, сколь искреннее и сильное чувство он к ней питает. Наконец она открыто призналась, что ночью приезжали братья, впрочем, это отнюдь не было новостью для доня Лопе; однако обоим не могла не встревожить причина их появления, состоявшая в том, чтобы окончательно решить с матерью и сестрой замужество доньи Хуаны, разговор о котором велся уже давно. Обдумав это и не видя пока лучшего выхода, влюбленные условились, что донья Хуана будет, сколько возможно, медлить с ответом, после чего дон Лопе рассказал о том, как ловко удалось ему подстроить исчезновение братьев, и распрощался со своей возлюбленной, вновь оставив ее в самом безмятежном и счастливом расположении. Но так как для влюбленных мгновенья разлуки — не мгновения, а века, разлука их не была долгой.

В это же время Лауренсия, томясь одиночеством, коротала печальные и полные сомнений дни, теша себя надеждой скоро увидеть своего любимого, что постоянно обещала ей донья Хуана; а поскольку все находилось в ее руках, то ей было совсем не сложно постоянно откладывать это свидание, тем самым растравляя в сердце обманутой гостью злую тоску. Не меньше мучился и охваченный любовной страстью дон Лопе, который, помня о словах своей дамы, не знал, как без кровопролития выйти из подобного затруднения, ибо, с одной стороны, понимал, сколь опасны замыслы братьев, с другой — тревожился, что попытки вовсе избежать свадьбы лишь усугубят вражду и усобицу.

Обо всем этом вели между собою нежные речи влюбленные, и повсюду им виделись непреодолимые трудности и препятствия, ибо, как люди рас-

судительные, они знали, что рискованные решения лишь поначалу бодрят сердце, по размышлении уже не кажутся столь заманчивыми, а на деле и вовсе приносят горькие и печальные плоды, а потому благоразумно не желали причинять сами себе подобный вред; однако несчастья, которые небо определило на их долю, не медлили в пути, и они так и не успели ни о чем договориться, а тем менее — предупредить опасность. И вот, когда в одну из ближайших ночей они в ласковом согласии толковали друг с другом, внезапный и смутный ропот возмущенной толпы, трезвон колоколов, устрашающий грохот пушек, бряцание оружия и выстрелы аркебуз властно прервали нежную беседу, и дон Лопе в отчаянии понял, что погиб и сколь дорого обойдется его друзьям, его родственникам, ему самому и всему городу его любовное ослепление. Со слезами на глазах простились нежные влюбленные, и дон Лопе попытался вернуться к себе, но уже по дороге узнал, что город взят, а от дома его камня на камне не осталось, и та же участь постигла жилища его ближайших друзей; все это было делом рук обуреваемых яростью врагов, которые, ободренные тем, что в прошлый раз им так легко удалось проникнуть в город и что они не встретили серьезного отпора со стороны дон Лопе, теперь с воодушевлением приводили свой замысел в исполнение; причем действовали так уверенно, что сумели захватить Толедо прежде, чем кто-либо понял, что случилось; а так как главной их целью было покончить с доном Лопе, то весь свой гнев они обрушили на его дом: не найдя хозяина, они предали здание огню, а затем овладели алькасаром, площадями, воротами и знаменитыми мостами.

Глава LXIII

О том, как дон Лопе скрылся от своих врагов и в их отсутствие вновь встретился с доньей Хуаной

О, жалкая судьба человеческая! Сколь ты непостоянна, скольких превратностей и опасностей полна! Так и наш благородный и «безупречный» кабальеро не только вмиг оказался лишен всей своей власти и величия, но и предстал теперь в самом плачевном виде — воплощением злосчастной своей судьбы; ибо, будучи окружен смертельными врагами, он не имел дома, стены которого послужили бы ему защитой, друзей, у которых мог бы найти прибежище, слуг, на помощь которых мог бы рассчитывать, — словом, оказался в совершенно безвыходном положении. Но так как тяготы и опасности лишь укрепляют и возвышают благородную натуру, дон Лопе, воспрянув духом, ворвался в первый же дом, двери которого были открыты; и там не только встретил ласковый прием, но и смог вполне довериться хозяевам, как-вые, словно он приходился им родным сыном, укрыли его так надежно, что все угрозы, просьбы и посулы его недругов не возымели действия, и все их попытки запугать хозяев оказались тщетны.

Так как из-за неожиданно обрушившейся на город беды сторонники дона Лопе были рассеяны, слуги изгнаны, а люди, ему сочувствующие, чересчур напуганы, то, рассудив, что помощи ему сейчас ждать не от кого, и решив мужественно противостоять всем напастям, он предпочел выждать более благоприятную возможность, чтобы что-нибудь предпринять; таковая не заставила себя долго ждать, ибо Фортуна, которая всегда благоприятствует тем, кто умеет противиться ее крутому нраву, распорядилась так, что его враги, хотя

и укрепив свои позиции в городе, вынуждены были на какое-то время оставить его для усмирения возмущений и беспорядков в не подчинившихся им городах и селах округи; как только новость эта стала известна дону Лопе, он, используя благой случай, с соблюдением величайшей осторожности известил всех своих сторонников; в то же время даже среди стольких суровых опасностей он ни на миг не забывал о своей даме и, когда в ближайшую ночь, желая проникнуть к благословенным стенам ее дома, он пришел на место, где провел столько счастливых минут, то смог убедиться, что и с противоположной стороны чувство было не менее крепко, не меньше было пережито и выстрадано, поскольку его ждало привязанное к ленте письмо, развернув которое и узнав почерк доньи Хуаны, он прочел следующее краткое послание:

«Если небо сохранило вам жизнь и вы отважитесь свидеться со мною, сделайте это без промедления, иначе я и ваша любовь погибли».

Дон Лопе рассудил, что, коль скоро его дама просит о безотлагательном свидании, то она не только уверена в его безопасности, но у нее есть на то серьезная причина, и так как не только Фортунa, но и сама любовь покровительствует отважным, бестрепетно ринулся навстречу опасности и явился в назначенное место, куда вскоре пришла и донья Хуана, вся в горе и слезах; и, случись это при других обстоятельствах, дон Лопе, несомненно, услышал бы от нее немало нежных слов и заверений в том, как низко ставит она теперь торжество своих сородичей. Однако, не давая воли чувствам, она немедленно рассказала дону Лопе о том, как при содействии братьев успело продвинуться и какой опасный оборот приняло дело с ненавистным ей замужеством, и оба тут же решили,

что настала пора прибегнуть к последнему, вынужденному средству.

И вот, окончательно решившись покинуть родной дом, и дабы при этом не пострадала ее честь, донья Хуана пред усыпанным звездами небесным алтарем в знак супружеской верности протянула свою прекрасную белую руку гонимому судьбой, но счастливому кабальеро, который, позабыв о своих невзгодах, в блаженном упоении стоял рядом с ней. Затем, договорившись о дне побега, они разошлись, чтобы подготовиться к нему, и, без сомнения, трудно было бы придумать лучшую месть, случись все так, как они предполагали; но поскольку некая незримая сила продолжала властно препятствовать им, там, где они рассчитывали обрести наконец покой, их ждала верная гибель.

Глава LXIV

В которой Лауренсия, той же ночью проследив за доньей Хуаной, становится свидетелем (тайным) любовного сговора и сообщает о нем братьям Паломеке, а донья Хуана между тем покидает свой дом

А случилось то, что, охваченная одним лишь пламенным желанием, донья Хуана, увидев, что ее письмо взято, решила немедля проверить, какой будет на него ответ, и, не дожидаясь, пока Лауренсия крепко уснет, поспешила в сад; тем временем Лауренсия, тоже мучимая сомнениями, не спала и, подметив необычайное волнение своей подруги, притворилась спящей, а сама тихонько пошла за ней и, увидев ее у окна и узнав дону Лопе (велико же было ее изумление!), сразу разгадала обман да к тому же стала невольной свидетельницей торже-

ственных клятв и обещаний. Пусть читатель сам представит себе, какой смертельный яд ненависти и ревности излился в ее душу, а более всего потому, что причиной была ее подруга и покровительница, та, кому поверяла она тайны своих любовных злоключений; но мужественное сердце билось в этой груди, ибо ей удалось обуздать свои чувства и удержать рвущиеся с уст полные гнева и боли слова.

Замышляя в глубине души ужасную месть, она так же неслышно вернулась к себе в спальню, где, проливая потоки слез и горестно вздыхая, сделала печальную тризну над дарами угасшей любви, а наутро приступила к исполнению задуманного: сочинила письмо о том, что творится в доме Паломеке и отослала его братьям, поручив это кровавое дело одному из слуг своего отца; тот, проскакав без передышки до осажденного братьями Торрехона, нашел там одного только дона Фернандо, которому и вручил послание. Однако прежде чем описывать далее все подробности этой мести, не лишне заметить, что, хотя Фортуна и не позаботилась сохранить намерения наших влюбленных в тайне, она все же не совсем отвернулась от них, ибо, заметь читатель, что, хотя Лауренсия и удалось подслушать их клятвы, она не смогла расслышать подробностей. Кроме того, ей и в голову не пришло, что побег может произойти так скоро, ведь иначе ей ничего бы не стоило попросту предупредить мать доньи Хуаны. А посему в отосланном братьям письме говорилось лишь о том, что сестра бесчестит их имя, вступив в брак с их злейшим врагом и замыслив вместе с ним позорный побег.

Хлопоты с письмом были в некотором смысле на руку донье Хуане, так как, занятая ими, Лауренсия не могла помешать ей приготовить все

необходимое для осуществления ее замысла, на что и дону Лопе пришлось потратить весь день, так как в его распоряжении было лишь двое слуг, которые, как и он сам, до сих пор скрывались от врагов; одному он приказал ждать его той же ночью с лошадьми в роще неподалеку от города, а другого отослал известить прочих, укрывшихся в крепости на вершине одной из самых неприступных окрестных гор. Отдав эти распоряжения, он дождался полночи и, хотя луна совсем некстати светила очень ярко, явился к садовым воротам, где уже ждала его донья Хуана; подхватив ее на руки и осыпая ласками, дон Лопе быстро приблизился к городским стенам и тут, нежно и крепко обвязав донью Хуану прочной веревкой, ловко поднял ее наверх, а через минуту и сам был рядом с нею по ту сторону стен.

Как уже было сказано, дон Лопе приказал слуге ждать его с лошадьми в роще недалеко от города — не только потому, что так было надежнее, но и для того, чтобы затем запутать преследователей и отвести от себя опасность, постаравшись сначала отойти как можно дальше от городских укреплений. А посему, из боязни утомить свою даму, а больше всего, боясь задержек в пути, дон Лопе предложил взять на свои плечи столь сладкое бремя, чему, однако, донья Хуана, не поддаваясь мольбам и уговорам, воспротивилась самым решительным образом; и вот, укрывшись в высокой траве, она осталась ждать доня Лопе, который, как на крыльях, устремился за помощью, хотя поспешность эта не помешала делу обернуться все не так, как того жаждала смятенная душа доньи Хуаны.

Глава LXV

**О том, как донья Хуана попала в руки своей родни,
и о том, что случилось далее**

К несчастью, в это же самое время дон Фернандо, получив вышеупомянутое письмо и ни минуты не медля, прискакал из Торрехона с тремя верховыми и, проехав вдоль нижнего вала со стороны Веги, выехал к воротам Камброн в том самом месте, где пряталась донья Хуана; ожидая своего возлюбленного, она была уже на грани отчаяния, с каждой минутой страха ее росли, и, увидев приближающихся всадников, не зная точно, сколько их должно быть — трое или четверо, приняла их за дон Лопе и его слуг и бросилась им навстречу; тут же поняла она, какую совершила ошибку, но было поздно. А дон Фернандо, горестно вскрикнув, соскочил с коня и, приказав своим людям ехать дальше, остался один на один с сестрой, но поначалу, не в силах сказать ей ни слова или хотя бы взглянуть на нее, молчал, закрыв лицо повязанным на шее красным шарфом; когда же первый приступ ярости прошел и дон Фернандо с болью постиг всю глубину своего позора, он обратился к неверной сестре, требуя, чтобы та сказала, где скрывается их враг и с помощью какой хитрости завлек он ее сюда.

Вновь хлынули слезы из заплаканных глаз нашей дамы, отчаяние и смятение ее не знали границ; и вот, полагая, что ее ждет верная смерть, не зная, что и подумать, и решив про себя — поскольку дон Лопе так и не объявился, — что он выманил ее из дома и бросил в этом пустынном месте только затем, чтобы опозорить и выместить на хрупком существе бессильную ненависть, которую питал к братьям, она бросилась к ногам дон

Фернандо и с самыми трогательными вздохами не только рассказала ему о том, как бесчестно и низко насмеялся над нею дон Лопе, избрав ее предметом своей мести, но и непрестанно умоляла брата немедля свершить возмездие, прозвизвав ее вероломное сердце.

Но так как дон Фернандо уже измыслил для нее другую, еще более страшную казнь (если только есть что-либо страшнее смерти), он оставил слова сестры без ответа, не медля далее, усадил ее позади себя на коня и, направившись к Старому мосту, где в те поры была еще лодочная переправа, пересек Тахо и, строя в уме планы ужаснейшей мести, приехал наконец в свою усадьбу, где и оставил донью Хуану, собственной рукой заперев ее в доме; сам же, стараясь ничего не упустить из виду, во весь опор поскакал обратно, вновь пересек реку и вместе со своими людьми обрыскал городские окрестности в поисках дон Лопе, не пропустив ни одного куста или рожицы, пока наконец не напал на следы лошадиных копыт и, пришпорив коня, пустился в погоню, решив настигнуть врага во что бы то ни стало.

Жизнь наша со всеми ее перипетиями напоминает комедию, фарс, в котором тот, кто вчера представлял короля, сегодня оказывается рабом, а те герои, что сегодня мучаются и страдают, на завтра — счастливы и довольны. Эта истина столь очевидна, что, хотя наша история достойна всяческого изумления, все же не стоит сомневаться в непостоянстве судьбы и могуществе случая, чью власть, оказав ей доблестное сопротивление, испытали на себе наши влюбленные; ибо, стоило появиться проблеску надежды, как несчастья обрушились на них с новой силой, и, напротив, самое

крайнее отчаяние становилось для них целительно и животворно.

И вот теперь беды таким плотным кольцом окружили прекрасную и скорбную донью Хуану, что даже и проблеска не было видно; справедливо полагая, что здесь, в этом печальном заточении, и суждено опуститься навеки занавесу ее жизни, она, будучи все же существом смертным и слабым, ощутила трепет в предчувствии горькой чаши; проливая потоки слез и с бесчисленными вздохами припоминая свои бесчисленные несчастья и то зло, которым отплатил ей дон Лопе, она так растравила свои душевные раны, что страх в ней сменился отчаянной отвагой, и с упрямым бесстрашием принялась она искать средство ускорить свой и без того близкий конец.

Глава LXVI

Об ужасном происшествии, приведшем в трепет донью Хуану, и о неожиданной встрече двух влюбленных

Едва донья Хуана окончательно укрепилась в своем отчаянном намерении, как из соседних комнат донеслись жалобные стоны и наводящие ужас звуки, так что, даже не успев взглянуть смерти в лицо, донья Хуана посчитала себя погибшей, и такой страх и смятение овладели ею, что, хотя она и пыталась воззвать к небесам о помощи, язык и даже сам рассудок отказались повиноваться ей. Ужасные стоны между тем приближались, и в промежутках неведомый голос звучал почти членораздельно; так что, вся обра-

тась в зрение и слух, донья Хуана разобрала наконец такие печальные слова:

— О несчастная, скорбящая душа! Почему медлишь ты покинуть это тело сквозь отверстые врата стольких ран и, приуготовясь к кровавому исходу, не решаешься ускорить мой плачевный конец? Довольно, избавь меня от жестоких смертельных мук, ибо память об их злосчастной причине, что более всего терзает меня в этих печальных стенах, не может умерить мою боль, пока ты живешь и дышишь во мне. О злосчастные дни моей жизни, о тщета бранных наслаждений! О преходящие радости земные, все, все оставили вы меня, рассеявшись подобно дыму, и в самый тяжелый час, в самой великой нужде покинули меня подобно неверным друзьям!

И все ужасней становились стенанья этого, как решила донья Хуана, блуждающего духа, так что наша сеньора, окончательно смирившись с тем, что не миновать ей смерти, и вся охваченная смертельным томлением, поднялась с места, но едва успела сделать несколько робких шагов, как увидела в падавшем сквозь толстые решетки лунном свете связанного по рукам и ногам окровавленного человека, старавшегося подползти к дверям. Тут сознание оставило нашу даму, и она без чувств упала на пол; когда же, очнувшись от тяжелого забытья, увидела, что связанный незнакомец сжимает ее в своих объятиях, попыталась было вырваться, но, взглянув в залитое кровью лицо, тут же с душевной болью узнала в нем своего благородного и злополучного возлюбленного, с каковым Фортуна обошлась не менее жестоко, так что еще до пленения доньи Хуаны он оказался в руках своих жестоких, смертельных врагов.

Ибо, как уже упоминалось, дон Лопе расстался с доньей Хуаной и отправился за лошадьми, но стоило ему вступить на одну из узких тропинок, что во множестве пересекают окрестные сады, как он столкнулся с большим отрядом всадников, которые, мгновенно узнав дона Лопе (как потому, что, предупрежденные письмом, были начеку, так и потому, что уже успели повстречаться с друзьями дона Лопе и сопровождавшим их слугой), в ярости напали на нашего кабальеро и, хоть он и защищался с отчаянным мужеством, нанесли ему столько жестоких ран, что он тут же лишился чувств, а когда пришел в себя, увидел, что находится во власти дона Педро Паломеке, который, велел связать дона Лопе по рукам и ногам, пересек город и, выехав из него со стороны моста Сан-Мартин, доставил пленника в свою усадьбу, от которой у него, как и у брата, имелись ключи; и, оставив его здесь в надежном заточении, причем даже сторож, спавший в другом месте, не заметил их приезда, вновь вернулся в город, как велел ему его брат, дон Фернандо, который, как уже упоминалось, получив в Торрехоне письмо от Лауренсии, немедленно известил находившегося в Каса-Рубьосе брата о происходящем в Толедо и предложил ему съехаться прежде, чем начать действовать; но торопясь встретиться с братом, дон Педро несколько опередил его, и, как мы видим, к счастью, поскольку герой нашей трагедии тут же оказался в его руках.

Так и случилось, что в силу неслыханного и дивного совпадения, повинувшись высшей воле, братья, не ведая, что делает каждый из них, собственной рукой замкнули в одном доме, соедини-

ли под одной крышей тех, разъединить и разлучить которых словно сговорились все небесные светила и все земные стихии.

Глава LXVII

**О том, какую кровавую месть замыслили братья,
что из этого вышло и о прочем**

Наконец, горестно обнявшись и поведав друг другу свои злоключения, наши влюбленные стали раздумывать, как выбраться им теперь из ловушки, в которую завлекла их безжалостная судьба; мы же пока вернемся к дону Фернандо, которого оставили преследующим неизвестных всадников; проскакав без малого две лиги, он задержался в некоей деревушке, где обман тотчас открылся, так как когда дон Фернандо спросил, не проезжали здесь кто-нибудь, ему ответили, что да и что это был его брат дон Педро, проехавший тут несколько часов назад в сторону Толедо; а поскольку уже почти рассвело, обуянному гневом дону Фернандо не оставалось ничего иного, как, проклиная бесплодную погоню, вернуться в город по следам своего брата. Когда же он увидел наконец мать и прочих родственников в величайшем замешательстве и унынии, причиной коего было позорное бегство сестры, то впал в такое иступление, что чуть было не лишил себя жизни.

Видя, однако, что отчаянием горю не поможешь, он вновь обратился на поиски виновника своего позора и бесчестья; в этих трудах присоединился к нему дон Педро, весьма приободрившийся после того, как услышал от брата, что случилось с доньей Хуаной, и все же куда большей

была радость дона Фернандо, когда он узнал, какая участь постигла их врага; а посему, не желая долее откладывать свою месть, велел дону Педро отвезти его туда, где он оставил дону Лопе; велико же было их изумление, когда, беседуя по дороге, они выяснили, какой допустили промах, по неведению своему оставив влюбленных вместе, но предвкушение скорого возмездия смягчило их досаду. Представьте же себе теперь, что почувствовали они в самом скором времени, какую муку претерпели, если ни неведение, ни упоение предстоящей местью уже не могло ее смягчить? Ибо, когда братья отперли двери зачарованной усадьбы, то увидели, что влюбленные их пленники растаяли словно дым, и даже следа их пребывания в доме (кроме кровавых пятен) не осталось.

Впрочем, способ, который они избрали для побега, ни для кого не составлял секрета, ибо, хотя чрезмерная страсть и способна затмить самое ясное разумение, братья, как ни желали они скрыть происшедшее, а особенно позорную его причину, не могли не признать, что упустили своих драгоценных заложников по собственному недосмотру. Теперь же открылась не только тайна любовногоговора между их сестрой и доном Лопе, но и другая, та, которую они всегда окружали стеной молчания, — тайна, о которой, если читатель помнит, мы говорили в начале этой истории, рассказывая о том, как братья Паломеке непонятным образом трижды ускользали из засады, почему их усадьба по праву называлась «Зачарованной», под каковым именем и появлялась уже в нашем повествовании.

Тайное это и дивное приспособление было так хитроумно задумано и так тонко сработано, что никто, не будучи посвящен в его устройство, не смог бы в нем разобратъся — и было оно делом

рук некоего немца-умельца, которого отец братьев, дон Родриго, щедро наградил за работу тумакими и оплеухами. На деле это был глубокий подкоп, идущий от одной из самых неприметных комнат дома и выходящий на поверхность далеко от усадьбы, среди густых кустов и каменных завалов глубокого оврага; вход же в этот подкоп был устроен и скрыт в помянутой комнате самым остроумным и необычным образом, а именно: в кирпичном полу имелась подвижная часть шириной в две трети вары¹, покоившаяся на толстой доске равного размера, сверху выложенной тем же кирпичом. Доска эта со стороны подкопа держалась двумя стержнями, поворотный механизм которых в виде двух бронзовых рукоятей был введен в комнату; вращая их, можно было с легкостью поднять доску так, что она сравнялась бы с полом, и напротив, чтобы открыть вход в подкоп, достаточно было повернуть рукояти, и доска опускалась под действием собственной тяжести.

Глава LXVIII

В которой братья Паломеке преследуют влюбленных, и о трагическом конце ревнивой Лауренсии

Ни один из благородных кабалеро в пылу чувств не подозревал, что их сестре известна тайна усадьбы, и, даже зная об этом дон Фернандо в тот момент, когда своей рукой запер ее в доме, вряд ли бы смог он предвидеть, что из этого впоследствии, тем более не догадываясь о том, что стараниями дона Педро дон Лопе тоже заперт здесь же; охваченные единым стремлением, оба брата по-

¹ Вара — мера длины, равная 83,5 см.

мышляли лишь о том, чтобы, оставив в усадьбе драгоценную добычу, тут же продолжить поиски.

Но даже сейчас они не усомнились в своем окончательном успехе; и, спустившись в подкоп, бросились в погоню, ободренные тем, что, судя по кровавому следу, который оставлял за собой дон Лопе, влюбленным далеко не уйти, как бы оно, без сомнения, и случилось, не будь милосердные небеса к ним благосклонны. Однако благосклонная воля небес, внушившая нашей даме (в минуту смертельной опасности и крайнего отчаяния) мысль воспользоваться тайным ходом, чтобы бежать из мрачной темницы, и впоследствии направляла робкие шаги влюбленных, да так удачно, что вскоре они повстречали нескольких бедных пастухов, и эти сострадательные люди почти на руках доставили их к утру в Архете — местечко, отстоящее от Толедо на добрую лигу; здесь, отблагодарив своих спасителей, влюбленные расстались с ними, сами же нашли приют у друзей дона Лопе, каковых здесь оказалось немало; однако риск был по-прежнему велик, и дону Лопе успели лишь перевязать его многочисленные раны, столь жестокие и опасные, что, казалось, жизнь в нем теплится только чудом.

Отсюда верхом и с надежными проводниками они перебрались в укрепленный замок, так что, когда их враги прибыли в Архете и поняли, что их опередили, им ничего не оставалось, как вернуться восвояси, не отступившись при этом от своих мстительных планов, первой жертвой которых стала ревнивица Лауренсия, которую они в тот же день безжалостно зарезали в своем доме. Поступок, безусловно, отвратительный и недостойный столь благородных людей, подобающий более кро-

вожадным варварам-караибам, чем рыцарям-христианам.

Братья (будучи оба людьми ветреными, чему отдал дань и их отец) полагали, что любовные интриги Лауренсии являются главной причиной их позора; и хотя во многом это было правдой, уловки, к которым вынуждена была прибегать донья Хуана, в значительной мере извиняют несчастную. Но, не пытаясь разобраться, где чья вина, бедная Лауренсия жизнью заплатила за опасность, которую навлекла на своего возлюбленного, и за письмо, в котором таилась гибель для нее самой. И все же ни одно из жестоких бесчинств, учиненных братьями Паломеке над друзьями и родственниками их врага, творимых в его обширных поместьях, прекрасных усадьбах и великолепных дворцах, не вызвали в городе такого ропота и возмущения, как этот варварский, безрассудный поступок, свершив который, братья собрали людей и артиллерию, потребную для долгой осады и, решив покончить с доном Лопе, не медля долее, выступили из Толедо.

Однако, благоразумно предвидя подобную опасность и не чувствуя себя достаточно защищенным, дон Лопе в сопровождении слуг, захватив лучшие свои драгоценности, покинул крепость, и хотя, несмотря на лечение, раны по-прежнему мучили его, двинулся на запад и шел, не останавливаясь ни днем ни ночью, пока не пересек границу Португалии, где первым делом вновь принялся за лечение, оказавшееся (ввиду большой задержки) столь длительным и чреватым столькими опасными ухудшениями, что не раз уже донья Хуана, так и не успевшая надеть вождеденный подвенечный наряд, думала, что прежде ей придется надеть вдовий. Однако вышняя воля, изба-

вившая ее от стольких опасностей, спасла ее и на сей раз; и вот настал день, когда наши влюбленные смогли вкусить от сладкого плода супружества — достойной награды за столь тяжкие испытания.

Глава LXIX

В которой дон Лопе, узнав о бедствиях, постигших за время его отсутствия его друзей и имущество, вызывает своих врагов на неслыханный поединок

В очень короткое время дела дона Лопе в Кастилии потерпели такой ущерб, так пошатнулись, и столь ужасны и чужды благородной мести были нанесенные ему оскорбления, что не подобает их здесь описывать; да и было бы несправедливо из уважения к чести тех, кому и кто их нанес, увековечивать их в печатном слове; скажу лишь, что доброе имя дона Лопе оказалось столь запятанным в глазах многих, что, будучи вынужденным вступить за него, он предоставил мирным переговорам идти своим путем, а для себя избрал тот единственный, к которому обязывал его закон рыцарства и тяжесть причиненных обид.

И вот он обратился к правившему тогда в Португалии королю дону Хуану Третьему¹, под чьим покровительством жил в стране, прося дать изволение на поединок с братьями Паломеке; и хотя в Испании стали уже понемногу забывать те дьявольские злодеяния, его высочество, вникнув в справедливость и серьезность выдвинутых причин, и по просьбе королевы доньи Каталины, благоволившей дону Лопе, дал ему сорок дней сроку,

¹ Хуан Третий — король Португалии (1521—1556).

назначив местом поединка город Эвору, где в то время пребывали наследники престола. И когда в один и тот же день в разных концах Кастильского королевства — в Толедо, а равно в Бургосе, Вальядолиде и Севилье — был оглашен вызов дон-ка Лопе, в котором он обращался к братьям в выражениях малопочтенных, предлагая биться с ними в одиночку или вместе с рыцарем, который пожелает взять его сторону, вся Испания тут же начала полниться слухами о его отваге, а город Эвора — бесчисленным людом, спешившим отовсюду взглянуть на поединок. Братья же не особо обеспокоились; напротив, полагая, что каждому из них, прими он вызов, хватит сил и отваги довести месть до конца, они тоже стали готовиться со всей тщательностью и предусмотрительностью.

В те поры, после того как дон Хуан де Падилья был разбит в столь памятной битве при Вильяларе¹ и произошло немало прочих событий, воспетых самыми серьезными авторами, в Кастилии, а особенно с появлением там непобедимейшего Карла Пятого², воцарился мир и порядок, дабы упрочить который, его величество, предвидя плачевную участь и погибель двух родовитых семейств, пожелал окончательно примирить их, устроив все так, чтобы заклятые враги вернулись из Португалии довольные и с почестями, а для того почел за благо написать об этом предмете своему шурину, королю дону Хуану, каковой, не

¹ Хуан де Падилья (1484—1521) — кастильский дворянин, возглавивший восстание комунерос (см. примеч. на с. 425). В битве при Вильяларе потерпел поражение и был обезглавлен.

² Карл Пятый (1500—1558) — император «Священной Римской империи» (1519—1556), испанский король под именем Карлос I (1516—1556).

менее к тому стремясь, попытался всеми возможными способами отговорить дону Лопе от его затей; однако, поскольку бесчестье, и без того тяжкое, стало достоянием молвы, все уговоры оказались тщетны; тогда его высочество, недовольный этим, отдал тайный приказ, чтобы ни один из его подданных (хотя многие идалго и кабальеро собирались это сделать) не посмел выступить на стороне дону Лопе, полагая, что то, к чему не вынудили нашего героя королевские просьбы, заставит сделать его теперь сила обстоятельств.

К подобному же средству прибегли и в Кастилии, что, однако, не смутило отважного дону Лопе, который, хотя и видел, что его кастильские друзья медлят, а португальские скованы нерешительностью, не пал духом и точно в назначенный день и час выехал на ристалище, чью пышность и причудливые наряды знатных дам я, чувствуя, что мое перо непривычно робеет, обойду молчанием и, заранее извиняясь в том перед читателем, приступлю к дальнейшему рассказу.

Тяжело было на сердце у прекрасной доньи Хуаны, чьи слезы, хоть она и скрывала их от мужа, подобно пению божественного Орфея, могли бы растрогать даже бесчувственный камень. Ибо не только ожидание сурового поединка приводило ее в трепет; не меньше боялась она, зная доблесть и силу своих братьев, что, не подоспей дону Лопе помощь, жизнь его может оказаться в смертельной опасности. И все же, удерживая рыдания, она сама помогала мужу надевать доспехи и, не доверяя слугам, собственными руками затягивала ремни, укрепляя в сердце дону Лопе дух неустрашимой отваги.

Глава LXX

О том, какая помощь ждала дона Лопе во время поединка и чем закончилась наша история

И вот, снаряженный нежными руками своей супруги, дон Лопе появился на ристалище, окруженный слугами, и в сопровождении нескольких португальских дворян, выехавших с ним в знак уважения к его старинному роду и прочим доблестям; не было недостатка в ярких значках и знаменах, а доспехи дона Лопе и его щит блистали на солнце ослепительным блеском.

Конь под ним был серой масти, не особо статный, но смелый и спорый в деле; и, объехав ристалище со своей свитой и друзьями, выразив почтение дамам и судьям, поскольку их величества присутствовать не пожелали, наш кабальеро выехал на середину в тот самый момент, как на поле показались его противники, которые, желая явить не только свою отвагу, но и свое могущество и богатство, казалось, собрались скорее на веселую свадьбу, чем на кровавую битву, ибо столь пышны и многоцветны были одежды их слуг, знамена и плюмажи, что тут же снискали им у всех одобрение и расположение. Щиты их, поделенные на четыре поля, соответственно золотых и лазурных, были украшены по краю насечкой, что придавало им еще большее великолепие; каурые красавцы жеребцы из Кордовы были под стать своим отважным наездникам, на чьих щитах и значках красовался славный герб их древнего дома.

Затем, когда противники разъехались, было решено немедленно начать поединок; однако мужественной натуре братьев претило сознание того, что у них есть определенное преимущество, хотя по правилам они могли биться вместе или же

прийти один другому на помощь в трудную минуту; и вот наконец, после некоторых споров, так как каждый хотел быть первым, они договорились, и дон Фернандо уже ожидал звука трубы, как вдруг на поле выехал рыцарь в боевых доспехах, и все замерли, ожидая, что произойдет далее; рыцарь же, не останавливаясь, подъехал к месту, где сидели судьи и, самым учтивым образом их приветствовав, поднял забрало и обратился к ним с такой краткой и столько же дерзкой речью:

— Понеже в некоем королевстве, пред чьим гербом простерлись в страхе почти все страны Востока, и по сию пору позорно дозволяется отказывать в помощи благородным чужеземцам, по своим великим заслугам достойным такой милости, то будет несправедливо, ежели вы, упорствуя в своем негодном обычае, откажете мне в возможности нарушить его; ибо, если пожелаете, сами убедитесь, что я прибыл сюда не только исправлять дурные обычаи, но и рискнуть своей жизнью рядом с доном Лопе Пачеко.

Негодую, выслушали судьи подобные слова; однако один из них, скрывая гнев, так отвечал незнакомцу:

— Думается мне, отважный рыцарь, что вы заблуждаетесь и плохо знаете это королевство, ибо, отрицая очевидное благородство и доблесть его подданных, отзываетесь о них неподобающим вашей учтивости и скромности образом. И ежели, с согласия дона Лопе, вы будете биться на его стороне и уцелеете, не сомневайтесь, что ваше заблуждение будет рассеяно; и тогда поймете вы, что если на сей раз такой помощи и недостало, то причиной тому было смиренное повиновение воле



нашего короля, пожелавшего усмирить раздор, а вовсе не малодушие или робость его вассалов.

— Что ж, если он пожелал усмирить его, проявив немилость, — ответил рыцарь, возвышая голос, — то, да простит мне великодушно его высочество, средство было избрано недостойное, да и дон Лопе не таков, чтобы убояться кого бы то ни было.

И, не ожидая более ответа, он надменно вскинул голову и пришпорил коня, черного, как и доспехи, вызывая изумление зрителей своей стройностью и легкостью движений, а в сердце доброго дона Лопе вселив еще большую уверенность в победе. Наш кабальеро в порыве благодарности хотел было обратиться к незнакомцу еще до того, как тот заговорил с судьями, теперь же ему помешало сделать это появление короля, каковой, узнав о рыцаре, неожиданно пришедшем на помощь дону Лопе, и решив самолично добиться того, в чем прочие средства оказались бессильны, вышел на ристалище в окружении придворной знати; увидев дона Хуана, все рыцари тут же спешились, дабы поцеловать руку его высочеству; один лишь рыцарь в черных доспехах не сделал этого, ограничившись учтивым поклоном, что было замечено всеми, как и то, что он остался в шлеме, хотя все прочие в знак уважения к царственной особе поспешили обнажить головы.

Наконец король объявил, что по настоянию императора, чья воля для него непреложна, и сам стремясь к тому же, желает, чтобы все трое кабальеро, не преступая законов рыцарства и оставаясь при этом верными вассалами, немедленно прекратили поединок; и поскольку противоречить столь высокой власти было бы явным безрассудством и безумием, дон Лопе дал на то свое согласие,

в чем поддержали его и противники; когда же было достигнуто то, что многим казалось невозможным, его высочество, видя, что неизвестный рыцарь просит позволения удалиться, не разрешил ему этого и, желая прежде узнать, кто в его владениях и наперекор его воле осмелился прийти на помощь дону Лопе, приказал ему открыться; и вот рыцарь снял шлем и вместо сурового, мужественного лица, как то можно было предположить, судя по отважному и дерзкому поведению незнакомца, всем явились ангельски прекрасные, тонкие черты, и золотые кудри нежными завитками рассыпались по вороненой стали доспехов. Едва взглянув в это лицо, дон Лопе признал свою супругу, а отважные братья Паломеке — свою врагиню сестру. Все присутствующие были немало изумлены, полагая, что им явилась вторая Афина Паллада, и как только слух об этом необычайном происшествии достиг его высочества, он поспешил прижать это нежное существо к своей благородной, царственной груди, а затем препоручил мужу и братьям, которые с благоговейным умилением восприняли такую честь; и столь глубоко тронуло и взволновало их это непредвиденное и замечательное событие, что, повинувшись голосу благородной крови, и к общему удовольствию их высочеств и всех придворных покинули площадь в согласии, забыв о прошлых обидах, после чего, всячески их обласкав и оказав им величайшие милости, король дон Хуан отправил их, веселых и довольных, обратно в Кастилию. А сам, желая увековечить пример столь удивительного мужества, велел запечатлеть донью Хуану на холсте в том виде, в каком она явилась пред ним, и повесить этот портрет в своей оружейной палате, где и по сей день кисть славного художника сохранила для нас

величественный облик прекрасного оригинала и где — ежели какому-нибудь дотошному читателю покажется, что автор нарушил меру, представив в своей истории слабую женщину в годах и на коне, — он сможет, по прочтении, воочию убедиться в ложности своих сомнений и в моей правоте.



Хуан Перес де Монтевьан

ИЗ КНИГИ «ПРОИСШЕСТВИЯ И ЧУДЕСА ЛЮБВИ»

ПРОСТОЛЮДИНКА ИЗ ПИНТО



ебо было изукрашено множеством алмазов, а планета, лстящая ночи своею красотой и пребывающая во второй из сфер, так щедро посылала земле лучи, что, казалось, солнце еще не закатилось либо восходило новое; ночь возлежала в объятиях покоя, и день, феникс, которому суждено прожить всего несколько часов, поспешал на смену своему предшественнику. В эту пору Альбанио, позабыв про небольшое стадо, которое паслось среди лакомых трав, сладкогласно сетовал на скудость своего счастья, умоляя милосердные небеса либо избавить его от честной любви, которую питал он, либо послать ему возможность наслаждаться оною. Он любил пастушку, которую небо послало ему в супруги; и вот пребывал вдали от ее

объятий, в тоске по ее очам и в разлуке с ее красо-
тою, ибо любовь наведывается и к поселянам,
и у нее в обычае жить в глуши. Присел Альбанио
на берегу ручейка, который на бегу попирал сереб-
ряными стопами золотопесчаное русло меж кустами
роз и дарил жизнь юным деревцам, а те, полагаясь
на его влагу, надеялись, что еще несколько ве-
сен — и они станут великанами. Альбанио тешил-
ся, воображая себе минуты блаженства, ибо для
того, кто любит, но не видит любви своей, думы
исполнены очарования; и вот, услаждаясь красою
цветов и играми шаловливых кристаллов, услы-
шал он голос, который жалобно и со вздохами
призывал смерть и внушал любовь даже ветрам.

Альбанио вскочил; голос этот проник ему в ду-
шу, ибо грудь его была не настолько загрубелой,
чтобы не поддаться состраданию, а сердце — не
настолько робким, чтобы подпасть под власть
страха: хоть и пастух, он был отважен, хоть и про-
столюдин, сострадателен. И последовав за бегом
серебряных струй, поспешил он туда, откуда, как
ему казалось, раздавались жалобные вопли. Он
перебрался на небольшой островок, так густо по-
росший деревьями, что свет едва находил себе
путь меж ветвей, и, вступив под безмятежную их
сень, узрел даму прекрасной наружности, каковая,
обессилев от мук недавних родов, казалось, вот-
вот расстанется с жизнью.

Альбанио подошел поближе и увидел, что нет
при ней никого, кроме сонма ее горестей да анге-
лочка, который совсем недавно ютился у нее в ло-
не, а теперь лежал в изумрудной траве, где было
ему далеко не так приятно. Пастух взял дитя на
руки и пригрел под полою бедного своего плаща,
дабы ночной холод не покусился на хрупкую
жизнь; затем, склонясь к почти бездыханной ро-

женице, он пробудил ее от краткого забытья, спросив, кто она такая, и подбодрив словами, которые были подсказаны ему мудрым милосердием и христианскою учтивостью. Разглядела дама сердобольного пастуха и возблагодарила милость небес, пославших его на помощь к ней в такой миг; и, собравшись с силами, попросила она Альбанио проводить ее до того места, откуда она пришла. Так и сделал Альбанио, и вот что поведала ему дама по дороге:

— Я вправе именовать себя красавицей, коли верно, что несчастья — верные спутники красоты. Родители мои были люди знатные, но со мною обходились весьма жестоко, ибо с самого нежного детства предназначали меня для монашества, образуя намерение это не с моею склонностью, а с моим послушанием, поскольку, как они утверждали, выбор будущего зависит не от вкусов дитяти, а от прихоти родителей. Довод этот был бы хоть куда, когда бы небо благословило подобные законы, а желания были бы одни и те же и у детей, и у родителей, в то время как желания, хоть и рождаются у всех в одном и том же вместилище, но устремляются к различным целям. Я родилась под иною звездой и сколько ни пыталась принести в жертву родительской воле свои склонности, добиться этого не смогла. То, что я помышляла о совсем иной доле, по их мнению, не было для меня оправданием, ибо казалось им, что, стоя на своем, я их оскорбляю и даже гневлю Бога, коль скоро не приемлю советов стать ему супругою; мое сопротивление приписали они легкомыслию и порешили, раз я не повинуюсь их воле, никакой воли мне ни в чем не давать.

В таких раздорах прошла самая цветущая пора моей юности, а родители не сделали ни единой

попытки ее устроить, так что не осталось у меня никаких благодарных воспоминаний; и воистину они заблуждались, ибо не замечали, что мы живем в такую пору, когда женщины лишь в том случае женщины, коли выходят замуж; и была я в отчаянии, ибо происходило все это во дни, когда взор мой уже остановился на одном кабалъеро, который заслуживал всяческой приязни по своим достоинствам, у меня же приязнь сия перешла из любви в безумие: ведь женщины знатного происхождения подвластны слабостям, как и все иные, поскольку душе не спастись от обычных страстей.

Возлюбленный мой умел хранить в тайне свои думы, не проявлять опрометчивости в решениях, был учтив со всеми, ко мне же исполнен любви, пригож по всем статьям, но тем не похвалялся, и скромн, хоть не был от рождения ни бедняком, ни несчастливцем. Времени видаться со мною было у него предовольно, ибо дни проводил он перед моим домом, ночи же — в самом доме. Чем лучше узнавала я его, тем больше любила: ведь и для благоразумнейшей из женщин небезопасно пребывать постоянно вместе с тем, кто боготворит ее — хотя бы только на словах. От родителей моих видела я гоненья, от него слышала мольбы: как тут не впасть в ветренность, если только можно назвать ветренным шаг, после коего мой избранник стал полнейшим властелином моей чести, ибо я была уверена, что будет он мне супругом. И вот в одну из ночей насладился он мною так, что любовь моя стала еще сильнее, а его обязательства — еще настоятельнее.

Отцу моего возлюбленного была родиною Саламанка, знаменитый град, столица наук и слава Кастилии. Там он жил, там собирался женить сына на одной родственнице: ведь родители мнят

удачным лишь тот брак, который свершается по их воле. Супруг мой отделялся отговорками и ради меня всячески оттягивал поездку домой.

Случилось так, что родитель мой за свою ученость и постоянные труды удостоился от государя назначения в Гранаду, каковое считается почетнейшей наградой, уступающей разве что местам в столице. Он принял свое возвышение как дар судьбы и начал готовиться к отъезду. Мой же супруг не мог свершить то, чего желал, ибо отец его стал требовать, чтобы он возвратился домой и стал готовиться ко браку с дамой, о которой так часто шла речь в письмах. Я также не могла ни на что решиться, ибо родители мои были столь крутого нрава и столь неблагоприятно внимали моим речам, особливо же тем, которые касались замужества, что, вполне возможно, они лишили бы меня жизни, когда б узнали, что я по своей воле устремила помыслы не к монашескому облачению и келье. Всего же более удручало меня то, что обнаружила я у себя некие признаки беременности. Я горько оплакивала свое несчастье и тысячу раз готова была наложить на себя руки; думаю, что осталась в живых лишь ради того, чтобы в живых остались супруг мой, который боготворит меня, и этот ангелок, которого я еще почти не знаю, хоть и стоит он мне бесконечных мук.

Я тянула с отъездом, сколько могла, притворяясь, будто стражду другими женскими недугами; лекарю же открыла всю правду, дабы он помог моему притворству и, лежа в постели, я могла бы скрыть то, что иначе скрыть было бы нелегко. Но отец мой мало пекся о моем благе, а нездоровье мое удручало его и того меньше, и о моем состоянии судил он по моему лицу, а не пульсу; по сей причине приписал мое недомогание не болезни,

а дамской прихоти, и распорядился об отъезде. Мне едва хватило времени проститься с моим властелином в коротком письмеце, в котором я не столько словами, сколько следами слез поведала ему о моих горестях, моем печальном отъезде, мимолетности моего счастья и опасностях, меня подстерегающих. И вот по воле отца моего нынче в полдень покинули мы столицу, где оставила я ни много ни мало как свободу и радость. Со своим возлюбленным простилась я очами и сумела ими сказать ему многое, если пожелал он понять меня.

К ночи добрались мы до Пинто: хоть место это не совсем по пути нам, но нужно было отдать кое-какие распоряжения касательно поместья, которое здесь у нас есть; и едва забылись первым сном мои домашние, как я ощутила боль, которая вначале показалась мне слабее, чем была на самом деле, потому что мучила меня другая боль, омрачавшая душу. Однако же новая моя боль усиливалась, и я отчетливо поняла, что это верное предвестие родов. И вот оставила я в своей кровати одну служанку, знавшую о моем прегрешении, — на тот случай, если проснутся родители; а сама, одна-одинешенька, в смятении и в горе, ушла в эти поля; и здесь, в поросшем цветами укромном уголке, который, как видно, небо сотворило, дабы лучше скрыть от света мой грех, здесь, где помощь находила я лишь у дерева, за ствол коего держалась, а отдых — находила лишь в собственных вздохах, силу же придавала мне необходимость, я, истекая пурпуром, произвела на свет сей плод моего лона. И когда была я от потери крови почти в объятиях смерти, появился ты, милосердный и сострадательный, дабы спасти две жизни и, более того, дабы при твоей поддержке смогла я скрыть от света урон, который потерпела моя честь, так

что я смогу вернуться туда, откуда пришла, если только хватит малых моих сил; и пусть отнимут у меня жизнь мои несчастья, а не бесславие и не ущерб, нанесенный моему доброму имени.

Альбанио слушал все это с той же скорбью, с какою повествовала сама рассказчица, ибо несчастья, слезы и женщина растрогают даже камень. Дама спросила пастуха, как зовется он и где живет; и, достав кошелек с несколькими эскудо, вручила ему, попросив, чтобы взял он на себя попечение о прелестном дитятке, она же уведомит обо всем супруга, дабы тот постоянно и своевременно поспешествовал воспитанию ангелочка. Пастух пообещал, что исполнит ее повеления с величайшей неукоснительностью, и, проводив ее до усадьбы, которую назвала она своею, расстался с ней; был он изумлен диковинностью случая, и особенно великим мужеством, которое выказала эта дама, оказавшись совсем одна и в столь заведомой опасности; но чего не свершит женщина, дабы сокрыть свое прегрешение? Разве не содеет она невозможного, дабы сокрыть свое бесчестие?

Вернувшись в бедный свой дом, пастух поведал супруге о случившемся и, верно, дал бы повод к приступу злокозненной ревности, когда бы истинности слов его не подтвердило золото, им принесенное, ибо оно во всех случаях склоняет слух к вере. Женщина вспомнила, что одна из их соседок за несколько дней до того разрешилась от бремени так несчастливо, что сын, дарованный ей небом, едва успел появиться на свет, как тут же приумножил сонм ангельский; и муж с женою договорились с соседкой, что та попробует выкормить красавицу девочку, невинность и прелесть коей были таковы, что само небо возжаждало бы обрести подобного херувима. Оставив дитяtko на

попечении кормилицы, Альбанио и жена его на другой же день поспешили купить все потребное для того, чтобы содержать дитя в опрятности.

Отец девочки, оказавшись вдали от очей своей обожаемой повелительницы, вернулся в Саламанку и, узнав из писем со всей достоверностью о событиях той ночи, отписал Альбанио, послав пастуху весьма солидный дар признательности за его радение. И хотя из-за одного несчастья, приключившегося с этим кабальеро, пришлось ему отбыть в Италию, он успел препоручить сии заботы одному своему другу, каковой проявлял такую щедрость, что через несколько лет стал жить Альбанио в довольстве и достатке, наслаждаясь безмятежной жизнью.

Сильвия, так звали мнимую крестьянку, подросла, и едва достигла она брачного возраста, как все лучшие юноши из тех мест повлюблялись в нее и стали домогаться ее руки. Она была так белолика, что снег при виде ее усомнился бы в собственной белизне; кудри достойны были украшать главу бога солнца и ниспадали до самой земли, словно чистое золото жаждало вернуться в ее недра; глаза у Сильвии были веселые и, при всей черноте, смотрели столь самовластно, что, подобно истинным сеньорам, редко платили свои долги; ланиты не нуждались в прикрасах, ибо розы их были самые естественные, так что ланиты являли смесь алебастра с пурпуром либо же серебра с гвоздиками; уста были словно малая рана, и алые, как кровь, живили блеск жемчужин-зубов; длани же были словно две лилеи: они не захотели быть снегом, дабы не сделаться жертвами дерзостного солнца.

Нрава была она приветливого и открытого, хотя благородное происхождение подсказывало ей

такие мысли, что она сама дивилась тому, как может под столь смиренную одежду таиться столь возвышенная душа. В тех местах нередко проезжали кабальеро, и девушке нравилась рыцарственность их манер и осанки — не по ветрености, а потому, что сердце невинтно вещало ей о том, что и она благородного происхождения, ибо помыслы обычно передаются по наследству вместе с кровью.

И вот как-то летним вечером, когда Сильвия наслаждалась свежестью ветерка, который черпал благоухание у нее в устах, дабы подарить его цветам, мимо проезжал в сопровождении друзей и слуг один кабальеро из Мадрида по имени дон Дьего Осорио. Узрел он божество, каковое и среди грубых стен повелевало умами так, что нельзя было не заметить его небесного сияния; проехал он мимо и хоть тысячу раз хотел вернуться обратно, пересилил себя, ибо ему показалось малодушием сдаться на милость простолюдинки, словно алмаз теряет цену, если оправлен в свинец либо оказался среди поддельных самоцветов. Сила воли на время помогла ему одолеть влечение, и он прибыл в Аранхуэс, где справился со своими делами гораздо быстрее, чем предполагал, ибо его тянуло вернуться в Мадрид, а то и остаться в Пинто: для человека столица там, где его утеха. Добравшись до Пинто, он решил еще раз взглянуть на Сильвию, дабы друзья могли судить, есть ли ему оправдание. Они расспросили одного честного земледельца, каковой почел себя счастливым при возможности оказать им услугу, и, узнав от него, что Сильвия сейчас пребывает в одном саду вместе с подругами, все вместе отправились поглядеть на нее.

Сильвия вышла из сада, когда солнце уже лишило день своих милостей и настал темный

вечер. Дон Дьего приветствовал Сильвию почтительно, как того требовала ее скромность, и поскольку тьма придавала ему духу, осмелился высказать ей отчасти свою печаль. Но хоть Сильвии и были по сердцу люди с такой осанкой, как у дона Дьего, она не захотела ответить, боясь показаться если не ветреной, то, по меньшей мере, развязной: ведь при неравенстве собеседников беседа кажется чем-то постыдным, ибо не может быть ни намерения, которое ее оправдывало бы, ни честной цели, которая делала бы ее достойной доверия. Сильвия ушла, не обернувшись, дабы не погрешить против скромности и не дать повода к злорадству многочисленным завистницам, которые, зная о чрезмерной ее суровости, хотели бы, чтобы она оступилась и тем самым показала, что властвует над своей волей не в большей степени, чем они сами.

Дон Дьего остался доволен тем, что узрел ту, кого хотел узреть, но при этом не очень-то верил, что преуспеет; однако ж ему подумалось, что ее холодность говорит не о презрении к нему, а лишь о ее стыдливости, и он решил проверить, не окажется ли она милостивее при меньшем числе свидетелей. И вот в полночь явился он к дому Сильвии с музыкальными инструментами, которые раздобыл, побуждаемый влюбленностью, и под аккомпанемент двух слуг-музыкантов спел ниже следующий романс, в коем восхвалял, среди прочих совершенств лика Сильвии, прекрасные ее уста, а красота их была такова, что одних только уст было довольно, чтобы пленять сердца, — незачем даже было глядеть ей в очи:

Пара лепестков гвоздики,
Перлы в алости коралла,
Сладкая угроза жизни,
Яркость раковинки малой,

Нежные врата дыханья,
Благовонного, как амбра,
И пленяющего ветер
Благом ласкового дара,

Кладезь прихотей прелестных,
Родственный самой багрянке
Багрецом, живым и чистым,
Словно кровь на свежей ранке,

Коль сравнили б тирский пурпур
С тем, что жемчугу оправой,
В страхе он поблек бы с горя,
Со своей расставшись славой.

Малая тюрьма желаний,
Лучшая утеха взгляда,
Смерть, сокрытая в кармине,
Коль возможна смерть-улада.

Безграничное всевластье
Сладостного совершенства,
Что в стыдливости безмолвной
Дарит робость и блаженство.

Роза, что в сердечке скрывает
Снег, не тающий и млечный,
И цветет цветам на зависть,
Словно май сужден ей вечный;

Красоты самой эмблема,
Коль пою тебе хваленья,
Разомкнись, молю, и молви,
Примешь ли мое служенье.

Но напрасны все старанья,
Я ваш раб, так пощадите!
Лишь одно о вас я знаю:
Смерти вы моей хотите.

Услышала Сильвия романс и поняла, что поет тот самый кабальеро, который говорил с нею вечером; ей хотелось открыть окно, чтоб не показаться

простолюдинкой по незнанию законов учтивости, но она боялась, вдруг кто-нибудь увидит да потом расскажет больше, чем видел. Ей пришлось по сердцу и обличье дона Дьего, и учтивость его, и разумение, и мнилось ей, что она склонилась бы к мольбам человека с такими достоинствами, если бы он того заслужил; но, вспомнив о скромном своем происхождении, она изгнала эти помыслы и предала забвению, хоть и не так быстро, часы, отнятые певцом у сна.

Дон Дьего убедился в своем несчастье, ибо Сильвия в ответ на восхваленья не выказала ему признательности. На постоянный двор он возвратился куда более растревоженный, чем можно было ожидать от его здравомыслия; пытался он изобрести какую-нибудь хитрость, чтобы победить презрение Сильвии, и не мог ничего придумать: ведь останься он в Пинто, все тотчас же сочли бы его любовником Сильвии, и вместо того чтобы завоевать ее приязнь, он нанес бы ей оскорбление: в небольшом местечке тайны такого рода сохранить трудно, а женщина сдается своему обожателю лишь тогда, когда уверена, что одно только небо знает о ее прегрешении, но когда ей ведомо, что помыслы обожателя общеизвестны, она и не думает доказывать ему свою признательность, ибо не хочет давать повод к пересудам толпе, которая только и дожидается, чтобы она оступилась, дабы всласть позлословить на ее счет. Чтобы обо всем позабыть, лучше всего было бы возвратиться в Мадрид, но этого не позволяла ни любовь дона Дьего, ни красота Сильвии.

В такое отчаяние и растерянность пришел влюбленный кабальеро от этих раздумий, что вообразилось ему: а вдруг, сменив наряд, он больше придется Сильвии по нраву, ведь, может статься,

причиной ее холодности не облик его, а разница в положении; когда надежда не подкрепляется равенством, она неохотно отворяет врата признательности. И подумалось ему, что если узрит его Сильвия не в пышных до безумия одеждах, а в скромном суконном платье, то полюбит хотя бы за то, что он ей ровня. С этой мыслью дон Дьего уснул, решив любимым способом разрешить задачу. Утром призвал он хозяина дома и, поведав ему о великой своей любви и о том, сколь мало надежд оставляет ему суровость Сильвии, рассказал, как замыслил завоевать ее сердце, и не преминул заметить, что если добьется ее расположения, то в долгу не останется. Говорил он это с таким пылом и с такими непритворными вздохами, что старик, обнадеженный его обещанием и растроганный его горестями, посулил со своей стороны сделать все, что в его силах. Он рассказал дону Дьего, что был у него сын, который, едва достигнув весны своих лет, покинул отечество, и с тех пор нет от него никаких вестей; так он-де пустит слух, что сын воротился, и тогда дон Дьего наверняка сможет домогаться блаженной цели.

Дон Дьего бесчисленное множество раз заключил старика в объятия, благодаря за милость, и, уведомив своих спутников о предстоящей метаморфозе, отбыл в Мадрид, дабы подготовить все, что нужно. Запасся он платьем, щегольским, хоть и простонародным, сменил имя, назвавшись Карденио, и однажды поздно вечером прибыл в дом своего нового отца. Тот распустил по всему Пинто слух о неожиданном приезде сына, и все без конца поздравляли старика, видя, что сын этот, избавив отца от всех забот воспитания, вернулся таким повзрослевшим и похорошевшим.

Карденио завел знакомство с лучшими из жителей Пинто; и так как был он весьма сведущ в законах учтивости и столь пригож при всей скромности своего платья, все ему завидовали, и он расположил к себе все сердца. Жилось ему весело, и был он доволен своей удачей, потому что и в самом деле мог в любое время глядеть на Сильвию. Он служил ей со всей скромностью, следил за каждым ее шагом и на правах вновь прибывшего несколько раз навестил, а потому охотники соваться в чужие дела, которых в любом месте предовольно, стали поговаривать о том, что Карденио в Сильвию влюблен: ведь глаза любящих — плохие притворщики, да к тому же, куда бы Сильвия ни шла, Карденио следовал за нею по пятам, словно тень; она же была само сияние.

Сильвия тоже все это заметила, и притом с некоторым беспокойством: не потому, чтобы ей было внове, что в нее влюблены, но потому, что никто еще так не заслуживал взаимности. Сильвия была скромна и рассудительна, а потому могла оценить привлекательность и ум своего нового поклонника. Он казался ей человеком достойным, ибо достоинства, представляющиеся таковыми в воображении, не могут не нравиться. И вот она постепенно стала забывать о природной своей суровости и давать волю сердцу, ибо если еще не любила, то хотя бы чувствовала признательность, а признательность, в сущности, то же, что любовь, ибо тот, кто начинает с признательности, не кончает презрением. Сильвия стала размышлять о том, что она — ровня Карденио, любима им, и ей завидует немало девушек, от которых она слышит похвалы ему; ей подумалось, что было бы дурно обижать того, кто ее любит. При множестве ее обожателей ей не раз представлялась возможность

прийти к этому выводу, но женщина никогда не сочувствует чужим страданиям, покуда сама не изведает душевных тревог.

Итак, Сильвия любила и любя сострадала. И вот однажды вечером, когда она, одна-одинешенька, перебирала в думах все эти заботы, зашел к ней ее старик отец (ибо до той поры она почитала Альбанио отцом). Он проведал, что на Сильвию заглядываются и Карденио, и многие другие, и опасался, как бы не совершила она какого-нибудь безрассудства, несовместимого с благородством ее происхождения. Дабы предостеречь Сильвию от подобной опасности, он рассказал ей всю правду о ее рождении, показал кое-какие из писем и предупредил, что положение ее может измениться со дня на день, когда она меньше всего того ожидает, так что пусть ведет себя поосмотрительней, ибо коли совершит она нечто неподобающее, то винить будут не ее, а его, Альбанио, что не позаботился защитить ее; и раз уж она от рождения одарена и умом, и красотою, а главное, выказывает природную добродетель, он умоляет ее никогда не забывать, какую кровь она унаследовала, и в отплату за любовь, которую он к ней питает, не отдавать сердца ни одному из тех, кто по неразумию ее домогается, ибо никто из них ее недостоин.

С величайшим вниманием выслушала Сильвия правдивые слова Альбанио и тайну своего рождения и, пообещав следовать его советам, постаралась развеять его подозрения, но сама при этом была и смущена, и разочарована. Вспомнился ей Карденио, и когда поняла она, что не суждено ей принадлежать ему, пожалела о потере; но при мысли о том, что любить его значит гневить Альбанио и наносить оскорбление своей крови, реши-

ла, хоть и без большей радости, позабыть об этом проблеске влечения и дожидаться дня, когда сердечная ее склонность не будет противоречить ее положению.

Однажды под вечер Карденио, поклонявшийся стенам жилища Сильвии, увидел, что она в одиночестве выходит из дому; Сильвия направилась к прекрасному приветному лугу, то ли чтобы отвлечься от какой-то заботы, то ли чтобы скоротать долгий вечер, такой безмятежный в эту майскую пору. Он направился туда же, хоть и другим путем, чтобы встреча показалась случайностью, венчающей его желания, а не проявлением пронырливого любопытства. Диана в наряде поселанки вышла на луг; сидя среди неприхотливых цветов естественного сада, который без забот взрастила природа с помощью ручейка, протекавшего по соседству, и, как положено соседу, ворчливого, она дивилась тому, что, ей на горе, поведал в тот вечер Альбанио, и размышляла о том, как неудачлива: ведь когда могла она отдать сердце кабальеро, который и любил ее, и был бы ее достоин, ей помешало сознание того, что она не под стать его достоинствам, а теперь, когда ей нравится Карденио, ровня ей и заслуживающий ответного внимания, ей стало помехой то, что узнала она о своем происхождении. Карденио, увидев, что Сильвия всецело занята собственными мыслями и не замечает его, решил поведать ей о своих чувствах так, чтобы она узнала о них как бы помимо его воли; и притворившись, что не видит ее, Карденио превозмог смятение и запел сладостно и влюбленно:

Радостный пришел я, рощи,
Незачем пускать слезу мне:
Коли неразумным счастье,
Не бывал я неразумней.

Расскажу вам, чем я счастлив,
Не таюсь, не лицемерю:
Так я с горестями сжился,
Что сейчас себе не верю.

Я горю любовью, рощи,
И душой влекусь к богине,
Так что уж за самый выбор
Мудрым слыть могу отныне.

Вам ведь Сильвия знакома:
Очи — что два черных солнца,
И подвластны им навеки
Все, кого их взор коснется.

Украшенье сей долины!
Ей дано от неба право
Смертию карать влюбленных,
И умру я первым, право!

Сильвию увидев, рощи,
Вы шепнете сладкогласно:
«Как прекрасна дева эта!
У Карденьо вкус прекрасный!»

Осиянный взором дивным,
Все ж плачу сомненьям дань я.
Вправе ль я поверить в милость,
Если взор всегда — сиянье?

Мне от Сильвии погибель:
Коль взгляну, в огне сгораю,
Но любви своей в угоду
Я гляжу — и умираю.

И ревную, и жалею
Тех, кто встречи с нею жаждут:
Сам влюблен, вот и ревную,
А жалею, ибо страждут.

Коль решусь пред ней предстать я,
И смущаюсь, и краснею:
Я люблю — и полн почтения,
Дерзость неуместна с нею.

Знаю, роши: недостоин
Я небесного созданья.
Рад любить я безответно,
Мне б дожидаться состраданья.

Роши, я правдив во всем,
Исцелить меня спешите:
Ей мое внушите чувство
Иль меня любви лишите.

Влюбленный Карденио спел романс с таким чувством, что Сильвия призадумалась; и решила она отложить возвращение домой, дабы побеседовать с певцом и сочинителем. Карденио вышел ей навстречу, причем сделал вид, что удивился, застав ее здесь, и Сильвия ощутила страх при мысли об опасности, которою грозит ее сердечная склонность. Карденио показался ей еще привлекательнее, ибо теперь, глядя на него, она сознавала, что он не для нее.

Сильвия осведомилась, не он ли только что так сладкозвучно поведал рошам свои печали. Она и без того знала, кто был певец, ведь певец назвал свое имя; но чувства ее были уже таковы, что она повторила бы вопрос сотню раз, лишь бы один раз услышать снова его голос.

Карденио признался, что он и был певцом, хоть и несчастливый. Сильвия хотела было уйти, чтоб не слышать слов, от которых могли бы задретаться ее ланиты, и она в еще большей степени утратила бы власть над собой. Карденио остановил ее без большого труда и, промолвив, что сочтет свою любовь вознагражденной, если Сильвия выслушает хоть часть правды о его чувствах, обратился к ней с такими словами:

— Сильвия, когда бы я думал, что своей любовью могу нанести оскорбление твоему доброму

имени либо твоим склонностям, видит Бог, я лишил бы себя жизни, жалкой уже потому, что ты не приемлешь ее в дар, дабы, лишив себя жизни, лишиться тебя повода гневаться. Но я знаю твердо, что любовь мужчины, когда она не в ущерб женской чести, не может быть оскорблением, а потому я решаюсь высказать до конца свои мысли, ибо здесь мою тайну подслушают одни лишь деревья, а это — друзья, которые не проговорятся. Видишь, я тут пел или плакался, ведь влюбленным свойственно и то и другое. По-моему, ты меня слышала; если так оно и есть, не досадуй: коль скоро я терплю муки от сознания, что люблю безответно, ты можешь стерпеть удовольствие от сознания, что любима. Моя Сильвия, я не прошу взаимности, молю об одном — не гневайся, что я люблю тебя. Любовь моя так горда своим бескорыстием, что я едва осмеливаюсь желать тебя, ибо полагаю, что любовь, которая не дает воли объятиям, если не самая упоительная, то хотя бы самая совершенная.

Сильвия была уже настолько растрогана речами Карденио, что не очень-то доверяла собственной неприступности и не могла заставить себя уйти. Но она преодолела себя, проявив силу духа, достойную женщины знатного происхождения, и отвечала ему с такой суровостью, что ответ ее прозвучал жесточе, чем слова ненависти.

Сильвия удалилась, оплакивая то, что утратила, спеша подальше от того, к кому влекли ее желания; теперь она сожалела, что знает правду о своем рождении, благородном, но несчастливом.

— О Карденио! — говорила она, идя своей дорогою и временами устремляя взоры н а з а д . — Когда бы могла я ответить тебе взаимностью, не опорочив благородства своей крови! Когда бы

могла я вымолить для тебя у неба знатность, которой тебе не хватает, дабы вверить тебе любовь, которой у меня в избытке!

Так шла она и сетовала, сострадав Карденио настолько, что готова была поступиться стыдливостью и вернуться, дабы утешить того, кто остался на лугу и чувствовал, что любовь его усилилась, хоть надежда и ослабела. Карденио решил не следовать за Сильвией, дабы не гневить ее, ибо полагал, что она и в самом деле оскорбилась. Он был скромн, ибо не верил в себя, а поскольку любил, страшился, а поскольку страшился, не усомнился в суровости Сильвии. Теперь он снова убедился в собственной неудачливости, ибо, будучи кабальеро, оскорбил Сильвию, а будучи простолюдином, разгневал ее. Хотел бы он, чтобы в его власти было отделаться от благородной крови, унаследованной от рождения, ибо тогда он был бы свободнее и мог бы просить ее в жены. Пытаясь утешиться, он дал волю очам, и взгляд его остановился на одном из дерев, которое было настолько обделено матерью-весной, что стояло оголенное и безлистое, словно испытало на себе свирепость декабря. Показалось Карденио, что обрел он слушателя, коему может поведать и рассказать о своих печалях, как товарищу по несчастью; и на зависть певчим птицам спел он вот что:

Дубок, в молодые годы
Лишился ты упований,
Был горек твой опыт ранний
По воле самой природы,
Но благом сочти невзгоды:
Был жребий твой предрешен,
А путь уже завершен,
Несчастный же не страшится
После того, как свершится
То, чем он был утрашен.

Ты — зеркало бед моих:
Я тоже надежд лишился,
Хотя, глупец, не страшился,
Что ныне утрачу их;
А ты, безлистый, притих
По воле весны прекрасной:
Она могла б тебе дать
И силы, и благодать,
Но дева она — напрасно
От женщин благ ожидать.

Скорбишь о доле своей,
И я скорблю о себе:
Угодно было судьбе,
Чтоб оба мы в беге дней,
Утратив надежду, с ней
Утратили жизнь свою:
И ты был молод, как я,
Ждал столько ж от бытия;
Ты плачешь, я слезы лью,
Погиб ты, и гибну я.

Наступила ночь, и Сильвия стала ждать Карденио. Она не отходила от окна; Карденио же, вернувшись, заперся у себя в комнате, сбросил грубую одежду, облекся в лучшие наряды, какие привез с собой на всякий случай, и когда все предалось ночному покою, вышел из своего дома и направился к дому своей бесчувственной Сильвии; а та, разгоряченная и вешней жарой, и вечерней беседой, не могла уснуть и найти во сне избавление от сладостной тоски.

Карденио приблизился к ее окну, собираясь еще раз проверить, не улучшит ли он свою судьбу, сменив одежду. Сильвия его заметила; она увидела, что он остановился и знаками просит ее выйти, чтобы продолжить беседу. Посоветовавшись с собственной скромностью, Сильвия собралась было затворить окно и тем самым выполнить обязатель-

ство перед самую собой; но не успела она это сделать, как молвил ей Карденио, что просит ее всего лишь выслушать два слова, невеликая это потеря с ее стороны и незачем по этому поводу выказывать такую жестокость; и, воспользовавшись благоприятным случаем, он продолжал так:

— Сеньора, я — кабальеро; проезжая через Пинто, узрел я вашу божественную красу. Когда бы угодно было Господу, чтобы родился я лишенным зрения, дабы избавить меня от мук, что терплю из-за вас! Узрел я вас себе на горе, ибо горе тому, кто любит, зная, что любовь эта безответна. Увидев вас снова, я однажды ночью поведал вам о своей печали, но нашел у вас во взоре так мало благосклонности, что вы лишь по рассеянности им меня дарили. Попытался я в столице избавиться от влечения к вам и преуспел бы, не будь вы столь прекрасны. Видя, что мне вас не забыть, я решил вернуться, дабы узнать: быть может, вам придется по душе, если я буду служить вам своей любовью с еще большим рвением, и вы подадите мне хоть немного надежды — даже не на то, что меня полюбите, но хотя бы на то, что будете мне признательны за столь благородное влечение. Хотел бы я услышать из ваших уст эту горькую правду; хоть она и противоположна тому, чего я желал бы, мне будет хотя бы тот прок, что я уверюсь в одном: мне на роду написано быть вашим, но мне не заслужить того, чтобы вы стали моей.

Выслушала Сильвия эти слова, но слушала она лишь для того, чтобы проверить, не помогут ли они ей позабыть Карденио, а совсем не потому, что ее растрогали печали какого-то кабальеро. Ведь любящим приятны лишь речи тех, кто владеет их сердцем; Сильвия вспоминала о том, кто был ее

властелином, и ей не по нраву было все то, что она только что услышала.

О, сила страсти того, кто любит искренне! Ведь в тот вечер с Сильвией говорил Карденио, и он же говорит с нею сейчас! Вечером он предстал пред нею в обличии простолюдина, сейчас — в обличии кабадьеро. Душой и разумом он тот же самый, даже еще привлекательней, ибо наряд его больше соответствует наклонностям Сильвии; как же могло случиться, что сейчас ей не по нраву тот, кто совсем недавно так нравился? Причуды любовного влечения, ведь любящим все, что скажут или совершат любимые, представляется искусным и разумным; у любимого человека все привлекательно: если суждение его ошибочно, оно метко, если глупо — остроумно, если невежественно — забавно. За примером недалеко ходить: Сильвия была до такой степени без ума от своего Карденио, что хоть говорил с нею он самый, но поскольку она принимала его за другого, то речи его казались ей оскорбительны; а потому она со всей решительностью отвечала своему собеседнику, чтоб не трудился понапрасну, и не только потому, что она ему неровня, но прежде всего потому, что в небольших местечках злопыхателей всегда хватает и с избытком: какую бы малость ни приметили, все припишут ветренности; но главное, что мешает ей ответить ему взаимностью, — то, что она питает сердечную склонность к другому, и для еще одной склонности у ней в сердце места нет, ибо она любит, а честное сердце признает с охотою власть лишь одного, и разделить его меж несколькими значит не отдать никому; по сей причине пусть простит он ее и пусть постарается, если и впрямь любит, не появляться в третий раз там, где она

могла бы его увидеть, а все прочие — приметить. И, попрощавшись, Сильвия затворила окно.

Карденио, расставшись с надеждами, которыми обольстило его недолгое счастье, весьма опечалился тому, что узнал себе на горе и что сулило ему погибель. Оказалось, его любовь к Сильвии не только безответна, но, как услышал он от нее самой, Сильвия испытывает сердечное влечение, однако же не к нему, ибо с ним обходится так сурово. И словно в бедах его виновато было платье, он изорвал его в клочья — за то, что наряд этот был свидетелем нанесенных ему обид, и за то, что доставил ему одни лишь мучительные разочарования. Он проклинал судьбу и молил небеса отнять у него жизнь: хоть Сильвия и убила его, но так изошренно, что он остался жить для страданий и умер для надежд. Теперь видел он, что не осталось никаких способов расположить ее к себе: не пробуждают в ней ответного чувства ни мольбы, ибо она не из благородных, ни изящные хвалы, ибо она гордится своей черствостью, ни нарядное платье, ибо она груба от рождения, ни простонародная одежда, ибо она высокомерна; и любовью от нее ничего не добьешься, ибо сердечное ее влечение отдано другому.

И тут вспомнил Карденио, как часто ревность творит чудеса с самыми равнодушными из женщин: ведь женское обыкновение — отвечать на любовь небрежением и любовью на ненависть. И решил Карденио добиться расположения Сильвии обидами, раз уж не удалось завоевать ее правдивым речами, а также вызнать, кто же этот счастливый земледелец, заслуживший ее любовь. А ведь любила она только его, так что ревновал он к самому себе.

С такою целью положил он себе выказывать прилюдно нежность к одной крестьянке, обладательнице изрядной внешности, немалого богатства и приятного нрава. Она тщеславилась искусством вести беседу и, послушав беседы Карденио, пленилась его искусством: всякий раз, когда представлялся ей случай поговорить с ним, она давала понять, что не слишком его ненавидит. Карденио стал вести себя как ее поклонник, а она чувствовала себя счастливницей при мысли, что удостоилась его внимания. Он писал ей тонко, хоть и лживо, она отвечала словоохотливо, хоть и искренне.

А Сильвия в эту пору, забыв о своей неприступности, уже любила его так истинно, что платилась собственным здоровьем. Теперь, когда она знала о своем происхождении, ей было обиднее пятнать себя неравным браком; когда же глядела она на Карденио, ей жизнь была не в жизнь без его объятий; и она не отваживалась дать волю чувству, но не могла заставить себя разлюбить его. И вот, когда прекрасная Сильвия пребывала в таком состоянии, дошли до ее ушей слухи о новой привязанности изменчивого поклонника и застали ее в такой готовности к любой беде, что еще слава Богу, коль ревность не довела ее до могилы. Хотела она покарать свою любовь и преобразить ее в ненависть, но не смогла, ибо мы вольны любить, но не разлюбить. Хотела она при встрече с ним выказать свою обиду, но не осмеливалась, ибо опасалась, что поставит под угрозу свое достоинство в том случае, если любит он другую. В конце концов она рассудила, что самое лучшее — умалчивать о своих чувствах, хотя сносить муки ревности, не подавая голоса, — жесточайшее самоистязание.

Как-то под вечер свежий ветерок пригласил ее выйти на прогулку и оказать честь окрестным полям; одна-одинешенька, поверяла она одиночеству свои печали и тревоги, а думы свои — певчим птахам: уж коль тщеславятся они своей говорливостью, пусть поведают Карденио о ее муках. И тут взгляд ее упал на подножие красивого холмика, как бы венчавшего этот дол, и увидела она, что трое мужчин коварным образом посягают на жизнь одного, а тот отважно отбивается. Собравшись с духом, устремилась Сильвия к ним, дабы мольбами и красотой предотвратить жестокий конец, который предвещали столь безрассудные деяния; но как ни спешила она исполнить свое милосердное намерение, подоспела поздно, ибо противники храброго юноши, хоть и тяжело раненные, уже обратились в бегство, его же оставили, как ей показалось, убитым либо на краю могилы.

Подбежав, Сильвия увидела несчастного юношу: он лежал в объятиях красивой девушки, истекая кровью, и, казалось, был при смерти. Сильвия не успела спросить о причине трагедии, как узнала в девушке ту, которая вызвала ее ревность; обратив же взгляд к тому, кто пролил столько крови, она узнала ни больше ни меньше как своего неверного возлюбленного, своего лживого Карденио, своего неблагодарного поклонника.

Сильвия предпочла бы, чтобы сила скорби, внушенной ей этим зрелищем, убила ее на месте, лишь бы не терзаться ревностью. Она спросила у врагини своего покоя, как случилось это несчастье. Та, в слезах и в смятении, рассказала, что однажды, когда Карденио, которого любит она беспредельно, прогуливался с нею под сенью сих дерев, с ним повздорил один селянин, более отли-

чавшийся могуществом, нежели благородством происхождения, завидовавший удаче Карденио и ревновавший его к рассказчице; и поскольку селянин этот считал нелепостью терпеть, чтобы человек скромного происхождения и вновь прибывший всех обошел и снискал ее любовь в ущерб ему самому, то нынче, приметив, что они с Карденио отправились на прогулку, тайком последовал за ними, и когда они думать не думали о подобном коварстве, напал на Карденио вместе с двумя сотоварищами, явившимися вместе с ним. И хотя она пыталась заслонить Карденио своим телом, дабы защитить от их жестокости, они оставили его в том состоянии, в коем видит его Сильвия у нее в объятиях.

Сильвия сумела скрыть — не то чувство, которое разрывало ей сердце, но ревность, которая сжигала ей душу; и попросила соперницу вернуться не мешкая в селение и повестить о случившемся, дабы раненому оказали помощь.

Оставшись одна, Сильвия оказалась во власти тысячи дум, ибо, обрета столь явные подтверждения ревнивых своих подозрений, она желала смерти тому, кто был для нее самою жизнью, а с другой стороны, сознавая, что боготворит его, созерцала его страдания в тревоге; и любовь, смягчавшая ей сердце, пересиливала ревность, вызывавшую у нее гнев. Карденио поднял глаза и, узнав Сильвию, удивился отсутствию той, кто была причиной сей трагедии; и он почти обрадовался жестокости своих недругов, ибо ему подумалось, что Сильвия хотя бы из сострадания откажется от своей холодности. Но когда вспоминал он, что сердце Сильвии уже занято кем-то, чье имя держит она в тайне, ему хотелось, чтобы раны его оказались смертельными, ибо смерть избавляет

нас хотя бы от страха перед судьбою. Однако ж он убедился, что ранен лишь в голову, эта рана и источала столько капель, подобных зернам граната: от всех прочих его уберег кожаный колет, который носил он под крестьянским нарядом; и он решил отомстить своим обидчикам за то, что они оставили его в живых, — затем, наверное, чтобы обречь на мученическую смерть от терзаний ревности и пытки разочарованием.

Сильвия тем временем убедилась, что ранен Карденио только в голову, эта рана и источает дымящийся пурпур, и она не так опасна, как ей представлялось вначале, хотя при той любви, что Сильвия питала к Карденио, любая боль его, даже самая легкая, пронзала ей грудь. Она отерла ладонью кровь, обрызгавшую ему лицо, и приложила платок к тому месту, откуда струилась алая влага, а затем осведомилась, что же произошло, и молвила, что удивлена: при нем был ангел-хранитель, как же осмелились на него напасть, ведь если б кто-то напал на ее, Сильвии, поклонника, то обидчики либо отступили бы, либо она на себе испытала бы сталь их клинков, дабы смерть возлюбленного, если б перед тем пронзили грудь ей самой, показалась ей милостью, а не мщением.

Для Карденио было внове, что Сильвия так огорчилась из-за его несчастья, ведь сострадание очень сходно с любовью и может сойти за оную; дабы подтвердить эту истину, он рассказал Сильвии то, что она уже слышала, хотя выслушать дважды эту историю ей было нелегко, ибо для того, чтобы ревность разила насмерть, довольно одного лишь воображения, когда оно вдруг разыграется. Карденио не сказал, что любит крестьянку, которую видела Сильвия, он сказал только, что она питает к нему честное благорасположение:

первое было бы оскорблением для Сильвии, а второе было на пользу Карденио. Скажи он, что любит ту крестьянку, у Сильвии оказался бы повод презреть его, ведь хотя у многих женщин неверность и небрежение поклонника усиливают любовь, некоторое в этом случае охладевают. Сильвии подумалось, что если умолчит она о том, что ее мучит, то Карденио неизбежно будет говорить все о своем, пока не придут люди, а тогда она уж никак не сможет ничего сказать; и вот, с притворным смехом — если б понадобились слезы, ей не было бы нужды притворяться, — она молвила:

— Право же, Карденио, мне становится смешно, когда я вижу, как за столь недолгое время меняются у мужчины и склонности, и мнения. У вас от рождения и душа не очень стойка, и чувства куда менее постоянны, чем у нас, а вы всю жизнь на нас жалуетесь; но когда женщина изменяет своему чувству, виною всегда мужчина, разве не так? Я веду речь о женщинах благородного нрава, среди прочих непостоянство не редкость, а обыкновение. Слыхивал ли ты, чтобы женщина допустила в сердце новое чувство, когда ей отвечают взаимностью? Нет, разумеется, ведь если женщина поступает своей скромностью, то либо из любви, либо из выгоды; соображения выгоды благородным умам чужды, ибо если женщина любит и счастлива в любви, сыщется ли столь неразумная, чтобы утратить все это да еще и доброе имя в придачу? Ты скажешь в ответ, опыт свидетельствует, что и у самых благородных не в обычае хранить верность. Отвечу теми словами, с которых я начала: виноваты не они, а те мужчины, ради которых идут они на безрассудства. Когда неблагодарный возлюбленный оскорбил и честь

женщины, и любовь, можно ли ее винить, если она, дабы освободиться от воспоминаний о нем, позабудет, быть может, о своем благородстве? Что остается той, которая, вняв голосу своей любви и растрогавшись слезами мужчины, приютила его у себя на груди, а там, глядишь, добился он от нее всего, чего желал, ибо когда взаимность достигнута, все остальное нетрудно; и вот, насладившись тем, чего добился он мольбами и сетованиями, когда он уверен, что любим и несчастная, которая боготворит его, полностью у него во власти, он вожделеет ко всем, кто попадаетея ему на глаза, а хуже всего, что не знает он удержу, пока не замучит ее до смерти горестями и не бросит, чтобы она глаза себе выплакала.

Скажи, Карденио, простительно ли этой женщине поддаться слабости? Разве мы, женщины, от рождения обречены терпеть от вас оскорбления, не помышляя о мести? Вы не стыдитесь оскорблять нас, а мы не должны и помышлять о мести? Мужчина разумнее женщины, а быть непостоянным не опасается; и ты хочешь, чтоб у женщины хватило разума это вытерпеть? А коли не так, заклинаю тебя твоей жизнью или жизнью той дамы, которая так тебя любит, что допускает, чтоб у тебя эту жизнь отняли, заклинаю, скажи: помнишь, всего лишь несколько дней назад я повстречала тебя, когда ты повествовал рощам то ли о моих заботах, то ли о твоих обманах; и разве не похвалялся ты мне тогда, что потратил на меня столько вздохов, и я обошлась тебе во столько бессонных ночей? Разве не сказал мне, что, когда бы прожил бесчисленные века, все равно не смог бы разлюбить меня и не сумел бы забыть?

Но коль скоро все так и было, а о том, что так было, знаешь ты и знают вон те деревья, и при

этом нынче я застаю тебя в объятиях другой красавицы, которая, по крайней мере, стоила тебе крови, а может, и еще чего-то, что осталось в тайне, скажи мне, как возможно доверять даже лучшему из мужчин, либо же что сделал бы ты, если бы несколько лет пробыл в отлучке, а я, подарив тебе перед тем свою любовь, оставила бы тебя? Так скоро я стала в твоих глазах дурнушкой, хоть ты не наслаждался мною? Так скоро тебе прискучило умолять ту, которую умоляют многие? Может статься, ты возомнил, будто живешь в столице, где меж домогательством и уступкой проходит столько времени, сколько надобно, чтобы представился удобный случай? Или ты вообразил себе, что я самая обычная простушка и сдамся при первых же твоих лживых словах: ведь когда любовь только начинается, всякое слово — ложь! А если, к счастью, ты не был обо мне столь дурного мнения, скажи, вот поверила бы я твоим лживым словам — этого не случилось, но это было возможно, — и пришелся бы мне по сердцу твой облик, а главное, твой разум; как ты полагаешь, в хорошем я оказалась бы положении и можно ли было бы меня винить, если бы я отомстила тебе за неправые твои дела и разблаговестила бы повсюду, что ты изменчив, ветрен и на тебя нельзя положиться? Кто из нас выказал бы непостоянство: я, что нанесла тебе обиду, потерпев от тебя оскорбление, или ты, что нанес мне оскорбление, хоть не терпел от меня никаких обид?

Карденио, Карденио, подумай, сколь опасно оскорблять женщин, когда они честного поведения: они ведь сильнее ощущают, что уязвлены, а потому стремятся покарать немилосерднее. Впредь буду я жалеть бедняжку, которая тебя полюбит, ибо сама я, даже покойся ты у меня

в объятиях, страшилась бы, что в одно прекрасное утро проснешься ты чужим мне. Горе мне! Ведь когда бы я тебе поверила, сколько навлекла бы на себя горестей! Да уберезет меня Господь от твоих обманов, женщина из-за них может глаза себе выплакать. Уж коли ты такой умник, стоило бы тебе поменьше верить в собственные достоинства, многих губит не разум, а самомнение. Не считай себя таким совершенством, что с первого же взгляда пленишь любую; если к тебе приглядеться со вниманием, станут видны многие изъяны, а сам ты про них не ведаешь, ибо видишь себя в зеркале собственной самовлюбленности.

Сильвия гневалась все сильнее, но под гневом так явственно сквозила любовь, что от каждого ее обидного слова влюбленность Карденио усиливалась. Он поздравил себя — не с тем, что Сильвия полюбила его, ибо ревновал ее после той ночи, когда услышал от нее признание в любви к другому, и ревность не давала ему поверить в собственную удачу; поздравил он себя с тем, что она стала так разговорчива и человечна. И дабы убедить ее в своем постоянстве и дать ей понять, что первопричиной происшедшей в нем перемены была она сама, он промолвил:

— С какою целью, Сильвия, ты так настойчиво твердишь мне, что все мужчины изменчивы? Дабы убедить меня, что сам я таков. Небу ведомо, что тут многое нуждается в разъяснении. Сущая правда, что ты повстречала меня в этих полях, когда я повествовал им, сколько мук ты мне стоишь и как худо платишь за них, что особенно видно сейчас; но что неправда, так это то, что я будто бы забыл о той ранней поре своей любви. И хотя подозрения твои наводят тебя на другие

мысли, я, испытывающий любовь к тебе и поныне, знаю, что ты заблуждаешься.

О прекрасная Сильвия, было бы угодно небу, чтобы все, что ты себе вообразила, было правдою, ведь душу твою это не затронуло бы, а мне жилось бы покойнее. Говоришь, ты довольна, что не поверила мне и не полюбила меня, ибо сейчас пришлось бы тебе столь же дорого платиться, сколь горько сетовать. Неблагодарная! Не думай так и не наноси подобной обиды моей влюбленности. Если кажется тебе, что я выказал изменчивость, поразмысли, может статься, я поступил так тебе в угоду: ведь когда женщина в кого-то влюблена, обычно она признательна тем, кто не докучает ей ухаживаньями. Я знаю, Сильвия, что ты кого-то любишь, знаю, что тебя тревожат думы о ком-то другом, и знаю из верных источников, ибо некто услышал об этом из твоих собственных уст; так скажи, велика ли беда, что я пытаюсь отвлечься в шутку, коли ты обижаешь меня всерьез? Не знаю, как могла ты настолько огорчиться из-за этой пустячной раны, когда у тебя хватает духу убивать меня на тысячи ладов. Разве не довольно было с тебя любви моей, Сильвия? Разве не довольно было с тебя, что мною пренебрегли — кто пренебрег, ты знаешь, — ты хочешь, чтобы я продолжал любить тебя и загубил себя, ибо ни ты не могла бы помочь мне, ни мое разумение меня не спасло бы. Ступай своей дорогой и помни: недостойно позволять, чтобы влюбленный распаялся день ото дня все сильнее, а потом лишит его всех надежд, как раз тогда, когда ему уже нет утешения и остается лишь одно отчаяние. Дай мне попытаться забыть тебя, если смогу, раз не нужна тебе моя любовь.

В смущении слушала влюбленная Сильвия эти речи и уже собралась было обрадовать Карденио признанием, что он ошибается, но ей помешали люди, явившиеся выяснить, что же случилось, дабы оказать потребную помощь. Все возрадовались, убедившись, что рана не опасна, хотя потеря крови ухудшала дело. Карденио был препровожден в селение, где весть о несчастье опечалила всех и каждого, ибо Карденио как образец учтивости был всеобщим любимцем, так что только у ревности хватило духу нанести ему обиду, ибо ревность не считается с милосердием и не внемлет разуму.

Несколько дней пролежал он в постели, и Сильвия была с ним так заботлива и любезна, что из благодарности за ее расположение, хоть он и не был вполне в нем уверен, Карденио ей в угоду совершил один поступок, пришедшийся Сильвии очень и очень по сердцу: он написал письмецо той, ради кого отвлекся от служения Сильвии, и в письмеце этом писал, что чувствует себя в здешних местах не столько уроженцем оных, сколько пришлецом, ибо, хоть и были они ему колыбелью, годы отсутствия сделали его здесь чужаком; а потому он не хочет причинять неудобольствие людям, среди коих вынужден жить. Таким образом он недвусмысленно дал ей понять, что любовь их кончена. И Сильвия была этим так довольна, что послала к Карденио одну служанку, которой доверяла, поручив передать ему, что как только окажется он в состоянии выходить из дому, она хочет потолковать с ним обо многих вещах, о которых, может статься, узнает он без огорчения.

Карденио считал часы в ожидании счастливого дня, когда он открыто потребует, чтобы Сильвия сказала ему всю правду. Сильвия также молила Бога о выздоровлении Карденио, чтобы погово-

рять с ним не столь сурово и дать больше воли чувству, ибо теперь она так его любила, что приняла решение: коль скоро родители, узнав о ее намерении выйти замуж за человека столь низкого происхождения, откажутся признать ее дочерью и ей придется до конца дней своих носить скромные одежды крестьянки, она все равно пойдет за него и будет жить с ним, даже если утратит великие блага.

Однажды вечером, когда старик Альбанио бранил Сильвию за то, что она не хочет принимать на веру свое благородное происхождение, поскольку не знает своих родителей, в дом постучался неизвестный; он спросил Альбанио и сказал, что с тем хочет поговорить один кабальеро. Альбанио вышел, а Сильвия осталась дома, затаив в сердце отважное свое решение.

Едва старик успел осведомиться, кто его ищет, как к нему в объятия устремилась дама, изящного сложения и прекрасной внешности. Не столько из слов ее, сколько из радостных возгласов Альбанио понял, что перед ним мать Сильвии; впрочем, поскольку дочь унаследовала материнскую красоту, он без труда тотчас же узнал ее. Затем супруг ее, прибывший вместе с нею, не теряя времени на праздные любезности, попросил старика проводить их к дочери, ибо он горел желанием с нею познакомиться. Вошли все они к Сильвии, которая так смутилась от неожиданности, что отцовские ласки принимала почти с неохотой. Родители Сильвии самым торжественным образом выразили восхищение и радость оттого, что желанный миг счастья наконец настал, а также великую признательность Альбанио, которому были они стольким обязаны. Затем мать Сильвии рассказала, что когда она рассталась с пастухом в описанном уже

состоянии, все вышло согласно ее воле, но она много лет прожила в разлуке с супругом, получая от него лишь письма и послания, ибо это единственный способ навещать друг друга, доступный разлученным; дело в том, что муж ее в Саламанке убил на дуэли одного из знатнейших кабальеро этого города, а потому вынужден был ради собственной безопасности бежать за границу. В конце концов он дождался королевского помилования, положившего конец судебному преследованию и ссылке; вернувшись на родину, он удостоился посвящения в рыцари одного из орденов и оказался обладателем изрядного богатства, позволявшего ему с честью носить рыцарское облачение; и вот, влекомый любовью — ибо любовь, когда она истинная, не ведает забвения, — и побуждаемый сознанием долга, он отправился в Гранаду, дабы попытаться вступить в обладание матерью Сильвии. Однако же чета убедилась, что отец жены по-прежнему упорствует в своем безрассудном решении, а потому они решили покинуть ночью и тайно Гранаду и найти прибежище в Мадриде, захватив с собою по дороге Сильвию. Объяснив Альбанио, что задерживаться здесь для них крайне опасно, ибо отец жены или его родичи могут здесь их настичь, супруги велели дочери без дальних разговоров собираться в дорогу, чтобы успеть приехать в Мадрид до рассвета.

Все эти новости привели Сильвию в такое расстройство, что она почла бы себя счастливицей, когда бы родилась от простых людей: ведь знатность стоила ей не только несчастья быть неровней тому, кого она боготворила, но и лишала ее возможности хотя бы лицезреть его на радость своим очам. Она попыталась возразить на столь суровое и бесповоротное решение, но безуспешно, ибо ро-

дители ее были во власти любви и страха: страх не позволял им медлить, любовь — оставить ее в Пинто. И вот, повинувшись жестокому приговору, заливаясь слезами и чувствуя, что сердце у нее разрывается из-за того, кого она здесь оставляет, она попросилась с Альбанио в присутствии той служанки, которой доверила свои печали. Сильвия хотела поговорить с ней без помех, дабы та от ее имени рассказала Карденио о печальной причине ее отъезда и он попытался бы увидеться с тою, кто так его любит. Альбанио также был посвящен в тайну, и, прощаясь с ним, Сильвия молила его ради любви, которую он к ней питает, рассказать Карденио о том, что с нею произошло. Альбанио, чтобы ее утешить, пообещал, но потом, рассудив, что такая любовь несовместима с ее знатностью, решил, что поступит разумнее, если ничего не скажет.

Сильвия приехала в Мадрид полумертвая от горя, и внутренний взор ее был устремлен на того, кого очи ее не видели, но кто был душою всех ее дум. Она размышляла о том, что из ее намерения остаться с тем, кто властвовал у нее в сердце, ничего не вышло, и ей не давало покою воображение, подсказывающее, какую обиду нанесет чувству Карденио весть о ее исчезновении.

Отсутствие Сильвии было тотчас же замечено, ибо красота ее была такой драгоценностью, что все жить без нее не могли. Карденио меж тем уже озаботился беззаботностью возлюбленной, ибо она все никак не оповещала его о том, когда смогут они переговорить, а он полагал, что уже вполне выздоровел и полон сил для отважных деяний во славу Сильвии. И тут пришли к нему соседи и рассказали, что она покинула дом своего престарелого отца, и в селенье полагают, что она

бежала с каким-то мужчиной, который тайком ею наслаждался: простонародье ведь никогда не довольствуется рассказом лишь о действительных событиях.

Карденио не захотел принять на веру эти вести, дабы не обидеть Сильвию: ведь заподозрить женщину в нескромном поведении без достаточных доказательств значит оскорбить ее честь и выказать мало доверия к ее добродетели. Но, слыша от всех те же слухи и видя, что дома она не появляется, он вообразил, что слухи эти — правда, и стал подозревать, что, пообещав поговорить с ним, она собиралась всего лишь сообщить ему наедине о своем решении, дабы обречь его на жестокое разочарование, а самой бежать с тем, кто втайне удостоился обладания ее красотой.

Карденио терял рассудок, воссылая пени небесам, и клял не только Сильвию, но и всех женщин на свете, ибо в подобных случаях за неверность одной расплачиваются все. «О женщины! — восклицал он в ослеплении страсти. — Вы убиваете без милосердия, суровы с теми, кто любит вас, кротки с теми, кто вас ненавидит! Когда бы можно было прожить жизнь без вас, чтоб избавиться от ваших обманов и неверностей! Всегда помню я слова, сказанные Марком Аврелием в порицание вашей злокозненности: «Женщины, при воспоминании, что я родился от одной из вас, я чувствую презрение к жизни, а при мысли, что живу с вами, чувствую любовь к смерти». Вот слова, достойные мудреца и философа, особенно же если он произнес их, удостоверясь в неблагодарности Фаустины. Вы вечно твердите, что мы изменчивы, и я готов поверить в это не потому, что неверность — мужское прегрешение, но потому, что мы могли научиться ему за время, что провели у вас в утробе.

Вы всегда жалуется, а оскорбленной стороной всегда оказываемся мы, ибо вашим очам дана власть вызывать сострадание, и ваши слезы служат вам порукой за то, что вы скроете ваши козни неправдами. Всех нас скопом вы поносите, а каждому в отдельности льстите. Помнишь, Сильвия, как-то под вечер ты так обличала того, кто таит в сердце больше одной привязанности, что мне подумалось: воскресла Лукреция, ожила Пенелопа. Теперь я знаю, ты просто хотела похвастать хорошим вкусом, ведь подобно тому, как человеку порочному нравится добродетель, так и вам, хоть вы изменчивы, по душе постоянство, и вы жаждете хвалиться как раз тем, чего вам не хватает. О Сильвия, ты женщина и не можешь забыть о своей природе: когда любила ты другого, чего ради вступала в беседы со мною? Когда лишали тебя сна другие тревоги, чего ради печалилась о моих ранах? И когда сама была так изменчива, чего ради винила меня в непостоянстве? Ужели, когда женщина любит одного, она еще способна испытывать влечение к другому? Признаюсь, я уверен был, что ты меня любишь, но я обманывался либо ты обманывала меня: откуда знать мужчине, что и лучшие из женщин лгут. Кто бы мог подумать, что на любовь твою нельзя положиться, когда я сам видел, что ты чуть не плачешь от ревности? Но скажи, как могла ты открыто выказывать ревность, не чувствуя ко мне никакой любви, ведь одно предполагает другое! Сдается мне, то была не ревность, а зависть, ты огорчилась не оттого, что, любя меня, увидала с другою, а оттого, что приняла это за знак презрения к тебе самой. О неблагодарная, как отплатила ты мне за верную мою любовь! Ради тебя, Сильвия, расстался я с утехами, друзьями и знатностью, ибо забыл

о том, кто я, дабы стать тебе ровней; ради тебя перебрался в эту глушь, перерядившись простолюдином, ибо Овидий и любовь вдохновили меня на подобные безрассудства. Эти деяния заслуживали благодарности, но я вижу, что обезумел, ибо прошу признательности у той, кто так и не смогла постичь, в чем истинные блага.

Так сетовал в разлуке Карденио на свою обожаемую Сильвию, хоть и безосновательно, ибо она любила его столь истинной любовью, что и мгновение не могла прожить, не вспомнив о нем, хоть и боялась, что он ее разлюбит, ведь разлука усиливает любую обиду, а на Карденио многие заглядывались, вот и боялась Сильвия, уже небезосновательно, как бы он не изменил ей, так его любившей. Альбанио навещался в столицу, и Сильвия спрашивала, сказал ли он Карденио, что она в Мадриде; старик же, чтобы отвлечь ее от этих мыслей, отвечал утвердительно, добавляя, что устал упрашивать Карденио навестить ее: тот настолько занят новыми увлечениями, что едва отвечает. Сильвия легко ему поверила и кляла ветренность Карденио, проливая ему в отмищение потоки слез из прекрасных своих очей: поскольку в очах любовь зарождается, то они всего сильнее страдают, когда наносятся ей удары.

Все это происходило в ту пору, когда родители Сильвии собирались огласить свой брак и она уже сменила наряд поселянки на дорогие уборы, подобающие ее званию, в коих была так хороша собою и держалась так непринужденно, словно всю жизнь их носила. Карденио также обретался в Мадриде: видя, что Сильвия не возвращается, он расстался с одеждой простолюдина и перебрался обратно в столицу.

Как-то вечером он отправился на прогулку в обществе одного своего друга, который ночью умел держать шпагу в руках, а днем — язык за зубами; они пошли в сторону Прадо. По пути им повстречалась какая-то дама, она шла без спутников и казалась испуганной. На голове у нее было покрывало из рыжеватой тафты, оно прикрывало ей лицо, так что узнать ее было невозможно; из-под платья выглядывала нижняя юбка, так обшитая кружевами, что ткани было не распознать; судя по благоуханию, дама была из знатных либо, по крайней мере, обладала хорошим вкусом. Приблизившись к ней, оба кабальеро осведомились, не могут ли они оказать ей какую-нибудь услугу.

— Я бы хотела, чтобы вы следовали за мною, — отвечала она. — Мне нужно внушить ревность одному человеку, он только что в театре доставил мне неудовольствие, и я была бы рада отплатить ему тою же монетой и ранить его тем же клинком.

Оба кабальеро подхватили даму под руки и вместе с нею обошли Прадо, но она так и не нашла того, кого искала. Когда кабальеро собрались проводить ее домой, им преградил путь экипаж, стоявший возле монастыря Святого Духа. В экипаже было четыре музыканта и столько же кабальеро, которые распевали во весь голос. Дама и ее спутники присели на ступени паперти, дабы удобнее было слушать. Когда музыка кончилась и возница направил было экипаж к фонтанам Сан-Херонимо, один из сидевших, узнав, по-видимому, даму, приказал ему остановиться. Выскочив из экипажа, он приблизился к даме и хотел отдернуть покрывало. Карденио, встав, помешал ему и заметил, что в столице подобные вольности не приняты.

— Могу похвалиться, — отвечивал незнакомец, — что в учтивости и знании столичных обычаев мне никто не даст форы. Но любовь с такими тонкостями не считается, особливо же когда слушает советы ревности. Дама, которую вы сопровождаете, — моя. Если в отместку за досаду, что я причинил ей, она хочет отплатить мне тем же, уловка стара.

— Я знаю лишь одно, — возразил Карденио, — сейчас эту даму сопровождаю я, хоть и не состою в ее поклонниках.

— Да какая разница, — вмешались те, кто сидел в экипаже, — сопровождает он ее или нет? Пусть в одиночестве убирается к себе домой и радуется, что не к цирюльнику.

Карденио и его друг сочли, что терпеть подобные дерзости — чрезмерное благонаравие. Они обнажили шпаги, завязалась схватка, и хотя противники были в большинстве, наши кабальеры задали им жару. Карденио пришлось отбиваться от двоих, но вскоре один упал к его ногам, крича во весь голос, что его убили. Тут обе стороны вспомнили не без опаски о служителях правосудия, ведь в Мадриде только начнись стычка, чудо, если они тут же не пожалуют. Карденио рассудил, что если он обратится в бегство, то за ним и погонятся, и, свернув с этой улицы, он решил искать убежища в первом попавшемся доме. Вошел он в этот дом и попросил оказать ему милость, дабы смог он сбить со следа тех, кто хотел нанести ему оскорбление. Один слуга из этого дома, свидетель мужества Карденио, отвел его в укромный покой, сообщавшийся с покоями сеньоров, так что если бы служители правосудия попытались искать его здесь, ему было бы нетрудно защититься. Заперев дверь этого убежища, слуга вернулся поглядеть,

что происходит на улице, дабы затем сообщить Карденио, как ему поступить.

Карденио был слегка испуган случившимся. Он оказался в темноте и в одиночестве и не ведал, в чей дом попал. Поразмышляв над недоброй своей судьбой и несчастьями, которые она ему то и дело посылала, он стал думать о ветренности Сильвии и о том, сколько времени потратил на нее впустую. Стал он уговаривать себя позабыть о столь неразумной любви и тут услышал шаги, раздававшиеся совсем близко. Он стал вслушиваться со вниманием и расслышал женский голос, исполненный тревоги и перемежавшийся вздохами: женщина явно дала волю слезам, оплакивая какое-то великое горе.

— У в ы , — говорила она, источая бесчисленные жемчужинки, — какая польза мне от моей красоты, если я и впрямь красива, коль скоро тот, к кому я привязалась душою, обходится со мною так небрежно? Какая польза мне от моего добродетельного сопротивления в ответ на мольбы и уговоры, коль скоро оказалось, что я люблю всем сердцем того, кто со мною бессердечен? Какая польза от того, что я таила свое любовное безумие, коль скоро в конце концов в нем призналась, а наградой мне за то один лишь стыд от того, что я сдалась чувству и живу, так и не познав любви? О мой Карденио, если только могу я называть моим того, кто не хочет ни внимать мне, ни знаться со мною, кто бы мог подумать, что женщина, отвечавшая презрением на такое множество правдивых слов, с легкостью поддастся на твои живые? Ты выказал ум, склоняя меня к любви, но я почитаю тебя неразумным, ибо тебе не нужна взаимность; слова твои свидетельствуют о благородстве, дела же — о низости. Вот мне кара за

неблагодарный нрав, ибо та, что похваляется жестокостью в обращении с другими, когда-нибудь познает презрение со стороны того, от кого всего менее его ожидает.

Карденио удивился тому, что слышит свое имя в незнакомом доме, но предположил, что тот, к кому обращены сетования, — его соименник, хоть и не сотоварищ по несчастью. Тут вернулся слуга и уведомил его, что он может выйти, ни о чем не беспокоясь, ибо альгвасилы довольствовались тем, что взяли под арест одного из его противников. Вручив этому человеку несколько эскудо в благодарность за труды и за благодеяние, которое тот ему оказал, Карденио осведомился, кто его господин. Слуга отвечал, что господин его кабальеро, он недавно огласил свой брак с одною дамою, которую любил много лет и обязательства перед которой признавал; они привезли в столицу красавицу дочь, которая воспитывалась в трех милях от города и жила под чужим именем, покуда наконец родители не смогли в безопасности объявить ее своею дочерью.

Карденио слушал рассказ слуги в смятении и в изумлении, и когда тот кончил, спросил:

— Наверное, дочь — та самая дама, нежный голос которой я слышал, когда она сетовала на свою судьбу?

— Так и есть, — отвечал слуга, — ведь с той поры, как приехала она из селения, где жила, она так безумствует и горюет, что при всей ее добродетельности кое-кто из домочадцев подумывает, что она влюблена в кого-то, кто остался в Пинто, из-за него и печалится. Она-то сама говорит, что грустит из-за Альбанио, того, кто заменил ей отца, но я не верю, потому что не раз слышал, как жалуется она на кого-то по имени Карденио,

вот и я думаю, что печалится она не только от любви к Альбанио.

Было бы неудивительно, если бы Карденио утратил самообладание от радости при столь счастливых вестях. Однако он благоразумно взял себя в руки и попросил слугу передать этой даме, что один кабальеро, много лет живший вместе с Карденио, умоляет ее о разрешении предстать перед нею и вручить ей от Карденио письмо.

Слуга сознавал, что идти к сеньоре с таким поручением небезопасно; но он знал, что женщины мастерицы скрывать любовные тайны и благодарны тем, кто споспешествует их любви, а потому отправился к той, что звалась теперь доньей Хуаной, и поведал ей о случившемся. Сильвия удивилась, но, видя, что мало чем рискует, зато может многое выяснить, велела отворить дверь меж обеими комнатами и вышла к Карденио.

В равной мере велико было изумление обоих, когда увидели они друг друга в столь непривычных нарядах. Любовь говорила Сильвии, что перед нею властелин ее сердца, но его одежда не давала ей в это поверить. Карденио также изумился, увидев ее в платье, столь не похожем на прежние. Сильвия, однако же, с женскою проницательностью вообразила, что Карденио, должно быть, узнал о том, что она знатного рода, и переоделся подобным образом, дабы она его не разлюбила. И она заговорила о том, что подобные переодевания мало трогают ее сердце, ибо чувство в ней пробудило не простонародное щегольство, а благородное сердце, не грубая оболочка простолюдина, а тонкий ум столичного жителя, не обличье бедняка, а богатство чувств, так что незачем ему тратить силы на внешние прикрасы, ибо они ничего не значат в глазах того, кто любит, и она предпочла

бы видеть его простолюдином с постоянным сердцем, а не щеголем с изменчивым; так что лучше ему вернуться к развлечениям — он сам знает, с кем, — а она попробует пренебречь человеком, который ее не заслуживает, ибо недостоин ее из-за низкого происхождения и оскорбляет ее своим непостоянством, но пусть помнит: она расстанется с ним не из-за того, что он ниже ее по званию и достатку, а из-за того, что он неровня честной ее любви и стойкому постоянству чувства, и утешает ее лишь одно: она сумеет вытерпеть безмолвно свои страдания и умереть — лучше такой удел, чем оказаться в объятиях человека, которого она каждый день извещала, где находится, и молила навестить ее, а он не только не делал этого, но отвечал презрительно ее посланцу.

Сильвия еще многое хотела сказать, но великая сила чувства наполнила слезами ее прекрасные очи, и она не смогла сдержать рыдания, ибо они разорвали бы ей сердце.

Карденио изумился, услышав несправедливые жалобы на то, как мало он ее любит, ибо с того дня, как она уехала из Пинто, никто ему ничего не передавал, в том числе и Альбанио, знавший, однако же, где его питомица. А потому Карденио сказал в ответ, что если ей угодно подарить счастье тому, кто достоин ее более, чем он, ей не надобно оправдываться, ибо он будет счастлив хотя бы только лицезреть ее, даже если она будет принадлежать другому, лишь бы он был ее избранником. Но ей следует узнать правду: он не Карденио и не простолюдин, хотя столько времени прожил под этим именем и в этом звании; он — дон Дьего де Осорио, а что до его благородства, довольно сказать, что его семья в родстве с домом

Лемосов¹. Оказавшись проездом в Пинто, он пленился ее красотой и объяснился ей как-то ночью, но она не разглядела его, ибо было слишком темно. После того он переменял имя и наряд, дабы иметь возможность видаться с нею и добиваться ее любви. Как может она пенять ему за небрежение, если он знать не знал о переменах в ее жизни: ведь когда пошли слухи, что она исчезла из Пинто, никто ему не сообщал, где она, ни Альбанио, ни прочие, все только пожимали плечами и отвечали вздохами. А поскольку в селении его удерживала лишь ее красота, он вернулся в столицу; и нынче вечером, когда он прогуливался с другом, вышла у них одна неприятность. Спасаясь от правосудия, нашел он прибежище у нее в доме и тут услышал свое имя вперемешку со слезами и вздохами; тогда он стал расспрашивать слугу об этой странности. Он не хочет вынуждать ее ни к чему, что было бы против ее воли и желания, хочет лишь просить разрешения служить ей. А чтобы оценить его любовь, пусть сама она рассудит, кто любит сильнее: он, который забыл о своем происхождении и любил ее, хоть и полагал, что она ему настолько неровня, или она, которая хочет избавиться от своей любви, ибо полагает, что он простолюдин.

На это Сильвия сказала: хоть честный старец, которого почитала она отцом, рассказал ей о благородстве ее происхождения, она при всем том не обращала внимания ни на эту помеху, ни на советы своей скромности, добродетели и родовитости, но всегда его любила. В ту ночь, когда он от нее самой услышал, что она любит, она сказала правду, ибо, если соизволит он вспомнить, они весь тот вечер

¹ Лемос, Фернандес де Кастро Педро, граф де — вице-король Перу (1667—1672).

провели вместе, тогда-то и зародилось ее чувство к нему. А чтобы он убедился, насколько любовь ее пересиливает ее знатность, пусть прочтет это вот письмо, она собиралась вручить его Альбанио для передачи ему.

Тут Сильвия достала письмо, дала его Карденио, и тот прочел:

«Если бы в новом наряде я рассталась с любовью, я, верно, поступила бы в угоду своему происхождению, но вышло наоборот, и вот теперь-то я твердо решила стать твоею. Тот, кто вручит тебе это письмо, расскажет тебе о моей семье и звании, и хотя меж нами такое расстояние, любовь моя принесет тебе благородство, она в состоянии это сделать, ибо Амур уделил ей своей державности.

Донья Хуана Осорио».

После столь убедительных доказательств Карденио было не в чем сомневаться. Сильвии же нечего было страшиться, ибо она постигла, как он ее любит. И в ту ночь Карденио остался в комнате, куда привел его случай, ибо выходить было небезопасно, да любовь Сильвии и не разрешила бы ему уйти.

Наутро Сильвия переговорила со своими родителями и рассказала им всю правду о случившемся. И так как все, что случилось с ними самими, было свежо у них в памяти, и они знали, на какие безрассудства идут женщины, когда родители хотят помешать их любви, они приняли Карденио с великой радостью. Отец Сильвии знал Карденио, ибо тот был известен в столице и своим благородством, и добрыми нравами.

Из Гранады приехали те, кого семья Сильвии полагала своими врагами. Когда старики увидели,

сколь благородный человек муж их дочери, да вдобавок, какая у них красавица внучка, пленяющая все взоры, они сменили гнев на милость, а печаль на радость.

Карденио стал счастливым обладателем своей любимой Сильвии, а когда в столице узнали такую неслыханную историю любви, все пришли в восторг от великой удачи Карденио и божественной красоты Сильвии, ныне блистательной столичной дамы, хоть и была она некогда скромной простолюдинкой из Пинто.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ МЕЖ ДВОЮРОДНЫМИ БРАТОМ И СЕСТРОЙ

В городе, имя которому Авила и который ни древностью, ни величием не уступит ни одному из городов Испании, родилась Лаура от благородных родителей (ведь благородство изначально обретают те, кто занимается ратным делом, а воинское искусство в Авиле всегда было в чести, так что пращурам Лауры представилось довольно случаев прославить кровь, которую передали они потомкам). Родители Лауры обладали состоянием, хоть и не слишком большим, и души не чаяли в дочери: как потому, что была она единственным их чадом, так и потому, что ее многочисленные достоинства заслуживали всяческой любви. Красота ее отличалась такой целомудренностью, что Лаура одновременно внушала и любовь — своей красотой, и уважение — своей скромностью. Была она так разумна, что могла бы почитаться дурнушкой, если бы не совершенство ее черт.

На нее многие заглядывались в надежде добиться ее руки, одни — ради ее родовитости, другие — ради ее привлекательности; а кое-кто — и ради ее богатства; и будь возможна привязанность из благоразумных побуждений, право же, богатство оказалось бы на первом месте; но Лаура оскорблялась, когда слышала восхваления, если в них звучала мольба об ответном чувстве. Не по душе ей были и разговоры о замужестве, а это уж совсем диковинно, если девушка красива и ей шестнадцать лет. Ее неприступность усиливала пыл поклонников, ибо презрение, порожденное скромностью, особенно же в той, кого прочишь себе в жены, не только не остужает желаний, но, напротив, прищипывает чувство. Лаура не принадлежала к числу девиц, что с закатом солнца отбрасывают пальцы, располагаются у окна, ждут полуночной серенады и получают записочку, которая обыкновенно оказывается первой ступенькой бесчестья.

Да, Лаура не слушала серенад и не жаждала их, но велика ли заслуга, если сердце ее уже было занято тем, из-за кого все это было ей не нужно? Лаура любила, Лаура отдалась любви, и Лаура была родовита — этого довольно, чтобы отвергать новых поклонников, если сердце занято тем, кто заслужил сей дар.

У отца Лауры был брат, недавно овдовевший; он владел некогда большим богатством, но впал в крайнюю бедность, а чтобы дать представление о его бедности, довольно сказать, что женился он на расточительнице, которая была из благородных и увязла в долгах. Вдовец оказался в столь бедственном положении, что, получив разрешение на отъезд за море, покинул родной дом в надежде поправить свои дела там, где его не знают. Для

большей свободы действий он препоручил своего единственного сына, каковой звался Лисардо, заботам брата. Тот принял племянника со всей родственностью, ибо считал, что небо дарит ему сына, который после замужества Лауры останется при нем и утешит его в недугах и горестях, сопутствующих преклонному возрасту.

Сверстник Лауры, Лисардо был красив, хорошо воспитан, отличался живым умом и такой милой проказливостью, что его дядюшка не делал никакой разницы между племянником и дочерью, так что Лисардо и Лаура росли в равенстве, как подобает брату и сестре, и любили друг друга, как подобает родичам. Взаимные их чувства питались нежностью, которую позволяет лишь невинность; Лаура поступала всегда в угоду Лисардо, он же делился с нею всеми своими мыслями, и, казалось, в обоих любовь испытывала себя, готовясь дать самые великие доказательства своей силы.

Лаура выросла из детских платьиц, Лисардо же стал являть свои божественные дарования, ибо не находил себе равных ни в рыцарских упражнениях, ни в умственных занятиях. Был он пригож, и пылок, и настолько учтив и любезен в речах, что его любили даже те, кто ему завидовал. Кузину свою боготворил он больше, чем требовало благоразумие; теперь он смотрел на нее другими глазами, в нем пробуждались желания, подавало голос влечение, и с годами стала расти в нем страсть.

Лаура также, со своей стороны, поддавалась природной склонности и жила в надежде когда-нибудь соединиться с Лисардо, хоть и побаивалась отца, ибо тот был стар и не чужд корыстолюбия. К тому же, и это самое главное, был у него друг, самый могущественный человек в тех краях, и он жаждал, чтобы обладателем прекрасной Лауры

стал один из его сыновей, который был влюблен в нее так сильно, что от любви даже занемог. Отец Лауры смотрел благосклонно на эти притязания, ибо Октавио — так звался занедуживший влюбленный — был известен своей родовитостью; но даже если б недоставало ему оной, он легко бы возместил сию недостачу доходом в две тысячи дукатов. Лаура боялась, как бы золото не победило сердце ее отца, ибо власть золота опасна, и оно самодержавно правит людьми. Говорила она, что достаточно богат тот, кто не желает богатства и довольствуется тем, что дала ему Фортуна; но такого рода умствования не оказывают действия на людей, позабывших за преклонностью лет о том, что такое любовь. Лаурой повелевала любовь, отца же ее донимало честолюбие. Ее лишали сна думы о Лисардо, ему не давали покоя мысли о приумножении достатка.

Лаура частенько слышала от отца речи о том, что есть лишь один способ улучшить положение семьи, если можно определить таким образом способ, разлучающий девушку с тем, кого она любит; и хотя она не пересказывала Лисардо этих речей, чтобы не огорчать его, она плакала горькими слезами влюбленной, когда оставалась одна. И было отчего: в скором времени отец решил выдать ее замуж за Октавио, хотя она предпочла бы могилу.

Видя, что племянник выказывает столько признаков благоразумия, старик решил призвать в советчики его рассудительность. И вот однажды, когда дядюшка и племянник были оба за городом и наедине, так что подслушать их могли только дерева и воды, обратился старик к Лисардо с такими словами:

— Сам ведаешь, Лисардо, какой великой любовью ты должен любить меня: хоть ты и не сын

мне по рождению, я стал тебе отцом, ибо взрастил тебя. Малолетним попал ты ко мне в дом и жил, как всем известно, в почете и в холе, ведь в глазах у всех ты — мой собственный сын, и, небо свидетель, я почитаю себя счастливецом от того, что все такого мнения, ибо все знают твой живой ум, хвалят твои добродетели и питают к тебе уважение. Говорю все это, дабы ты восчувствовал, как полагаюсь я на твое благоразумие, ибо я, не доверившись своей старческой опытности, прошу совета у твоей мудрости.

Чувствую я, что состарился, утратил здравие, и мне недолго дожидаться конца дней моих; и я очень озабочен тем, что двоюродная твоя сестрица еще не замужем. Мне не хотелось бы, чтобы в тот миг, когда застигнет меня смерть, мне пришлось покинуть ее безмужнею, я не смог бы умереть спокойно, зная, что мог бы устроить ее судьбу, да не устроил. Не так уж я богат, чтобы беззаботно полагаться на добрую звезду дочери: приданое Лауры невелико, хотя безупречная ее добродетельность — достаточный залог того, что будет она хорошей женою; но в наше время добродетель ценится так невысоко, что при заключении брака об этом речь заходит в последнюю очередь.

Так разглагольствовал отец Лауры, и Лисардо слушал смертный приговор своей любви, будучи лишен возможности ответить так, как хотел бы. Он сдержал слезы горя, подступившие к очам, и проглотил вздохи, дабы дать волю и тому, и другому позже — в тот миг, когда сможет рассказать все Лауре, и они поплачут вместе. Итак, сдержался он, насколько сумел, а дядюшка его, верней же сказать, его палач, продолжал:

— Надобно тебе знать, что Октавио уже давно любит Лауру, и так сильно, что сам отец его мольбами и подарками домогается от меня согласия на брак. Тебе известно, как он богат, а родовитостью он лишь немногим мне уступает. Я не могу упускать такой случай — боюсь, второй, столь же удачный, уже не представится. Вот и хочу завтра же заключить брачный контракт, ибо в послушании Лауры уверен: моя воля для нее закон, выполнять любую родительскую прихоть для нее радость. Но для начала я решил обсудить все с тобою, ибо, хоть и знаю, что не ошибаюсь, все же буду обнадешен, что сделал правильный выбор.

В таком горе внимал Лисардо своему дядюшке, что с трудом обрел дар речи для попытки добиться отсрочки исполнения приговора. Ему хотелось кричать в голос и взывать к небу — последнее утешение, дарованное несчастным, но и долг, и само его несчастье лишали его сей возможности; он оказался на краю гибели, а сетовать не мог, ибо замыкало ему уста то же самое, что ранило ему душу. Но рассудительность Лисардо сослужила ему службу, и он ответил дядюшке со всей возможной мягкостью, напомнив и о том, сколь опасны скоропалительные решения, и о том, как рискованно давать слово, когда выполнение этого слова зависит не от того, кто его дает, а еще от кого-то: ведь при том, что Лаура так послушна, женщины частенько не могут смириться даже с волей неба, если она им не по душе, и поскольку Лауре, а не кому другому жить с Октавио, лучше всего поговорить с нею самой, узнать, каковы ее мысли и склонности, и объяснить, какая выгода ее дому от этого брака.

Все это Лисардо говорил в намерении оттянуть несчастье, его оглушавшее, уповая, что отсрочка даст возможность найти выход. Дядюшке речи племянника показались не лишенными смысла, и он решил объясниться с дочерью, хотя и на свой лад — чтобы исполнение его замысла последовало без промедления за изложением оною. Лисардо же пребывал в таком смятении, что все услышанное готов был счесть обманом слуха либо порождением своей фантазии.

Домой Лисардо прибыл, воюя с собственными думами, и хоть Лаура открыла ему объятия, этот знак любви пришелся ему не по вкусу, ибо навел на мысли о расставании. Лаура и ее двоюродный брат виделись обыкновенно в комнатке одной служанки: убедившись, что господа спят, та предупреждала влюбленных, и они до рассвета наслаждались обществом друг друга, хоть Лисардо не разрешал себе никаких вольностей, кроме тех, которые дозволены бескорыстной любовью и честным чувством. Итак, вернувшись домой, Лисардо сказал двоюродной сестре, что хочет увидеться с нею; когда же они встретились, он поначалу не мог говорить от горя, ибо полагал, что она для него потеряна, и уже видел ее в объятиях другого. Наконец с безутешными слезами начал он рассказывать о решении ее родителей и не успел договорить, как она прервала его и рассказала все, что знала сама. Оба испытывали одинаковые чувства, ибо разлучать две души, рожденные для единых уз, значит обрекать их на жесточайшие муки. Но Лаура, огорчившись, что Лисардо мог усомниться в стойкости ее любви, стала утешать его и сказала, что скорее расстанется с этой жалкой жизнью, чем согласится на брак с Октавио; влюбленные разошлись, немного поуспокоившись.

Наступило утро, и родители позвали Лауру к себе, ибо почти всю ночь провели в беседах, измышляя, как бы уломать бедняжку. Принялись они взывать к ее чувству долга, говоря, как радуют и заботятся о том, чтобы устроить ее судьбу; сказали также, что просватали ее за Октавио, человека, который по многим причинам заслуживает ее руки. Выслушала их Лаура и попыталась отговорить от этого замысла, ссылаясь на то, что не съестся человека, ради которого решится она расстаться с родителями; к тому же лет ей совсем немного и хочется ей служить отцу с матерью и радоваться молодости, а не угождать по долгу неизвестному человеку, да еще под бременем множества забот, сопутствующих замужеству: ведь попечение о детях, супружеская любовь и управление домом лишат ее возможности наслаждаться обществом родителей в той мере, в какой ей хотелось бы, ибо замужняя женщина поневоле неблагодарна по отношению к отцу и матери, особенно же если муж окажется ей по душе. Лауре очень хотелось признаться в чувстве, которое было главным побудителем, ею двигавшим, но она опасалась, что родители припишут ветренности то, что объяснялось силою влечения, а также опасалась, что прогневает их своей решимостью, и они прогонят Лисардо с глаз долой.

В конце концов Лаура исхитрилась настоять на своем, так что родители на время оставили ее в покое, и она обрадовалась, что не погрешила против своей любви и сумела отбить натиск. Обо всем этом она поведала двоюродному брату, и тот отблагодарил ее объятиями за стойкость и верность. Но утром, едва успел проснуться старик, как пожаловал в дом отец Октавио, исполненный огорчения и решимости. Он сказал, что сын его

сходит с ума, и можно опасаться, что отчаяние сведет его в могилу. У Октавио было оправдание, ибо он любил без взаимности, и ему казалось чрезмерной строгостью неба, что для богатого человека может существовать что-то невозможное. Отец же Лауры был убежден, что дочь его отказывается от брака из скромности и стыдливости, а не оттого, что брак этот ей воистину не по душе, и, не сомневаясь в ее добродетелях и послушании, он дал вельможе слово, что завтра же будет заключен брачный контракт.

Отец Лауры поступил неверно, вняв голосу честолюбия, ибо нет закона, который понуждал бы к повиновению в тех случаях, когда ставится под угрозу сердечная склонность. О корыстолюбие, недостойное сердца благородного человека, скольким бедам ты причиной! Недаром называет тебя Сенека тяжелым и опасным недугом, от которого нет лекарства и который не исцелить никакими травами. Хотел бы я знать, на что притязает неразумный родитель, когда распоряжается волею и чувством, которые ему неизвестны. Разве подчинится насилью мощь влечения? Сыщет ли разум доводы, которые расположили бы сердце в пользу того, кого оно ненавидит? Разве чувство повинует-ся каким-либо властителям, кроме небес и того, к кому устремляется? Да если не вдаваться в долгие объяснения, разве не довольно было бы подумать о том, что сам Господь Бог, хоть и владыка всего сущего, ограничил, как кажется, свою власть над волею и чувством человека, ибо никогда не принуждает силою, хотя всегда направляет?

Итак, опрометчивый отец снова повел те же разговоры, но уже настойчивее, и Лаура снова стала отказываться и отнекиваться, ибо любовь учит красноречию. Она держалась твердо, и отец

выказал некоторый гнев, хоть и попытался скрыть оный, чтобы не раздосадовать дочь, в согласии которой нуждался. И тут пришло ему в голову, что наилучший путь — побеседовать с Лисардо: Лисардо умен, и Лаура ставит его мнение очень высоко, племяннику будет легче достичь цели, чем ему, отцу, при всей его отцовской суровости. Старик вызвал племянника к себе и рассказал, как глупо ведет себя его двоюродная сестрица; впрочем, то, что дядюшка именовал глупостью, было для юноши слаще меда. Старик просил Лисардо увидеться с Лаурой и выбрать ее, чтобы уж не пришлось пускать в ход другие срочные меры и строгости, ибо разгневанный отец был на все готов. Лисардо пообещал сделать все, что в его силах, чтобы уломать ее, но старик тем не довольствовался, а поставил два условия: первое — чтобы Лисардо тут же приступил к делу, а второе — чтобы сам он мог все слышать, ибо он-де хочет узнать, насколько радеет за него племянник и какие намерения питает дочь. С этой целью он измыслил одну хитрость, весьма изощренную, хоть и опасную, а именно: пусть служанка предупредит Лауру, что с ней хочет поговорить ее двоюродный брат; отец же на время разговора собирался спрятаться в алькове и оттуда подслушать их разговор, дабы понять, что с дочерью. Лисардо стал было отнекиваться, словно обидясь, что ему так мало доверия; но старик, упрямый, как все старики, стоял на своем и, не слушая племянника, послал за Лаурой.

Явилась Лаура, не подозревавшая об отцовской хитрости, и Лисардо чуть не впал в безумие; он пришел в такое смятение, что не мог найти выход, который позволил бы ему не погрешить ни против любви, ни против долга. Если он будет

молчать, то навлечет на себя дядюшкины подозрения, повиноваться же приказу дядюшки — все равно что лишить себя жизни; дать волю чувству значит погубить Лауру; но сказать ей, чтобы она вверила руку и сердце другому — неужели мог бы принудить себя к такому совету тот, кто искренне любит и умеет чувствовать? Лисардо и хотел бы предупредить возлюбленную каким-нибудь незаметным знаком, да не мог, ибо знал, что ее отец за ним подглядывает. Необычное поведение Лисардо изумило Лауру, а его молчание обидело, и она уже собиралась сказать ему кое-какие резкости, которые у влюбленных в ходу; но Лисардо, представив себе, что из этого может выйти, не дал ей говорить, начав следующую речь:

— Тебе ведомо, прекрасная Лаура, сколь важно, чтобы отпрыски честного семейства, если хотят они быть достойны оно́го, обладали такими свойствами, как покорность и благодарность, особливо же когда родители приискывают им партию, достойную их звания. От твоих родителей узнал я, что они желают оградить твою молодость от всех опасностей, дабы в том случае, если лишишься ты их по велению судьбы, ты могла скорбеть об утрате, не виня их в том, что они оставили тебя без поддержки, ибо взамен их седин тебе будет дарована любовь мужа, умеющего тебя ценить. Твои родители жалуются, что ты холодно отвечаешь на их уговоры; и, право же, ты заблуждаешься, ибо Октавио и любит, и достоин тебя. Весь наш город души в нем не чаёт; годами он ненамного старше тебя; разум его вызывает уважение у всех, кто с ним знается, а его великое богатство и того более располагает всех в его пользу; по милости всех перечисленных достоинств он заслуживает твоей руки, но даже не обладай он ими, довольно

того, что такова воля тех, кто даровал тебе жизнь. Твой отец тебя просватал, твой отец дал слово Октавио и хочет, чтобы ты вступила в брак, настолько завидный, что хоть раз будет опровергнута старая истина: красота-де приносит несчастье. Так должно быть, так для тебя всего лучше; весь город ждет не дождется завтрашнего дня, и я со всей искренностью, с какой только могу, молю тебя доставить согласиём радость родителям, для меня же это было бы величайшею утехой, какую можешь ты мне доставить.

Все это Лисардо говорил, сам себя не помня, и каждое слово было как глоток яду, и каждый довод разил в сердце его самого; но чему дивиться, коль скоро он просит и добивается того, из-за чего должен лишиться жизни? Лаура же глядела на него в таком смятении, что все это казалось ей сном: ведь она верила, что двоюродный брат любит ее, а любить и в то же время просить выйти за другого — одно с другим не очень-то вяжется. Лаура овладела собой и стала раздумывать над тем, что услышала: повертела она и так и эдак слова Лисардо и стала говорить себе: «Что же это такое? Я иду наперекор воле родителей, терплю муки, слыша столько угроз, а Лисардо говорит так вольно и просит меня полюбить другого! Что еще это может означать, кроме того, что он невысоко меня ставит? Тот, у кого хватает духу сказать мне, что я должна принять благосклонно притязания Октавио, не слишком терзается, что теряет меня. Тот, кто советует мне забыть о нем, гнушается моей любовью, это ясно. Но достойно ли женщины разумной и знатной умирать из-за того, у кого хватает духу жить без нее? Можно ли сомневаться, что Лисардо прискучили знаки моей любви? Ведь мужчина, когда уверен в том, что его ценят,

забывает про опасения, а потому в любви менее рыцарственен и более небрежен. Мужчины переменчивы, чувство может остыть, все живое склонно к разнообразию и непостоянству; Лисардо — мужчина, он уверен, что любим, и, видно, поступает так же, как и все прочие; он знает, что я боготворю его, схожу из-за него с ума, и вот испытывает мое терпение, выказывая презрение и повергая меня в печаль. А хуже всего то, что я, как видно, занимаю немного места у него в мыслях, ибо человек, который рассуждает так дельно и утешает так разумно, уж, конечно, сумеет утешиться и сам. Что ж, видит небо, на сей раз я отомщу ему за неблагодарность, и советы его отольются ему слезами; я осуществляю то, что мнилось мне невозможным, ибо знатная женщина никогда не забывает о том, кто она такая. Все это значит одно: он меня в грош не ставит, открыто меня презирает. Я не я, коль он мне за это не заплатит. Пусть я достанусь Октавио, пусть станусь недругу, по крайней мере буду отмщена, хоть и на погибель себе самой!»

О бедная Лаура! Остановись, призадумайся, ведь ты губишь себя и губишь того, кто ради твоего же блага совершил то, чем оскорбил тебя! Кто мог бы поведать тебе, какие муки терпит Лисардо, и предупредить, что вас подслушивает отец твой, он же твой губитель? Лаура, опомнись: Лисардо постоянен, Лисардо боготворит тебя; но кому под силу вразумить разгневанную женщину, которая забрала себе в голову подобные несправедливые подозрения?

К тому же подозрения эти еще больше укреплялись вот каким обстоятельством: Лаура знала, что одна из авильских дам, и совсем не из числа дурнушек, питает к Лисардо нежные чувства: да-

ма эта самолично ей обо всем поведала, полагая, что Лаура, как ее подруга и его родственница, замолвит за нее словечко перед тем, кого она любит. Лаура отлично знала, что Лисардо, хоть и ведаёт о влюбленности этой дамы, ничуть ей за оную не признателен; но сейчас она пришла к заключению, что коль скоро он сам уговаривает ее пойти за Октавио, стало быть, нашел в той даме что-то, что оказалось ему по вкусу, и по сей причине жаждет обрести свободу, дабы вступить в обладание той, кого Лаура уже мнила соперницей. Ревность подоспела в самый подходящий миг и превратила в истину то, что доселе представлялось лишь видимостью. Лаура уверовала в самое худшее и, пойдя наперекор собственной склонности, отвергнув наперед всякую возможность услышать правду, не помышляя ни о чем, кроме мщения, сказала Лисардо, что ей весьма по душе новое ее положение; достаточно, что такова воля Лисардо, и никаких возражений как не бывало; она любит Октавио, она ценит Октавио; пусть так и скажет ее родителям: она-де рада-радешенька его предложению, а если отвергала, то не потому, что не любит Октавио, а потому, что ей грустно расставаться с отцом и матерью.

И, не дав Лисардо ответить, она простилась с ним и удалилась к себе, чтобы оплакать свой несчастливый жребий; и то хвалила себя за свой поступок, то раскаивалась, что нанесла себе подобное оскорбление, ибо должна была отдать себя во власть нелюбимому: пусть Октавио и не вызывал у нее ненависти, но ведь, чтобы жизнь казалась не лучше смерти, довольно того, что любишь другого и не можешь ему принадлежать.

Отец Лауры вышел из алькова и тысячу раз обнял Лисардо; затем он отбыл из дому, дабы

сообщить новости своим родичам и родичам Октавио. Начали готовиться к торжествам и празднествам; Лисардо же пребывал в таком состоянии, в котором, как нетрудно вообразить, должен был оказаться человек, который влюблен всем сердцем и видит, что за какой-нибудь час утратил то, чего добивался столько лет. Сперва ему показалось свидетельством ветрености Лауры то, что она так легко согласилась на брак с Октавио, но он тут же догадался, что ею двигала не сила любви, а гнев, вызванный страстью. Хотел было Лисардо переговорить с Лаурой и объяснить ей, по какой причине молил ее совершить то, что, словно острый меч, сгубит несчастную его жизнь, но было уже поздно.

Лисардо выехал за город, ибо в уединении легче выплакать горе. Отец Лауры вернулся домой сам не свой от радости и в сопровождении жениха, который спешил насладиться божественным присутствием своей нареченной. Лаура приняла его, не поднимая глаз; Октавио решил, что причиной тому честная стыдливость, но глаза Лауры говорили о другом, ибо с трудом сдерживали кристаллы слез, которые, хоть и не скатывались по ланитам, но ресницы увлажняли. Октавио ликовал, что в скором времени осуществит свои упования, Лаура же, во власти все усиливавшегося гнева, избегала Лисардо — не оттого, что не любила, а оттого, что была уязвлена его неблагодарностью. Лисардо тысячу раз порывался переговорить с нею, но отступался и потому, что слишком скорбел, и потому, что знал, какой твердый нрав у его двоюродной сестры.

Ночь для обоих влюбленных прошла так, как проходит она для тех, кто знает, что беда все близится; и во время трехдневных празднеств,

которые прошли сразу же вслед за нею — словно для того, чтобы побыстрее доконать Лисардо, — были сделаны оглашения. За это время Лисардо и Лаура не обменялись почти ни единым словом, разве что глаза обоих порой давали себе какую-то волю. Лаура скрывала свои чувства, а Лисардо страдал; оба молчали и оба разрывались от желания рассказать друг другу о своих муках.

День свадьбы приближался, все только и шептались, что о предстоящем веселье, и беспокоились лишь о приготовлениях к празднеству, за исключением одного Лисардо, который призывал смерть, а та не шла, ибо смерть никогда не приходит на зов. И вот однажды вечером, оказавшись наедине с Лаурой, он поддался силе своих горестей и потоку своих тревог и в немногих словах поведал ей о постоянстве своей любви и о том, на какую хитрость пошел его жестокий дядюшка, дабы Лисардо сам накликал на себя погибель; и при этом он так плакал и так искренне вздыхал, что Лаура поверила бы, даже не будь все это истинной правдой. Скорь Лауры стала еще мучительней, когда она поняла, как несправедливо то, что она теряет Лисардо; влюбленные стали просить прощения друг у друга и вспоминать былые радости, ведь при расставании они всегда вспоминаются. Лаура обняла Лисардо, и ей подумалось, что он для нее — святое прибежище, где нашла бы она защиту от отца, который ее преследует, и от жениха, который ей не по сердцу. Они распрощались почти без слов, ибо множество гостей и великая суета в доме не давали им возможности даже выразить скорь, которую испытывали оба, теряя друг друга.

Наступил самый несчастливый день в жизни Лисардо, и подумалось ему, что в эту ночь Окта-

вио удостоится объятий Лауры; чудо, что при этой мысли остался он в живых; он выбежал из дому и поспешил к одному своему другу по имени Алехандро, поверенному всех его горестей. Рассказал он другу о своем несчастье и попросил у него коня (коней у Алехандро было несколько), чтобы не медля ни мгновения покинуть Авилу). Лисардо сказал другу, что готов терпеть боль от раны, но не хочет видеть руку, которая ее наносит, а потому решил отправиться в Севилью, дабы выхлопотать себе разрешение выйти в море на каком-нибудь судне, направляющемся в Сьюдад-де-лос-Рейес¹, где, по его сведениям, находится его отец; ведь человек благородный и любящий не должен видеть в объятиях другого ту, которой достоин сам. Алехандро согласился с решением друга, ибо разлука почитается обыкновенно лучшим лекарством от воспоминаний. Перед отъездом, дабы осталось у Лауры хоть что-то на память о том, кто так ее любил, Лисардо послал ей черную ленту со своими инициалами и, дабы поведать о своих чувствах, взялся за перо и написал нижеследующие стихи — а стихи он умел слагать довольно искусно — к вящей убедительности своей скорби; повод требовал, чтобы они были скорее нежными, чем изощренными, и звучали они так:

Примите, моя Лаура,
Прощальный подарок сей,
Он значит — конец надеждам,
Конец и жизни моей.

Дарю вам черную ленту:
Пусть скажет печальный цвет,

¹ В Севилье находилась так называемая Палата Индий, ведавшая всеми сношениями с американскими колониями Испании. Сьюдад-де-лос-Рейес — старое название города Лимы, столицы Перу.

Что в траур душа оделась —
Ей радости больше нет.

Что горя такого горше?
Велит мне судьба моя,
Чтоб вы достались другому,
Чтоб с вами расстался я!

И лишь одно утешенье
В сей скорби может мне быть:
Пусть не познаю блаженства,
Но не смогу разлюбить.

Сказали мне, что Лаура
Грустит средь толпы гостей,
И стражду от вашей боли
Сильнее, чем от своей.

Не надо грустить, сеньора,
Молю вас, не лейте слез:
Умру от вашего горя,
Свое бы я перенес.

Для вас потерять Лисардо —
Не Бог вещь что потерять;
Я ж, вас утратив, могу лишь
От мук любви умирать.

Хотел бы сказать я больше,
Но льется из глаз вода,
И расплываются буквы,
Прощайте же навсегда.

Лауре вручили послание двоюродного брата, и, прочтя его, она растрогалась, как того заслуживала правдивость чувств, в нем описанных; представила она себе обстоятельно, сколь безрадостная жизнь ждет ее без Лисардо; рассудила, что любить одного и принадлежать другому опасно для ее добродетели; вспомнила про даму, любившую Лисардо, и ей пришло на ум, что если она выйдет за Октавио, Лисардо всенепреренно отомстит за

причиненное ему горе, влюбившись в эту даму либо искренне, либо притворно, чтобы причинить боль ей, Лауре. В этих думах не заметила она, как наступил вечер; увидела, как многолюдно и шумно у них в доме; у Лауры полно было родичей, ибо она была знатна; у Октавио же — и того больше, ибо он был богат; справилась Лаура, где Лисардо, и ей сказали, что в доме у друга, которого она знает; сжалось у нее сердце, и почувствовала она, что невмочь ей полюбить другого, нечего и пытаться; эта мысль вытеснила все остальные; посоветовалась Лаура с голосом сердца, который призывал ее ввериться двоюродному брату, ибо это означало жить в радости, наслаждаться обществом Лисардо, спастись от смерти, руку и сердце принести в дар тому, кто заслужил этот дар многолетней верной любовью. Лауре было по сердцу все, что сулили ей надежды, но ее страшила суровость родителей и пересуды, которые вызывает огласка таких происшествий; однако она тут же овладевала собой, говоря мысленно: «Я единственная дочь, и даже самый жестокий отец со временем уступит и мольбам, и голосу милосердия; а что до пересудов толпы, что смогут сказать люди, когда увидят, что я принадлежу тому, кто стал мне супругом? Разве не хуже будет, если обо мне начнут судачить после того, как я выйду за Октавио? Ведь если женщина не любит мужа, от нее только и жди безумных поступков. Стало быть, смелее, сердце, ибо я не могу отдать тебя другому властителю. Ты предназначено Лисардо, для Лисардо рождено, не бывать же тому, чтобы всего лишь из-за глупых людских мнений утратила я разом и жизнь, и радость любви».

И вот, отважно решившись предпочесть смерть с Лисардо жизни с тираном, ее ожидавшей, и ви-

дя, что народу в доме собралось великое множество, схватила Лаура второпях длинную накидку, увязала в платочек все свои драгоценности, незаметно замешалась в толпу женщин, пришедших под покрывалами, и сама почти не осознала, как очутилась на улице и добралась до дома Алехандро. Алехандро показался ей грустнее, чем ей бы хотелось; осведомилась она о своем супруге, ибо теперь называла Лисардо именно так, а не братцем: ведь она сама за ним пришла, и чтобы не заслужить обвинения в ветрености, нуждалась в слове, которое стало бы ей более веским оправданием. Алехандро отвечал, что три часа тому назад на коне, быстром, как ветер, Лисардо отбыл в Севилью; и бежал он из родных краев, ибо не верил в возможность такого счастья.

Выслушала его Лаура, и чудо, что осталась жива при вести, которая не могла не вызвать самое великое отчаяние. Обморок похитил розы у нее с ланит, так что белизной они превзошли лилии, хоть прежде соперничали с алыми гвоздиками. Хотел было Алехандро утешить Лауру, вверив ее и себя двум скакунам, но не отважился, ибо она чуть не умерла и важнее всего было дать ей оправиться от тяжкого удара, а не подвергать ее жизнь опасности; к тому же на дорогах, по которым им неминуемо пришлось бы проезжать, они могли бы попасть в руки врагов, ибо об исчезновении Лауры рано или поздно станет известно. Поэтому он решил, что самое безопасное — это отвести Лауру к одной своей родственнице, даме весьма благородной, а потому заслуживавшей доверия. Так он и сделал, и дама эта приняла Лауру с бесконечной любезностью и приветливостью, ибо состояла в большой дружбе с нею; но будь они и незнакомы, Лаура расположила бы ее к себе, ибо лицо ее



пленяло даже женщин. Алехандро устроил ее там, вознамерившись через два дня выехать на поиски Лисардо, дабы прервать путешествие друга, сообщив ему, что он не так несчастлив, как полагает.

В ту пору в доме Лауры уже начался переполох, Октавио потерял голову, родичи его были уязвлены, родители Лауры пришли в смятение, и все суетились без толку; но когда обнаружилось, что Лисардо тоже исчез, все случившееся приписали его злому умыслу и объявили его главным виновником несчастья. Отец Лауры решил отправиться на поиски племянника, дабы отплатить ему суровой карой в соответствии с тяжестью преступления. Октавио пожелал сопровождать его, дабы проверить, не развеется ли его любовь при столь явном разочаровании; и поскольку Лисардо сказал как-то раз, что очень хотел бы увидеть знаменитый город Мадрид, столицу Филиппа IV, достославнейшего монарха обеих Испаний, решили разыскивать юношу там, в то время как тревоги направляли его к смерти, а помыслы — к Севилье.

Алехандро очень обрадовался промаху обоих и явился проститься с Лаурой. Он сказал, что хочет отправиться на поиски друга, ибо уверен, что в случае промедления, быть может, не сыщет Лисардо там, где рассчитывает. Лауре пришлось по душе подобное доказательство дружбы, но она не захотела оставаться в Авиле и упросила Алехандро взять ее с собой. Они сговорились выехать ночью, ибо страшились, как бы их не опознали. Алехандро взял с собой одного-единственного слугу, в котором был уверен, и порядочно денег на тот случай, если путешествие закончится не так скоро, как им хотелось бы.

Лисардо же думать не думал о подобном счастье; и собственная жизнь настолько была ему

в тягость, что, как видно, небо, тронувшись его мольбами, восхотело лишить его оной, ибо при въезде в одно небольшое селение конь споткнулся так несчастливо, что Лисардо, застигнутый врасплох, при падении ушиб ногу. Боль была мучительной, и Лисардо заподозрил, что дело худо, ибо не мог шевельнуться. Наконец, несколько землешцев, услышав его стоны, бросили работу и, побуждаемые милосердием, отнесли его на руках в селение, где был всего один постоялый двор. Там Лисардо нашел приют и лечение, причем ушиб оказался такой сильный, что пришлось ему провести там больше недели, покуда наконец не оказался он в состоянии продолжать путь. Тем временем Лаура и Алехандро обогнали его на два дневных перехода; они даже проехали через то самое селение, где Лисардо лечился.

Как-то вечером, отдыхая на одном постоялом дворе и предаваясь печали, понятной в его положении, взял он гитару и запел следующий романс, дабы рассказать свою историю стенам отведенной ему комнатки:

Пустился Лисардо в путь.
Расставшись с Лаурой милой;
Его истомила ревность,
Любовь его истомила.

Провидит он скорбь разлуки,
Что ждет его на чужбине,
И вот прощается, грустный,
Со всем, что покинул ныне.

Прощай, родная земля,
Мне мачеха ты на деле:
Хоть прожил здесь двадцать весен,
Уйду чужаком отселе.

Прощай семья моих близких,
Не сложны меж нами счеты:

Я дружбу дарил вам, вы мне —
Отеческие заботы.

Прощай университет,
Ты гордость нашего края,
И я тебе всем обязан,
Если хоть что-нибудь знаю.

Прощай вечерняя свежесть
Улочек, тихих и тесных,
Где жизнь проводят нарциссы
Под окнами нимф прелестных.

Прощай уголок мой скромный,
В стенах твоих плакал прежде
Я о надежде живой,
Но больше не жить надежде.

Прощайте друзья мои!
Изменчивую Фортуной
И с вами я разлучен,
И с радостью жизни юной.

Родная земля, семья,
Дом и университет,
И улицы, и друзья, —
Прощальный вам шлю привет:

Скорбя со мной, мои оплачьте муки:
Я ангела люблю, умру в разлуке!

Память ни на миг не давала покоя Лисардо, и он не мог совладать с нею: вспоминалась ему Лаура (можно ли сомневаться?), виделась она ему в объятиях Октавио, и представлялось ему, что она позабыла про любовь двоюродного брата, ибо и самое сильное чувство подвластно забвению при разлуке. Он добрался до Адамуса под вечер, было еще рано, и он решил не ложиться спать, хоть сон и был ему нужен; но нет отдыха тому, чьи тревоги и печали постоянно бодрствуют. Из Адамуса он

выехал среди ночи, а ночь была такая темная, что не разглядеть было и земли под ногами. Луна скрылась, оскорбленная тучей, каковая решилась покуситься на ее блеск, так как тьма готова посягнуть на самый свет, однако ж не безнаказанно, ибо ее детища скоро узнают, и притом ценою собственного унижения, что они всего лишь испарения земли, а хотели тягаться с небесным сиянием. Но на что не дерзнет невежество в пылу самомнения либо, верней сказать, завидуя достоинствам, для него недоступным? Кто удержится от смеха при виде человека, который заслуживает прозвания «буквоед» (ибо знает только буквы алфавита) и который, упиваясь собственным великим умом и восхищаясь собственной великой образованностью, держит речи и пишет сочинения, направленные против того, кого хвалят все? Человек, или буквоед, или кто ты там есть — впрочем, кто покорствуешь зависти, не Бог вещь какая величина, — какой тебе прок от того, что ты омрачаешь солнце и посягаешь на божественные его лучи, коль скоро сам ты родился тучей и неминуемо сойдешь на нет от того же солнечного жара? Какой толк, что твой разум (когда можно считать тебя разумным) порицает сочинения, ценимые всеми, коль скоро никто тебя не слушает, ибо голос твой в силах завоевать лишь твой собственный слух? Напиши что-нибудь, попробуй сложить поэму, ведь нельзя составить себе имя, лишь порицая чужие творения; но Сенека дарит тебе прощение, ибо завистник способен лишь таять и чахнуть, потому что ему отказано в том, чему завидует он в других. Но оставим эту тему: горькие истины при всей своей истинности не всем по вкусу.

Короче сказать, ночь была такая темная, что Лисардо почувствовал некоторую тревогу, ибо

знал, что места здесь опасные; и вдруг расслышал он совсем близко шорох. Шорох в такое время показался ему подозрителен; соскочив с коня, он обнажил шпагу и тотчас увидел неясную фигуру, притаившуюся под покровом тьмы за кустом. В один и тот же миг Лисардо успел приставить шпагу к груди неизвестного и спросить, кто он такой; но тот, нимало не устранившись, отвечал, что коли хочет путник остаться в живых, пусть покорно отдаст все, что имеет при себе, не то сам себя погубит, ибо его сотоварищи, а их больше, чем могло бы показаться, изрубят его в куски.

Лисардо подумал, что грабитель хитрит, угрожая появлением соучастников, чтобы вернее добиться своего; и вверив ответ шпаге и отважно-му своему сердцу, он стал действовать ею с такой лихой удалью, что противнику пришлось обороняться, отступая, но он свистнул, и на свист и звон шпаг сбежалось больше народу, чем можно было заподозрить. Все скопом стали наступать на Лисардо, и бедный кабальеро отбивался с ловкостью, которой учила его необходимость; так что даже один из противников, видя столь явные проявления отваги и полагая, что было бы досадно, если б погиб насильственной смертью тот, кто так искусно умеет защищать свою жизнь, встал около него и, пустив в ход шпагу и окрики, удержал сотоварищей. Оборотившись к Лисардо, сказал он, что главное намерение всех, кого он тут видит, — грабить, но не лишать жизни, хотя при чрезмерно яростном сопротивлении корыстолюбие оборачивается мстительностью, а дерзость — открытым насилием; по сей причине он умоляет путника, который пришелся ему по нраву своим доблестным духом, не приближать мгновения собственной смерти; пусть последует за ними нынче

ночью, хотя бы для того, чтобы укрыться от непогоды и залечить легкую рану на кисти правой руки.

Лисардо отвечал на это, что он-де не настолько ценит жизнь, чтобы почитать таким уж счастьем то обстоятельство, что ему щадят оную; но чтобы не выказать неблагодарности по отношению к тому, кто с таким благородством дарует ему жизнь, он с бесконечной признательностью дает свое согласие. Отдав разбойникам шпагу и показав, где он оставил коня, Лисардо пошел вместе с ними, размышляя о превратностях судьбы, коим подвергается по милости несчастливой своей звезды, хотя, поскольку он привык терять то, что любил, происходившее не казалось ему такой уж великой бедой.

Они добрались до потаенных пещер, сотворенных самой природой; такие пещеры служат обыкновенно пристанищем пастухам, которые в декабре страждут под низвергающимися с небес ливнями, а в июле вынуждены терпеть жгучий солнечный жар. В одну из пещер они вошли; на рану Лисардо наложили немного бальзама, средства общепринятого и целительного при всякого рода внезапных случаях. Затем у Лисардо отобрали все, что у него было: разбойник может быть настолько милосерден, что не лишит свою жертву жизни, но никогда не откажется от добычи.

Бедный Лисардо остался в одиночестве и вновь погрузился в думы; перебирая мысленно все свои многочисленные горести, он говорил: «О Лаура! Кто бы мог подумать, что мне не только придется расстаться с блаженной надеждой удостоиться твоей руки, но судьба моя еще умножит и усугубит гонения? Я помню твои обьятия, помню бесчисленные нежные слова, что ты мне говорила, помню

знаки любви, которыми я упивался; и в отличие, наверное, от всех других влюбленных, я довольствовался этими милостями, не требуя большего вопреки Овидию, утверждающему, что влечение влюбленного не знает покоя, ибо у него всегда есть, чего домогаться, и нет того, чего он жаждет».

Думы эти вызвали в душе у Лисардо еще большую нежность, и он стал взывать к Лауре, говоря: «Любимая, отвергни дары твоего супруга! Уклонись от объятий того, кому тебя отдали как достойнейшему! Пробудись от блаженного сна и приди утешить несчастливца, который не смог удостоиться твоей руки! Ведь познать счастье, а затем утратить оное значит на всю жизнь ввергнуть в оковы свое чувство!»

Так призывал Лисардо Лауру, полагая, что она далеко; однако ж у него были основания звать ее, ибо находилась она столь близко, что могла бы слышать сетования и ответить на его зовы: их разделяла лишь часть скалы, служившая стеною двум смежным пещерам. Обоих постигла одинаковая участь, ибо поскольку обе эти души жили единой любовью, небеса не могли обидеть Лауру, не оскорбив Лисардо, ни посягнуть на Лисардо, не разгневав Лауру.

Дело в том, что Лаура предыдущей ночью проезжала по этим же местам в обществе Алехандро и с одной только мыслью — поскорей увидеть Лисардо; и вот путь им преградили шестеро неизвестных. Набросившись на Алехандро, они лишили его возможности доказать на деле, что он родился рыцарем, хотя в подобных случаях сопротивляться — значит проявлять опрометчивость, а не мужество; разбойники отобрали у него шпагу и все, что при нем было. Он подумал было, что и с Лаурой они поступят подобным же образом, но

тут один из нападавших — и самый дерзновенный из всех — взгляделся в нее и подумал, что дабы расположить ее в свою пользу, лучше не пускать в ход насилие, какового можно было ожидать от его алчности. Он распорядился, чтобы никто и подумать не смел отбирать у нее хоть что-либо, усадил ее на мула и отправился вместе с ней в свое логово в надежде той же ночью насладиться ее красотой. Лаура, видя, что она лишилась возможности догнать Лисардо и оказалась во власти этих гнусных людей, от всей души призывала смерть и, обратив взоры к небу, произносила безумные речи; она вызывала такую жалость, и слезы так ее красили, что ее недруг, видя, что она и во гневе прекрасна, распалился еще больше и был готов, нечестивец, на самые беззаконные посягательства.

Добрались они до неприятного его прибежища, смежного с пещерой, служившей тюрьмою Лисардо, и тут похотливый поклонник стал потчевать ее разными разностями, коих было у разбойников в избытке за счет окрестных селений. Алехандро был доставлен сюда же; он мог обрести свободу, но отказался, увидев, в каком положении оказалась Лаура; ей в угоду с ним обращались достаточно учтиво, ибо она сказала, что это ее брат.

Прекрасная девица трепетала, видя, что оказалась во власти злодеев: ведь прибегни этот человек к насилию, ей оставалось бы либо самоубийство, либо гибель. Но ей выпала на долю удача, если это слово уместно, когда речь идет о девице, попавшей в такое положение. Дело в том, что предводителю всей шайки, человеку весьма решительному и мастеру владеть оружием, так полюбилось ее лицо, что он стал защищать ее, ибо не мог притязать на нее сам, поскольку была она добычей другого, почти столь же могущественного, как

и он; и, завидуя сопернику, атаман решил помешать тому насладиться пленницей, приписав милосердию то, что было вызвано завистью или ревностью. Лаура обрадовалась их соперничеству, увидев, что один будет защищать ее от другого, покуда небо не откроет ей способа обрести свободу. И поскольку эти двое, наводившие страх на жителей здешних мест, пытались вызвать искру веселья и радости в божественных очах Лауры, они повели ее поглядеть на их логова, причем предводитель поручился, что ей не грозит ничего, что было бы против ее воли.

Прибыли они туда, где находился Лисардо, который в те поры поневоле предавался отдыху, побежденный милосердным сном. И вот, когда робкая красавица разглядывала разные разности, скорее в угоду обоим поклонникам, которые их показывали, чем потому, что ей все это нравилось, пришла весть, что альгвасилы одного селения, в коем шайка оставила по себе не самую добрую память, двинули против них отряд. Оба разбойника всполошились и, забыв про любовь, стали думать, как отбиться: ведь когда под угрозой честь или жизнь, любовное влечение чаще всего перестает заявлять о себе, особенно, если еще не пустило корней; хотя, когда любви много лет или она связала любящих многими обязательствами, нет невозможности, перед которой она бы отступила, и опасности, которой она бы утратилась.

Итак, разбойники отправились на разведку, и Лаура осталась одна, не зная, что каких-нибудь четыре шага — и она обретет все, чего жаждет ее душа. Она прошла в глубь пещеры, размышляя о том, сколь жалка жизнь разбойников, ищущих свою удачу в чужом несчастье; в этом смысле разбойники схожи с завистниками, от коих избав-

лены лишь несчастливцы, ибо нет у них того, что вызывает муки зависти; впрочем, муки эти, как видно, самим завистникам не во вред, ибо они живут и здравствуют, хоть внутренности у них и отравлены желчью. Так размышляла Лаура, когда почувствовала, что споткнулась о чье-то тело; и думаю, споткнулась не в первый раз. Вгляделась она и увидела человека, платившего необходимую дань своему усталому телу. Она опустила светильник, чтобы получше разглядеть лежащего, ибо женщины всегда грешат любопытством, даже если окажутся на краю гибели. Разглядела она его и переменялась в лице; пригляделась пристальней и увидела в пальцах у него чей-то портретик. Взяла Лаура портретик, поднесла к глазам и увидели они ту, чей лик украшали. «Уж не зеркальце ли», — подумала Лаура и повертела свою добычу — стекла не было. Снова повернулась она к спящему, чтобы узнать правду, — и узнала своего любимого, нашла Лисардо.

Лаура возликовала, но тут же испугалась, как бы не повредила Лисардо благая неожиданность: ей вспомнилось, сколь часто внезапная и нечаянная радость оказывалась причиной смерти. Села она возле двоюродного брата, а тот, ощутив поцелуй и услышав вздохи счастья, пробудился и удивился тому, что видит свет там, куда так редко проникали солнечные лучи. Он в тот миг еще не разглядел Лауры, ведь пожаловаться на тьму в ее присутствии значило бы оскорбить ее очи; она же прикрыла лицо мантильей, чтобы радость узнавания была не столь внезапной, и мантилья служила ее красоте серебристым покровом, шелковым облатком, что прячет сияние.

Лисардо удивился появлению незнакомки и, видя, что наряд ее и украшения свидетельствуют

о благородстве, стал молить, чтобы она откинула покрывало или хотя бы поведала о превратностях судьбы, из-за коих попала в столь горестное положение; он обязуется ответить тем же, рассказав, если ей будет угодно, о горестях, терзающих его самого и столь многочисленных, что наименьшей из них представляется ему то, что он оказался во власти извергов, и жизнь его зависит от их прихоти. Тогда Лаура, не желая оттягивать миг радости, которую могла ему доставить, откинула покрывало и обняла Лисардо; и он впился в нее пристальным взглядом, сомневаясь, и впрямь ли проснулся. Он то верил глазам своим, то не мог поверить даже прикосновениям, но истина победила сомнения. Влюбленные долго хранили молчание, ибо радость мешала им расспрашивать друг друга, как они сюда попали. Когда же оба сообщили друг другу о своих приключениях, Лисардо сказал, что поскольку они очутились одни, самое лучшее спастись бегством от столь явной опасности.

Но только вышли они из пещеры, собираясь оповестить обо всем Алехандро, который знать не знал про новость, как вернулись во множестве разбойники, удостоверившиеся, что тревога была ложная. Тут разбойники ошибались. Кордовские блюстители порядка разыскивали их всю ночь, но из-за темноты и ненастья отряд разбрелся, люди заблудились и не могли найти ни друг друга, ни неприятеля; однако же с рассветом они вновь объединились и, добравшись до места, о котором было сообщено заранее, услышали шум и поняли, что здесь, скорее всего, и держат оборону дерзкие грабители; и они окружили разбойников и взяли в плен, прежде чем те успели бежать или оказать хоть малейшее сопротивление. Тогда один из полонников злополучной Лауры, а именно атаман,

не в силах совладать с вожделием и полагаясь на свое всевластие, схватил Лауру, приставил пистоль к груди Лисардо, который попытался защитить ее, как подобает влюбленному и как должно честному человеку, и потащил красавицу в пещеру, где находился Алехандро. Но когда злодей понял, что блюстители порядка близко, и если он угодит к ним в руки, ему несдобровать, он потайным ходом выбрался из пещеры в долину, причем успел подхватить Лауру, которая не могла защищаться, ибо при виде опасности, грозившей Лисардо, потеряла сознание. Атаман вскочил на кобылу, которую всегда держал наготове для таких случаев, и помчался со своей пленницей по полям, одурачив преследователей.

Лисардо не повезло, ибо он попал в разряд пленных; и хоть он заявил о своем благородном происхождении, толку от этого не было, ибо многие из преступников, пытаясь защититься, утверждали, что они-де не злодеи, а несчастные, у которых разбойники отняли имущество и которых держали в пещерах, намереваясь лишить жизни; и блюстители порядка, дабы не спутать ненароком правых с виновными, уравниали тех и других и отвели всех в ближайшее селение, а оттуда — в Кордовскую тюрьму. Там и очутился бедный Лисардо; и тщетно пытался он доказать свою невиновность и молил о справедливости: не было у него ни друзей, которые бы за него поручились, ни денег, которые бы расположили судейских в его пользу, а потому дело его не сдвигалось с места, поверенные были глухи, а судьи довольствовались неверными сведениями.

Еще удручало Лисардо то, что не было у него вестей от его любимой Лауры и верного друга Алехандро. Алехандро же оказался столь надеж-

ным в дружбе, что, увидев, как дерзкий разбойник увозит, решившись на явное насилие, прекрасную Лауру, вскочил на того самого коня, которого злодеи отобрали у Лисардо, и, повинуясь благородному порыву и не желая допустить, чтобы негодяй осквернил невесту друга, помчался за ним вдогонку, полный удали и отваги. И поскольку правота была на стороне Алехандро, а разбойникам неизменно присущи боязливость и трусость, преданный друг догнал похитителя быстрее, чем можно было вообразить. Неправедный Атлант — назовем его так, ибо он поддерживал небо, одаренное душою, — увидел, что Алехандро вот-вот его догонит, и сообразил, что если остановится, дабы сразиться за сокровище красоты, блюстители порядка его настигнут, и желание их исполнится; а потому, дабы облегчить себе бегство, он сразу же выпустил Лауру из объятий: так бобер, загнанный охотниками, сдирает клочья шкуры, оставляя преследователям то, чего они домогаются, дабы от них избавиться. Это, однако же, не помогло разбойнику, ибо его тут же схватили крестьяне, и он был уведен вместе с сотоварищами, дабы собственной смертью заплатить за смерть такого множества жертв.

Невозможно передать, сколь пылкую признательность изъявила Лаура отважному Алехандро за мужественное его деяние; довольно того, что читатель знает: она обладала тонким умом, и неблагоприятность была ей чужда. Добрались они вдвоем до селения и, узнав, что Лисардо увели вместе с прочими арестованными, отправились в Кордову.

И вот однажды утром, когда Лисардо размышлял о своих злоключениях, а было их столько, что он даже свыкся с ними, хоть и ждал дня, когда Фортуне надоест его преследовать, увидел он

мужчину и женщину под покрывалом. Они с величайшей нежностью бросились обнимать узника, который, узнав Алехандро, без труда догадался, кто эта дама, и бросился к ногам обоих, ибо люди, попав в беду, научаются ценить благодеяния. Они долгое время беседовали втроем, и было решено добиваться освобождения Лисардо; с этою целью, а также и для других нужд, Лаура передала Алехандро кое-какие украшения из тех, что взяла с собою, попросив его продать это. Алехандро так и поступил, хотя и потерял на том немало — обычный налог с тех, кто продает драгоценности по необходимости и имеет дело с ювелирами. В тот же вечер было получено решение о невиновности Лисардо, поскольку о ней и так было известно, а также поскольку появились деньги, действующие на судейскую братию, как шпоры на коня. Итак, судьи признали, что держать кабальеро, да еще без всякой вины, в тюрьме для простонародья — низость, и Лисардо собрался было покинуть тюрьму, когда вдруг было получено предписание посадить его под замок за другие провинности.

Лисардо изумился, Лаура разрыдалась, Алехандро опечалился, и все трое пребывали в смятении и боязни; но тут Лисардо догадался, в чем дело, ибо, приглядевшись к двум мужчинам, входившим в узилище, узнал Октавио и сурового отца Лауры. Лаура, вся во власти оправданного страха, порожденного дочерним почтением и стыдом, была ни жива ни мертва, и чему дивиться, коли видела она, какие грядут беды: ее Лисардо в заключении, на чужбине, и единственное, что говорит в его пользу, — это его любовь; ее отец разгневан, и нет сомнения, что он не будет считаться с честными оправданиями Лисардо; а более

всего печалило ее присутствие Октавио, поскольку с него начались все ее несчастья. Она не догадывалась толком, какие намерения привели их сюда, хоть и было ясно, что и отец, и жених считают Лисардо ее похитителем, поскольку двоюродный брат и сестра исчезли в один и тот же день.

На самом же деле произошло вот что: старик, как из любви к дочери, так и желая отомстить племяннику, отправился на его поиски в столицу вместе с Октавио. Не обнаружив там никаких следов Лисардо, он решил поехать в Андалусию, поискать в главных ее городах; и, приехав в Кордову в тот самый день, когда должны были освободить Лисардо, он встретился с одним своим давним другом, вместе с которым в ранней молодости побывал во Фландрии; старик стал его расспрашивать о городских новостях и среди прочего узнал, что в тюрьме находится один кабальеро, которого ограбили разбойники с большой дороги и которого надо опознать, ибо в своих показаниях он утверждает, что является уроженцем города Авилы. Старик насторожился и, расспросив своего собеседника подробнее, выяснил, что заключенный кабальеро — тот самый недруг, которого он ищет; и узнав, что Лисардо должен вот-вот выйти из тюрьмы, он переговорил с судьями и подал жалобу на племянника, поведав о предательстве, совершенном сим последним по отношению к собственным родичам. Судьи тут же распорядились о том, чтобы юношу не только задержали в тюрьме, но и усилили надзор за ним. После чего старик вместе с Октавио отправился к Лисардо, дабы послушать, что тот скажет.

Лаура, призвав на помощь свой разум, если только оный не пропадает, когда несчастье обрушивается с такой внезапностью, как можно тща-

тельнее прикрылась вуалью, Алехандро же надвинул шляпу — на глаза и прикрыл лицо полою плаща; оба отошли от Лисардо и вступили в разговор с другими заключенными. Старик и Октавио подошли к Лисардо и, поздоровавшись, спросили его, где Лаура; Лисардо же отвечал, что не только не похищал ее, но никогда в жизни и мысленно не отважился бы на подобное; и он говорил правду, ибо, хоть и любил ее с такой пылкостью, никогда не решился бы поступиться уважением к возлюбленной ради того, чтобы насладиться ею; ему не хотелось походить на тех — а их немало, — кто похваляется любовью к женщине и, дабы насладиться, совершает поступки, которые неизбежно ставят под угрозу и доброе имя, и жизнь возлюбленной. Лисардо утверждал, что такие люди заботятся не о чести своей дамы, а лишь о том, чтобы достичь наслаждения, и потому любовь их не может почитаться истинной: коль скоро любят так безрассудно, что во имя наслаждения наносят урон доброй славе возлюбленной и допускают ее бесчестие, то, стало быть, возлюбленную не уважают, а ненавидят. Одним словом, Лисардо отказался признать себя виновным, ибо во всех случаях это надежнее и, пока истцы ищут доказательств, ответчик выигрывает время. Старик разгневался, ибо ему показалось, что Лисардо намеренно доставляет ему огорчения и тем гордится; Октавио же осыпал узника оскорблениями, ибо ревность, любовь и беззащитность недруга придавали ему духу и даже служили оправданием. И, передоверив блюстителям правосудия задачу добиться от Лисардо признаний, оба удалились.

Лисардо поведал обо всем другу и возлюбленной, и Алехандро посоветовал ему обвенчаться с Лаурой, ибо в этом случае Октавио будет не на

что притязать, а старику — гневаться. Влюбленные одобрили эту мысль, но трудность заключалась в том, что они состояли в родстве, а времени на то, чтобы исхлопотать разрешение на брак, не хватало. Алехандро, однако же, сказал, что унывать незачем, и все должно уладиться, ибо сегодня как раз почтовый день, а у него есть в Мадриде дядя, состоящий членом Королевского совета; он ему напишет и попросит как можно скорее раздобыть разрешение на брак.

Так он и сделал, живо описав в письме, каким опасностям подвергаются те, для кого надобно получить разрешение. Затем отец Лауры начал тяжбу, на которую пришлось раскошелиться обеим сторонам, ибо судейские обирали и тех, и других. Алехандро поместил Лауру в доме у одной знатной сеньоры, которая стала ей покровительствовать и как приезжей, и как юной девице, а сам нанял мула и отправился в село, где Лисардо лечился после своего падения и где все опрошенные клятвенно заверяли, что во все время болезни Лисардо пребывал в одиночестве и с ним никого не было. По возвращении в Кордову Алехандро передал эту бумагу поверенному Лисардо, и поверенный посоветовал Алехандро исчезнуть, поскольку разбойники в своих показаниях утверждают, что захватили ночью женщину по имени Лаура, но в обществе не Лисардо, а другого кабальеро, имени коего они не знают, так как тот неизменно остерегался называть себя. Алехандро подумал, что ему грозит опасность, и укрылся в одном монастыре, ибо о дружбе его с Лисардо все знали, и нетрудно было догадаться, кто затеял все дело.

Тяжба продлилась несколько месяцев, и отец Лауры, видя, что Лисардо твердо стоит на своем, отрицая то, что, по мнению дядюшки, было непре-

ложной истиной, решился потребовать применения крайних мер, дабы племянник под пыткой сознался во всем, что скрывает за обманами и неправдами. Для судей слово старика весило куда больше, да к тому же нашлось немало таких, кто из-под палки дал показания против Лисардо, и поскольку улики оказались немаловажными, порешили блюстители справедливости — а сколь справедливо было решение, Богу ведомо — подвергнуть Лисардо пыткам. Решение это подвергло пыткам Лауру: она исходила слезами, ей было уже невмочь терпеть столько мук, и вот, чем допустить несправедливую экзекуцию, решила она предстать перед судом и объявить, что бежала из дому в одиночестве, и поддержкою была ей одна лишь воля, а причиною — то, что она не могла сочетаться браком с нелюбимым; и она сочла, что лучше уж предать свое доброе имя пересудам толпы, чем жить с человеком, которому поневоле желаешь смерти, дабы обрести хоть какой-то покой; а мужчину, вместе с которым ее захватили в плен разбойники, она не знает, он всего лишь защищал ее, видя, что она женщина и одна.

Так жила Лаура, считая мгновения и страшась, что из-за нее Лисардо подвергнется мукам; сам же Лисардо был готов к любым крайностям страдания, ибо отвага и пылкость были у него в крови. Однако небеса сжалились над столь истинной любовью и распорядились по-иному, ибо Алехандро послал Лауре со своим поверенным весть о том, что разрешение на брак получено вместе с прочими бумагами; Лисардо передал поверенному необходимые полномочия, и брак меж Лисардо и Лаурою был заключен. Враждебную сторону известили, что поскольку Лисардо является мужем Лауры, он может быть с нею, где ему за-

благорассудится; поверенный Лисардо привел с собой письмоводителя от нотариуса, который поручился, что видел Лауру; также предъявлены были разрешение на брак и прочие бумаги. Старик был так уязвлен и оскорблен всем этим, что, позабыв о милосердии к собственной дочери, но будучи не в силах позабыть о том, что по вине племянника лишился столь богатого зятя, стал преследовать Лисардо еще яростнее, обвиняя его перед судьями в том, что он нанес оскорбление его дому, пусть и в намерении стать супругом Лауры.

Тем временем Алехандро, полагая, что опасность миновала, поскольку Лисардо сознался в том, что они с Лаурой состоят в законном браке, перестал скрываться и появился в Кордове. Он собирался оспорить новое обвинение мстительного старика, который, проведая об этом, сразу же возбудил дело против него самого, и Алехандро оказался в тюрьме вместе с Лисардо, ибо старик представил доказательство того, что Алехандро и был главным орудием преступления, нанесшего непоправимый ущерб его семейству, ведь разбойники схватили вместе с Лаурой не кого иного, как Алехандро; при этом отец Лауры не жалел ни слов, ни усилий, чтобы представить как преступное предательство все поступки, которые были проявлением верной дружбы, ибо степень виновности определяют обстоятельства и ее можно увеличить с помощью слов.

Алехандро оказался в тюрьме вместе с другом, почти радуясь новому заключению, которое давало ему еще одну возможность доказать Лисардо свою преданность: вместе жилось им легче, ибо Лаура тоже была как узница и целый день не выходила из тюрьмы: чувство научило ее этому доказательству любви, немалому для женщины

ее лет, красоты и скромности; но того, кто умеет любить, мало прельщает то, что дается легко. Тяжбы и расходы множились, драгоценности Лауры, хоть и было их немало, кончились, а родичи Алехандро перестали ему помогать, поскольку считали, что, растрчивая имение на того, кто не сможет отплатить за щедрость, Алехандро выкачивает не столько дружбу, сколько безрассудство. Лисардо оказался в тяжком положении: тюрьма, бедность и гонения со стороны родственника и покровителя — каждого из трех этих обстоятельств довольно, чтобы человек лишился жизни. Видел Лисардо, что друг его Алехандро терпит из-за него столько злополучий, и не менее горько было видеть ему, что супруга его сносит оскорбления и ненависть собственного отца, и нет ей никаких радостей, а есть взамен одни только горести. Меж тем дошло до того, что ей пришлось расстаться с нарядными уборами и одеться попроще, дабы защититься от недобрых умыслов отца. Все это видел Лисардо, и все это терзало его душу. Лаура утешала его и даже обижалась на него за то, что он так страдает, и говорила, чтобы он из-за нее не печалился, потому что никаким несчастьям не одолеть ее любви, и у нее хватит духу выдержать и большие испытания ради его блага.

Выслушал ее Лисардо и обнял бесчисленное множество раз; восхвалял он ее красоту, превознес ее верность и объявил, что свойственны женщинам и благодарность, и постоянство; и если уж говорить правду, не будем отрицать, что коль скоро женщина решится полюбить, то нелегко забывает; по крайней мере Лаура убедительнейшим образом доказала эту истину, ибо любить человека, ставшего добычей забот, бедности и тюрьмы, — чудо, не часто свершающееся в этом мире.

Так мучились влюбленные, и однажды Лаура решила испробовать последнее средство, дабы проверить на себе, всегда ли красоте сопутствует несчастье. Хотела она найти способ смягчить отцовскую суровость; и вот попросила она одну сеньору, с которой сдружилась, известить Октавио, что в определенном месте за городом будет его ждать одна женщина, которая, пленившись молодцеватым его видом, хочет узнать, соответствует ли обличью душа и внешности — учтивость. Лаура хотела получить таким образом возможность поговорить с Октавио и убедить, воззвав к его рыцарственности, чтобы он перестал ее преследовать. Подруга одобрила замысел Лауры и послала к Октавио служанку с запиской, весьма ловко составленной. Октавио прочел записку и решил, что дама и впрямь в него влюбилась, ибо мужчине, да еще мнящему себя красавцем и известному богатством, чужды сомнения, особливо когда речь идет о делах любовных.

Лаура поехала на свидание в одной карете с подругой. Октавио же рассказал о своей удаче отцу Лауры и взял его с собой, дабы не скучать в пути, если никто не приедет и все окажется шуткой какой-нибудь дамы, пожелавшей посмеяться над приезжим. Вскоре, однако, он убедился, что дамы приехали раньше, чем он; дамы же, которым показалось, что с Октавио никого нет, попросили его пересесть к ним в карету. И тут Лаура с великими вздохами и с великой убедительностью стала описывать муки и страдания, которые претерпела из-за него; она напомнила, что не учинила ему никакой обиды, не ответив взаимностью на его чувство, ибо давным-давно многие годы любит другого, и призналась, что когда бы не любовь к Лисардо, она, конечно, полюбила бы

его, Октавио, ибо достоинства его заслуживают и любви, и признания. Она поведала ему также, в какой нужде оказалась, ведь если бы не помощь подруги и не драгоценности, которые она взяла с собой, им не на что было бы жить; а сейчас Лисардо в тюрьме, он беден и может уповать лишь на милосердие Октавио, которого она молит сжалиться над ними и доказать на деле, что он не хочет пособничать ее жестокому отцу.

Меж тем сей последний, видя, что Октавио задерживается, подошел поближе к карете и узнал свою дочь. Вспомнил он, скольких огорчений стоят ему ее беспутства — слово, которым люди старые называют то, что в былые времена приписывали молодости: ведь поскольку ни в каком зеркале себя в прошлом не увидеть, старики судят обыкновенно все провинности с величайшей суровостью. Вспомнил он также, сколько потерял, упустив такого зятя, как Октавио, и тут гнев его достиг высшей степени, ибо корыстолюбие извечно присуще преклонному возрасту. И вот накинулся он на дочь с кулаками, препоручив им отмщение, которого не смог добиться с помощью тяжб и тюрем. Лаура стала кричать, Октавио вступился за нее, а сеньора, приехавшая вместе с Лаурой, справедливо оскорбилась, видя, сколь мало ей оказывают уважения.

Все они учинили такой шум, что некий кабальеро, проезжавший с супругой в дорожной карете, счел своим долгом выйти из кареты в сопровождении нескольких слуг, дабы выяснить, что происходит. Этот кабальеро, человек привлекательной внешности и с выправкой военного, подошел поближе и, увидев, что отец Лауры дает непомерную волю кулакам, да к тому же обращает их против женщин, — что ненавистно всякому, кто обладает

врожденным чувством чести, — обхватил его обеими руками поперек туловища, стараясь унять. Старик обратил на него взгляд, дабы узнать, кто ему препятствует; и все остальные тоже глядели на вновь прибывшего, ибо мужественный его вид внушал уважение. Отец Лауры был взволнован и смотрел с изумлением. Но кабальеро, поскольку он-то гнева не испытывал, а потому мог лучше разглядеть старика, увидел тотчас, что перед ним собственный его брат, а одна из двух дам — Лаура, его племянница. И вот он прекратил борьбу, как из благородства, так и из родственной любви, и заключил в объятия брата и племянницу, хотя старик принял это не очень-то мирно. Тогда отец Лисардо осведомился, какова причина, которой довольно, чтобы родной брат оказал ему столь неприязненный прием после многолетней разлуки и в ту пору, когда он приехал навестить его, презрев дальность расстояний, а это не так уж просто для человека богатого. Лаура приблизилась к дядюшке и рассказала ему обо всем, что случилось, и о том, как она, выросшая вместе с двоюродным братом, полюбила его столь сильно, что стала причиной всех событий, каковые нам уже известны. Добросердечный дядюшка в знак признательности за столь честную любовь обнял племянницу многое множество раз и в кратких словах поведал, как приехал он в город, что зовется в Индиях Сьюдад-де-лос-Рейес, — ибо город, знаменитый серебряными копиями, достоин столь славного имени, — и там поступил на службу к одному касику, став управителем его состояния, каковое оценивалось более чем в восемьдесят тысяч дукатов; служил он ему с верностью, составляющей богатство тех, кто оно лишен; когда же касик умер, вдова его, испытывавшая к управителю приязнь, пред-

ложила ему занять место ее усопшего супруга; и видя, что он хотел бы вернуться в Испанию, оставила родину и близких, дабы поехать вместе с ним. И вот, когда они торопились к Кордове, услышали шум и, выйдя из экипажа, дядюшка Лауры увидел то, что ему и во сне не снилось.

Все снова стали обниматься, Лаура вышла из кареты и вместе со всеми отправилась знакомиться с прекрасной индианкой, а та была из красавиц красавица, ибо жизнь в холе и неге, среди утех и радостей часто сохраняет людям молодость. Увидели они и сына, который был при ней и который своим появлением на свет приумножил счастье, столь справедливо выпавшее его отцу. Затем красавицу индианку пригласили в карету Лауриной подруги, которая повезла всех к себе домой и, обрадовавшись удаче, захотела воспользоваться оной, ублажив столь почетных гостей. Все были предовольны, и только отцу Лауры было не по себе оттого, что брат его узнал, как тиранически он поступил со своим племянником. Сразу же по прибытии в Кордову Лисардо известили у приезде отца, и при мысли о том, какая великая выпала ему удача, юноша возблагодарил небо за милость, которую оно послало ему, сжалившись над его горестями, когда он менее всего того ожидал. Отец поспешил к сыну в тюрьму, увидел, что он бедствует, но держится при этом, как подобает мужчине, и наделен всеми теми качествами и достоинствами, которые отцу описывали; и отложив рассказ о собственных приключениях до того времени, когда сын выйдет из тюрьмы, отец Лисардо вместе со всеми отправился к судьям; и действовали они так успешно, что Лисардо, поручителем за которого выступил его отец, освободили в тот же вечер вместе с его другом Але-

хандро. Получив свободу, поспешил он к Лауре и к своей новой матери, а та, видя, сколь благородны все новые ее родичи, не раскаивалась, что покинула отечество.

Лисардо испытывал величайшее блаженство, став обладателем своей возлюбленной кузины, ибо ее объятия достались ему ценою таких великих невзгод. Октавио утешился, убедившись, что не смог насладиться подобным счастьем не потому, что не был достоин оно, но потому, что та, кого он прочил себе в жены, любила другого. Отец Лауры тоже был доволен, ибо желал богатого зятя и получил его.

Лисардо, памятуя о том, сколь многим обязан он своему другу, и заметив, как тот заглядывается на сестрицу его новой матери, приехавшую вместе с нею и с его отцом, принялся хлопотать, чтобы устроить ее брак с Алехандро, и поскольку та была хороша собой, а приданое ее оценивалось более чем в тридцать тысяч дукатов, хлопоты Лисардо следовало считать доказательством дружбы, а не зловредности. Все вернулись в Авилу, и Лисардо зажил там со своей двоюродной сестрой во взаимной любви и согласии. Любовь подарила им красивых детей, и они почитали счастьем, что, испытав столько невзгод, достигли все же желанной цели, ибо когда люди добиваются того, чего желали, все способствует приумножению радости, упрочению чувств и любви покойной и надежной.



Тирсо де Молина

ИЗ КНИГИ «ТОЛЕДСКИЕ ВИЛЛЫ»

НОВЕЛЛА О ТРЕХ ОСМЕЯННЫХ МУЖЬЯХ



Дело было в Мадриде, младшей столице-наследнице¹, которая отделилась от императорского Толедо, просватавшего ее и давшего ей в супруги одного за другим четырех величайших монархов мира — Карла V и трех Филиппов, — и ныне, став самостоятельной, выказывает куда меньше учтивости и покорности, чем должно, ибо, нарушая четвертую заповедь,

¹ Фраза построена на хитрой игре слов, связанной с тем, что по-испански города мыслятся в женском роде, и отделение такой «девицы», как Мадрид, выступает не просто как обособление от прежней столицы, а как разрыв со старой патриархальностью, выход женщин из-под власти отцов. При такой игре комплиментарное упоминание четырех испанских монархов XVI—XVII вв. включается в несерьезный, иронический контекст.

похищает у нее каждодневно не только жителей, но и власть отца, что столь достоин почтения. Там-то проживали в недавние времена три пригожие, разумные женщины: первая была замужем за казначеем богатого банкира, причем служба отнимала у ее супруга все время, и он приходил домой лишь в полдень, чтобы пообедать, и на ночь, чтобы поспать; муж второй был весьма известный художник, которому слава его кисти доставила работу в одном из самых знаменитых монастырей столицы, и он, рисуя там алтарь, трудился уже месяц с лишком, бывая дома не чаще, чем первый супруг, ибо праздники, когда он волей-неволей делал передышку, уходили на то, чтобы рассеять меланхолию, в которую сосредоточенность, требуемая ремеслом, обычно погружает живописцев; третья из женщин страдала от ревности и преклонных лет своего благоверного, которому перевалило за пятьдесят и у которого не было иного занятия, как терзать ни в чем не повинную бедняжку, а существовали они на изрядный доход с двух домов, стоявших в хорошем месте и приносивших достаточно, чтобы при усердии хлопотуньи хозяйки жить не хуже людей.

Все три женщины были подругами, ибо прежде жили в одном доме, и дружбе этой не мешало, что теперь их дома находились в разных концах города; мужья, следственно, тоже дружили меж собою, так что нередко две женщины заявляли своим владыкам, что идут проведать жену ревнивца; эта бедняжка не смела без мужа ступить за порог и не могла нанести ответный визит, а на праздничные

гулянья, в театр или на турниры и игру в арголью¹ ходила только с мужем².

Однажды собрались три подружки в доме ревнивца, и жена его стала жаловаться на горькую свою жизнь, на грубые придирки мужа, на ссоры, что бывали у них всякий раз, когда она ходила к мессе, — хоть и на заре и вместе с ним самим, муж ревновал ее даже к кружевам мантильи за то, что касаются ее лица, — а подруги, сочувствуя страдальце, утешали ее. Затем явились мужья; все шестеро сели полдничать и за столом решили, что в день Святого Власия — а оставалось до него немного — выйдут на рассвете из дому, чтобы поглядеть на короля, который, говорили, намерен после полудня отправиться в храм Богоматери в Аточе³, а как на тот же день приходился кумов четверг⁴, то надумали они захватить с собой съестного, чтобы в соседней роще должным образом отметить и этот праздник, который в календаре хоть и не обозначен, но справляется, пожалуй, пышнее пасхи. И немало труда стоило под-

¹ Арголья — слово арабского происхождения. Здесь: подвижное кольцо, сквозь которое надо было бросить деревянный шар.

² В Испании конца XVI — начала XVII в., в стране величайшего гнета, театр, полунеподвластный государству и церкви, был прибежищем ренессансной народной свободы. Одним из великих его завоеваний было право женщин играть на сцене и теоретическая возможность самостоятельно ходить на представления: по новелле, ревнивец хотел лишить жену этой привилегии.

³ Аточа — пригород Мадрида.

⁴ Кумов четверг — то есть третий четверг до карнавала — не был официальным церковным праздником. Замечание, что кумов четверг справлялся пышнее пасхи, начинает антицерковную, народно-смеховую тему, доминирующую во всей новелле и вызвавшую трехсотпятдесятилетние цензурные преследования.

ружкам добиться от глупого ревнивца дозволения, чтобы его жена тоже повеселилась с ними.

Пришел этот день, все славно закусили, потом подруги, усевшись на приятно пригревавшем солнышке, снова слушали бесконечные сетования бедной неудачницы, а мужа их тем временем катали шары в другом месте рощи. Вдруг женщины заметили, что неподалеку в кучке мусора что-то блестит, и жена ревнивца сказала:

— Милостивый Боже! Что это там сверкает так ярко?

Другие две посмотрели в ту сторону, и жена казначея сказала:

— Возможно, это драгоценность, которую потеряла какая-нибудь из дам, что собираются здесь, в роще, в такие дни.

Жена художника подошла поближе, пригляделась и вытащила из мусора перстень с чудесным бриллиантом, ограненным так искусно, что, играя в солнечных лучах, он сам сиял, как солнце. У трех подруг глаза разгорелись от жадности — ценная находка сулила немалые деньги, — и каждая стала заявлять свои права, утверждая, что по справедливости перстень принадлежит только ей. Первая говорила, что она первая заметила, а потому у нее больше прав владеть им, нежели у остальных двух; вторая утверждала, что именно она угадала, что это сверкает, и потому несправедливо отнимать у нее перстень; третья же возражала подругам, что, поскольку она достала перстень из кучи мусора и на деле доказала то, о чем они лишь строили догадки, ей одной следует владеть перстнем, ибо она больше всех потрудилась.

Спор становился все жарче, и, услышь его мужья, дело, возможно, дошло бы до драки — каждый стал бы отстаивать права своей же н ы , — но тут жена художника, самая разумная из трех, сказала:

— Послушайте меня, подруги, камешек этот так мал, ценность он представляет, лишь пока цел, а значит, делить -его бессмысленно. Самое верное — продать и деньги разделить меж нами тремя, прежде чем мужья о нем проведают, — не то они отнимут законную нашу прибыль или же перессорятся, чтобы владеть перстнем единолично, и он станет яблоком раздора. Но разве кто из нас сможет надежно его сохранить, так чтобы остальным не в обиду было и чтобы мы могли доверять той, которая считает себя единственной полноправной владелицей этой вещицы? Глядите, вон там прогуливается с друзьями граф, мой сосед. Отзовем его в сторону, расскажем о нашем споре и, попросив быть нам судьей, подчинимся его приговору.

— Я согласна, — сказала казначейша, — графа я знаю, человек он разумный, и я уверена, что в этой тяжбе он подтвердит мое право.

— И я не против, — сказала неудачница. — Но как я могу осмелиться заговорить с ним о своем деле на виду у моего ревнивого старика? Граф молод, муж наверняка приревнует, а там и кулаки пойдут в ход.

Так спорили три подруги и всё не могли прийти к согласию, как вдруг пронесся слух, что король уже прошел в ворота, и мужья вместе с толпой побежали туда поглазеть. Воспользовавшись случаем, женщины подозвали графа и изложили свою распрю, прося вынести решение до того, как мужья возвратятся и ревнивец будет иметь повод

устроить дома жене взбучку. Тут же они вручили графу перстень, чтобы он сам отдал его той, которая, по его мнению, более достойна им владеть.

Граф был человеком тонкого ума и, хотя срок ему дали краткий, сразу ответил:

— На мой взгляд, сеньоры, ни одна из вас не обладает в этом споре столь несомненными правами, чтобы я мог решить его в ее пользу и отрицать права двух других. Однако, раз уж вы доверились мне, я решаю и постановляю, чтобы каждая из вас в течение полутора месяцев сыграла шутку со своим мужем, — разумеется, не в ущерб его чести; той, что выкажет больше изобретательности, мы и отдадим бриллиант, да я еще прибавлю от себя пятьдесят эскудо, а хранителем его покамест буду я. Но вот уже идут ваши благоверные, итак, за дело, а пока прощайте.

Граф ушел. Его благородство было залогом, что перстень в надежных руках, а корыстолюбие подруг убедило их исполнить приговор. Явились мужья. Короткий день близился к концу, солнце уходило на покой, так же поступили и три четы, причем каждая из подруг-спорщиц перебирала в уме всю библиотеку своих плутней, выбирая самую удачную, которая сделает ее победительницей в хитрости и владелицей злополучного бриллианта.

Жадность — столь сильная у женщин, что первая из них ради одного яблока загубила самое драгоценное свойство нашего естества, — не давала покоя жене алчного казначея: добыв через перегонный куб своего коварства квинтэссенцию всевозможных проделок, она сыграла с супругом следующую шутку.



По соседству от них проживал астролог, великий мастер узнавать по числам, что творится в чужих домах, меж тем как в его собственном, пока он сверялся с таблицами, жена его творила новые души, которые, подрастая на его хлебах, звали его «папашей». Сам же астролог питал к жене соседа своего казначея большой интерес и надежды не слишком скромные, хоть и скрытые, стать его помощником в делах супружеских. Хитрая казначейша знала о видах астролога; хотя честью своей она дорожила не меньше, чем престарелый воздыхатель — своей, и до сих пор отвергала его просьбы, но в нынешних обстоятельствах решила воспользоваться случаем и прибегнуть к его науке. Притворившись более покладистой, чем прежде, она сказала астрологу, что для забавной шутки, которую ей хочется повеселить друзей на карнавале, она просит убедить мужа, что тому предстоит через сутки проститься с жизнью и дать отчет Богу в том, как дурно он ее прожил. Астролог обещал это сделать, радуясь, что угодит даме, и не стал расспрашивать, зачем ей это нужно. Потом она позвала доброго художника и глупого ревнивца и научила их, как они должны себя вести, чтобы придать вес нелепому предсказанию; их она тоже убедила, что шутка затеяна лишь для того, чтобы повеселиться, как положено в праздничные дни. Астролог же постарался встретить ничего не подозревавшего казначея, когда тот, устав оплачивать векселя, направлялся домой спать.

— Что вы так бледны, сосед? — сказал астролог. — Не хворость ли какая к вам привязалась?

— Благодарение Богу, — отвечал тот, — если не говорить о досаде, какую я испытываю из-за того, что нынче пришлось выплатить более шести

тысяч реалов в звонкой монете, я в жизни не чувствовал себя лучше!

— Цвет лица вашего, однако, не подтверждает такого радужного настроения, — возразил астролог. — Дайте-ка пощупать ваш пульс.

С тревогой подал ему руку недоумевающий сосед. А хитрый обманщик удивленно округлил брови и с дружеским участием сказал:

— Любезный сосед, когда бы изучение движения небесных светил не принесло мне иных плодов, кроме возможности нынче предостеречь вас о грозящей вам опасности, я считаю, что не зря трудился. Для таких дел и существуют друзья. Не был бы я вашим другом, когда б не предупредил о том, что вас ждет и что менее всего тревожит сейчас ваш ум. Распорядитесь поскорей имуществом вашим и домом или, что еще существенней, душой вашей. Ибо я говорю вам, и это несомненно, что завтра в этот же час вам придется изведать в ином мире, сколь в этом важнее было для вас потратить время на приведение в порядок счетов вашей совести, чем счетных книг вашего хозяина.

С испугом и насмешкою вместе бедный скряга ответил:

— Ежели это предсказание сбудется так же, как то, что вы сделали в прошлом году, — а тогда все получилось как раз наоборот, — значит, меня ожидает жизнь еще более долгая, чем я предполагал.

— Ну что ж, — возразил астролог, — я исполнил долг христианина и друга. Поступайте так, как вам заблагорассудится, а я, по крайней мере, знаю, что в мире ином вы не сможете подать на меня жалобу за то, что я не предупредил вас, хотя мог это сделать.

И, не слушая ответа, зашагал по улице прочь.

Охваченный тревогой и сомнением, направился бедняга казначей к своему дому, щупая себе на ходу пульс и разные места тела, в которых мог ожидать приступа внезапного и смертельного недуга. Но все как будто было в должном порядке, а доверие к прорицателю он питал не слишком большое; поэтому, войдя в дом, он же не ничего не сказал, чтоб ее не огорчать, и попросил дать ему ужин; просьбу она тотчас исполнила, догадавшись по его поведению, что начало ее хитрому замыслу положено. Казначей поел немного и без охоты, велел приготовить постель и стал раздеваться, то и дело вздыхая. Прикинувшись любящей и заботливой, алчная бабенка спросила, что с ним, и казначей солгал, что у него-де были неприятности с банкиром, оттого он огорчен. Жена принялась утешать его всякими нежными словами. Затем они легли, но спал муж еще меньше, чем ел, и, хотя оба притворялись спящими, жена заметила, что все складывается как нельзя лучше для исполнения ее видов. Поднялся казначей раньше обычного, лицо его было бледно. Как всегда, отправился он на свою службу; дел в этот день оказалось у него так много, что сходить пообедать домой он не успел, и ему пришлось обедать вместе со своим хозяином-генуэзцем.

Вечером, когда он возвращался домой, на углу улицы, по которой он всегда проходил, его поджидали священник их прихода и другое духовное лицо с двумя-тремя знакомыми; всех их, по наущению казначейши, подговорил художник, сказав, чтобы они, когда казначей будет проходить мимо, сделали вид, будто его не замечают, и завели следующий разговор так, чтобы он мог их слышать.

— Какая горестная кончина постигла несчастного нашего Лукаса Морено! — сказал священник¹, называя имя казначея.

— И правда, горестная, — отозвался второй священник. — Ни причаститься не успел, ни приготовить, как должно христианину, и вот этим утром его нашли в постели мертвого, и жена, горячо его любившая, так горюет, что, того и гляди, составит ему компанию!

— А хуже всего то, — сказал третий из кружка, — что астролог, сосед его, уверяет, будто вчера его предупреждал, а он-де над предсказанием посмеялся и, так и не выпутавшись из тенет, в которых увязли все люди подобного ремесла, помер, как скотина.

— Да смилуется господь над его душою! — заметил четвертый. — Вот кому можно посочувствовать! Вдова-то осталась с приданым, что муж наживал, — возможно, нечестным путем, — и теперь вполне может второй раз выйти замуж. Но пойдите, друзья, спать — холодно становится.

Бедный Лукас Морено кинулся было к ним — узнать, не умер ли в этот день какой-нибудь его тезка. Но они нарочно побыстрей распрощались и разошлись кто куда, а казначей так и остался в смятении, которое вы легко вообразите. Неуверенным шагом поплелся он дальше и на ближайшем к своему дому перекрестке увидал астролога, беседующего с художником. Заметив казначея, астролог сказал, будто продолжая разговор о его кончине:

¹ Изображение участия священника и других духовных лиц в кощунственных проделках — предельная дерзость в контрреформационной Испании.

— Не пожелал, видите ли, мне верить, когда я наперед сказал ему, что через сутки он умрет! Невежды смеются над столь точной наукой, как астрология! А вот глядите, что с ним произошло. В этот час он, я знаю, горько кается, что не поверил мне!

Художник ответил:

— Да, бедняга Лукас Морено был изрядным упрямым, да и обжорой, кстати. Небось объелся генуэзскими копченостями, ихватила его кондрашка. Да вознесет Господь душу его на небеса и утешит скорбящую вдову! Хорошего друга потеряли мы с вами!

Тут уж перепуганный казначей не мог выдержать и, подойдя к ним, сказал:

— Что это значит, сеньоры? Кто это похоронил меня заживо или, приняв мой облик, умер вместо меня? Я-то, слава Богу, жив-здоров!

Оба кинулись прочь, притворяясь, будто ужасно испугались, и выкрикивая:

— Иисусе праведный! Иисусе, спаси меня и помилуй! Душа Лукаса Морено бродит неприкаянная! Видно, требует, чтобы употребили на добрые дела его достояние, грехом приобретенное! Заклинаю тебя Господом Богом, не гонись за мной, но скажи с того места, где стоишь, чего ты хочешь!

И убежали от казначея, а он готов был поколотить их, чтобы узнать правду, — такая вопиющая ложь привела его в ярость.

Не чуя под собою ног, с замирающим сердцем, он подошел к своему дому и увидел ревнивца — тот, делая вид, будто только что вышел из дома, ждал его, чтобы окончательно свести с ума. Ревнивец сделал шаг ему навстречу, но, поравнявшись,

попятился, стал творить крестное знамение да приговаривать:

— Блаженные души чистилища! Не то это призрак, не то покойный Лукас Морено?

— Я Лукас Морено! Только не тот, дружище Сантьяна, — сказал пораженный казначей. — Чего вы креститесь? Скажите на милость, когда это я умер, что вы так переполошились?

И схватил ревнивца за плащ, чтобы он не убежал. Но тот, оставив плащ в руке казначея, вырвался и с криком бросился наутек, крестясь и бормоча:

— Чур меня, нечистый дух! Я Лукасу Морено ничего не должен, кроме шести реалов, что он выиграл у меня как-то в кегли! *Quod non penitur non solvitur!*¹ Ежели за ними ты пришел, возьми и продай этот плащ, а я никаких счетов с покойниками иметь не желаю!

С такими словами он скрылся из виду, а наш Морено так и застыл на месте — еще немного, и он бы упал без чувств.

— Конечно! Чего тут еще сомневаться! Видно, я и впрямь умер! — повторял он про себя. — Видно, Бог послал меня в этот мир в облике духа, чтобы я распорядился своим имуществом и составил завещание! И все-таки, Боже милостивый, как же это приключилось? Если я скончался скоропостижно, почему в смертный свой час я не видел дьявола, и никто не позвал меня на суд, и я не могу слова сказать о другом мире? Если же я — душа, а тело мое осталось в гробу, то почему я одет, почему я вижу, слышу, пользуюсь всеми пятью чувствами? А может, я воскрес? Но тогда я должен был увидеть или услышать ангела, по-

¹ Чего не должны, того не платят! (*лат.*)

велевшего мне именем Бога воскреснуть? Впрочем, откуда мне знать, какие порядки в мире ином? Может статься, у них там не принято разговаривать с писцами, и когда меня снова облекли в прежнюю мою плоть — мое же ремесло перышком скрипеть, — они погнушались беседовать с кем-то из нашего чернильного племени. Одно понимаю — все от меня бегут и считают, что я умер, даже лучшие друзья, а потому это, наверно, правда. Но опять же, говорят, что смертный час — самый горький, и как это я мог ничего не почувствовать и ничто у меня не болело? Должно быть, внезапная смерть в одну дверь входит, в другую выходит, так что боль даже не успевает сделать свое дело. Однако... Что, если это шутка моих друзей? Пора нынче самая подходящая, и я заметил, что никто из тех, кого я встречал на улицах, не пугался меня, кроме них. Боже правый, неужто я так легко избавлюсь от смерти!

Поглощенный этими безумными мыслями, он подошел к дому, увидел, что дверь заперта, и принялся громко стучать. Ночь стояла холодная, темная; плутовка-жена уже была извещена о всех встречах мужа и должным образом подготовилась. В доме находилась только одна служанка — двух других слуг казначейша послала с выдуманном поручением куда-то за две лиги. Прислуга была хитрая девка, не плоше госпожи; услышав стук, она окликнула жалобным голосом:

— Кто там?

— Открой, Касильда, это я, — отвечал живой покойник.

— Кто стучится, — продолжала девушка, — в такой час в наш дом, где проживают лишь отчаяние и вдовство?

— Перестань, дуреха, — сказал казначей, — я твой хозяин. Ты что, меня не знаешь? Отвори — идет дождь, и холод стоит такой, что невозможно терпеть.

— Мой хозяин? — переспросила девушка. — О, если бы господу это было угодно! Бедняга уже гниет в земле! Он в тех местах, где его за умение считать назначили, верно, главным казначеем преисподней — там-то все счета оплачиваются наличными, — ежели только Бог не смилостивился над его душой!

Этого бедняга уж не мог стерпеть — столько доказательств его смерти совсем свели его с ума. Он ударил ногой в дверь, которая, не дожидаясь второго толчка, распахнулась, служанка убежала в дом, крича так же, как и прочие, кого он встречал. На крик вышла жена в одежде скорбной вдовы, изображая на лице испуг. При виде мужа она упала без чувств, простилав: «Иисусе, что я вижу!» Казначей от изумления едва не последовал ее примеру — теперь он окончательно убедился, что мертв. И все же, тронутый таким проявлением любви, он взял жену на руки, отнес ее в спальню, раздел и уложил в постель; она, разумеется, все слышала, но прикидывалась полумертвой. Служанка же, давась от смеха и испуская вопли ужаса, заперлась в соседней комнате. Несчастный покойник, не задумываясь, положено ли душам из иного мира принимать пищу, выдвинул ящик конторки и, достав коробку с мармеладом, добавил к нему бисквиты и генуэзский чернослив, которые протолкнул себе в глотку струею доброго вина из меха, после этого он решил, что жизнь на том свете не так уж горестна, раз блуждающие неприкаянные души могут тешить себя столь живительными яствами. Словом, добрый наш Лукас

Морено со всем усердием постарался подкрепить свое изнемогшее сердце наилучшим сердечным снадобьем; от перенесенных волнений он изрядно ослабел и притомился, и потому Ноев бальзам вскоре ударил ему в ноги и в голову, и он, очнувшись в блаженных Бахусовых чертогах, кое-как разделся и повалился рядом с женой, которая все еще изображала обморок, борясь со смехом, равшимся из ее груди. От усталости и опьянения Лукас наконец захрапел: сон сразил его ударами винных мечей, ибо нет лучшего снотворного, чем то, что добывают в точиле. Проспал казначей до самого утра, и снились ему ад, чистилище и рай. Друзья-насмешники успели навестить до его пробуждения; узнав от служанки обо всем происшедшем, они похвалили мертвеца за то, что он не поддался горю, но с помощью Бахусова изделия предпочел уснуть мертвецки пьяным.

Рано поутру хитрая казначейша проснулась и увидела, что муж еще спит; тогда она потихоньку встала, надела нарядное платье, а вдовий балахон и лицемерно траурную току велела унести из дому. С веселым лицом она подошла к постели и стала будить мнимого покойника:

— До каких пор намерен ты спать, муженек? Неужто винные пары, затуманившие тебе голову вчера вечером, еще не улетучились?

Она трясла его за руки, дергала за нос, и наконец он, отчаянно зевая, очнулся от сна. Увидав жену, празднично разодетую и улыбающуюся, — не в трауре, не плачущую, как было накануне, — он снова изумился и сказал:

— Полония, где я? Неужели ты тоже вслед за мной умерла и, верная любви, которую питала ко мне на земле и из-за которой ее покинула, явилась сюда, в иной мир, чтобы второй раз отпраздновать

нашу свадьбу? Какая болезнь или другая причина побудила тебя расстаться с жизнью? Ибо, клянусь Богом, — ежели в этой жизни дозволено божиться с я, — я-то сам не знаю, как умер и в какие края забросило меня Провидение! Выходит, здесь есть кровати и комнаты? Здесь продаются вино и бисквиты? Какой возчик подвез меня к моей конторке? Ведь я вчера вечером взял оттуда вдоволь еды и вина, чтобы скрасить разлуку с тобой и одиночество, которое постигло меня в этих неведомых местах.

— Славные шуточки внушает тебе, муженек, карнавальный день! — отвечала хитрая насмешница. — Что за бредни? Полно шутить, подымайся — банкир уже два раза присылал за тобой.

— Стало быть, я не умер и меня вчера не похоронили? — спросил он.

— Скорее всего, — отвечала она, — ты наемни сам схоронил в себе душу нашего винного меха — он-то вон какой тощий стал, а ты чепуху городишь.

— Ежели можно похоронить душу, любимая моя Полония, — сказал он, — признаюсь, что вчера вечером я воздал ей все почести; но ведь я сам уже был похоронен, я видел огорченного священника, горюющих друзей наших, плачущую Касильду и тебя в трауре.

— Да перестань же шутить, — возразила жена, — банкир зовет тебя к себе!

— Значит, и здесь они есть? — спросил он. — Да, видно, я иду не по пути спасения, раз мне велят явиться туда, где обитают векселя и проживают мошенники.

— Полно, не бранись, — сказала Полония, — лучше вставай-ка поскорей; послушать тебя, и впрямь подумаешь, что ты говоришь всерьез, а ведь все это сущая чепуха.

— Клянусь Господом нашим, жена, — отвечал Лукас Морено, — уже сутки, как я умер, а вот сколько времени прошло с похорон, того я не знаю! Спроси у Касильды, у священника нашего прихода, у нашего друга художника, у Сантьяны-ревнивца, у соседа нашего астролога и, наконец, у себя самой, — вчера ты была вдовой в трауре, а нынче, полагаю, мертва, как и я; если память мне не изменяет, вчера вечером я принес тебя в постель без дыхания и без пульса, — должно быть, ужас при виде меня лишил тебя жизни, а как это случилось, ты не помнишь и потому, очутившись в загробном мире, все никак не можешь поверить.

— Что за глупости, муженек? — сказала она с притворной тревогой. — Разве вчера мы с тобой не легли спать, будучи живыми и здоровыми? Какие это похороны, покойники и загробные миры тебе мерещатся?.. Касильда, позови-ка сюда нашего соседа астролога — он ведь заодно и лекарь, — пусть скажет, какая хворь напала на дроброго моего Лукаса Морено; боюсь, что эти шлюхи, с которыми он якшается, совсем свели его с ума.

Ошеломленный муж не знал, что сказать, не понимал, безумен ли он, мертв или жив, и жена не могла доказать ему, что он — не привидение, вернувшееся на землю, чтобы распорядиться своим имуществом.

Меж тем явились оба помощника по шутке. Полония рассказала им, что с мужем, и они — без улыбки — стали объяснять ему, что он не только находится в мире земном, но к тому же в Мадриде и у себя дома, а ежели будет упорствовать, то вполне может угодить в дом Нун-

ция¹. Явился наконец астролог, за которым посылали служанку, и определил, что казначей повредился в уме от своих конторских книг и расчетов; тогда тот, обрадовавшись, что жив, но рассердившись, что его считают сумасшедшим, сказал, обращаясь ко всем:

— Но ежели я воистину не мертв, что означали ваш ужас и заклятья ваши, с которыми вы вчера убежали от меня, сотворив тысячу крестных знамений, — целая процессия кающихся столько не накрестится?

— Вы вчера видели меня? — возразил астролог. — Но это невозможно. Вчера я день-деньской сидел, запершись в своем кабинете, делал вычисления, чтобы обнаружить похитителя драгоценного бриллианта.

— Я-то, во всяком случае, не выходил из монастыря, — сказал художник. — Трудился до одиннадцати вечера.

— И я, — подхватил старик, — тоже вчера нос на улицу не высунул, снаряжал посланца на свою родину, в Монтанью.

— Час от часу не легче! — сказал казначей, уже почти всерьез сойдя с ума. — Разве не вы, сосед, сказали мне позавчера вечером, что, дескать, судя по дурному цвету лица, пульсу и пророчествам ваших чисел, я по прошествии суток непременно умру?

— Я? — удивился астролог. — Да ведь мы с вами не виделись уже дня четыре! Что это вы выдумали? Опомнитесь, друг Лукас Морено, знать, вам этой ночью что-то во сне привиделось!

— Какой же это сон! Все это чистая правда, — воскликнул казначей. — Да если вы мне докажете,

¹ Речь идет о сумасшедшем доме XV в. в Толедо; в переносном смысле — вообще сумасшедший дом.

что я жив, тогда я на радостях согласен взять на себя расходы в мясопустный вторник!

— Очень будем рады,— ответили все. — А чтобы вы окончательно убедились, одевайтесь поскорее и пойдите к мессе в нашу приходскую церковь. Все это у вас от разгоряченного воображения.

Недоверчивый покойник послушался. И, чтобы вас не утомить, скажу, что с духовными лицами, толковавшими накануне о его погребении, повторилась та же сцена, что с друзьями. Смеху, шуток было немало, казначей почувствовал, что стерпеть у него не хватит сил, и после знатного угощения, устроенного им по обещанию, друзья уговорили его недельки на две покинуть Мадрид, чтобы уладить какие-то дела банкира, а тем временем-де история эта будет предана забвению, оно в столице быстро покрывает любые происшествия, даже самые удивительные. Жена казначея условилась со всеми участниками проделки, чтобы они, упаси бог, не проболтались мужу и продолжали убеждать его, будто все ему приснилось: ей все же было немного боязно, как бы не пришлось поплатиться своими боками.

Тем временем как наш казначей, в отъезде будучи, убеждался на опыте, что жив, а толки о его погребении, состоявшемся во сне, затихали, жена художника тоже не преминула сыграть с мужем шутку, которую задумала, позавидовав удачной проделке подруги. Для этого договорилась она с одним из своих братьев, охотником позабавиться на чужой счет, и в ближайший четверг послала его на рынок Себада купить дверь — в этот день выносят нам на р о д а ж у , — в точности такого раз-

мера, как дверь ее дома с парадного хода, изрядно уже обветшавшая и просившая замены. Брат принес дверь украдкой, под покровом темноты. Женщина спрятала ее, чтобы не попала на глаза художнику, научила брата, что он должен делать, и заперла его еще с двумя друзьями в подвале. Часа два спустя пришел супруг из монастыря, где трудился, оставив там своих учеников растирать краски, — алтарь надо было закончить к пасхе, и приходилось поторапливаться. Мари Перес (так звали алчную жену художника) встретила мужа очень нежно и ласково. Легли они рано, чтобы завтра встать пораньше, и проспали до полуночи — вернее, спал только ничего не подозревавший муж, а жене-то было не до сна, голова у нее прямо пухла от чудовищных хитросплетений. И вот в полночь коварная женщина принялась громко стонать и вопить:

— Иисусе, умираю! Ох, муженек, пришел мой смертный час! Зовите поскорей духовника, я умираю! — причитала она самым жалобным голосом, как это умеют делать женщины, когда захотят.

Супруг, встревожившись, стал спрашивать, что с ней, но она в ответ только говорила:

— Иисусе! Матерь Божия! Я умираю! Исповедь! Причастие! Погибаю!

От криков этих проснулась племянница, жившая у них в доме, и прибежала вместо служанки на помощь, — а она тоже была посвящена в затею. Увидев тетушку в таком состоянии, она с плачем бросилась прикладывать ей согретые полотенца на живот, кормить сухариками, смоченными в вине с корицей, и применять другие снадобья, но боли все не унимались — потому что больная этого не хотела, — и бедняге Моралесу (таково было имя художника), хочешь не хочешь, пришлось, не вы-

спавшись, подняться с постели, зная обычные жалобы своей жены, он решил, что у нее приступ маточных болей, но сама больная и племянница уверяли, что беда случилась из-за съеденного на ужин салата — слишком-де крепкий уксус да ломоть сыру в придачу уж не первый раз приводят ее на край могилы. Художник побранил жену за невоздержанность, а она, едва дыша, отвечала:

— Не время теперь, Моралес, попрекать, когда уже ничем не поможешь. Лучше вели позвать матушку Кастехону — она знает мои болезни, и только она одна может применить средство, которое прекратит эти ужасные боли, а если и ей не удастся, копайте мне могилу.

— Бедная моя женушка, — молвил удрученный муж. — Кастехона ведь переехала на другой конец города, к воротам Фуэнкарраль, а мы живем в Лавапьес; да еще ночь нынче холодная, зимняя, и, коль слух меня не обманывает, по крыше не то дождь шумит, не то снег. Но если я, несмотря на непогоду, все же отправлюсь, кто поручится, что Кастехона захочет встать и пойти к нам? Помнится, в прошлый раз, когда у тебя был такой приступ, я покупал две унции опийной настойки на горячем изумруде с кожурой половинки апельсина, и мы тебе растирали ею живот. Схожу-ка я за нею в аптеку. Только, Бога ради, успокойся и не гони меня в такую даль, все равно это будет бесполезно, да я еще, пожалуй, такую схвачу простуду, что и у меня начнутся легочные боли почище твоих.

Тут жена во всю мочь заголосила и стала причитать:

— Благословен будь, Господи, что дал мне такого доброго муженька! Можно подумать, будто я требую от него невесть какого по д в и г а , — чтобы

он, к примеру, когда я помру, лег заживо со мной в могилу, или чтобы вскрыл себе вены на руках, или чтобы отдал хоть паршивую тряпицу! Нет, я всего лишь прошу позвать ко мне старуху Кастехону, так он, упаси Бог, боится промочить себе ноги! Да, я знаю, ты хочешь второй раз жениться, при каждом моем стоне сердце у тебя прыгает от радости, потому ты и не желаешь шагу сделать — как бы ненароком не положить конец моим мучениям и твоим надеждам. Ну же, ложись в постель, спи себе спокойно, но знай, если я сейчас умру, то перед смертью заявлю, что ты подсыпал мне сулемы во вчерашний салат.

— Ах, жена, жена, — отвечал муж, — придержи язык; боли в матке — это еще не оправдание для таких поклепов. Гляди, как бы я не взял палку, тогда вместо живота у тебя заболит спина!

— Бить палкой сеньору тетушку? — возмутилась плутовка-племянница. — Чтобы вовек не знала покоя ваша милость и я сама, если прежде не выцарапаю вам глаза вот этими вот ногтями!

Художник набросился на девчонку, стал ее трясти и уж собрался было проучить ремнем, но она вырвалась и убежала, а больная завопила еще громче, стала кричать, что умирает, и требовать священника, лекарку, святое причастие...

— Ох, смерть моя! Подсыпали мне отравы! Иисусе! Нет, болезнь эта не от матки, а от мужа!

Моралес осерчал, но также испугался, как бы не сыграли с ним злую шутку, — не подозревая о том, что без его ведома затеяла жена, — вдруг она и впрямь умрет, пустив слух, что это он ее отправил на тот свет. Не уронить бы в колодезь вслед за ведром и веревку! И он принялся успокаивать жену нежными словами и ласками, потом зажег фонарь, без которого в темень и грязь было

не пройти, обул сапоги, надел плащ от дождя, натянул на шляпу капюшон и отправился искать матушку Кастехону, на каждом шагу попадая под струи воды, лившиеся с крыш. Доброму Моралесу было известно, что лекарка переселилась на улицу Фуэнкарраль, но дома ее он не знал, и вот впопыхах, хоть глаз выколи, под проливным дождем, как я уже говорил, брел он с улицы Лавапьес на другой конец города, не встречая ни души и кляня супружескую жизнь. Судите сами, мог ли он быстро найти то, что искал и что никому не было нужно; я же, пока он мокнет под дождем, вернусь к нашей больной, страдающей воспалением хитрости, а не живота. Убедившись, что муж-простак ушел, она позвала брата, спрятанного ею в подвале с двумя приятелями; те вмиг сорвали старую входную дверь и приладили новую, к которой уже были приделаны замок и кольцо, — дверь была подобрана точно по размеру и сразу села на петли без малейшего шума. Сверху, на перекладине косяка, прибили табличку, где на белом поле было написано: «Гостиница». После чего жена художника привела ораву живших поблизости друзей с женами, двумя злыми псами, гитарами и кастаньетами, велела из соседнего трактира принести заранее заказанный ужин и вино, и пошло у них веселье с песнями и плясками в честь утопающего старухоискателя, который Кастехону так и не нашел, только попусту стучался в дома и тревожил жителей.

По колено в воде, по горло сытый прогулкою, возвратился наш художник домой. Услышав за дверью голоса, топот танцующих, шум веселья, он подумал, что ошибся: приподняв фонарь, он осветил себе и увидел новую дверь и вывеску со словом «Гостиница», что поразило его чрезвычай-

но. Оглядел он улицу, убедился, что это улица Лавапьес. Подошел к ближайшим домам, видит — это дома его соседей. Поглядел на дома напротив — тоже все знакомые. Вернулся он тогда к своему дому и теперь лишь заметил, что дверь недавно поставлена, и таблица только что прибита.

— Господи, спаси и помилуй! — сказал он, крестясь. — Всего полтора часа, как я ушел из дому, и жена моя тогда была скорее расположена плакать, чем плясать. В доме живем только мы двое да племянница. Дверь, правда, следовало заменить, но когда я уходил, она была та, что всегда. Гостиницу я на этой улице в жизни не видывал, а если б они здесь и появились, то кто мог среди ночи и в такой короткий срок пожаловать моему дому столь высокий чин? Сказать, что я это во сне вижу, нельзя — глаза у меня открыты, и уши ясно слышат колдовские звуки. Валить все на вино, когда кругом все залито водой, — понапрасну оскорблять его честь. Итак, что же это может быть?

Он снова стал щупать и разглядывать дверь и таблицу, прислушиваться к музыке и танцам, недоумевая, чем вызвана подобная перемена. Затем схватил кольцо и стал стучать изо всех сил, чуть не разбудил весь околоток, однако танцующие постояльцы не слышали или не хотели слышать. Он тогда стал колотить еще громче. После того как его продержали изрядный срок под дождем — так в Галисии вымачивают полотно, — какой-то слуга с горящей свечой в руке и в грязном, рваном колпаке наконец отворил верхнее окно и сказал:

— Мест нет, братец! Ступай себе с Богом и перестань шуметь, не то мы коронуем дурака ночным горшком с шестидневной начинкой.

— Не надо мне никакого места, — сказал художник, — я пришел в свой собственный дом и требую, чтобы меня впустили и чтобы тот человек, который теперь здесь за хозяина, сказал мне, кто это успел в полтора часа превратить мой дом в заезжий, хотя деньги за него платил я, Дьего де Моралес.

— Скажи «де Налакалес», — отвечал слуга, — ведь это вино в тебе говорит! Знаешь, братец, коль ты так нахлестался, купанье под дождем будет тебе в самый раз! Убирайся, пока цел, и не смей барабанить в дверь, не то напушу барбоса, уж он разукрасит тебя клыками!

И слуга с размаху захлопнул окно. Выпивка и веселье в доме продолжались; бедный художник, кляня весь мир, был уверен, что это какая-то колдунья наслала на него наваждение. С неба все чаще опрокидывались целые кувшины воды и снега, дул северный ветер, освежая разгоряченную голову. Свеча в фонаре кончилась, а с нею — терпенье художника. Снова принявшись колотить дверным кольцом, он услышал, что в доме откликнулись:

— Эй, парень, дай сюда палку! Спусти-ка наших псов! Выдь на улицу и устрой этому пьянчуге хорошее растиранье спины, чтоб у него мозги прочистились!

Дверь распахнулась, и выскочили две собаки; кабы слуга не придержал их и не загнал обратно, пришлось бы, пожалуй, остолбеневшему художнику всерьез поплакать от этой шутки.

— Чертов бродяга! — сказал слуга. — Что ты не даешь нам покоя своим стуком? Разве не сказано тебе — мест нет?

— Братец, да это ж мой дом! — отвечал художник. — Кой дьявол превратил его в гостиницу,

когда еще при жизни моих родителей хозяином его был Дьего де Моралес?

— Что ты городишь? — возразил тот. — Какие тут еще дурни марались-замарались?

— Да это я сам, — был ответ, — я, по милости Божьей, известный в столице художник, уважаемый в этом околотке и проживающий в этом доме уже больше двадцати лет! Позовите сюда мою жену Мари Перес; если только она не превратилась в хозяйку гостиницы, она выведет меня из этого лабиринта!

— Как это возможно, — продолжал слуга, — когда уже больше шести лет в доме этом гостиница, одна из самых известных всем приезжающим в Мадрид; хозяина ее зовут Педро Карраско, его жену Мари Молино, а я их слуга! Ступай себе с Богом! Сердце у меня жалостливое, иначе я вот этой целебной палкой выгнал бы из тебя винную хворь, от которой ты бредишь!

И, вернувшись в дом, он закрыл дверь, а непризнанный хозяин дома, будто громом огушенный, не знал, что думать, что делать, и наконец побрел в потемках, утопая в грязи, к ревнивцу Сантильяне и постучался в дверь. Хотя было всего четыре часа утра, Сантильяна поднялся и зажег свет, думая, что с другом случилась беда или его избили в драке. Расспросив у художника, что произошло, он поднял жену; та, конечно, знала, какова подоплека этого происшествия, но решила шутку поддержать, и они вместе с мужем стали уверять промокшего художника, что все это колдовство и проказы, которыми Святой Мартин — художник был его почитателем — часто развлекается в ненастные ночи. Развели огонь в очаге, чтобы гость согрелся, повесили сушить его платье, почистили сапоги, не переставая осыпать его на-

смешками, — под дождем и градом ему, пожалуй, легче было, — и уложили в постель, причем он твердил, что рассказывал им чистую правду, а они — что он пришел к ним, как говорится, под мухой.

Когда проказница Мари Перес узнала от своих соглядатаев, что супруг ее, весь мокрый и грязный, удалился, она с помощью гостей поставила старую дверь на прежнее место, сняла вывеску и, нагрузив гостей тем и другим, выпроводила всех, взяв с них слово хранить тайну. Теперь в доме остались только она да племянница, обе поскорей легли, потому что ноги у них устали от плясок, руки — от кастаньет, желудки — от обильной еды, губы — от смеха. К утру они хорошенько отоспались после ужина и гульбы, и тут явился полупросохший художник вместе со стариком Сантильяной, который, слыша, что Моралес и утром твердит то же, что ночью, готов был поверить художнику и пожелал сам увидеть новоявленное чудо. И вот подошли они к заколдованному дому. Смотрят — дверь старая, никакой вывески нет, в доме тихо, замок заперт. Тогда старик снова принялся подтрунивать над беднягой Моралесом, а тот — огрызаться, клянясь и божась, что говорил чистую правду, что все это козни дьявола, который, видно, задумал сжить его со свету. Они постучались, полуодетая племянница отворила волшебную дверь и, увидав своего дядю, почти отчима, сказала:

— С каким лицом покажетесь вы, сеньор дядюшка, перед своей женой? И что может сказать в оправдание человек, который в полночь оставил ее при смерти, отправился за лекаркой и возвращается в восемь утра без старухи и без тени смущения на лице?

— Когда б ты, Брихида, знала, — отвечал он, — чего я этой ночью насмотрелся благодаря твоей тетке, ты бы не попрекала меня, а пожалела! Завтра же мы уедем из этого дома, этого притона демонов!

Мнимая больная услышала его голос и, как ошпаренная, вскочив с постели в одной нижней юбке, выбежала с криком:

— Ну и муженек у меня, вот как он заботится о здоровье жены! Четырехдневная лихорадка чтоб потрясла тебя, драгоценный Моралес, лучше б ты вовек не возвращался! Не повредила ли тебе вчерашняя стужа? Может, насморк схватил? Да ты вроде отощал после вчерашней грозы! Ну ясно, там недалеко живет благочестивая Марта, небось пригрела тебя! Конечно, ты надеялся, что, придя с Кастехоной, застанешь меня мертвой и сможешь распоряжаться приданым моим и всем имуществом, как тебе в башку взбредет! Чтоб тебе и всем, кто мне зла желает, никогда добра не видать! А ваша милость, сеньор Сантильяна, выто зачем пришли с этим негодяем? Ежели мирить нас, так зря потрудились — клянусь памятью моей матери, я сейчас же иду к викарию просить развода! Не желаю ждать, чтоб меня опять угостили салатом с такой едкой солью, которая погубит меня окончательно!.. Поддай мне платье, Брихида, накинь на себя плащ, и бежим от этого искателя кумушек...

— Успокойтесь, ваша милость, сеньора Мари Перес, — сказал друг. — Сеньор Моралес никоим образом не виноват — виновата какая-то колдунья, которая напускает злые чары, чтобы вас пооссорить!

— Хотя тебе, женушка, кажется, — молвил огорченный художник, — что ты вправе жаловать-

ся на меня, выслушай все же мои оправдания и не говори таких слов — боюсь, у меня не хватит терпения, после этой ночи чудес его почти не осталось!

И он рассказал ей то, что она знала лучше него. Тогда, изображая притворное возмущение, жена сказала:

— Ты что, комедию передо мной ломаешь? Думаешь, нашел дурочку, что, разинув рот, всему поверит? Слыхана ли подобная чепуха, как та, которой ты меня потчует? Мой дом — гостиница? Собаки, гульба, пляски и веселье здесь ночью? Добро еще сказал бы — плач, проклятия, вздохи да стоны! Когда бы не помогли мне поласумбры¹ святого вина, два миндальных печенья да полдюжины сухариков, от которых боль прошла скорей, чем от мужниных забот, лежать бы мне, бедной, в сырой земле!

— На доброе тебе здоровье, женушка моя! — ответил муж. — Но только смотри, чтобы мое-то здоровье не ухудшилось, если после такой тяжелой ночи ты устроишь мне день ссор! Клянусь всем, чем только можно поклясться, то, что я тебе рассказал, — чистейшая правда! Не иначе как в нашем доме завелись привидения. Надо его продать или сдать внаем, а самим переехать — другого средства не придумаю.

— Ну конечно, привидения, сеньор дядюшка! — вмешалась плутовка Брихида. — Чуть не каждую ночь они меня щиплют, стегают бичом — правда, легонько — и хохочут во все горло.

— Но почему же ты никогда мне не говорила? — спросила притворица тетка.

¹ А сумбра — мера емкости, равная 2,16 л.

— Чтобы ваши милости не подумали, — отвечала Брихида, — что это кто другой, и не было позора мне да вашему дому.

— Довольно! Вы наверняка правы! — сказал Сантильяна. — Теперь остается лишь простить друг другу и в добром согласии встретить великий пост, который начинается завтра.

Так и поступили: околдованный художник застал подозрение, что в доме водятся призраки, а жена его — надежду, что ее проделка будет награждена вожделенным бриллиантом.

Молодая жена ревнивца, узнав, сколь хитроумны и удачны оказались шутки соперниц, не пала духом. Напротив, она решила одним выстрелом убить двух зайцев — получить награду за свою проделку, это во-первых, а во-вторых, излечить супруга от ревности. И сделала это так.

В те дни приехал в Мадрид ее брат, монах, которого назначили настоятелем одного из монастырей, расположенных в окрестностях столицы и праведной жизнью братии поддерживающих то, что подтачивают пороки. Ревнивый Сантильяна о его приезде не знал; меж тем жена ревнивца и прежде жаловалась брату в письмах, а теперь, с его приездом — в записках и, когда он однажды посетил ее, снова стала сетовать на то, что муж изводит ее своими несносными подозрениями. Кабы не уважение к брату и не боязнь повредить своей доброй славе, — как бывает с женщинами, тягающими мужей по судам и требующими развода, — она-де уже давно рассталась бы с мужем по дозволению викария. Монах, человек разумный, знал от соседей и друзей сварливого старика, что сестра имеет все основания ненавидеть мужа и жа-

ловаться на свою жизнь, и уже давно он старался найти способ образумить ревнивца и, не разрывая узы брака, убедить его, что с такой женой ему бы только жить да радоваться и что беспричинная ревность лишь пробуждает спящего демона. Но сколько добрый монах ни прилагал усилий, ему все не удавалось найти средство против неусыпной подозрительности ревнивца — она стала привычкой, и, казалось, никакими силами нельзя искоренить этот застарелый порок.

Прежде монах в письмах советовал сестре подумать, как бы это устроить, чтобы, не заявляя о своих горестях судебным властям, и она могла жить спокойно, и муж ее угомонился; сам же он обещал, чего бы то ни стоило, сделать все, что будет в его силах. И вот теперь, когда подоспел случай воспользоваться обещаниями брата и исцелить старого Сантильяну, да кстати заполучить бриллиант, жена ревнивца как-то утром, в первые дни великого поста, когда муж отправился к обедне, послала за почтенным настоятелем. Поплакавшись на свои мучения и печали, она несколько утешилась и сказала, что не видит иного способа выбить у мужа из головы его дурацкую ревность, отравляющую ей жизнь, кроме следующего, который она изложила брату, а вскоре узнаете и вы. Говорила она весьма красноречиво, с присутствием женщинам искусством убеждения — были там и слезы, и вздохи, и восклицания, — а в заключение сказала: ежели брат ей не поможет, то придется либо, добившись развода, положить конец ее мукам, либо — самой ее жизни, подвесив к потолочной балке надежную петлю. Способ, который она предлагала, сулил немало трудностей. Но все перевесили любовь брата, милосердие священнослужителя и желание предотвратить какую-

нибудь отчаянную выходку, вполне вероятную при той скорби, какая владела Ипполитой — так звали жену ревнивца. Брат пообещал выполнить все, о чем она просит; они назначили день, он простился, вернулся в свой монастырь и там изложил это дело своим подопечным. Монахи относились к настоятелю с большой любовью, они поняли, что он многое может сделать для примирения супружеской четы, и не только согласились во всем ему подчиняться, но еще торопили довести дело до конца.

Ободренный их поддержкой, настоятель к назначенному дню послал сестре две унции очень сильного снотворного порошка: приняв его, человек засыпал на четыре-пять часов крепким сном, похожим на смерть, с той лишь разницей, что чувства покидали тело на короткий срок и вскоре возвращались к своим обязанностям. Хитрая Ипполита с радостью встретила посланца и, когда села с мужем ужинать, подсыпала порошок ему в вино, столь лакомое для стариков. За каждым куском муж потчевал жену попреком, с каждым глотком глаза его все больше туманил сон. Не успели еще убрать со стола, как он свалился на пол, точно камень в колодезь, — снадобье оказалось забористым, и когда бы сама затейница и служанка не знали, в чем дело, они бы наверняка подумали (и не слишком огорчились), что почтенный Сантильяна навек покинул свою супругу. Старика раздели, уложили в постель и стали ждать отца настоятеля; тот явился, как условились, в девять часов — время не слишком позднее и удобное для такого дела в холодную зимнюю пору. Вместе с двумя монахами он подъехал в карете и, войдя в дом, велел одному из спутников, вооруженному ножницами и бритвой, срезать ста-

рику бороду и выбрить на голове монашескую тонзуру. Расторопный цирюльник потрудился на славу: не смачивая волос, чтобы холодная вода не помешала действию порошка, он живо превратил Сантьяну в почтенного монаха. Волосы у ревнивца были густые и жесткие, под стать нраву; венчик тонзуры получился пышный и благолепный, прямо загляденье, да еще обильно посеребренный сединой. А когда сбрили бороду, жена не могла удержаться от смеха — ее муж превратился из старика в старуху. Надели на него рясу, такую же, как у ее брата, а он ничего не слышал, точно все это проделывали с каким-нибудь графом Партинуплесом¹; затем втащили его в карету, и настоятель велел Ипполите молить Бога, чтобы доброе начало привело к счастливому концу. Привезя старика в свой монастырь, он распорядился освободить келью; Сантьяну раздели догола и уложили на жесткое ложе для кающихся, а рясу повесили рядом на стул и свечу зажженную оставили; затем заперли дверь и отправились спать.

К этому времени забытье ничего не ведавшего послушника длилось уже два часа, и еще два часа провел он, одурманенный сном, после чего действие порошка должно было прекратиться, ибо всего ему было дано владеть человеком в течение четырех часов, а так как начал он действовать в восемь вечера, то к двенадцати срок его истекал.

В полночь, как во всех монастырях заведено, прозвонили к заутрене, а после колокола, будя тех, кому надлежало вставать, загремели трещотки — инструмент, состоящий из выдолбленных до-

¹ То есть как в рыцарских романах.

щечек, в которых укреплены железные пластинки; их быстро перебирают, и они ударяют по толстым стержням, производя резкие звуки, неприятные и для тех, кого они должны будить и кому знакомы, но совершенно ужасающие, если слышать впервые эту грохочущую музыку. Так было с отцом Сантильяной — в страхе проснулся он и, думая, что лежит у себя дома, в своей постели, рядом с женой, закричал:

— Иисусе! Что это такое, Ипполита? Дом рушится, что ли? Или это гром гремит, или дьяволы явились по мою душу?

Но так как никто ему не отвечал, он стал ощупью искать рядом свою жену и, не найдя ее, загорелся злобой, вообразив, что теперь-то она уж наверно наставляет ему рога, а грохот поднялся от того, что потолок обрушивается. В ярости соскочил он с постели и завопил:

— Где ты, распутница? Шлюха эдакая, теперь небось не скажешь, что все это старческая подозрительность! Среди ночи сбежала с кровати и из спальни, принимаешь на крыше своего любовника! Потолок честнее тебя, он стал обваливаться, чтобы меня разбудить! Эй, девчонка, подай мне платье! Скорей, шпагу мне, я смою свой позор кровью этих прелюбодеев!

И он бросился искать свою одежду, но вместо нее нашел монашескую рясу. Заметив, что находится в незнакомой келье, и не понимая, как и кто перенес его сюда, Сантильяна совершенно очумел — да и всякий на его месте чувствовал бы себя не лучше. Он не знал, звать ли на помощь или — если он околдован — ждать, пока чары исчезнут; не знал, спит он или бодрствует. Отворил он дверь кельи — а сверху на перекладине лежал череп

с костями, — и вдруг ему на голову свалились две берцовые кости и остудили ревнивый пыл ознобом страха — шутка ли получить такой замогильный подарок! Сочтя это дурной приметой, Сантильяна взял свечу, чтобы посмотреть, на какую улицу или пустырь выходит заколдованная каморка и куда он попал, но увидел лишь длинный-преддлинный коридор со множеством дверей, ведущих в кельи, и с лампой посредине.

— Господи помилуй! Что это? — воскликнул он дрожа и вернулся в келью. — Разве я после вчерашнего ужина не лег спать дома? Кто же перенес меня сюда, кто переменял мою одежду на рясу? Может, я в лазарете? Здание это больше похоже на больницу, чем на жилой дом. Неужто ревность свела меня с ума и меня определили на лечение в толедский дом Нунция? Комнатушка так мала, что смахивает на клетку, а не на человеческое жилье. Не знаю, что и подумать! Последнее, пожалуй, вероятней всего, — если не ошибаюсь, в мозгах у меня уже давно был кавардак от одних только мыслей, как бы сберечь свою честь. Не мудрено, если окажется, что меня уже года два-три лечат здесь, в лазарете, и вот теперь, придя в себя, я воображаю, будто вчера лишь в тишине и уюте сидел у себя дома рядышком с женой. Впрочем, нетрудно узнать, верна ли эта догадка, — ведь сумасшедших и галерников бреют наголо, — пощупаю-ка я свою бороду и избавлюсь от страхов.

Сантильяна схватился за подбородок и обнаружил, что у него нет бороды, которую он так хохлил. Пощупал голову — там венчик, словно его избрали королем ревнивых мужей. Принялся он оплакивать потерю разума, уверенный, что попал в послушники к Нунцию и что ему в насмешку —

как это часто делают с безумными — побрили голову таким образом. Однако он утешался мыслью, что, раз он понимает свое положение, стало быть, разум к нему вернулся, и его вскоре выпустят из этой треклятой обители. Единственно смущала его ряса, она опровергала его предположения, ибо сумасшедшие, которых он видел в Толедо, носили бурые балахоны, но не монашеское одеяние.

Теряясь в нелепых догадках, стоял он посреди кельи совсем голый; стужа и та не подгоняла его одеться, да он понятия не имел, с какого конца надевают рясу, и не мог разобраться в великом множестве складок — такого платья он отродясь не нашивал. Тут в келью вошел монах, разносивший огонь братьям, и сказал:

— Почему вы не одеваетесь, отец Брюхан, вам ведь надо идти к заутрене?

— Кто здесь Брюхан, брат? При чем тут заутрени или вечерни? Что вы меня морочите? — отвечал женатый монах. — Ежели вы сумасшедший, каким был я, и на этом свихнулись, то я, по милости Божьей, уже выздоровел и не намерен слушать чепуху. Скажите, где найти управителя, и, пожалуйста, перестаньте меня брюхатить!

— Видно, вы с левой ноги встали, отец Брюхан! — сказал монах. — Оденьтесь, холодно ведь, и знайте — я сейчас пойду звонить второй раз, а отец настоятель в дурном настроении!

С этими словами он вышел, а старик еще больше растерялся.

— Я — Брюхан? — говорил он. — Я — монах и должен идти к заутрене, когда, по-моему, еще

и шести часов нет? Это я-то, привыкший рядышком с моей Ипполитой рассуждать о ревности, а не распевать псалмы? Да что ж это такое, блаженные души чистилища? Если я сплю, прекратите этот тягостный дурной сон! А если бодрствую, объясните тайну сию или верните мне разум, которого я, без сомнения, лишился!

Он все стоял в изумлении, не понимая, как ему одеться, и кутаясь от холода в одеяло, когда вошел другой монах и сказал:

— Отец Брюхан, регент хора спрашивает, почему вы не идете к заутрене; в эту неделю очередь петь вашему преподобию.

— Спаси меня, владыка небесный! — воскликнул новоиспеченный монах. — Видно, я все же отец Брюхан, хотя вчера был Сантильяна! Скажи мне, добрый монах, ежели ты монах, или братец сумасшедший, ежели, как я думаю, мы находимся в доме умалишенных: кто меня поместил сюда? Кто и почему отнял у меня мой дом, мое имущество, мою жену, мое платье и мою бороду? Может, тут бродят Урганда Неуловимая или Артур Чародей¹ и это они заморочили мои мозги?

— Я бежал со всех ног звать его, — сказал хорист, — а он с места не двинется и чепуху мелет! Видно, вчера в трапезной вы, отец Брюхан, изрядно заложили за воротник, ежели до сих пор винные пары не улетучились. Одевайтесь, а если вам трудно, я помогу.

Монах набросил на него рясу, а когда стал завязывать капюшон и стянул потуже, Сантильяна подумал, что это дьявол душит его, и давай кричать:

¹ Персонажи рыцарских романов.

— Изыди, Сатана! Оставь меня, проклятый дух! Души чистилища! Святая Маргарита, Святой Варфоломей, Святой Михаил, святые угодники, заступники и милостивцы, спасите меня, не то этот колпачный демон меня задушит!

И, выскользнув из рук монаха, порвав капюшон и оцарапав его самого, ревнивец стремглав кинулся бежать по коридору.

Настоятель и братья, спрятавшись, прислушиваясь к нелепой ссоре, давясь от смеха, но не смея нарушить уговор и подобавшую в это время тишину. Затем все разом вышли с горящими свечами, приготовленными для хора, и настоятель строго сказал:

— Отец Брюхан, что означает это бесчинство и буйство? Так обойтись с братом, которого я послал позвать вас в хор? Вы подняли руку на особу, принявшую духовный сан и пострижение, и мало того, что не явились на торжественную службу, хотите подвергнуться отлучению? А нука, отхлещите его, одно «Miserere mei»¹ остудит его пыл.

— Что значит — отхлещите? — возмутился вспыльчивый монтанец. — Скотина я, что ли? Я и так уже подхлестнут достаточно и готов защищаться от ваших чар. Адские духи! Глядите, вот крест! Вы надо мной не властны, я старый христианин из Монтаньи, я крещен и помазан елеем! Fugite partes adversae!²

Так он выкрикивал одну глупость за другой, а окружающие корчились от смеха, который распирал им щеки. Но вот настоятель велел служкам связать его и сказал:

¹ «Смилуйтесь надо мной» (лат.).

² Бегите в адские пределы! (лат.).

— Брат этот сошел с ума, но наказание его образумит!

Тут ревнивца угостили хорошей порцией ремней — и красных полос на спине стало больше, чем кардиналов в Риме. А наказанный орал что было мочи и приговаривал:

— О сеньоры, монахи вы, или черти, или еще кто! Что вам сделал бедный Сантильяна, за что вы обходитесь с ним так жестоко? Если вы люди, сжальтесь над существом вашей же породы — я ведь в жизни мухи не обидел и ни в чем не могу себя винить, кроме того, что ревностью своей изводил жену! Если вы монахи, то прекратите бичевание — я не знаю за собой вины, чтобы так сурово меня карать! Если ж вы демоны, скажите: за какие грехи попустил Господь, чтобы заживо сдирали с меня шкуру?

Монах, стегавший его, только усердней нахлестывал, приговаривая:

— Опять за свое? Ну, посмотрим, кто из нас двоих быстрее устанет?

— Я уже устал, почтенный отче! — отвечал кающийся по принуждению. — Кровью Христовой заклинаю, сжальтесь надо мной!

— Итак, вы исправитесь впредь?

— Да, да, отче, исправлюсь, только не знаю, в чем, — отвечал Сантильяна.

— Как это не знаете? — возразил монах. — Вот так славный способ признавать свою вину! Нет, дело еще не доведено до конца! Надо малость прибавить!

И продолжал полосовать ему спину.

— Добрейший отче, — завопил Сантильяна, падая ниц, — признаю, что я худший из людей на земле! Только пощадите мое тело, как

Господь пощадит мою душу! Ей-ей, я исправлюсь!

— Вы знаете,— спросили его, — что вы монах и что для монаха простительные грехи — большее преступление, чем смертный грех для мирянина?

— Да, да, отче,— отвечал Сантильяна, — я монах, хоть и недостойный.

— Вы знаете устав вашего ордена? — продолжали его спрашивать, и он опять ответил:

— Да, отче.

— Какой это устав?

— Какой будет угодно вашему преподобию! Мне-то все едино, я готов вступить и в орден великого Суфия¹.

— Будете вы впредь смиренны и усердны к своей службе, отец Брюхан?

— Буду Брюханом,— отвечал тот, — и всем, что вам заблагорассудится.

— Так поцелуйте же ноги брата, — сказал монах, — которого вы обидели, и просите у него прощения.

— Целую вам ноги, отец мой, — сказал Сантильяна, плача скорее от боли, чем от раскаяния, — и прошу у вас прощения или черта-дьявола, прошу все, что мне прикажут просить!

Тут уж все монахи не могли удержаться и расхотались. Настоятель пожурил их, сказав:

— Над чем смеетесь, братья, когда надо оплакивать потерю разума у брата нашего, достойнейшего монаха, пятнадцать лет с величайшим рвением служившего вере в этом монастыре?

— Я служил пятнадцать лет? — говорил себе бедный Сантильяна. — Видано ли подобное кол-

¹ Орден суфиев не христианский, а магометанский.

довство хоть в одном из рыцарских романов, которые лишают разума юношей? Но довольно! Ежели все вокруг говорят, что это правда, стало быть, так оно и есть, хоть я не пойму, как это случилось. Будь это неправда, какой смысл праведным братьям мучить меня и всем твердить одно?

— Пойдемте с нами в х о р , — сказал ему шурин, которого он не знал в лицо.

Ревнивец повиновался, себе на горе. Начали петь псалмы, и регент приказал ему вести первый антифон. А он в музыке смыслил столько же, сколько в вышиванье. Но отказаться не посмел из боязни получить новую взбучку и, скрежеща зубами, затянул антифон. Все в хоре покатались со смеху, сам настоятель не мог удержаться и распорядился посадить безобразника в колодки; так просидел он, беснуясь, три дня — еще немного, и пришлось бы ему проститься не только с мирской жизнью, но и с разумом. Затем колодки сняли, и настоятель приказал ему идти с одним из монахов просить подаяния, как заведено по субботам. Дали ему суму, он безропотно взял ее и пошел покорно, как овца, куда велели¹. Спутник ревнивца умышленно повел его на улицу, где жила его жена; он узнал дом, встрепенулся и, немного осмелев, сказал себе:

— Клянусь Богом, разве это не мой дом? Разве я не женат на Ипполите? Кой черт загнал меня в монастырь, когда я отродясь туда не собирался? Я — муж, я женатый человек!

¹ Очевидная насмешка над иезуитским пониманием монашеской дисциплины как слепого повиновения: «Будь подобен трупу».

С этими словами он вошел в дом, увидел жену и, бросившись ее обнимать, воскликнул:

— Драгоценная моя супруга! Небо послало мне кару за то, что я мучил тебя! Меня сделали монахом — как и почему, не знаю сам, но отныне пусть ищут себе других сборщиков подаяния, а я — человек женатый!

— Что за безобразие? — закричала молодая жена. — Эй, соседи, на помощь, этот дерзкий безумец оскорбляет мою честь!

Прибежали его спутник и несколько соседей, не узнавшие Сантильяну, — у него теперь не было длинной бороды, одет он был в необычное платье и так изможден от епитимий, что мог потягаться в худобе с отцами отшельниками. Вытолкали они его взашей, да еще осыпали злыми насмешками.

— Оставьте его, ваши милости, — вмешался его спутник, — и не дивитесь его поступкам: бедняга полгода был помешан, и главный его вывих — говорить каждой встречной женщине, что она — его жена. Держали мы его на цепи, но вот уже два месяца с лишком он как будто здоров, а братьев теперь не хватает — многие на великий пост отправились в села проповедовать, — поэтому мне, как я ни противился, велели нынче взять его с собой собирать подаяние.

Монаху поверили, несчастного пожалели, и, чем громче он кричал, что он-де муж Ипполиты, тем больше все убеждались в его безумии. Уже и впрямь полубезумного, повели Сантильяну, чуть не связав его, в монастырь. Там его опять наказали плетью и опять посадили в колодки; больше месяца страдал он в этот раз за страдания, причиненные жене, и наконец, как-то в полночь, его разбудил голос, доносившийся

с крыши его узилища. Торжественно и громко
голос вещал:

Ревнив с Ипполитой
И зол, точно зверь,
Ты стонешь теперь —
В колодки забитый,
С макушкой пробритой.
Не правда ль, мученье —
Твое заточенье?
Но если не впрок
Пришелся урок,
Продолжим ученье!

Трижды повторил эти стихи замогильный го-
лос, и Сантьяна, рыдая и молитвенно сложив
руки, самым смиренным тоном ответил:

— Небесный или земной оракул, кто бы ты
ни был, забери меня отсюда — обещаю вполне
исправиться!

После этого ему дали поужинать, поднесли
и вина, которого он не пробовал со дня своего
преобразования, что было для него самой тяжелой
карой. Он выпил вина и заодно — двойную до-
зу того же порошка, что прежде. Тотчас его смо-
рил сон. За все это время волосы на голове и боро-
да отросли у него порядочно, его постригли, под-
брили, как он ходил всегда, потом отвезли
в карете домой, и настоятель, он же врачеватель
ревности, попрощался с сестрой, надеясь, что, ког-
да муж ее проснется, он будет в полном разуме
и нрав его улучшится. Жена положила мирское
платье Сантьяны на сундук у изголовья кроват-
и, сама легла рядом; сон, вызванный порошком,
продолжался до рассвета, потому что Сантьяна
выпил снадобье в десять часов вечера. Наконец он
пробудился, думая, что он в колодках, как вдруг
увидел, что лежит в постели и вокруг темно.
Он никак не мог поверить: стал щупать подушки —

не из дерева ли они, — и нащупал рядом свою жену. Вообразив, что это злой дух продолжает его искушать, он закричал и стал читать молитвы. Ипполита не спала, ждала, что будет дальше. Но вот она как будто проснулась и говорит:

— Что с тобой, муженек? Что случилось? Неужто у тебя опять приступ колик в печени?

— Кто ты и почему спрашиваешь меня об этом? — со страхом спросил уже излечившийся ревнивец. — Ах, боли у меня не от печени, а от монашества.

— Но кто же может спать с тобой рядом, — отвечала она, — если не твоя жена Ипполита?

— Иисусе, спаси меня! — воскликнул муж. — Как ты проникла в монастырь, дорогая женушка? Разве ты не знаешь, что тебя отлучат, а если проведает наш старший или настоятель, тебе так исполосуют спину, что она станет как ломоть лососины?

— О каком монастыре ты говоришь, что за шутки, Сантьяна? — отвечала она. — То ли ты еще спишь, то ли рехнулся?

— Выходит, я не был пятнадцать лет монахом, — спросил он, — и не пел антифоны?

— Что-то не пойму я твоих мудреных словечек, — возразила жена. — Вставай, уже полдень, пора тебе идти принести чего-нибудь съестного.

Не помня себя от изумления, Сантьяна пощупал свой подбородок — борода была на месте, и тонзура на голове исчезла. Он приказал открыть окно и увидел, что лежит на своей кровати, в своей спальне и рядом его платье — ни следа колодок и рясы. Попросил он зеркало и увидел совсем другое лицо, не то, что в прошлые дни

глядело на него из зеркала в ризнице. Тут он осенил себя крестным знамением и окончательно уверовал в пророчество оракула-виршеплетя. Жена с притворным участием осведомилась о причине его страхов. Он ей все рассказал и заключил тем, что, видно, все это ему пригрезилось ночью во сне и сам Бог, видно, велит ему исправиться и быть довольным своей женой, как она и заслуживает. Жена поддержала эту химеру, сказав, что обещала отслужить девять обеден душам чистилища, если ум ее супруга прояснится; но если бы так не случилось, она-де решила броситься в колодец.

— Да не допустит этого Бог, царица всех Ипполит! — ответил он и попросил у нее прощения, клянясь впредь не верить даже тому, что увидит собственными глазами.

Теперь ей было разрешено выходить из дому, и она с двумя подругами отправилась к графу; каждая превозносила свою проделку, и графу так понравились все три, что он, не желая никого обидеть, сказал:

— К сожалению, сеньоры, бриллиант, который дал всем трем повод блеснуть остроумием, был потерян мною в тот же день, когда его нашли; стоит он двести эскудо, да я еще от себя посулил победительнице пятьдесят. Однако венец и звание хитроумнейших женщин в мире заслужили вы все; поэтому я, хоть и не могу наградить вас по достоинству, даю каждой эту сумму, триста эскудо, полагая, что никогда еще деньги, приобретенные мне друзей, не были употреблены удачней, и буду счастлив, если мой дом станет вашим домом.

Женщины были в восторге от его щедрости и возвратились домой в дружбе и согласии. Вско-

ре вернулся из путешествия казначей, совершенно забыв о подстроенной ему шутке; художник продал свой дом и купил другой, чтобы избавиться от проказливых домовых, а Сантьяна был настолько счастлив и надежно излечен от ревности, что отныне прямо-таки обожал свою жену, уверовав, что ее опекают таинственные оракулы.



Адонсо Кастильо Солорсано

ИЗ КНИГИ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА»

Новелла шестая ОБМАНУТЬ ПРАВДОЙ



Сколь дерзким ни покажется, о благо-
склонные и рассудительные слушате-
ли, мое намерение вступить на эту
стею после того, как столь изобре-
тательные умы нас своими новеллами
восхищали и занимали, может оправ-
дать меня лишь закон, обязующий
к повиновению, и ежели мой стиль,
неотделанный и грубый, не доставит вам наслажде-
ния, помните о том, что не было у меня иной
цели, как только вам угодить. В новелле сей хочу
я подвергнуть порицанию честолюбцев, которые,
имея в виду одну только свою корысть, пускаются
в отчаянные и безрассудные предприятия, а также
и тех, кто, будучи приближен к высокой особе, из

тщеславия своего и надменности чинят другим беззакония; и королям дается здесь урок — сколь терпеливо и стойко следует сносить им непостоянство жестокой Фортуны; начну же свое повествование так.

В государстве, которое в старину именовали Тинакрией, а в новые времена — Сицилией, на омываемом Тирренским морем прославленном этом острове, чьи нивы так плодородны, что недаром считали его некогда родиной богини Цереры, а нынче прозывают житницей Рима, правил достославный Ренато, король мужественный, отважный и стойкий: из тридцати лет, в продолжение которых властвовал он над своим островным королевством, четырнадцать пришлось ему воевать, вступая в жестокие и опасные сражения с непокорными вассалами, покуда, лишив жизни одних, других примерно покарвав, он не восстановил в державе мир и тишину. Был отважный король женат на прекрасной Камилле, своей двоюродной сестре, которую нежно любил весь тот короткий срок, какой мог наслаждаться ею, ибо не прошло и трех лет, как она умерла родами, ввергнув в жестокую скорбь и возлюбленного супруга своего, и многих из его подданных, ибо все королеву искренне любили и почитали. Осталась после Камиллы дочь, которую называли Кассандрой, — она одна примирила несчастного отца с утратой столь доброй матери, будучи для него несказанной отрадой и обещая сделаться утешением его преклонных лет. Когда же пришла к Кассандре во всем своем цветении пятнадцатая весна, то, не говоря уже о великой красоте принцессы — диве родной земли и изумлении окрестных, — не было прелестей, достоинств и совершенств, каких бы она в себе не заключала. Умна она была необычайно

и обладала великолепным голосом — короче говоря, природа явила в ней одно из редкостных своих чудес.

В день пятнадцатилетия прекрасной принцессы затеял отец в ее честь королевский турнир, в котором пожелал самолично принять участие наравне с другими рыцарями, чтобы тем самым заставить вельмож и придворную знать устроить состязание с особенною пышностью и доселе не виданными ухищрениями. Закончились приготовления очень скоро, если учесть, сколь роскошным и блестящим этот турнир затевался, и, прослышав о нем, съехались из соседних княжеств и королевств самые искусные рыцари и дворяне, какие — чтобы на ристалище себя показать, а какие — чтобы на других посмотреть.

Когда же настал торжественный день, назначенный королем для веселого праздника, столица той державы, город Палермо, настолько заполонен был своими и чужеземцами, что едва возможно было пройти по его широким улицам. Главная площадь расцвела, как сад: золоченые балконы, на нее выходящие, украсились коврами и расшитыми балдахинами, особенно те, что предназначались для прекрасной принцессы и ее благородных дам; та и другие явились во всей красе за полчаса до начала праздника, к великой радости всех, кто пришел на них полюбоваться. Едва заняла принцесса свое место на возвышении, а дамы расселись согласно обычному порядку, как рыцарь — устроитель турнира с невиданной пышностью и блеском въехал на площадь под звуки воинственных гимнов, что исполняли шедшие впереди музыканты, обряженные в дорогие, золотом шитые одежды, в которых видны были цвета его дамы; чулки, перья, плащ самого устроителя, равно как и чеп-

рак его коня, были тех же цветов; позади ехали маршалы, оруженосцы, пажи — словом, все было так, как полагалось: не ошибся Ренато, поручив этому дворянину устроить королевский турнир.

Был он одним из принцев крови — знатен родом и богат землями и доходами; с роскошною своею свитой, каковая была уже мною упомянута, он объехал площадь под ликующие крики толпы и, прежде чем занять свое место на ристалище, сошел с прекрасного андалузского скакуна, рожденного на берегах полноводного Гвадалквивира, и скрылся в предназначенном ему великолепном шатре, где и стал ждать появления рыцарей, желающих вступить в поединок; дабы не утомлять вас, уведомлю вкратце, что выезжали они по одному на площадь, устроитель сразился с ними, выказал при этом сноровку и храбрость и выиграл три приза: первый отдал принцессе, два других — своей даме.

И вот настало время выехать на площадь королю; свиту его могут себе представить те из вас, кто видел, как на королевском празднике, устроенном наместни при мадридском дворе, вошли в залу католические наши государи, оказав честь всем присутствующим и возвеселив их сердца.

Король занял свое место, герольды протрубили атаку, и ринулся Ренато на противника, держа копьё в кольце у правого стремени; на скаку выдернул его, взял наперевес и с превеликой силою нанес такой удар, что копьё разломалось о панцирь; устроитель же выказал силу духа не меньшую: он поднял ввысь свое копьё в тот самый миг, когда кони поравнялись, каковой учтивости рукоплескали все, кем она была замечена; король, однако, послал сказать, чтобы во второй схватке это не повторилось; и устроитель повиновался,

хотя и не должен был бы, ибо, искусство ли его тому виною, несчастливая ли судьба, назначенная королю в этом состязании, но копье, ударившись о забрало шлема, разлетелось в щепы, и одна из них вонзилась королю в правый глаз с такой силою, что проникла в самый мозг, отчего король, не успев и слова молвить, грянул оземь бездыханным.

Прискорбные эти события вызвали всеобщее смятение; единый жалостный вопль вырвался из всех уст, и, оставив свои места, все поспешили туда, где лежал король, чья душа уже рассталась с телом. Подъехали маршалы из его свиты, а с ними и другие придворные, и самые знатные на плечах отнесли его во дворец, оплакивая столь неожиданную и горестную утрату. Как подействовало на Кассандру несчастное это происшествие, невозможно описать словами: скажу только, что от горя она едва не лишилась рассудка.

Этим же вечером тело короля набальзамировали, чтобы наутро отнести в склеп и предать погребению со всей пышностью и торжественностью, какие приличествуют королевскому сану; и всеобщие стенания, вызванные его кончиною, свидетельствовали, сколь любим он был своими верными слугами. Прекрасная Кассандра, уязвленная горем, убитая ужасным несчастьем, ничем не могла утешиться или же умерить страдания. В таком положении находилась она много дней, но быстро текущее время, которое и не такие горести и печали исцеляет, помогло и Кассандре: через год после гибели отца, в свой шестнадцатый день рождения, она облегчила траур и дала старейшим советникам своей державы соизволение приискать ей жениха, чтобы вступить в брачный союз, выгодный для королевства и сообразный с ее собственной склон-



ностью, и в союзе этом произвести на свет наследников престола.

Ей предложили троих принцев, из которых могла она избирать, а были то герцог Миланский, герцог Калабрийский и дон Ремон Борель, единственный сын графа Барселонского. Видела она и весьма схожие портреты всех троих; и хотя брак с герцогом Калабрийским, ее соседом, был бы выгоден, молва о его суровом нраве, распространившаяся по Калабрии и проникшая в сопредельные земли, отвратила от него принцессу; так что из троих принцев был ею избран сын дона Бореля, графа Барселонского, дон Ремон Борель, которого природа оделила всеми дарами, какие потребны были дворянину его ранга и положения, чтобы удостоиться несравненной Кассандры, которая достоинствами всех принцесс затмевала. Сообщили об этом каталонцам, и граф отправил посольство, чтобы составить брачный договор; хотелось ему, чтобы королева Сицилии, принявшая уже от своих подданных присягу, увидела воочию широту его души и щедрость сердца в пышных и великолепных дарах, собранных из всего лучшего, что есть в Испании и других королевствах: были там невиданные ткани, бесценные украшения и, наконец, чудные самоцветы и дорогие, редкостные камни. Послы вручили подношение, и королева его приняла крайне благосклонно и с большой охотою, как памятуя о том, кто эти дары прислал, так и дивясь их великой ценности. Все условия были обговорены, и контракт в короткое время составлен: с тем и пустились в путь барселонские послы, а с ними вместе королевой были отправлены послы сицилийские с подношениями не менее пышными, чем полученные ею, и с наказом вручить их графу, а сыну его — особый дар: дивный портрет са-

мой королевы в оправе, усыпанной алмазами, и перстень с бриллиантом, такой дорогой, что был приписан к королевской сокровищнице: испокон века им обручались короли Сицилии — это Кассандра велела непременно сообщить каталонскому принцу.

С попутным ветром добрались до места оба посольства, и были в честь сицилийцев устроены праздники и гуляния; старый граф встретил их весьма радушно и дары принял с великим удовольствием, на все лады их расхваливая и превознося, точно так, как прежде королева; и сын его принял портрет и перстень, по заслугам оценив и столь прекрасную копию, и столь богатое даяние: с тех самых пор никогда не снимал он этого перстня со своей правой руки, что и обозначило дальнейшую судьбу принца, как мы после о том узнаем.

В очень короткий срок послы закончили переговоры; обе стороны подтвердили свое согласие, и брачный контракт был составлен: граф радовался, видя, сколь высокий союз его сын заключает.

Остался у графа со времен его юности еще и побочный сын, теперь уже тридцати лет, силы необычайной, дерзкий, высокомерный и до крайности несдержанный, чем и заслужил неприязнь каталонских дворян, которым угодно, чтобы и сами их государи к ним относились с любовью и уважением, в каковых никогда им не отказывали ни природный их повелитель, ни его законный наследник, на которого дон Джофре — так звали внебрачного сына — нимало не походил, отчего все его ненавидели, если не считать простолюдинов, — эти поддерживали его и очень почитали, ибо из своих далеко идущих соображений он их жаловал более, нежели знатных.

И вот принялись снаряжать в дорогу принца и его свиту, куда входила самая родовитая знать Барселоны и всей Каталонии: графы, виконты, бароны и рыцари, собираясь в путь, тратили несметные богатства, чтобы не посрамить своего сеньора, показавшись с ним в Сицилийском королевстве.

В день, назначенный для отплытия, уже стояли в преславной барселонской гавани восемь галер, специально построенных на верфях каталонской столицы: были они, в особенности флагманская, украшены пестрыми флажками, расшитыми вымпелами и роскошными стягами, а также снабжены в изобилии всем потребным для плавания, не говоря уже о солдатах, пушках, умелых и опытных гребцах. Остается добавить только, что у достойного принца, который едет нынче жениться в Сицилию, было на службе три дворянина, происходивших из самых знатных в Каталонии семей: их он очень отличал и особенно жаловал; но, к немалому удивлению других придворных, все трое между собой пребывали в добром согласии, не завидуя друг другу и не входя в раздоры, — все это благодаря разумному обращению с ними их сеньора, который поровну оделял их милостями и знаками внимания, так что ни один не мог пожаловаться; звали дворян дон Уго, дон Гильен, а третьего — Гарсеран. Они приготавливались более тщательно, нежели прочие, дабы всех затмить на предстоящей свадьбе, и потому замешкались в своих имениях, пошивая наряды и принимая подати, не без стеснения для вассалов, ибо они-то в подобных случаях и обеспечивают собственным имуществом траты господ.

О дне отплытия было им сообщено заранее, но, как они ни старались, к сроку прибыть не удалось:

для них вместе с отборными гребцами оставлена была одна из лучших галер, с тем чтобы на другой день могли они пуститься в путь и догнать остальных в первом порту, где свадебный кортеж принца остановится на ночь. В день отплытия отважный дон Ремон попрощался с отцом и, получив благословение, взошел на корабль вместе с дворянами своей свиты, которые разместились на восьми галерах так, как им было назначено.

Хотел было и дон Джофре, внебрачный сын графа, сопровождать брата по такому случаю и побывать на его свадьбе, однако же отец, зная его крутой и нелюбезный нрав, не дал на то своего согласия, чем дон Джофре был крайне раздосадован, из каковой досады воспоследовали немалые смуты, как мы с вами после увидим.

Звонким и радостным залпом изо всех орудий встретили галеры своего принца; с берега тоже палили пушки, и множество музыкантов играли воинственные гимны, а корабли, поставив паруса по ветру и погрузив весла в волны, пустились в путь при благоприятствующей погоде; и чувствовал себя благородный дон Ремон счастливейшим из людей: минуты казались ему сутками, а сутки — месяцами, покуда не мог он насладиться видом желанной своей королевы; то и дело вынимал он ее портрет, который всегда носил на груди на цепочке, и подолгу созерцал его. Радость слегка омрачалась тем, что три его любимца опоздали и не смогли выехать вместе с ним, но все вокруг уверяли, что и двух дней не пройдет, как они догонят галеры в первом же порту, где те встанут на якорь.

Однако против ожиданий дворяне еще на два дня задержались с отплытием и принца догнать не смогли, как вы впоследствии о том услышите. Вот

уж третью неделю под попутным ветром бороздили галеры светлую гладь бескрайнего Нептунова царства, как вдруг переменчивая Фортуна, которая еще недавно, обратив к каталонцам благосклонный взор, казалось, споспешествовала их стремлениям, обещая счастливое плавание и тихую гавань, нынче явилась во гневе, дабы не забывали о ее непостоянстве: стала скликать неистовые ветры и морщить безмятежную гладь Тирренского моря, взрастив наконец водяные горы, которые в дерзком стремлении к небесам то заставляли корабли, потерявшие друг друга в буре, коснуться высоких туч, то, напротив, погружали их глубоко в морскую пучину. Слоистые облака покрыли небо, и из мрачного их лона извергались обильно и непрерывно потоки дождя. Всех охватило смятение и ужас: кормчие оставили кормила, матросы метались по палубе, прилежные гребцы, не слыша свистка растерянного боцмана, уж не погружали весел в воду; волны росли, вздымаемые разъяренным ветром, и корабли то опускались под изогнутые своды лазурного царства, то устремлялись к небесным сферам. Отважный дон Ремон всячески старался укрепить дух своих товарищей, но, видя, как кормчие, матросы и гребцы дрожат за свои жизни и кричат о неминуемом крушении, все убоялись пагубного конца; так оно и вышло — десять часов мотало их по волнам, и неподалеку от Мессины, при входе в бухту, отстоявшую от гавани на две мили, флагманская галера, а с ней еще три, наскочили на рифы и разбились об острые выступы скал, отчего и затонули, поскольку попало в трюмы много воды, а при всеобщем смятении никто не подумал прибегнуть к насосам; ни один из тех, кто был на галерах, не спасся; лишь отважный дон Ремон, которого небо сберегло для того, чтобы

он правил Сицилией вместе с прекрасною королевой, увидев неминуемую свою погибель, скинул одежду, оставшись в исподнем из тонкого голландского полотна, ухватился за бревно, отломившееся от галеры, и, отдавшись на волю разъяренных волн, изо всех сил стал загребать руками, пытаясь добраться до суши.

Жалостную эту картину наблюдали с берега три рыбака, чьим единственным достоянием были утлый челнок да несколько латаных сетей, с помощью которых добывали они пропитание для своих семей, живших в ближней деревушке; заметив среди разбушевавшихся волн человека, более счастливого, нежели его спутники, ибо он, ухватившись за бревно, тщился поддержать свою жизнь в надежде на помощь, захотели они отсрочить его кончину и решились, несмотря на опасность, покинуть берег; отвязали они челн, столкнули его в воду и очень скоро достигли места, где храбрый юноша из последних сил сражался с неистовыми валами. Бросили ему конец веревки, за который он ухватился, и вот, благодаря милосердию троих рыбаков, сменил наконец бревно, свое ненадежное судно, на безопасный челн. Как мог, поблагодарил добрый каталонец за христианскую помощь и прибавил, что вознаградит их небо, ибо сам он сейчас в таком положении, что и за столь благое дело отплатить не в силах.

Так выбрались они на сушу, и рыбаки отвели несчастного в свою убогую хижину, где развели огонь, тепло которого вместе с изношенным плащом, что дали спасенному, дабы прикрыть наготу, укрепили его пошатнувшийся было дух, и снова стал он благодарить рыбаков за радушие, какое он в их бедном жилище встретил. Спасаясь от ударов злополучной судьбы, сберег дон Ремон лишь пер-

стенъ и портрет, присланные прекрасной Кассандрой; обе эти вещи спрятал он так, чтобы рыбаки не увидали. Спросили его, кто он таков, и он, отрехшись от звания, сказался купцом из Каталонии: плыл-де он вместе с принцем в Сицилию на одной из его галер и вез разные товары, дабы выгодно продать их на королевской свадьбе; все, кроме него, погибли, никто не спасся; весь груз его также затонул, о чем он ничуть не жалеет, коль скоро сам остался в живых. Вновь посетовали простодушные рыбаки на злую его судьбину, в изумление же их повергло то, что это каталонский принц и его люди потерпели крушение, ибо, желая повеселиться на королевской свадьбе, все здесь с нетерпением ждали его прибытия.

Добросердечные рыбаки старались, как могли, развеять грусть мнимого купца, всячески его утешая; пробыл у них дон Ремон два дня, а на третий сказал, что надумал идти в Мессину, где якобы знает одного купца, с которым ведет дела и который приютит его на время, пока вести о несчастье не достигнут родины и не поспеет оттуда помощь; рыбаки его проводили, показали, куда идти, и в дорогу дали всю пищу, какая была у них припасена на этот день; и вновь поблагодарил их дон Ремон. Побрел наш каталонский принц по дороге, которую ему указали, горюя и сокрушаясь — да и как было не сокрушаться тому, кто лишь недавно отплыл от родных берегов со свитою столь пышной и богатой, что подобной еще не видала Европа, а теперь утонули все его люди, он же, великим чудом избежав гибели, остался один, безо всякой поддержки, бос и наг, если не считать дырявого плаща, данного из жалости сердобольными рыбаками. Подумывал принц, не сообщить ли королеве о постигшем его несчастье, чтобы она

за ним прислала людей; однако претила ему эта мысль: счел он позором для своей державы и уничижением исконной испанской гордости то, что чужеземцы, которыми будет он управлять, связав себя брачными узами с их законной повелительницей, впервые увидят его в столь жалком обличье — нет, лучше будет укрыться в прибрежной деревеньке и поглядеть, не явится ли туда какая-нибудь галера, отнесенная бурей, но избежавшая участи тех, что были с ним, ведь если корабль уцелел, моряки непременно приведут его к берегу, чтобы осмотреть повреждения, нанесенные жестоким штормом.

Порешив на том, отправился далее злосчастный принц и вскорости вышел на зеленую лужайку, у края которой виднелась малая деревушка; здесь, наслаждаясь свежестью и прохладой, пасли сельчане свои тучные стада. С ними была милая девушка, которая скот не пасла, а носила еду из дома, чтобы работники с пастбища не отлучались и не оставляли овец без ухода и присмотра. Подойдя к пастухам, стойкий каталонец поздоровался с ними дружески и спросил, что это за селение и далеко ли отсюда до столицы; отвечали ему, что селение зовется Флореспина, а до столицы отсюда двадцать миль.

— Найдется ли кто-нибудь в этой деревне, — осведомился злополучный юноша, — к кому бы я мог поступить на службу? Ибо я спасся вплавь во время жестокой бури, и нищета вынуждает меня искать заработка для поддержания жизни.

Тут отозвалась девушка:

— Если не претит вам занятие пастуха, то знайте, что мой отец владеет большей частью овец, пасущихся на этих лугах, и работник нам нужен, ибо два дня тому умер один из наших

пастухов, и некому теперь позаботиться об отаре, которая ему была поручена; если вы не против, я попрошу отца вас нанять, ибо вы, сдается мне, человек честный.

— Очень меня обяжете, милая пастушка, — ответил дон Р е м о н, — если замолвите перед отцом за меня словечко.

— Охотно, — сказала о н а, — сделаю это: горько мне глядеть на вашу беду, и одного лишь я желаю — чтобы ремесло, которое вы избрали, пособило вам в вашей нужде.

— Да наградит вас небо за доброту, — молвил Дон Р е м о н, — и за помощь, которую вы готовы мне оказать; даю вам слово, что покуда останусь я на службе у вашего отца, пребуду покорным вашим слугою, ибо полюбились вы мне сразу, как только я вас увидал.

И пастушка рада была оказать ему услугу, частью оттого, что был он статен и пригож, частью — из сострадания к его невзгодам; повела она юношу в деревню и легко уговорила отца нанять его вместо умершего работника; определили ему изрядную отару и выдали вперед жалованье, чтобы мог он одеться, как пастуху подобает.

Заступил отважный дон Р е м о н на мужицкую эту работу, утешая себя многими примерами, приходившими ему на память: были такие суверены и принцы, которых злосчастная судьба ставила еще ниже, принуждая к более постыдным занятиям, да и не в окружении друзей и единоверцев-христиан, а в плену у язычников, противников Божьего закона; ему же остается лишь уповать на то, чтобы небо помогло ему в его невзгодах, и ожидать, что со временем произойдет и в его судьбе перемена к лучшему.

Весть о его злополучном конце распространилась не только в Сицилии, но и в соседних землях, вызывая всеобщее сочувствие и сострадание; а в душе прекрасной Кассандры возобновилась скорбь, поселившаяся там со дня смерти отца: ведь, ожидая нежно любимого супруга, слышит королева, что поглотили пенные валы соленого моря и его, и всех его людей, и ни один не спасся, чтобы поведать о пагубном происшествии; и вот, дабы все как следует разузнать, отправила она от сицилийских берегов шесть галер, которые, обыскав заливы и прибрежные скалы, должны были подтвердить или опровергнуть печальную весть. И едва лишь приступили к поискам, как обнаружались в гавани Мессины верные знаки случившегося несчастья, ибо обломки флагманской галеры и тех, что вместе с нею разбились об острые скалы, были неистовыми волнами выброшены на берег: нашли там, между обломками весел, вымпелами, флажками и штандарт флагманской галеры; и хотя он весь выцвел от соленой воды и песка, по некоторым сохранившимся квадратам возможно было узнать герб графа Барселонского. Сообщили об этом королеве, отчего несказанно возросло ее горе, и все же вновь она отправила свои галеры в соседние порты на случай, если причалит туда, сбившись после бури с курса, какая-нибудь из галер каталонского принца.

Так обстояли дела, когда трое приближенных дона Ремона, пустившись вдогонку за его галерами на той, что им была оставлена, после описанной бури потеряли направление и носились наудачу по бурному и гневливому морю, покуда не встретили королевских галер, вышедших из Сицилии на поиски уцелевших каталонцев; тут, к великому своему горю, и услышали они весть о прискорбной гибели

принца; решили дворяне поворотить в Барселону, куда и прибыли через две недели, — а всего только месяц прошёл с тех пор, как в веселии покидали они этот город, следуя за благородным доном Ремоном на его свадьбу.

Встали они на якорь в преславном барселонском порту и хотели было высадиться на берег, как вдруг донесли до них из города крики и бряцание оружия; у портового люда осведомились они, что бы мог означать такой великий шум, и поведали им, что два дня тому назад приключился с графом внезапный удар, от которого он скончался, едва успев принять последнее причастие; увидя это, дон Джофре, его внебрачный сын, едва похоронив отца, потребовал, опираясь на простонародье, чтобы его признали сувереном, и добиться этого ему не составило труда, ибо не было в городе законного наследника, который поехал жениться в Сицилию, взяв с собою цвет каталонской знати; сообщили им также, что дон Джофре уже занял все самые важные в графстве крепости и присвоил имения отсутствующих дворян, дабы раздать их своим приспешникам вместе с сопутствующими этим землям титулами и званиями — все это неспроста, а затем, чтобы иметь надежную опору в новых владельцах, которые жизни не пожалеют, защищая свое добро; и вот каждодневно между мятежниками и верными подданными вспыхивают новые братоубийственные сражения и смертельные схватки. Услышав это, наши дворяне едва не лишились чувств: от стольких бед, обрушившихся на них за столь короткое время, растерялись они и не знали, что им и предпринять; к тому же они предположили — а так оно и было в действительности, — что тиран дон Джофре

и у них отобрал владения и доходы и поделил между своими, поскольку фавориты дона Ремона сводного его брата никогда особенно не жаловали.

Долго обсуждали они, что же им теперь делать, и наконец остановились на решении, предложенном доном Уго: вернуться в Сицилию и поступить на службу к королеве: будучи приближенными ее суженого, могли они надеяться и у нее оказаться в чести. Так и порешив, они на другой день отплыли из Барселоны с попутным ветром, а еще через неделю бросили якорь в Мессинском порту; высадились, но в город войти не пожелали, а решили остановиться в какой-нибудь деревне неподалеку от столицы и побыть там, пока не будет готов траур и не поспеет соизволение королевы прибыть ко двору; и была ими избрана деревушка, в которой переодетый дон Ремон пас овец; заняли они комнату на постоялом дворе как раз рядом с той, где жил отважный принц, служивший своему хозяину.

Два дня спустя злополучный дон Ремон, ничего не зная о намерениях своих дворян, неожиданно встретил их на лугу, где пас смирных овец вместе с милой сельчанкой, которая очень к нему благоволила и по разным поводам не раз уже свои чувства выказывала, хотя переодетый принц, принявший имя Флорело, и делал вид, что этого не замечает, стараясь всячески избегать постылых знаков внимания и терзая тем самым сердце влюбленной пастушки.

Очень обрадовался скрывающийся принц при виде трех своих дворян, которые, приметив его, впали в крайнее изумление, и если бы не мужицкая одежда, опровергающая то, что истинный облик подтверждал, они бы бросились тут же целовать ему руки. И все же так поразило их это

сходство с несчастным принцем, что воскресла в них великая скорбь по безвременно погибшему. На их лицах прочел переодетый дон Ремон смятение, охватившее их души, но признаваться не спешил, желая увидеть, как далее с ним обойдутся. Поприветствовали его дворяне, и в голосе его и манерах (хоть и пытался он изменить то и другое) усмотрели совершенное подобие тому, кого почитали уже добычею подводных тварей, отчего возросло их изумление перед столь великим чудом природы, ибо так расценили они то, что своими глазами видели. Спросили его, чей он сын и откуда родом, и он отвечал, насколько мог, как истый простолюдин, желая выяснить, к чему приведет такое их любопытство. Они же попросили, чтобы пастух почаще их навещал все дни, какие они пробудут в деревне, то есть пока не придет соизволение от королевы явиться ко двору, за каковым они уже послали, — видеть его для них большое утешение, поскольку он необыкновенно похож на одного человека, которого они, покуда тот жил, безмерно любили и почитали. Дон Ремон с превеликой охотою пообещал, что будет приходить, сам же решил пока не раскрывать себя, а посмотреть, чем закончится дело с соизволением, которого дворяне, по их словам, ожидали; и каждый день их навещал, чему те несказанно радовались, окружая его заботами и вниманием, ибо, будучи верным подобием покойного принца, внушал он им невольное почтение и любовь, так что в его присутствии не могли они отрешиться от мысли, что перед ними воистину их государь.

Однажды вечером, после того как три дворянина отужинали, захотелось переодетому каталонцу, которого обуяло любопытство, узнать, о чем они толкуют наедине, а поскольку их комната от его

собственной отделялась всего лишь тонкой перегородкой, принц незаметно проделал маленькую дырочку, приложил к ней ухо и принялся слушать, а дон Гильен тем временем держал такую речь перед своими друзьями:

— Столь замечательно сходство этого сицилийского пастуха со злополучным принцем доном Ремонем, нашим, увы, покойным, государем, что, глядя на верное сие подобие, измыслил я одну вещь, которая, хотя поначалу и повергнет вас в изумление, все же, по здравом рассуждении, будет признана разумной.

Нам доподлинно известно, что наследник графства Каталонского со всеми своими людьми утонул в море; никто из его свиты не спасся, и ни в Сицилии, ни в Барселоне не сможет рассказать о том, что случилось в тот горестный день. Облик же принца всем при здешнем дворе известен, ибо среди подарков, присланных нашим покойным графом королеве, был и портрет дона Ремона, с которого сняли множество копий. И значит, представив крестьянина вместо короля, которого они ждали, нам легко будет убедить жителей этого королевства, что он и есть тот, кого сочли погибшим; но сначала придется нам свезти пастуха в некое потайное место, обучить его военному искусству, познакомить со всем, что есть в Барселоне, показать, как держать себя с благородными вассалами, — одним словом, сделать так, чтобы он узнал все, что потребно знать идеальному принцу, каковым был покойный дон Ремон; пастух же, как я понял, весьма толковый и легко сможет усвоить наши уроки; а обучив его так, как я сказал, мы объявим, что обнаружили принца в Алжире, пленного, не узнанного маврами, которые будто бы подобрали его неподалеку отсюда, на морском

берегу, куда выбрался он, ухватившись за бочку, выкатившуюся из трюма галеры; а мы якобы освободили его за небольшой выкуп; и если хитроумный план, который я вам сейчас излагаю, увенчается успехом, и крестьянин женится на королеве, то, без сомнения, из признательности за добро, какое мы сотворили, подняв его из подлого звания к высотам власти, станет он нас жаловать и предпочитать всем прочим: мы трое легко сможем им управлять и тем самым станем в Сицилии безраздельными владыками; и этот путь мне кажется лучшим и вернейшим, нежели тот, что мы избрали ранее: сомнительно, чтобы королева нам оказала особую милость, ибо в Сицилии испанцев никогда не любили; и надо нам помнить к тому же, что, воспользовавшись внезапной кончиной отца, Барселону завладел, по воле превратной Фортуны, тиран дон Джофре, который лишил нас наших имений, раздав их тем, кто стоит за него.

Одобрili друзья план дона Гильена, сочтя, что само небо внушило ему столь счастливую мысль во исполнение их чаяний и ради блага Сицилийского королевства; порешили они на другой день переговорить с пастухом и доброю ли волей, силою ли забрать с собой, чтобы совершить задуманное. С такою мыслью и отправились они на покой, чрезвычайно довольные тем, что отыскали столь верный путь к своему процветанию.

Переодетый принц был также доволен услышанным, ибо, хотя благо Сицилийского королевства служило лишь предлогом, по-настоящему же предприятие это основывалось на корыстных и честолюбивых устремлениях, ему следовало воспользоваться явившейся возможностью, поскольку мятеж в Барселоне (весть о котором поразила его, равно как и вторая, печальная, о смерти отца)

закрывал перед ним все иные пути, кроме открытого доном Гильеном; так уж злобно преследовала его Фортуна, что в короткое время потерял он отца, державу и благородных вассалов, да и сам едва не погиб, чудом выбравшись на ненадежной балке из бурных волн разъяренного моря. Итак, взвесив все обстоятельства, пришел он к выводу, что нет ничего для него более подходящего, нежели задуманное тремя дворянами; и решил он поехать с ними, куда они захотят, и вновь учиться у них тому, чему уже был обучен, чтобы они продолжали думать, будто перед ними пастух.

На другой день дон Гильен и двое его друзей отправились искать крестьянина, которого в селении знали под именем Флорело, и обнаружили его на зеленой лужайке, на том же месте, где впервые с ним встретились; тут отвели они его в сторонку, и дон Гильен вкратце рассказал, что они задумали; мнимый же пастух, чтобы сбить их с толку и не выдать себя, принялся отнекиваться и сыскал множество препятствий, которые дон Гильен счел никчемными и уговорил-таки решиться и отдать себя на волю трех друзей. И этой же ночью вместе с ними он покинул деревню, не предупредив ни своего хозяина, ни даже милую его дочь, которая на другое утро сильно горевала, обнаружив его внезапное отсутствие. А направились дворяне прямо к своей галере и, велев дону Ремону закрыть лицо, чтобы никто не смог его узнать, отвели его в кормовую каюту, а затем вышли в море с попутным ветром и вскорости прибыли в один из калабрийских портов, который им для их намерения показался весьма удобным.

Итак, высадились они на берег и остановились в приморской деревеньке, где решили оставаться,

покуда не закончится обучение новоявленного принца. Он же, поскольку был весьма искусен во всем, чему пытались его заново научить, хотя и притворялся иногда неловким, чтобы обмануть своих наставников, очень скоро выучился верховой езде на двух видах седел, обращению с копьём, правилам турнира, приемам фехтования, танцам — одним словом, всем искусствам, в каких, насколько известно было троим дворянам, отличался покойный принц; немало дивились они редкостной сноровке, какую выказывал пастух, и с каждым днем все больше убеждались, что небо указало им верный путь к удаче.

Итак, затратив полгода на обучение и найдя наконец новоявленного принца довольно искусным во всех придворных и военных ухищрениях, они покинули Калабрию, соблюдая те же предосторожности, что и на пути из Мессины, и через несколько дней достигли берегов Алжира, где высадились под мирным флагом, объяснив, что явились выкупить одного пленного, который, по их сведениям, находится в этом городе. Мавры, движимые алчностью, показали четверым христианам (ибо лишь четверо сошли на берег) всех рабов, что томились у них в застенках, а поскольку узник, которого наши дворяне якобы хотели выкупить, был уже с ними, то, осмотрев всех пленных, они сказали, что нет среди них того, кого они ищут, — верно, его свезли в Константинополь или же отравили гребцом на галеры. С тем и распрощались и вновь поднялись на борт вместе с принцем, уже одетым как узник, которого они якобы только что выкупили; его снова поместили в кормовую каюту с теми же предосторожностями, что и раньше; только после того, как галера отчалила от берега, взяла курс прямо на Сицилию и проделала путь

около шести миль, три дворянина с притворным ликованием объявили команде, что в Алжире они выкупили принца Барселонского, и в ту же самую минуту он, в одежде узника, вышел на палубу. Известие вызвало немалую радость, и не было на борту человека, который не устремился бы к принцу, дабы поцеловать ему руку, а те, кому из-за тесноты этого сделать не удавалось, падали ниц и целовали ноги своему государю, плача от великого счастья; мнимый же узник со всеми был приветлив и всем признателен, ибо хорошо умел выказывать подобные чувства.

Так радовались каталонцы, обретшие своего принца, а через несколько дней вошла галера в славный порт Мессину, где громкой музыкой и звонким залпом изо всех орудий оповестили они о прибытии нового короля Сицилии и о его чудесном избавлении. Из города валом повалил ликующий народ; на пристани дали залп не менее громкий, чем тот, что прозвучал с галеры, — словом, прием получился великолепный, хоть и наспех устроенный: вся знать, какая только была в этом городе, проводила принца ко дворцу, где тот и остановился, покуда не достигла до Палермо новость о его прибытии, пленении и выкупе. Радость королевы, услышавшей столь неожиданное и приятное известие, можно сравнить лишь с тем горем, какое носила она в душе со злосчастного дня мнимой гибели своего нареченного; тут же отправила она к королю, ибо так должны мы впредь именовать дона Ремона, четырех вельмож своего двора с богатыми одеждами и дорогими уборами, среди которых было и роскошнейшее белое одеяние — ведь до злополучного кораблекрушения все уже было готово к свадьбе, — а в то время как вельможи совершали свой визит, в Па-

лермо обдумывали со всем тщанием торжественный въезд короля. Пока все распоряжения выполнялись, король милостиво принял вельмож, оказав им многие почести; обращение его было приветливым и благосклонным, но вместе с тем и сдержанным, серьезным, исполненным достоинства, и с каждым днем все более дивились три дворянина, видя, как в столь короткий срок человек столь низкого звания сумел выучиться тому, что не всегда ведомо рожденным, выросшим и набравшимся опыта в более высокой доле; и вновь возблагодарили они небо за чудо, явленное в образе этого пастуха, который восполнил утрату, заменив безвременно погибшего принца.

Наконец из столицы сообщили, что все готово к пышному приему, и король пустился в путь с большою свитою, состоящей из самых знатных дворян, которые явились в Мессину целовать ему руку; в каждом из селений, какие попадались на пути в Палермо, устраивались торжественнейшие празднества, и король одаривал всех милостями и знаками благорасположения. А в столицу вступил он со всей пышностью и великолепием, какие подобают могучему суверену, едущему принять власть над королевством и править им, так что о въезде я умолчу. Явился государь в королевский дворец, где ждали прекрасная Кассандра в богатом и роскошном уборе и ее благородные дамы; были там также самые знатные вельможи двора, и среди них архиепископ Палермский, который, едва лишь приветствовали друг друга король с королевой, тут же их и повенчал ко всеобщему восторгу и ликованию, ибо новый монарх сразу всем пришелся по нраву. Тут начались в честь веселой свадьбы в столице и по всей стране гуляния и праздники, и король самолично пожелал

принять участие в турнире и ловле кольца¹, причем королева пребывала в великом страхе, ибо все время, пока забавы эти продолжались, казалось ей, что вот-вот случится с мужем ее такое же несчастье, как некогда с отцом.

Между тем дон Гильен, ожидавший от короля многих милостей за то, что помог ему подняться на такую высоту, выказывал недовольство и обиду: мнилось ему, что скучно возмещен столь великий долг, а король действовал так умышленно, чтобы поглядеть, до каких пределов дойдут его, дон Гильена, честолюбивые притязания. Жаловались и дон Уго с Гарсераном — и все трое между собой обсуждали его неблагодарность: многие должности и звания нашел он в королевстве незанятыми, и королева ему предоставила самому назначить на них людей, он же все места роздал сицилийцам, а о своих даже не вспомнил, словно и не знал их никогда.

В то время как росла и крепла эта обида, одна придворная дама, красавица именем Октавия, приглянулась дону Гильену, который сильно в нее влюбился. Этой же даме служил и маркиз Руджеро, человек знатный в этом королевстве, доблестный, родовитый и богатый, который очень сильно продвинулся в своих намерениях и ждал только удобного случая, чтобы у короля с королевой попросить Октавию себе в жены, благодаря ревностному служению и непрестанной заботе заручившись давно уж ее согласием. Как-то во время дворцового праздника, где кавалерам, по испанскому обычаю, заранее назначались места рядом с дамами, маркизу отвели место близ Октавии;

¹ Состязание, состоящее в том, что рыцарь на полном скаку поддепляет острием копья подвешенное на ленте кольцо.

озлился дон Гильен, что все его хлопоты и попытки заполучить это место оказались тщетными и безуспешными, и затаил обиду на короля, который знал о его страсти, но предпочел оказать милость маркизу; тем не менее, хотя было ему отказано в том, чего он столь страстно желал, решил он наряду с маркизом, пускай и безо всякого на то соизволения и даже противу воли самой Октавии, сесть около нее. Начался праздник, маркиз поспешил на свое место по левую руку от Октавии; тут же явился дон Гильен и занял стул с другой стороны. Дерзость эта маркизу не понравилась, и дал он дону Гильену понять, что место тут только ему, маркизу Руджеро, предназначено и что к этому он принял свои меры. На что дон Гильен отвечал, что охотно верит, однако же явился сюда вовсе не затем, чтобы уйти, и не уйдет ни за какие блага, разве сам король ему прикажет. Слово за слово, дошли они до ссоры: дон Гильен сдаваться не желал и продолжал упорствовать в своем намерении; маркиз же, потеряв терпение, видя к тому же, по выражению лица Октавии, что дон Гильен место держит против ее воли, сказал ему наконец:

— Полагал я, что ваша учтивость и право, которое на моей стороне, заставят вас убедиться в том, что сеньоре Октавии (которая вскорости станет моей супругой) не по нраву ваше соседство; но коль скоро вы упорно не желаете, к ее и моей досаде, уйти по-хорошему, я досаду терпеть долее не стану: возьмите-ка незаметно эту вот перчатку и следуйте за мною, да так, чтобы никто по возможности не обратил внимания; в должном месте и в должное время сумею я показать вам, сколь неразумно ваше намерение и сколь ваше упрямство неучтиво.

Взял дон Гильен перчатку и отвечал ему:
— Раз уж было мне отказано в том, что занял я самовольно, пришел я сюда с целью помешать удовольствию, какое ожидали вы получить от общества сеньоры Октавии, вышло по-моему; теперь поглядим, выйдет ли по-вашему, и сможете ли вы поделиться со мною учтивостью, которой обладаете в таком преизбытке.

Затем, не говоря более ни слова, оба оставили Октавию и вышли из зала, где происходил праздник. Всем это и так показалось странным, а по смятенному лицу дамы можно было догадаться, что не обошлось тут без ссоры; нашлись такие, что прямо спросили госпожу Октавию, а затем доложили королю, который велел начальнику стражи спуститься и предотвратить поединок, но куда стража готовилась выполнять приказ, уже кавалеры обнажили шпаги прямо во внутреннем дворе, ибо оскорбление было таково, что не терпело отлагательств, и при первом же выпаде дон Гильен нанес маркизу в грудь такой удар, что проткнул его насквозь; маркиз рухнул навзничь как подкошенный, а дон Гильен укрылся в ближайшем ко дворцу монастыре и решил переждать там и посмотреть, чем окончится дело и как воспримет все это король. На звон клинков сбегались люди, но было уже поздно: отважный маркиз, смертельно раненный, корчился на плитах двора, залитых собственной его кровью. Покинув праздник вместе с дворянами, бывшими в зале, спустился и сам король, намереваясь сурово покарать виновников всей этой суматохи; обнаружив же раненого в означенном положении, велел его унести и лечить со всем тщанием; но мало чем мог помочь несчастному хирург: едва успев причаститься, маркиз испустил дух, оставив всех в вели-

кой горести, ибо очень его при дворе любили и почитали. Король сильно разгневался и велел как можно скорее найти дона Гильена и, хотя бы даже был он укрыт в святом месте, схватить его, заковать в цепи и заключить в башню, приставив надежную стражу. Все так и было исполнено: схватили его в монастыре, где он скрывался, и со всеми предосторожностями, о каких король упоминал, поместили в неприступную башню.

Этой ночью королева привела супругу на память и дерзость его соотечественника, и место, где совершил он преступление, и знатность убитого, и многих влиятельных родичей, каких тот имел при дворе, — все это с тем, чтобы король не преминул сурово покарать преступника, ибо в противном случае может вспыхнуть в королевстве мятеж; а также предупредила она мужа, что это первый его серьезный шаг, который решит, будут ли вассалы любить и почитать своего монарха или же, наоборот, презирать его и ненавидеть. Знал король, насколько права его супруга и сколь необходимо в этом случае явить суровость и непреклонность, но любил он дона Гильена и склонялся в душе к тому, чтобы быть милосердным, рискуя вызвать недовольство, которого сам опасался и о котором его королева предупреждала. Однако же супруге он пообещал осудить преступника по всей строгости закона, не позволяя любви и признательности отвести карающую десницу.

Друзья узника, дон Уго и Гарсеран, поспешили к нему в башню, но стража преградила им путь, сославшись на то, что король приказал никого к заключенному не впускать; услышав такое, начали они страшиться худшего и решили сейчас,

ночью, к королю не идти, а отложить это до утра, ибо, будучи дворянами, приближенными к королевской особе, легко могли они войти к нему в опочивальню; на другой день они поднялись рано, чтобы застать короля в постели и поговорить с ним наедине. Так все и вышло: увидав, что король один, друзья на коленях стали умолять его о снисхождении к дону Гильену: велика его дерзость, и тяжкое совершил он преступление, но слишком уж многим обязан ему король, чтобы судить по всей строгости закона. Король тут же догадался, куда они клонят, пеняя ему тем низким званием, в каком он пребывал и из которого план дон Гильена поднял его до теперешнего; и решил он суровостью обращения с узником, как ранее притворной неблагодарностью по отношению ко всем троим, истощить их терпение и довести до того, чтобы они обнаружили тайну истинного (как им то представлялось) его происхождения; и вот на обращенные к нему просьбы и мольбы о снисхождении и помиловании отвечивал он следующее:

— Столь велик проступок вашего друга и столь тяжким преступлением сочла его королева, да и весь двор, что, если я не покараю его так, как требует того всеобщее негодование, и не велю его казнить, то сомневаюсь, чтобы смог я сохранить свою власть над этим королевством, ибо жители его склонны к смутам и ждут лишь удобного случая, чтобы восстать против меня, чужеземца, и погубить нас всех; это предусмотрел я и взвесил и прошу более не докучать мне просьбами сохранить преступнику жизнь, ибо я пообещал королеве, что через три дня сложит он голову на плахе, на главной площади моей столицы, чтобы смерть его всем прочим послужила

уроком, а я приобрел бы расположение моих подданных.

Поразились наши дворяне решимости короля, а также твердости и хладнокровию, с какими он говорил, и поняв из его слов, а главное, из слова, какое дал он королеве, что нельзя уж рассчитывать на жизнь дорогого их друга, они по справедливости возмутились услышанным, и один из них ответил так:

— Ваше величество, государь (ибо не хочу я вас называть по-иному, хоть и знаю, кто вы таков), связали вы себя словом скорее, нежели следовало бы, будучи дурно осведомлены о том, кто таков дон Гильен; меж тем вряд ли найдется в Сицилии, да и во всей Европе, дворянин, который превзошел бы его; это — цвет каталонской знати, и столь предан дон Гильен своей державе и ее законному владыке, что, будь он в Барселоне во время происшедших мятежей, не пожалел бы и тысячи жизней, лишь бы не допустить к власти незаконного тирана. И коль скоро не место неблагодарности в душе благодетельствованного таким человеком, придется вашему величеству поразмыслить над тем, в каком низком положении обретались вы раньше, каким наслаждаетесь ныне, будучи супругом прекраснейшей во всей стране дамы, и в какое поставили вы творца вашего счастья: ничтожною наградой за столь ревностную службу было бы вознести его, сделав вторым лицом в королевстве, вы же из самой смерти его хотите сделать площадное представление, смотреть которое соберется вся столица. Если же, ваше величество, ни во что не ставя прошлые заслуги, хотите вы предать его смерти, чтобы одним очевидцем вашего скромного происхождения стало

меньше, ибо кому же хочется быть окруженным свидетелями прошлых унижений, просим мы у вас одну лишь жизнь донна Гильена, который навеки покинет эти пределы; мы, не преступив закона, тоже обещаем вам, ваше величество, дабы не страшились вы более ничего, последовать за доном Гильеном в изгнание — нетрудно будет нам найти другого государя, который сможет оценить нас лучше.

Справедливые сетования донна Уго так растрогали молодого короля, что он едва не выдал чувств, какие тщательно скрывал; но, желая довести донна Гильена и его ходатаев до отчаяния, дабы поглядеть, раскроют ли они перед всеми, кто он, по их мнению, таков, сказал им король следующее:

— Никогда не должно просить монарха совершать поступки несправедливые или же идущие вразрез с его честью и добрым именем; оказывая милость, может король прислушаться к совету, однако же, верша правосудие, особливо в случае, когда оскорбленная сторона столь громко вопиет о возмездии, и кровопролитие к тому же совершенно в стенах моего дворца, я не могу пренебречь законом, который мои предшественники установили. А что вы нашли меня в подлом звании, теперь же я управляю этим королевством, будучи супругом несравненной, прекрасной Кассандры, — этого я и не отрицаю; только пусть не удивляет вас великое счастье, ниспосланное мне судьбою: видели мы немало примеров тому, как из униженного состояния, от скромного ремесла возносились люди и к большим высотам; благородные помыслы, какие питал я в низком своем положении, были порукой того, чем я сегодня обладаю — ведь когда я пас овец и следил за ними, разве не был я тем

же, что сейчас, — только тогда они были моими вассалами, теперь же — вы? Не будь положение столь затруднительным, смог бы я отблагодарить дон Гильена за его усердие, но, хоть я и полагаю, что в действиях своих руководствовался он стремлением к благу государства и имел в виду его дальнейшее процветание, все же, когда при достижении даже и благой цели к усердию понуждают алчность и гордыня, меньшего одобрения это усердие заслуживает, чем заслужило бы без подобной подоплеки, ибо одно лишь намерение, а не своекорыстные причины, на него подвигнувшие, достойно благодарности и похвалы; и если кажусь я теперь неблагодарным, понуждает меня к тому правосудие, которое я призван блюсти, коль скоро потерпевшая сторона того требует; возведенный уже в королевское достоинство, даже творцу моих дней, будь он моим подданным, не смог бы я простить, не выказав себя тем самым дурным и неправедным судьей. А есть ли свидетели низменного моего происхождения, нет ли их — этому придаю я мало значения: вряд ли в королевстве поверят новой небылице — а таковой все и сочтут ваши рассказы, — и поскольку сии докучные речи идут вразрез с уже принятым мною решением, я вам приказываю при мне более об этом не упоминать и не входить в мои покои вплоть до особого распоряжения.

И, не дожидаясь ответа, поворотился спиною к двоим друзьям, которые, вне себя от ярости и гнева, поклялись, что, ежели дон Гильен расстанется с жизнью, они найдут способ поквитаться с тем, кого считали самозванцем, пусть даже и ценой жизней собственных.

Король наказал начальнику стражи, чтобы он, если этой ночью дон Уго и Гарсеран станут испра-

шивать разрешения навестить донна Гильена в темнице, позволил бы им это, но не сразу, а как бы поддавшись на уговоры, дабы не подумали они, что это — приказ короля, а пребывали в уверенности, что офицер им оказал Любезность; кроме того, повелел он, чтобы суд немедля вынес смертный приговор и чтобы об этом тут же объявили узнику; решение своей участи тот выслушал с великим мужеством, сетуя только на свой злосчастный жребий, чем поразил всех, кто при этом присутствовал.

И вот на главной площади Палермо спешно стали воздвигать эшафот для ожидаемой казни, а друзья осужденного тем временем прилагали все усилия, чтобы увидеться с ним и утешить его в несчастье; обратились они, как и предполагал король, к начальнику стражи, который, для виду поломавшись, отвел их в темницу, наказав хранить это в строжайшей тайне, ибо если король узнает о таком его нерадении, не сносить ему головы.

И вот дон Уго и Гарсеран вошли в башню, где обнаружили своего друга в отчаянии, какое легко можно себе вообразить: ведь в скором времени предстояло ему принять позорную казнь; друзья над злополучной его долей пролили немало слез, затем полностью посвятили его во все, что у них вышло с королем, не утаив суровости его речей и решимости свершить правосудие, дабы угодить тем самым королеве, родне убитого маркиза и всему двору, где их, каталонцев, не сильно жаловали. Все это привело узника в несказанную ярость, и решил он наконец известить королевство о том, кто им правит, каково его истинное происхождение и в каком звании был он обнаружен; для этого необходимо, сказал он друзьям, доста-

вить из деревни, где нашли они нынешнего короля, селянина, которым тот был нанят пасти овец, и других крестьян и пастухов, вместе с ним исполнявших мужицкую эту работу. Друзья так и сделали, немедля послав за свидетелями, а узник тем временем составил на имя королевы прошение, в котором изложил, что, раз уж приговорили его к позорной казни, не соблаговолит ли ее величество до того, как будет приговор приведен в исполнение, выслушать осужденного в присутствии всей придворной знати, ибо хочет он облегчить перед кончиною свою совесть и сообщить нечто крайне важное для королевства, отказываясь при этом от права на помилование, что даруется смертникам, удостоенным королевского взора: пусть не распространится на него эта милость, и пусть исполнится назначенный жребий.

Прошение было подано королеве, когда супруги выходили после мессы из дворцовой часовни; Кассандра предоставила это дело на усмотрение мужа, и король пожелал, чтобы узника выслушали таким образом, как он в своей записке просит, ибо очень ему, королю, хочется знать, что это дон Гильен может такое объявить, равно важное как для государства, так и для собственной его совести. Все это король говорил лишь ради королевы, а сам уже догадался, что дело идет к признанию дона Гильена, чего дон Ремон и сам желал; и повелел он, чтобы завтра вся придворная знать собралась и выслушала осужденного, исполнив тем самым его последнюю просьбу. Тем временем дон Уго, который позаботился о том, чтобы сельчан доставили во дворец, уже все им рассказал и попросил, чтобы они, когда понадобится, под присягой подтвердили истинность его слов; в немалое изумление повергла их удача, выпавшая на

долю того Флорело, который некогда пас в их деревне овец.

На следующий день, в час, назначенный королем с королевою для того, чтобы выслушать дон Гильена, в просторной зале дворца вельможи и придворная знать собрались и расселись так, как положено было по этикету; король с королевою заняли высокое место под балдахином, куда вели три ступени, покрытые парчою; и вот стража ввела узника, за которым следовали двое его друзей. Выглядел несчастный таким печальным и изнуренным, что невозможно было в нем узнать того дон Гильена, который столь еще недавно был душою всех празднеств, устраиваемых при дворе. Многим из присутствовавших в зале больно было глядеть на него, но больше всех его жалким видом был тронут сам король, который с трудом сдерживал слезы; все хранили глубокое молчание, с нетерпением ожидая, что же им расскажет дон Гильен, который, окинув взглядом сидящих в зале, возвысил ослабевший свой голос и начал так:

— О светлейшая государыня, королева Сицилии, вельможи, рыцари и дворяне старинного этого королевства, я, несчастнейший из людей, в награду за усердие претерпевший суровую опалу, просил вас собраться здесь, дабы открылась вам истина, каковую я до сего времени держал в тайне; теперь же, поскольку за убийство маркиза Руджеро приговорен я к отсечению головы и должен понести наказание из усердия моих гонителей и по воле королевы, к которой ныне обращаюсь, плохо исполнил бы я заповеди христианина, каковым себя почитаю, ежели бы на пороге смерти не объявил вам столь важную вещь, скрываемую до сей поры мною, доном Уго и Гарсераном, дворяна-

ми, здесь присутствующими; и если признание наше и вызовет немалую смуту, мне все же необходимо облегчить совесть и освободиться от греха, которого одного довольно, чтобы душу погубить навек. Ведомо вам, что достославный дон Ремон Борель, единственный сын и законный наследник дона Бореля, графа Барселонского, помолвленный с вашей прекрасной королевой, захлебнулся в соленых волнах Тирренского моря, а вместе с ним погибли многие знатные каталонцы, сопровождавшие принца на свадьбу; и никто не спасся, чтобы поведать о страшном этом деле; однако же достаточно поведали о нем выброшенные морем на сицилийский берег обломки, среди которых были найдены вымпелы, флажки и штандарт флагманской галеры.

И вот, поскольку печальная весть распространилась не только по этим, но и по соседним, и даже, думаю, по отдаленным землям, мы с друзьями, не сумев отплыть вместе с его высочеством, а потому, отстав от флота на два или три дня пути, претерпев те же бедствия, что и наш государь (если не считать прискорбной его кончины), узнали обо всем, встретившись с галерами, что отправились на поиски каталонцев от сицилийских берегов; после чего вернулись в Барселону в то самое время, когда из-за смерти старого графа и нашего государя в городе вспыхнул мятеж, и власть взял в свои руки дон Джофре, побочный сын графа и сводный брат злополучного дона Ремона; эти события, а также то, что имения наши, как и всех тех, кто отправился с принцем, были захвачены доном Джофре и поделены между его приспешниками, заставили нас вернуться сюда с намерением поступить на службу к вашей королеве и быть ей верными вассалами; высадились мы в Мессине и,

остановившись в близлежащей деревне, названием Флореспина, решили послать к ее величеству за соизволением прибыть ко двору и поступить к ней на службу, как я уже о том упоминал. Пока это все устраивалось, мы, на второй день по приезде, вышли на луг прогуляться и увидели необычайное явление, дивное диво — словом, редчайшее чудо природы в образе пастуха, который лицом, речью и манерами был совершеннейшим и истинным подобием нашего покойного государя. Несколько дней общались мы с ним, и при виде его чуть утихала боль, какую причинила нам смерть злополучного принца, ибо сходство и впрямь было замечательным, являя собою редкую игру природы; и вот, одушевляемый алчными и честолюбивыми помыслами, решился я на деле осуществить пришедшую мне на ум фантазию, самую необычайную из всех, о которых вы когда-либо слышали, а именно, обучив пастуха военному искусству, придворным манерам, сицилийскому и другим наречиям — одним словом, всему, что должен знать любой принц и что, без сомнения, знал тот, который утонул, представить его в этом королевстве как настоящего дона Ремона Бореля, нареченного супруга королевы и ее соправителя, с тем чтобы он, цenia благоденствие, какое мы ему оказали, подняв из низкого и подлого состояния к вершинам власти, нас вознаградил и, оказав предпочтение перед всеми, поделил меж нами высшие в этом королевстве должности и звания.

Все получилось так, как мы предполагали: учение наше пошло впрок, ибо пастух такие успехи делал, будто бы всю жизнь провел при дворе и видел там то, чему мы его обучали, — и за полгода все науки превзошел; тут мы якобы выкупи-

ли его в Алжире, и удостоился он чести стать супругом прекраснейшей королевы. Он перед вами, о сицилийцы; не дон Ремон Борель, но Флорело, пастух из нищей деревеньки, а эти крестьяне, которые вполне удостоверят вам истинность моих слов, происходят из того самого селения, где исполнял он подлую свою должность; один же из них, пользуясь его услугами, давал ему пропитание.

Тут явились шестеро крестьян, и между ними Дориклео, который держал короля в услужении, и все они согласно подтвердили истинность речей дона Гильена, добавив, что означенного пастуха в деревне хватились в тот самый день, как уехали три дворянина.

Дон Гильен кончил говорить, и среди дворян и знати, сидевших в зале, началось волнение, дошедшее до таких пределов, что иные готовы уже были обнажить шпаги против самозванца, ибо таковым почитали они короля после слов дона Гильена и свидетельства крестьян. Король же, слыша поднимающийся ропот и видя смятение во всех присутствующих, особливо же в королеве, которая вскочила было со своего места, упробил ее сесть и произнес следующее:

— Прекрасная Кассандра, королева и безраздельная владычица Сицилийского государства; успокойтесь, госпожа моя, а также и вы, дворяне, чей дух смутила речь дона Гильена, представившего высокому собранию рассказ, что заключает в себе крупицу правды, хотя о самом важном и умалчивает; теперь должен я рассеять ваши сомнения и представить ясные доказательства и свидетелей, достойных веры.

Все успокоились и расселись по местам, и король продолжал:

— Я действительно дон Ремон Борель, сын графа Барселонского; ухватившись за балку, оторвавшуюся от моей галеры, и отдавшись на волю морской стихии, сумел я добраться до суши, в чем помогло мне милосердие трех рыбаков, поспешивших на выручку в утлом своем челне, а затем прикрывших мою наготу своими лохмотьями; этих людей велел я привести сюда, чтобы они засвидетельствовали истинность моих слов.

Тут из-за ковра, коим занавешен был оконный проем, вышли три рыбака; король же продолжал:

— Будучи наг, сир, извергнут из морской пучины, не торопился я известить двор о прискорбном этом происшествии, а решил подождать, не зайдет ли, случаем, в гавань какая-нибудь из галер, избежавших кораблекрушения; с нею и предстал бы я перед сицилийцами, ибо явиться в том виде, в каком я тогда находился, было бы унижением моей нации; хотя, конечно, всеми нами правит слепой случай, и никто не может быть уверен в постоянстве своей удачи. Поступил я на службу к Дориклео, крестьянину из Флореспины, и пас его овец вместе с другими работниками; затем явились дон Гильен, дон Уго и Гарсеран, и произошло все то, о чем уже слышали вы во всех подробностях; я потворствовал их обману, чтобы посмотреть, куда заведет их гордыня. Этот перстень и ваш портрет, — прибавил он, повернувшись к королеве, — вернее всего докажут мою правоту: в ту самую бурю были они на мне, и до сих пор я с ними не разлучался ни на миг.

Едва лишь королева узнала перстень и портрет, как дон Гильен рухнул на пол, от страха лишившись чувств; а его друзья бросились на

колени перед королем, умоляя покарать их так, как того заслуживает дерзкое их честолюбие. Не слушая, король поднялся со своего места и повелел отнести дону Гильена так, как он был, в один из дворцовых покоев и оказать ему помощь. Исполнили это: уложили его, бесчувственного, в роскошную постель и с помощью разных снадобий стали приводить в сознание; когда же он очнулся, то увидал у своего изголовья самого короля и его возлюбленную супругу; справились они о его самочувствии, и королева сказала дону Гильену, чтобы тот мужался: супруг ее уже его простил. Приободрился тут гонимый судьбою дворянин и за оказанные ему милость и снисхождение целовал руки королю и королеве; здесь же, на его глазах, подписал дон Ремон помилование за смерть маркиза Руджеро с условием, чтобы женился дон Гильен на сестре покойного, наследующей его владения. И вновь целовали руку королю дон Гильен и двое его друзей, которым монарх тоже выказал свою милость и которых также осыпал почестями: через два дня сыграли свадьбу, и не только дону Гильена, но и дону Уго и Гарсерана с двумя другими придворными дамами; и получили все они множество имений, титулов и званий. Не забыл король и о рыбаках и крестьянах Флореспины, наградив их столь щедро, что хватило им богатства на целую жизнь. А как закончилось свадебное веселье, собрал король могучую армаду и назначил адмиралом дону Гильена, который, отплыв во главе ее в Барселону, вскоре возвратил город и земли законному государю, вручив захваченные имения истинным владельцам или же их наследникам. Дон Джофре бежал во Францию, где утонул, переправляясь через реку.

Поставив в Барселоне губернатора, дон Гильен с победой вернулся в Сицилию, где встречен был всеобщим ликованием; а когда стало известно, что королева ожидает наследника, возобновились празднества, и прожил наш дон Ремон со своим семейством долгие и счастливые годы.



Миря де Сияси Согомайор

ИЗ КНИГИ «НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ И ЛЮБОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ»

НАКАЗАНИЕ ЗА СКАРЕДНОСТЬ



а службу к столичному вельможе прибыл из одного селения Наварры некий юный идальго, каковой был наделен честолюбивыми помыслами в той же степени, в коей обделен был дарами Фортуны, ибо сия мачеха живущих не одарила его никакими достояниями, кроме жалкого ложа — на оном располагался он ко сну и присаживался, дабы вкушать пищу. У этого юнца — назовем его доном Маркосом — был отец, человек уже старый, и настолько, что годы были ему источником пропитания, ибо вызывали сострадание в самых черствых сердцах.

Когда дон Маркос приступил к почетной своей службе, было ему двенадцать лет, и почти столько же лет минуло с тех пор, как лишился он своей

матушки, скончавшейся от внезапного колотья в боку. В доме у своего принципала дон Маркос удостоился звания пажа и с оным обрел все атрибуты, обычно к сему прилежащие, а именно: чесотку, неопрятность, склонность к плутовству и жалкой скарედности. И хотя во всех этих качествах дон Маркос понаторел, и превесьма, в последнем превзошел все. вероятно, ибо по собственной воле обрек себя на жизнь, столь воздержанную, что мог бы служить образцом иному отцу-пустыннику. Восемнадцать куарто, составлявшие его жалование, тратил он с такой осмотрительностью, что, если мог, стремился, хотя бы даже за счет своего желудка либо за счет пищи своих сотоварищей, сохранять эти деньги в целости, а уж если расходовать, то столько, чтобы расход был почти неприметен.

Дон Маркос был среднего роста и от скудной кормежки стал в конце концов походить более на побег спаржи, чем на человека. Утробу свою он баловал лишь в те дни, когда подходил его черед прислуживать за столом у хозяина, ибо он избавлял от работы буфетчиков, коим приносил блюда, вылизанные так, что они были чище, чем тогда, когда ставили их на стол; карманы же набивал себе всем, что можно было без опасности приберечь на завтра.

В такой нищенской скаредности провел он детство, следуя повсюду за своим господином, каковой много разъезжал и по Испании, и за ее пределами, где занимал наиглавнейшие должности. Дон Маркос из пажей дослужился до благородного звания свитского дворянина, так что господин пожаловал ему благородство, в коем небо дону Маркосу отказало. И вот вместо восемнадцати куарто сподобился он пяти реалов да такого же количества мараведи, но ни образа жизни не изменил, ни

рациона для поддержания сил телесных не увеличил; напротив того, поскольку обязательств у него прибавилось, он стал завязывать мошну свою потуже. Никогда у него в доме не зажигались свечи, а если иногда и устраивал он подобные празднества, то лишь в тех случаях, когда собственное его проворство и невнимательность дворецкого позволяли ему прибрать к рукам какой-нибудь огарочек; но и его дон Маркос жег так благоразумно, что разоблачаться начинал еще на улице, а войдя в дом, скидывал одежду и тотчас же задувал огонек. Утром, проснувшись, брал он кувшин без ручки и, выйдя на улицу, останавливался у двери дома; и к первому же водоносу обращался он с просьбой снизить к его бедности; воды этой хватало ему на два-три дня, ибо расходовал он ее с величайшей бережливостью. Затем шел он туда, где играли ребятишки, и за один кuarto нанимал кого-нибудь из них, дабы тот постелил ему постель; если же был у него слуга, договаривался он, что будет платить ему два кuarto кормовых да выдаст циновку для спанья, а то нанимал поваренка, дабы тот исполнял всю работу по дому и опоражнивал сосуд, в который дон Маркос справлял нужду. Сосуд этот был весьма примечательный, по виду напоминал небольшую короткую трубу и некогда служил для хранения меда: дон Маркос соблюдал бережливость, даже испражняясь.

Обед его составляли хлебец ценою в один кuarto, полфунта говядины да на кuarto требухи; еще один кuarto давал он повару, чтоб тот все это приготовил пристойным образом. А то взойдет он в горницу, где обедают другие свитские, подойдет к первому попавшемуся и скажет:

— А оляя, пожалуй, недурна: запах такой, что душа радуется, надо бы отведать.

От слов к делу, и таким манером одно за другим испробует все кушанья. Случалось, завидев его, кто-то из трапезовавших поскорее глотал то, что было у него в миске, а кто-то прикрывал свою миску рукой. Дон Маркос состоял в дружбе с одним из свитских дворян и выжидал, когда тот отправится обедать либо ужинать, входил следом с ломтем хлеба и куском сыра в руке и говорил:

— Я не ужинать пришел, а побеседовать, уж простите за доuku.

С этими словами садился он за стол и хватал все, до чего мог дотянуться.

Вина он ни разу в жизни не купил, но пивать пивал, для чего поступал следующим образом: становился у дверей своего дома, и когда проходили мимо парни либо молодки с бурдюками, просил со всей учтивостью, чтоб дали ему глотнуть для пробы да и сами угостились бы. Если парень либо молодка держались приветливо, просил разрешения выпить еще глоточек. Как-то раз ехал он в Мадрид на муле и был при нем малый, который направлялся туда же и взялся ему прислуживать, чтобы не нести путевых расходов. В одном селенье дон Маркос послал его купить на один куарто вина, а сам сел на мула и уехал, так что пришлось малому добираться до Мадрида, прося подаяния. Когда попадал дон Маркос на постоялый двор, он безотменно отыскивал родственника, садился ему на шею и таким образом получал даровую кормежку. Как-то раз он мула своего накормил соломой, которую повыдергивал из собственного тюфяка — все ради того, чтобы не тратить лишнего. Немало историй ходило про дона Маркоса, так что вельможа, его господин, и друзья этого вельможи ими потешались, ибо дон

Маркос приобрел в столице известность как самый изощренный на свете любитель дармовщины.

Таким вот манером к тридцати годам сподобился дон Маркос прозвания и славы богатея, и небезосновательно, ибо, жертвуя своим добрым именем и истязая свое тело, прикопил он шесть тысяч дукатов, каковые всегда держал при себе, ибо опасался генуэзцев с их хитрыми штучками: ведь стоит человеку зазеваться, они мигом приберут его к рукам. А поскольку не слыл дон Маркос ни бабником, ни игроком, ему что ни день представлялось немало возможностей вступить в брак, хоть он и выказывал крайнюю разборчивость, опасаясь, не вышло бы какого худа. Дон Маркос был весьма по сердцу дамам, облюбовавшим его себе в мужа, хоть они и предпочли бы обнаружить в нем скорее склонность к мотовству, нежели к бережливости; последним словом обозначали они его скаредность.

Среди множества сеньор, домогавшихся его благосклонности, была одна особа, каковая никогда не состояла в браке, хоть и слыла вдовою; была она обладательницей отменного вкуса и солидного возраста, каковой скрывала с помощью нарядов, украшений и ухищрений: вдова-щеголиха, рядилась она в платья хоть и монашеского покроя, но атласные, головные уборы носила самые богатые, из тех, что зовутся королевины чепцы, и на макушке у нее красовался шиньон, хоть и небольшой. Добрая сия сеньора, звавшаяся доньей Исидорою, обладала изрядным достатком, коли верить словам ее знакомых и судить по ее образу жизни. Но тут люди всегда наскажут больше, чем есть на деле.

Вот этот-то брак и предложили дону Маркосу, расписав невесту как само совершенство и убедив его, что у нее не то четырнадцать, не то пятнадцать

тысяч дукатов, если не больше, и что покойный ее супруг был одним из знатнейших андалузских кабалеро, да и супруга, по ее словам, не уступает ему в знатности, а родом, согласно собственным ее утверждениям, из преславного града Севильи; и тут наш дон Маркос решил, что уже женат. Тот, кто его сватал, был продувной плут, посредничавший не только при заключении браков, но и всех прочих сделок, сбывавший оптом и в розницу смазливые личики и тугие кошельки, ибо он знал столицу как свои пять пальцев; а в этом случае ему посулили немалый куртаж, так что он распорядился отвести дону Маркоса на смотрины; и смотрины были назначены на послеполуденную пору того самого дня, когда он предложил ему этот брак, чтобы от промедления не последовало какой-нибудь опасности.

Вступил дон Маркос в дом доньи Исидоры и чуть не оторопел от восхищения тем, что увидал: так все красиво, добротнo сработано, столько картин. Он разглядывал дом очень внимательно, ибо ему сказали, что владеет домом та, кому предстоит завладеть его душою. Ее же самое застал он в покое, увешанном парчовыми занавесями и заставленном ларчиками и шкатулками, похожем более на обиталище титулованной дамы, а не обычной горожанки; и в доме было так опрятно, чисто и благоуханно, что казался он жилищем небесным, а не земным, сама же сеньора была так опрятна и такая чистюля, что, как говорит один поэт, мой приятель, можно подумать, что в честь нее завели обычай называть людей опрятных чистюлями.

При ней были две служанки, одна состояла в горничных, другая — в прислугах за все и на все случаи жизни; и если бы наш идальго не при-

держивался столь суровых нравов и не был бы столь истощен воздержанием от пищи, он мог бы жениться на хозяйке ради обеих служанок, ибо они были столь же милостивы, сколь бойки, особливо же судомойка, которая могла бы стать королевою, если бы за красоту жаловали королевством. На дону Маркоса произвели наилучшее впечатление и привлекательность доньи Исидоры, и ее обходительность, она казалась воплощением изящного ума и по шутовой остроте речей, и по их любезности, и наговорила дону Маркосу такое множество разных разностей, что не только приглянулась ему, но он в нее влюбился и в ответ в благодарственных словах выказал ей свою душу, а душою наш добрый сеньор был прост и бесхитроушен.

Донья Исидора поблагодарила свата за милость, которую тот ей оказал, предложив столь отменную партию, и ошеломила дону Маркоса приглашением угоститься богатыми и чисто приготовленными яствами; при этом она выставила напоказ дорогую посуду и благоуханное столовое белье со всеми прочими принадлежностями, естественными в столь зажиточном доме. За столом оказался еще пригожий малый, развязный и такой лихой, что, казалось, можно было ожидать от него всяческого лиха; донья Исидора представила его как своего племянника и всячески привечала. Звался он Агустинико — так, во всяком случае, называла его сеньора тетушка.

Прислуживала за столом Инес, ибо Марсела — таково было имя горничной — по приказу своей госпожи уже взяла гитару, а музыкантша она была столь искусная, что ей мог позавидовать и лучший из столичных играцов; голос же у нее был скорее как у ангела, чем как у женщины; впрочем, Марсела была и тем и другим. Не дожидаясь, пока ее

начнут упрашивать, ибо была она уверена в своем мастерстве, она запела романс, выбранный то ли с намерением, то ли наугад:

Прозрачные воды,
Все шепчетесь вы,
Шепните ж Нарциссу,
Что чужд он любви.

Шепните, что вольно,
Не зная забот,
Счастливчик живет;
Мне грустно и больно,
А он, предовольный,
Стенаний не слышит:
Знать, пламень не пышет
В спокойной крови.
Шепните Нарциссу,
Что чужд он любви.

Шепните, что в лед
Он грудь заковал,
Что он не знал
Любовных невзгод;
Он мне не дает
Надежд и пощады:
Молю — полон хлада,
Бесчувствен, увы!
Шепните Нарциссу,
Что чужд он любви.

Шепните, что хвалит
Он очи другой,
Но хладен и к той:
Он рад, коль печалит
Мне душу, коль жалит
Меня подозренья;
Дарит мне презренья
За муки мои.
Шепните Нарциссу,
Что чужд он любви.

Не берусь определить, что больше пришлось по вкусу нашему дону Маркосу: сладостный голос

Марселы или пироги с мясом и прекрасные пирожные — те пряные, эти сладкие — не говоря уж об окороке и свежих лакомых фруктах, причем все орошалось тою влагой, которую народ прозвал святым подспорьем бедняков и которая, изливаясь из пузатого глиняного сосуда, словно лед, холодит уста, а сама словно огонь, не зря один любитель именовал такие сосуды хранилищами огня; ибо под пенье Марселы дон Маркос непрерывно насыщался, а донья Исидора и Агустинико потчевали его, словно самого короля, так что если пенье тешило ему слух, то угощение ублажало утробу, мало привыкшую не то чтобы к лакомствам — к самому насущному. Донья Исидора подкладывала дону Агустину кусочки повкуснее, но дон Маркос, человек не очень приглядчивый, замечал лишь одно — еду и помышлял лишь о том, как ублажить свой желудок; и полагаю, хоть свидетельских показаний с него не брал, что угощение доньи Исидоры сэкономило бы ему расходы на пропитание чуть не за неделю: лакомые кусочки, коими донья Исидора и ее племянник наполняли и набивали пустое брюхо доброго идальго, были бы ему припасом надолго.

И угощение, и день одновременно пришли к концу, но тут были зажжены четыре свечи, благовременно вставленные в прекрасные подсвечники, и при этом освещении и под сладостные звуки гитары, на которой прежде играла горничная, а теперь Агустинико, Марсела с Инес сплясали растреадо и сольтильо, не забыв и про капону¹, да с таким изяществом и лихостью, что и очи, и души зрителей были прикованы к их башмачкам.

¹ Растреадо, сольтильо, капона — старинные испанские народные танцы.

Затем по просьбе дона Маркоса, каковой насытился, а потому требовал увеселений, Марсела завершила празднество следующим романсом:

С Менгою Брас распрощался,
Вернется ли? Долог сказ:
Ведь так постоянна Менга
И так переменчив Брас.

Не знает он постоянства,
Напуган свойством таким:
Кто сам любить не умеет,
Не ценит, когда любим.

Не научилась Менгиля
Ревность дружка вызывать:
Небось узнал бы ей цену,
Коль начал бы ревновать.

Изменчивый нрав у Браса,
Не хочет он верным быть
И, видя, что любит Менга,
Сумел ее позабыть.

Ему закон — его прихоть,
Ни об одной не смолчит:
Хочет набить себе цену
За счет измен и обид.

По милкам чужим вздыхая,
Не чувствует ничего:
Брас — мастер страдать притворно,
Лишь бы достичь своего.

Не ведать счастья горянке,
Коль Браса любит она:
Сколько б ни угождала,
А горя хлебнет сполна.

Но хоть понимает Менга —
Потеря не велика,
Но хоть говорит, что рада,
Горюет наверняка.

Когда Марсела допела романс, посредник-бе-докур встал из-за стола и сказал дону Маркосу, что донье Исидоре пора на покой; оба попрощались с нею, с Агустинико и с обеими девицами и пошли по домам. На улице, сообщив, как поправи-лась ему донья Исидора, дон Маркос, влюб-ленный в денежки дамы еще более, чем в нее са-мое, признался, что жаждет стать ее супругом, и сказал посреднику, что отдал бы палец за то, чтобы дело уже было сделано, ибо, вне сомнения, она подходит ему как нельзя лучше, хоть он не собирается после женитьбы жить так по-княжески и на такую широкую ногу, это хорошо для вельмо-жи, а не для скромного идальго, ибо на повседнев-ные расходы довольно его жалованья, если чуть приложить своего. У него есть шесть тысяч дука-тов, да в такую же сумму можно обратить все лишние вещи, что есть у доньи Исидоры: ведь когда человек состоит на службе в звании эскуде-ро¹, довольно, если у него есть две-три ложки, кувшин, поднос да удобная постель, а все про-чее — бесполезности, которые следует обратить в деньги, на проценты же они заживут в свое удо-вольствие и смогут оставить деткам, если Бог им их пошлет, на что жить вполне безбедно, а не будет деток, так у доньи Исидоры есть этот самый племянник, все ему и достанется, лишь бы оказал-ся послушлив и чтил его как отца.

В заключение же разумных своих речей дон Мар-кос объявил, что готов вступить в брак, а сват ответ-ствовал, что завтра же переговорит с доньей Исидо-рой и сделка будет заключена, ибо в брачных делах

¹ Букв.: оруженосец; в дворянской иерархии XVII в. одно из низших званий.

промедление — такая же помеха, как и смерть.

На этом они распрощались. Сват пошел к донье Исидоре — пересказать ей свой разговор с донем Маркосом, ибо алкал вознаграждения за добрую вестъ; а дон Маркос отправился к дому своего господина. Так как час был уже очень поздний, в доме стояла тишина, и дон Маркос, вынув из кармана огарок, приблизился к светильничку, который озарял крест, воздвигнутый на улице, и, наколов огарок на кончик шпаги, зажег его; затем коротко помолился о том, чтобы дело, которое он предпринял, удалось ему на благо, вошел к себе, лег в постель и стал нетерпеливо дожидаться утра в опасении, что все его счастье пойдет прахом.

Пусть себе спит, а мы последуем за сватом, каковой, возвратившись к донье Исидоре, рассказал ей о том, что случилось и как хорошо идет дело. Она, знавшая обо всем лучше, чем он, как станет ясно из дальнейшего, тотчас дала свое согласие на брак, вручила посреднику для начала четыре эскудо и попросила его поутру вернуться к дону Маркосу и сообщить, что она почитает за великое счастье принадлежать ему, и пусть-де сват не выпускает его из рук, а приведет откушать с ней и с ее племянником, дабы заключить брачный контракт и сделать оглашение.

Какие две вести для дона Маркоса: приглашен, и жених! И поскольку вести были такие отменные, сват появился спозаранку и приветствовал нашего идадьго, какового застал, когда тот уже облачался (ибо, как поется в романсе, от любви к невинной деве очи он не мог сомкнуть). Дон Маркос раскрыл объятия своему доброму другу,

как именовал он поставщика бед, и раскрыл душу известию о своем счастье. И вырядившись в самый дорогой наряд, какой допустила его скардность, отправился он вместе с кормчим злополучий в дом к своей властительнице, к своей сеньоре, где был принят сей сиреной, каковая порадовала его слух сладкопевными приветствиями, и доном Агустином, каковой как раз кончал одеваться и рассыпался в поклонах и любезностях. Они приятно побеседовали: дон Маркос благодарил донью Исидору за свое счастье, осмотрительный юнец выказал послушливость и почтительность в благодарность за намерение доброго сеньора обращаться с ним, как с сыном; наконец настало время трапезы, и все из гостиной с помостом перешли в другую комнату в глубине дома; там был накрыт стол, да вдобавок красовался поставец, где было все потребное для питья и для омовения рук, как принято в домах у вельмож. Донье Исидоре не пришлось долго упрашивать дона Маркоса сесть за стол, ибо тот упредил ее, обратившись ко всем прочим с этим самым приглашением, и таким манером вывел всех из сего затруднения, а оно ведь нешуточное.

Сеньор гость утолил голод отменно приготовленными яствами, а жажду и потребность в опрятности — тем, что украшало поставец; и снова пришли ему на ум соображения в духе тех, что высказывал он накануне; и поскольку теперь он глядел на донью Исидору, такую гостеприимную и любезную, как на будущую свою собственность, ее великая щедрость казалась ему еще в большей степени неоправданным тщеславием и пустой тратой денег.

По окончании трапезы дон Маркос спросили, не угодно ли ему сыграть в ломбер вместо того,

чтобы лечь на покой, поскольку в доме нет кровати для гостей. На это дон Маркос ответственал, что он-де служит господину столь добродетельному и богобоязненному, что прослышь сей вельможа об увлечении кого-то из домочадцев карточной игрою, хоть самой невинной, такой человек и часа не остался бы у него в доме; ему, дону Маркосу, было сие ведомо, и он поставил себе за правило угождать своему сеньору; и кроме того, что отвращение к картам — черта достойная и добродетельная, он не только не умеет играть в ломбер, но ни одной карты не знает и полагает, что воистину неумение играть в карты сберегает ему в год немало эскудо.

— Ну, раз уж дон Маркос, — сказала донья Исидора, — такой добродетельный, что не умеет играть в карты (вот и я сколько говорю Агустинильо, что оно и для души полезно, и для мощны!), поди, детка, скажи Марселе, пусть поскорее управится с едой и принесет свою гитару, а Инесита пусть принесет кастаньеты, и так проведем мы послеобеденную пору, покуда не пожалует нотариус, ведь сеньор Гамарра (так звался сват) его уведомил, чтоб он пришел составить брачный договор.

Агустинико пошел выполнять повеление сеньоры, а дон Маркос в его отсутствие продолжил свои рассуждения, вернувшись к тому, с чего начал:

— Так вот, по правде сказать, если Агустин и впрямь намерен угождать мне, пусть даже не помышляет о том, чтобы играть в карты и отлучаться по ночам, тогда мы будем друзьями; а не то пойдут у нас бесконечные раздоры, потому как я большой любитель ложиться рано, по ночам ведь делать нечего; а когда все соберутся в доме, двери

будем закрывать не только на все ключи, но и на все щеколды. И не потому, что я из ревнивцев, ведь тот, кто женат на честной женщине и ревнует ее — чурбан неотесанный; но потому, что всегда зарятся воры на богатые хоромы, а я не хочу, чтобы они своими мытыми руками утащили то, что я нажил ценою таких трудов и лишений. Уж я отучу его от этого порока либо же пусть катится ко всем дьяволам!

Дон Маркос до такой степени разбушевался, что донье Исидоре потребовалось немало присущего ей ума, дабы привести нареченного в доброе настроение, и она стала упрашивать его не гневаться: юнец-де будет вести себя так, как благоугодно дону Маркосу, она-де в жизни не встречала паренька послушливей, тому время свидетель, ведь сколько лет она его знает.

— Это нужно ему же самому, — сказал в ответ дон Маркос, но тут разговор прервался, ибо появились дон Агустин и обе девицы, все пришли с музыкальными инструментами, и бойкая Марсела начала празднество, запев следующие десимы:

Дьего, сколько грустных дней
Все пыталась я напрасно
Встретить взгляд твой безучастный!
От жестокости твоей
Слезы я лила всечасно!
И сгорала я в огне
Без надежд на исцеленье:
Хлад твой был мне в оскорбленье,
Не хотел явить ты мне
И на миг благоволенья.

У небес просила я
Смерти, чтоб тебя не видеть,
Ибо нету мне житья,
И себя возненавидеть
Мне велит судьба моя.

А меня ведь ревновали,
Я внушать любовь могла!
Право, лучше б умерла:
Горше доля есть едва ли —
За добро дожждаться зла!

Не сумею сказать, что больше пришлось по вкусу слушателям: нежный голос девицы или стихи, что она спела. Под конец расхвалили они и то и другое: хоть и не блистали десимы ни особой изысканностью слога, ни особой тонкостью смысла, горничная пропела их с таким непринужденным искусством, которое возместило бы и худшие изъяны. И когда донья Исидора велела Инес, чтобы та сплясала с Агустином, дон Маркос обратился к Марселе с предложением спеть еще что-нибудь по окончании танца, ибо у нее это получалось божественно, что Марсела и сделала с превеликим удовольствием, доставив такое же сеньюру дону Маркосу следующим романсом:

До самой горькой доли,
Знать, дожילה я:
Другой — любовь и ласки,
Мне — ревность злая.

Не дожждаться мне, Арденьо,
От тебя любви ответной,
Хоть и мерю холод твой
Меркой муки моей тщетной.

В пламени моем ты стынешь,
Я во льду твоём сгораю.
Не живут мои надежды,
Я в скорбях не умираю.

Не избыть, не излечить мне
Боль, которой нет названья,
Исцеленья не ищу я,
Не лелею упованья.

До самой горькой доли,
Знать, дожила я:
Другой — любовь и ласки,
Мне — ревность злая.

И на что мне уповать,
Как участие пробудить
В том, кто так неблагодарен,
Кто готов меня сгубить?

Нет моим трудам награды,
Нет конца моей обиде —
Так Сизиф по склону вверх
Катит камень свой в Аиде.

Что ж, пронзи мне сердце шпагой
И покончи, бессердечный,
С этой мукой, если только
Ей не суждено стать вечной.

До самой горькой доли,
Знать, дожила я:
Другой — любовь и ласки,
Мне — ревность злая.

Поскольку вкус у дона Маркоса был такой же неискушенный, как у кастильского ослика, а душою был он прост, как китайский пластырь, ему романс этот не показался длинноватым, напротив, он рад был бы слушать без конца, ибо складом ума — при всей скудости оногo — был не то что столичные тонкие ценители, которые начинают скучать уже на седьмой строфе. Он поблагодарил Марселу и попросил бы ее спеть еще, если б в этот миг не вошел добрый Гамарра с человеком, коего представил как нотариуса, хоть тот более всего смахивал на лакея. Тут был составлен брачный договор, согласно коему приданое доньи Исидоры составляло двенадцать тысяч дукатов да сей дом со службами. И поскольку был дон Маркос бес-

хитростен, не потребовал он никаких подтверждений-обеспечений, и так был доволен добрый идалго, что, поступившись своим достоинством, пустился в пляс с дорогой своей супругой, как величал он донью Исидору.

В тот вечер ртужинали они так же пышно и богато, как отобедали, хотя дон Маркос все раздумывал о своем — о том, как бы умерить расходы: уже чувствуя себя хозяином этого дома и всего имущества, он полагал, что, коли так и дальше пойдет, приданого ненадолго станет; но ему пришлось помолчать до более подходящего случая. Настало время удалиться на покой, и, дабы не утруждать себя возвращением домой, дон Маркос выразил желание остаться у своей сеньоры, но та с величайшей добропорядочностью и целомудренностью рекла, что мужская нога не коснется незапятнанного ложа ее покойного супруга, покуда не будет на то церковного благословения; так что дон Маркос почел за благо пойти спать домой (не знаю, впрочем, может, правильнее сказать «бодрствовать», ибо мысль о том, что нужно обратиться в церковь с просьбой об оглашении, заставила его одеться к пяти часам утра).

Наконец все было сделано, и за три праздничных дня, которые как раз подвернулись (по воле Фортуны, ибо стоял август, а в августе праздников хоть отбавляй) было сделано оглашение, обручение же и венчание были назначены на один и тот же день, как принято среди знати, и днем этим оказался понедельник (выдавшийся таким несчастливым, что куда там вторнику). Свадьба была весьма пышная и роскошная, и в отношении нарядов, и во всех прочих отношениях, ибо дон Маркос, пойдя наперекор собственному нраву и преодолев свою скаредность, взял напрокат

(чтобы сохранить в целости кругленькую сумму в шесть тысяч дукатов) для своей супруги богатое платье и нижнюю юбку, рассудив, что такое платье да саван — вот все, что с него причитается; о саване же вспомнил он не потому, что помышлял о смерти доньи Исидоры, а потому, что подумал: «Если она будет надевать это платье лишь на Рождество, то его хватит до Судного дня». Он также привел шаферов из дома своего господина, и все хвалили его выбор и славословили его удачу, ибо им казалось, что он сподобился великого счастья, сыскав такую пригожую и состоятельную жену: ведь донья Исидора, хоть и была старше своего жениха, что не соответствует поучениям Аристотеля и прочих философов древности, но она скрывала сие обстоятельство столь умело, была столь искусно разубрана, что одно удовольствие было глядеть.

После трапезы, когда время было уже позднее и праздник весело завершился танцами, в коих особливо блистали Инес и дон Агустин, донья Исидора приказала Марселе доставить радость гостям своим божественным голосом, и та, не заставив себя упрашивать, запела столь же бойко, сколь искусно:

Коль впрямь заря смеется,
То надо мною:
Остывшему верна я —
Умру такую.

Утреннюю зорькой
Вижу я в оконце:
Весело смеется
Над моею горькой
Кручиною солнце.
Что ж, дива тут нет —
Смеется рассвет
Не зря надо мною:

Остывшему верна я —
Умру такую.

Смеется, что плачу
И грустью томима,
И слез я не прячу,
Скорблю, нелюбима.
Как мало я значу
Для спящего рядом!
Мне ж ночь стала адом,
Ни сна, ни покою:
Остывшему верна я —
Умру такую!

В таких забавах наступила ночь, начало супружества дона Маркоса, но еще более — его несчастий. Фортуна принялась являть ему оные, не дожидаясь, пока он вступит в свои супружеские права, и для почина случилась неожиданная беда с доном Агустином. Не берусь утверждать, что причиною было замужество сеньоры его тетушки, скажу только, что он переполошил весь дом, ибо донья Исидора так разогорчилась, что сама принялась раздевать его с нежностью куда большей, чем приличествовало, и уложила спать с такими ласками и угождениями, что новобрачный чуть было не приревновал ее. Впрочем, увидев, что больному полегчало, а донья Исидора готовится ко сну, он рачительно проверил, заперты ли двери и задвинуты ли щеколды на окнах. Эта его рачительность вызвала у бойких служанок его обожаемой супруги такое смятение и негодование, что трудно и вообразить себе, ибо решили они, что это прихоть ревнивца; в действительности же дело было не в ревности, а в скупости, ибо добрый сеньор, поскольку он перевез в дом супруги свои одеяния и заодно шесть тысяч дукатов, каковые, с тех пор как к нему попали, света божьего не

видели, хотел убедиться со всей надежностью, что сокровища его со всей надежностью хранятся.

Наконец лег он со своею супругой; служанки же, вместо того чтобы лечь, принялись шептаться и плакать, преувеличивая суровость своего рачительного и предусмотрительного хозяина.

— Как тебе нравится, Инес, — начала Марсела, — такой подарочек Фортуны? Мы ведь укладывались в три либо в четыре, всю ночь слушали музыку и речи ухажеров, то в дверях стоя; то у окошка, а деньгам в нашем доме и счета не велось, как в других домах — песчинкам¹. И вот до чего дожили: в одиннадцать двери на запоре, окна на щеколдах, а у нас с тобой духу не хватает открыть?

— Куда там — открыть, — отвечала Инес, — Господь Бог свидетель, сдается мне, решил наш хозяин наложить на все двери и окна по семь замков, как на вход в Толедскую пещеру. Да уж, сестрица, конец нашим праздничкам, одно нам обеим осталось — вырядиться монашками, раз уж нашей госпоже захотелось замуж. Ис чего надо было ей идти замуж, ведь ни в чем нужды не знала, а нам из-за нее жить такой жизнью! Не пойму, как она не смягчилась сердцем, когда увидела, как занемоглось дону Аугустину нынче ночью. Чтоб мне пропасть, ежели он расхворался не от огорчения, что она вышла замуж. И не дивлюсь, он же приучен жить привольно и раздольно, а тут, как увидел, что угодил в клетку, словно тебе щегол, ясное дело, опечалился, как и я сама печалюсь. Ой, какое лихолетье для меня настало, лучше б меня шелковиночкой удавили!

¹ Имеется в виду обычай посыпать пол песком.

— Тебе-то с чего плакаться, Инес, — возразила Марсела, — ты же выходишь в город покупать все, что надобно. Но горе той, кому приходится терпеть муки из-за прихотей ревнивца, он принимает мушек за слонов, а ты терпи, чтоб не потерять злосчастного звания горничной девушки, даже если твое девичество — одно только звание. Но я уж найду выход, как-нибудь сыщу себе пропитание, ловкости достанет. Разрази его гром, этого сеньора дона Маркоса, ежели буду терпеть такое!

— Мне-то, Марсела, придется терпеть, — молвила Инес, — ведь, правду сказать, я люблю дону Агустина больше всего на свете. До сей поры из-за хозяйки не было у меня возможности перемолвиться с ним словечком, но я знаю, он на меня заглядывается, и теперь дело пойдет по-другому, потому как ей придется тратить больше времени на своего супружника.

В таких разговорах коротали ночь служанки, а суть дела в том, что сеньор дон Агустин был любовником доньи Исидоры и, дабы кормиться, одеваться, тратить деньги на правах ее племянника, сносил не только тяготы любви со старухой, но и многие другие, а именно: вести беседы с дамами и кавалерами, играть в карты, плясать и прочее тому подобное. Мнил он, что вынесет и такую тяготу, как муж, хотя в ту ночь из-за дурной привычки спать не в одиночестве терпел он почти что крестную муку.

Однако же Инес его любила, и потому, когда Марсела стала раздеваться, Инес сказала, что пойдет поглядит, не надо ли ему чего. И так ей повезло, что, оказывается, дону Агустину было страшно одному, на то он и юнец, и потому он сказал ей:

— Заклинаю тебя твоей жизнью, Инес, ложись сюда ко мне, на меня такой страх напал, что коли останусь один, во всю ночь глаз не сомкну от ужаса.

Сердце у Инес было предобрейшее, и так ей стало жалко дона Агустина, что она тотчас повиновалась его воле, поблагодарив за то, что его приказ так ей по сердцу. Наступило утро, вторник, одним словом, и поскольку Инес опасалась, что сеньора проснется и застанет ее на месте преступления, то сама встала раньше обычного и отправилась к подруге, дабы поведать ей о своем счастье. Марселы, однако же, на месте не оказалось, и потому Инес бросилась искать ее по всему дому и тут обнаружила, что потайная дверца в одной пристройке, не очень-то бросающаяся в глаза, открыта настежь. А суть дела в том, что у Марселы был некий ухажер, и дабы видеться с ним, раздобыла она ключ от этой дверцы, через нее и ушла вместе с ним и без всякого шума, а дверцу оставила открытой нарочно, чтобы посмеяться над доном Маркосом.

Обнаружив, что дверца открыта, Инес устремилась в дом с громкими воплями, каковые разбудили жалкого новобрачного. Полумертвый от ужаса, соскочил он с кровати, приказав донье Исидоре сделать то же самое и проверить, все ли на месте, а сам в это время открыл окно. И полагая, что узрит в постели свою жену, узрел не что иное, как призрак либо лик смерти, ибо добрая сеньора являла взорам все до единой морщины своего лица, каковые днем прятала под белилами, помогавшими ей скрыть годы, а насчитывалось оных скорее пятьдесят пять, нежели тридцать шесть, как значилось в описи приданого, поскольку волос у нее было немного, да и те белым-белы, ибо запо-



рошило их снегом столько минувших зим и лет. Недостаток сей не был замечен благодаря волосяным накладкам и тому, кто их изобрел; но в этот миг оказалось, что во время беззаботного сна донья Исидоры накладку повела себя столь непочтительно, что против воли хозяйки сползла с головы ее на подушку. Зубы донья Исидоры рассыпались по всей постели, ибо, как сказал князь поэтов, она дарила перлы щедро; два-три по сей причине запутались в усах у дна Маркоса, так что усы смахивали на скаты крыши, хваченной инеем, а все потому, что нежно соприкоснулись с лицом его супруги.

Как почувствовал себя бедный идалго, пусть представит себе сам сердобольный читатель, чтобы нам не тратить лишних слов там, где довольно воображения; скажу только, что донья Исидора, пребывавшая в не меньшем смятении оттого, что прелести ее столь явно открылись взорам, схватила в спешке и тревоге накладку, каковой совершенно ни к чему было оповещать о себе в столь ранний час, и напялила ее себе на голову, отчего стала еще страшнее, чем прежде, ибо так торопилась, что не смогла поглядеть, как ее надевает, а потому нагнула на уши. О треклятая Марсела, виновница стольких несчастий, да не помилует тебя Бог, аминь!

В конце концов, чуть подбодрившись, хоть ничуть не подумав о том, не рано ли, собралась она было взять нижнюю юбку, дабы отправиться на поиски беглой служанки, но не обнаружила ни юбки, ни богатого платья, ни прочих уборов и драгоценностей; все это, да вдобавок и наряд дна Маркоса, и цепь ценою в двести эскудо, которую он надевал накануне и которую для пущего парада извлек из своей сокровищницы, прихватила с со-

бою хитрая Марсела, ибо не пожелала она удалиться незаметно.

Чей язык выразит, чье перо опишет, как повел себя дон Маркос в сем случае? Лишь памятуя о том, что нажил он все это добро за счет своего же тела, можно понять, какую душевную боль вызвала у него утрата нажитого, да к тому же он не мог сыскать утешение в красоте своей жены, ибо своим видом она привела бы в безутешность самих дьяволов ада. Если взор дона Маркоса обращался к ней, он видел страшилище, когда же отводил он взор, то не видел ни своей одежды, ни цепи, и, удрученный, очень быстрым шагом расхаживал он в одной сорочке по опочивальне, всплескивая руками и вздыхая.

Покуда он так разгуливал, донья Исидора отправилась к источнику вечной молодости и к ларчику с побрякушками в свою туалетную. Тут встал дон Агустин; Инес успела рассказать ему о случившемся, и оба посмеялись и тому, как смошенничала Марсела, и тому, как выглядела донья Исидора. Полуодетый, дон Агустин пошел утешать своего дядюшку и наплел ему с три короба притворных утешений, свидетельствовавших, что он не столько простак, сколько зубоскал. Он придал духу нашему идальго обещанием разыскать похитительницу и призвал к терпению обычными разговорами о дарах, которые Фортуна то подносит, то отбирает. Под эти разговоры дон Маркос обрел силы, чтобы прийти в себя и одеться: тут появилась донья Исидора, нисколько не похожая на ту, которую узрел он при пробуждении, и дон Маркос почти уверился, что ошибся и ему померещилось.

Дон Маркос и дон Агустин отправились вместе на поиски Марселы (Инес сказала им, где та

может прятаться), и, по правде сказать, если б не пошли они, я был бы более высокого мнения об уме обоих, по крайней мере об уме дона Маркоса, ибо дон Агустин, по-моему, смахивал больше на пройдоху, чем на глупца, и само собой, не повел дядюшку туда, где они смогли бы сыскать злодейку. Убедившись, что горю не поможешь, вернулись они домой, поскольку смирились с волею Всевышнего как люди богобоязненные и с волею Марселы как люди, у которых другого выхода не оставалось; и наш жалкий скаред с крайней неохотой принужден был подчиниться обычаю и отпраздновать первый послесвадебный день, хоть и был он мрачнее тучи, ибо утрата цепи пронзила ему сердце.

Но Фортуна, тем не довольствуясь, решила приумножить ему кары за скаредность. И вот, когда все сели за стол, пожаловали к ним двое слуг сеньора адмирала и молвили, что их господин целует руки донье Исидоре, и да соблаговолит она вернуть столовое серебро, целый месяц продержала, и будет, а коли откажется, другой пойдет разговор. Выслушала сеньора сие требование, на каковое мог быть лишь один ответ, а именно: вручить слугам всю столовую посуду, блюда, миски и прочее, что было в доме и преисполнило такими надеждами сердце дона Маркоса. Хотел было он выказать характер и стал говорить, что это его добро, что он не позволит его уносить и прочее в том же духе, так что один из слуг был вынужден пойти за дворецким, а второй остался сторожить серебро. В конце концов серебро унесли, так что дон Маркос зря лез из кожи; ополоумев от горя и гнева, раскричался он и разбушевался, как человек, вышедший из себя: жаловался, что его обманули, и грозился, что потребует

развода. На все это донья Исидора отвечала с величайшим смирением, дабы укротить его гнев, что она заслуживает скорее благодарности, чем кары, что все средства, даже если и смахивают на обман, хороши и разумны, дабы обзавестись таким мужем, как он, что сделанного не воротишь, нечего и думать, а потому самое лучшее — запастись терпением. Пришлось доброму дону Маркосу так и поступить, но с того дня не знали супруги ни минуты мира и покоя и куска не съедали с удовольствием. При всем том дон Агустин уплетал себе да помалкивал, ибо, когда появлялся он в доме, всякий раз восстанавливался там покой; а ночи наш молодчик проводил весьма приятно с Инес, смеясь вместе с нею над прелестями доньи Исидоры и злоключениями дона Маркоса.

При всех этих бедах, когда бы Фортуна не донимала более дона Маркоса, на то, что у него оставалось, он мог бы жить безбедно и пребывал бы довольнешенек. Но поскольку в Мадриде стало известно о замужестве доньи Исидоры, явился к ней в дом ловкач, промышлявший тем, что сдавал напрокат одежду и мягкую рухлядь, владелец скатертей, ковров и занавесей, и потребовал все это вернуть да еще уплатить за три месяца пользования, поскольку, как он рассуждал, женщина, столь удачно вышедшая замуж, могла это добро купить и приобрести в полную собственность.

Хлебнув из сей чаши, дон Маркос совсем света не взвидел: ринулся на свою сеньору с кулаками так, что накладка и зубы полетели, куда придется, к немалой боли (душевной) их владелицы, каковая без них страдала так, словно с нее кожу содрали. Уязвленная этим обстоятельством и оскорбленная тем, что она, столь недавно вышедшая

замуж, уже терпит такие обиды, стала она плакать и корить дона Маркоса за то, что он обращается подобным образом с такою женщиною, как она, и из-за чего — из-за даров Фортуны. Фортуна ведь то приносит их, то отнимает, а подобное наказание оказалось бы чрезмерным, даже будь затронута честь. На это дон Маркос отвечивал, что его деньги — это его честь, но проку от сих слов никакого не было, ибо владелец занавесей и ковров все равно забрал свое добро, а с ним и все, что ему причиталось, до последнего реала, причем расплачиваться пришлось дону Маркосу своими кровными: сеньора-то давным-давно забыла, какого деньги цвета, поскольку давным-давно не могла промышлять тем, чем всю жизнь промышляла.

На шум и крик появился хозяин дома, а дом наш идальго почитал своей собственностью, ибо жена сказала ему, что человек этот — постоялец, на год снявший верхнее жилье. Хозяин объявил, что если каждый день придется ему слушать вопли, пускай подыщут себе другой дом и убираются подобру-поздорову, потому как он любитель покоя.

— Как это — убираться? — отвечал дон Маркос. — Сами и убирайтесь — дом-то мой.

— Как это — ваш? — сказал хозяин. — Вас, видно, из сумасшедшего дома выпустили! Убирайтесь же подобру-поздорову, клянусь, кабы не жалел я вас за ваше помешательство, вы у меня в окошко бы вылетели.

Дон Маркос пришел в ярость и набросился бы на него, если бы в дело не вмешались донья Исидора и дон Агустин. Они вывели из заблуждения дона Маркоса и утихомирили домовладельца, пообещав, что завтра же съедут. Что тут мог поделать

дон Маркос? Либо смолчать, либо повеситься, ибо ни на что иное у него духу не хватило бы, да к тому же он совсем растерялся и был вне себя. Так что взял он плащ и вышел из дому, а с ним дон Агустин, который по приказу тетушки должен был его урезонить.

В конце концов сыскали они вдвоем пару комнат неподалеку от королевского дворца, поскольку дом вельможи, у коего на службе состоял дон Маркос, также находился по соседству. Оставив задаток, они договорились, что завтра же переедут, и дон Маркос сказал дону Агустину, чтобы тот шел обедать домой один, ибо сам он сейчас не в состоянии видеть эту обманщицу, его тетку. Молодчик так и поступил: вернулся домой, рассказал обо всем донье Исидоре, и они вдвоем договорились о том, как будут переезжать.

Жалкий скарעד вернулся и лег спать, полумертвый от голода и с перекошенным лицом, а утром донья Исидора сказала ему, чтоб отправился в новое жилище, дабы принять одежду и белье. Инес же тем временем пойдет за повозкой. Так и было сделано, и едва лишь добрый дурень успел выйти, как предательница донья Исидора, ее племянник и служанка собрали все пожитки, погрузили на повозку и отбыли из Мадрида в Барселону, оставив в доме только то, что не смогли увезти: блюда, миски и прочий хлам.

Дон Маркос прождал почти до полудня и, видя, что те всё не появляются, вернулся в прежний свой дом; никого там не застав, он спросил у одной соседки, не уехала ли его супруга и прочие. Та отвечала, что все давно уехали. Дон Маркос подумал, что они уже, наверное, на новом месте, и поспешил туда, дабы не пришлось им долго ждать. Пришел он потный и усталый и,

никого не найдя, чуть не отдал Богу душу, ибо стал опасаться того, что и произошло на самом деле. Не передохнув, помчался он туда, откуда пришел, пинком вышиб запертую дверь, вошел и, увидев, что ничего, кроме жалкого хлама, не осталось, убедился, что сомневаться нечего и несчастье его свершилось. Стал он вопить и метаться по комнатам, колотясь то и дело о стены головою и твердя: «Несчастный я, вот беда так беда, в недобрый час согласился я на злополучную эту женитьбу, за которую расплачиваюсь такой дорогой ценой. Где вы сейчас, лживая сирена и похитительница моего добра и всего, что я скопил за счет самого же себя, чтобы зажить мало-мальски безбедно?»

Так сетовал дон Маркос, присовокупляя и другие причитания, и на вопли его сбежались все обитатели дома, и один из слуг, знавший о происшедшем, сказал, что тут сомневаться нечего: они все выехали из столицы, потому что повозка, на коей отбыли жена дона Маркоса, ее племянник и служанка со всеми пожитками, была из тех, что предназначены для дальней дороги, а не для городских перевозок, и когда он спросил, где нашли они новое жилье, они отвечали, что за пределами Мадрида.

Это добило дона Маркоса; но поскольку надежды придают людям духу и среди бед, решил он обойти все извозчицьи дворы и разузнать, в какую сторону отправилась повозка, на которой увезли его сердце купно с шестью тысячами дукатов. Так он и поступил. Но беглецы наняли повозку не на извозчицьем дворе, а у одного мадридского огородника, им ведь хитрости было не занимать, а потому дон Маркос не смог ничего выведать. Продолжать поиски было де-

лом гиблым, поскольку он не знал, по какой дороге они отправились, и не было у него ни медяка, разве что взять взаймы, а вдобавок висел на нем долг за платье и драгоценности жены, и он не представлял себе, как его заплатить и из каких денег.

Поникший и терзаемый множеством горьких мыслей, повернул дон Маркос к дому своего господина. И вот, когда шел он по Калье-Майор, неожиданно-негаданно повстречался с осмотрительной Марселей, да настолько носом к носу, что хоть и попыталась она было прикрыть лицо мантильей, не успела, ибо дон Маркос узнал ее, схватил за руку, забыв о своем достоинстве, и вскричал:

— Попалась, воровка! Теперь отдашь мне все, что украла в ту ночь, когда сбежала из моего дома!

— Ох, сеньор м о й , — отвечала Марсела плача , — так я и знала, что мне придется за все держать ответ, знала с той минуты, когда моя сеньора заставила меня пойти на такое. Не спешите меня опозорить, а прежде выслушайте, у меня ведь слава добрая, и я уже просватана, большая будет беда, коли пойдут обо мне худые слухи, тем более что я как есть ни в чем не виновата. Зайдемте в эту подворотню и наберитесь терпения, выслушайте меня, тогда узнаете, у кого ваша цепь и одежда. Я так и думала, что вы будете подозревать меня, и сеньору о том предупредила, но вы — господа, а я — служанка! Горе тому, кто состоит в услужении, в каких трудах зарабатываешь свой кус хлеба!

Дон Маркос, как я уже говорил, большой хитростью не отличался; и вот, поверив слезам Марселей, остановился он вместе с ней в подворотне одного большого дома, и там Марсела расска-

зала ему, кто такая донья Исидора, каковы ее нравы и обычаи и с каким намерением пошла она за него замуж, а именно с намерением обмануть его, в чем наш бедный идалго успел убедиться на горьком опыте. Рассказала она также, что дон Агустин вовсе не племянник доньи Исидоры, а ее любовник; что он бездомный плут и сожительствоует с женщиной таких нравов и таких лет ради сытного стола и праздного житья. Еще она рассказала, что цепь дона Маркоса и его одежду она спрятала по приказу доньи Исидоры, а потом отдала сеньоре вместе с ее платьем и всеми уборами и драгоценностями, и донья Исидора велела ей исчезнуть и скрыться с глаз, чтобы подкрепить успех своей плутни тем, что подозрения падут на горничную.

Марсела решила заморочить голову дону Маркосу этими рассказами, не побоявшись возможных последствий, то ли потому, что он показался ей человеком не очень задиристым, то ли чтобы выскользнуть у него из рук, а там будь что будет, то ли по злокозненности, свойственной служанкам, — это, пожалуй, самое верное. Свой рассказ мошенница завершила предостережением, посоветовав дону Маркосу жить с оглядкою, ибо в самый неожиданный миг его могут лишить всего достояния.

— Я вам рассказала все, что могла и как мне совесть велела, а теперь, — твердила она, — поступайте, как вам лучше, я же готова на все, чтобы вам услужить.

— Вовремя, нечего сказать, — отвечивал дон Маркос, — когда горю уже не поможешь, потому что предательница и неблагодарный ублюдок скрылись, забрав с собою все, что у меня было.

И он тут же рассказал Марселе обо всем, что произошло с того дня, когда она покинула дом.

— Подумать только! — воскликнула Марсела. — Ох, злодейство какое! Ох, сеньор мой ненаглядный! Не зря я вас жалела, только говорить не осмеливалась. Ведь в ту ночь, когда сеньора ушла меня из дому, хотела я предупредить вас о том, что делается, да побоялась. Я же тогда еще заикнулась, что не надо бы прятать цепь, да сеньора такую волю дала и языку, и рукам, что я света Божьего не взвидела.

— Все, о чем вы говорите, я уже изведal на опыте, — молвил дон Маркос, — но хуже всего то, что мне ничего не поделаться, даже не узнать, где и как могу я напасть на их след.

— Об этом не печальтесь, сеньор мой, — сказала притворщица Марсела, — я знаю одного человека — думаю даже, коли будет угодно Богу, станет он моим мужем, — так вот, он скажет вам, где вы их найдете так же наверняка, как если б увидел их своими глазами, потому как он умеет заклинать дьяволов и делать разные другие диковинные вещи.

— Ох, Марсела! Кабы сделала ты это для меня, уж как бы я тебя благодарил, как бы тебе отплатил! Раз можешь ты это сделать, сжался над моими бедами!

Злые люди весьма склонны при виде падающего подтолкнуть его, чтобы поскорее расшибся; добрые же люди легковерны. И вот дон Маркос поверил Марселе; она же задумала обмануть его и вытянуть из него, сколько удастся; и с таким намерением ответила, что можно пойти к заклинателю сейчас, он живет неподалеку.

По дороге дон Маркос встретил одного знакомого, состоявшего в услужении у того же вельможи, что и он сам, и попросил его ссудить четыре реала, дабы вручить их астрологу — не как задаток,

а как плату. Тут подошли они к дому самой Марселы, где жила она вместе с одним человеком, тем самым, кого выдавала за мудреца; на самом деле он был ее любовником.

Дон Маркос поговорил с ним, и тот назначил цену — сто пятьдесят реалов и время — ровно через неделю, пообещав, что дьявол сообщит дону Маркосу, где скрываются беглецы, и тот их найдет. Но, присовокупил он, пусть дон Маркос помнит: если не хватит у него духу, ничего не получится, лучше и не затевать дела; и если он не решится узреть дьявола в натуральном его обличье, пусть поразмыслит, в каком образе предпочитает его узреть. Дону Маркосу так хотелось разузнать, где его достояние, что для него узреть дьявола было все равно что узреть блюдо с бланманже. А потому он отвечал астрологу, пусть-де явит ему дьявола в том самом виде, в коем тот обретается в аду: хоть и видит астролог, что дон Маркос оплакивает свое достояние, словно женщина, во всех остальных случаях он мужчина каких поискать. С этими словами отдал он астрологу четыре реала и, простившись с Марселою, отправился к одному своему другу, если только бывают друзья у скаредов или несчастливцев, дабы оплакивать свое несчастье или свою скаредность.

Оставим его там и последуем за чародеем (назовем дружка Марселы так), каковой, дабы выполнить обещание и вволю подшутить над скаредом, ибо от Марселы узнал он историю во всех подробностях, сделал следующее. Поймал он kota и запер в каморочке, вернее сказать, это был чулан, сообщавшийся с комнатой в одно окно на уровне человеческого роста и величиною в лист бумаги; окно это он затащил прочной веревочной

сетью, а в нижней части двери, что вела из чуланчика, наш чародей прорезал кошачий лаз. Входил он в чуланчик к коту, стегал его бичом, держа лаз закрытым, а когда кот разъярится, чародей открывал лаз, и кот проскакивал в соседнюю комнату, прыгал в окно, но, застряв в сетке, возвращался обратно. Чародей столько раз это проделал, что как только лаз открывали, кот, не дожидаясь побоев, мчался прямо к оконцу. Добившись сей цели, чародей известил злополучного скареда, что нынче в ночь, когда пробьет одиннадцать, он явит его очам то, что тот желает узреть.

Наш бедный обманутый идальго раздобыл взаймы (победив свою скаредность) столько, сколько недоставало до ста пятидесяти реалов, с деньгами явился в дом чародея и сунул ему деньги в руку, дабы тот набрался духу для самых могучих заклинаний. Чародей, призвав дону Маркоса вооружиться мужеством и бесстрашием, и тот пристроился на стуле под оконцем, с коего предварительно маг снял сеть. Шел, как уже сказано, двенадцатый час, и в комнатухе было столько света, сколько мог дать единственный светильничек, горевший в углу, а чулан был битком набит шутихами, и там сидел подручный чародея, какой должен был по условленному сигналу запалить шутихи и выпустить кота.

Марсела вышла на улицу, ибо у нее не хватало духу знаться с привидениями. А хитрец маг напялил одеяние из черной дерюги и такой же колпак, взял в руки книгу, отпечатанную готическим шрифтом на старом пергаменте, дабы внушить больше веры тому, кого дурачил, очертил на полу круг и, став в средоточии оного с книгою в одной руке и жезлом в другой, начал читать вслух унылым и жутковатым тоном, бормоча сквозь зубы

и время от времени произносятся странные и диковинные имена, каковых дон Маркос доселе не слышивал. Глаза наш идальго так пялил, что они у него, как говорится, из глазниц вылезали, и при каждом шорохе переводил взгляд, чтобы рассмотреть беса, который скажет ему, где беглецы. Чародей же ударял жезлом в пол, сыпал на раскаленную жаровню, стоявшую подле него, соль, серу и перец, и возвысив голос, произносил:

— Ко мне, бес Калькиморро, ибо твое дело следовать за путниками по дорогам, и тебе ведомы умыслы их и укрытия, так предстань пред доном Маркосом и предо мной и скажи, где и как сможет он их найти, каким путем следуют эти люди; живо выходи, либо берегись моего наказания; бунтуешь, оказываешь неповиновение — погоди же, вот задам тебе жару, так выскочишь мигом.

И он снова ударял жезлом в пол и снова сыпал заклинания, а заодно и соль, серу и перец на жаровню, так что бедный дон Маркос уже задыхался. Чародей, видя, что бесу уже пора явиться, произнес:

— О ключарь и преддверник ада, повели Церберу, чтоб выпустил Калькиморро, беса дорог, пусть скажет нам, где беглецы, либо ждет его жестокая кара.

В это мгновение молодчик, стороживший кота, поджег шутихи и открыл лаз. Шерсть кота вспыхнула, и он метнулся в лаз с мяуканьем и оглушительным визгом и прыжками понесся к оконцу, как был приучен; не оказав никакого почтения дону Маркосу, который сидел на стуле, он опалил ему на лету волосы, бороду и часть лица и выскочил на улицу. Дону Маркосу померещилось, что узрел он не одного дьявола, а всех, сколько их есть в аду, и с пронзительным воплем он рухнул

наземь в беспамятстве, не расслышав голоса, который произнес: «Ты найдешь их в Гранаде!»

На вопль дона Маркоса и мяуканье и визг кота, который, пылая, метался по улице, сбежались люди, и среди них слуги правосудия. Постучав, они вошли в дом, где обнаружили Марселу с ее любовником, которые, не жалея воды, поливали дона Маркоса, дабы привести его в чувство (что удалось лишь наутро). Альгвасил стал выяснять, что случилось, и, не удовольствовавшись объяснением, хоть ему и рассказали, в чем состояла проделка, распорядился положить дона Маркоса, который казался мертвым, на кровать, а плута и его подручного, обнаруженного в чуланчике, препроводили в тюрьму, где на обоих надели наручники, поскольку в доме у них было найдено мертвое тело.

Наутро о случившемся известили сеньоров алькальдов, и те приказали отвести обоих задержанных в дом, дабы выяснить, пришел ли человек в себя или скончался. К тому времени дон Маркос уже пришел в себя, узнал от Марселы о положении вещей и вел себя так, что не оставалось сомнений: человека трусливее нет на свете.

Альгвасил препроводил всю компанию в зал суда, и когда сеньоры алькальды принялись расспрашивать дона Маркоса, он рассказал всю правду, поведав судьям о своей женитьбе и о том, как эта девица привела его в дом к чародею, сказав, что там он узнает, где похитители его достояния, а больше он ничего не знает, кроме того, что после долгих заклинаний, которые человек этот читал по книге, из-под двери появился дьявол, такой ужасный и безобразный, что у него, дона Маркоса, не хватило духу слушать то, что произносил он сквозь зубы с громкими завываньями. Мало того,

дьявол на него набросился и привел в то состояние, в коем господа судьи его видят, а что было дальше, он не знает, ибо сердце его не выдержало, и он до утра не приходил в себя.

Алькальды весьма дивились, но тут чародей развеял чары, объяснив, как все было на самом деле; рассказ его подтвердили подручный и Марсела; как вещественное доказательство был представлен обгоревший труп кота. Из дома чародея были принесены две-три книги, которые там нашлись, и дона Маркоса попросили опознать ту, по коей чародей читал заклинания. Дон Маркос выбрал эту книгу и подал судьям; открыв ее, они увидели, что это «Амадис Галльский»¹, очень старый и отпечатанный по старинке, а потому он без труда сошел за волшебную книгу.

Когда все это выяснилось, присутствовавшие расхохотались так, что зал заседаний долго не мог успокоиться. Дон Маркос пришел в такое неистовство, что хотел лишить жизни чародея, а потом самого себя, и неистовство его лишь усугубилось, когда алькальды сказали ему, что нельзя быть таким легковерным и поддаваться обману на каждом шагу. И они велели всем троем разойтись по домам, и наш злополучный скаред вышел в таком состоянии, что казался не тем, кем был прежде, а помешанным. Пошел он в дом своего господина, где его разыскивал почтарь, чтобы вручить письмо. Вскрыл дон Маркос письмо и прочел следующее:

«Дону Маркосу Скареду поклон. Человек, который отказывает себе в пище, чтобы скопить деньги, лишая тело необходимой поддержки, и же-

¹ См. примеч. на с. 354.

нится лишь ради выгоды, позаботившись узнать о невесте лишь одно — каково ее достояние, вполне заслужил и того наказания, которое на вас уже обрушилось, и того, которое ждет впереди. Продолжайте, ваша милость сеньор дон Маркос, кормиться так, как кормились до женитьбы, и содержать слугу, как прежде, а именно покупать себе полфунта говядины да на куарто хлеба, да платить два куарто слуге, который вам прислуживает и моет узехонький сосуд для отправления ваших нужд; таким манером вы снова скопите шесть тысяч дукатов. Тогда, не тратя времени, уведомьте меня, и я с превеликим удовольствием вернусь, дабы зажить с вами супружеской жизнью, ибо столь рачительный муж вполне того заслуживает.

Донья Исидора Мстительница».

Такую крестную муку претерпел дон Маркос при чтении этого письма, что на него напала жестокая горячка, которая свела его в гроб, так что дни его жизни завершились самым жалким образом за скаречно отсчитанные дни болезни.

Что касается доньи Исидоры, то вся компания дожидалась в Барселоне галер, чтобы перебраться в Неаполь; и однажды ночью, когда сеньора спала, дон Агустин и его Инес бежали, прихватив с собою шесть тысяч дукатов дона Маркоса и все прочее. По прибытии в Неаполь дон Агустин записался в солдаты, а красавица Инес, разряженная в пух и прах, стала куртизанкой высокого полета и с помощью этого ремесла одевала и баловала своего дона Агустина. Донья Исидора вернулась в Мадрид, где, отказавшись от пышных нарядов и волосяной накладки, ходит побираться; от нее и услышал я эту историю и решил записать,

дабы все скареды знали, как кончил сей скаред, и, узнав, не повторили его судьбы, а извлекли бы урок из чужого опыта.

РАБА СВОЕГО ВОЗЛЮБЛЕННОГО

— Приказали вы мне, моя сеньора, рассказать нынче вечером историю о разочаровании, дабы узнали дамы об обманах и хитростях мужчин и дабы пеклись они о доброй своей славе, ибо в нынешние времена она совсем загублена, и мужчины всегда и всюду говорят о них плохо, а думают и того хуже. Величайшее их развлечение — злословить о женщинах: дается ли комедия на театре, выходит ли книга в свет — везде одна лишь хула на женщин, и ни единой нет пощады; и в том мужчины не совсем виновны: ведь в поисках наслаждений знают они с дурными женщинами, а те могут дать лишь то, чем владеют. Когда бы искали они женщин добродетельных, дабы признать их достоинства и восхвалить оные, то нашли бы и таких, которые честны, разумны, стойки и правдивы; но таково злосчастье наше, и так плохи нынешние времена, что с добродетельными обходятся еще хуже, а так как дурным женщинам мужчины потребны лишь на время, то подобные женщины прогоняют их с позором прежде, чем те успеют их обидеть.

Я могла бы рассказать немало историй разочарования в подтверждение того, сколько бед и встарь, и ныне терпели и терпят женщины от мужчин, но предпочитаю обойти их молчанием и поведать вам историю собственных злоключений, дабы извлекли вы из нее урок, ибо много есть погубленных женщин и мало таких, которым по-

шел впрок чужой опыт. И говорю я так потому, что сама история моя покажет, какую ценой приходится за этот опыт платить.

Имя мое — донья Исабель Фахардо, а не Селима, как вы полагаете, и я не мавританка, а христианка, дочь родителей-католиков, и принадлежали они к высшей знати города Мурсии; а эти клейма у меня на щеках — лишь тени тех, которые напечатлела на моей чести и добром имени неблагодарность мужчины; дабы вы мне поверили, взгляните — вот я снимаю их. О, когда бы могла я подобным же образом снять те клейма, что запечатлелись у меня на душе из-за моего злополучия и неблагоприятия.

С этими словами она сняла клейма и отбросила далеко в сторону, и божественный лик ее засиял во всей чистоте, ничем не запятанный и не омраченный, равный красою солнцу в безоблачную пору; и все, кто неотрывно внимали тому, что произносили прекрасные уста, почти не дышали и не сводили с нее глаз, ибо казалось им, что перед ними ангел и что виденье вот-вот скроется из глаз. И все — самые влюбчивые кавалеры и самые завистливые дамы — мысленно сравнивали, в каком обличье она прельстительнее, с клеймами или без оных, и чуть ли не были склонны сожалеть о клеймах, поскольку с ними была она более легкой добычею; а Лисис, нежно любившая свою рабыню, уронила несколько слезинок, но, дабы не смущать ту, что прежде звалась Селимою, отерла их прекрасными своими перстами. Увидев, что все молчат, приметив, что и все вместе и всяк в отдельности напряженно ждут, прекрасная донья Исабель продолжала свое повествование:

— Была я единственным отпрыском в доме своих родителей и вот стала единственною при-

чиной погибели оного: достались мне в удел красота — о ней вы можете судить сами, знатность — об этом я уже сказала, и богатство, коего, будь я благоразумна, довольно было бы, чтобы я сыскала себе благородного супруга. До двенадцати лет росла я у моих родителей в неге и холе, ибо, поскольку не было у них других детей, не скупилась они на ласки и на подарки, а меж тем обучали меня всему, что надобно знать девице моего положения. Разумеется, входят сюда и добродетели, кои украшают истинно христианскую душу, и такие честные занятия, как чтение, письмо, умение играть на разных инструментах и танцевать и прочие искусства, подобающие девице с моими достоинствами, и такие, коими жаждут украсить своих дочерей все родители, а тем паче мои, ибо, поскольку не было у них других детей, они особливо усердствовали по сей части; и когда выросла я, не было мне равных во всем этом — уж простите, что хвалю себя сама, но, поскольку нет у меня свидетелей, несправедливо было бы мне умалчивать; хорошо отплатила я за все это своим родителям, но еще того лучше отплатила себе самой.

Во всем достигла я совершенства, но в сочинении стихов снискала восхищение всего королевства и зависть многих мужчин, не столь искусных в этом деле, ибо немало есть невежественных мужчин, которым жизнь не в жизнь от женских успехов, словно женщины, обладающие разумением, отнимают оное у них самих. Варвар, невежда, коли умеешь слагать стихи, так слагай же, ведь никто у тебя твоих богатств не похитит; а если хороши стихи, писанные кем-то другим, особливо же дамою, люби их и восхваляй; если же дурны они, извини женщину, их сложившую, подумай, что нету у нее большого дарования, но они все же

достойней одобрения, если хоть и дурно, но писаны не мужчиною, а женщиной, пусть она украсила их не столь искусно.

Когда исполнилось мне четырнадцать лет, моих родителей уже осаждали весьма многочисленные искатели руки моею, коим они не без гнева отвечали, что надобно дать мне созреть; но те, посколькy они, по их словам, боготворили мою красоту, все же не давали им покою. К числу самых влюбленных принадлежал один кабальеро, выказывавший величайшую страсть; звался он дон Фелипе, был немногими годами старше меня и наделен привлекательностью и благородством в той же мере, в коей обделен был благами Фортуны, каковая, словно бы позавидовав милостям, подаренным ему небом, отказала ему в своих дарах. Словом, был он беден, и настолько, что в городе никто его не знал, — несчастье, выпадающее на долю многим. Он усерднее прочих пытался снискать мое благоволение слезами и вздохами, но я следовала общему мнению, и посколькy слуги нашего дома заметили, что я не очень-то его жалуя, никто из них не согласился замолвить мне за него словечко, а я на него не глядела, и потому при других обстоятельствах оказалось, что я плохо его знаю. О, если б небу угодно было, чтобы я вовремя разглядела его достоинства, не пришлось бы мне сейчас оплакивать беды, что со мною приключились, и многих из них удалось бы мне избежать; но он был беден, как могла я разглядеть его в своем тщеславном высокомерии? А ведь моего состояния хватило бы и на него, и на меня, но была я с ним так презрительна, что не смел он показываться мне на глаза до той поры, покуда не затянуло меня в омут моих злоключений.

В те поры случился мятеж в Каталонии в наказание за грехи наши, а верней сказать, за мои, ибо хоть велики были потери, моя потеря горше всех: погибшие при тех обстоятельствах стяжали себе вечную славу, я же осталась жить, к вящему своему бесславию.

Стало известно в Мурсии, что его величество король (да хранит его Бог) направляется в славное и верное королевство Арагонское, дабы собственной персоной принять участие в гражданской распре; и отец мой, который лучшие годы младости провел на королевской службе, проведая, что его величеству требуются отважные мужи, решил отправиться к нему и определиться на службу, дабы король вознаградил его и за прошлую службу, и за нынешнюю, как подобает благодарному католическому монарху; и стал мой отец собираться в путь-дорогу. И мать моя, и сама я очень горевали при мысли о разлуке, да и отец мой тоже; так что внял он в конце концов моим и матушкиным настояниям и согласился взять нас с собою; и тут печаль наша обратилась в радость, особливо же возрадовалась я, ибо по молодости лет хотелось мне мир посмотреть, либо же подстрекала меня злополучная моя судьба, направлявшая меня к погибели. Был назначен день отъезда; и собрались мы в путь с немалой пышностью, дабы хоть отчасти показать, кто таков мой отец, потомок знатного рода Фахардо, славного в этих краях.

Выехали мы из Мурсии, и отъезд мой опечалил всех и каждого в нашем городе, и самые блистательные умы запечатали в стихах и прозе грусть, вызванную тем, что покинула я сии места. Мы же прибыли в благороднейший и благолепнейший град Сарагосу; там остановились в одном из

лучших домов; и я, отдохнув с дороги, вышла оглядеться — и сама нагладелась, и на меня поглядывали. Но не в том была моя погибель, ибо в доме суждено было вспыхнуть пожару, и горе мое углядело меня прежде, чем успела я выйти. И хотя немало красавиц в этом славном городе, так что поэты еле успевают воздавать им хвалы, на зависть всем прочим городам и весям мою красоту стали так преувеличивать, словно доселе подобной не видывали; не знаю, такова ли она, как говорили люди, только достаточной оказалась, чтобы сгубить меня. Правы простолюдины со своей поговоркою «Что внове, то мило»: когда бы не обладала я красотой, избежала бы множества злоключений!

Отец мой предстал пред его величеством, и государь, наслышанный о том, сколь славным воинном явил он себя встарь, и видя, что рвение, мужество и здравомыслие, благодаря коим отец всегда справлялся со своими обязанностями, отнюдь не пошли на убыль, поставил его во главе конного полка, дал ему чин главнокомандующего и пожаловал облачение рыцаря ордена Калатравы; и поскольку отец должен был состоять при государе, пришлось ему послать в Мурсию за той частью своих богатств, каковую возможно было сюда доставить, остальное же вверил он управлению загородных сородичей, там остававшихся.

Владелицею дома, где мы жили, была одна вдова, знатная и богатая; было у нее двое детей — сын и дочь; сын был молод, хорош собою и красноречив; когда бы не был он притом двоедушным предателем! Звался он дон Мануэль; фамилии называть не буду, лучше умолчу, ибо не сумел он доставить ей ту честь, коей фамилия сия заслуживала. Увы, убедиться во всем этом пришлось мне

на собственном опыте! О податливые женщины! Когда бы ведали вы — и все вместе, и каждая вотдельности, — какие опасности навлекаете вы на себя в тот миг, когда сдаетесь на лживые улециванья мужчин! Да вы предпочли бы уродиться глухими и безглазыми! О, когда бы опыт мой научил вас, что теряете вы куда больше, чем обретаєте!

Дочь также была молода и недурна собою; ее просватали за кузена, в те поры пребывавшего в Индиях; кузен этот должен был возвратиться с первым же флотом и вступить в брак с нею сразу же по возвращении. Звалась она донья Эуфрасия; мы с нею тотчас же подружились самым нежным образом, равно как и наши матери, и разлучались для того лишь, чтобы смежить очи сном; в остальное же время либо я сидела у нее, либо она у меня; словом, весь город уже звал нас двумя подругами. Вот тогда-то дону Мануэлю и вздумалось полюбить меня, а верней сказать, погубить, ибо это одно и то же. Вначале его притязания и настояния вызывали у меня удивление и отпор, ибо я видела в них дерзновенное посягательство на мое достоинство и честь; и в такой мере, что с целью пресечь оные поступалась и жертвовала дружбою сестры его, уклоняясь от посещений доньи Эуфрасии всякий раз, когда могла сделать это незаметно. Дон Мануэль весьма сокрушался по этому поводу и всячески выставлял напоказ свою грусть и отчаяние — возможно, с тем, чтобы вынудить меня к состраданию при виде того, что моя суровость сказывается уже и на его здравии.

Впрочем, когда представлялся мне случай взглянуть на дону Мануэля незаметно для него самого, я поглядывала на него без вражды; и поскольку девице надобно замуж, мне было бы по

сердцу, чтобы досталась я именно ему. Но увы! Он питал совсем иные намерения, поскольку, при том, что руки моей домогались многие, он никогда не оспаривал таких домогательств; а мой отец настолько был тщеславен в своей любви ко мне, что даже попытайся дон Мануэль искать моей руки, отец отверг бы его притязания, ибо у других было больше преимуществ; я же, при всех многочисленных достоинствах дона Мануэля, ни за какие блага в мире не пошла бы против воли отца. В те поры любовь еще не посягала на мою свободу, и полагаю, что, оскорбясь сим обстоятельством, крылатый божок и загубил ее таким манером, причинив мне столько горестей.

Дону Мануэлю удавалось выражать свои чувства ко мне лишь с помощью взглядов, ибо других возможностей я ему не давала; но вот как-то под вечер, когда сидела я у его сестры, он вышел из своих покоев, находившихся по соседству, с лютней в руках, сел он на тот же помост, на котором сидели мы, и донья Эуфрасия принялась его упрашивать, чтобы он спел нам что-нибудь; он отказывался, и я, чтобы не показаться неучливой, присоединила мои просьбы к просьбам доньи Эуфрасии; только того он и ждал и пропел один сонет, каковой, если моя длинная история вам не наскучила, я могу прочесть, равно как и другие стихи, сложенные по тому же поводу.

Лисис от лица всех стала просить донью Исабель прочесть этот сонет и промолвила:

— Сеньора донья Исабель, да можете ли вы сказать что-то, что не пришлось бы по сердцу тем, кто внимает вам? И потому от имени этих дам и кабалеро молю вас не умалчивать ни об одном из случившихся с вами удивительных событий, ибо это нас весьма опечалило бы.

— Тогда, с вашего изволения, — отвечала дочь Исабель, — я прочту сей сонет; уведомя вас только, что дон Мануэль именвал меня Белисою, а я его — Салисио.

Нет счету гневным молниям каленым,
Нет ливню ни преграды, ни предела;
Река, из русла вырвавшись, вскипела,
А тучи стали морем разъяренным;

Не слышно певчих птиц в лесу зеленом,
Приют в испуге ищет Филомела;
Она всегда во славу солнца пела,
Она скорбит под темным небосклоном.

Смок соловей, увидеть день не чая;
Цветы лишились красок, аромата;
И все в природе мрачно и уныло;

Но, свет на зависть солнцу излучая,
Красой, умом, изяществом богата,
Белиса снова землю озарила.

Допев, он швырнул лютню на помост и промолвил:

— Пусть Белиса, как солнце, освещает восток, одним своим появлением даруя радость всем, кто ее видит, мне-то что за дело, коль со мною она всегда неприветна, словно закат!

И с этими словами он словно бы лишился сознания; матушка его, сестра и служанки всполошились, пришлось унести его и уложить в постель, а я удалилась к себе; не помню, печалилась я или нет, могу сказать только, что на душе у меня было смутно, и я порешила не давать ему больше случаев докучать мне дерзостями. Останься я верна этому решению, мне было бы лучше; но любовь уже завладела моим сердцем, и я сама себя корила за неблагодарность, тем паче, что два дня спустя я узнала, что лекари весьма озабочены состоянием

дона Мануэля. Со всем тем я не видалась с доньей Эуфрасией три дня кряду, делая вид, что ничего не знаю и очень занята, ибо принимаю вестника из моих краев, пока наконец донья Эуфрасия, которая проводила все время у братнина изголовья, не уверилась, что он спит покойным сном, и не наведалься ко мне; и она стала прегорько жаловаться на мое невнимание и ненадежность моей дружбы, а я просила у нее прощения, выпрашивала новости и сокрушалась всею душой по поводу ее огорчений.

В конце концов пришлось мне в тот же день, ближе к вечеру, сопровождать матушку, которая решила проведать дона Мануэля; и так как я была уверена, что недуг его — следствие моей суровости, то постаралась держаться с ним приветливее и ласковее, дабы вернуть ему здоровье, утраченное по моей вине; а потому я говорила с ним весело и шутила, что действовало на дона Мануэля по-разному: он становился то радостен, то печален, а я все примечала старательнее, чем прежде, хоть из осторожности не подавала вида. Настало время прощаться, и когда матушка моя в соответствии с правилами учтивости обратилась к нему с пожеланиями доброго здравия, с коими всегда обращаются к больным, он неожиданно сунул мне в руку листок бумаги, а я то ли смутилась от этой дерзости, то ли побоялась привлечь внимание моей матери, да и его мать была тут же, и потому я ничего иного не могла сделать, как только все скрыть.

Придя к себе в опочивальню, я села на постель и вынула лживую бумажку; я собиралась изорвать ее в клочки, не читая, но тут как раз меня позвали, потому что отец пришел меня проведать, и мне пришлось на время отложить расправу; а больше мне не представилось для этого дела никакого

удобного мгновения до той поры, покуда не пришло мне время готовиться ко сну. Раздевала меня одна моя служанка, она всегда одевала меня и раздевала, и я ее очень любила, потому что мы росли вместе с самого детства; тут я вспомнила про бумажку и попросила служанку подать мне свечу, собираясь сжечь листок. И тут лукавая Клаудия — так звалась служанка, а лукавой я вправе именовать ее, ибо она также умышляла против меня и в пользу дона Мануэля, неблагодарного и не знавшего добрых чувств, — промолвила:

— Моя сеньора, разве содержит это несчастное письмо какое-то преступление против веры, что хочешь ты предать его столь жестокой казни? Даже если и согрешило оно, то лишь по неведению, а не из злого умысла, ибо чувствует мое сердце, что веры и правды в нем скорее избыток, чем нехватка.

— Письмо это посягает на честь мою, — возразила я, — и надобно казнить его, покуда не появились у него соучастники.

— Но разве выносят смертный приговор, не дав обвиняемому слова сказать? — промолвила Клаудия. — А я вижу, письмо-то неразвернуто и целехонько; послушай, что говорит оно, заклинаю тебя твоей жизнью, а затем можешь предать его казни, если оно заслуживает, особливо если оно так же неудачливо, как тот, кто писал.

— А знаешь ты, кто писал? — осведомилась я.

— Если ты и читать не хочешь, стало быть, кто же мог написать, как не дон Мануэль, что любит тебя безответно и по твоей милости живет так, как живет, лишенный и здоровья, и радости, а это две беды, которые довели бы его до смерти, не будь он так несчастлив, ведь несчастливых и смерть обходит стороной.

— Сдается мне, ты подкуплена, что с таким состраданием за него заступаешься!

— Вовсе я не подкуплена, — возразила Клаудия, — просто он меня растрогал, а вернее сказать, разжалобил.

— Но откуда тебе известно, что муки эти, так тебя разжалобившие, он терпит из-за меня?

— Изволь, слушай, — промолвила хитрая Клаудия. — Нынче утром твоя матушка послала меня узнать, как он себя чувствует, и печальный кабальеро обрадовался мне, как ясному солнышку; он рассказал мне про свои горести, обвинив во всем твою суровость, а рассказывал с такими слезами и вздохами, что я поневоле ощутила горести эти как свои собственные, ибо он возвысил слезы свои вздохами и увлажнил вздохи слезами.

— Уж очень мягкое у тебя сердце, Клаудия, — заметила я, — легко же ты веришь мужчинам; влюбись он в тебя, ты его быстро утетила бы.

— Так быстро, — отвечала Клаудия, — что он был бы уже здоров и счастлив. Еще он сказал мне, что как только встанет на ноги, уедет туда, откуда не будет от него вестей ни жестоким очам твоим, ни слуху неблагодарному.

— Скорей бы выздоровел и привел свое намерение в исполнение, — сказала я.

— Ах, моя сеньора, — промолвила Клаудия, — может ли быть, чтобы в столь прекрасном теле, как у тебя, жила столь жестокая душа? Не будь такою ради самого Господа Бога, миновали времена странствующих дам, которые безжалостно обрекали рыцарей на смерть и ничто не могло смягчить их алмазные сердца. Тебе суждено выйти замуж, ибо родителями уготована тебе эта участь, а раз так, чем не хорош дон Мануэль, коли не хочешь ты выбрать его своим супругом?

— Клаудия,— сказала я, — если б дон Мануэль был так влюблен, как ты говоришь, и питал бы столь чистые намерения, он уже попросил бы у моих родителей моей руки; а он не руки моей домогается, но лишь взаимности, то ли чтобы обольстить меня, то ли чтобы убедиться в моей слабости, а потому не говори мне больше о нем, не то очень рассержусь.

— Я сама сказала ему то, что ты говоришь, — не отступалась Клаудия, — а он отвечал, как-де он осмелится просить руки твоей у твоего отца, если не уверен в твоём благоволении; ведь может быть и так, что отец твой даст согласие, а тебе он не по сердцу.

— Кто по сердцу моему отцу, тот по сердцу и мне, — отвечала я.

— Тогда, сеньора, — вновь принялась за свое Клаудия,— прочтем письмецо, — тебя от того не убудет, а все прочее свершится, как будет угодно небу.

Сердце мое уже было мягче воска, ибо куда Клаудия держала свои речи, я мысленно толковала сама с собою, и все в поддержку того, что говорила служанка, и в пользу дон Мануэля; но все же, чтобы не давать ей слишком много воли, ибо я уже понимала, что стоит она не столько за меня, сколько за моего преследователя, я велела ей прекратить эти разговоры и больше не навещать к дону Мануэлю, сама же выказала упорное намерение сжечь листок, но она давай его защищать, и в конце концов, поскольку я и сама хотела того, чего она добивалась, я развернула листок, но прежде строгонастрого наказала ей передать дону Мануэлю, что я разорвала его, так и не прочитав; она пообещала. И вот что я прочла:

«Не знаю, неблагодарная моя сеньора, из чего сделано твое сердце: будь оно даже алмазным, его уже смягчили бы мои слезы; но ты ожесточаешь его все сильнее со дня на день, не заботясь о том, что жизнь моя под угрозой; когда бы я любил тебя не настолько, чтобы отдать во власть тебе и самого себя, и все свое достояние, я нашел бы оправдание твоей жестокости; но поскольку тебе в радость, что я обречен умереть, обещаю порадовать тебя и удалиться от людей и от тебя, неблагодарной, как только окажусь в силах встать с постели, и тогда, быть может, ты пожалеешь, что отвергла мою любовь».

Только это и сказало письмо; но требовалось ли что-то еще? Храни нас, Господи, от письма, писанного ко времени: оно приносит плоды там, где ничто их не обещало, и пробуждает благоволение, даже если мы не видели писавшего; подумайте же, что стало со мною, ведь я уже восхищалась достоинствами дона Мануэля — и всеми вместе, и каждым в отдельности. О неверный возлюбленный, о лживый рыцарь, о губитель моей невинности! О женщины, легковверные и доступные, как сдаются вы под действием красиво разубранной лжи, а ведь золото, коим она изукрашена, держится ровно столько времени, сколько длится прихоть вожделеющего! О разочарование, когда бы можно было провидеть тебя, ни одна не поддавалась бы обманному очарованию! О мужчины, вы ведь из того же теста и той же закваски, что и мы, и душа наша такова же, как ваша, а меж тем обращаетесь вы с нами так, словно мы совсем другой породы, и все благодеяния, что мы вам оказываем от рождения до смерти, не налагают на вас никаких обязательств! Когда бы испытывали вы признательность за те благодеяния, что видите от матерей

ваших, то в память о них уважали и почитали бы всех прочих женщин; дорогой ценой заплатила я за то, чтобы узнать правду: одна у вас забота — преследовать нашу невинность, смущать наш разум низкими помыслами, подтачивать силу нашего духа и, превращая нас в низменные и заурядные создания, превозносить самих себя, ибо вы — властители, повелевающие бессмертной молвою. Да разверзнутся у дам очи разума, да не дадут они победить себя тем, кто, как можно опасаться, оплатит им дурною монетой, как случилось со мною; для того и рассказываю я ныне о своих разочарованиях, ведь, может статься, услышав рассказ мой, женщины одумаются вовремя и не будут подавать мужчинам поводы похваляться победами, и издеваться над оболыщенными, и порицать женские слабости и проклятое корыстолюбие, из-за чего многие женщины вместо любви вызывают ненависть, презрение и осуждение.

Я снова позвала Клаудию, дала ей какое-то поручение, а заодно попросила не говорить дону Мануэлю, что я прочла письмо, и не пересказывать ему нашего разговора; Клаудия обещала. Затем она удалилась, оставив меня в смятении от множества неясных дум, так что я сама себя ненавидела за то, что приходят они мне в голову; и то я испытывала любовь, то раскаяние, то снова ощущала жалость к нему, то чувствовала, что я лучше, чем он. Под конец я в досаде решила, что не буду поощрять дону Мануэля, дабы не давать ему повода к новым дерзостям, но не буду и выказывать презрение, дабы не вынуждать его к каким-то отчаянным поступкам. В этом намерении я восстановила дружбу, связывавшую меня с доньей Эуфрасией, и мы снова стали встречаться так

же часто, как прежде, к обоюдному удовольствию; она звала меня невестушкой, и мне это было не в доuku; я выслушивала спокойнее речи дон Мануэля; и хотя они не вполне отвечали моим желаниям, в его пользу говорило хотя бы то, что он открыто признавался мне в любви; поощряла же я его лишь тем, что говорила, чтобы руки моей он просил у моего отца, а в моей взаимности может не сомневаться, но поскольку он, предатель, вынашивал совсем другие намерения, то так никогда этого и не сделал.

Тем временем подоспела веселая пора масленичных карнавалов, а сарагосские карнавалы знамениты, недаром же говорится: весело, как на карнавале в Сарагосе. Все мы радовались и развлекались, никто никого не порицал, никто никому не завидовал.

И вот случилось однажды, что вечером в поздний час я шла к донье Эуфрасии переодеться в карнавальнй костюм для представления, которое мы затеяли; сама она, служанки ее и наши подруги хлопотали, готовя все необходимое, у нее в покоях. И тут ее предатель-братец, который, верно, дожидался такого случая, остановил меня у своих дверей, которые, как я говорила, были возле двери, ведущей в покои его матушки, и поклонился мне с обычной учтивостью, как всегда; а я ничуть не обеспокоилась, вернее сказать, не заподозрила, что дерзости его станет на худшее, хоть ему удалось схватить меня за руку; и видя, что я принимаю все за шутку, он потянул меня к себе, и не успела я собраться с силами, как он втащил меня в свою комнату и запер дверь на ключ; не знаю, что случилось со мною затем, ибо от страха потеряла я сознание и была словно мертвая.

О прирожденная слабость женщин, сызмалу привыкающих к трусости, слабосильных оттого, что учат их владеть не столько оружием, сколько иголкою да коклюшками! О, если б не пришла я в сознание и из объятий коварного кабальеро попала бы прямо в могилу! Но злая моя участь берегла меня для худших несчастий, если возможны несчастья хуже этого.

Через полчаса или немногим более того сознание вернулось ко мне и я пришла в себя, хотя что я говорю — в себя, я уже не была собою, ибо утратила то, чего мне никогда, никак и никакою ценой не вернуть. Оскорбление это, которое у другой женщины могло бы вызвать слезы и отчаяние, вселило мне в душу смертоносную ярость, дьявольский гнев и, вырвавшись из низких его объятий, я метнулась к шпаге, висевшей в головах его кровати, выхватила ее из ножен и хотела было вонзить ему в грудь; но он увернулся, и чуда тут никакого не было, ибо он горазд был на увертки, и, обняв меня, вырвал у меня из рук шпагу, которую я хотела вонзить в грудь себе самой, раз уж промахнулась и не попала ему в грудь; и я говорила: «Предатель, я отомщу себе самой, раз не смогла отомстить тебе, ибо такую монетой платят за оскорбление женщины, подобные мне».

Боясь, что я покончу с собой, коварный любовник попытался улестить меня и успокоить. Оправдывая свой дерзостный поступок, говорил он, что поступил так, дабы заручиться моею верностью; чередуя ласки с речами то гневными, то льстивыми, дал он мне слово стать моим супругом. Наконец, когда представилось ему, что я поуспокоилась, хоть сама я чувствовала себя так, как, верно, чувствует себя змея под сапогом, он отпустил меня, и я вернулась к себе, заливаясь

такими горькими слезами, что едва могла дышать. Из-за всего случившегося слегла я в постель в тяжком недуге, который, усугубившись из-за моих терзаний и горестей, чуть не свел меня в могилу; и видя меня в этом состоянии, родители мои так печалились, что никто не мог взирать на них без сострадания.

Единственное, чего добился дон Мануэль предоступным своим поступком, было то, что если прежде вызывал он у меня некоторую приязнь, теперь я ненавидела даже тень его; и хотя Клаудия настойчиво старалась вызнать у меня причину моего горя, у нее ничего не вышло, и я так и не захотела выслушать ни слова из того, что дон Мануэль пытался передать мне; а всякий раз, когда ко мне являлась сестра его, приход ее был для меня равнозначен смерти. Словом, жизнь была для меня настолько отравлена ненавистью, что если не рассталась я со своей душой по собственной воле, то лишь потому, что не хотела совсем ее загубить. Клаудия же распознала мое несчастье по чувствам, мною владевшим, а для пущей верности переговорила с доном Мануэлем, от которого и узнала обо всем происшедшем; уговорил он ее успокоить меня и отвлечь от гневных мыслей, обещая, как и мне обещал, что будет моим супругом. По воле небес я выздоровела, ибо ждали меня худшие несчастья; и вот однажды, когда мы с Клаудией остались наедине, ибо матушка моя с остальными прислужницами удалились из дому, повела она такие речи:

— Не дивлюсь я, моя сеньора, что страдания твои так сильны, как ты показывала и показываешь; но не след принимать так близко к сердцу то, что случается с нами по прихоти судеб и с соизволения небес, коим все тайны ведомы, а нам их

знать не дано; ведь от эдаких страданий недолго и жизнь свою сгубить, а с нею и душу. Согласно, великую дерзость учинил дон Мануэль, дерзновенней не измыслить; но ты превзошла его в дерзновенности, а ведь при всем, что случилось, ты хоть и многое поставила на карту, но ничего не проиграла, ибо когда станет он твоим супругом, все будет исправлено. Когда бы ты могла вернуть утраченное с помощью страданий и отчаяния, был бы смысл страдать и отчаиваться; теперь, когда честь твоя в руках и во власти дона Мануэля, нет тебе никакого проку от того, что ты его отвергаешь, ведь по этой причине ты даешь ему повод бросить тебя, обесчещенную, если прискучит ему твое жестокосердие. У твоего оскорбителя немало достоинств, так что он без труда завоюет любую красавицу из своих родных мест. Сама знаешь, лучше прибегнуть к лекарству, пока оно есть, а то потом ищи-свищи; и вот нынче он попросил меня смягчить твое сердце и сказать тебе, как дурно поступаешь ты и с ним, и с самой собою, и передать тебе, что он скорбит о твоём недуге, что ты должна взбодриться и постараться выздороветь; твоя воля — его воля, и он на том стоит и исполнит все, что будет тебе угодно повелеть ему. Подумай же, сеньора, все это тебе во благо; и во благо тебе то, что он начнет переговоры с твоими родителями, дабы стать твоим супругом; и тогда урон, что понесла твоя честь, будет возмещен и исправлен; а все прочее — чистейшее безумие и окончательная твоя погибель.

Я хорошо понимала, что советы Клаудии верны, ибо никаких других средств измыслить не могла; но я так ненавидела дона Мануэля, что много дней не могла сказать ей никаких добрых слов для него; и хотя я уже начала вставать с по-

стели, я более двух месяцев не пускала к себе на глаза предерзостного любовника, отсылала обратно его дары, а любое письмо его, попавшее мне в руки, рвала в клочья. В конце концов дон Мануэль — то ли потому, что все же питал ко мне какую-то склонность, то ли потому, что был уязвлен моей суровостью и хотел в отместку обойтись со мною еще более предательски, — открылся своей сестре и рассказал ей обо всем, что у нас с ним произошло. Донья Эуфрасия подивилась, посетовала и, попеняв брату за то, что поступил он столь грубо и дурно, взялась сделать так, чтобы сменила я гнев на милость.

Одним словом, и донья Эуфрасия, и Клаудия потрудились не зря и вынудили меня сдаться; и так как между влюбленными пережитые горести усиливают чувства, то ненависть, которую питала я к дону Мануэлю, превратилась в любовь, его же любовь превратилась в ненависть, ведь после того как мужчина добьется обладания, чувство его улетучивается, как дым. Целый год прожила я в этих мытарствах, так и не дождавшись, чтобы дон Мануэль заслал сватов к моему отцу и была назначена свадьба; а многочисленные искатели моей руки, которые вступали в переговоры с отцом, цели не достигали, ибо известно было, что я не склонна идти замуж. Мой возлюбленный отвлекал меня обещаниями: мол, едва государь, удовлетворив его прошение, пожалует ему облачение рыцаря ордена святого Иакова, дабы отец мой по всей справедливости мог принять его в сыновья, — и тотчас же исполнятся его и мои желания; и хотя промедления эти причиняли мне великую печаль и даже опасение, как бы не воспоследовало из-за них какой беды, я не торопила дону Мануэля, чтобы не вызывать в нем недобрых чувств.

В те поры отец мой уволил одного прислужника, и на его место поступил некий молодой человек; и был он, как я узнала позже, тем самым бедным кабальеро, на которого я никогда не обращала внимания (да и кто обращает внимание на бедняка?). Он не мог жить вдали от меня, а потому, сменив одежду и имя, превратился в слугу. Когда я увидела его в первый раз, мне почудилось, что это тот самый юноша, который некогда любил меня, но я не придавала этому обстоятельству значения, ибо казалось мне, что подобная вещь невозможна. Луис (таким именем он назвался) вскорости распознал, что нас с донем Мануэлем связывает обоюдная склонность; но, зная твердость моего характера, не допускал и мысли, что склонность эта может выйти за пределы честных и добродетельных желаний, устремленных к супружеству. Не сомневался он, что от меня ему на долю — даже будь он известен как дон Фелипе — может выпасть лишь небрежение, которое всегда сносил он молча; и вот, дабы не лишиться возможности видеть меня, он терзался муками непризнанного и отвергнутого влюбленного, и единственною наградой было ему то, что он может видеть меня и говорить со мною в любое время.

Так прожила я несколько месяцев, ибо хотя любовь дона Мануэля не была истинной, он в величайшей степени владел искусством притворяться, а потому я полагала, что могу быть довольна и пользуюсь взаимностью; о, когда бы продлилось мое самообольщение! Но ложь, даже если долгое время удастся ей выдавать себя за правду, не может в конце концов не раскрыться.

Помню, как-то под вечер сидели мы на помосте в покоях его сестры, перешучиваясь и перекидываясь острыми и забавными словечками, как бывало

и прежде, и тут его позвали; вставая с подушки, он уронил мне на подол кинжал, который отстегнул, потому что тот помешал ему, когда он садился на такое низкое сиденье; и по этому поводу я сложила следующий сонет:

Спрячь эту сталь разящую, ведь с нею
Сыщу я выход в доле, мне сужденной;
Салисьо, знай: смогу я стать Дидоной,
Коль сам ты уподобишься Энею.

Я гневом и обидой пламенею:
Снискав взаимность, охладел влюбленный.
Чем жить покинутой и оскорбленной,
Я в грудь себе вонзить клинок сумею.

Встречая твой суровый взгляд, я плачу —
Страшусь принять элисины страданья;
Беды твоя да не допустит воля.

Коль хочешь ты того, я жизнь утрачу.
Возьми клинок, верни мне упования:
Вся честь — тебе, а мне благая доля.

Донья Эуфрасия и ее братец похвалили не столько сам сонет, сколько то, как быстро я его сочинила; хотя дон Мануэль хвалил вяло, ибо, казалось, склонность его ко мне весьма ослабела. Мою же склонность к нему омрачал страх, ибо я опасалась родительского гнева; и когда оставалась я в одиночестве, глаза мои изливали сии опасения в горьких слезах, и я сетовала на неблагодарность возлюбленного и слала к небесам пени на свое злосчастье. Но когда, видя мое печальное лицо и следы слез, свидетельствовавшие о том, что я подвергала глаза свои каре, которой они не заслуживали, ибо не были повинны в моей трагедии, дон Мануэль вопрошал меня, в чем причина моей грусти, я, дабы не нанести урона своему достоинству, в беседах с ним отрицала чув-

ства, о которых свидетельствовали мои глаза и которые были так сильны, что мне стоило труда скрывать их.

Случись бы так: влюбилась, призналась, сдаюсь — что ж, дорогу горестям, пусть обгоняют друг дружку. Но стать жертвою стольких несчастий из-за насилия — подобное произошло со мною одной! О прекрасные и рассудительные дамы, судите же, какое разочарование я познала! О мужчины, полюбуйтесь, какое оскорбление нанес мне один из вас, обманщиков! Кто бы мог подумать, что дон Мануэль сыграет подобную шутку с такой женщиной, как я: ведь хоть и был он богат и знатен, мои родители не взяли бы его к нам в дом и оруженосцем, и это до сих пор мучит меня сильнее всего: я не сомневалась, что он меня не заслуживает, — и знала, что он мною пренебрегает.

Было же все дело в том, что уже более десяти лет дон Мануэль ухаживал за одною сарагосской дамою, каковая не была ни самой красивой, ни самой добродетельной и хотя состояла в замужестве, не пренебрегала никакими поклонниками: муж ее был нрава покладистого, ибо кормился не от своих трудов и, когда требовалось, уходил из дому; и такое поведение для мужчины настолько предосудительно, что низких мерзавцев, живущих подобным ремеслом, и мужчинами не назовешь, это сущие скоты. Когда эта самая Алехандра — так ее звали — всецело предалась дружбе с доном Мануэлем, по воле неба, то ли ей в наказание, то ли мне на погибель, занемогла она опасной болезнью и, почувствовав близость смерти, дала богу обет прекратить столь недозволенную связь; и, обретя желанное здравие, она полтора года блюла сие богоугодное обещание. Вот как раз

в эту-то пору дон Мануэль и успел меня погубить, будучи отлучен от ложа Алехандры; хотя, как я позже дозналась, он навещал ее из учтивости и подносил ей дары в знак признательности за прежние милости. Будь они прокляты, эти знаки учтивости, которые так дорого обходятся многим женщинам!

Поглощенный ухаживаньем за мною, он перестал бывать у Алехандры, ибо знал, что от нее ему проку мало; а эта женщина, заметив, что неблагодарный мой властелин перестал показываться у нее в доме вопреки своему обыкновению, догадалась, что причиной тому какое-то новое увлечение, и, начав доискиваться, вызнала — то ли через подкупленных прислужниц из дома дона Мануэля, то ли нашептало ей мое злосчастье, — что дон Мануэль собирается на мне жениться: напели ей тут и про мою красоту, и про его преданность, и про то, что он неизменно чтит меня, поклоняясь мне, словно божеству, ведь люди в рассказах не знают удержу, особливо же если эти рассказы кому-то во вред.

В конце концов Алехандру обуяла такая ревность и такая зависть к моему счастью, что она пренебрегла данным Господу обетом, дабы усугубить мои горести; и уж коль скоро она нанесла подобное оскорбление Господу, с какой стати было ей щадить меня? Она обладала нравом дерзким и решительным и, не долго думая, решилась первым делом повидаться со мною. Но не будем об этом, не то я никогда не доскажу до конца историю своего разочарования, а мука, которую испытываю я, повествуя о нем, настолько сильна, что не дает мне медлить, смакуя воспоминания. Итак, приласкала она дона Мануэля, добилась, что вернулся он к прежней дружбе, достигла своей цели и стала

снова жить во грехе, и думать забыв про то, что обещала Господу.

Вам, наверное, покажется, сеньоры, что я упиваюсь, повторяя столь часто имя этого неблагодарного; но это не так: для меня оно — яд, и хотела бы я, чтобы яд этот, не покидающий моих уст, в конце концов лишил меня жизни. Итак, он, как прежде, стал находить восторги и забвение в обманчивых чарах сей Цирцеи¹, и поскольку разлука распаляет желанья в любящих, он навевался к ней с неукоснительностью, равной небрежению, которое выказывал тем самым по отношению ко мне. И выказывал столь явно, что ни в тягостные летние дни, ни в скучные зимние ночи не находилось у него для меня ни часа, и тогда начала я испытывать все печали, выпадающие на долю беспомощной и покинутой женщины; ибо если и уделял он мне мгновение, поддавшись моим сетованиям и жалобам, то был со мною так холоден и равнодушен, что холод этот остужал ярое пламя моего сердечного влечения — не настолько, чтобы изгнать его у меня из сердца, но настолько, чтобы омрачить мое чувство, как оно того и заслуживало. В конце концов начала я испытывать страх, страх порождает ревность, а ревность побуждает нас искать себе злополучий и находить оные.

Нет для любящего сердца худшей погибели, чем внезапно споткнуться о чувство ревности, и воистину после такого падения уже не подняться, ибо если ревность безмолвна и не вопиет об оскорблениях, то оскорбители, полагая, что об оскорблениях не ведают, не боятся наносить их; а если

¹ Цирцея (Кирка) — волшебница с острова Эя, превратившая спутников Одиссея в свиней, а его самого год удерживавшая на своем острове.

ревность подает голос, то они теряют всякое уважение к тем, кого оскорбляют. Так случилось и со мною: я не могла мириться с ветреностью дона Мануэля, стала досадовать на него, выговаривать ему, затем начались ссоры, так что он объявил меня неуживчивой и злонравной, и вскоре поняла я, что ему ненавистна. Мне приходит на память один сонет, который сочинила я как-то раз, когда страсть ревности особенно меня мучила; и хоть, возможно, сонет покажется вам скучен, я его прочту:

Счастливица, не думай, что всегда
Любимой будешь, избранной, всевластной:
Придет пора, исчезнет сон прекрасный,
На смену счастью придет беда.

И я была любима и горда —
Так погляди, как ныне я несчастна:
Тот, кто к любви склонял меня так страстно,
С тобой — огонь, со мной — холоднее льда.

Счастливица, одно мне утешенье:
Тот, кто со мной неблагодарным был,
Тебе готовит эти же лишения.

Не радуйся, что он ко мне остыл:
Заплатишь ты за все мои мученья,
И ревности моей опасен пыл.

Дон Мануэль принимал эти излияния так, словно они уже утратили для него всякую цену, а подозрения мои норовил развеять гневными речами, утверждая, что подозрения эти ложны. Оба мы вели себя изо дня в день все опрометчивее, и в конце концов пошли между нами такие раздоры и распри, что отношения наши стали более похожи на смертельную вражду, чем на любовь. Тогда решила я вызнать всю правду, чтобы не смог он отпереться, и вот, словно можно было

найти выход в столь очевидной беде, велела я Клаудии неотступно следить за ним и тем окончательно все сгубила.

Как-то под вечер заметила я, что дон Мануэль чем-то обеспокоен; ни мои мольбы и слезы, ни просьбы сестры не помешали ему выйти из дому, и тогда я приказала Клаудии поглядеть, куда он направился. Клаудия пошла следом за ним и заметила, что он вошел в дом Алехандры; она стала ждать, что будет дальше, и увидела, что Алехандра с товарками и дон Мануэль сели в экипаж и поехали в один сад. Верная Клаудия не могла смириться с подобным беспутством, столь для меня оскорбительным; она последовала за ними, и когда все вошли в сад, открыто перед ними предстала и сказала дону Мануэлю то, что по справедливости следовало сказать. Сказано было хорошо, когда бы выслушано было так же, ибо дон Мануэль, раздосадованный тем, что его застигли с поличным, напустился на Клаудию и разбил ее и обращался он с нею так, словно был не моим возлюбленным, а ее господином. Предерзостная же Алехандра, зная, что она-то в фаворе, такую дала себе волю, что нанесла Клаудии обиды и словесно, и действием, и оказалось тут, что знает она, и кто я такая, и как меня зовут, и даже все, что произошло, и вперемешку с бранью грозилась, что об всем сообщит моему отцу. И хотя этого она не сделала, но совершила поступки не менее — а то и более — дерзкие: в любое время навевалась в дом к дону Мануэлю, причем вела себя до крайности вызывающе, а в речах позволяла себе всяческие вольности, так что Клаудия не раз подвергалась по ее милости многим опасностям.

Короче, дабы не утомлять вас, скажу все до конца. Не страшилась эта женщина ни Бога, ни

собственного мужа, и дошла до того ее предрезность, что пыталась она своими руками лишить меня жизни. Во всех предрезостных поступках Александры дон Мануэль винил не ее, а меня и был прав, ибо я заслуживала еще худших страданий и опасностей: ревность моя была так безудержна, что не замечала я никаких препон и преград и летела навстречу гибели очертя голову и забыв про страх. Я только и делала, что скорбела, и лила слезы, и пеняла дону Мануэлю; то выказывала к нему нежность, то неприязнь, ибо решила порвать с ним и больше с ним не знать, хотя и понимала, что в этом случае погибла безнадежно; а то упрашивала я его поговорить с моими родителями, чтобы я стала его женой и кончились мои мытарства; но поскольку он этого уже не хотел, то все горести и страхи приходились на долю доньи Эуфрасии, ибо она вынуждена была делить со своим братом все опасности; и сколько ни искала она выхода, найти не могла. По поводу всех этих злополучий сложила я десимы, каковые хочу вам прочесть, ибо в них мои чувства изображены лучше и краски подобраны тоньше; вот как они звучат:

Уже сдалась печали я,
Покою сердце восхотело,
И только рвется вон из тела
Душа усталая моя:
Навек охотно б отлетела.
И жизнь уже — как огонек
Над грустным фитилем огарка:
Хоть миг кончины недалек,
Он в страхе смерти вспыхнет жарко,
Чтоб оттянуть желанный срок.

Клянусь я свой удел земной
И горько плачу дни и ночи.
Карая собственные очи,

Как будто лишь они виной
Печали, что владеет мной.
Сокрылось вдруг, исчезло с глаз
Все то, чем сердце дорожило,
О, где вы, радости, сейчас?
Увы, утратила я вас
За то, что вас не заслужила.

Меня звал солнцем тот, кто был
Мне небом, тот, кто стал мне ныне
Погибелью, кто прежний пыл
В жестокий хлад преобразил,
Меня ж — в луну, что меркнет в стыни,
Идя на убыль непрестанно
Среди печалей и невзгод.
Но все ж любовь моя живет,
Она верна и постоянна,
Она на убыль не пойдет.

В те поры государь назначил вице-королем Сицилии сеньора верховного адмирала, и дон Мануэль, который не знал, как выпутаться из нашего с Алехандрой соперничества и, что самое правдоподобное, не очень-то хотел на мне жениться и притом понимал, что ему отовсюду грозят опасности, без ведома сестры и матери выхлопотал через адмиральского мажордома, ближайшего своего друга, место свитского дворянина при адмирале. Все это он держал в тайне от всех и рассказал об этом одному только слуге, который состоял при нем и должен был сопровождать его, когда сеньор адмирал двинется в путь. За два-три дня до отъезда дон Мануэль распорядился приготовить ему в дорогу одежду, а всех нас уведомил, что собирается на неделю или чуть подольше съездить в одно свое имение; за то время, что я его знала, он уже не раз проделывал это путешествие.

Наступил день отъезда, и, простившись со всеми домашними, пришел он попроситься со мною, а я, не ведая об обмане, хоть и опечалилась,

но не до такой крайности, как если бы узнала правду; и в тот раз я увидала у него в глазах больше нежности, чем раньше, а когда он меня обнял, он слова не смог вымолвить, и глаза его увлажнились, так что после его ухода напали на меня и растерянность, и нежность, и подозрения; и все же в конце концов пришло мне на ум, что любовь содеяла какое-то чудо и с ним, и со мною. Так и провела я этот день: все время плакала — то на радостях, при мысли, что он меня любит, то от печали, при мысли, что он в отлучке.

И вот, когда совсем стемнело, а я сидела у себя, опершись щекой на руку, в ожидании матушки, ушедшей в гости, и было у меня на душе беспокойно и грустно, вошел ко мне Луис, что служил у нас в доме, а вернее сказать, дон Фелипе, тот бедный кабальеро, на которого именно из-за бедности его я смотрела некогда столь неблагосклонно — и у нас, в Мурсии, и здесь, в Сарагосе, — что и лица его толком не запомнила; а он служил мне лишь ради служения. И когда увидел он, как я сижу, промолвил:

— Ах, моя сеньора! Знай ты, подобно мне, какое содеялось несчастье, твоя печаль и растерянность превратились бы в смертную муку!

Услышав такие слова, я испугалась, но промолчала, чтобы он смог без помехи разъяснить смутные эти слова, а он продолжал:

— Сеньора, незачем более таиться предо мною, ибо уже много дней подзревал я истину, но теперь другое дело, теперь я знаю все доподлинно.

— Ты повредился в уме, Луис? — сказала я.

— Нет, я не повредился в уме, — отвечал он, — хоть и мог бы, ибо любви, которую питаю я к тебе, моя сеньора, довольно, чтобы лишился я рассудка, а то и жизни, узнав то, что узнал сегодня.

И поскольку нечестно скрывать это долее от тебя, знай, что изменник дон Мануэль отправляется в Сицилию вместе с адмиралом, ибо состоит у него в свите. И я не только узнал от слуги его, что он совершил этот нечестный поступок, дабы уклониться от исполнения обязательств, которыми связан с тобою, я собственными глазами видел, как отбыл он нынче после обеда. Подумай же, на что ты решишься при сих обстоятельствах; я же клянусь честью человека моего з в а н и я , — а мое звание выше, чем ты полагаешь, с е н ь о р а , — что поступлю по твоей воле, как только узнаю, какова она, и сдержу обещание даже ценою собственной жизни, либо мы с ним погибнем оба.

Я постаралась не выказать скорби и спросила:

— Но кто же ты такой, что хватило бы у тебя мужества поступить так, как ты говоришь, если все это правда?

— Уволь покуда от объяснений, — отвечал Луис , — когда дело свершится, ты все узнаешь.

Все это подтвердило мое подозрение (возникшее, как сказала я, с самого начала), что передо мною дон Фелипе, о чем я догадывалась уже по его внешности. Я хотела было ответить ему, но тут вошла матушка, и беседа наша закончилась.

Поговорив со мной, матушка вышла, а я, задыхаясь от слез, устремилась к себе в опочивальню, упала на постель, и незачем рассказывать, как я сетовала, как плакала, как меняла решения, то собираясь лишиться жизни себя, то собираясь лишиться жизни того, кто лишал меня оной, и под конец приняла я самое худшее из решений, о котором вы сейчас услышите: предыдущие все же делали мне честь, то же, на котором я остановила выбор, окончательно погубило меня. Встала я с постели куда проворнее, чем предвещало мое горе;

взяла свои драгоценности, матушкины и много денег серебром и золотом, ибо все это было доверено мне, и стала дожидаться, когда отец мой придет к ужину. Когда пришел он, меня позвали к столу, но я отвечала, что мне нездоровится, и я попозже подкреплюсь водою с вареньем. Сели они за стол, и сочла я, что наступил подходящий миг, дабы осуществить мое безумное решение, ибо слуги и служанки были все при деле, хлопотали вокруг стола, а прожди я дольше, мне не удалось бы выполнить задуманное, поскольку Луис обычно запирает входные двери, а ключи хранил при себе. И вот, не сказавшись никому, даже Клаудии, хоть была она моей поверенной, я вышла из своей опочивальни в коридор, а оттуда — на улицу.

Неподалеку от дома, где я жила, проживал тот самый слуга, которого отец мой уволил и на его место взял Луиса; я знала, где он живет, поскольку оказывала ему помощь: он был уже стар, и я его жалела и даже навещала, когда выходила из дому без матушки. Отправилась я к нему, и добрый старик принял меня с великим состраданием к моему горю, о коем он уже имел некоторое понятие, ибо в свое время я обещала ему, что после свадьбы возьму его на службу к себе в дом. Октавио — так звался старик — порицал мое решение, но сделанного не воротишь, а потому пришлось ему молчать и повиноваться; вдобавок он узнал, что я при деньгах, коими я с ним поделилась.

У него в доме провела я ту ночь, терзаясь печалью и опасениями, наутро же велела ему пойти к нам и, сделав вид, что он ничего не знает, отыскать Клаудию и сказать, что он пришел ко мне, как хаживал и раньше, а сам чтобы поглядел, что происходит и не ищут ли меня. Отправился Октавио и нашел он там... Что нашел? Доверше-

ние моего несчастья. Когда я вспоминаю об этом, не знаю, как только сердце у меня не разрывается. Пришел Октавио в мой несчастный дом и увидел, что возле дома собрались чуть ли не все горожане: одни входили, другие выходили, и он тоже вошел вместе с прочими, стал разыскивать Клаудию и наконец нашел ее, грустную и заплаканную. Она рассказала, что, отужинав, матушка пришла ко мне в опочивальню, чтобы узнать, какой недуг на меня напал, и, не найдя меня, стала спрашивать слуг, где я. Все отвечали, что, когда ушли прислуживать за столом, я лежала в постели; стали искать меня по всему дому и поблизости, и тут обнаружилось, что ключи от всех ларцов лежат у меня на кровати, а дверь, которая ведет в коридор и всегда была заперта, распахнута настежь. Заглянули в ларцы — и недосчитались денег и драгоценностей; тут сообразили, что это неспроста, и матушка моя подняла крик; услышал ее мой отец и поспешил к ней; и так как был он уже в преклонных годах, от ужаса и горя рухнул навзничь, лишившись чувств; и то ли из-за падения, то ли обморок был настолько глубок, но он так и не пришел в себя. Всему тому было причиною мое безрассудство. Еще Клаудия сказала Октавио, что лекари распорядились не предавать тело земле, пока не истечет установленный законом срок, но в смерти сомневаться невозможно и уже делаются приготовления к похоронам. Еще сказала она, что матушка моя тоже чуть ли не при смерти, и среди всех этих бед про мою беду если и вспоминали, то лишь затем, чтобы осудить мое безрассудство; матушка узнала обо всем, что было у меня с доном Мануэлем, ибо как только я исчезла с глаз долой, слуги доложили ей обо всем, что знали, и она не захотела искать меня, сказав, что,

коль скоро выбрала я супруга по собственному вкусу, желает она, чтобы Господь послал мне с ним больше счастья, чем принесла я своему семейству.

Воротился Октавио с этими вестями, которые весьма огорчили меня и опечалили, особливо же когда сказал он, что по всему городу толкуют только о моей истории. Разбушевались мои страсти, и я чуть было не лишилась жизни; но поскольку небо еще недостаточно покарало меня за то, что принесла я своим столько несчастий, угодно ему было сохранить мне жизнь, дабы испытала я все те, которые мне были уготованы. Я немного приободрилась, узнав, что меня не разыскивают; зашила я все свои драгоценности и дублионы в одежду, чтобы провезти их с собою незаметно, и, собравшись должным образом в дорогу, дней через шесть мы с Октавио покинули Сарагосу и направились в Аликанте, откуда мой неблагодарный возлюбленный должен был отплыть в Сицилию.

Добрались мы до цели и, убедившись, что галеры еще не прибыли, остановились на постоялом дворе и стали обдумывать, как бы устроить так, чтобы я попала на глаза дону Мануэлю. Октавио каждодневно навещался в дом, где остановился сеньор адмирал; он видел, случалось, моего предателя-супруга (если я могу так его назвать) и по возвращении рассказывал мне, что там происходит. И вот как-то раз он среди прочего рассказал мне, что мажордом подыскивает себе рабыню, и хоть к нему уже приводили нескольких, ни одна ему не понравилась. Услышав это, решилась я на хитрость, а вернее, на безумие почище всех тех, которые уже совершила, и сделала как задумала: я приладила к щекам поддельные клейма, свидетельствовавшие, что я рабыня, облеклась

в мавританские одежды, назвалась Селимою и велела Октавио отвести меня к мажордому, выдать за рабыню и, если я придусь по нраву, продать за любую цену.

Октавио весьма огорчился моему решению и пролил из-за меня немало слез, но я утешила его, сказав, что затеяла весь этот маскарад лишь для того, чтобы привести в исполнение мой замысел и добиться, чтобы дон Мануэль поступил по моей воле; а когда, сам того не ведая, неблагодарный будет все время у меня на глазах, мне откроются его намерения. Октавио утешился, услышав мои доводы, а еще больше — услышав от меня обещание отдать ему деньги, которые он за меня выручит; вести о моей матушке я попросила посылать мне в Сицилию.

В конце концов все устроилось настолько к моему удовольствию, что не прошло и недели, как я была продана за сотню дукатов и стала рабыней — не хозяев, что купили меня и отдали за меня названную сумму, но моего неблагодарного и коварного возлюбленного, ради которого обрекла я себя на столь низкую долю. Я ублажила Октавио деньгами, отданными за меня, да прибавила еще кое-что из своего достояния, и он так расчувствовался при прощании со мною, что, не желая видеть горьких его слез, я безмолвно отошла от него. И стала я служить моим новым господам; сама не знаю, грустила или радовалась я на первых порах, но они явили себя людьми хорошими, и в этом смысле оказалась я удачливее, чем была прежде; к тому же я сумела снискать приязнь их и благоволение и в скором времени уже властвовала у них и в доме, и в душах.

Сеньора моя была молода и доброго нрава, и с нею, а также с двумя прислужницами, со-

стоявшими при доме, я была в таких добрых отношениях, словно каждой из них доводилась дочерью, а всем вместе — сестрой; особливо же сдружилась я с одной из прислужниц по имени Леониса, она так меня любила, что делили мы и стол, и постель. Леониса все уговаривала меня принять христианство, а я, чтобы угодить ей, отвечала, что дожидаюсь лишь подходящего случая, а желаю этого еще пуще, чем она сама.

Дон Мануэль увидел меня в первый раз, когда пришел на обед к моим хозяевам; и хоть обедал он у них часто, ибо был с ними в дружбе, мне не выпадало случая его увидеть, ибо я не выходила из кухни до того дня, о котором речь; а в тот день я принесла из кухни одно блюдо. Устремил на меня коварный взгляды и признал меня, но замутили ему зрение клейма рабыни у меня на лице: они были подделаны с таким совершенством, что никому и в голову не пришло бы, что это подделка. Одолели его сомнения, да такие, что он куска до рта не мог донести, все думал, кто же перед ним, ибо, с одной стороны, он понимал, что это я, а с другой — не мог поверить, чтобы я пошла на подобное преступление: он ведь не знал, какие несчастья произошли по его вине в моем злополучном доме.

У меня же не меньшее удивление вызвала одна новость, которую узнала я вот каким образом: заметив, что дон Мануэль пристально ко мне приглядывается, я отвела глаза, чтобы не вывести его из заблуждения слишком рано, и устремила их на слуг, хлопотавших вокруг стола. Слуг было трое, и среди них увидела я Луиса, того самого, что служил у нас в доме; и еще я увидела, что Луис дивится не меньше, чем дон Мануэль, тому, что на мне такое одеяние; но у него в памяти запечатле-

лась я лучше, чем в памяти у дона Мануэля, а потому он узнал меня сразу, несмотря на поддельные клейма.

Когда повернулась я, чтобы уйти в кухню, я услышала, что дон Мануэль спросил у моих хозяев, не это ли рабыня, что они купили.

— Да, — отвечала моя госпожа, — и она так хороша собой и добронравна, что я безутешно горюю при мысли, что она мусульманка, и дала бы вдвое больше, чем за нее заплатила, лишь бы приняла она христианство; и когда вижу я на столь красивом лице клейма рабыни, я еле сдерживаю слезы и осыпаю проклятиями того, кто мог содейть подобное.

На это отвечала Леониса, бывшая тут же:

— Она говорит, что сама наложила себе на лицо клейма в знак скорби, ибо из-за своей красоты стала жертвою обмана; и она уже обещала мне принять христианство.

— Да уж, если бы не клейма, поверил бы я, что это одна красавица, которую знавал я на родине, — промолвил дон Мануэль. — Но, может статься, природа сотворила эту мавританку по тому же самому образцу.

Я, как уже говорила вам, была озадачена тем, что увидела Луиса, и, вернувшись в помещение для слуг, подозвала одного из мажордомовых домочадцев и спросила, что это за мальи́й прислуживает за столом вместе с прочими.

— Это, — отвечал он, — новый слуга сеньора дона Мануэля, сегодня только нанят, потому что прежний его слуга убил человека и скрывается.

— Мне он знаком, — сказала я, — по дому, где я пробыла какое-то время, и, само собой, я не прочь поговорить с ним: мне в радость встречать людей из тех мест, где я росла.

— Он потом придет сюда обедать, и ты сможешь поговорить с ним, — сказал тот.

Кончился обед, вернулись все слуги, и Луис вместе с ними; сели они за стол, и, по правде сказать, я при всех своих горестях не могла удержаться от смеха, видя, что Луис чем больше глядит на меня, тем больше дивится, особенно же тому, что именуют меня Селимой; и не потому, что не узнал меня, а потому, что убедился, до какого низкого положения довела меня любовь. Так вот, когда слуги отобедали, я отозвала Луиса в сторону и сказала:

— Что за счастливая случайность привела тебя, Луис, туда, где оказалась я?

— Та же самая, что привела сюда тебя, моя сеньора: великая и безответная любовь, а еще желание найти тебя и отомстить за тебя, как только представится случай и возможность.

— Не подавай виду и называй меня Селимой и не иначе, это важно для моих замыслов, сейчас не время мстить, хотя мне-то самой любовь мстит вседневно. Я тут сказала, что ты служил в том доме, где я росла, потому и знаю тебя. И своему хозяину не говори, что знаешь меня и говорил со мною, тебе я доверяю больше, чем ему.

— И у тебя есть на то все основания, — отвечал Луис, — когда бы он любил и почитал тебя, как я, не дошла бы ты до такой крайности и не была бы причиною стольких несчастий.

— Думаю, ты прав, — отвечала я, — но скажи, как ты сюда попал.

— В поисках тебя и в решимости лишиться жизни того, кто вынудил тебя пойти на такое; с этим намерением я и поступил сюда ради служения тебе.

— О мести и не помышляй, это навек погубило бы меня: хоть дон Мануэль — двоедушный изменник, моя жизнь — в его жизни; не говорю уж о том, что хочу вернуть себе доброе имя, которое он погубил. Его смерть повлечет за собою лишь одно — мою собственную смерть: ведь соверши ты задуманное, я тотчас покончила бы с собою (это я ему сказала, чтобы он не привел свое намерение в исполнение). А что ты скажешь о моей матушке, Луис?

— Что мне сказать? — отвечал он. — Лишь то, что, видно, она тверже алмаза, раз скорби еще не свели ее в могилу. Когда я уезжал из Сарагосы, она готовилась возвращаться в Мурсию; она везет с собою тело твоего отца и моего господина, дабы ни на миг не забывать о своих горестях.

— А что там толкуют о моей беде? — сказала я.

— Говорят, что тебя увез дон Мануэль, — отвечал Луис, — потому что Клаудия рассказала все, как было; и это немного утешило твою мать, ибо она полагает, что ты уехала с мужем, а потому жалеть тебя нечего, другое дело она, везущая домой бездыханного супруга. Меня же твое исчезновение опечалило более, чем кого бы то ни было, к тому же я-то знал, что дон Мануэль не увез тебя, а, напротив, пытался бежать от тебя; поэтому я не захотел поехать с твоей матерью и вот прибыл сюда, где ты меня видишь, и с тем намерением, в котором тебе открылся. Я повременю с исполнением, покуда не увижу, что он поступает так, как должен поступать кабальеро; если же он так не поступит, уж ты прости меня, но я, пусть и тебе на погибель, отомщу ему за оскорбление, которое нанес он и тебе, и мне; и поверь, я почитаю себя

великим счастливецем, что разыскал тебя и за-служил, чтобы ты открыла мне свою тайну раньше, чем ему.

— Признательна тебе за это,— отвечала я, — но чтобы столь долгая наша беседа не вызвала кривотолков, ступай себе с Богом, а нам еще представится случай свидеться. И если тебе что-нибудь понадобится, скажи мне, ибо Фортуна еще не все у меня отняла и есть у меня чем поделиться с тобою, хоть это и малость в сравнении с тем, чего ты заслуживаешь и чем я тебе обязана.

С этими словами вручила я ему золотой дублон и простилась с ним; и, сказать правду, никогда не был Луис мне так приятен, как в этом случае: во-первых, потому, что теперь мне было все-таки на кого опереться; а во-вторых, потому, что питал он такие честные и отважные намерения.

Галеры задержались с прибытием в порт на несколько дней, и в один из этих дней, когда госпожа моя с прислужницами отлучилась и в доме была лишь я одна, дон Мануэль, желая, как видно, проверить свои подозрения, явился к моему господину, а вернее сказать, ко мне и, войдя, при виде меня молвил с величайшей сухостью:

— Что означает сей маскарад, донья Исабель? Как могла дойти до подобного унижения женщина твоего ранга, да еще желавшая и помышлявшая стать моею? При таком положении вещей, если прежде и питал я в какой-то степени намерение сделать тебя своей супругою, то ныне утратил его начисто, поскольку и в моих глазах, и в глазах всех, кто узнал бы о случившемся, ты запятнала свое имя!

— Ах, лживый предатель и моя погибель! Как у тебя язык поворачивается произносить мое имя, когда ты и есть причина унижения, которым меня

попрекаешь? Ведь довели меня до такого унижения твои измены и злые дела! И не только в этом ты повинен, но и в смерти моего отца, человека чести, ибо умер он от горя из-за того, что меня утратил, и лишь поэтому за свои предательства поплатишься ты от рук Провидения, а не от его рук! Я не донья Исабель, я Селима. Не госпожа я — рабыня. Мавританка я, раз приютила в сердце тебя, а ты мавр-вероотступник, ибо тот, кто дал перед лицом Господа слово, что станет мне мужем, а потом от своего слова отступился, — не христианин и не дворянин, он — низкий и подлый кабальеро! Эти клейма и клеймо оскорбления — ты напечатлел их не только на лице моем, но и на добром имени. Поступай, как тебе угодно, ибо если ты не хочешь больше сделать меня супругой, то на небе есть Бог, а на земле король, а коли они мне не помогут, то есть на свете кинжалы, у меня же есть руки и решимость, дабы лишить тебя жизни. Пусть научатся на моем примере и благородные женщины карать лживых и неблагодарных мужчин, и убирайся с глаз моих, если не хочешь, чтобы я привела свое намерение в исполнение.

Видя, что я в таком гневе и ожесточении, дон Мануэль — то ли для того, чтобы не совершила я какого-нибудь отчаянного деяния, то ли потому, что ему мало было оскорблений и обманов, которые он учинил, и собирался он добавить к ним новые, — начал укрощать меня ласками и лестью, которые я долго не хотела принимать; и обещал он, что все исправит. Я очень любила его и поверила ему (простите, что позволю себе сознаться в этом, и поверьте, что двигало мною стремление восстановить свою честь, а вовсе не порыв ветрености). Наконец, когда мы с ним помирились и я рассказала обо всем, что приключилось со

мною, он сказал, что поскольку уж сложилось такое положение вещей, то пусть так оно и длится, пока мы не приедем в Сицилию, а там он найдет средство привести все к счастливому завершению согласно своим и моим желаниям, и на этом мы расстались. Я была довольна, хоть и не очень верила в то, что он меня не обманет; но для первого раза провела я переговоры не так уж плохо.

Прибыли галеры, и отплыли мы на них к великому моему удовольствию, ибо дон Мануэль плыл на той же галере, что мои господа, и я могла видеться и говорить с ним в любое время, что весьма огорчало Луиса, который, замечая, что дела мои идут на лад, пребывал в крайнем унынии, и это подтверждало мое предположение, что на самом деле он — дон Фелипе; но я не показала виду, что догадываюсь, дабы он не набрался чрезмерной смелости.

Прибыли мы в Сицилию и поселились все во дворце. Несколько месяцев ушло на знакомство с этими краями, и в конце концов они нам полюбились; но когда я решила, что дон Мануэль готов освободить меня от неволи и исполнить свое обещание, он снова стал держаться со мною так холодно и оскорбительно, что я жить не могла: он и смотреть на меня не хотел, снова стал предаваться игре и шашням с другими женщинами, и явно было, что он меня не любит. Муки мои и терзания до того усугубились, что ни днем ни ночью не осушала я глаз, и не было никакой возможности скрыть это от Леонисы, той прислужницы, которая так подружилась со мною; и когда она под секретом узнала, кто я и какие трагедии со мною приключились, пришла она в величайшее смятение.

Госпожа моя так меня любила, что, какой бы милости я у нее ни испрашивала, она любую мне

оказывала; и вот, чтобы получить возможность без помех переговорить с доном Мануэлем и высказать ему все, что наболело, попросила я у нее как-то разрешения отпустить нас с Леонисой на прогулку по морю. Она разрешила, и я попросила Луиса передать его хозяину, что некие дамы приглашают его совершить вместе с ними прогулку по морю; но велела не говорить, что там буду я, ибо боялась, что в таком случае дон Мануэль не явится. Отправились мы с Леонисой на берег и договорились с лодочниками, что те перевезут нас на один прибрежный островок, лежавший в трех-четыре милих от берега и с виду весьма уютный и приветный. Тут пришли Луис и дон Мануэль: узнав нас с Леонисой, дон Мануэль скрыл досаду и объявил, что шутка превосходна.

Сели мы вчетвером в лодку, а с нами два лодочника-гребца. Мы четверо вышли на сушу, а лодочники обещали вернуться за нами в назначенный час (и тут им повезло куда больше, чем нам).

Расположились мы под сенью деревьев и повели разговор о том, из-за чего затеяла я эту прогулку: я сетовала, а дон Мануэль, как всегда, отбивался лживыми и обманными отговорками. Между тем у противоположного берега островка, где была заводь или, вернее, бухточка, стал на якорь галиот, принадлежавший алжирским корсарам. Завидев нас издали, арраэс и прочие мавры подкрались сзади и захватили нас врасплох, так что дон Мануэль и Луис не успели занять оборонительную позицию, а мы с Леонисой — бежать. И вот взяли нас в плен, препроводили на галиот и тут же вывели его в открытое море. Не удовольствовалась Фортуна тем, что сделала меня рабыней моего возлюбленного, и отдала она меня в неволю

маврам; но дон Мануэль был со мною, а потому неволя казалась мне не так тяжела.

Когда лодочники увидели, что с нами произошло, пустились они в обратный путь, гребя, как говорится, что есть мочи и увозя с собою весть о нашем заключении.

Мавританские корсары наострились вести дела и переговоры с христианами, а потому кое-как объясняются на нашем языке; и вот арраэс, заметив мои клейма, спросил, кто я такая. Я отвечала, что я мавританка и зовусь Селимою, что христиане взяли меня в плен шесть лет назад, а родом я из Феса; что этот кабальеро — сын моего господина, а второй — его слуга, девица же — прислужница из того же дома. Я попросила его хорошо с ним обращаться и назначить выкуп, ибо родители кабальеро, как только проведают о случившемся, сразу же вышлют требуемое, а сказала я так, памятуя о деньгах и драгоценностях, которые были при мне. Все это я проговорила громко, дабы остальные трое слышали и не уличили ненароком меня во лжи.

Арраэс очень обрадовался и выгодной добыче, и тому, что, по его мнению, весьма угодил своему Магомету, вызволив меня, мавританку, из христианского плена; он дал это понять тем, что мне оказывал всяческие милости, а с остальными хорошо обращался.

Так прибыли мы в Алжир, где он передал нас одной из своих дочерей. Она была очень молода и прекрасна собою, а звалась Заидою. И я, и дон Мануэль очень приглянулись ей по душе: я — потому, что она считала меня мавританкою, а дон Мануэль — потому, что она в него влюбилась. Она сразу же поднесла мне богатые одежды, которые вы на мне видите, и распорядилась, чтобы искус-

ники, обученные этому, вывели мои клейма: не потому, что у них клейма не в ходу, они даже почитают их своего рода украшением, но потому, что клейма были те, коими метят мавров-невольников христиане; однако ж я тому воспротивилась, сказав, что клейма эти поставлены по собственной моей воле, и я не хочу их сводить.

Заида привязалась ко мне самым нежным образом — то ли из-за моей приветливости, то ли в надежде, что я смогу быть посредницей между нею и моим господином, дабы он ее полюбил. Как бы то ни было, я хозяйничала у нее в доме, словно в своем собственном, и из почтения ко мне с доном Мануэлем, Леонисою и Луисом обращались очень хорошо и позволяли им свободно разгуливать по городу и хлопотать о выкупе. Я договорилась с доном Мануэлем, что он заплатит выкуп за них троих, а я отдам на это мои драгоценности, за что он выказал мне признательность; оставалась одна загвоздка — как выволить меня: тут уж ни о каком выкупе не могло быть и речи; а потому стали мы дожидаться монахов из известного ордена в надежде, что они все уладят.

В те поры Заида открылась мне в любовной склонности к дону Мануэлю и попросила переговорить с ним и сказать, что, коли согласен он перейти в мусульманство, она выйдет за него замуж и сделает его владельцем огромных богатств, принадлежащих отцу ее. Поручение это повергло меня в такие заботы и такое отчаяние, что я чуть не покончила с собою. Теперь у меня была возможность беседовать с доном Мануэлем обстоятельно; долгое время я не говорила ему ни слова про страсть мавританки, ибо страшилась неверного его нрава, ей же передавала вымышленные его ответы, то неблагоклонные, то наоборот. Однако ж, хоть

я и не рассказывала неблагодарному о влюбленности Заиды, но с ревностью совладать не могла, и глаза мои выдавали все, что я хотела утаить, так что изменник вынудил меня все ему поведать.

Осыпав меня укорами за бредни, рожденные моей подозрительностью, он сказал, что, по его мнению, самое разумное — обмануть мавританку: я должна сказать ей, что он, дон Мануэль, ни за что не отречется от своей веры, даже если это будет стоить ему не одной, а тысячи жизней; но если Заида пожелает уехать с ним в страну христиан и стать христианкой, то он дает обещание жениться на ней; и напоследок наказал он мне разохотить ее, чтобы поступила она согласно нашим намерениям, а я-де могу не сомневаться, что, как только мы отсюда выберемся, он исполнит свой долг. О, двоедушный, как обманул он меня и на этот раз!

Чтобы не докучать вам подробностями, скажу только, что в конце концов Заида со всем согласилась с великим удовольствием, особенно же когда узнала, что с нею поеду и я; было решено отправиться в путь через два месяца, ибо отец Заиды собирался отбыть в одно место, где был у него еще один дом и семейство: мавры ведь заводят жен и детей во всех краях, куда заносят их дела. Нужно полагать, небу угодно было, чтобы я отомстила дону Мануэлю, и оно послало мне возможность свершить месть, ибо после отъезда отца Заиды подделала письмо, в котором он звал ее к себе, поскольку тяжело занемог: это нужно было, чтобы их правитель разрешил ей отправиться в путь, ибо мавры не могут никуда поехать без его разрешения.

Получив оное, снарядила она галиот, в гребцы же взяла пленников-христиан, предупредив их под величайшим секретом об истинном нашем замысле.

Набрала она с собою столько богатств в золоте, серебре и одеяниях, сколько могла увезти, не поднимая шуму; и вот мы с нею, Леониса, еще две ее прислужницы-христианки (из мавританок она никого не взяла), дон Мануэль и Луис пустились в морское путешествие. Галиот наш держал путь в Картахену либо Аликанте, в зависимости от того, где встретится меньше опасностей.

Тут усилились мои муки, тут несравненно усугубились терзания, ибо, не видя ниоткуда никаких помех и в уверенности, что дон Мануэль станет ей мужем, Заида не отказывала ему ни в каких милостях. То несчастные глаза мои видели, что дон Мануэль держит Заиду за руки, то — что сжимает ее в объятиях, то даже — что коралловые врата приникают друг к другу, сливаясь дыханием. Ибо изменчивый обманщик любил ее, а потому искал таких случаев; и если не зашел он дальше, то оттого лишь, что я все время была начеку и лишала их возможности предаваться большим наслаждениям. Я хорошо знала, что обоим моя рачительность не по нраву, но оба не изъявляли досады; и если порою бросала я полумавру какое-то слово, он говорил в ответ, глядя мне в глаза, что вправе поступать подобным образом и довольно того, что из-за моих безумств и безрассудств мы подверглись такому множеству опасностей, незачем из-за них же подвергаться еще пущим; я должна потерпеть, пока доберемся мы до Сарагосы, а там все будет исправлено.

Наконец мы благополучно доплыли до Картахены и, сойдя на берег, предоставили свободу гребцам-христианам, дабы вернулись они по домам. Приведя в порядок одежду, направились мы в Сарагосу, хоть Заида и была недовольна, ибо желала принять крещение и выйти замуж сразу

же по прибытии в страну христиан — так влюблена была она в своего будущего мужа; и если не поступила она таким образом, то лишь потому, что я мешала, а не потому, что он не желал того же самого.

Вернулись мы в Сарагосу, откуда отбыли шесть лет назад, и направились в дом дона Мануэля. Мать его умерла, а сестра, донья Эуфрасия, овдовела: муж ее, тот самый кузен, которого она в то далекое время ждала из Индий, погиб на войне от пули, когда она только-только успела разрешиться от бремени сыном. Донья Эуфрасия приняла нас очень радушно, с восторгом и радостью, которые легко себе вообразить. Три дня мы отдыхали, рассказывая друг другу все, что случилось за это время. Подивилась донья Эуфрасия при виде невольничьих клейм у меня на лице (я не сняла их из-за Заиды), но я успокоила ее, объяснив, что они поддельные, а снимать их куда не время.

Заида, которой не терпелось выйти замуж, так торопилась принять христианство, что пришлось мне как-то под вечер позвать дона Мануэля, и вот в присутствии Заиды, доньи Эуфрасии и домочадцев — причем был тут и Луис, который последние дни казался еще более удрученным, чем обычно, — обратилась я к неверному с такими словами:

— Сеньор дон Мануэль, небеса вняли моим беспрестанным пениям и ниспослали нашим заключениям счастливый конец, приведя вас свободным под ваш родной кров: Богу угодно было, чтобы я оставалась при вас и в пору бед, для того, может статься, чтобы вы, увидев собственными глазами, с каким постоянством и терпением сопровождаю я вас во всех случаях, заплатили мне столь великие долги. Да наступит конец всем обма-

нам и уверткам, и да узнают Заида и все на свете, что долг свой вы можете мне оплатить лишь самим собою и что клейма с лица моего можете снять только вы один в тот день, когда я буду вознаграждена за все злосчастия и обиды, что претерпела по вашей вине. Раз уж счастья мне отпущено столько, что на рассказ о нем много слов не понадобилось бы, необходимо, чтобы те, кто знал о моих злоключениях и обидах, узнали бы и о моих удачах и радостях. Не раз обещали вы мне стать моим, и несправедливо, что, в то время как то одна, то другая женщина считает, что вы принадлежите ей, я страшусь, что вы мне чужой, и плачу, что вы меня чураетесь. Род мой, вам известно, весьма знатен; состояние у меня немалое; красота моя такова, что сами вы избрали ее и домогались; о любви моей к вам вы ведаете; доказательства ее переходят в безрассудства; ни в чем вы не теряете, скорее приобретаете; ибо если раньше была я вашей рабыней с поддельными клеймами, то теперь без них стану рабыней в истинном смысле слова. Скажите же, молю, как будет вам угодно распорядиться, дабы мне обрести долгожданное счастье, и не держите более меня в страхе, ибо я по справедливости заслужила награду, ради которой претерпела столько бед.

Но тут вероломный, прервав меня, заговорил с издевательской улыбкой:

— С какой стати вообразили вы, сеньора донья Исабель, что сам я не знаю наизусть все, что вы мне тут поведали? Знаю, и преотлично, и как раз по сей причине все, чем вы думаете обратить к себе мое расположение, так усиливает мое к вам нерасположение, что если прежде и питал я к вам некоторую склонность, то теперь и думать забыл, что когда-то ее питал! Вашей родовитости я не

оспариваю, доказательств любви ко мне не отрицаю, но когда нет сердечной склонности, все это ни к чему. В тот день, когда я покинул этот город, вы могли бы понять, что, коль скоро я бежал от вас, стало быть, не хочу брака с вами; и если в ту пору этот брак ничуть не привлекал меня, то насколько нежеланнее стал он теперь, когда выказали вы столь изощренную изобретательность, неотступно преследуя меня, как пристало лишь женщине самого низкого пошиба! Вы давным-давно могли бы догадаться, каково мое решение, о котором ныне говорю открыто; а что касается обещания, которое я, по вашим словам, вам дал, такие обещания мы, мужчины, всегда даем, чтобы добиться исполнения наших желаний, и женщинам уже пора бы знать эту уловку, а не попадаться на нее, когда им служит предупреждением пример такого множества товаров. В этом отношении я всего менее чувствую себя вашим должником: если мне и случалось давать вам подобное обещание, то у меня не было ни малейшего желания его исполнить, и обещал я лишь для того, чтобы умирить ваш гнев: я никогда вас не обманывал, вы и сами могли бы додуматься, что если я медлю с исполнением обещанного, то не потому, что не представляется случая, а потому, что у меня нет и не было такого намерения. Вы сами и по собственной воле себя обманывали, неотступно за мною следуя. Пора вам выйти из заблуждения и прекратить погоню за мной: поймите, вы домогаетесь невозможного. Успокойтесь же на сем и перестаньте возлагать на меня упования, возвращайтесь к вашей матушке и ищите себе среди ваших земляков мужа, менее дорожащего честью, чем я, ибо я никогда не смогу доверять женщине, способной на подобные хитрости и маскарады. Заида хороша собой, и богатства

ей не занимать; ее любовь ко мне не уступит вашей, я же полюбил ее с первого взгляда; как только она перейдет в христианство, а ждать осталось недолго, я возьму ее в супруги. И на сем давайте положим конец вашим преследованиям и доукаам, которые вы мне причиняете.

От низких слов и подлых дел вероломного дона Мануэля почувствовала я себя так, как, верно, чувствует себя змея под сапогом, но ответить ему поспешил Луис: с того момента, как дон Мануэль начал речь, Луис перешел поближе к нему, заняв позицию поудобнее, и когда тот кончил, Луис обнажил шпагу со словами:

— Вероломный и лживый кабальеро, так-то платишь ты свой долг той, что чиста, как ангел, и представила тебе столько доказательств любви!

И едва только успел дон Мануэль в ответ на эти слова вскочить и схватиться за шпагу, Луис нанес ему такой удар, что, то ли потому, что нападение было внезапным, то ли потому, что небо послало дону Мануэлю заслуженную кару от руки противника, а мне долгожданное отмщение, но шпага пронзила грудь насквозь мгновенно, с первым же криком боли душа дона Мануэля расталась с телом, да и моя была близка к тому же. Его противник в два прыжка оказался у двери; он крикнул:

— Прекрасная донья Исабель, вот как дон Фелипе отомстил за оскорбленья, что нанес тебе дон Мануэль! Оставайся с богом! Если выйду жив из этой переделки, найду тебя!

И в одно мгновение он очутился на улице.

Невозможно рассказать, какой переполох последовал за этой катастрофой. Из прислужниц одни бросились к окнам и стали кричать и сзывать народ, другие поспешили к донье Эуфрасии, упав-

шей в обморок, и в суете все позабыли про Заиду. А мавританка не очень плохо говорила на нашем языке и кое-что понимала, потому что у нее всегда были невольницы-христианки, но во всем случившемся она толком не разобралась, и вот, увидев, что дон Мануэль убит, она с плачем приникла к мертвому и в порыве мучительной скорби от потери возлюбленного выхватила у него из-за пояса кинжал, и прежде чем кто-либо успел помешать ей среди всеобщего смятения, она вонзила кинжал себе в грудь и упала бездыханной на тело несчастного дона Мануэля.

Я среди всех обладала самой большою опытностью в несчастьях, а потому единственная не утратила самообладания; случившееся вызвало во мне боль, но месть принесла удовлетворение; и вот среди всеобщей растерянности и видя, что в доме уже собирается народ, я удалилась к себе и, взяв из вверенных мне драгоценностей Заиды те, которые представляли наибольшую ценность и которые легче было спрятать, поспешила на улицу, во-первых, для того, чтобы не оказаться во власти служителей правосудия, которые стали бы пытывать у меня, кто такой дон Фелипе, а во-вторых, я попыталась разыскать его, чтобы вдвоем укрыться в безопасном месте, но не нашла.

В конце концов, хотя нога моя много лет как не ступала по улицам Сарагосы, я все же набрела на дом Октавио, и старый слуга принял меня куда радостнее, чем в первый раз. Рассказав ему обо всем, что со мною случилось, я в ту ночь легла на покой у него под кровом (если может надеяться на покой женщина, на долю которой выпало столько испытаний, а конца им не видно); и, по правде сказать, сама не знаю, печалилась я или радовалась, ибо, с одной стороны, горестный конец дона

Мануэля, которого я тогда еще не успела разлюбить, причинял боль моему сердцу, а с другой стороны, при мысли о его вероломствах и издевательствах и о том, что принадлежал он уже не мне, а Заиде, я приходила в такой гнев, что смерть его и моя месть были мне утешением; к тому же думала я и о том, в какой опасности оказался дон Фелипе, которому была я стольким обязана, ибо он свершил то, что надлежало бы свершить мне самой, дабы вернуть себе доброе имя. Все эти думы вызывали у меня мучительные терзания и тревоги.

На другой день Октавио отправился в город поведать, что слышно, и узнал, как похоронили дону Мануэля и Заиду: его как христианина, а ее как мавританку, сгубившую свою душу; еще узнал он, что нас с доном Фелипе разыскивает правосудие и глашатай грозит суровыми карами всякому, кто приютит нас и укроет, так что пришлось мне поневоле просидеть в четырех стенах с полмесяца в ожидании, пока не стихнет шум, вызванный столь удивительными происшествиями; а по истечении этого срока я уговорила Октавио поехать со мною в Валенсию, ибо там мы будем чувствовать себя в большей безопасности и там я скажу ему, какое приняла решение. Все, что со мною случилось, было верному Октавио отнюдь не во вред, ибо доставляло средства к существованию, а потому он согласился с моим замыслом.

Первые три-четыре дня по приезде в Валенсию я провела в нерешительности, не зная, как собою распорядиться. Временами я склонялась к мысли пожить в каком-нибудь монастыре и дожидаться там вестей от дона Фелипе, перед которым, бесспорно, была в долгу; продав драгоценности, выкупить его из опасного положения, в котором он

оказался, совершив убийство, и расплатиться с ним собственной особой и собственным достоянием, избрав его супругом; но от этого замысла отвращало меня опасение, что женщине, которая уже познала несчастье, счастливой не бывает. Временами помышляла я вернуться в Мурсию к матушке; и отступалась от этой мысли, стоило мне вообразить, как предстану я перед нею, будучи причиною смерти отца и стольких горестей ее и страданий. В конце концов остановилась я на том решении, с которого начала свои приключения, а именно остаться навсегда клейменной рабыней, ибо клеймом мечена моя душа. И вот, спрятав свои драгоценности таким образом, чтобы никогда с ними не расставаться, а этот наряд увязав в узелок так, чтобы казался он жалким достоянием рабыни, я, вознаградив Октавио за труды, которые брал он на себя ради меня, велела, чтобы вывел он меня на площадь и продал через глашатая с публичных торгов за любую цену, хоть высокую, хоть низкую.

Октавио с великим жаром принялся было отговаривать меня от моего намерения, напоминая о том, кто я такая и как это для меня дурно; и если раньше я пошла на это, дабы последовать за доном Мануэлем и добиться своего, то теперь мне уже незачем жить в такой низкой доле; но видя, что все уговоры бесполезны, он, быть может, с изволения неба, которому угодно было уготовить мне нынешний счастливый случай, вывел меня на площадь, и среди первых покупателей оказался дядюшка моей сеньоры Лисис; я ему приглянулась, а верней сказать, он в меня влюбился, как выяснилось позже; и вот он купил меня, уплатив сотню дукатов. Отдав их Октавио, я распрощалась с ним, и он ушел, заливаясь слезами, ибо видел, что мне

суждено не знать покоя, коль скоро я сама себе ищу тягот.

Мой господин привел меня к себе домой и препоручил моей сеньоре донье Леонор, каковая весьма мало мне обрадовалась, ибо знала, как охоч ее муж до женщин, и, может статься, опасалась, как бы со мной не вышло того же, что уже было с другими прислужницами, а потому встретила она меня неприятливо. Но по прошествии нескольких дней, когда она получше меня узнала, ей пришлось по нраву моя добропорядочность, и я полюбилась ей за то, что держалась строго и выказывала к ней уважение; и еще больше я полюбилась ей, когда муж ее стал преследовать меня домогательствами, а я ее о том оповестила, прося найти какой-нибудь способ помочь мне, и самым уместным способом показалось ей удалить меня. По сей причине распорядилась она отправить меня в Мадрид к моей сеньоре Лисис, и поскольку она описала мне любезный нрав своей племянницы, я приехала с величайшим удовольствием, оттого что будет у меня госпожа лучше прежних моих господ, и эти мои слова заслуживают полнейшей веры. И так как я очень полюбила новую свою госпожу, а она, не раз заставая меня в слезах, все допытывалась, по какой причине я их проливаю, и я обещала рассказать о том в свое время, то нынче я так и сделала; и уж если рассказывать о разочаровании, то сыщется ли горше, чем то, о котором я поведала вам в моей длинной и печальной истории?

И вот, сеньоры, — продолжала прекрасная донья Исабель, — раз уж, поведав о том, как я подпала под обманнные чары, отвратила я многих дам от этих чар, было бы неразумно с моей стороны всю жизнь жить у них в плену и уповать, что доживу когда-нибудь до того мгновения, когда

Фортуна повернет свое колесо мне во благо. Дону Мануэлю уже не воскреснуть, да и случись такое чудо, я больше не доверилась бы ни ему, ни другому мужчине, ибо для меня он олицетворяет их всех, лживых и коварных по отношению к женщинам. И больше всего изумляет меня то, что любой из них, будь он благородный человек и добродетельный, и человек долга, и человек, гордящийся своим разумом, обходится с женщинами хуже, чем неотесанный мужлан и простолюдин, ибо все мужчины почитают истинно мужским делом говорить о женщинах дурно, относиться к ним без уважения и обманывать их. Кажется им, что они от этого ничего не теряют; а когда бы подумали, то поняли бы, что теряют, и очень много: ведь чем слабее и беспомощнее женщины, тем больше поддержки и опоры должны бы получать они от мужских доблестей. Но довольно об этом, и я в их доблестях более не нуждаюсь, потому что не хочу в них нуждаться, и мне все равно, истинные ли это доблести или притворные, ибо я избрала себе возлюбленного, который меня не забудет, и супруга, который меня не отринет с презрением, и вижу я, что он распростер мне объятия и готов принять меня.

И вот, божественная Лисис, — промолвила она, упав на колени, — умоляю тебя как твоя рабыня, позволь мне отдаться божественному моему Супругу и принять пострижение вместе с моей сеньорой доньей Эстефанией, ибо, став монахиней, смогу я уведомить о себе несчастную мою мать, и она возрадуется, обретя меня в обществе такого Супруга, и не будет мне стыдно предстать перед нею; и раз уж омрачила я ей годы зрелости, то хотя бы подарю покойную старость. Думаю, драгоценностей моих будет довольно на приданое,

которое надлежит внести, и на прочие расходы. Молю, не отказывайте мне; и если уж претерпела я столько бед ради неблагодарного и неверного возлюбленного, да притом с клеймами и в звании рабыни, не лучше ли принадлежать Господу и предложить ему себя под тем же именем Рабы своего возлюбленного?



Об Авторах

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР НОВЕЛЛЫ «КАК НЕОТЕСАННЫЙ КРЕСТЬЯНИН КУПЦОВ ПЕРЕХИТРИЛ»

Рассказ совершенно очевидно опирается на давнюю фольклорную традицию. Аналогичные сюжеты зарегистрированы не только в Кастилии, но и в Каталонии, Басконии и странах Латинской Америки. Рукопись, зафиксировавшая эту новеллу, датирована 1510 г. и находится в фондах Британского музея. Впервые опубликована французским исследователем Жозефом Э. Жиллетом в 1926 г. в журнале «Ревю испаник». Произведение представляет несомненный интерес как свидетельство того, что испанская новелла Золотого века формировалась под воздействием как учено-гуманистической традиции ренессансной новеллистики Италии (Боккаччо, Банделло и др.), так и народного творчества. Новелла анонимного автора, видимо, пользовалась большой популярностью в XVI—XVII веках. Во всяком случае, во «Второй части Ласарильо» (1620) Хуана де Луны, написанной как продолжение знаменитой плутовской

повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса», имеется эпизод, который переключается с этой новеллой. Возможно также, что от нее отталкивался Сервантес, повествуя о поведении Басилио в истории свадьбы Камачо в «Дон Кихоте».

ЛУИС ДЕ ПИНЕДО

(1527?—1580?)

О жизни Луиса де Пинедо не сохранилось почти никаких сведений. Известно только, что он жил в Старой Кастилии и был приближенным одного из образованнейших вельмож Испании Дьего де Мендосы, который возглавлял кружок гуманистически настроенных литераторов и любителей словесности. Известный исследователь испанской культуры Марселино Менендес-и-Пелайо в начале нашего столетия высказал предположение, что и Мендоса, и члены его кружка были соавторами Пинедо при составлении его книги. Это как будто подтверждает и сам Пинедо, давший своему произведению название «Книга шуток Луиса де Пинедо и его друзей». Текст книги в рукописном виде хранится в фондах Национальной библиотеки в Мадриде и впервые был напечатан в конце прошлого столетия. Тот же Менендес-и-Пелайо утверждает, что сборник должен был быть создан в первые годы царствования Филиппа II, то есть в середине XVI века, — во всяком случае, в нем не содержится никаких упоминаний событий, которые произошли в Испании в более поздние времена. Содержание книги составляют шутки и анекдоты, приписываемые известным остроумцам доктору Вильялобосу, герцогу де Нагера, поэту Гарси Санчесу де Бадахосу и др. Одно из достоинств книги — яркий национальный колорит. Сюжеты большинства новеллок

Пинедо вполне оригинальны и трактуют различные эпизоды современной автору испанской действительности или недавнего прошлого.

Перевод фрагментов из «Книги шуток» осуществлен впервые.

АНТОНИО ДЕ ВИЛЬЕГАС

(умер около 1551 г.)

Известный испанский гуманист Антонио де Вильегас оставил после себя сборник различных стихотворных и прозаических произведений «Измышления», который был опубликован в 1551 г. посмертно. В книгу вошла и большая новелла (даже скорее повесть) «История Абенсерраха и прекрасной Харифы». Повесть, видимо, опиралась на какие-то реальные факты и, во всяком случае, поставлена в контекст подлинных исторических событий — междоусобиц в мавританской Гранаде, которые привели к истреблению некогда славного рода Абенсеррахов, отвоевания испанцами в начале XV века городов юга — Антекеры, Алары и других, вместе с Гранадой представлявших последний оплот мавров на Пиренейском полуострове. Вероятно, рассказ об Абенсеррахе и Харифе долгое время бытовал в устной традиции. Вот почему параллельно с его прозаическими вариантами аналогичный сюжет разрабатывали так называемые мавританские романсы. Эти романсы, создававшиеся как безымянными, так и профессиональными литераторами (об Абенсеррахе и Харифе писали, например, в своих романах Хуан Тимонеда, Херонимо Коваррубас и др.) и возникшие после завершения реконкисты (отвоевания испанских земель, захваченных арабами в VIII веке) в резуль-

тате падения Гранадского эмирата в 1492 г., мавры чаще всего изображались не столько как враги, сколько как благородные рыцари, тонко и нежно чувствующие. Около середины XVI века одна из прозаических версий была опубликована под названием «Часть хроники прославленного инфанта дона Фернандо, завоевателя Антекеры». В 1561 г. в Толедо появился еще один анонимный вариант этого же повествования, и в том же году другой, наиболее подробный, был включен кем-то в четвертую книгу пасторального романа Хорхе де Монтемайора «Диана», переиздававшегося уже после смерти автора. Версия Вильегаса принадлежит к числу наиболее ранних: хотя сборник сочинений Вильегаса, куда входила и повесть, был опубликован лишь в 1565 г., апробация на издание книги была получена еще в 1551 г. Все исследователи единодушны в мнении, что именно у Вильегаса история любви Абенсерраха и Харифы и все выпавшие на их долю превратности судьбы получили наиболее художественно совершенное воплощение. В повести Вильегаса внимание концентрируется главным образом не на деталях быта и нравов, а на описании чувств героев. Персонажи книги Вильегаса — и испанцы, и мавры — цельные личности, наделенные глубокой человечностью, которая была для деятелей Возрождения высшим проявлением добродетельной человеческой природы.

«История Абенсерраха и Харифы» положила начало новому жанру в испанской прозе XVI века — так называемой мавританской повести, которая получила распространение и в самой Испании, и за ее пределами (один из поздних ее образцов — «Последний Абенсерадж» Шатобриана).

ХУАН ДЕ ТИМОНЕДА

(умер в 1583 г.)

Валенсианец Тимонеда в молодости был кожевником, позднее стал издателем и книготорговцем. Особенно он прославился тем, что опубликовал посмертно драматические сочинения своего друга, руководителя бродячей театральной труппы, актера и драматурга, «отца испанского театра» Лопе де Руэды. Известно, что и сам Тимонеда нередко участвовал в представлениях, разыгрывавшихся в родном городе. К тому же он написал несколько комедий в духе итальянского учено-гуманистического театра, сочинял фарсы и религиозные «аутос сакраменталес» («священные действия»), перевел две комедии Плавта. Он был также автором и собирателем романсов, вошедших в изданное им собрание «Роза романсов». Однако наиболее известен его вклад в историю испанской новеллистики. Перу Тимонеды принадлежат три сборника рассказов, анекдотов и новелл: «Закуска, или Досуг путешественников» (1563), «Добрый совет, или Сумка с рассказами» (1564) и самый значительный сборник, озаглавленный «Patañuelo». Это труднопереводимое слово — производное от испанского «pataña», которое сам Тимонеда разъясняет следующим образом: «вымышленная история, столь ловко изложенная и скомпонованная, что, кажется, приобретает видимость истины». И далее он добавляет, что подобные сочинения «получили на тосканском наречии название новеллы».

Этот последний сборник 1565 г., название которого по-русски приблизительно передается словом «Повестник», а может быть переведено и как «Небылицы», сделал Тимонеду

первым серьезным пропагандистом жанра новеллы в испанской литературе Золотого века. При этом он ориентировался преимущественно на итальянскую новеллистическую традицию, и, видимо, именно его имел в виду Сервантес, когда в предисловии к «Назидательным новеллам» писал, что «все печатающиеся у нас многочисленные новеллы переведены с иностранных языков...» Действительно, большинство из двадцати двух новелл, вошедших в сборник, — пересказы различных историй и новелл из средневекового сборника «Деяния римлян», книг итальянских новеллистов Боккаччо, Джованни Фиорентино, Маттео Банделло и др. Отметим, однако, что есть у Тимонеды и новеллы, которые перерабатывают мотивы испанского фольклора; среди публикуемых нами это новеллы «Отрезанный нос» и «Три вопроса» (X и XIV в сборнике Тимонеды). Новелла XII — вариант сюжета, обработанного в изданном, а быть может, и сочиненном самим Тимонедой «Фарсе о двух слепцах и хитроумном молодце», также имеющем фольклорные корни. Две остальные новеллы пересказывают популярные комедии того времени — «Фелисьяну» неизвестного автора и «Толомею» Алонсо де ла Веги, правда, восходящие к итальянским источникам.

Стиль его рассказов прост и даже кажется небрежным, но эта небрежность — выражение непосредственности повествования, своеобразной импровизационной манеры, присущей Тимонедо.

Сборник Хуана Тимонеды пользовался большой популярностью, в XVI веке появилось еще четыре его издания. Переводы из книги сделаны специально для нашего издания.

АНТОНИО ЭСЛАВА

(родился около 1570 г.)

Сведения о жизни Эславы крайне скудны. Он сам сообщает на титульном листе своей книги, что родом из северного испанского городка Сигуэнсы (провинция Наварра). Из других источников известно, что он служил писарем и удостоился почетного звания королевского привратника.

Его книга — первая часть «Зимних вечеров» — появилась в 1609 г. в Памплоне. Написана она в форме «обрамленной повести», вошедшей в моду в Европе со времен Боккаччо: составляющие книгу новеллы вложены в уста нескольких собравшихся вместе рассказчиков, в данном случае — четырех пожилых итальянцев Сильвио, Альбанио, Торквато и Фабрицио, рассказывающих свои занимательные истории, чтобы скоротать долгие зимние вечера. Действие «сюжетной рамки» происходит в Венеции, и это, как и сюжеты самих новелл, свидетельствует об ориентации автора главным образом на итальянские источники.

Так, например, глава, повествующая о рождении Карла Великого, представляет собой пересказ соответствующих разделов старинной итальянской книги «О королях Франции» Андреа де Барберино (1370 — после 1431). В основе этой легенды лежит широко распространенный в европейском фольклоре мотив конечного оправдания невинно оклеветанной супруги, на долю которой выпало немало бед.

Особым историко-культурным интересом обладает глава, в которой излагается история драматических взаимоотношений королей Никифора и Дардана. Многие ученые не без основания видят в этой новелле один из источников, которым вос-

пользовался Шекспир, создавая свою последнюю трагикомедию «Буря».

Обещанная автором вторая часть «Зимних вечеров» так никогда и не появилась; первая же часть переиздавалась в 1610 и 1626 гг., а в 1667 г. была включена в индекс запрещенных инквизицией книг.

МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА (1547—1616)

Жизнь Сервантеса, одного из титанов литературы Возрождения, была полна суровых лишений и тяжких испытаний. Сын бедного дворянина, он одно время служил в свите кардинала — папского посла, потом рядовым солдатом участвовал в войне с Турцией, был тяжело ранен. По пути на родину попал в плен к алжирским пиратам и пять лет пребывал в рабстве. Но и после возвращения в Испанию, даже приобретя всевропейскую известность своим романом «Дон Кихот», Сервантес до самой смерти влачил полунищенское существование.

Одна из высочайших вершин мировой культуры — роман «Дон Кихот» (кн. I — 1605, кн. II — 1615) в какой-то мере заслонил собой остальные произведения писателя — его драматические сочинения, пасторальный роман «Галатея», авантюрно-героический роман «Персилес и Сихизмунда», сборник «Назидательные новеллы».

Эту книгу новелл сам Сервантес в литературно-полемическом «Путешествии на Парнас» оценил скромно:

В «Новеллах» слышен голос мой природный,
Для них собрал я пестрый, милый вздор,
Кастильской речи путь открыл свободный...

«Назидательные новеллы» (1613) положили начало подлинно национальной новеллистике Испании. И если в предисловии к сборнику писатель был не вполне прав, утверждая, что он «первый, кто начал писать новеллы по-кастильски», то тем, что эти новеллы его «полная собственность» и, сочиняя их, он «никому не подражал и никого не обкрадывал», Сервантес по праву мог гордиться.

Во многих своих новеллах Сервантес выступает резким обличителем изображаемой им без прикрас социальной действительности. Такова, в частности, новелла «Ринконете и Кортадильо», создание которой относится к севильскому периоду жизни писателя, то есть к 1590-м годам. Уже в первой книге «Дон Кихота» есть упоминание этой новеллы.

Поначалу новелла напоминает популярный в Испании того времени жанр плутовского повествования: в центре ее стоит судьба двух юных героев, вынужденных плутовством добывать себе средства к жизни. Однако очень скоро рассказ о Ринконе и Кортадо отступает на задний план, оказавшись лишь ключом, который открывает читателю дверь в тщательно укрываемый от посторонних взоров мирок «братства Мониподьо». Плутовская новелла трансформируется в жанровую картинку нравов воровского цеха Севильи. Но «братство Мониподьо» оказывается в конечном счете лишь точным слепком всего испанского общества времен Сервантеса, обличение пороков которого и составляет суть новеллы.

Сервантес, однако, не только обличитель современности; реальность для писателя не ограничивается лишь правдой повседневно наблюдаемой действительности. В представлении писателя-гуманиста она двупланова: наряду с реальным планом в ней существует и идеальный, в котором торжествует правда

гуманистической мечты о разумных и справедливых началах жизни каждого человека и общества.

Среди новелл с идеальным планом видное место занимает «Английская испанка»: ее завязкой служит нападение английской эскадры на испанский город Кадис в 1596 г., а действие ее разворачивается лет десять спустя. Так что новелла создана не ранее 1606—1607 гг. Как и в других новеллах этого типа, интрига в «Английской испанке» предстает как своеобразная игра любви и случая. Игра, в которой случай воздвигает на пути влюбленных к счастью одно препятствие за другим, а любовь разрушает все преграды. Сервантес как бы открывает читателю возможность существования мира, в котором торжествуют разум, справедливость и гармония, поправленные в окружающей его действительности. Хотя зрелое творчество писателя в целом окрашено трагическим мировосприятием, веру в конечное торжество гуманистических идеалов Сервантес пронес через всю свою жизнь.

СЕБАСТЬЯН МЕЙ

(*конец XVI — начало XVII в.*)

Мей принадлежал к известной в Валенсии семье ученых-гуманистов. Его отец Фелипе был профессором греческого языка в местном университете, поэтом и переводчиком Овидия, а сам он, получив великолепное образование, стал книгоиздателем. В 1613 г. он опубликовал в родном городе свою «Книгу побасенок, в которой содержатся различные басни и рассказы; некоторые из них новые, другие извлечены из разных авторов». Это редкое издание сохранилось всего в двух экземплярах, которые хранятся в Национальных библиотеках Мадрида

и Парижа, и переиздано впервые лишь на рубеже нашего столетия.

«Книга побасенок» состоит из пятидесяти семи главок. Большая часть их — пересказ басен Эзопа; остальные — рассказы и анекдоты, а также новеллы, написанные в итальянской манере.

Новеллы «Вероломный друг» и «Человек правдивый и лгун» имеют своим источником знаменитый средневековый сборник апологов, притч и новелл «Калила и Димна», переведенный на испанский язык с арабского в XIII веке. Некоторые детали рассказов Мея, однако, свидетельствуют, что Мей, видимо, воспользовался одним из переложений этой книги на итальянский язык, возможно, книгой Фиренцуолы «Рассуждения о животных».

К итальянскому источнику восходит также новелла «Император и его сын». Аналогичный сюжет до Мея обработал Банделло, а позднее в знаменитой драме «Наказание не мщение» — Лопе де Вега. Но в отличие от них, Мей смягчает драматизм ситуации и завершает новеллу вполне благополучно. Новелла «Рыцарь, преданный своему сюзерену» — пересказ одной из новелл Мазуччо.

Хотя Мей прав, утверждая, что некоторые новеллы его сборника — целиком плод его творческой фантазии, эти рассказы, однако, не относятся к числу наиболее значительных. Мастерство писателя скорее проявилось в оригинальности переработки заимствованных произведений. Он, в частности, широко пользуется приемом «испанизации» повествования: действие новелл не только в большинстве случаев переносится в Испанию, но и насыщено множеством местных реалий, что придает новеллам Мея национальный колорит.

ДЬЕГО АГРЕДА-И-ВАРГАС

(родился в конце XVI в.)

Отпрыск знатного кастильского рода, сын королевского советника Кастилии, Агрета-и-Варгас уже немолодым человеком в качестве капитана королевской пехоты в 1640 г. принял участие в подавлении сепаратистского восстания в Каталонии, отличился в боях и в награду за это был посвящен королем Филиппом IV в рыцари ордена Сантьяго.

Задолго до этого он приобрел известность своими переводами с итальянского языка, а также собранием сентенций и афоризмов, извлеченных из древних и новых авторов и опубликованных в Мадриде в 1616 г.

Здесь же вышли его «Двадцать моральных и поучительных новелл» (1620), откуда мы заимствуем новеллу «Неосмотрительный брат». Своеобразие этой и других новелл Дьего Агрета-и-Варгаса — в их «документальности». Книга новелл переиздавалась в 1621 г., а позднее — внуком писателя — в 1724 г.

ФЕЛИКС ЛОПЕ ДЕ ВЕГА КАРПИО

(1562—1635)

Один из крупнейших деятелей Возрождения, Лопе де Вега прожил долгую и бурную жизнь, в которой всенародное признание и слава «Феникса талантов» не избавили его от унижительной необходимости служить у различных представителей испанской знати. Сын мадридского ремесленника-золотошвея, в молодости Лопе де Вега подвергся тюремному заключению, а затем изгнанию из Кастилии за едкие

эпиграммы против своей неверной возлюбленной и ее родителей. Принял участие в закончившемся крахом плавании «Непобедимой Армады» испанских кораблей к берегам Англии (1588) и едва не погиб на одном из кораблей. В 1614 г. принял сан священника, но, несмотря на глубокую и искреннюю религиозность, не изменил ни своим гуманистическим убеждениям, ни весьма легкомысленному образу жизни и привычкам. Более того, в 1616 г., влюбившись в юную Марту де Неварес Сантойо, он добился ее развода и прожил многие годы с ней в гражданском браке, трогательно ухаживая за ней, когда в 1630 г. она ослепла, а затем лишилась рассудка. Смерть Марты два года спустя была тяжким ударом для постаревшего и оставшегося в полном одиночестве писателя.

Литературное наследие Лопе де Веги свидетельствует о его уникальной творческой энергии. Он написал свыше двух тысяч пьес, из которых до нас дошло около пятисот. Многие из его комедий любви, исторических и народно-героических драм и до сих пор не сходят со сценических подмостков. Ему принадлежат также около двадцати поэм, тысячи лирических и сатирических стихотворений, несколько романов, множество литературно-критических сочинений. Скромное по объему, но заметное по содержанию место в этом «океане поэзии» занимают его четыре новеллы.

Лопе де Вега утверждает, что принялся за их написание по просьбе Марты де Неварес; ей же под именем Марсии Леонарды он их и посвятил. Первая из них — «Приключения Дианы» — была первоначально опубликована в сборнике произведений Лопе «Филомена, а также другие прозаические и стихотворные сочинения» (1621). Три остальные новеллы вошли

в его книгу «Цирцея и иные стихи и проза» (1624). Вместе они были собраны лишь после смерти Лопе без указания автора в сборнике «Любовные новеллы лучших сочинителей Испании» (1648), много раз позднее переиздававшемся. Впервые под именем Лопе де Веги книга его новелл вышла только в 1777 г.

В новеллах Лопе де Вега утверждает тот же гуманистический идеал добродетельного по своей природе человека, способного бороться за свое право на счастье и любовь, что вдохновлял и его драматургию. Начиная работу над новеллами, он, конечно, не мог не учитывать опыт своего литературного противника Сервантеса, с которым он сознательно вступает в соревнование. Но ему удается создать свой, особый тип новеллы, который энергичным развитием интриги, беглой, но выразительной обрисовкой персонажей, прихотливой композицией близок к созданной им национальной драме. Написанные в пору наивысшего расцвета творческого гения Лопе де Веги, его новеллы, по точному определению их переводчика на русский язык А. А. Смирнова, характеризуют «полная внутренняя свобода, непринужденность, скажем смело — небрежность, придающая им воздушную легкость».

ГОНСАЛО ДЕ СЕСПЕДЕС-И-МЕНЕСЕС

(1585?—1638)

Родился в Мадриде в дворянской семье. В молодости вел почти божественный образ жизни, дважды сидел в тюрьме и был изгнан из Кастилии. Более десяти лет прожил в Сарагосе и Лисабоне. В опубликованной в этом последнем городе «Истории Филиппа IV» (1631) панегирически описал пер-

вые шесть лет царствования этого короля, за что получил прощение, был возвращен в Мадрид и назначен королевским хронистом. В конце жизни вступил во францисканский орден.

В автобиографическом романе «Испанец Герардо» (ч. I — 1615, ч. II — 1617) и оставшемся незавершенным романе «Солдат Пиндар» (1626) торжествует барочное мировосприятие действительности как хаотического столкновения будничных и сверхъестественных событий, закономерности которых непостижимы. Красочность и живописность стиля нередко трансформируются в нарочитую усложненность и изощренность.

Еще в 1617 г. в прологе ко второй части «Испанца Герардо» Сеспедес-и-Менесес обещает рассказать о «двенадцати удивительных и странных событиях, которые случились на нашей родине». Замысел свой писатель осуществил в 1623 г., включив в книгу «Удивительные и необыкновенные истории» шесть новелл, основанных на реальных исторических событиях. Каждый из эпизодов открывается детальным описанием города, в котором происходит действие; эти описания представляют большую историческую ценность. Стремление к исторической достоверности в этих новеллах сочетается с барочным пристрастием к описанию кровавых происшествий, контрастному столкновению противоборствующих страстей — рыцарственности и варварства, нежных движений души и необузданной жестокости.

Одна из наиболее интересных новелл — «Пачеко и Паломеке» — повествует о борьбе различных группировок в Толедо во время восстания в 1520—1521 гг. «комунерос» — самоуправляющихся городских коммун Кастилии против абсолю-

тистских притязаний короля Карлоса I, избранного под именем Карла V императором «Священной Римской империи». С помощью дворянского ополчения король разгромил силы повстанцев и жестоко расправился с ними. Как писал К. Маркс, «главные «заговорщики» сложили головы на плахе, а старинные вольности Испании перестали существовать»¹.

Книга исторических новелл Сеспедеса-и-Менесеса пользовалась большим успехом и неоднократно переиздавалась вплоть до нашего времени.

ХУАН ПЕРЕС ДЕ МОНТАЛЬВАН

(1602—1638)

Сын известного мадридского типографа и книготорговца Алонсо Переса, издававшего многие сочинения Лопе де Веги и других знаменитых писателей, Перес де Монтальван родился в городе Алькала-де-Энаrese близ Мадрида, здесь же обучался в университете и получил степень доктора богословия. В 1625 г. принял сан священника и одно время исполнял обязанности нотариуса инквизиционного трибунала. В конце жизни перенес тяжкий душевный недуг.

Происходя из семьи новообращенного еврея, Хуан Перес де Монтальван выдавал себя, однако, за отпрыска аристократического рода, за что был жестоко осмеян сатириком Франсиско де Кеведо. Лопе де Вега, напротив, покровительствовал ему в его литературных начинаниях. Под руководством Лопе он с семнадцати лет начинает писать театральные пьесы: всего ему

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 10. С. 430.

принадлежит пятьдесят восемь комедий, из них самая знаменитая — «Теруэльские любовники», одна из первых драматических обработок популярной легенды о трагической любви юноши и девушки, разлученных коварством отца девушки и предпочевших смерть разлуке.

В 1624 г. Перес де Монтальван опубликовал поэму «Орфей на кастильском языке» сомнительного происхождения: многие современники приписывали авторство Лопе де Веге, который якобы великодушно даровал молодому поэту право опубликовать ее под своим именем. Большой интерес представляет сборник «Для всех» (1632) — собрание комедий, новелл, ученых рассуждений, а также весьма ценных наблюдений над литературной и театральной жизнью тогдашней Испании. В 1636 г., вскоре после смерти своего учителя Лопе де Веги, Монтальван опубликовал книгу «Хвалы и посмертная слава памяти Лопе». Эта первая биография великого драматурга, несмотря на панегирические преувеличения, содержала много важных сведений о жизни и творчестве Лопе де Веги.

Сборник новелл «Происшествия и чудеса любви» впервые был опубликован в 1624 г. и после этого переиздавался много раз. Вскоре после выхода он был переведен на итальянский (в 1637 г. в Венеции) и французский (в 1644 г. в Париже) языки. В книгу Перес де Монтальван включил восемь новелл, которые по композиции, идиллическим сюжетам, способу построения характеров близки к так называемым комедиям плаща и шпаги (любовным комедиям из дворянской жизни) своего учителя.

ТИРСО ДЕ МОЛИНА (1583 или 1584—1648)

Под псевдонимом Тирсо де Молина публиковал свои произведения монах ордена мерсенариев Габриэль Тельес. Неизвестно, ни когда точно он родился, ни кто были его родители, ни даже каково было его имя до вступления в монашеский орден. Можно лишь предполагать, что он обучался в университете: обширными познаниями в науках он выгодно отличался от многих своих собратьев по перу.

Обратившись к драматургии в 1605—1606 гг., Тирсо де Молина довольно быстро занял видное место в ряду учеников Лопе де Веги, что не мешало ему исполнять многотрудные обязанности в ордене. Однако в 1625 г. созданная королевским декретом исправительная хунта осудила «скандальное поведение» маэстро Тельеса, постановила изгнать его в один из отдаленных монастырей и запретить ему сочинять светские пьесы. Но решение, видимо, не имело серьезных последствий: уже в 1626 г. Тирсо де Молина вновь находился в столице и до самой смерти продолжал писать как религиозные, так и светские пьесы.

Тирсо не раз заявлял о себе как об ученике Лопе де Веги. Но он был учеником своенравным, и творчество его во многом существенно отличается от творчества его учителя; по своему мироощущению он сближается с деятелями барокко. Как справедливо писал советский исследователь В. Ю. Силюнас, «у Тирсо не было уже того заряда жизненного оптимизма в оценках действительности, который придавал такую ясность и гармоничность многим пьесам его старшего современника и учителя». В его творчестве существенно важную роль на-

чинают играть религиозно-философские и религиозно-этические проблемы; в отношении героев его пьес, в том числе и в любви, вторгается материальный интерес; стимулом их поведения становится не столько природное начало, сколько способность более или менее убедительно сыграть избранную ими роль и т. д.

Эти черты обнаруживаются и в новеллах, включенных в сборник «Толедские виллы» (1624). Книга представляет собой «обрамленную повесть»: многообразный и пестрый материал — стихотворные комедии, любовно-приключенческие повествования, литературная полемика, бытовые новеллы и т. п. — вводится в рамки бесед, которые ведет между собой жаркими летними днями светская компания, развлекающаяся на загородных виллах близ Толедо. Пятая, последняя глава («вилла») включает «назидательную» новеллу о трех осмеянных мужьях. Три эпизода этой новеллы имеют разные источники; в частности, эпизод о жене ревнивца явно перекликается с восьмой новеллой третьего дня «Декамерона» Боккаччо. Тирсо, однако, снимает мотив реальной измены.

«Толедские виллы» неоднократно переиздавались при жизни и после смерти писателя; обещанная им вторая часть книги, однако, так и не была написана.

АЛОНСО ДЕ КАСТИЛЬО СОЛОРСАНО

(1584—1648?)

Старинный дворянский род, к которому принадлежал Кастильо Солорсано, к XVII веку уже оскудел, и писатель вынужден был в течение всей своей жизни сочетать литературный труд со служением различным знатным господам.

Он рано обратился к литературной деятельности и был весьма плодовит. Так, им написано четыре плутовских романа: «Мадридские гарпии» (1631), «Плутовка Тереса с Мансанареса» (1632), «Похождения бакалавра Трапасы» (1637), «Севильская куница» (1642). Однако широкая социально-критическая панорама современной жизни, характерная для лучших образцов плутовского жанра со времен повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1554), у Кастильо Солорсано значительно сужается; обличительный пафос сменяется у него своеобразным любованием «экзотикой» плутовского, чаще воровского быта, жизни девиц легкого поведения и т. п. Автор нагромождает в своих романах одно самое невероятное приключение на другое — все это призвано главным образом позабавить и развлечь светского читателя, на которого преимущественно ориентируется писатель.

Ослабление идейного заряда, развлекательная тенденция обнаруживаются и во многих его новеллах, над которыми он трудился в молодости. Ему принадлежат такие сборники новелл, как «Занимательные вечера» (1625), «Веселые дни» (1626), «Ночи удовольствий» (1631) и др. Но в этих сборниках ярче раскрывается талант Кастильо Солорсано, умело организующего сравнительно ограниченную сюжетную схему, остроумно обыгрывающего заданную, «типовую» ситуацию и наблюдательного, когда надо нарисовать жанровую картинку быта без каких-либо претензий на широкое социальное обобщение. В новеллах Кастильо Солорсано нетрудно заметить следы внимательной и плодотворной учебы у таких мастеров новеллистического жанра, как Боккаччо, Сервантес, Тирсо де Молина. Печатаемая нами новелла «Обмануть правдой» опубликована в первом из сборников Кастильо Солорсано и, как большинство

его новеллистических сочинений, разрабатывает сюжеты, характерные для новелл «идеального плана» у Сервантеса, не вкладывая в них тот высокий гуманистический смысл, который отличает их у великого ренессансного художника.

МАРИЯ ДЕ САЙЯС-И-СОТОМАЙОР (1590—1661?)

О жизни писательницы не сохранилось почти никаких сведений. Неизвестно, была ли она замужем, да и дата ее смерти лишь предположительная. В молодости она, видимо, жила в Мадриде, но уже с середины тридцатых годов обосновалась в Сарагосе. Сохранился принадлежащий Марии Сайяс-и-Сотомайор драматургический опыт — комедия «Дружба, которую предали», весьма, впрочем, посредственная, — славою своей она обязана сборнику новелл. В 1637 г. вышла первая его часть под названием «Добропорядочное и занимательное собрание», двенадцать лет спустя в Барселоне появилась «Вторая часть собрания и добропорядочных развлечений». Только в последующих изданиях обе части, опубликованные вместе, получили название «Назидательные и любовные новеллы», которое за ними и утвердилось.

Новеллы в этой книге имеют сюжетное обрамление: компания дам и кавалеров промозглым декабрьским вечером собралась у заболевшей Лисис и для того, чтобы развлечь ее, поочередно рассказывают новеллы. Их в обеих частях всего двадцать. Создавая свою книгу, Мария де Сайяс-и-Сотомайор ориентировалась на новеллистику Сервантеса и многому у него научилась, но как далека писательница от оптимистического мирозерцания своего учителя! Посвятив большую часть сво-

их новелл теме любви, Мария де Сайяс-и-Сотомайор как будто задалась целью опровергнуть веру ренессансных художников во всемогущество этого чувства, его способность разрушать преграды на своем пути. Даже тогда, когда любовные перипетии ее героев завершаются благополучно, это оказывается нередко следствием непредсказуемого, почти мистически таинственного поворота судьбы. Ренессансная игра любви и случая трансформируется в игру случая любовью. Чаще же в новеллах Сайяс-и-Сотомайор торжествует трагическое мироощущение. Недаром все новеллы второй части сборника включают в название популярное в испанском барокко слово *desengaso*, которое осмыслялось не только в прямом значении («разочарование»), но и как «крах иллюзий». Вместе с тем новеллы сборника отличаются глубоким психологизмом, особенно в анализе любовных переживаний.

Несколько новелл Марии де Сайяс-и-Сотомайор обладают отчетливо сатирической направленностью. Среди них особую известность приобрела публикуемая ныне новелла «Наказание за скаредность», карикатурная фигура героя которой напоминает сервантесовского «Ревнивого эстремадурца», хотя непосредственным источником сюжета новеллы послужила одна из комедий Плавта. Современник писательницы, драматург Хуан де ла Ос-и-Мота переработал этот рассказ в комедию под тем же названием.

Новеллистика Марии де Сайяс-и-Сотомайор пользовалась в XVII—XVIII веках большим успехом: за это время она переиздавалась около пятнадцати раз. Дважды, в 1656 и 1680 гг., «Назидательные и любовные новеллы» переводились на французский язык, а известный французский прозаик Поль Скаррон включил переложение трех но-

велл, в том числе «Наказание за скаредность», в свои «Трагикомические новеллы» (1656).

Своим успехом новеллы испанской писательницы во многом обязаны и тщательно отшлифованной стилистике повествования: жизненная достоверность описаний здесь соседствует со смелой метафоричностью, замысловатой игрой слов и т. д. Вместе с тем иногда в стиле писательницы явственно ощущается перенапряжение, перенасыщенность тропами — искусство барокко уже начинает клониться к упадку.

Э. И. Плавский



СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Миролобова. Испанская новелла: рождение и расцвет</i>	5
---	---

НОВЕЛЛЫ

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Как один крестьянин купцов перехитрил (Ярмарочный листок около 1510 года). <i>Перевод А. Черняка</i>	23
--	----

ЛУИС ДЕ ПИНЕДО

ИЗ «КНИГИ ШУТЛИВЫХ ИСТОРИЙ». <i>Перевод В. Симонова</i>	31
---	----

АНТонио де Вильегас

Абенсеррах и прекрасная Харифа. <i>Перевод И. Чежеговой</i>	54
---	----

ХУАН ДЕ ТИМОНЕДА

ИЗ КНИГИ «НЕБЫЛИЦЫ». <i>Перевод А. Мироллюбовой</i>	84
---	----

АНТОНИО ДЕ ЭСЛАВА

ИЗ КНИГИ «ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА». <i>Перевод В. Федорова</i>	
О том, как был открыт Родник Откровений	125
О гордыне царя Никифора и о пожаре на его кораблях, а также об искусстве волшбы, коим владел царь Дардан	143
О том, как был рожден Карл Великий, король франков и император «Священной Римской империи»	158

МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

ИЗ КНИГИ «НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ». <i>Перевод Б. Кржевского</i>	
* Ринконете и Кортадильо	176
* Английская испанка	229

СЕБАСТЬЯН МЕЙ

ИЗ КНИГИ «ПОБАСЕНКИ». <i>Перевод А. Черняка</i>	
Вероломный друг	287
Правдивый человек и лжец	290
Император и его сын	296
Рыцарь, преданный своему сюзерену	301

ДЬЕГО АГРЕДА-И-ВАРГАС

ИЗ КНИГИ «МОРАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ». *Перевод*
В. Резник

Неосмотрительный брат 306

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА

ИЗ КНИГИ «НОВЕЛЛЫ ДЛЯ СЕНЬОРЫ МАР-
СИИ ЛЕОНАРДЫ». *Перевод А. Смирнова*

* Приключения Дианы 353

ГОНСАЛО ДЕ СЕСПЕДЕС-И-МЕНЕСЕС

ИЗ КНИГИ «УДИВИТЕЛЬНЫЕ И НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ИСТОРИИ». *Перевод В. Симонова*

Пачеко и Паломеке 422

ХУАН ПЕРЕС ДЕ МОНТАЛЬВАН

ИЗ КНИГИ «ПРОИСШЕСТВИЯ И ЧУДЕСА ЛЮБ-
ВИ». *Перевод А. Косс*

Простолюдинка из Пинто 475

История любви меж двоюродными братом и сестрой 523

ТИРСО ДЕ МОЛИНА

ИЗ КНИГИ «ТОЛЕДСКИЕ ВИЛЛЫ». *Перевод Е. Лы-
сенко*

* Новелла о трех осмеянных мужьях 569

АЛОНСО КАСТИЛЬО СОЛОРСАНО

ИЗ КНИГИ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА». *Перевод А. Миролубивой*

Новелла шестая

Обмануть правдой 616

МАРИЯ ДЕ САЙЯС-И-СОТОМАЙОР

ИЗ КНИГИ «НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ И ЛЮБОВНЫЕ
НОВЕЛЛЫ». *Перевод А. Косе*

Наказание за скардность 658

Раба своего возлюбленного 698

Об авторах 755

Испанская новелла Золотого века: Сбор-
И 88 ник: Пер. с исп. / Сост., справки об авторах
Э. Плавскина; Вступ. ст. А. Миролюбовой;
Худож. О. Яхнин. — Л.: Худож. лит., 1989.
— 784 с: ил.
ISBN 5-280-00677-7

В этой книге впервые представлен во всем своем многообразии жанр новеллы периода его рождения и расцвета в испанской литературе. Кроме широко известных у нас произведений Сервантеса, Лопе де Веги и Тирсо де Молины, читатель может познакомиться с творчеством многих испанских писателей XVI—XVII вв.: Х. Тимонеды, Г. Сеспедеса-и-Менесеса, Х. Переса де Монтальвана, М. Сайяс-и-Сотомайор и других.

И 4703040100-076 149-89
028(01)-89

ББК 84.4Ис

ИСПАНСКАЯ НОВЕЛЛА ЗОЛОТОГО ВЕКА

Составитель
Захар Исаакович Плавскин

Редактор Г. Орёл
Художественный редактор В. Лужин
Технический редактор М. Шафрова
Корректоры А. Борисенкова, Г. Щеголева

ИБ № 5250

Сдано в набор 27.01.89. Подписано в печать 13.09.89. Формат 70 X X 100^{1/32}. Бумага офсетная кн.-журн. Гарнитура «Академическая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,85. Усл. кр.-отт. 63,70. Уч.-изд. л. 32,15. Тираж 100 000 экз. Изд. № LVII-200. Заказ 1934. Цена 3 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

